ПЕРЕПЛЕТНОЕ ЗАВЕДЕНIЕ
М. Г. ГРИГОРЬЕВА
НА ТВЕРСКОЙ ДОМЪ ОЛСУФЬЕВА
РЯД. СЪ МАГАЗИНОМЪ АНДРЕЕВА
ВЪ МОСКВѢ.

Д. 70-11 б
инв. 16112/1737
20/XII 1528
5/XI - 264

ВОСПОМИ

…и запишется на зал, приходит сказать, … решает устроить концерт или лекцию … вается от своей записи. Дело приним… седатель правления Д. И. Багалей[1] поех… временно правил вице-губернатор Аза… своими дикими выходками в Сибири. На… запрещение брать зал в библиотеке, он… там какие-то филиалы завелись".

— „Филиалы библиотеки открыты… образом утверждены вашим предшестве… не было ни обжаловано, ни отменено. …

— „У меня, может быть, есть ли… сдержаннее сказал администратор.

Тогда Д. И. Багалей вынул из кар… ным ему спокойствием и невозмутимост… разрешает библиотеке сдачу помещени… аренду. Можно с точностью вычислить, … того, что вы запретили сдачу ее зала … числа концертов. У нас на днях будет … и я не поручусь, что кто-нибудь из ни… иск в определенной сумме. Вы по долг… людением уставов, а вы сами устав …

его
дъ
ся
ро-
ли-
ли-
ей
ои-
ію
сю
ій,
о-
хъ
н-
й-
въ
и,
м-
я-
л,
ты
в-
д-
о-
з-
н-
о-
б-
и-
ъ
л-
ъ
и
і-
ь
ь
я
-
-
-

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ

ЗА

1877 Г.

муниципальное казённое учреждение
культуры Муниципального
образования город Ирбит
«Библиотечная система»

Ѳ. М. Достоевскаго.

ПРОВЕРЕНО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія В. Ѳ. Пуцыковича, Надеждинская, д. № 21.
1878.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ЯНВАРЬ.

страницы.

Глава первая. I. Три идеи. II. Миражи. Штунда и Редстокисты. III. Ѳома Даниловъ, замученный русскій герой . . . . . 1—13

Глава вторая. I. Примирительная мечта внѣ науки. II. Мы въ Европѣ лишь стрюцкіе. III. Русская сатира. «Новь». «Послѣднія пѣсни». Старыя воспоминанія. IV. Именинникъ. Отъ редакціи . . . . . 13—28

ФЕВРАЛЬ.

Глава первая. I. Самозванные пророки и хромые бочары продолжающіе дѣлать луну въ Гороховой. Одинъ изъ неизвѣстнѣйшихъ русскихъ великихъ людей. II. Доморощенные великаны и приниженный сынъ „Кучи“. Анекдотъ о содранной со спины кожѣ. Высшіе интересы цивилизаціи и „да будутъ они прокляты, если ихъ надо покупать такою цѣной“! III. О сдираніи кожъ вообще, разныя аберраціи въ частности. Ненависть къ авторитету при лакействѣ мысли. IV. Меттерних и Дон-Кихоты . . . . . 28—43

Глава вторая. I. Одинъ изъ главнѣйшихъ современныхъ вопросовъ. II. „Злоба дня“. III. Злоба дня въ Европѣ. IV. Русское рѣшеніе вопроса. Отвѣтъ на письмо . . . . . 43—56

МАРТЪ.

Глава первая. I. Еще разъ о томъ что Константинополь, рано-ли поздно-ли, а долженъ быть нашъ. II. Русскій народъ слишкомъ дорослъ до здраваго понятія о Восточномъ вопросѣ съ своей точки зрѣнія. III. Самыя подходящія въ настоящее время мысли. . . . . 56—66

Глава вторая. I. „Еврейскій вопросъ“. II. Pro и contra. III. Status in statu. Сорокъ вѣковъ бытія. IV. Но да здравствуетъ братство. . . . . 66—79

Глава третья. I. Похороны „Общечеловѣка“. II. Единичный случай . . . . 79—84

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ГОДЪ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ. II-Й.

1877.

ЯНВАРЬ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на ежемѣсячное изданіе Ѳ. М. Достоевскаго

„ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ“

НА 1877 ГОДЪ.

(ДВѢНАДЦАТЬ ВЫПУСКОВЪ ВЪ ГОДЪ).

Каждый выпускъ будетъ заключать въ себѣ отъ полутора до двухъ листовъ убористаго шрифта, въ форматѣ еженедѣльныхъ газетъ нашихъ.

Каждый выпускъ будетъ выходить въ послѣднее число каждаго мѣсяца и продаваться отдѣльно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 25 копѣекъ. Желающіе подписаться на все годовое изданіе впередъ пользуются уступкою и платятъ лишь два рубля (безъ доставки и пересылки), а съ пересылкою или доставкою на домъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: для городскихъ подписчиковъ въ С.-Петербургѣ: Въ книжномъ магазинѣ Я. А. Исакова (гостиный дворъ № 24) и въ книжномъ „Магазинѣ для иногородныхъ“, Невскій пр., № 44.

Въ Москвѣ: въ „Центральномъ книжномъ магазинѣ“, Никольская, д. Славянскаго Базара,

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА выпусковъ производится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга, въ Москвѣ: у Салаева, Живарева, Кашкина, Мамонтова, Васильева и др., въ Казани у Дубровина, въ Кіевѣ у Гинтера и Малецкаго, въ Южно-русскомъ Книжномъ Магазинѣ, у Оглоблина (Литова) и у Корейво, въ Одессѣ: у Распопова и Бѣлаго, въ Харьковѣ у Геевскаго и Куколевскаго, въ Воронежѣ и Тулѣ: у Аносова, въ Тамбовѣ: у Зотова,

въ Перми: у Наумова, въ Смоленскѣ: у Лаврова, въ Тифлисѣ: у Берештама, въ Черниговѣ: у Данюшевскаго, въ Варшавѣ: у Истомина.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться исключительно къ автору по слѣдующему адресу: **С.-Петербургъ, Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6, Ѳедору Михайловичу Достоевскому.**

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Три идеи.

Я начну мой новый годъ съ того самаго на чемъ остановился въ прошломъ году. Послѣдняя фраза въ декабрьскомъ „Дневникѣ“ моемъ была о томъ „что почти всѣ наши русскія разъединенія и обособленія основались на однихъ лишь недоумѣніяхъ, и даже прегрубѣйшихъ, въ которыхъ нѣтъ ничего существеннаго и непереходимаго“. Повторяю опять: всѣ споры и разъединенія наши произошли лишь отъ ошибокъ и отклоненій ума, а не сердца, и вотъ въ этомъ-то опредѣленіи и заключается все существенное нашихъ разъединеній. Существенное это довольно еще отрадно. Ошибки и недоумѣнія ума исчезаютъ скорѣе и безслѣднѣе чѣмъ ошибки сердца; излечиваются же не столько отъ споровъ и разъясненій логическихъ, сколько неотразимою логикою событій живой, дѣйствительной жизни, которыя весьма часто, сами въ себѣ, заключаютъ необходимый и правильный выводъ и указываютъ прямую дорогу, если и не вдругъ, не въ самую минуту ихъ появленія, то во всякомъ случаѣ въ весьма быстрые сроки, иногда даже и не дожидаясь слѣдующихъ поколѣній. Не то съ ошибками сердца. Ошибки сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный духъ иногда даже во всей націи, несущій съ собою весьма часто такую степень слѣпоты, которая не излечивается даже ни передъ какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую дорогу; напротивъ переработывающая эти факты на свой ладъ, ассимилирующая ихъ съ своимъ зараженнымъ духомъ, причемъ происходитъ даже такъ что скорѣе умретъ вся нація, сознательно, т. е. даже понявъ слѣпоту свою, но *не желая* уже излечиваться. Пусть не смѣются надъ мной заранѣе, что я считаю ошибки ума слишкомъ легкими и быстро изгладимыми. И ужь смѣшнѣе всего было бы, даже кому бы то ни было, а не то что мнѣ, принять на себя въ этомъ случаѣ роль изглаживателя, твердо и спокойно увѣреннаго что словами проймешь и перевернешь убѣжденія данной минуты въ обществѣ. Я это все сознаю. Тѣмъ не менѣе стыдиться своихъ убѣжденій нельзя, а теперь и не надо, и кто имѣетъ сказать слово, тотъ пусть говоритъ, не боясь, что его не послушаютъ, не боясь даже и того что надъ нимъ насмѣются и что онъ не произведетъ никакого впечатлѣнія на умѣ своихъ современниковъ. Въ этомъ смыслѣ „Днев-

никъ Писателя“ никогда не сойдетъ съ своей дороги, никогда не станетъ уступать духу вѣка, силѣ властвующихъ и господствующихъ вліяній, если сочтетъ ихъ несправедливыми, не будетъ подлаживаться, льстить и хитрить. Послѣ цѣлаго года нашего изданія намъ кажется уже позволительно это высказать. Вѣдь мы очень хорошо и вполнѣ сознательно понимали и въ прошломъ году, что многимъ изъ того, о чемъ писали мы съ жаромъ и убѣжденіемъ, мы въ сущности вредили только себѣ; и что гораздо болѣе получили бы, напротивъ, выгоды если бы съ такимъ же жаромъ попадали въ другой унисонъ.

Повторяемъ: намъ кажется, что теперь надо какъ можно откровеннѣе и прямѣй *всѣмъ* высказываться, не стыдясь наивной обнаженности иной мысли. Дѣйствительно насъ, т. е. всю Россію ожидаютъ можетъ быть чрезвычайныя и огромныя событія. „Могутъ вдругъ наступить великіе факты и застать наши интелигентныя силы въ расплохъ и тогда не будетъ ли поздно?“ — какъ говорилъ я, заканчивая мой декабрьскій „Дневникъ“. Говоря это я не одни политическія событія разумѣлъ въ этомъ „ближайшемъ будущемъ“, хотя и они не могутъ не поражать теперь вниманіе даже самыхъ скудныхъ и самыхъ „жидовствующихъ“ умовъ, которымъ ни до чего кромѣ себя дѣла нѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, что ожидаетъ міръ не только въ остальную четверть вѣка, но даже (кто знаетъ это?) въ нынѣшнемъ можетъ быть году? Въ Европѣ не спокойно, и въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Но временное ли, минутное ли это безпокойство? Совсѣмъ нѣтъ: видно подошли сроки ужь чему-то вѣковѣчному, тысячелѣтнему, тому, что приготовлялось въ мірѣ съ самого начала его цивилизаціи. Три идеи встаютъ передъ міромъ и, кажется, формулируются уже окончательно. Съ одной стороны,—съ краю Европы—идея католическая, осужденная, ждущая въ великихъ мукахъ и недоумѣніяхъ: быть ей иль не быть, жить ей еще или пришелъ ей конецъ. Я не про религію католическую одну говорю, а про всю *идею Католическую*, про участь націй, сложившихся подъ этой идеей въ продолженіи тысячелѣтія, проникнутыхъ ею насквозь. Въ этомъ смыслѣ, Франція напримѣръ, есть какъ бы полнѣйшее воплощеніе Католической идеи въ продолженіи вѣковъ, глава этой идеи, унаслѣдованной конечно еще отъ римлянъ и въ ихъ духѣ. Эта Франція даже и потерявшая теперь, *почти вся*, всякую религію, (іезуиты и атеисты тутъ все равно, все одно) закрывавшая не разъ свои церкви и даже подвергавшая однажды баллотировкѣ Собранія самого Бога, эта Франція, развившая изъ идей 89 года свой особенный французскій соціализмъ, т. е. успокоеніе и устройство человѣческаго общества уже безъ Христа, и внѣ Христа какъ хотѣло да не съумѣло устроить его во Христѣ католичество,—эта самая Франція и въ революціонерахъ Конвента, и въ атеистахъ своихъ, и въ соціалистахъ своихъ, и въ теперешнихъ комунарахъ своихъ,—все еще въ высшей степени есть и продолжаетъ быть націей католической вполнѣ и всецѣло, вся зараженная католическимъ духомъ и буквой его, провозглашающая устами самыхъ отъявленныхъ атеистовъ своихъ: Liberté, Egalité, Fraternité—ou la mort, т. е. точь въ точь какъ бы провозгласилъ это самъ папа, если бы только принужденъ былъ провозгласить и фор-

мулировать liberté, égalité, fraternité католическую — его слогомъ, его духомъ, настоящимъ слогомъ и духомъ папы среднихъ вѣковъ. Самый теперешній соціализмъ французскій, — повидимому горячій и роковой протестъ противъ идеи Католической всѣхъ измученныхъ и задушенныхъ ею людей и націй, желающихъ во чтобы то ни стало жить и продолжать жить уже безъ Католичества и безъ боговъ его,— самый этотъ протестъ, начавшійся фактически съ конца прошлаго столѣтія (но въ сущности гораздо раньше) есть ничто иное какъ лишь вѣрнѣйшее и неуклонное продолженіе Католической идеи, самое полное и окончательное завершеніе ея, роковое ея послѣдствіе, выработавшееся вѣками. Ибо соціализмъ французскій есть ничто иное, какъ *насильственное* единеніе человѣчества — идея еще отъ древняго Рима идущая, и потомъ всецѣло въ католичествѣ сохранившаяся. Такимъ образомъ идея освобожденія духа человѣческаго отъ Католичества облеклась тутъ именно въ самыя тѣсныя формы католическія, заимствованныя въ самомъ сердцѣ духа его, въ буквѣ его, въ матеріализмѣ его, въ деспотизмѣ его, въ нравственности его.

Съ другой стороны возстаетъ старый Протестантизмъ, протестующій противъ Рима вотъ уже девятнадцать вѣковъ, противъ Рима и идеи его, древней языческой и обновленной Католической, противъ міровой его мысли владѣть человѣкомъ на всей землѣ, и нравственно и матерьяльно, противъ цивилизаціи его,— протестующій еще со временъ Арминія и Тевтобургскихъ лѣсовъ. Это—Германецъ, вѣрящій слѣпо, что въ немъ лишь обновленіе человѣчества, а не въ цивилизаціи католической. Во всю исторію свою онъ только и грезилъ, только и жаждалъ объединенія своего для провозглашенія своей гордой идеи,—сильно формулировавшейся и объединившейся еще въ Лютерову ересь; а теперь, съ разгромомъ Франціи, передовой главнѣйшей и христіаннѣйшей Католической націи, пять лѣтъ тому назадъ,—германецъ увѣренъ уже въ своемъ торжествѣ всецѣло и въ томъ, что никто не можетъ стать вмѣсто него въ главѣ міра и его возрожденія. Вѣритъ онъ этому гордо и неуклонно; вѣритъ, что выше германскаго духа и слова нѣтъ инаго въ мірѣ и что Германія лишь одна можетъ изречь его. Ему смѣшно даже предположить, что есть хоть что нибудь въ мірѣ, даже въ зародышѣ только, что могло бы заключать въ себѣ хоть что-нибудь такое, чего бы не могла заключать въ себѣ предназначенная къ руководству міра Германія. Между тѣмъ очень не лишнее было бы замѣтить, хотя бы только въ скобкахъ, что во всѣ девятнадцать вѣковъ своего существованія Германія, только и дѣлавшая, что протестовавшая, сама своего *новаго слова* совсѣмъ еще не произнесла, а жила лишь все время однимъ отрицаніемъ и протестомъ противъ врага своего такъ, что напримѣръ весьма и весьма можетъ случиться такое странное обстоятельство, что когда Германія уже одержитъ побѣду окончательно и разрушитъ то, противъ чего девятнадцать вѣковъ протестовала, то вдругъ и ей придется умереть духовно самой, вслѣдъ за врагомъ своимъ, ибо не для чего будетъ ей жить, *не будетъ противъ чего протестовать*. Пусть это покамѣстъ моя химера, но зато Лютеровъ протестантизмъ уже фактъ: вѣра эта есть протестующая и лишь *отрицательная*, и чуть исчезнетъ съ земли Католичество, исчезнетъ за нимъ вслѣдъ и Протестанство навѣрно, потому что не

противъ чего будетъ протестовать, обратится въ прямой атеизмъ и тѣмъ кончится. Но это положимъ пока еще моя химера. Идею Славянскую Германецъ презираетъ также какъ и Католическую, съ тою только разницею, что послѣднюю онъ всегда цѣнилъ какъ сильнаго и могущественнаго врага, а Славянскую идею не только ни во что не цѣнилъ, но и не признавалъ ее даже вовсе до самой послѣдней минуты. Но съ недавнихъ поръ онъ уже начинаетъ коситься на Славянъ весьма подозрительно. Хоть ему и до сихъ поръ смѣшно предположить, что у нихъ могутъ быть тоже хоть какія нибудь цѣль и идея, какая-то тамъ надежда тоже „сказать что-то міру", но однако же съ самаго разгрома Франціи мнительныя подозрѣнія его усилились, а прошлогоднія и текущія событія ужь конечно не могли облегчить его недовѣрчивости. Теперь положеніе Германіи нѣсколько хлопотливое: во всякомъ случаѣ и прежде всякихъ Восточныхъ идей ей надо кончить свое дѣло на Западѣ. Кто станетъ отрицать, что Франція, недобитая Франція, не безпокоитъ и не безпокоила Германца во всѣ эти пять лѣтъ послѣ своего погрома именно тѣмъ, что онъ не добилъ ее. Въ семьдесятъ-пятомъ году это безпокойство достигло въ Берлинѣ чрезвычайнаго даже предѣла, и Германія навѣрно ринулась бы, пока есть еще время, добивать исконнаго своего врага, но помѣшали нѣкоторыя чрезвычайно сильныя обстоятельства. Теперь же, въ этомъ году, сомнѣнія нѣтъ, что Франція, усиливающаяся матеріально съ каждымъ годомъ, еще страшнѣе пугаетъ Германію, чѣмъ два года назадъ. Германія знаетъ, что врагъ не умретъ безъ борьбы, малотого, когда почувствуетъ, что оправился совершенно, то самъ задастъ битву, такъ что черезъ три года, черезъ пять лѣтъ, можетъ быть будетъ уже очень поздно для Германіи. И вотъ, въ виду того, что Востокъ Европы такъ всецѣло проникнутъ своей собственной, вдругъ возставшей, идеей, и что у него слишкомъ много теперь дѣла у себя самого—въ виду того весьма и весьма можетъ случиться, что Германія, почувствовавъ свои руки на время развязанными, бросится на Западнаго врага окончательно, на страшный кошмаръ ее мучающій и — все это даже можетъ случиться въ слишкомъ и слишкомъ недалекомъ будущемъ. Вообще же можно такъ сказать, что если на Востокѣ дѣла натянуты, тяжелы, то чуть-ли Германія не въ худшемъ еще положеніи. И чуть-ли у ней еще не болѣе опасеній и всякихъ страховъ въ виду, несмотря на весь ея непомѣрно гордый тонъ,—и это по крайней мѣрѣ намъ можно взять въ особенное вниманіе.

А между тѣмъ на Востокѣ дѣйствительно загорѣлась и засіяла небывалымъ и неслыханнымъ еще свѣтомъ третья міровая идея—идея Славянская, идея нарождающаяся, — можетъ быть третья грядущая возможность разрѣшенія судебъ человѣческихъ и Европы. Всѣмъ ясно теперь, что съ разрѣшеніемъ Восточнаго вопроса вдвинется въ человѣчество новый элементъ, новая стихія, которая лежала до сихъ поръ пассивно и косно, и которая, во всякомъ случаѣ и наименѣе говоря, не можетъ не повліять на міровыя судьбы чрезвычайно сильно и рѣшительно. Что эта за идея, что несетъ съ собою единеніе Славянъ?—все это еще слишкомъ неопредѣленно, но что дѣйствительно что-то должно быть внесено и сказано новое,—въ этомъ почти уже никто не сомнѣвается. И всѣ эти три огромныя мі-

ровыя идеи сошлись, въ развязкѣ своей, почти въ одно время. Все это ужь конечно не капризы, не война за какое нибудь наслѣдство или изъ за пререканій какихъ нибудь двухъ высокихъ дамъ, какъ въ прошломъ столѣтіи. Тутъ нѣчто всеобщее и окончательное, и хоть вовсе не рѣшающее *всѣ* судьбы человѣческія, но безъ сомнѣнія несущее съ собою начало конца всей прежней исторіи Европейскаго человѣчества, — начало разрѣшенія дальнѣйшихъ судебъ его, которыя въ рукахъ Божіихъ и въ которыхъ человѣкъ почти ничего угадать не можетъ, хотя и можетъ предчувствовать.

Теперь вопросъ невольно представляющійся всякому мыслящему человѣку: могутъ-ли такія событія остановиться въ своемъ теченіи? Могутъ-ли идеи такаго размѣра подчиняться мелкимъ, жидовствующимъ, третьестепеннымъ соображеніямъ? Можно-ли отдалить ихъ разрѣшеніе и полезно это или нѣтъ наконецъ? Мудрость безъ сомнѣнія должна хранить и ограждать націи и служить человѣколюбію и человѣчеству, но иныя идеи имѣютъ свою косную, могучую и всеувлекающую силу. Оторвавшуюся и падающую вершину скалы не удержишь рукой. У насъ, Русскихъ, есть конечно двѣ страшныя силы, стоящія всѣхъ остальныхъ во всемъ мірѣ, — это всецѣлость и духовная нераздѣльность милліоновъ народа нашего и тѣснѣйшее единеніе его съ Монархомъ. Послѣднее конечно неоспоримо, но идею народную не только не понимаютъ, но и не хотятъ совсѣмъ понять „ободнявшіе Петры наши“.

—

II.

Миражи. Штунда и Редстокисты.

Но одни ли „европействующіе“ и „ободнявшіе Петры“ не хотятъ понять? Есть и другіе, гораздо злокачественнѣе. „Петры“ признаютъ по крайней мѣрѣ наше народное движеніе въ этомъ году въ пользу славянъ, а тѣ нѣтъ. Петры даже хвалятъ это движеніе, по своему конечно, хотя многое имъ въ немъ не нравится, но тѣ самое движеніе отрицаютъ вопреки свидѣтельству всей Россіи: „не было дескать ничего да и только. Мало того что не было, но и не могло де быть“. „Народъ дескать нигдѣ не кричалъ и не заявлялъ, что войны хочетъ“. Да народъ нашъ никогда и не кричитъ и не заявляетъ, народъ нашъ разуменъ и тихъ, а къ тому же вовсе не хочетъ войны, вовсе даже, а лишь сочувствуетъ своимъ угнетеннымъ братьямъ за вѣру Христову отъ всей души и отъ горячаго сердца, но ужь коли надо будетъ, коли раздастся великое слово Царя, то весь пойдетъ, всей своей стомилліонной массой и сдѣлаетъ все что можетъ сдѣлать этакая стомилліонная масса, одушевленная однимъ порывомъ и въ согласіи какъ единъ человѣкъ. Такъ что этакую силу единенія, въ виду таинственнаго будущаго близкихъ судебъ всей Европы, нельзя не цѣнить и нельзя не созерцать передъ собою въ минуты нѣкоторыхъ невольныхъ соображеній и гаданій нашихъ. Да и Богъ съ ней съ войной; кто войны хочетъ, хотя, въ скобкахъ говоря, пролитая кровь „за великое дѣло любви“ много значитъ, многое очистить и омыть можетъ, многое можетъ вновь оживить и

многое, доселѣ приниженное и опакощенное въ душахъ нашихъ, вновь вознести.

Но это лишь „слова и мысли“. Я всего только говорилъ, что есть историческія событія, увлекающія все за собой и отъ которыхъ не избавишься ни волей, ни хитростью, точно также какъ не запретишь морскому приливу остановиться и возвратиться вспять. Но все же обиденъ этотъ торжествующій теперь, послѣ лѣтнихъ восторговъ цинизмъ, обидна эта радость цинизма, радость чему то гадкому, будто бы восторжествовавшему надъ восторгомъ людей, обидны эти торжествующія рѣчи людей, не то что ужь презирающихъ, но чуть-ли не совсѣмъ отрицающихъ даже весь народъ нашъ, и признающихъ въ немъ кажется, по прежнему, всего лишь одну косную массу и рабочія руки, точь въ точь какъ признавали это два вѣка сряду до великаго дня девятнадцатаго февраля. „Стану я подражать этому народу? Какая это у него идея, гдѣ вы ее отыскали?“— вотъ что слышишь теперь почти поминутно. Это невѣріе въ духовную силу народа есть конечно невѣріе и во всю Россію. Безъ сомнѣнія, замѣшалось тутъ чрезвычайно много всякихъ и разнообразныхъ причинъ, руководящихъ отрицателями, но вѣрите-ли—въ нихъ много и искренняго! А главное и прежде всего—совершенное незнаніе Россіи. Ну можно-ли представить себѣ, что иной изъ нихъ почти радъ нашей штундѣ, радъ для народа, для выгоды и для блага его: „все же-де это нѣсколько выше прежнихъ народныхъ понятій, все же это можетъ хоть нѣсколько облагородить народъ“. И не думайте чтобъ это были только рѣдкія и единичныя разсужденія. Кстати, что такое эта несчастная штунда? Нѣсколько русскихъ рабочихъ у нѣмецкимъ колонистовъ поняли, что нѣмцы живутъ богаче русскихъ и что это отъ того, что порядокъ у нихъ другой. Случившіеся тутъ пасторы разъяснили, что лучшіе эти порядки отъ того что вѣра другая. Вотъ и соединились кучки русскихъ темныхъ людей, стали слушать какъ толкуютъ Евангеліе, стали сами читать и толковать и—произошло то что всегда происходило въ такихъ случаяхъ. Несутъ сосудъ съ драгоцѣнною жидкостью, всѣ падаютъ ницъ, всѣ цалуютъ и обожаютъ сосудъ, заключающій эту драгоцѣнную живящую всѣхъ влагу, и вотъ вдругъ встаютъ люди и начинаютъ кричать: „слѣпцы! чего вы сосудъ цалуете: дорога лишь живительная влага въ немъ заключающаяся, дорого содержимое, а не содержащее, а вы цалуете стекло, простое стекло, обожаете сосудъ и стеклу приписываете всю святость, такъ что забываете про драгоцѣнное его содержимое! Идолопоклонники! Бросьте сосудъ, разбейте его, обожайте лишь живящую влагу, а не стекло!“ И вотъ разбивается сосудъ и живящая влага, драгоцѣнное содержимое, разливается по землѣ и исчезаетъ въ землѣ разумѣется. Сосудъ разбили и влагу потеряли. Но пока еще влага не ушла вся въ землю, подымается суматоха: чтобы что нибудь спасти что уцѣлѣло въ разбитыхъ черепкахъ, начинаютъ кричать что надо скорѣе новый сосудъ, начинаютъ спорить какъ и изъ чего его сдѣлать. Споръ начинаютъ уже *съ самаго начала*; и тотчасъ же, съ самыхъ первыхъ двухъ словъ споръ уходитъ въ букву. Этой буквѣ они готовы поклониться еще больше чѣмъ прежней, только бы поскорѣе добыть новый сосудъ; но споръ ожe-

сточается, люди расподаются на враждебныя между собою кучки и каждая кучка уноситъ для себя по нѣскольку капель остающейся драгоцѣнной влаги въ своихъ особенныхъ разнокалиберныхъ, отовсюду набранныхъ чашкахъ и уже не сообщается впредь съ другими кучками. Каждый своею чашкой хочетъ спастись и въ каждой отдѣльной кучкѣ начинаются опять новые споры. Идолопоклонство усиливается во столько разъ на сколько черепковъ разбился сосудъ. Исторія вѣчная, старая—престарая, начавшаяся гораздо раньше Мартына Ивановича Лютера, но по неизмѣннымъ историческимъ законамъ почти точь въ точь таже исторія и въ нашей штундѣ: извѣстно, что они уже распадаются, спорятъ о буквахъ, толкуютъ Евангеліе всякъ на свой страхъ и на свою совѣсть, и, главное, *съ самаго начала*, — бѣдный, несчастный, темный, народъ! При этомъ столько чистосердечія, столько добрыхъ начинаній, столько желанія выдержать даже хоть муки и при всемъ томъ однако—столько самой безпомощной глупости, столько маленькаго педантскаго лицемѣрія, самолюбія, усладительной гордости въ новомъ чинѣ „святыхъ“, даже плутовства и крючкотворства, а главное—все „съ самаго начала“, съ самаго т. е. сотворенія міра, съ того что такое есть человѣкъ и что женщина, что хорошо и что дурно и даже: есть ли Богъ или нѣтъ его? И какъ вы думаете: именно то что они такъ безпомощны и такъ принуждены начинать съ начала, именно это то и нравится многимъ и особенно нѣкоторымъ: „своимъ де умомъ начнутъ жить, стало быть, непремѣнно договорятся до чего нибудь“. Вотъ разсужденіе! Такъ что добытое вѣками драгоцѣнное достояніе, которое надо бы разъяснить этому темному народу въ его великомъ истинномъ смыслѣ, а не бросать въ землю, какъ ненужную старую ветошь прежнихъ вѣковъ, въ сущности пропало для него окончательно. Развитіе, свѣтъ, прогрессъ отдаляются опять для него на много назадъ, ибо наступитъ теперь для него уединенность, обособленность и закрытость раскольничества, а вмѣсто ожидаемыхъ „разумныхъ“ новыхъ идей, воздвигнутся лишь старые, древнѣйшіе, всѣмъ извѣстные и поганѣйшіе идолы, — и попробуйте-ка ихъ теперь сокрушить! А впрочемъ бояться штунды совсѣмъ нечего, хотя жалѣть ее очень можно. Эта штунда не имѣетъ никакого будущаго, широко не раздвинется, скоро остановится и навѣрно сольется съ которой нибудь изъ темныхъ сектъ народа русскаго, съ какой нибудь хлыстовщиной, — этой древнѣйшей сектой всего кажется міра, имѣющей безспорно свой смыслъ и хранящей его въ двухъ древнѣйшихъ атрибутахъ: верченіи и пророчествѣ. (Вѣдь и Тамплiеровъ судили за верченіе и пророчество, и квакеры вертятся и пророчествуютъ, и Пиѳія въ древности вертѣлась и пророчествовала, и у Татариновой вертѣлись и пророчествовали, и Редстокисты наши весьма можетъ быть кончатъ тѣмъ, что будутъ вертѣться, а пророчествуютъ они ужь, кажется, и теперь. Да не обижаются Редстокисты сравненіемъ. Кстати, многіе смѣются совпаденію появленія обѣихъ сектъ у насъ въ одно время: штунды въ черномъ народѣ и Редстокистовъ въ самомъ изящномъ обществѣ нашемъ. Между тѣмъ тутъ много и не смѣшнаго. Что же до совпаденія въ появленіи двухъ нашихъ новыхъ сектъ,—то ужь

безъ сомнѣнія онѣ вышли изъ одного и того же невѣжества, то есть изъ совершеннаго незнанія своей религіи.

III.

Ѳома Даниловъ, замученный русскій герой.

Въ прошломъ году, весною, было перепечатано во всѣхъ газетахъ извѣстіе, явившееся въ „Русскомъ Инвалидѣ“ о мученической смерти унтеръ-офицера 2-го Туркестанскаго стрѣлковаго баталіона, Ѳомы Данилова, захваченнаго въ плѣнъ Кипчаками и варварски умерщвленнаго ими послѣ многочисленныхъ и утонченнѣйшихъ истязаній, 21 ноября 1875 года, въ Маргеланѣ, за то что не хотѣлъ перейти къ нимъ въ службу и въ магометанство. Самъ ханъ обѣщалъ ему помилованіе, награду и честь, если согласится отречься отъ Христа. Даниловъ отвѣчалъ, что измѣнить онъ кресту не можетъ и, какъ царскій подданный, хотя и въ плѣну, долженъ исполнить къ Царю и къ христіанству свою обязанность. Мучители, замучивъ его до смерти, удивились силѣ его духа и назвали его батыремъ, т. е. по русски богатыремъ. Тогда это извѣстіе, хотя и сообщенное всѣми газетами, прошло какъ-то безъ особеннаго разговора въ обществѣ, да и газеты, сообщивъ его въ видѣ обыкновеннаго газетнаго entre-filet, не сочли нужнымъ *особенно* распространиться о немъ. Однимъ словомъ, съ Ѳомой Даниловымъ „было тихо“, какъ говорятъ на биржѣ. Потомъ, какъ извѣстно, наступило славянское движеніе, явились Черняевъ, Сербы, Кирѣевъ, пожертвованія, добровольцы, и объ Ѳомѣ замученномъ позабыли совсѣмъ, (т. е. въ газетахъ), и вотъ недавно только получились къ прежнему извѣстію дополнительныя подробности. Сообщаютъ опять, что Самарскій губернаторъ навелъ справки о семействѣ Данилова, происходившаго изъ крестьянъ села Кирсановки, Самарской губерніи, Бугурусланскаго уѣзда, и оказалось, что у него остались въ живыхъ жена Ефросинья 27 лѣтъ и дочь Улита шести лѣтъ, находившіяся въ бѣдственномъ положеніи. Имъ помогли по благородному почину Самарскаго губернатора, обратившагося къ нѣкоторымъ людямъ съ просьбою помочь вдовѣ и дочери замученнаго русскаго героя и къ самарскому губернскому земскому собранію съ предложеніемъ не пожелаетъ—ли оно помѣстить дочь Данилова стипендіаткой въ одно изъ учебныхъ заведеній. Затѣмъ собрали 1320 рублей и изъ нихъ шестьсотъ отложили дочери до совершеннолѣтія, а остальную сумму выдали самой вдовѣ на руки, а дочь Данилова приняли въ учебное заведеніе. Кромѣ того начальникъ Главнаго Штаба увѣдомилъ губернатора о всемилостивѣйше назначенной вдовѣ Данилова пожизненной пенсіи изъ Государственнаго Казначейства, по сто двадцати рублей въ годъ. Затѣмъ, — затѣмъ дѣло вѣроятно опять будетъ забыто въ виду текущихъ тревогъ, политическихъ опасеній, огромныхъ вопросовъ ждущихъ разрѣшенія, краховъ и пр. и пр.

О, я вовсе не хочу сказать, что наше общество отнеслось къ этому поразительному поступку равнодушно, какъ къ нестоящему вниманія. Фактъ лишь тотъ, что немного говорили, или лучше, почти никто не говорилъ объ этомъ *особенно*. Впрочемъ, можетъ быть

и говорили гдѣ нибудь про себя, у купцовъ, у духовныхъ напримѣръ, но не въ обществѣ, не въ интелигенціи нашей. Въ народѣ конечно эта великая смерть не забудется: этотъ герой принялъ муки за Христа и есть великій русскій; народъ это оцѣнитъ и не забудетъ, да и никогда онъ такихъ дѣлъ не забываетъ. И вотъ я какъ будто уже слышу нѣкоторые столь извѣстные мнѣ голоса: „Сила то конечно сила, и мы признаемъ это, но вѣдь все же — темная, проявившаяся слишкомъ ужь такъ сказать въ допотопныхъ, оказенившихся формахъ, а потому—что же намъ *особенно*-то говорить? Не нашего это міра; другое бы дѣло сила проявившаяся интелигентно, сознательно. Есть дескать и другіе страдальцы и другія силы, есть и идеи безмѣрно высшія — идея общечеловѣчности напримѣръ“...

Не смотря на эти разумные и интелигентные голоса мнѣ все же кажется позволительнымъ и вполнѣ извинительнымъ сказать нѣчто *особенное* и объ Даниловѣ; мало того, я даже думаю, что и самая интелигенція наша вовсе бы себя не столь унизила еслибъ отнеслась къ этому факту повнимательнѣе. Меня, напримѣръ, прежде всего удивляетъ, что не обнаружилось никакого удивленія; именно удивленія. Я не про народъ говорю: тамъ удивленія и не надо, въ немъ удивленія и не будетъ; поступокъ Ѳомы ему не можетъ казаться необыкновеннымъ, уже по одной великой вѣрѣ народа въ себя и въ душу свою. Онъ отзовется на этотъ подвигъ лишь великимъ чувствомъ и великимъ умиленіемъ. Но случись подобный фактъ въ Европѣ, т. е. подобный фактъ проявленія великаго духа, у англичанъ, у французовъ, у нѣмцевъ, и они навѣрно прокричали бы о немъ на весь міръ. Нѣтъ, послушайте, господа, знаете-ли какъ мнѣ представляется этотъ темный безвѣстный Туркестанскаго батальона солдатъ? Да вѣдь это такъ сказать—эмблема Россіи, всей Россіи, всей нашей народной Россіи, подлинный образъ ея, вотъ той самой Россіи, въ которой циники и премудрые наши отрицаютъ теперь великій духъ и всякую возможность подъема и проявленія великой мысли и великаго чувства. Послушайте, вѣдь вы все же не эти циники, вы всего только люди интелигентно—европействующіе, т. е. въ сущности предобрѣйшіе: вѣдь не отрицаете же и вы, что лѣтомъ народъ нашъ проявилъ мѣстами чрезвычайную силу духа: люди покидали свои дома и дѣтей и шли умирать за вѣру, за угнетенныхъ, Богъ знаетъ куда и Богъ знаетъ съ какими средствами, точь въ точь какъ первые крестоносцы девять столѣтій тому назадъ въ Европѣ,—тѣ самые крестоносцы, которыхъ появленіе вновь, Грановскій напримѣръ, считалъ бы чуть-ли не смѣшнымъ и обиднымъ „въ нашъ вѣкъ положительныхъ задачъ, прогресса“ и проч и пр. Пусть это лѣтнее движеніе наше по вашему было слѣпое и даже какъ бы не разумное, такъ сказать „крестоносное“, но вѣдь твердое же и великодушное, въ этомъ нельзя не сознаться если чуть-чуть по шире посмотрѣть. Просыпалась великая идея, вознесшая можетъ быть сотни тысячъ и милліоновъ душъ разомъ надъ косностью, цинизмомъ, развратомъ и безобразіемъ, въ которыхъ купались до того эти души. Вѣдь вы знаете, народъ нашъ считаютъ до сихъ поръ хоть и добродушнымъ и даже очень умственно-способнымъ, но все же темной стихійной массой, безъ сознанія, преданной поголовно поро-

камъ и предрасудкамъ, и почти сплошь безобразникомъ. Но видите-ли, я осмѣлюсь высказать одну даже такъ сказать аксіому, а именно: чтобъ судить о нравственной силѣ народа и о томъ къ чему онъ способенъ въ будущемъ, надо брать въ соображеніе не ту степень безобразія, до котораго онъ временно, и даже хотя бы и въ большинствѣ своемъ можетъ унизиться, а надо брать въ соображеніе лишь ту высоту духа, на которую онъ можетъ подняться, когда придетъ тому срокъ. Ибо безобразіе есть несчастье временное, всегда почти зависящее отъ обстоятельствъ предшествовавшихъ и преходящихъ, отъ рабства, отъ вѣковаго гнета, отъ загрубѣлости, а даръ великодушія есть даръ вѣчный, стихійный, даръ родившійся вмѣстѣ съ народомъ и тѣмъ болѣе чтимый если и въ продолженіи вѣковъ рабства, тяготы и нищеты онъ все таки уцѣлѣетъ, неповрежденный, въ сердцѣ этого народа.

Ѳома Даниловъ съ виду можетъ былъ однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ и непримѣтныхъ экземпляровъ народа русскаго, непримѣтныхъ какъ самъ народъ русскій. (О, онъ для многихъ еще совсѣмъ непримѣтенъ!). Можетъ быть въ свое время не прочь былъ погулять, выпить, можетъ быть даже не очень молился, хотя конечно Бога всегда помнилъ. И вотъ вдругъ велятъ ему перемѣнить вѣру, а не то—мученическая смерть. При этомъ надо вспоминать что такое бываютъ эти муки, эти азіатскія муки! Предъ нимъ самъ ханъ, который обѣщаетъ ему свою милость, и Даниловъ отлично понимаетъ, что отказъ его непремѣнно раздражитъ хана, раздражитъ и самолюбіе Кипчаковъ тѣмъ, „что смѣетъ дескать христіанская собака такъ презирать исламъ“. Но не смотря на все что его ожидаетъ, этотъ непримѣтный русскій человѣкъ принимаетъ жесточайшія муки и умираетъ удививъ истязателей. Знаете что, господа, вѣдь изъ насъ никто бы этого не сдѣлалъ. Пострадать на виду иногда даже и красиво, но вѣдь тутъ дѣло произошло въ совершенной безвѣстности, въ глухомъ углу; никтото не смотрѣлъ на него; да и самъ Ѳома не могъ думать и навѣрно не предполагалъ, что его подвигъ огласится по всей землѣ Русской. Я думаю, что иные великомученики, даже и первыхъ вѣковъ христіанскихъ, отчасти все же были утѣшены и облегчены, принимая свои муки, тѣмъ убѣжденіемъ, что смерть ихъ послужитъ примѣромъ для робкихъ и колеблющихся и еще большихъ привлечетъ къ Христу. Для Ѳомы даже и этого великаго утѣшенія быть не могло: кто узнаетъ, онъ былъ одинъ среди мучителей. Былъ онъ еще молодъ, тамъ гдѣ-то у него молодая жена и дочь, никогда то онъ ихъ теперь не увидитъ, но пусть: „гдѣ бы я ни былъ противъ совѣсти моей не поступлю и мученія приму“,—подлинно ужь правда для правды, а не для красы! И никакой кривды, никакого софизма съ совѣстью: „Приму де исламъ для виду, соблазна не сдѣлаю, никто вѣдь не увидитъ, потомъ отмолюсь, жизнь велика, въ церковь пожертвую, добрыхъ дѣлъ надѣлаю“. Ничего этого не было, честность изумительная, первоначальная, стихійная. Нѣтъ, господа, врядъ ли мы такъ поступили бы!

Но то мы, а для народа нашего, повторю, подвигъ Данилова можетъ быть даже и не удивителенъ. Въ томъ-то и дѣло, что тутъ именно—какъ бы портретъ, какъ бы всецѣлое изображе-

ніе народа русскаго, тѣмъ то все это и дорого для меня, и для васъ разумѣется. Именно народъ нашъ любитъ точно также правду для правды, а не для красы. И пусть онъ грубъ, и безобразенъ, и грѣшенъ, и непримѣтенъ, но приди его срокъ и начнись дѣло всеобщей всенародной правды и васъ изумитъ та степень свободы духа, которую проявитъ онъ передъ гнетомъ матеріализма, страстей, денежной и имущественной похоти и даже передъ страхомъ самой жесточайшей мученической смерти. И все это онъ сдѣлаетъ и проявитъ просто, твердо, не требуя ни наградъ, ни похвалъ, собою не красуясь: „Во что вѣрую то и исповѣдую“. Тутъ даже самые ожесточенные спорщики на счетъ „ретроградства“ идеаловъ народныхъ не могутъ имѣть никакого слова, ибо дѣло вовсе уже не въ томъ: ретроградenъ идеалъ или нѣтъ? А лишь въ способности проявленія величайшей воли ради подвига великодушія. (Эту смѣшную идейку о „ретроградствѣ“ идеаловъ я ввелъ здѣсь ради полнаго безпристрастія).

Знаете, господа, надо ставить дѣло прямо: я прямо полагаю, что намъ вовсе и нечему учить такой народъ. Это софизмъ разумѣется, но онъ иногда приходитъ на умъ. О, конечно мы образованнѣе его, но чему мы однако научимъ его — вотъ бѣда! Я разумѣется не про ремесла говорю, не про технику, не про математическія знанія,—этому и нѣмцы заѣзжіе по найму научатъ если мы не научимъ, нѣтъ, а мы то чему? Мы вѣдь Русскіе, братья этому народу, а стало быть обязаны *просвѣтить* его. Нравственное — то, высшее — то что ему передадимъ, что разъяснимъ и чѣмъ освѣтимъ эти „темныя“ души? Просвѣщеніе народа это, господа, наше право и наша обязанность,—право это въ высшемъ христіанскомъ смыслѣ: кто знаетъ доброе, кто знаетъ истинное слово жизни, тотъ долженъ, обязанъ сообщить его незнающему, блуждающему во тьмѣ брату своему, такъ по Евангелію. Ну и что же мы сообщимъ блуждающему чего бы онъ самъ не зналъ лучше нашего? Прежде всего, конечно, „что ученіе полезно и что надо учиться, такъ-ли? Но народъ еще прежде нашего сказалъ что „ученье — свѣтъ, неученье—тьма“. Уничтоженію предразсудковъ напримѣръ, низверженію идоловъ? Но вѣдь въ насъ самихъ такая бездна предразсудковъ, а идоловъ мы столько себѣ наставили, что народъ прямо скажетъ намъ: „Врачу—изцѣлися самъ“. (А идоловъ нашихъ онъ отлично умѣетъ уже разглядывать!) Что же, самоуваженію, собственному достоинству? Но народъ нашъ, весь, въ цѣломъ своемъ, гораздо болѣе нашего уважаетъ себя, гораздо глубже нашего чтитъ и понимаетъ свое достоинство. Въ самомъ дѣлѣ, мы самолюбивы ужасно, но вѣдь мы совсѣмъ не уважаемъ себя, и собственнаго достоинства въ насъ вовсе нѣтъ никакого и даже ни въ чемъ. Ну намъ ли, напримѣръ, научить народъ уваженію къ чужимъ убѣжденіямъ? Народъ нашъ доказалъ еще съ Петра Великаго—уваженіе къ чужимъ убѣжденіямъ, а мы и между собою не прощаемъ другъ другу ни малѣйшаго отклоненія въ убѣжденіяхъ нашихъ и чуть-чуть несогласныхъ съ нами считаемъ уже прямо за подлецовъ, забывая, что кто такъ легко склоненъ терять уваженіе къ другимъ, тотъ прежде всего не уважаетъ себя. Ну намъ ли учить народъ вѣрѣ въ

себя самого и въ свои силы? У народа есть Ѳомы Даниловы и ихъ тысячи, а мы совсѣмъ и не вѣримъ въ русскія силы, да и невѣріе. это считаемъ за высшее просвѣщеніе и чуть не за доблесть. Ну чему же наконецъ мы научить можемъ? Мы гнушаемся, до злобы почти, всѣмъ тѣмъ что любитъ и чтитъ народъ нашъ и къ чему рвется его сердце. Ну какіе же мы народолюбцы? Возразятъ, что тѣмъ больше стало быть любимъ народъ коли гнушаемся его невѣжествомъ желая ему лучшаго. О, нѣтъ господа, совсѣмъ нѣтъ: еслибъ мы вправду и на дѣлѣ любили народъ, а не въ статейкахъ и книжкахъ, то мы бы поближе подошли къ нему и озаботились-бы изучить то, что́ теперь совсѣмъ на обумъ, по Европейскимъ шаблонамъ, желаемъ въ немъ истребить: тогда можетъ и сами научились бы столь многому, чего и представить теперь даже не можемъ.

Есть у насъ впрочемъ одно утѣшеніе, одна великая наша гордость передъ народомъ нашимъ, а потому-то мы такъ и презираемъ его: это то, что онъ національненъ и стоитъ на томъ изо всей силы, а мы—общечеловѣческихъ убѣжденій, да и цѣль свою поставили въ общечеловѣчности, а стало быть безмѣрно надъ нимъ возвысились. Ну вотъ въ этомъ и весь раздоръ нашъ, весь и разрывъ съ народомъ, и я прямо провозглашаю: уладь мы этотъ пунктъ, найди мы точку примиренія и разомъ кончилась бы вся наша рознь съ народомъ. А вѣдь этотъ пунктъ есть, вѣдь его найти чрезвычайно легко. Рѣшительно повторяю, что самыя даже радикальныя несогласія наши въ сущности одинъ лишь миражъ.

Но что же это за пунктъ примиренія?

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Примирительная мечта внѣ науки.

И прежде всего выставляю самое спорное и самое щекотливое положеніе и съ него начинаю:

„Всякій великій народъ вѣритъ и долженъ вѣрить, если только хочетъ быть долго живъ, что въ немъ-то, и только въ немъ одномъ, и заключается спасеніе міра, что живетъ онъ на то, чтобъ стоять во главѣ народовъ, пріобщить ихъ всѣхъ къ себѣ во едино и вести ихъ, въ согласномъ хорѣ, къ окончательной цѣли всѣмъ имъ предназначенной“.

Я утверждаю, что такъ было со всѣми великими націями міра, древнѣйшими и новѣйшими, что только эта лишь вѣра и возвышала ихъ до возможности, каждую, имѣть, въ свои сроки, огромное міровое вліяніе на судьбы человѣчества. Такъ безспорно было съ древнимъ Римомъ, такъ потомъ было съ Римомъ въ католическое время его существованія. Когда католическую идею его унаслѣдовала

Франція, то тоже самое сталось и съ Франціей и, впродолженіи почти двухъ вѣковъ, Франція, вплоть до самаго недавняго погрома и унынія своего, все время и безспорно—считала себя во главѣ міра, по крайней мѣрѣ нравственно, а временами и политически, предводительницей хода его и указательницей его будущаго. Но о томъ же мечтала всегда и Германія, выставившая противъ міровой католической идеи и ея авторитета знаменемъ своимъ Протестантизмъ и безконечную свободу совѣсти и изслѣдованія. Повторяю, тоже бываетъ и со всѣми великими націями, *болѣе или менѣе*, въ зенитѣ развитія ихъ. Мнѣ скажутъ, что все это невѣрно, что это ошибка, и укажутъ напримѣръ на собственное *сознаніе* этихъ же самыхъ народовъ, на сознаніе ихъ ученыхъ и мыслителей, писавшихъ именно о совокупномъ значеніи европейскихъ націй, участвовавшихъ купно въ созданіи и завершеніи европейской цивилизаціи, и я разумѣется отрицать такаго сознанія не буду. Но не говоря уже о томъ, что такіе окончательные выводы сознанія и вообще составляютъ какъ бы уже конецъ живой жизни народовъ, укажу хотя бы лишь на то, что самые то эти мыслители и сознаватели, какъ бы тамъ ни писали о міровой гармоніи націй, все же, въ тоже самое время, и чаще всего, непосредственнымъ, живымъ и искреннимъ чувствомъ *продолжали вѣровать*, точь въ точь какъ и массы народа ихъ, что въ этомъ хорѣ націй, составляющихъ міровую гармонію и выработанную уже сообща цивилизацію,—они (т. е. французы, напримѣръ) и есть голова всего единенія, самые передовые, тѣ самые, которымъ предназначено вести, а тѣ только слѣдуютъ за ними. Что они, положимъ, если и позаимствуютъ у тѣхъ народовъ что нибудь, то все же немножко; но за то тѣ народы, напротивъ, возьмутъ у нихъ все, все главнѣйшее, и только ихъ духомъ и ихъ идеей жить могутъ, да и не могутъ иначе сдѣлать, какъ сопричаститься ихъ духу въ концѣ концовъ и слиться съ нимъ рано или поздно. Вотъ и въ теперешней Франціи, уже унылой и раздробленной духовно есть и теперь еще одна изъ такихъ идей, представляющая новый, но по нашему совершенно естественный фазисъ ея же прежней міровой католической идеи и развитіе ея, и чуть не половина французовъ вѣритъ и теперь, что въ ней-то и кроется спасеніе, не только ихъ, но и міра, — это именно ихъ французскій соціализмъ. Идея эта, т. е. ихній соціализмъ, конечно ложная и отчаянная, но не въ качествѣ ея теперь дѣло, а въ томъ, что она теперь существуетъ, живетъ живой жизнью, и что въ исповѣдующихъ ее нѣтъ сомнѣнія и унынія, какъ въ остальной огромной части Франціи. Съ другой стороны взгляните на каждаго почти англичанина, высшаго или низшаго типа, лорда или работника, ученаго или необразованнаго, и вы убѣдитесь, что каждый англичанинъ прежде всего старается быть англичаниномъ, сохраниться въ видѣ англичанина во всѣхъ фазисахъ своей жизни, частной и общественной, политическоой и общечеловѣческой, и даже любить человѣчество старается не иначе, какъ въ видѣ англичанина. Мнѣ скажутъ, что еслибъ даже и такъ, еслибъ и было все это какъ я утверждаю, то всетаки такое самообольщеніе и самомнѣніе было бы даже унизительно для тѣхъ великихъ народовъ, умалило бы значеніе ихъ эгоизмомъ,

нелѣпымъ шовинизмомъ, и не то чтобы придало имъ жизненной силы, а напротивъ, повредило бы и растлило бы ихъ жизнь въ самомъ началѣ. Скажутъ, что подобныя, безумныя и гордыя идеи достойны не подражанія, а напротивъ искорененія свѣтомъ разума, уничтожающаго предразсудки. Положимъ что съ одной стороны это очень правда; но все же тутъ надо непремѣнно посмотрѣть и съ другой стороны и тогда выйдетъ не только не унизительно, а даже совсѣмъ напротивъ. Что въ томъ, что не жившій еще юноша мечтаетъ про себя современемъ стать героемъ? Повѣрьте что такія, пожалуй гордыя и заносчивыя мечты могутъ быть гораздо живительнѣе и полезнѣе этому юношѣ, чѣмъ иное благоразуміе того отрока, который уже въ шестнадцать лѣтъ вѣритъ премудрому правилу, что „счастье лучше богатырства“. Повѣрьте, что жизнь этого юноши даже послѣ прожитыхъ уже бѣдствій и неудачъ, въ цѣломъ, будетъ все таки краше, чѣмъ успокоенная жизнь мудраго товарища дѣтства его, хотя бы тому всю жизнь суждено было сидѣть на бархатѣ. Такая вѣра въ себя не безнравственна и вовсе не пошлое самохвальство. Такъ точно и въ народахъ: пусть есть народы благоразумные, честные и умѣренные, спокойные, безъ всякихъ порывовъ, торговцы и кораблестроители, живущіе богато и съ чрезвычайною опрятностью; ну и Богъ съ ними, всеже далеко они не пойдутъ; это непремѣнно выйдетъ средина, которая ничѣмъ не сослужитъ человѣчеству: этой энергіи въ нихъ нѣтъ, великаго самомнѣнія этого въ нихъ нѣтъ, трехъ этихъ шевелящихся китовъ подъ ними нѣтъ, на которыхъ стоятъ всѣ великіе народы. Вѣра въ то, что хочешь и *можешь* сказать послѣднее слово міру, что обновишь наконецъ его избыткомъ живой силы своей, вѣра въ святость своихъ идеаловъ, вѣра въ силу своей любви и жажды служенія человѣчеству, — нѣтъ такая вѣра есть залогъ самой высшей жизни націй и только ею они и принесутъ всю ту пользу человѣчеству, которую предназначено имъ принести, всю ту часть жизненной силы своей и органической идеи своей, которую предназначено имъ самой природой, при созданіи ихъ, удѣлить въ наслѣдство грядущему человѣчеству. Только сильная такой вѣрой нація и имѣетъ право на высшую жизнь. Древній легендарный рыцарь вѣрилъ, что предъ нимъ падутъ всѣ препятствія, всѣ призраки и чудовища, и что онъ побѣдитъ все и всѣхъ, и всего достигнетъ, если только вѣрно сохранитъ свой обѣтъ „справедливости, цѣломудрія и нищеты“. Вы скажете, что все это легенды и пѣсни, которымъ можетъ вѣрить одинъ Донкихотъ, и что совсѣмъ не таковы законы дѣйствительной жизни націй. Ну такъ я васъ, господа, нарочно поймаю и уличу, что и вы такіе же Донъ Кихоты, что у васъ самихъ есть такая же идея, которой вы вѣрите и черезъ которую хотите обновить человѣчество!

Въ самомъ дѣлѣ, чему вы вѣрите? Вы вѣрите (да и я съ вами) въ общечеловѣчность, т. е. въ то, что падутъ когда нибудь, передъ свѣтомъ разума и сознанія, естественныя преграды и предрасудки, раздѣляющія до сихъ поръ свободное общеніе націй эгоизмомъ національныхъ требованій, и что тогда только народы заживутъ однимъ духомъ и ладомъ какъ братья, разумно и любовно стремясь къ общей гармоніи. Чтожъ, господа, что можетъ быть

выше и святѣе этой вѣры вашей? И главное вѣдь то, что вѣры этой вы нигдѣ въ мірѣ болѣе не найдете, ни у какого, напримѣръ, народа въ Европѣ, гдѣ личности націй чрезвычайно рѣзко очерчены, гдѣ если есть эта вѣра, то не иначе какъ на степени какого нибудь еще умозрительнаго только сознанія, положимъ пылкаго и пламеннаго, но все же не болѣе какъ кабинетнаго. А у васъ, господа, то есть не то что у васъ, а у насъ, у насъ всѣхъ, русскихъ,—эта вѣра есть вѣра всеобщая, живая, главнѣйшая; всѣ у насъ этому вѣрятъ, и сознательно и просто, и въ интилигентномъ мірѣ и живымъ чутьемъ въ простомъ народѣ, которому и религія его повелѣваетъ этому самому вѣрить. Да, господа, вы думали что вы только одни „общечеловѣки“ изъ всей интилигенціи русской, а остальные только славянофилы да націоналисты? Такъ вотъ нѣтъ же: славянофилы то и націоналисты вѣрятъ точь въ точь тому же самому какъ и и вы, да еще крѣпче вашего!

Возьму только однихъ славянофиловъ: вѣдь что провозглашали они устами своихъ передовыхъ дѣятелей, основателей и представителей своего ученія? Они прямо, въ ясныхъ и точныхъ выводахъ, заявляли, что Россія, вкупѣ со славянствомъ и во главѣ его, скажетъ величайшее слово всему міру, которое тотъ когда либо слышалъ и что это слово именно будетъ завѣтомъ общечеловѣческаго единенія, и уже не въ духѣ личнаго эгоизма, которымъ люди и націи, искуственно и неестественно единятся теперь въ своей цивилизаціи, изъ борьбы за существованіе, положительной наукой опредѣляя свободному духу нравственныя границы, въ тоже время роя другъ другу ямы, произнося другъ на друга ложь, хулу и клевету. Идеаломъ славянофиловъ было единеніе въ духѣ истинной широкой любви, безъ лжи и матеріализма и на основаніи личнаго великодушнаго примѣра, который предназначено дать собою русскому народу во главѣ свободнаго всеславянскаго единенія Европѣ. Вы скажете мнѣ, что вы вовсе не тому вѣрите, что все это кабинетныя умозрѣнія. Но дѣло тутъ вовсе не въ вопросѣ: какъ кто вѣруетъ, а въ томъ что всѣ у насъ, не смотря на всю разноголосицу все же сходятся и сводятся къ этой одной окончательной общей мысли общечеловѣческаго единенія. Это фактъ не подлежащій сомнѣнію и самъ въ себѣ удивительный, потому что, на степени такой живой и главнѣйшей потребности, этого чувства нѣтъ еще нигдѣ ни въ одномъ народѣ. Но если такъ, то вотъ и у насъ стало быть, у насъ всѣхъ, есть твердая и опредѣленная національная идея; именно *національная*. Слѣдовательно, если національная идея русская есть, въ концѣ концовъ, лишь всемірное общечеловѣческое единеніе, то значитъ вся наша выгода въ томъ, чтобы всѣмъ, прекративъ всѣ раздоры до времени, стать поскорѣе русскими и національными. Все спасеніе наше лишь въ томъ, чтобъ не спорить заранѣе о томъ какъ осуществится эта идея и въ какой формѣ, въ вашей или въ нашей, а въ томъ чтобъ изъ кабинета всѣмъ вмѣстѣ перейти прямо къ дѣлу.

Но вотъ тутъ-то и пунктъ.

II.

Мы въ Европѣ лишь стрюцкіе.

Вѣдь вы какъ переходили къ дѣлу? Вы вѣдь давно начали, очень давно, но что однако вы сдѣлали для обще-

D. 70-11

человѣчности, т. е. для торжества вашей идеи? Вы начали съ безцѣльнаго скитальчества по Европѣ при алчномъ желаніи переродиться въ европейцевъ, хотя бы по виду только. Цѣлое восемнадцатое столѣтіе мы только и дѣлали, что пока лишь видъ перенимали. Мы нагоняли на себя европейскіе вкусы, мы даже ѣли всякую пакость, стараясь не морщиться: „вотъ, дескать, какой я англичанинъ, ничего безъ кайенскаго перцу ѣсть не могу". Вы думаете я издѣваюсь? Ничуть. Я слишкомъ понимаю, что иначе и нельзя было начать. Еще до Петра, при московскихъ еще царяхъ и патріархахъ одинъ тогдашній молодой московскій франтъ, изъ передовыхъ, надѣлъ французскій костюмъ и къ боку прицѣпилъ европейскую шпагу. Мы именно должны были начать съ презрѣнія къ своему и къ своимъ, и если пробыли цѣлые два вѣка на этой точкѣ, не двигаясь ни взадъ ни впередъ, то вѣроятно таковъ ужь былъ нашъ срокъ отъ природы. Правда, мы и двигались: презрѣніе къ своему и къ своимъ все болѣе и болѣе возрастало, особенно когда мы посерьезнѣе начали понимать Европу. Въ Европѣ насъ, впрочемъ, никогда не смущали рѣзкія разъединенія національностей и рѣзко опредѣлившіеся типы народныхъ характеровъ. Мы съ того и начали, что прямо „сняли всѣ противуположности" и получили общечеловѣческій типъ „европейца"—т. е. съ самаго начала подмѣтили *общее*, всѣхъ ихъ связующее,—это очень характерно. Затѣмъ, съ теченіемъ времени поумнѣвъ еще болѣе, мы прямо ухватились за цивилизацію и тотчасъ же увѣровали, слѣпо и преданно, что въ ней-то и заключается то „всеобщее", которому предназначено соединить человѣчество воедино. Даже европейцы удивлялись, глядя на насъ, на чужихъ и пришельцевъ, этой восторженной вѣрѣ нашей, тѣмъ болѣе что сами они, увы, стали ужь и тогда по маленьку, терять эту вѣру въ себя. Мы съ восторгомъ встрѣтили пришествіе Руссо и Вольтера, мы съ путешествующимъ Карамзинымъ умилительно радовались созванію „Національныхъ Штатовъ" въ 89 году, и если мы и приходили потомъ въ отчаяніе, въ концѣ первой четверти уже нынѣшняго вѣка, вмѣстѣ съ передовыми европейцами надъ ихъ погибшими мечтами и разбитыми идеалами, то вѣры нашей все таки не потеряли и даже самихъ европейцевъ утѣшали. Даже самые „бѣлые" изъ русскихъ у себя въ отечествѣ становились въ Европѣ тотчасъ же красными—чрезвычайно характерная тоже черта. Затѣмъ, въ половинѣ текущаго столѣтія, нѣкоторые изъ насъ удостоились пріобщиться къ французскому соціализму и приняли его, безъ малѣйшихъ колебаній, за конечное разрѣшеніе всечеловѣческаго единенія, т. е. за достиженіе всей увлекавшей насъ доселѣ мечты нашей. Такимъ образомъ, за достиженіе цѣли мы приняли то, что составляло верхъ эгоизма, верхъ безчеловѣчія, верхъ экономической безтолковщины и безурядицы, верхъ клеветы на природу человѣческую, верхъ уничтоженія всякой свободы людей, но это насъ не смущало нисколько. Напротивъ, видя грустное недоумѣніе иныхъ глубокихъ европейскихъ мыслителей, мы съ совершенною развязностью немедленно обозвали ихъ подлецами и тупицами. Мы вполнѣ повѣрили, да и теперь еще вѣримъ, что положительная наука вполнѣ способна опредѣлить *нравственныя* границы между личностями единицъ и націй, (какъ будто наука, — еслибъ

4951

инв. 10112

и могла это она сдѣлать,—можетъ открыть эти тайны раньше *завершенія опыта*, т. е. раньше завершенія всѣхъ судебъ человѣка на землѣ). Наши помѣщики продавали своихъ крѣпостныхъ крестьянъ и ѣхали въ Парижъ издавать соціальные журналы, а наши Рудины умирали на баррикадахъ. Тѣмъ временемъ мы до того уже оторвались отъ своей земли русской, что уже утратили всякое понятіе о томъ, до какой степени такое ученіе рознится съ душой народа русскаго. Впрочемъ, русскій народный характеръ мы не только считали ни во что, но и не признавали въ народѣ никакого характера. Мы забыли и думать о немъ и съ полнымъ деспотическимъ спокойствіемъ были убѣждены (не ставя и вопроса), что народъ нашъ тотчасъ приметъ все, что мы ему укажемъ, т. е. въ сущности прикажемъ. На этотъ счетъ у насъ всегда ходило нѣсколько смѣшнѣйшихъ анекдотовъ о народѣ. Наши общечеловѣки пребыли къ своему народу вполнѣ помѣщиками, и даже послѣ крестьянской реформы.

—

И чего же мы достигли? Результатовъ странныхъ: главное, всѣ на насъ въ Европѣ смотрятъ съ насмѣшкой, а на лучшихъ и безспорно умныхъ русскихъ въ Европѣ смотрятъ съ высокомѣрнымъ снисхожденіемъ. Не спасала ихъ отъ этого высокомѣрнаго снисхожденія даже и самая эмиграція изъ Россіи, т. е. уже политическая эмиграція и полнѣйшее отъ Россіи отреченіе. Не хотѣли европейцы насъ почесть за своихъ ни за что, ни за какія жертвы и ни въ какомъ случаѣ: Grattez, дескать, le russe et vous verrez le tartare, и такъ и доселѣ. Мы у нихъ въ пословицу вошли. И чѣмъ больше мы имъ въ угоду презирали нашу національность, тѣмъ болѣе они презирали насъ самихъ. Мы виляли предъ ними, мы подобострастно исповѣдовали имъ наши „европейскіе“ взгляды и убѣжденія, а они свысока насъ не слушали и обыкновенно прибавляли съ учтивой усмѣшкой, какъ бы желая поскорѣе отвязаться, что мы это все у нихъ „не такъ поняли“. Они именно удивлялись тому, какъ это мы, будучи такими татарами, (les tartares) никакъ не можемъ стать русскими; мы же никогда не могли растолковать имъ, что хотимъ быть не русскими, а общечеловѣками. Правда, въ послѣднее время они что-то даже поняли. Они поняли что мы чего-то хотимъ, чего-то имъ страшнаго и опаснаго; поняли что насъ много, восемьдесятъ милліоновъ, что мы знаемъ и понимаемъ всѣ европейскія идеи, а что они нашихъ русскихъ идей не знаютъ, а если и узнаютъ, то не поймутъ; что мы говоримъ на всѣхъ языкахъ, а что они говорятъ лишь на однихъ своихъ, — ну и многое еще они стали смѣкать и подозрѣвать. Кончилось тѣмъ, что они прямо обозвали насъ врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизаціи. Вотъ какъ они поняли нашу страстную цѣль стать общечеловѣками!

А между тѣмъ намъ отъ Европы никакъ нельзя отказаться. Европа намъ второе отечество, — я первый страстно исповѣдую это и всегда исповѣдовалъ. Европа намъ *почти* такъ же *всѣмъ* дорога какъ Россія; въ ней все Афетово племя, а наша идея — объединеніе всѣхъ націй этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. Какже быть?

Стать русскими во первыхъ и прежде всего. Если общечеловѣчность есть идея національная русская, то прежде

всего надо каждому стать русскимъ, т. е. самимъ собой, и тогда съ перваго шагу все измѣнится. Стать русскимъ значитъ перестать презирать народъ свой. И какъ только европеецъ увидитъ, что мы начали уважать народъ нашъ и національность нашу, такъ тотчасъ же начнетъ и онъ насъ самихъ уважать. И дѣйствительно: чѣмъ сильнѣе и самостоятельнѣе развились бы мы въ національномъ духѣ нашемъ, тѣмъ сильнѣе и ближе отозвались бы европейской душѣ, и породнившись съ нею, стали бы тотчасъ ей понятнѣе. Тогда не отвертывались бы отъ насъ высокомѣрно, а выслушивали бы насъ. Мы и на видъ тогда станемъ совсѣмъ другіе. Ставъ самими собой, мы получимъ наконецъ обликъ человѣческій, а не обезъяній. Мы получимъ видъ свободнаго существа, а не раба, не лакея, не Потугина; насъ сочтутъ тогда за людей, а не за международную общмыгу, не за стрюцкихъ европеизма, либерализма и соціализма. Мы и говорить будемъ съ ними умнѣе теперешняго, потому что въ народѣ нашемъ и въ духѣ его отыщемъ новыя слова, которыя ужь непремѣнно станутъ европейцамъ понятнѣе. Да и сами мы поймемъ тогда что многое изъ того, что мы презирали въ народѣ нашемъ—есть не тьма, а именно свѣтъ, не глупость а именно умъ, а понявъ это, мы непремѣнно произнесемъ въ Европѣ такое слово, котораго тамъ еще не слыхали. Мы убѣдимся тогда, что настоящее соціальное слово несетъ въ себѣ никто иной какъ народъ нашъ, что въ идеѣ его, въ духѣ его заключается живая потребность всеединенія человѣческаго, всеединенія уже съ полнымъ уваженіемъ къ національнымъ личностямъ и къ сохраненію ихъ, къ сохраненію полной свободы людей и съ указаніемъ въ чемъ именно эта свобода и заключается,—единеніе любви, *гарантированное* уже дѣломъ, живымъ примѣромъ, потребностью на дѣлѣ истиннаго братства, а не гильотиной, не милліонами отрубленныхъ головъ...

А впрочемъ, неужели и впрямь я хотѣлъ кого убѣдить. Это была шутка. Но—слабъ человѣкъ: авось прочтетъ кто-нибудь изъ подростковъ, изъ юнаго поколѣнія...

III.

Русская Сатира. „Новь“. „Послѣднія пѣсни“. Старыя воспоминанія.

Занимался я въ этотъ мѣсяцъ и литературой, то есть бельлетристикой, „изящной литературой“. и кое-что прочелъ съ увлеченіемъ. Кстати, недавно прочелъ я одно иностранное мнѣніе о русской сатирѣ, т. е. о современной нашей сатирѣ, теперешней. Оно высказано было во Франціи. Замѣчателенъ тутъ одинъ выводъ,—забылъ подлинныя слова, но вотъ смыслъ: „Русская сатира какъ бы боится хорошаго поступка въ русскомъ обществѣ. Встрѣтивъ подобный поступокъ она приходитъ въ безпокойство и не успокоивается до тѣхъ поръ пока не пріищетъ гдѣ нибудь, въ подкладкѣ этого поступка, подлеца. Тутъ она тотчасъ обрадуется и закричитъ: „Это вовсе не хорошій поступокъ, радоваться совсѣмъ нечему, видите сами тутъ тоже подлецъ сидитъ!“

Справедливо ли это мнѣніе? Не вѣрю чтобъ было справедливо. Знаю только что сатира у насъ имѣетъ блестящихъ представителей и въ большомъ ходу. Публика очень любитъ сатиру и однако, мое убѣжденіе по крайней мѣрѣ, что таже самая публика

несравненно больше любитъ положительную красоту, алчетъ и жаждетъ ея. Графъ Левъ Толстой безъ сомнѣнія любимѣйшій писатель русской публики всѣхъ оттѣнковъ.

Сатира наша, какъ ни блестяща она, дѣйствительно страдаетъ нѣкоторою неопредѣленностью—вотъ что развѣ можно про нее сказать. Положительно нельзя иногда представить въ цѣломъ, въ общемъ: что именно хочется сказать нашей сатирѣ? Такъ и кажется, что у ней у самой нѣтъ никакой подкладки, но можетъ ли это быть? Чему она сама-то вѣритъ, во имя чего обличаетъ,—это какъ будто тонетъ во мракѣ неизвѣстности. Нельзя никакъ узнать что сама она считаетъ хорошимъ.

И вотъ надъ вопросомъ этимъ странно задумываешься.

Прочелъ „*Новь*“ Тургенева и жду второй части. Кстати: вотъ уже тридцать лѣтъ какъ я пишу и во всѣ эти тридцать лѣтъ мнѣ постоянно и много разъ приходило въ голову одно забавное наблюденіе. Всѣ наши критики (а я слѣжу за литературой чуть не сорокъ лѣтъ) и умершіе и теперешніе, всѣ однимъ словомъ, которыхъ я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой нибудь отчетъ о текущей русской литературѣ чуть-чуть поторжественнѣе (прежде, напримѣръ, бывали въ журналахъ годовые январскіе отчеты за весь истекшій годъ),—то всегда употребляли, болѣе или менѣе, но съ великою любовью, все одну и туже фразу: „Въ наше время, когда литература въ такомъ упадкѣ“, „въ наше время, когда русская литература въ такомъ застоѣ“, „въ наше литературное безвременіе“, „странствуя въ пустыняхъ русской словесности“, и т. д. и т. д. На тысячу ладовъ одна и таже мысль. А въ сущности въ эти сорокъ лѣтъ явились послѣднія произведенія Пушкина, начался и кончился Гоголь, былъ Лермонтовъ, явились Островскій, Тургеневъ, Гончаровъ и еще человѣкъ десять, по крайней мѣрѣ, преталантливыхъ бельлетристовъ. И это только въ одной бельлетристикѣ! Положительно можно сказать, что почти никогда и ни въ какой литературѣ, въ такой короткій срокъ не явилось такъ много талантливыхъ писателей какъ у насъ, и такъ сряду, безъ промежутковъ. А между тѣмъ я даже и теперь, чуть не въ прошломъ мѣсяцѣ, читалъ опять о застоѣ русской литературы и о „пустыняхъ русской словесности“. Впрочемъ, это только забавное наблюденіе мое; да и вещь то совершенно невинная и неимѣющая никакого значенія. А такъ, усмѣхнуться можно.

Объ „Нови“ я разумѣется ничего не скажу; всѣ ждутъ второй части. Да и не мнѣ говорить. Художественное достоинство созданій Тургенева внѣ сомнѣнія. Замѣчу лишь одно: на 92 страницѣ романа. (см. „Вѣстникъ Европы“) съ верху страницы есть 15 или 20 строкъ, и въ этихъ строкахъ какъ бы концентрировалась по моему вся мысль произведенія, какъ бы выразился весь взглядъ автора на свой предметъ. Къ сожалѣнію этотъ взглядъ совершенно ошибоченъ и я съ нимъ глубоко несогласенъ. Это нѣсколько словъ сказанныхъ авторомъ по поводу одного лица романа, Соломина.

Прочелъ я „Послѣднія пѣсни“ Некрасова въ январской книгѣ „Отечественыхъ Записокъ“. Страстныя пѣсни и недосказанныя слова, какъ всегда у Некрасова, но какіе мучительные стоны больнаго! Нашъ поэтъ очень боленъ и—онъ самъ говорилъ мнѣ—видитъ ясно свое положеніе. Но мнѣ не вѣ-

рится... Это крѣпкій и воспріимчивый организмъ. Онъ страдаетъ ужасно, (у него какая то язва въ кишкахъ, болѣзнь которую и опредѣлить трудно), но я не вѣрю что онъ не вынесетъ до весны, а весной на воды, за границу, въ другой климатъ, поскорѣе, и онъ поправится, я въ этомъ убѣжденъ. Странно бываетъ съ людьми; мы въ жизнь нашу рѣдко видались, бывали между нами и недоумѣнія, но у насъ былъ одинъ такой случай въ жизни, что я никогда не могъ забыть о немъ. Это именно наша первая встрѣча другъ съ другомъ въ жизни. И чтожъ, недавно я зашелъ къ Некрасову и онъ, больной, измученный, съ перваго слова началъ съ того что помнитъ объ тѣхъ дняхъ. Тогда (это тридцать лѣтъ тому!) произошло что-то такое молодое, свѣжее, хорошее, — изъ того что остается навсегда въ сердцѣ участвовавшихъ. Намъ тогда было по двадцати съ немногимъ лѣтъ. Я жилъ въ Петербургѣ, уже годъ какъ вышелъ въ отставку изъ инженеровъ, самъ не зная зачѣмъ, съ самыми неясными и неопредѣленными цѣлями. Былъ май мѣсяцъ сорокъ пятаго года. Вначалѣ зимы я началъ вдругъ „Бѣдныхъ людей“ мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего еще не писавши. Кончивъ повѣсть я не зналъ какъ съ ней быть и кому отдать. Литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ совершенно никакихъ, кромѣ развѣ Д. В. Григоровича, но тотъ и самъ еще ничего тогда не написалъ, кромѣ одной маленькой статейки „Петербургскіе шарманщики“ въ одинъ сборникъ. Кажется онъ тогда собирался уѣхать на лѣто къ себѣ въ деревню, а пока жилъ нѣкоторое время у Некрасова. Зайдя ко мнѣ онъ сказалъ: „принесите рукопись“, (самъ онъ еще не читалъ ее): „Некрасовъ хочетъ къ будущему году сборникъ издать, я ему покажу“. Я снесъ, видѣлъ Некрасова минутку, мы подали другъ другу руки. Я сконфузился отъ мысли, что пришелъ съ своимъ сочиненіемъ и поскорѣй ушелъ, не сказавъ съ Некрасовымъ почти ни слова. Я мало думалъ объ успѣхѣ, а этой „партіи Отечественныхъ Записокъ“ какъ говорили тогда, я боялся. Бѣлинскаго я читалъ уже нѣсколько лѣтъ съ увлеченіемъ, но онъ мнѣ казался грознымъ и страшнымъ и—„осмѣетъ онъ моихъ „Бѣдныхъ людей“! — думалось мнѣ иногда. Но лишь иногда: писалъ я ихъ съ страстью, почти со слезами — „неужто все это, всѣ эти минуты, которыя я пережилъ съ перомъ въ рукахъ надъ этой повѣстью, — все это ложь, миражъ, невѣрное чувство? Но думалъ я такъ, разумѣется, только минутами и мнительность немедленно возвращалась. Вечеромъ того же дня какъ я отдалъ рукопись, я пошелъ куда-то далеко къ одному изъ прежнихъ товарищей; мы всю ночь проговорили съ нимъ о „Мертвыхъ Душахъ“ и читали ихъ, въ который разъ не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: „а не почитать ли намъ, господа, Гоголя“!—садятся и читаютъ, и пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многіе какъ бы чѣмъ-то были проникнуты и какъ бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже въ четыре часа, въ бѣлую, свѣтлую какъ днемъ петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и войдя къ себѣ въ квартиру, я спать не легъ, отворилъ окно и сѣлъ у окна. Вдругъ звонокъ, чрезвычайно меня удивившій, и вотъ Григоровичъ и Некрасовъ бросаются обнимать меня, въ совершенномъ восторгѣ, и оба чуть сами не

плачутъ. Они наканунѣ вечеромъ воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: „съ десяти страницъ видно будетъ“. Но прочтя десять страницъ рѣшили прочесть еще десять, а затѣмъ, не отрываясь, просидѣли уже всю ночь до утра, читая вслухъ и чередуясь когда одинъ уставалъ. „Читаетъ онъ про смерть студента“ — передавалъ мнѣ потомъ уже наединѣ Григоровичь,—и вдругъ я вижу, въ томъ мѣстѣ гдѣ отецъ за гробомъ бѣжитъ, у Некрасова голосъ прерывается, разъ и другой, и вдругъ не выдержалъ, стукнулъ ладонью по рукописи: „Ахъ, чтобъ его!“ Это про васъ-то и этакъ мы всю ночь“. Когда они кончили (семь печатныхъ листовъ!), то въ одинъ голосъ рѣшили идти ко мнѣ немедленно: „Что-жъ такое что спитъ, мы разбудимъ его, *это* выше сна!“ Потомъ, приглядѣвшись къ характеру Некрасова я часто удивлялся той минутѣ: характеръ его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Такъ по крайней мѣрѣ онъ мнѣ всегда казался, такъ что та минута нашей первой встрѣчи была воистину проявленіемъ самаго глубокаго чувства. Они пробыли у меня тогда съ полчаса, въ полчаса мы Богъ знаетъ сколько переговорили, съ полслова понимая другъ друга, съ восклицаніями, торопясь; говорили и о поэзіи, и о правдѣ, и о „тогдашнемъ положеніи“, разумѣется и о Гоголѣ, цитуя изъ „Ревизора“ и изъ „Мертвыхъ Душъ“, но, главное о Бѣлинскомъ. „Я ему сегодня же, снесу вашу повѣсть и вы увидите,—да вѣдь человѣкъ-то, человѣкъ-то какой! Вотъ вы познакомитесь, увидите какая это душа!“ — восторженно говорилъ Некрасовъ, тряся мена за плечи обѣими руками. „Ну теперь спите, спите, мы уходимъ, а завтра къ намъ!“ Точно я могъ заснуть послѣ нихъ! Какой восторгъ, какой успѣхъ, а главное чувство было дорого, помню ясно: „У иного успѣхъ, ну хвалятъ, встрѣчаютъ, поздравляютъ, а вѣдь эти прибѣжали со слезами, въ четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ахъ хорошо!“ Вотъ что я думалъ, какой тутъ сонъ!

Некрасовъ снесъ рукопись Бѣлинскому въ тотъ же день. Онъ благоговѣлъ передъ Бѣлинскимъ и кажется всѣхъ больше любилъ его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасовъ ничего еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, черезъ годъ потомъ. Некрасовъ очутился въ Петербургѣ, сколько мнѣ извѣстно, лѣтъ шестнадцати, совершенно одинъ. Писалъ онъ тоже чуть не съ 16-ти лѣтъ. О знакомствѣ его съ Бѣлинскимъ я мало знаю, но Бѣлинскій его угадалъ съ самаго начала и можетъ быть сильно повліялъ на настроеніе его поэзіи. Не смотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лѣтъ ихъ, между ними навѣрно ужь и тогда бывали такія минуты и уже сказаны были такія слова, которыя вліяютъ на вѣкъ и связываютъ неразрывно. „Новый Гоголь явился!“ закричалъ Некрасовъ, входя къ нему съ Бѣдными людьми.“— „У васъ Гоголи-то какъ грибы растутъ“ строго замѣтилъ ему Бѣлинскій, но рукопись взялъ. Когда Некрасовъ опять зашелъ къ нему вечеромъ, то Бѣлинскій встрѣтилъ его „просто въ волненіи:“ Приведите, приведите его скорѣе!

И вотъ (это стало быть уже на третій день) меня привели къ нему. Помню, что на первый взглядъ меня очень поразила его наружность, его носъ, его лобъ; я представлялъ его себѣ почему-то совсѣмъ другимъ,—„этого ужаснаго, это-

го страшнаго критика". Онъ встрѣтилъ меня чрезвычайно важно и сдержанно. „Что-жъ оно такъ и надо" подумалъ я, но не прошло кажется и минуты какъ все преобразилось: важность была не лица, не великаго критика, встрѣчающаго двадцати-двухъ лѣтняго начинающаго писателя, а такъ сказать изъ уваженія его къ тѣмъ чувствамъ, которыя онъ хотѣлъ мнѣ излить какъ можно скорѣе, къ тѣмъ важнымъ словамъ, которыя чрезвычайно торопился мнѣ сказать. Онъ заговорилъ пламенно, съ горящими глазами: „Да вы понимаете-ль сами-то, повторялъ онъ мнѣ нѣсколько разъ и вскрикивая по своему обыкновенію, — что это вы такое написали!" Онъ вскрикивалъ всегда, когда говорилъ въ сильномъ чувствѣ. „Вы только непосредственнымъ чутьемъ, какъ художникъ это могли написать, но осмыслили-ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы намъ указали? Не можетъ быть, чтобы вы въ ваши двадцать лѣтъ ужъ это понимали. Да вѣдь этотъ вашъ несчастный чиновникъ — вѣдь онъ до того заслужился и до того довелъ себя уже самъ, что даже и несчастнымъ-то себя не смѣетъ почесть отъ приниженности и почти за вольнодумство считаетъ малѣйшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смѣетъ признать и, когда добрый человѣкъ, его генералъ, даетъ ему эти сто рублей—онъ раздробленъ, уничтоженъ отъ изумленія что такого какъ онъ могъ пожалѣть „Ихъ Превосходительство", не его превосходительство, а „ихъ превосходительство", какъ онъ у васъ выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута цалованія генеральской ручки, — да вѣдь тутъ ужъ не сожалѣніе къ этому несчастному, а ужасъ, ужасъ! Въ этой благодарности-то его ужасъ! Это трагедія! Вы до самой сути дѣла дотронулись, самое главное разомъ указали. Мы, публицисты и критики только разсуждаемъ, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художникъ, одною чертой, разомъ въ образѣ выставляете самую суть, чтобъ ощупать можно было рукой, чтобъ самому неразсуждающему читателю стало вдругъ все понятно! Вотъ тайна художественности, вотъ правда въ искуствѣ! Вотъ служеніе художника истинѣ! Вамъ правда открыта и возвѣщена какъ художнику, досталась какъ даръ, цѣните же вашъ даръ и оставайтесь вѣрнымъ и будете великимъ писателемъ!"...

Все это онъ тогда говорилъ мнѣ. Все это онъ говорилъ потомъ обо мнѣ и многимъ другимъ, еще живымъ теперь и могущимъ засвидѣтельствовать. Я вышелъ отъ него въ упоеніи. Я остановился на углу его дома, смотрѣлъ на небо, на свѣтлый день, на проходившихъ людей и весь, всѣмъ существамъ своимъ ощущалъ, что въ жизни моей произошелъ торжественный моментъ, переломъ на вѣки, что началось что-то совсѣмъ новое, но такое, чего я и не предполагалъ тогда даже въ самыхъ страстныхъ мечтахъ моихъ. (А я былъ тогда страшный мечтатель). „И неужели вправду я такъ великъ" стыдливо думалъ я про себя въ какомъ-то робкомъ восторгѣ. „О, не смѣйтесь, никогда потомъ я не думалъ, что я великъ, но тогда—развѣ можно было это вынести! „О, я буду достойнымъ этихъ похвалъ, и какіе люди, какіе люди! Вотъ гдѣ люди! Я заслужу, постараюсь стать такимъ же прекраснымъ, какъ и они, пребуду „вѣренъ!" О, какъ я легкомысленъ, и еслибъ Бѣлинскій только узналъ какія

во мнѣ есть дрянныя, постыдныя вещи! А все говорятъ что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочемъ, этихъ людей только и есть въ Россіи, „они одни, но у нихъ однихъ истина, а истина, добро, правда всегда побѣждаютъ и торжествуютъ, надъ порокомъ и зломъ мы побѣдимъ; о къ нимъ, съ ними!“

Я это все думалъ я припоминаю ту минуту въ самой полной ясности. И никогда потомъ я не могъ забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я въ каторгѣ, вспоминая ее, укрѣплялся духомъ. Теперь еще вспоминаю ее каждый разъ съ восторгомъ. И вотъ, тридцать лѣтъ спустя, я припомнилъ всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережилъ, сидя у постели больнаго Некрасова. Я ему не напоминалъ подробно, я напомнилъ только что были эти тогдашнія наши минуты и увидалъ, что онъ помнитъ о нихъ и самъ. Я и зналъ что помнитъ. Когда я воротился изъ каторги, онъ указалъ мнѣ на одно свое стихотвореніе въ книгѣ его: „Это я объ васъ тогда написалъ“—сказалъ онъ мнѣ. А прожили мы всю жизнь врозь. На страдальческой своей постели онъ вспоминаетъ теперь отжившихъ друзей:

Пѣсни вѣщія ихъ не допѣты,
Пали жертвою злобы, измѣнъ
Въ цвѣтѣ лѣтъ; на меня ихъ портреты
Укоризненно смотрятъ со стѣнъ.

Тяжелое здѣсь слово это: *укоризненно*. Пребыли ли мы „вѣрны“, пребыли ли? Всякъ пусть рѣшаетъ на свой судъ и совѣсть. Но прочтите эти страдальческія пѣсни сами, и пусть вновь оживетъ нашъ любимый и страстный поэтъ! Страстный къ страданью поэтъ!...

IV.

Именинникъ.

Помните-ли вы „Дѣтство и Отрочество“ графа Толстого? Тамъ есть одинъ мальчикъ, герой всей поэмы. Но это не простой мальчикъ, не какъ другія дѣти, не какъ братъ его Володя. Ему всего какихъ нибудь лѣтъ двѣнадцать, а въ голову и въ сердце его уже заходятъ мысли и чувства не такія какъ у его сверстниковъ. Мечтамъ и чувствамъ своимъ онъ уже отдается страстно и уже знаетъ, что ихъ лучше хранить ему про себя. Обнаруживать ихъ уже мѣшаетъ ему стыдливое цѣломудріе и высшая гордость. Онъ завидуетъ брату и считаетъ его несравненно выше себя, особенно по ловкости и по красотѣ лица, а между тѣмъ онъ втайнѣ предчувствуетъ, что братъ гораздо ниже его во всѣхъ отношеніяхъ, но онъ гонитъ свою мысль и считаетъ ее низостью. Онъ смотритъ на себя въ зеркало слишкомъ часто и рѣшаетъ, что онъ уродливо не хорошъ собою. У него мелькаютъ мечты, что его никто не любитъ, что его презираютъ... Однимъ словомъ, это мальчикъ довольно необыкновенный, а между тѣмъ именно принадлежащій къ этому типу семейства средневысшаго дворянскаго круга, поэтомъ и историкомъ котораго былъ, по завѣту Пушкина, вполнѣ и всецѣло, графъ Левъ Толстой. И вотъ въ ихъ домѣ, въ большомъ семейномъ московскомъ домѣ собираются гости; именинница сестра; съѣзжаются съ большими и дѣти, тоже мальчики и дѣвочки. Начались игры, танцы, нашъ герой мѣшковатъ, танцуетъ хуже всѣхъ, хочетъ отличиться остроуміемъ, но ему не удается, — а тутъ какъ разъ столько хо-

рошенькихъ дѣвочекъ и — вѣчная мысль его, вѣчное подозрѣніе что онъ хуже всѣхъ. Въ отчаяніи онъ рѣшается на все, чтобъ всѣхъ поразить. При всѣхъ дѣвочкахъ и при всѣхъ этихъ гордыхъ, старшихъ мальчикахъ, считавшихъ его ни во что, онъ вдругъ, внѣ себя, съ тѣмъ чувствомъ, съ которымъ бросаются въ раскрывшуюся подъ ногами бездну, выставляетъ гувернеру языкъ и ударяетъ его изо всѣхъ силъ кулакомъ! „Теперь всѣ узнали, каковъ онъ, онъ показалъ себя!“ Его позорно тащутъ и запираютъ въ чуланъ. Чувствуя себя погибшимъ, и уже навѣки, мальчикъ начинаетъ мечтать: вотъ онъ бѣжалъ изъ дому, вотъ онъ поступаетъ въ армію, на сраженіи онъ убиваетъ множество турокъ и падаетъ отъ ранъ. Побѣда! гдѣ нашъ спаситель кричатъ всѣ, цалуютъ и обнимаютъ его. Вотъ онъ уже въ Москвѣ, онъ идетъ по Тверскому бульвару съ подвязанной рукой, его встрѣчаетъ Государь... И вдругъ мысль, что дверь отворится и войдетъ гувернеръ съ розгами, разсѣеваетъ эти мечты какъ пыль. Начинаются другія. Онъ вдругъ выдумываетъ причину почему его „всѣ такъ не любятъ:“ вѣроятно онъ подкидышъ и отъ него это скрываютъ... Вихрь разростается: вотъ онъ умираетъ, входятъ въ чуланъ и находятъ его трупъ: „Бѣдный мальчикъ!“ его всѣ жалѣютъ. „Онъ добрый мальчикъ! Это вы его погубили говоритъ отецъ гувернеру“... и вотъ слезы душатъ мечтателя.... Вся эта исторія кончается болѣзнью ребенка, лихорадкой, бредомъ. Чрезвычайно серьозный психологическій этюдъ надъ дѣтской душой, удивительно написанный.

—

Я нарочно припомнилъ этотъ этюдъ въ такой подробности. Я получилъ письмо изъ К-ва, въ которомъ мнѣ описываютъ смерть одного ребенка, тоже двѣнадцатилѣтняго мальчика, и — и очень можетъ быть, что тутъ нѣчто похожее. Впрочемъ, выпишу мѣстами письмо, не измѣняя въ выписываемомъ ни слова. *Сюжетъ* любопытенъ.

8-го ноября, послѣ обѣда, разнеслась по городу вѣсть, что случилось *самоубійство*,— повѣсился *12—13-лѣтній отрокъ*, воспитанникъ прогимназіи. Обстоятельства дѣла таковы.—Классный наставникъ, по предмету котораго не зналъ въ этотъ день урока погибшій мальчикъ, наказалъ его тѣмъ, что оставилъ въ заведеніи до 5 часовъ вечера. Походилъ, походилъ ученикъ, отвязалъ отъ попавшагося на глаза блока бичевку, привязалъ ее къ гвоздю, на которомъ обыкновенно виситъ, такъ называемая золотая или красная доска, для чего-то въ этотъ день вынесенная, и удавился. Сторожъ, мывшій въ сосѣднихъ комнатахъ полы, увидалъ несчастнаго, побѣжалъ къ инспектору; прибѣжалъ инспекторъ, сняли съ петли самоубійцу, но возвратить его къ жизни не могли... Гдѣ причина самоубійства? Мальчикъ буйства и звѣронравства не проявлялъ, учился вообще хорошо, только у своего класснаго наставника въ послѣднее время получилъ нѣсколько неудовлетворительныхъ отмѣтокъ, за что и былъ наказываемъ... Говорятъ, и отецъ мальчика, человѣкъ очень строгій, и самъ онъ были въ этотъ день имянинники. Быть можетъ съ дѣтскимъ восторгомъ мечталъ молодой имянинникъ о томъ, какъ его встрѣтятъ дома—мать, отецъ, братишки, сестренки... И вотъ сиди одинъ-одинешенекъ голодный въ пустомъ домѣ и раздумывай о страшномъ гнѣвѣ отца, который придется встрѣтить, объ униженіи, стыдѣ, а быть можетъ и наказаніи, которое предстоитъ перенесть. О возможности покончить самому съ собою онъ зналъ(да и кто изъ дѣтей нашего времени не знаетъ этого.) Страшно жаль погибшаго, жаль инспектора, человѣка и педагога прекраснѣйшаго, котораго воспитанники обожаютъ, страшно за школу, которая въ стѣнахъ своихъ видитъ подобныя явленія. Что почувствовали товарищи погибшаго и другія дѣти обучающіяся тамъ, между которыми въ приготовительныхъ классахъ есть совершенныя крошки, когда они узнали о случившемся?

Не слишкомъ ли сильна такая наука? Не слишкомъ ли много придается значенія—двойкамъ, единицамъ, золотымъ и краснымъ доскамъ, на гвоздяхъ отъ которыхъ вѣшаются воспитанники? Не слишкомъ ли много формализма и сухой безсердечности вносится у насъ въ дѣло воспитанія?

Конечно страшно жаль бѣднаго маленькаго именинника, но я не стану распространяться о вѣроятныхъ причинахъ этого горестнаго *случая*, и въ особенности на тему „о двойкахъ, о баллахъ, объ излишней строгости“ и проч. Все это и прежде было и обходилось безъ самоубійствъ и причина очевидно не тутъ. Эпизодъ изъ „Отрочества“ графа Толстаго я взялъ изъ сходства обоихъ случаевъ, но есть и огромная разница. Безъ сомнѣнія именинникъ Миша убилъ себя не отъ злости и не отъ страху только. Оба чувства эти—и злость и болѣзненная трусливость—слишкомъ просты и скорѣе всего нашли бы *исходъ сами въ себѣ*. Впрочемъ дѣйствительно могъ повліять и страхъ наказанія, особенно при болѣзненной мнительности, но все же чувство могло быть и при этомъ гораздо сложнѣе, и опять таки очень можетъ быть что происходило нѣчто въ родѣ того, что описалъ графъ Толстой, т. е. подавленные, еще не сознательные дѣтскіе вопросы, сильное ощущеніе какой-то гнетущей несправедливости, мнительное раннее и страдальческое ощущеніе собственной ничтожности, болѣзненно развившійся вопросъ: „Почему меня такъ *всѣ* не любятъ“, страстное желаніе заставить жалѣть о себѣ, т. е. тоже что страстное желаніе любви отъ *нихъ всѣхъ*—и множество, множество другихъ усложненій и оттѣнковъ. Дѣло въ томъ, что тѣ или другіе изъ этихъ оттѣнковъ непремѣнно были, но — есть и черты какой-то новой дѣйствительности, совсѣмъ другой уже, чѣмъ какая была въ успокоенномъ и твердо, издавна сложившемся московскомъ помѣщичьемъ семействѣ средне-высшаго круга, *историкомъ* котораго явился у насъ графъ Левъ Толстой и какъ разъ, кажется, въ ту пору когда для прежняго русскаго дворянскаго строя, утверждавшагося на прежнихъ помѣщичьихъ основаньяхъ, пришелъ какой-то новый, еще неизвѣстный, но радикальный переломъ, по крайней мѣрѣ огромное перерожденіе въ новыя и еще грядущія, почти совсѣмъ неизвѣстныя формы. Есть тутъ, въ этомъ случаѣ съ именинникомъ одна особенная черта уже совершенно нашего времени. Мальчикъ графа Толстаго могъ мечтать, съ болѣзненными слезами разслабленнаго умиленія въ душѣ, о томъ какъ *они* войдутъ и найдутъ его мертвымъ и начнутъ любить его, жалѣть и себя винить. Онъ даже могъ мечтать и о самоубійствѣ, но лишь *мечтать:* строгій строй исторически сложившагося дворянскаго семейства отозвался бы и въ двѣнадцатилѣтнемъ ребенкѣ и не довелъ бы его *мечту* до *дѣла*, а тутъ—*помечталъ*, *да и сдѣлалъ*. Я впрочемъ, замѣчая это, не объ одной только теперешней эпидеміи самоубійствъ говорю. Чувствуется, что тутъ что-то не то, что огромная часть русскаго строя жизни осталась вовсе безъ наблюденія и безъ *историка*. По крайней мѣрѣ ясно что жизнь средне-высшаго нашего дворянскаго круга, столь ярко описанная нашими бельлетристами, есть уже слишкомъ ничтожный и обособленный уголокъ русской жизни. Кто-жъ будетъ *историкомъ* остальныхъ уголковъ, кажется страшно многочисленныхъ? И если въ этомъ хаосѣ, въ которомъ давно уже, но теперь особенно, пребываетъ общественная жизнь и нельзя отыскать

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ГОДЪ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ. II-Й,

1877.

ФЕВРАЛЬ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на ежемѣсячное изданіе Ѳ. М. Достоевскаго

„ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ“

НА 1877 ГОДЪ.

(ДВѢНАДЦАТЬ ВЫПУСКОВЪ ВЪ ГОДЪ).

Каждый выпускъ будетъ заключать въ себѣ отъ полутора до двухъ листовъ убористаго шрифта, въ форматѣ еженедѣльныхъ газетъ нашихъ.

Каждый выпускъ будетъ выходить въ послѣднее число каждаго мѣсяца и продаваться отдѣльно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 25 копѣекъ. Желающіе подписаться на все годовое изданіе впередъ пользуются уступкою и платятъ лишь два рубля (безъ доставки и пересылки), а съ пересылкою или доставкою на домъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: для городскихъ подписчиковъ въ С.-Петербургѣ: Въ книжномъ магазинѣ Я. А. Исакова (гостиный дворъ № 24) и въ книжномъ „Магазинѣ для иногородныхъ“, Невскій пр., № 44.

Въ Москвѣ: въ „Центральномъ книжномъ магазинѣ“, Никольская, д. Славянскаго Базара,

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА выпусковъ производится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга, въ Москвѣ: у Салаева, Соловьева, Живарева, Кашкина, Мамонтова, Васильева, Юрьева, Александрова, Разсохина и др., въ Казани у Дубровина и въ магазинѣ „Восточная Лира“, въ Кіевѣ у Гинтера и Малецкаго, въ Южно-русскомъ Книжномъ Магазинѣ, у Оглоблина (Литова) и у Корейво, въ Одессѣ: у Распопова и Бѣлаго, въ Харьковѣ у Геевскаго и Куколевскаго, въ Воронежѣ и Тулѣ: у Аносова, въ Тамбовѣ: у Зотова, въ Перми: у Наумова, въ Смоленскѣ: у Лаврова, въ Тифлисѣ: у Беренштама, въ Черниговѣ: у Данюшевскаго, въ Варшавѣ: у Истомина, въ Томскѣ: у Макушина, въ Саратовѣ: у

Лятошинскаго и Холодковскаго, въ Острогожскѣ: у Новгородова, въ Козловѣ: у Муравьева, въ Вильно: у Сыркина, въ Нѣжинѣ: у Куриленко.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться исключительно къ автору по слѣдующему адресу: **С.-Петербургъ, Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6, Ѳедору Михайловичу Достоевскому.**

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Самозванные пророки и хромые бочары продолжающіе дѣлать луну въ Гороховой. Одинъ изъ неизвѣстнѣйшихъ русскихъ великихъ людей.

Восточный вопросъ по прежнему у всѣхъ передъ глазами. Какъ ни старались мы забыть его и развлечь себя всѣмъ, что было подъ рукой,—масляницей, „Новью“, крахами, червонными валетами,—какъ ни нагоняли мы на себя цинизмъ, увѣряя всѣхъ и себя прежде всѣхъ, что „ничего ровно не было, что все выдумано и поддѣлано“, какъ ни прятали мы голову въ подушку, какъ маленькія дѣти, чтобъ только не видѣть грознаго привидѣнія, — а привидѣніе всетаки передъ нами, никуда не ушло, стоитъ и грозитъ какъ и прежде. Всякій—и злобствующій циникъ, и искренній гражданинъ, и безмятежно развлекающійся гулака, и просто лѣнивецъ,—всякій чувствуетъ и помнитъ что есть это нѣчто,—нѣчто отнюдь еще не рѣшенное и не покончeнное, а вмѣстѣ съ тѣмъ неотложное и не обходимое, нѣчто, что непремѣнно позоветъ насъ и потребуетъ, рано-ли поздно-ли къ развязкѣ, и что тутъ непремѣнно—

„Надо что нибудь да сдѣлать
„Надо чѣмъ нибудь да кончить,

И ужъ это по меньшей мѣрѣ, если что нибудь сдѣлать или чѣмъ нибудь кончить, а что всего бы лучше еслибъ кончить получше. А между тѣмъ время идетъ да идетъ, на дворѣ весна и — что-то дастъ намъ весна? Иные кричатъ что ушло уже время; это Богъ знаетъ; для хорошаго дѣла всегда есть время. Да, не выработается-ли что нибудь хоть къ веснѣ, не скажется ли что-нибудь окончательно, то есть хоть бы на годъ? Вѣдь въ Восточномъ вопросѣ теперь въ Европѣ дальше какъ на годъ никто и не разсчитываетъ, тѣмъ болѣе что и сама Турція врядъ-ли годъ простоитъ. Но дѣло не въ ней, а въ томъ что послѣ нея останется. Эти окончательныя рѣшенія на годъ Европѣ можетъ быть и выгодны; ну а другимъ не очень; и что-то будетъ съ другими, особенно съ тѣми другими, тамъ за Дунаемъ? Но объ нихъ думаетъ лишь русскій народъ.

Да, думаетъ, и воля ваша, какъ ни отрицали мы изо всѣхъ силъ всю зиму наше лѣтнее движеніе, но по моему оно продолжалось и во всю зиму, точно также какъ и лѣтомъ, по всей Россіи, неуклонно и вѣрно, но уже спокойно и съ надеждой на рѣшеніе Царя. И ужъ конечно продолжаться будетъ до

D. 70 -11

просъ, сочинилъ по ней свои пѣсни, т. е. изъ Французовъ, изображенныхъ Мериме, возстановилъ Славянъ, и— ужъ конечно теперь это „Пѣсни западныхъ Славянъ“, настоящихъ Славянъ, Славянъ даже породнившихся уже съ русскими. Конечно этихъ пѣсенъ нѣтъ въ Сербіи, поются у нихъ другія, но это все равно: Пушкинскія пѣсни — это пѣсни всеславянскія народныя, вылившіяся изъ славянскаго сердца, въ духѣ, въ образѣ Славянъ, въ смыслѣ ихъ, въ обычаѣ и въ исторіи ихъ. Я бы тѣмъ высокообразованнымъ сербамъ, изъ которыхъ многіе столь недовѣрчиво смотрѣли нынѣшнимъ лѣтомъ на русскихъ, показалъ бы напримѣръ пѣсню Пушкина о „Георгіи Черномъ“, или эту „Пѣсню о битвѣ при Зеницѣ великой“. Это два шедевра изъ этихъ пѣсень, брилліанты первой величины въ поэзіи Пушкина, — (и непремѣнно потому то они совершенно невѣдомы въ нашихъ школахъ не только ученикамъ, но и весьма вѣроятно и учителямъ, которые съ удивленіемъ услышатъ теперь въ первый разъ, что это такіе шедѣвры, а не „Кавказскій Плѣнникъ“ и не „Цыгане“). А между тѣмъ хоть бы въ прошломъ году то по крайней мѣрѣ пустить эти пѣсни въ ходъ въ нашихъ школахъ. Впрочемъ, судя по ходу дѣлъ, врядъ-ли Сербы скоро узнаютъ этого неизвѣстнѣйшаго изъ всѣхъ великихъ русскихъ людей, — такъ я думаю можно опредѣлить нашего великаго Пушкина, про котораго у насъ тысячи и десятки тысячъ изъ нашей интелигенціи до сихъ поръ не знаютъ что это былъ такихъ великихъ размѣровъ поэтъ и русскій человѣкъ, и которому до сихъ поръ немогли мы еще собрать денегъ на памятникъ,—черта эта войдетъ въ нашу исторію. А Сербы, прочтя эти „пѣсни“, конечно увидали бы какъ думаемъ мы объ ихъ свободѣ, чтимъ мы ее или нѣтъ, радуемся-ли ей или нѣтъ, и хотимъ или нѣтъ захватить ихъ въ свою власть и лишить ихъ этой свободы. Впрочемъ, довольно о поэзіи. И пусть не улыбаются надо мной свысока: „вотъ дескать объ какихъ мелочахъ заговорилъ“. Это не мелочь; о Пушкинѣ еще много и долго у насъ говорить надо.

II.

Доморощенные великаны и приниженный сынъ „Кучи“. Анекдотъ о содранной со спины кожѣ. Высшіе интересы цивилизаціи и „да будутъ они прокляты, если ихъ надо покупать такою цѣной“!

Сербская скупщина, собравшаяся въ прошломъ мѣсяцѣ въ Бѣлградѣ на одно мгновеніе (на полтора часа, какъ писали въ газетахъ), чтобъ только рѣшить: „Заключить миръ или нѣтъ?“ скупщина эта, какъ слышно, выказала вовсе не такое слишкомъ ужъ поспѣшно миролюбивое настроеніе, какого отъ нея ждали, принимая въ соображеніе обстоятельства. Говорятъ, и на миръ-то согласилась вслѣдствіе какой-то передержки, министерской какой-то интриги. Во всякомъ случаѣ, если чуть-чуть правда, что скупщина не трусила продолженія войны, то, взявъ въ соображеніе ихъ отчаянное положеніе невольно спросишь себя: „Что-жъ это у насъ такъ кричали о трусости сербовъ“? Я получалъ изъ Сербіи письма и говорилъ съ пріѣзжавшими оттуда, и особенно запомнилъ одно письмо отъ одного юнаго русскаго, который тамъ и остался, и который пишетъ о сербахъ съ восторгомъ и съ негодованіемъ на то,

гис 16112

что въ Россіи находятся-де люди, думающіе про нихъ, что они трусы и эгоисты. Восторженный русскій эмигрантъ даже извиняетъ членовредительство сербскихъ солдатъ у Черняева и Новоселова: это, видите ли, они до того нѣжный сердцемъ народъ, до того любятъ свою „кучу“, гдѣ каждый оставилъ жену, дѣтей, или мать, сестеръ, невѣсту, братьевъ, коня и собаку, что бросаютъ все, уродуютъ себя, отстрѣливаютъ себѣ пальцы, чтобы не годиться къ службѣ и поскорѣй воротиться въ свое милое гнѣздо! Представьте себѣ, я эту нѣжность сердца понимаю, и весь этотъ процессъ понимаю, и ужь, конечно, въ такомъ случаѣ это слишкомъ нѣжный сердцемъ народъ, хотя — хотя это въ тоже время довольно туповатыя дѣти своей отчизны, такъ что сами не понимаютъ чего у нихъ сердце хочетъ. По нѣжности сердца своего сербскій обитатель „кучи“, похожъ очень, по моему, на тѣхъ дѣтей, которыхъ очень можетъ быть и вы запомнили еще съ дѣтства: вдругъ изъ семьи, или изъ разрушеннаго и разбредшагося вдругъ семейства, попадаютъ они въ школу. Доселѣ мальчикъ жилъ только дома, и ничего кромѣ своего дома не зналъ, и вдругъ — сто человѣкъ товарищей, чужія лица, шумъ, гамъ, совсѣмъ все другое, чѣмъ дома, — Боже, какая мука! Дома ему пожалуй было холодно и голодно, но за то его любили, а хоть и не любили, то все-таки тамъ было *дома*, онъ былъ одинъ у себя и съ собой, а здѣсь — ни одного-то слова ласки отъ начальства, строгости отъ учителей, такія мудреныя науки, такіе длинные корридоры и такіе безчеловѣчные сорванцы, обидчики и насмѣшники, безжалостные его товарищи: „точно у нихъ сердца нѣтъ, точно у нихъ не было ни отца ни матери!“ Ему говорили до сихъ поръ, что лгать и обижать страшно и позорно, а вотъ они здѣсь всѣ лгутъ, обманываютъ, обижаютъ, да еще смѣются надъ его ужасомъ. Вотъ они за что-то не взлюбили его, за то, что онъ плачетъ о своемъ гнѣздѣ, „классъ мараетъ“. Вотъ они принимаются его колотить безъ пощады, всѣмъ классомъ, все время, и даже такъ безъ злобы, для развлеченія. Я замѣчу про себя, что такихъ несчастныхъ дѣтей я довольно встрѣчалъ въ моемъ дѣтствѣ въ разныхъ школахъ, — и какія преступленія совершаются иногда въ этомъ родѣ въ нашихъ воспитательныхъ заведеніяхъ, всѣхъ разрядовъ и наименованій, — именно преступленія! Попробуй мальчикъ съ дуру пожаловаться, и его убьютъ чуть не до смерти (да и до смерти убьютъ); школьники бьютъ безъ жалости и безъ осторожности. Они задразнятъ его фискаломъ на цѣлые годы, говорить съ нимъ не захотятъ, а сдѣлаютъ изъ него парію, — и что за безсердечность, какое безжалостное равнодушіе при этомъ въ начальствѣ! Я не помню въ моемъ дѣтствѣ ни одного педагога и не думаю, чтобъ ихъ и теперь было много: все лишь чиновники, получающіе жалованье. А между тѣмъ, вотъ эти-то дѣти, которые, поступая въ школу, тоскуютъ по семьѣ и родимомъ гнѣздѣ, — вотъ именно изъ такихъ-то и выходятъ потомъ всего чаще люди замѣчательные, со способностями и съ дарованіями. А тѣ, которые, взятые изъ семьи, быстро уживаются въ какомъ угодно новомъ порядкѣ, въ одинъ мигъ ко всему привыкаютъ, которые ни о чемъ никогда не тоскуютъ и даже сразу становятся во главѣ другихъ, — эти всего чаще выходятъ лишь бездар-

ностью, или просто дурными людьми, пролазы и интриганы еще съ восьмилѣтняго возраста. Разумѣется, я сужу слишкомъ вообще, но все-таки по моему тотъ плохой ребенокъ, который поступая въ школу не тоскуетъ про себя по своей семьѣ, развѣ что семьи у него вовсе не было, или была слишкомъ плохая.

Съ такимъ страдающимъ, въ первые дни своей школы, мальчикомъ, я еще лѣтомъ, читая о нихъ, сравнивалъ невольно сербскаго новобранца — членовредителя, — иначе какъ тѣмъ же самымъ чувствомъ и объяснить не могъ его несчастнаго, неразсуждающаго, животнаго почти желанія бросить ружье и бѣжать скорѣй домой. Разница лишь въ томъ, что при этомъ желаніи объявлялась и невѣроятная, феноменальная какъ-бы тупость. Онъ какъ бы отмахивался отъ всякаго соображенія о томъ, что если всѣ какъ онъ разбѣгутся, то и землю защищать будетъ не кому, а стало быть придутъ турки когда нибудь и къ нимъ въ „кучу“, и раззорятъ эту дорогую, возлюбленную ето „кучу“, и зарѣжутъ и мать его, и невѣсту, и сестру его, и коня и собаку ихъ. Дѣйствительно, слишкомъ во многихъ можетъ быть сербскихъ сердцахъ это страданіе по родному гнѣзду своему не возвысилось до страданія по родинѣ, что представило собою именно странный феноменъ. Правда, теперь когда ужь кончилась у нихъ война и заключенъ миръ, можно замѣтить и то, что и сердца высшей сербской интелигенціи далеко не всегда возвышались до страданія по родинѣ, но, однако, по другой причинѣ, чѣмъ сердца низшія. Сверху это объясняется у нихъ слишкомъ сильнымъ можетъ быть политическимъ честолюбіемъ. Такъ, что изъ-за „высшихъ“ интересовъ родины этимъ высшимъ сердцамъ было даже почти и не время заниматься интересами низшими, народными, столь обыденными. Но о низшемъ сербѣ мнѣ кажется все-таки можно сдѣлать одно, довольно любопытное замѣчаніе. Нельзя же объяснить его членовредительство и побѣги съ поля битвы лишь одною нѣжностью сердца и тупостью соображенія. Мнѣ кажется, что дезертируя домой онъ въ состояніи былъ очень понять, что дѣлаетъ худо и очень можетъ быть, что не хвалилъ себя первый самъ, но въ то же время никогда и не полагалъ, что родина его останется безъ защиты и безъ прикрытія если онъ убѣжитъ: „О, останутся герои, Кирѣевы, останется Черняевъ, русскіе, да и свои строгіе сербскіе начальники, а онъ — что такое онъ? Незамѣтная пылинка, такъ дрянь, и больше ничего; онъ уйдетъ и никто его не хватится“... По моему, именно это чувство и было въ немъ, и это очень любопытно, и рисуетъ народъ: сверху бахвалы, цивилизованные европейцы, мечтающіе завоевать всѣхъ славянъ въ одну Сербію, интригующіе даже противъ Россіи, словомъ настоящіе цивилизованные европейцы, Хорватовичи и Мариновичи, т. е. все равно какъ бы Мольтке и Бисмарки. Съ другой стороны, рядомъ съ этими великанами—приниженный сынъ кучи, и именно приниженный четырьмя вѣками рабства: отъ вѣковой этой приниженности онъ и считаетъ себя ни во что, за пылинку: „Останутся дескать великаны, а меня и не примѣтятъ. Я такой маленькій, а они такіе строгіе господа....“ Гдѣ-то я читалъ, что иные изъ этихъ строгихъ господъ, такъ-таки сразу, завидѣвъ инаго низшаго серба собиравшагося бѣжать изъ подъ ружья,

прямо отстрѣливали ему голову револьверомъ, — „вотъ дескать какими тоже могли бы мы быть желѣзными князьями!“ Они свой низшій народъ третируютъ тамъ кажется нѣсколько свысока.

Вообще эти высшіе славяне, „съ столь славною будущностью“ — во всякомъ случаѣ чрезвычайно любопытный народъ въ политическомъ, гражданскомъ, историческомъ и во всевозможныхъ отношеніяхъ.

Теперь, когда уже Черняевъ оттуда выѣхалъ, а добровольцевъ выслали, у нихъ, т. е. отъ ихъ военныхъ людей послышалась одна военная мысль, о которой мы прежде, лѣтомъ, не слыхивали. Именно, утверждаютъ они, что ихъ сербъ и вовсе не способенъ служить въ регулярномъ войскѣ и дѣйствовать въ чистомъ полѣ, а что народная сербская война—это „Малая война“, т. е. партизанская, война шайками, въ лѣсахъ, въ тѣснинахъ, за камнями, за скалами. Чтоже, и это очень можетъ быть; но такъ какъ миръ у нихъ уже заключенъ, то врядъ-ли это можно теперь провѣрить. По крайней мѣрѣ они останутся съ этимъ военнымъ убѣжденіемъ, ну и то утѣшеніе въ несчастіи. Долго-ли протянется этотъ миръ? Но чтобъ сказать прощальное слово объ этой сербской войнѣ, въ которой мы, русскіе, чуть не всѣ до единаго такъ участвовали нашимъ сердцемъ, то мнѣ кажется, что сербы разстаются съ нами и съ помощью нашею еще съ большею недовѣрчивостью чѣмъ съ какою встрѣчали насъ въ началѣ войны. Заключить можно тоже, что недовѣрчивость эта къ намъ будетъ въ нихъ идти увеличиваясь все время пока они будутъ умственно расти и развиваться сами; стало быть очень долго, и что намъ стало быть прежде всего надо не обращать никакого вниманія на ихъ недовѣрчивость и дѣлать свое дѣло какъ сами знаемъ. Намъ въ Восточномъ вопросѣ необходимо имѣть въ виду неустанно одну истину: что Славянская главная задача не въ томъ только чтобъ освободиться отъ своихъ мучителей, а и въ томъ чтобъ освобожденіе это совершить, хоть и съ помощью Русскихъ, (нельзя же иначе, и—еслибъ только они могли обойтись безъ Рускихъ!), но по крайней мѣрѣ оставаясь какъ можно меньше обязанными Русскимъ.

Между этими привезенными въ Москву славянскими дѣтьми есть, говорятъ,—разсказывалъ мнѣ все тотъ же воротившійся изъ Москвы пріятель,—одинъ ребенокъ, дѣвочка лѣтъ восьми, или девяти, которая часто падаетъ въ обморокъ и за которою особенно ухаживаютъ. Падаетъ она въ обморокъ отъ воспоминанія: она сама, своими глазами, видѣла нынѣшнимъ лѣтомъ какъ съ отца ея сдирали черкесы кожу и,—содрали всю. Это воспоминаніе при ней неотступно и, вѣроятнѣе всего, останется навсегда, можетъ быть съ годами въ смягченномъ видѣ, хотя впрочемъ незнаю можетъ ли тутъ быть смягченный видъ. О цивилизація! О Европа, которая столь пострадаетъ въ своихъ интересахъ если серьезно запретить туркамъ сдирать кожу съ отцовъ въ глазахъ ихъ дѣтей! Эти, столь высшіе интересы Европейской цивилизаціи конечно — торговля, мореплаваніе, рынки, фабрики,—чтоже можетъ быть выше въ глазахъ Европы?- Это такіе интересы, до которыхъ и дотронутся даже не позволяется не только пальцемъ, но даже мыслью, но—но „да будутъ они прокляты, эти интересы Европейской цивилизаціи!“ Это восклицаніе не мое,

это воскликнули „Москов. Вѣдомости“, и я за честь считаю присоединиться къ этому восклицанію: да, да будутъ прокляты эти интересы цивилизаціи, и даже самая цивилизація, если, для сохраненія ея, необходимо сдирать съ людей кожу. Но однакоже это фактъ: для сохраненія ея необходимо сдирать съ людей кожу!

III.

О сдираніи кожъ вообще, разныя аберраціи въ частности. Ненависть къ авторитету при лакействѣ мысли.

„Съ людей? Съ какихъ людей? Съ крошечной только части людей, гдѣ-то тамъ въ уголкѣ, съ турецкой райи, о которой никто бы и не услыхалъ ничего, еслибъ не прокричали Русскіе. За то огромная остальная часть организма жива, здорова и благоденствуетъ, торгуетъ и фабрикуетъ!“

Этотъ анекдотъ о маленькой Болгаркѣ падающей въ обморокъ, мнѣ разсказали утромъ, и въ тотъ же день мнѣ случилось проходить по Невскому проспекту. Тамъ, въ четвертомъ часу, матери и няньки водили дѣтей и невольная мысль вдругъ вѣско легла мнѣ на душу: „Цивилизація„! — думалъ я,—„кто же смѣетъ сказать противъ цивилизаціи? Нѣтъ, цивилизація что-нибудь да значитъ: не увидятъ по крайней мѣрѣ эти дѣти наши, мирно гуляющіе здѣсь на Невскомъ проспектѣ, какъ съ отцовъ ихъ сдирать будутъ кожу, а матери ихъ какъ будутъ вскидывать на воздухъ этихъ дѣтей и ловить ихъ на штыкъ, какъ было въ Болгаріи. Покрайней мѣрѣ хоть это-то пріобрѣтеніе наше да останется за цивилизаціей! И пусть это только въ Европѣ, т. е. въ одномъ уголкѣ земнаго шара, и въ уголкѣ довольно маломъ сравнительно съ поверхностью планеты (мысль страшная!), но все же это есть, существуетъ, хоть въ уголкѣ да существуетъ, положимъ дорогою цѣной, сдираніемъ кожъ съ родныхъ нашихъ братьевъ гдѣ-то тамъ на краю, но за то у насъ-то по крайней мѣрѣ существуетъ. Подумать только что прежде, да и недавно еще нигдѣ этого не было въ твердомъ видѣ, даже и въ Европѣ, и что если есть это теперь у насъ въ Европѣ, то вѣдь въ первый разъ съ тѣхъ поръ какъ существуетъ планета. Нѣтъ, все же это уже достигнуто и можетъ быть назадъ уже никогда не воротится,—соображеніе чрезвычайно важное, невольно въ душу направляющееся, вовсе не такое маленькое, на которое не стоило-бы обращать вниманія, тѣмъ болѣе что міръ—міръ всетаки попрежнему загадка, несмотря на цивилизацію и ея пріобрѣтенія. Богъ знаетъ чѣмъ чреватъ еще міръ и что можетъ дальше случиться, даже и въ ближайшемъ будущемъ.

И вотъ, только лишь я хотѣлъ воскликнуть про себя въ восторгѣ: „да здравствуетъ цивилизація“! — какъ вдругъ во всемъ усомнился: „Да достигнуто-ли даже это-то, даже для этихъ Невскаго-то проспекта дѣтей? ужъ не миражъ ли полно и здѣсь, и только глаза отводятъ?

Знаете, господа, я остановился на томъ, что миражъ, или, помягче, почти что миражъ, и если не сдираютъ здѣсь на Невскомъ кожу съ отцовъ въ глазахъ ихъ дѣтей, то развѣ только случайно, такъ сказать „по независящимъ отъ публики обстоятельствамъ“, ну и разумѣется потому еще что городовые стоятъ. О, я спѣшу оговориться: я вовсе не аллегорію какую нибудь подвожу, не на страданія какого нибудь

пролетарія въ нашъ вѣкъ намекаю, не на родителя какого нибудь, который говоритъ своему семилѣтнему сыну: „Вотъ тебѣ мой завѣтъ: украдешь пять рублей—прокляну, украдешь сто тысячъ — благословлю“. О нѣтъ, слова мои я разумѣю буквально. Я разумѣю буквальное сдираніе кожъ, вотъ то самое, которое происходило лѣтомъ въ Болгаріи и которымъ, оказывается, такъ любятъ заниматься побѣдоносные Турки. И вотъ про это-то сдираніе я и утверждаю, что если его нѣтъ на Невскомъ, то развѣ „случайно, по независящимъ отъ насъ обстоятельствамъ“ и, главное, потому что пока еще запрещено, а что за нами можетъ быть дѣло бы и не стало, не смотря на всю нашу цивилизацію.

По моему, если ужъ все говорить, такъ просто боятся какого-то обычая, какого-то принятаго на вѣру правила, почти что предразсудка; но еслибъ чуть-чуть „доказалъ“ кто-нибудь изъ людей „компетентныхъ“, что содрать иногда съ иной спины кожу выйдетъ даже и для общаго дѣла полезно, и что если оно и отвратительно, то все же „цѣль оправдываетъ средства“, — еслибъ заговорилъ кто нибудь въ этомъ смыслѣ, компетентнымъ слогомъ и при компетентныхъ обстоятельствахъ, то повѣрьте тотчасъ же явились бы исполнители, да еще изъ самыхъ веселыхъ. О пусть, пусть это смѣшнѣйшій мой парадоксъ! Я первый подписываюсь подъ этимъ опредѣленіемъ обѣими руками, но тѣмъ не менѣе увѣряю васъ, что это точь въ точь такъ-бы и было. Цивилизація есть, и законы ея есть, и вѣра въ нихъ даже есть, но — явись лишь новая мода и тотчасъ же множество людей измѣнилось бы. Конечно не всѣ, но за то осталась бы такая малая кучка, что даже мы съ вами читатель удивились бы, и даже еще неизвѣстно гдѣ бы мы сами-то очутились: между сдираемыми или сдирателями? Мнѣ разумѣется закричатъ въ глаза, что все это дребедень и что никогда такой моды не можетъ быть, и что этого-то по крайней мѣрѣ уже достигла цивилизація. Господа, какое легковѣріе съ вашей стороны! Вы смѣетесь? Ну а во Франціи (чтобъ не заглядывать куда поближе) въ 93-мъ году, развѣ не утвердилась эта самая мода сдиранія кожи, да еще подъ видомъ самыхъ священнѣйшихъ принциповъ цивилизаціи, и это послѣ-то Руссо и Вольтера! Вы скажете что все это было вовсе не то и очень давно, но замѣтьте, что я прибѣгаю къ исторіи единственно можетъ быть чтобъ не заговорить о текущемъ. Повѣрьте, что самая полная аберрація и въ умахъ и въ сердцахъ всегда у людей возможна, а у насъ, и именно въ наше время не только возможна, но и неминуема, судя по ходу вещей. Посмотрите много ли согласныхъ въ томъ что хорошо что дурно. И это не то что въ какихъ нибудь тамъ „истинахъ“, а въ самомъ первомъ встрѣчномъ вопросѣ. И съ какой быстротой происходятъ у насъ перемѣны и вольтфасы? Что такое въ Москвѣ Червонные валеты? Мнѣ кажется, это всего лишь та часть той фракціи русскаго дворянства, которая не вынесла крестьянской реформы. Пусть они сами и не помѣщики, но они дѣти помѣщиковъ. Послѣ крестьянской реформы они щелкнули себя по галстуку и засвистали. Да тутъ и не одна крестьянская реформа была причиною, просто „новыхъ идей“ не вынесли: „Если-де все, чему насъ учили, были предразсудки, то зачѣмъ-же за ними слѣдовать? Коли *ничего* нѣтъ значитъ мож-

но *все* дѣлать, — вотъ идея! Замѣтьте — идея до невѣроятности распространенная, девять десятыхъ изъ послѣдователей новыхъ идей ее исповѣдуютъ, другими словами девять десятыхъ прогрессистовъ и не умѣютъ у насъ иначе понимать новыхъ идей. У насъ Дарвинъ напримѣръ, немедленно обращается въ карманнаго воришку,—вотъ что такое и червонный валетъ. О, конечно у человѣчества чрезвычайно много накоплено вѣками выжитыхъ правилъ гуманности, изъ которыхъ иныя слывутъ за незыблемыя. Но я хочу лишь сказать только, что несмотря на всѣ эти правила, принципы, религіи, цивилизаціи, въ человѣчествѣ спасается ими всегда только самая незамѣтная кучка,—правда, такая, за которой и остается побѣда, но лишь въ концѣ концовъ, а въ злобѣ дня, въ текущемъ ходѣ исторіи люди остаются какъ бы все тѣ же навсегда, т. е. въ огромномъ большинствѣ своемъ не имѣютъ никакого чуть-чуть даже прочнаго понятія ни о чувствѣ долга, ни о чувствѣ чести, и явись чуть-чуть лишь новая мода и тотчасъ же побѣжали бы всѣ нагишомъ, да еще съ удовольствіемъ. Правила есть, да люди-то къ правиламъ не приготовлены вовсе. Скажутъ: да и не надо готовиться, надо только правила эти отыскать! Такъ-ли, и удержатся-ли долго правила, какія бы тамъ ни были, коли такъ хочется побѣжать нагишомъ?

По моему одно: осмыслить и прочувствовать можно даже и вѣрно и разомъ, но сдѣлаться человѣкомъ нельзя разомъ, а надо выдѣлаться въ человѣка. Тутъ дисциплина. Вотъ эту-то неустанную дисциплину надъ собой и отвергаютъ иные наши современные мыслители: „слишкомъ де много ужь было деспотизму, надо свободы“, а свобода эта ведетъ огромное большинство лишь къ лакейству передъ чужой мыслью, ибо страхъ какъ любитъ человѣкъ все то, что подается ему готовымъ. Мало того: мыслители провозглашаютъ общіе законы, т. е. такія правила, что всѣ вдругъ сдѣлаются счастливыми, безо всякой выдѣлки только бы эти правила наступили. Да еслибъ этотъ идеалъ и возможенъ былъ, то съ *недодѣланными* людьми не осуществились бы никакія правила, даже самыя очевидныя. Вотъ въ этой то неустанной дисциплинѣ и непрерывной работѣ самому надъ собой и могъ бы проявиться нашъ гражданинъ. Съ этой то великодушной работы надъ собой и начинать надо, чтобъ поднять потомъ нашу „Новь“, а то незачѣмъ выйдетъ и подымать ее.

Да? Но что хорошо и что дурно—вотъ вѣдь чего, главное, мы не знаемъ? Всякое чутье въ этомъ смыслѣ потеряли. Всѣ прежніе авторитеты разбили и наставили новыхъ, а въ новые авторитеты, чуть кто изъ насъ поумнѣе, тотъ и не вѣруетъ, а кто посмѣлѣе духомъ, тотъ изъ гражданина въ червоннаго валета обращается. Мало того, ей Богу начнетъ сдирать со спинъ кожу, да еще провозгласитъ, что это полезно для общаго дѣла, а сталобыть свято. Какже, въ какомъ же смыслѣ приступить къ работѣ-то надъ собой если не знаешь что хорошо, что худо?

IV.

Меттернихи и Дон-Кихоты.

Но чтобъ не говорить отвлеченно, обратимся къ данной темѣ. Вотъ мы дѣйствительно не сдираемъ кожъ, мало того, даже не любимъ этого (только

одинъ Богъ знаетъ: любитель часто прячется, любитель мало извѣстенъ, до времени стыдится, „боится предразсудка“), но если и не любимъ у себя и *никогда не дѣлаемъ*, то должны вѣдь ненавидѣть и въ другихъ. Мало того, что ненавидѣть, должны просто не дать сдирать кожъ никому, такъ таки взять и не дать. А между тѣмъ такъ ли на дѣлѣ? Самые негодующіе изъ насъ вовсе не такъ негодуютъ какъ бы слѣдовало. Я даже не про однихъ славянъ говорю. Если мы ужь такъ сострадаемъ, такъ и поступать должны бы въ размѣрѣ нашего сострадания, а не въ размѣрѣ десяти цѣлковыхъ пожертвованія. Мнѣ скажутъ, что вѣдь нельзя же отдать все. Я съ этимъ согласенъ, хотя и не знаю почему. Почему же бы и не все? Въ томъ то и дѣло, что тутъ рѣшительно ничего не понимаешь даже въ собственной природѣ. А тутъ вдругъ, съ огромнымъ авторитетомъ, возникаетъ вопросъ объ *„интересахъ цивилизаціи!“*

Вопросъ ставится прямо, ясно, научно и цинически откровенно. „Интересы цивилизаціи — это производство, это богатство, это спокойствіе нужное капиталу. Нужно огромное, безпрерывное и прогрессивное производство по уменьшенной цѣнѣ, въ видахъ страшнаго нарощенія пролетаріевъ. Доставляя заработокъ пролетарію, доставляемъ ему и предметы потребленія по уменьшенной цѣнѣ. Чѣмъ спокойнѣе въ Европѣ, тѣмъ болѣе по уменьшенной цѣнѣ. Стало быть именно нужно въ Европѣ спокойствіе. Шумъ войны прогонитъ производство. Капиталъ трусливъ, онъ забоится войны и спрячется. Если ограничить право Турокъ сдирать со спинъ райи кожу, то надобно затѣять войну, а затѣй войну— сейчасъ выступитъ впередъ Россія,— значитъ можетъ наступить такое усложненіе войны, при которомъ война обниметъ весь свѣтъ; тогда прощай производство и пролетарій пойдетъ на улицу. А пролетарій опасенъ на улицѣ. Въ рѣчахъ Палатамъ уже упоминается прямо и откровенно, вслухъ на весь міръ, что пролетарій опасенъ, что съ пролетаріемъ не спокойно, что пролетарій внимаетъ соціализму. „Нѣтъ ужь лучше пусть гдѣ-то тамъ въ глуши сдираютъ кожу. Неприкосновенность турецкихъ правъ должна быть незыблема. Надо потушить Восточный вопросъ и дать сдирать кожу. Да и что такое эти кожи? Стоятъ-ли двѣ, три какихъ нибудь кожицы спокойствія всей Европы, ну двадцать, ну тридцать тысячъ кожъ,—не все ли равно? Захотимъ такъ и не услышимъ вовсе, стоитъ уши зажать“...

Вотъ мнѣніе Европы, (рѣшеніе можетъ быть); вотъ — *интересы цивилизаціи*, и — да будутъ они опять таки прокляты! И тѣмъ болѣе прокляты, что аберрація умовъ, (а русскихъ преимущественно),—предстоитъ несомнѣнная. Ставится прямо вопросъ: что лучше — многимъ-ли десяткамъ милліоновъ работниковъ идти на улицу, или единицамъ милліоновъ райи пострадать отъ Турокъ? Выставляютъ числа, пугаютъ цифрами. Кромѣ того, выступаютъ политики, мудрые учители: есть дескать такое правило, такое ученіе, такая аксіома, которая гласитъ что нравственность одного человѣка, гражданина, единицы—это одно, а нравственность государства—другое. А стало быть то, что считается для одной единицы, для одного лица—подлостью, то относительно всего государства можетъ получить видъ величайшей премудрости!

Это ученіе очень распространено и

давнишнее, но—да будетъ и оно проклято! Главное, пусть не пугаютъ насъ цифрами. Пусть тамъ въ Европѣ какъ угодно, а у насъ пусть будетъ другое. Лучше вѣрить тому, что счастье нельзя купить злодѣйствомъ, чѣмъ чувствовать себя счастливымъ, зная что допустилось злодѣйство. Россія никогда не умѣла производить настоящихъ, своихъ собственныхъ Меттерниховъ и Биконсфильдовъ; напротивъ, все время своей Европейской жизни она жила не для себя, а для чужихъ, именно для „общечеловѣческихъ интересовъ“. И дѣйствительно, бывали случаи въ эти двѣсти лѣтъ, что она можетъ быть и старалась, кой когда, подражать Европѣ и заводила и у себя Меттерниховъ, но какъ-то всегда обозначалось въ концѣ концовъ, что русскій Меттернихъ оказывался вдругъ Донъ-Кихотомъ и тѣмъ ужасно дивилъ Европу. Надъ Донъ-Кихотомъ разумѣется смѣялись; но теперь кажется уже восполнились сроки и Донъ-Кихотъ началъ уже не смѣшить, а пугать. Дѣло въ томъ, что онъ несомнѣнно осмыслилъ свое положеніе въ Европѣ и не пойдетъ уже сражаться съ мельницами. Но за то онъ остался вѣрнымъ рыцаремъ, а это-то всего для нихъ и ужаснѣе. Въ самомъ дѣлѣ: въ Европѣ кричатъ о „русскихъ захватахъ, о русскомъ коварствѣ“, но единственно лишь чтобы напугать свою толпу, когда надо, а сами крикуны отнюдь тому не вѣрятъ, да и никогда не вѣрили. Напротивъ, ихъ смущаетъ теперь и страшитъ, въ образѣ Россіи, скорѣе нѣчто правдивое, нѣчто слишкомъ ужъ безкорыстное, честное, гнушающееся и захватомъ и взяткой. Они предчувствуютъ, что подкупить ее невозможно и никакой политической выгодой не завлечь ее въ корыстное или насильственное дѣло. Развѣ обманомъ,—но Донъ-Кихотъ, хоть и великій рыцарь, а вѣдь и онъ бываетъ иногда ужасно хитеръ, такъ что вѣдь и не дастъ себя обмануть. Англія, Франція, Австрія, — да есть-ли тамъ хоть одна такая нація, съ которой нельзя было бы соединиться при удобномъ случаѣ изъ политической выгоды съ насильственною корыстною цѣлью: Стоитъ лишь не пропустить ту минуту, въ которую подкупаемая нація всего дороже можетъ продать себя. Одну Россію ничѣмъ не прельстишь на неправый союзъ, никакой цѣной. А такъ какъ Россія въ тоже время страшно сильна и организмъ ея очевидно ростетъ и мужаетъ не по днямъ а по часамъ, что отлично хорошо понимаютъ и видятъ въ Европѣ, (хотя подчасъ и кричатъ, что колоссъ расшатанъ),—то какже имъ не бояться?

Кстати, этотъ взглядъ на неподкупность внѣшней политики Россіи, и на вѣчное служеніе ея общечеловѣческимъ интересамъ даже въ ущербъ себѣ, оправдывается исторіею и на это слишкомъ надо бы обратить вниманіе. Въ этомъ наша особенность сравнительно со всей Европой. Мало того, этотъ взглядъ на характеръ Россіи такъ мало распространенъ, что и у насъ врядъ-ли многіе ему повѣрятъ. Разумѣется *ошибки* русской политики при этомъ не должны быть поставлены въ счетъ, потому что дѣло идетъ теперь лишь о духѣ и нравственномъ характерѣ нашей политики, а не объудачахъ ея въ прошедшемъ и давнопрошедшемъ. Въ послѣднемъ случаѣ дѣйствительно бывали въ старину вѣтреныя мельницы, но повторяю, кажется ихъ время совсѣмъ прошло.

Нѣтъ серьозно: что въ томъ благосостояніи которое достигается цѣною неправды и сдиранія кожъ? Что правда для человѣка какъ лица, то пусть остает-

ся правдой и для всей націи. Да, конечно можно проиграть временно, обѣднѣть на время, лишиться рынковъ, уменьшить производство, возвысить дороговизну. Но пусть зато останется нравственно здоровъ организмъ націи—и нація несомнѣнно болѣе выиграетъ, даже и матеріально. Замѣтимъ, что Европа безспорно дошла до того, что ей всего дороже выгода текущая, выгода настоящей минуты и даже чего бы она ни стоила, потому что и живутъ они тамъ всего только день за днемъ, одной только настоящей минутой, и сами не знаютъ что съ ними станется завтра; мы же, Россія, мы все еще вѣримъ въ нѣчто незыблемое, у насъ созидающееся, а слѣдственно ищемъ выгодъ постоянныхъ и существенныхъ. А потому мы, и какъ политическій организмъ, всегда вѣрили въ нравственность вѣчную, а не условную на нѣсколько дней. Повѣрьте что Донъ-Кихотъ свои выгоды тоже знаетъ и разсчитать умѣетъ: онъ знаетъ что выиграетъ въ своемъ достоинствѣ и въ сознаніи этого достоинства, если по прежнему останется рыцаремъ; кромѣ того, убѣжденъ что на этомъ пути не утратитъ искренности въ стремленіи къ добру и къ правдѣ, и что такое сознаніе укрѣпитъ его на дальнѣйшемъ поприщѣ. Онъ увѣренъ наконецъ, что такая политика есть, кромѣ того, и лучшая школа для націи. Надо чтобъ червонный валетъ не смѣлъ сказать мнѣ въ глаза: „вѣдь и у васъ все условно, вѣдь и у васъ все на выгодѣ“. Надо чтобъ и юноша энтузіастъ возлюбилъ свою націю, а не шелъ бы искать правды и идеала на сторонѣ и внѣ общества. И онъ кончитъ тѣмъ что возлюбитъ, свою націю, когда время тяжелой, страшно тяжелой нашей школы пройдетъ. Правда какъ солнце, ее не спрячешь: Назначеніе Россіи станетъ наконецъ ясно самымъ кривымъ умамъ, и у насъ, и въ Европѣ. У насъ почему теперь возможны такія аберраціи умовъ какъ нигдѣ? Потому что полуторавѣковымъ порядкомъ, вся интелигенція наша только и дѣлала, что отвыкала отъ Россіи и кончила тѣмъ, что раззнакомилась съ ней окончательно и сносилась съ нею только черезъ канцелярію. Съ реформами нынѣшняго царствованія начался новый вѣкъ. Дѣло пошло и остановиться не можетъ.

А Европа прочла осенній манифестъ Русскаго Императора и его запомнила,—не для одной текущей минуты запомнила, а на долго, и на будущія текущія минуты. Обнажимъ если надо мечь во имя угнетенныхъ и несчастныхъ, хотя даже и въ ущербъ текущей собственной выгодѣ. Но въ тоже время да укрѣпится въ насъ еще тверже вѣра, что въ томъ-то и есть настоящее назначеніе Россіи, сила и правда ея, и что жертва собою за угнетенныхъ и брошенныхъ всѣми въ Европѣ во имя интересовъ цивилизаціи, есть настоящее служеніе настоящимъ и истиннымъ интересамъ цивилизаціи.

Нѣтъ, надо чтобъ и въ политическихъ организмахъ была признаваема та же правда, та самая Христова правда, какъ и для каждаго вѣрующаго. Хоть гдѣ нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая нибудь изъ націй да должна же свѣтить. Иначе чтоже будетъ: все затемнится, замѣшается и потонетъ въ цинизмѣ. Иначе не сдержите нравственности и отдѣльныхъ гражданъ, а въ такомъ случаѣ какъ же будетъ жить цѣлый-то организмъ народа? Надобенъ авторитетъ, надоб-

но солнце чтобъ освѣщало. Солнце показалось на Востокѣ и для человѣчества съ Востока начинается новый день. Когда просіяетъ солнце совсѣмъ тогда и поймутъ что такое настоящіе „интересы цивилизаціи“. А то выставится знамя съ надписью на немъ: „Après nous le deluge“ (Послѣ насъ хоть потопъ)! Неужели столь славная „цивилизація“ доведетъ Европейскаго человѣка до такого девиза, да тѣмъ съ нимъ и покончитъ? Къ тому идетъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Одинъ изъ главнѣйшихъ современныхъ вопросовъ.

Мои читатели можетъ быть уже замѣтили что я, вотъ уже слишкомъ годъ издавая свой „Дневникъ Писателя“, стараюсь какъ можно меньше говорить о текущихъ явленіяхъ русской словесности, а если и позволяю себѣ кой-когда словцо и на эту тему, то развѣ лишь въ восторженно-хвалебномъ тонѣ. А между тѣмъ, въ этомъ добровольномъ воздержаніи моемъ—какая неправда! Я — писатель, и пишу „Дневникъ Писателя“,—да я можетъ быть болѣе чѣмъ кто нибудь интересовался за весь этотъ годъ тѣмъ, что появлялось въ литературѣ: какже скрывать, можетъ быть, самыя сильныя впечатлѣнія? „Самъ дескать литераторъ-бельлетристъ, а стало быть всякое сужденіе твое о бельлетрической литературѣ, кромѣ безусловной похвалы, почтется пристрастнымъ; развѣ говорить лишь о давно прошедшихъ явленіяхъ“—вотъ соображеніе меня останавливавшее.

И все же я рискну на этотъ разъ нарушить это соображеніе. Правда, въ чисто бельлетрическомъ и критическомъ смыслѣ я и не буду говорить ни о чемъ, а развѣ лишь, въ случаѣ нужды, „по поводу“. Поводъ вышелъ и теперь. Дѣло въ томъ, что мѣсяцъ назадъ я попалъ на одну до того серьезную и характерную въ текущей литературѣ вещь, что прочелъ ее даже съ удивленіемъ, потому что давно уже ни на что подобное въ такихъ размѣрахъ не разсчитывалъ въ бельлетристикѣ. У писателя — художника въ высшей степени, бельлетриста по преимуществу, я прочелъ три-четыре страницы настоящей „злобы дня“, — все что есть важнѣйшаго въ нашихъ русскихъ текущихъ политическихъ и соціальныхъ вопросахъ, и какъ бы собранное въ одну точку. И главное, — со всѣмъ характернѣйшимъ оттѣнкомъ настоящей нашей минуты, именно такъ, какъ ставится у насъ этотъ вопросъ въ данный моментъ, ставится и оставляется неразрѣшеннымъ... Я говорю про нѣсколько страницъ въ „Аннѣ Карениной“ графа Льва Толстаго, въ январскомъ № Русскаго Вѣстника.

Собственно обо всемъ этомъ романѣ скажу лишь полслово, и то лишь въ видѣ самаго необходимаго предисловія. Началъ я читать его, какъ и всѣ мы, очень давно. Сначала мнѣ очень понравилось; потомъ, хоть и

продолжали нравиться подробности, такъ что не могъ оторваться отъ нихъ, но въ цѣломъ стало нравиться менѣе. Все казалось мнѣ, что я это гдѣ-то уже читалъ, и именно въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“ того же графа Толстаго и въ „Войнѣ и Мирѣ“ его же, и что тамъ даже свѣжѣе было. Все таже исторія барскаго русскаго семейства, хотя конечно сюжетъ не тотъ. Лица, какъ Вронскій напримѣръ (одинъ изъ героевъ романа), которые и говорить не могутъ между собою иначе какъ объ лошадяхъ, и даже не въ состояніи найти объ чемъ говорить кромѣ какъ объ лошадяхъ—были конечно любопытны, чтобъ знать ихъ типъ, но очень однообразны и сословны. Казалось, напримѣръ, что любовь этого „жеребца въ мундирѣ“, какъ назвалъ его одинъ мой пріятель, могла быть изложена развѣ лишь въ ироническомъ тонѣ. Но когда авторъ сталъ вводить меня въ внутренній міръ своего героя серьезно, а не иронически, то мнѣ показалось это даже скучнымъ. И вотъ вдругъ всѣ предубѣжденія мои были разбиты. Явилась сцена смерти героини (потомъ она опять выздоровѣла) — и я понялъ всю существенную часть цѣлей автора. Въ самомъ центрѣ этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вѣковѣчная жизненная правда, и разомъ все озарила. Эти мелкіе, ничтожные и лживые люди стали вдругъ истинными и правдивыми людьми, достойными имени человѣческаго,—единственно силою природнаго закона, закона смерти человѣческой. Вся скорлупа ихъ исчезла и явилась одна ихъ истина. Послѣдніе выросли въ первыхъ, а первые (Вронскій) вдругъ стали послѣдними, потеряли весь ореолъ и унизились; но унизившись стали безмѣрно лучше, достойнѣе и истиннѣе, чѣмъ когда были первыми и высокими. Ненависть и ложь заговорили словами прощенія и любви. Вмѣсто тупыхъ свѣтскихъ понятій, явилось лишь человѣколюбіе. Всѣ простили и оправдали другъ друга. Сословность и исключительность вдругъ исчезли и стали немыслимы, и эти люди изъ бумажки стали похожи на настоящихъ людей! Виноватыхъ не оказалось: всѣ обвинили себя безусловно и тѣмъ тотчасъ же себя оправдали. Читатель почувствовалъ что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, въ которую и надо вѣрить, и что вся наша жизнь и всѣ наши волненія, какъ самыя мелкія и позорныя, такъ равно и тѣ которыя мы считаемъ часто за самыя высшія, — все это чаще всего лишь самая мелкая фантастическая суэта, которая падаетъ и исчезаетъ передъ моментомъ жизненной правды, даже и не защищаясь. Главное было въ томъ указаніи, что моментъ этотъ есть въ самомъ дѣлѣ, хотя и рѣдко является во всей своей озаряющей полнотѣ, а въ иной жизни такъ и никогда даже. Моментъ этотъ былъ отысканъ и намъ указанъ поэтомъ во всей своей страшной правдѣ. Поэтъ доказалъ что правда эта существуетъ въ самомъ дѣлѣ, не на вѣру, не въ идеалѣ только, а неминуемо и необходно и во очію. Кажется именно это-то и хотѣлъ доказать намъ поэтъ начиная свою поэму. Русскому читателю объ этой вѣковѣчной правдѣ слишкомъ надо было напомнить: многіе стали у насъ объ ней забывать. Этимъ напоминаніемъ авторъ сдѣлалъ хорошій поступокъ, не говоря уже о томъ что выполнилъ его какъ необыкновенной высоты художникъ.

Затѣмъ опять потянулся романъ и вотъ, къ нѣкоторому удивленію моему,

я встрѣтилъ въ шестой части романа сцену, отвѣчающую настоящей „злобѣ дня“ и, главное, явившуюся не намѣренно, не тенденціозно, а именно изъ самой художественной сущности романа. Тѣмъ не менѣе, повторяю это, для меня это было неожиданно и нѣсколько меня удивило: такой „злобы дня“ я все таки не ожидалъ. Я почему то не думалъ, что авторъ рѣшится довести своихъ героевъ въ ихъ развитіи до такихъ „столповъ.“ Правда, въ столпахъ-то этихъ, въ этой крайности вывода и весь смыслъ дѣйствительности, а безъ того романъ имѣлъ бы видъ даже неопредѣленный, далеко не соотвѣтствующій ни текущимъ, ни существеннымъ интересамъ русскимъ: былъ бы нарисованъ какой-то уголокъ жизни, съ намѣреннымъ игнорированіемъ самаго главнаго и самаго тревожнаго въ этой же жизни. Впрочемъ я кажется пускаюсь рѣшительно въ критику, а это не мое дѣло. Я только хотѣлъ указать на одну сцену. Больше ничего какъ обозначились два лица съ той именно стороны, съ которой они наиболѣе для насъ теперь могутъ быть характерны, и тѣмъ самымъ, тотъ типъ людей, къ которому принадлежатъ эти два лица, поставленъ авторомъ на самую любопытнѣйшую точку въ нашихъ глазахъ въ ихъ современномъ соціальномъ значеніи.

Оба они дворяне, родовые дворяне и коренные помѣщики, оба взяты послѣ крестьянской реформы. Оба были „крѣпостными помѣщиками“ и теперь вопросъ: что остается отъ этихъ дворянъ, въ смыслѣ дворянскомъ, послѣ крестьянской реформы? Такъ какъ типъ этихъ двухъ помѣщиковъ чрезвычайно общъ и распространенъ, то вопросъ отчасти и разрѣшенъ авторомъ. Одинъ изъ нихъ Стива Облонскій, эгоистъ, тонкій эпикуреецъ, житель Москвы и членъ Англійскаго клуба. На этихъ людей обыкновенно смотрятъ какъ на невинныхъ и милыхъ жуировъ, пріятныхъ эгоистовъ, никому не мѣшающихъ, остроумныхъ, живущихъ въ свое удовольствіе. У этихъ людей бываетъ часто и многочисленное семейство; съ женой и дѣтьми они ласковы, но мало объ нихъ думаютъ. Очень любятъ легкихъ женщихъ, разряда конечно приличнаго. Образованы они мало, но любятъ изящное, искусства, и любятъ вести разговоръ обо всемъ. Съ крестьянской реформы этотъ дворянинъ тотчасъ же понялъ въ чемъ дѣло: онъ сосчиталъ и сообразилъ что у него все таки еще что-нибудь да остается, а стало быть мѣняться не зачѣмъ и—Aprés moi le deluge (послѣ меня хоть потопъ). Объ судьбѣ жены и дѣтей онъ не заботится думать. Остатками состоянія и связями онъ избавленъ отъ судьбы червоннаго валета; но еслибъ состояніе его рушилось и нельзя бы было получать даромъ жалованія, то можетъ быть онъ и сталъ бы валетомъ, разумѣется употребивъ всѣ усилія ума, нерѣдко очень остраго, чтобъ стать валетомъ какъ можно приличнѣйшимъ и великосвѣтскимъ. Въ старину конечно, для уплаты карточнаго долга или любовницѣ, ему случалось отдавать людей въ солдаты; но такія воспоминанія никогда не смущали его, да и забылъ онъ ихъ вовсе. Хоть онъ и аристократъ, но дворянство свое онъ всегда считалъ ни во что, а по устраненіи крѣпостныхъ отношеній — такъ даже исчезнувшимъ: для него изъ *людей* остались лишь *человѣкъ въ случаѣ*, затѣмъ чиновникъ съ извѣстнаго чина, а за тѣмъ богачь. Желѣзно-дорожникъ и банкиръ стали силою и онъ немедленно съ ними затѣялъ сноше-

нія и дружбу. Да и разговоръ начался съ упрека ему, Левинымъ, родственникомъ его и помѣщикомъ (но уже совершенно обратнаго типа и живущемъ въ своемъ помѣстьѣ), за то что онъ ѣздитъ къ желѣзнодорожникамъ, на ихъ обѣды и праздники, къ людямъ двусмысленнымъ, по убѣжденію Левина вреднымъ. Облонскій опровергаетъ его съ ѣдкостью. Да и вообще между ними, съ тѣхъ поръ какъ они породнились, установились довольно ѣдкія отношенія. Притомъ въ нашъ вѣкъ негодяй, опровергающій благороднаго, всегда сильнѣе, ибо имѣетъ видъ достоинства почерпаемаго въ здравомъ смыслѣ, а благородный, походя на идеалиста, имѣетъ видъ шута. Разговоръ происходитъ на охотѣ, въ лѣтнюю ночь. Охотники на ночлегѣ, въ крестьянской ригѣ и ночуютъ на сѣнѣ. Облонскій доказываетъ, что презрѣніе къ желѣзнодорожникамъ, къ ихъ интригамъ, къ ихъ скорой наживѣ, вымаливанью концессій, перепродажамъ — не имѣетъ смысла, что это такіе же люди, дѣйствуютъ трудомъ и умомъ, какъ и всѣ, а въ результатѣ — даютъ дорогу.

— Но всякое пріобрѣтеніе, не соотвѣтственное положенному труду—не честно, говоритъ Левинъ.

— Да ктожъ опредѣлитъ соотвѣтствіе? продолжаетъ Облонскій... Ты не опредѣлилъ черты между честнымъ и безчестнымъ трудомъ. То что я получаю жалованья больше чѣмъ мой столоначальникъ, хотя онъ лучше меня знаетъ дѣло—это безчестно?

— Я не знаю.

— Ну такъ я тебѣ скажу: то что ты получаешь за свой трудъ въ хозяйствѣ лишнихъ, положимъ, пять тысячъ, а этотъ мужикъ, какъ бы онъ ни трудился, не получитъ больше пятидесяти рублей, точно также безчестно какъ то, что я получаю больше столоначальника...

. . . . . .

— Нѣтъ, позволь, продолжаетъ Левинъ Ты говоришь что несправедливо что я получу пять тысячъ, а мужикъ пятдесятъ рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего имѣнья, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ какъ будто нарочно задиравшій Левина. . . . . .

— Я не отдаю, потому что никто этого отъ меня не требуетъ и еслибъ я хотѣлъ, то мнѣ нельзя отдать... и некому.

— Отдай этому мужику, онъ не откажется.

— Да, но какъ же я отдамъ ему? Поѣду съ нимъ и совершу купчую?

— Я не знаю, но если ты убѣжденъ, что ты не имѣешь права...

— Я вовсе не убѣжденъ. Я, напротивъ, чувствую, что не имѣю права отдать, что у меня есть обязанности и къ землѣ и къ семьѣ.

— Нѣтъ, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не дѣйствуешь такъ...

— Я и дѣйствую, только отрицательно, въ томъ смыслѣ, что я не буду стараться увеличить ту разницу положенія, которая существуетъ между мною и имъ.

— Нѣтъ, ужъ извини меня, это парадоксъ...

. . . . . .

Такъ-то мой другъ. Надо одно изъ двухъ: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться что пользуешься несправедливыми преимуществами, *какъ я и дѣлаю, и пользоваться ими съ удовольствіемъ.*

— Нѣтъ, еслибъ это было несправедливо ты бы не могъ пользоваться этими благами съ удовольствіемъ, *по крайней мѣрѣ я не могъ бы, мнѣ главное надо чувствовать, что я не виноватъ.*

II.

„Злоба дня“.

Вотъ разговоръ. И ужъ согласитесь что это „злоба дня“, даже все что есть наизлобнѣйшаго въ нашей злобѣ дня. И сколько самыхъ характерныхъ, чисто русскихъ чертъ! Во первыхъ,

лѣтъ сорокъ назадъ всѣ эти мысли и въ Европѣ-то едва начинались, многимъ-ли и тамъ были извѣстны Сен-Симонъ и Фурье—первоначальные „идеальные“ толковники этихъ идей, а у насъ, — у насъ знали тогда о начинавшемся этомъ новомъ движеніи на Западѣ Европы лишь полсотни людей въ цѣлой Россіи. И вдругъ теперь толкуютъ объ этихъ „вопросахъ“ помѣщики на охотѣ, на ночлегѣ въ крестьянской ригѣ, и толкуютъ характернѣйшимъ и компетентнѣйшимъ образомъ, такъ что по крайней мѣрѣ отрицательная сторона вопроса уже рѣшена и подписана ими безповоротно. Правда, это помѣщики высшаго свѣта, говорятъ въ Англійскомъ клубѣ, читаютъ газеты, слѣдятъ за процессами и изъ газетъ и изъ другихъ источниковъ; тѣмъ не менѣе ужь одинъ фактъ что такая идеальнѣйшая дребедень признается самой насущной темой для разговора у людей далеко не изъ профессоровъ и не спеціалистовъ, а просто свѣтскихъ, Облонскихъ и Левиныхъ,—эта черта, говорю я, одна изъ самыхъ характерныхъ особенностей настоящаго русскаго положенія умовъ. Вторая характернѣйшая черта въ этомъ разговорѣ, отмѣченная художникомъ авторомъ, это та, что рѣшаетъ на счетъ справедливости этихъ новыхъ идей такой человѣкъ, который за нихъ, т. е. за счастье пролетарія, бѣдняка, не дастъ самъ ни гроша, напротивъ при случаѣ самъ оберетъ его какъ липку. Но съ легкимъ сердцемъ и съ веселостью каламбуриста онъ разомъ подписываетъ крахъ всей исторіи человѣчества и объявляетъ настоящій строй его верхомъ абсурда. „Я, дескать, съ этимъ совершенно согласенъ“. Замѣтьте, что вотъ эти-то Стивы всегда со всѣмъ этимъ первые согласны. Одной чертой онъ осудилъ весь христіанскій порядокъ, личность, семейство, — о, это ему ничего не стоитъ. Замѣтьте тоже, что у насъ нѣтъ науки, но эти господа, съ полнымъ безстыдствомъ сознавая что у нихъ нѣтъ науки, и что они начали говорить объ этомъ всего лишь вчера, и съ чужаго голоса, рѣшаютъ однакоже такого размѣра вопросы безъ всякаго колебанія Но тутъ третья характернѣйшая черта: этотъ господинъ прямо говоритъ: „Надо одно изъ двухъ, или признавать что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, *ими признаваться что пользуемся несправедливыми преимуществами, какъ я и дѣлаю, и пользоваться ими съ удовольствіемъ.* „Т. е. въ сущности онъ, подписавъ приговоръ всей Россіи и осудивъ ее, равно какъ своей семьѣ, будущности дѣтей своихъ, прямо объявляетъ, что это до него не касается: „Я, дескать, сознаю что я подлецъ, но останусь подлецомъ въ свое удовольствіе. Après moi le deluge“. Это потому онъ такъ спокоенъ, что у него еще есть состояніе, но случись что онъ его потеряетъ—почему же ему не стать валетомъ, — самая прямая дорога. И такъ вотъ этотъ гражданинъ, вотъ этотъ семьянинъ, вотъ этотъ русскій человѣкъ—какая характернѣйшая чисто русская черта! Вы скажете что онъ все таки исключеніе. Какое исключеніе и можетъ-ли это быть? Припомните сколько цинизма увидали мы въ эти послѣднія двадцать лѣтъ, какую легкость оборотовъ и переворотовъ, какое отсутствіе всякихъ коренныхъ убѣжденій и какую быстроту усвоенія первыхъ встрѣчныхъ съ тѣмъ конечно чтобъ завтра-же ихъ опять продать за два гроша. Никакого нравственнаго фонда,

кромѣ après moi le deluge (послѣ меня потопъ).

Но всего любопытнѣе то, что рядомъ съ этимъ, многочисленнѣйшимъ и владычествующимъ типомъ, стоитъ другой, — другой типъ русскаго дворянина и помѣщика и уже обратно-противоположный тому, — все что есть противуположнаго. Это Левинъ, но Левиныхъ въ Россіи — тьма, почти столько же сколько и Облонскихъ. Я не про лицо его говорю, не про фигуру, которую создалъ ему въ романѣ художникъ, я говорю лишь про одну черту его сути, но за то самую существенную и утверждаю что черта эта до удивленія страшно распространена у насъ, то есть среди нашего-то цинизма и калмыцкаго отношенія къ дѣлу. Черта эта съ нѣкотораго времени заявляетъ себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти болѣзненно стремятся получить отвѣты на свои вопросы, они твердо надѣются, страстно вѣруютъ, хотя и ничего почти еще разрѣшить не умѣютъ. Черта эта выражается совершенно въ отвѣтѣ Левина Стивѣ:

„Нѣтъ, еслибы это было несправедливо, ты бы не могъ пользоваться этими благами съ удовольствіемъ *по крайней мѣрѣ я не могъ-бы, мнѣ главное надо чувствовать что я не виноватъ.*

И онъ въ самомъ дѣлѣ не успокоится пока не разрѣшитъ: виноватъ онъ или не виноватъ? И знаете-ли до какой степени не успокоится? Онъ дойдетъ до послѣднихъ столповъ, и если надо, если только надо, если только онъ докажетъ себѣ, что это надо, то, въ противоположность Стивѣ, который говоритъ: „хоть и негодяемъ да продолжаю жить въ свое удовольствіе“—онъ обратится въ „Власа“, въ „Власа“ Некрасова, который роздалъ свое имѣніе въ припадкѣ великаго умиленія и страха

И сбирать на построеніе
Храма Божьяго пошелъ.

И если не на построеніе храма пойдетъ сбирать, то сдѣлаетъ что нибудь въ этихъ же размѣрахъ и съ такою же ревностью. Замѣтьте, опять повторяю и спѣшу повторить, черту: это множество, чрезвычайное современное множество этихъ новыхъ людей, этого новаго корня русскихъ людей, которымъ *нужна правда*, одна правда безъ условной лжи, и которые, чтобъ достигнуть этой правды, отдадутъ все рѣшительно. Эти люди тоже объявились въ послѣдніе двадцать лѣтъ и объявляются все больше и больше, хотя ихъ и прежде, и всегда, и до Петра еще можно было предчувствовать. Это наступающая будущая Россія честныхъ людей которымъ нужна лишь одна правда. О, въ нихъ большая и нетерпимость: по неопытности они отвергаютъ всякія условія, всякія разъясненія даже. Но я только то хочу заявить изо всей силы, что ихъ влечетъ истинное чувство. Характернѣйшая черта еще въ томъ что они ужасно не спѣлись и пока принадлежатъ ко всевозможнымъ разрядамъ и убѣжденіямъ: тутъ и аристократы и пролетаріи, и духовные и невѣрующіе, и богачи и бѣдные, и ученые и неучи, и старики и дѣвочки и славянофилы и западники. Разладъ въ убѣжденіяхъ непомѣрный, но стремленіе къ честности и правдѣ неколебимое и нерушимое, и за слово истины всякій изъ нихъ отдастъ жизнь свою и всѣ свои преимущества, говорю—обратится въ Власа. Закричатъ пожалуй что это дикая фантазія, что нѣтъ у насъ столько честности и *исканія честности.* Я именно

провозглашаю что есть, рядомъ съ страшнымъ развратомъ, что я вижу и предчувствую этихъ грядущихъ людей, которымъ принадлежитъ будущность Россіи, что ихъ нельзя уже не видать, и что художникъ сопоставившій этого отжившаго циника Стиву съ своимъ новымъ человѣкомъ Левинымъ, какъ-бы сопоставилъ это отпѣтое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее съ собой собственнымъ приговоромъ общество русское, съ обществомъ новой правды, которое не можетъ вынести въ сердцѣ своемъ убѣжденія что оно виновато и отдастъ все, чтобъ очистить сердце свое отъ вины своей. Замѣчательно тутъ то, что дѣйствительно наше общество дѣлится почти что только на эти два разряда,—до того они обширны и до того они всецѣло обнимаютъ собою русскую жизнь,—разумѣется если откинуть массу совершенно лѣнивыхъ, бездарныхъ и равнодушныхъ. Но самая характернѣйшая, самая русская черта этой „Злобы дня“, указанной авторомъ состоитъ въ томъ, что его новый человѣкъ, его Левинъ *не умѣетъ* рѣшить смутившій его вопросъ. То есть онъ уже и рѣшилъ его *почти*, въ сердцѣ своемъ, и не въ свою пользу, *подозрѣвая* что онъ *виноватъ*, но что-то твердое, прямое и реальное возстаетъ изъ всей его природы и удерживаетъ его пока отъ послѣдняго приговора. Напротивъ Стива, которому все равно виноватъ онъ или нѣтъ, — рѣшаетъ безъ малѣйшаго колебанія, это ему даже на руку: „коли все нелѣпо и ничего святаго не существуетъ стало быть можно все дѣлать, а съ меня еще времени хватитъ, не сейчасъ вѣдь придетъ страшный судъ“. Любопытно еще то, что именно самая слабая сторона вопроса и смутила Левина, и поставила его въ тупикъ, и это чисто по русски, и совершенно вѣрно отмѣчено авторомъ: все дѣло въ томъ, что всѣ эти мысли и вопросы у насъ въ Россіи—одна лишь теорія, всѣ къ намъ занесенные съ чужаго строя и съ чужаго порядка вещей, изъ Европы, гдѣ они имѣютъ давно уже свою историческую и практическую сторону. Что-жь дѣлать: оба наши дворянина—европейцы, и отъ европейскаго авторитета освободиться имъ не легко, надо и тутъ отдать дань Европѣ. И вотъ Левинъ, русское сердце, смѣшиваетъ чисто русское и единственно возможное рѣшеніе вопроса, съ европейской его постановкой. Онъ смѣшиваетъ христіанское рѣшеніе съ историческимъ „правомъ“. Представимъ, для ясности, себѣ такую картинку:

Стоитъ Левинъ, стоитъ задумавшись послѣ ночнаго разговора своего на охотѣ съ Стивой и мучительно, какъ честная душа, желаетъ разрѣшить смутившій, и уже прежде стало быть смущавшій его вопросъ.

— Да, думаетъ онъ, полурѣшая, да, если по настоящему, то за что мы, какъ сказалъ давеча Весловскій „ѣдимъ, пьемъ, охотимся, ничего не дѣлаемъ, а бѣдный вѣчно, вѣчно въ трудѣ? Да, Стива правъ, я *долженъ* раздѣлить мое имѣніе бѣднымъ и пойти работать на нихъ.

Стоитъ подлѣ Левина „бѣдный“ и говоритъ:

— Да, ты дѣйствительно долженъ и обязанъ отдать свое имѣніе намъ бѣднымъ и пойти работать на насъ.

Левинъ выйдетъ совершенно правъ, а „бѣдный“ совершенно не правъ, разумѣется рѣшая дѣло такъ сказать въ высшемъ смыслѣ. Но въ томъ-то и вся разница постановки вопроса. Ибо нрав-

ственное рѣшеніе его нельзя смѣшивать съ историческимъ; не то — безъисходная путаница, которая и теперь продолжается, особенно въ теоретическихъ русскихъ головахъ,—и въ головахъ негодяевъ Стивъ и въ головахъ чистыхъ сердцемъ Левиныхъ. Въ Европѣ жизнь и практика уже поставили вопросъ — хоть и абсурдно въ идеалѣ его исхода, но все же реально въ его текущемъ ходѣ, и уже не смѣшивая двухъ разнородныхъ взглядовъ, нравственнаго и историческаго, по крайней мѣрѣ по возможности. Разъяснимъ нашу мысль еще, хоть двумя словами.

III.

Злоба дня въ Европѣ.

Въ Европѣ былъ феодализъ и были рыцари. Но въ тысячу слишкомъ лѣтъ усилилась буржуазія и наконецъ задала повсемѣстно битву, разбила и согнала рыцарей и—стала сама на ихъ мѣсто. Исполнилась въ лицахъ поговорка: „Otes toi de là que jé m'y mette“ (убирайся, а я на твое мѣсто). Но ставъ на мѣсто своихъ прежнихъ господъ, и завладѣвъ собственностью, буржуазія совершенно обошла народъ, пролетарія, и не признавъ его за брата обратила ого въ рабочую силу, для своего благосостоянія, изъ за куска хлѣба. Нашъ русскій Стива рѣшаетъ про себя, что онъ неправъ, но сознательно хочетъ оставаться негодяемъ, потому что ему жирно и хорошо; заграничный Стива съ нашимъ несогласенъ и признаетъ себя совершенно правымъ, и ужъ конечно онъ въ этомъ по своему логичнѣе, ибо, по его мнѣнію, тутъ вовсе и нѣтъ никакого *права*, а есть только *исторія*, историческій ходъ вещей. Онъ сталъ на мѣсто рыцаря, потому что побѣдилъ рыцаря силой, и онъ отлично хорошо понимаетъ что пролетарій, бывшій вовремя борьбы его съ рыцаремъ еще ничтожнымъ и слабымъ, очень можетъ усилиться и даже усиливается съ каждымъ днемъ. Онъ отлично предчувствуетъ, что когда тотъ совсѣмъ усилится, то сковырнетъ его съ мѣста, какъ онъ когда-то рыцаря, и точь въ точь также скажетъ ему; „убирайся, а я на твое мѣсто.“ Гдѣ же тутъ право, тутъ одна исторія. О, онъ бы готовъ былъ на компромисъ, какъ - нибудь поладить съ врагомъ, и даже пробовалъ. Но такъ какъ онъ отлично догадался, да и на опытѣ знаетъ, что врагъ ни за что не расположенъ мириться, дѣлиться не хочетъ, а хочетъ *всего*; кромѣ того: что если онъ и уступитъ что, то только себя ослабитъ — то и рѣшилъ не уступать ничего и—готовиться къ битвѣ. Положеніе его можетъ быть безнадежно, но по свойству человѣческой природы укрѣпляться духомъ передъ борьбою,—онъ не отчаявается, напротивъ укрѣпляется на бой все болѣе и болѣе, пускаетъ всѣ средства въ ходъ, изо всей силы, пока сила есть; ослабляетъ противника и пока только это и дѣлаетъ.

Вотъ на какой точкѣ это дѣло теперь въ Европѣ. Правда, прежде, недавно даже была и тамъ *нравственная* постановка вопроса, были фурьеристы и кабетисты, были спросы, споры и дебаты объ разныхъ, весьма тонкихъ вещахъ. Но теперь предводители пролетарія все это до времени устранили. Они прямо хотятъ задать битву, организуютъ армію, собираютъ ее въ ассоціаціи, устраиваютъ кассы, и увѣрены въ побѣдѣ: „А тамъ, послѣ побѣды, все само собою устроится

практически, хотя очень можетъ быть, что послѣ рѣкъ пролитой крови". Буржуа понимаетъ, что предводители пролетаріевъ прельщаютъ ихъ просто грабежемъ, и что въ такомъ случаѣ нравственную сторону дѣла и ставить не стоитъ. И однако между и теперешними даже предводителями случаются такіе коноводы, которые проповѣдуютъ и нравственное право бѣдныхъ. Высшіе предводители допускаютъ этихъ коноводовъ собственно для красы, чтобъ скрасить дѣло, придать ему видъ высшей справедливости. Изъ этихъ „нравственныхъ" коноводовъ есть много интригановъ, но много и пламенно вѣрующихъ. Они прямо объявляютъ, что для себя ничего не хотятъ, а работаютъ лишь для человѣчества, хотятъ добиться новаго строя вещей для счастья человѣчества. Но тутъ ихъ ждетъ буржуа на довольно твердой почвѣ и имъ прямо ставитъ на видъ, что они хотятъ заставить его стать братомъ пролетарію и подѣлить съ нимъ имѣніе — палкой и кровью. Не смотря на то, что это довольно похоже на правду, коноводы отвѣчаютъ имъ, что они вовсе не считаютъ ихъ, буржуазію, способными стать братьями народу, а потому-то и идутъ на нихъ просто силой, изъ братства ихъ исключаютъ вовсе: „братство-де образуется потомъ, изъ пролетаріевъ, а вы—вы сто милліоновъ обреченныхъ къ истребленію головъ, и только. Съ вами покончено, для счастья человѣчества". Другіе изъ коноводовъ прямо уже говорятъ, что братства никакого имъ и не надо, что христіанство бредни и что будущее человѣчество устроится на основаніяхъ научныхъ. Все это, конечно, не можетъ поколебать и убѣдить буржуа. Онъ понимаетъ и возражаетъ, что это общество, на основаніяхъ научныхъ, чистая фантазія, что они представили себѣ человѣка совсѣмъ инымъ, чѣмъ устроила его природа. Что человѣку трудно и невозможно отказаться отъ безусловнаго права собственности, отъ семейства и отъ свободы; что отъ будущаго своего человѣка они слишкомъ много требуютъ пожертвованій, какъ отъ личности; что устроить такъ человѣка можно только страшнымъ насиліемъ и поставивъ надъ нимъ страшное шпіонство и безпрерывный контроль самой деспотической власти. Въ заключеніе они вызываютъ указать ту силу, которая бы смогла соединить будущаго человѣка въ согласное общество, а не въ насильственное. На это коноводы выставляютъ пользу и необходимость, которую сознастъ самъ человѣкъ, и что самъ онъ, чтобъ спасти себя отъ разрушенія и смерти, согласится добровольно сдѣлать всѣ требуемыя уступки. Имъ возражаютъ, что польза и самосохраненіе никогда одни не въ силахъ породить полнаго и согласнаго единенія, что никакая польза не замѣнитъ своеволія и правъ личности, что эти силы и мотивы слишкомъ слабы и что все это стало быть по прежнему гадательно. Что еслибъ они дѣйствовали только нравственной стороной дѣла, то пролетарій и слушать бы ихъ не сталъ, а если идетъ за ними теперь и организуется въ битву, то единственно потому, что прельщенъ обѣщаннымъ грабежемъ и взволнованъ перспективою разрушенія и битвы. А стало быть, въ концѣ концовъ, нравственную сторону вопроса надобно совсѣмъ устранить, потому что она не выдерживаетъ ни малѣйшей критики, а надо просто готовиться къ бою.

Вотъ европейская постановка дѣла.

И та и другая сторона страшно неправы, и та и другая погибнутъ во грѣхахъ своихъ. Повторяемъ, всего тяжелѣе для насъ русскихъ то, что у насъ даже Левины надъ этими же самыми вопросами задумываются, тогда какъ единственно возможное разрѣшеніе вопроса, и именно русское, и не только для русскихъ но и для всего человѣчества,—есть постановка вопроса нравственная т. е. христіанская. Въ Европѣ она не мыслима, хотя и тамъ, рано-ли, поздно-ли, послѣ рѣкъ крови и ста милліоновъ головъ, должны же будутъ признать ее, ибо въ ней только одной и исходъ.

IV.

Русское рѣшеніе вопроса.

Если вы почувствовали, что вамъ тяжело „ѣсть, пить, ничего не дѣлать и ѣздить на охоту“ и если вы дѣйствительно это почувствовали и дѣйствительно такъ вамъ жаль, „бѣдныхъ“, которыхъ такъ много, то отдайте имъ свое имѣніе если хотите, пожертвуйте на общую пользу и идите работать на всѣхъ и „получите сокровище на небеси, тамъ гдѣ не копятъ и не посягаютъ“. Пойдите какъ Власъ у котораго

Сила вся души великая
Въ дѣло Божіе ушла.

И если не хотите сбирать, какъ Власъ, на храмъ Божій, то заботьтесь о просвѣщеніи души этого бѣдняка, свѣтите ему, учите его. Еслибъ и всѣ роздали какъ вы свое имѣніе „бѣднымъ“, то раздѣленныя на всѣхъ, всѣ богатства богатыхъ міра сего были бы лишь каплей въ морѣ. А потому надобно заботиться больше о свѣтѣ, о наукѣ и о усиленіи любви. Тогда богатство будетъ расти въ самомъ дѣлѣ, и богатство настоящее, потому что оно не въ золотыхъ платьяхъ заключается, а въ радости общаго соединенія и въ твердой надеждѣ каждаго на всеобщую помощь въ несчастіи, ему и дѣтямъ его. И не говорите что вы лишь слабая единица, и что если вы одинъ раздадите имѣніе и пойдете служить, то ничего этимъ не сдѣлаете и не поправите. Напротивъ, если даже только нѣсколько будетъ такихъ какъ вы, такъ и тогда двинется дѣло. Да въ сущности и не надо даже раздавать *непремѣнно* имѣнія, — ибо всякая *непремѣнность* тутъ, въ дѣлѣ любви, похожа будетъ на мундиръ, на рубрику, на букву. Убѣжденіе, что исполнилъ букву ведетъ только къ гордости, къ формалистикѣ и къ лѣности. Надо дѣлать только то, что велитъ сердце: велитъ отдать имѣніе—отдайте, велитъ идти работать на всѣхъ—идите, но и тутъ не дѣлайте такъ, какъ иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: „дескать я не баринъ, я хочу работать какъ мужикъ“. Тачка опять таки мундиръ.

Напротивъ, если чувствуете что будете полезны всѣмъ какъ ученый, идите въ университетъ и оставьте себѣ на то средства. Не раздача имѣнія обязательна и не надѣванье зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь *рѣшимость ваша дѣлать все ради дѣятельной любви*, все что возможно вамъ, что сами искренно признаете для себя возможнымъ. Всѣ же эти старанія „опроститься“ — лишь одно только переряживаніе, невѣжливое да же къ народу и васъ унижающее. Вы слишкомъ „сложны“ чтобъ опроститься, да и образованіе ваше не позволитъ вамъ стать мужикомъ. Лучше мужика вознесите

до вашей „осложненности“. Будьте только искренни и простодушны; это лучше всякаго „опрощенія“. Но пуще всего не запугивайте себя сами, не говорите: „одинъ въ полѣ не воинъ“ и пр. Всякій кто искренно захотѣлъ истины, тотъ уже страшно силенъ. Не подражайте тоже нѣкоторымъ фразерамъ, которые говорятъ поминутно, чтобы ихъ слышали: „Не даютъ ничего дѣлать, связываютъ руки, вселяютъ въ душу отчаяніе и разочарованіе!“ и пр. и пр. Все это фразеры и герои поэмъ дурнаго тона, рисующіеся собою лѣнтяи. Кто хочетъ приносить пользу, тотъ и съ буквально связанными руками можетъ сдѣлать бездну добра. Истинный дѣлатель, вступивъ на путь, сразу увидитъ передъ собою столько дѣла, что не станетъ жаловаться что ему не даютъ дѣлать, а непремѣнно отыщетъ и успѣетъ хоть что нибудь сдѣлать. Всѣ настоящіе дѣлатели про это знаютъ. У насъ одно изученіе Россіи сколько времени возьметъ, потому что вѣдь у насъ лишь рѣдчайшій человѣкъ знаетъ нашу Россію. Жалобы на разочарованіе совершенно глупы: радость на воздвигающееся зданіе должна утолить всякую душу и всякую жажду, хотя бы вы только по песчинкѣ приносили пока на зданіе. Одна награда вамъ— любовь, если заслужите ее. Положимъ вамъ не надо награды, но вѣдь вы дѣлаете дѣло любви, а стало быть нельзя же вамъ не домогаться любви. Но пусть никто и не скажетъ вамъ, что вы и безъ любви должны были сдѣлать все это, изъ собственной такъ сказать пользы, и что иначе васъ бы заставили силой. Нѣтъ, у насъ въ Россіи надо насаждать другія убѣжденія, и особенно относительно понятій о свободѣ, равенствѣ и братствѣ. Въ нынѣшнемъ образѣ міра полагаютъ свободу въ разнузданности, тогда какъ настоящая свобода—лишь въ одолѣніи себя и воли своей, такъ чтобы подконецъ достигнуть такого нравственнаго состоянія, чтобъ всегда во всякій моментъ быть самому себѣ настоящимъ хозяиномъ. А разнузданность желаній ведетъ лишь къ рабству вашему. Вотъ почему чуть-чуть не весь нынѣшній міръ полагаетъ свободу въ денежномъ обезпеченіи и въ законахъ гарантирующихъ денежное обезпеченіе: „Есть деньги стало быть могу дѣлать все что угодно; есть деньги — стало быть не погибну и не пойду просить помощи, а не просить ни у кого помощи есть высшая свобода.“ А между тѣмъ это въ сущности не свобода, а опять таки рабство, рабство отъ денегъ. Напротивъ, самая высшая свобода — не копить и не обезпечивать себя деньгами, а „раздѣлить всѣмъ что имѣешь и пойти всѣмъ служить“. Если способенъ на то человѣкъ, если способенъ одолѣть себя до такой спепени — то онъ-ли послѣ того не свободенъ? Это уже высочайшее проявленіе воли! Затѣмъ, что такое въ нынѣшнемъ образованномъ мірѣ Равенство? Ревнивое наблюденіе другъ за другомъ, чванство и зависть: „Онъ уменъ, онъ Шекспиръ, онъ тщеславится своимъ талантомъ; унизить его, истребить его“. Между тѣмъ настоящее равенство говоритъ: „Какое мнѣ дѣло что ты талантливѣе меня, умнѣе меня, красивѣе меня? Напротивъ, я этому радуюсь потому что люблю тебя. Но хоть я и ничтожнѣе тебя, но какъ человѣка я уважаю себя, и ты знаешь это, и самъ уважаешь меня, а твоимъ уваженіемъ я счастливъ. Если ты, по твоимъ способностямъ, приносишь въ сто разъ больше пользы мнѣ и всѣмъ, чѣмъ я

тебѣ, то я за это благословляю тебя, дивлюсь тебѣ и благодарю тебя, и вовсе не ставлю моего удивленія къ тебѣ себѣ въ стыдъ; напротивъ, счастливъ тѣмъ что тебѣ благодаренъ и если работаю на тебя и на всѣхъ, по мѣрѣ моихъ слабыхъ способностей, то вовсе не для того чтобъ сквитаться съ тобой, а потому что люблю васъ всѣхъ".

Если такъ будутъ говорить всѣ люди, то ужъ конечно они станутъ и братьями, и не изъ одной только экономической пользы, а отъ полноты радостной жизни, отъ полноты любви.

Скажутъ что это фантазія, что это „русское рѣшеніе вопроса"—есть „Царство Небесное" и возможно развѣ лишь въ Царствѣ Небесномъ. Да, Стивы очень разсердились бы еслибъ наступило Царство Небесное. Но надобно взять уже то одно, что въ этой фантазіи „русскаго рѣшенія вопроса" несравненно менѣе фантастическаго и несравненно болѣе вѣроятнаго чѣмъ въ Европейскомъ рѣшеніи. Такихъ людей, т. е. „Власовъ" мы уже видѣли и видимъ у насъ во всѣхъ сословіяхъ, и даже довольно часто; тамошняго же „будущаго человѣка" мы еще нигдѣ не видѣли и самъ онъ обѣщалъ придти перейдя лишь рѣки крови. Вы скажете что единицы и десятки ничему не помогутъ, а надобно добиться извѣстныхъ всеобщихъ порядковъ и принциповъ. Но еслибъ даже и существовали такіе порядки и принципы, чтобы безошибочно устроить общество, и еслибъ даже и можно было ихъ добиться прежде практики, такъ, à priori, изъ однихъ мечтаній сердца и „научныхъ" цифръ, взятыхъ при томъ изъ прежняго строя общества,—то съ неготовыми, съ невыдѣланными къ тому людьми никакія правила не удержатся и не осуществятся, а напротивъ, станутъ лишь въ тягость. Я же безгранично вѣрую въ нашихъ будущихъ и уже начинающихся людей, вотъ объ которыхъ я уже говорилъ выше что они пока ещс не спѣлись, что они страшно какъ разбиты на кучки и лагери въ своихъ убѣжденіяхъ, но за то всѣ ищутъ правды прежде всего, и еслибъ только узнали гдѣ она, то для достиженія ея готовы пожертвовать всѣмъ, и даже жизнью. Повѣрьте, что если они вступятъ на путь истинный, найдутъ его наконецъ, то увлекутъ за собою и всѣхъ, и не насиліемъ, а свободно. Вотъ что уже могутъ сдѣлать единицы на первый случай. И вотъ тотъ плугъ, которымъ можно поднять нашу „Новь". Прежде чѣмъ проповѣдывать людямъ: „какъ имъ быть"—покажите это на себѣ. Исполните на себѣ сами и всѣ за вами пойдутъ. Что тутъ утопическаго, что тутъ невозможнаго—не понимаю! Правда, мы очень развратны, очень малодушны, а потому не вѣримъ и смѣемся. Но теперь почти не въ насъ и дѣло, а въ грядущихъ. Народъ чистъ сердцемъ, но ему нужно образованіе. Но чистые сердцемъ подымаются и въ нашей средѣ—и вотъ что самое важное! Вотъ этому надо повѣрить прежде всего, это надобно умѣть разглядѣть. А чистымъ сердцемъ одинъ совѣтъ: самообладаніе и самоодолѣніе прежде всякаго перваго шага. Исполни самъ на себѣ прежде чѣмъ другихъ заставлять, — вотъ въ чемъ вся тайна перваго шага.

Ѳ. Достоевскій.

Отвѣтъ на письмо.

Въ Редакцію „Дневника Писателя“ пришло слѣдующее письмо:

Милостивый Государь
Ѳедоръ Михайловичъ!

12 января я послалъ на ваше имя 2 р. 50 к., прося Васъ выслать мнѣ ваше изданіе „Дневникъ Писателя“; изъ газетъ я узналъ, что 1 нумеръ вышелъ 1-го Февраля; сегодня уже 25 число—межъ тѣмъ я еще не получалъ его! Крайне интересно знать что за причина этому факту? Не знаю какъ для Васъ,—а для меня подобный образъ отношеній къ подписчикамъ кажется болѣе чѣмъ оригинальнымъ!

Если Вы вздумаете когда нибудь выслать мнѣ ваше изданіе — прошу адресовать: Г. Новохоперскъ, врачу при городской земской больницѣ, В. В. К—ну.

В. К—нъ.

Г. Новохоперскъ
18 $\frac{25}{II}$ 77.

Вотъ отвѣтъ Редакціи:

Милостивый Государь,

Къ сожалѣнію жалобы на неполученіе выпусковъ, приходятъ къ намъ довольно часто, и особенно вначалѣ года. Справляясь по книгамъ, всегда находимъ, что номера эти давно уже отправлены и—теряются стало быть въ дорогѣ. Процентъ этихъ потерь конечно очень не великъ сравнительно съ числомъ подписчиковъ, но онъ существуетъ неизмѣнно, и не у однихъ насъ, а и въ другихъ изданіяхъ. Обыкновенно мы, не вступая въ объясненія, и чтобъ удовлетворить скорѣе подписчиковъ, посылаемъ вторичные номера: гдѣ ужъ розыскивать пропавшій номеръ! Въ серединѣ года дѣло налаживается, а въ концѣ года пропажъ почти не бываетъ.

Но Вы, Милостивый Государь, изо всѣхъ предположеній: почему могъ не дойти къ Вамъ номеръ,—выбрали не колеблясь одно, именно обманъ со стороны редакціи. Это ясно изъ тона Вашего письма и особенно изъ словъ: „Если Вы *когда нибудь вздумаете* высылать мнѣ ваше изданіе, прошу и т. д. Стало быть прямо предполагаете что редакція сознательно удержала вашъ номеръ и не удерживаетесь выразить ваше сомнѣніе въ томъ, что его даже хоть когда нибудь получите. Вслѣдствіе чего редакція спѣшитъ выслать Вамъ Ваши 2 р. 50 к. обратно и проситъ уже болѣе ее не безпокоить. Принуждена же сдѣлать это изъ понятнаго и естественнаго побужденія, которому Вы, Милостивый Государь, вѣроятно не удивитесь.

Оставшіеся въ небольшемъ количествѣ полные экземпляры „Дневника Писателя“ за 1876 г. сброшюрованы въ одну книгу и поступили въ продажу во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 2 р. 50 коп. за экземпляръ. **Выписывающіе прямо отъ автора пользуются безплатною пересылкою:**

У автора „Дневника Писателя“ можно получать слѣдующія его сочиненія:

Романъ „**БѢСЫ**“, въ трехъ томахъ, цѣна 3 р. 50 коп.
——— „**ИДІОТЪ**“, въ двухъ томахъ, цѣна 3 р. 50 коп.
——— „**ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА**“, 4-е изданіе въ одномъ томѣ, цѣна 2 рубля.
——— „**ПОДРОСТОКЪ**“, три тома, цѣна 3 р. 50 коп.

Вышелъ въ свѣтъ **четвертымъ изданіемъ** и поступилъ въ продажу романъ Ѳ. М. Достоевскаго „**ПРЕСТУПЛЕНІЕ И НАКАЗАНІЕ**“, два тома, цѣна 3 р. 50 коп.

Подписчики „Дневника Писателя“, обращающіеся за означенными сочиненіями къ автору, получаютъ 20% уступки; иногородные же пользуются, кромѣ того, безплатною пересылкою.

1-го МАРТА вышла и разослана подписчикамъ III-я, МАРТОВСКАЯ, книга историческаго журнала:

„РУССКАЯ СТАРИНА".

СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ: I. Турецкая неволя. Истор. очеркъ П. А. Кулиша.—II. Екатерина II и Густавъ III. Статья акад. Я. К. Грота.—III. Князь М. И. Кутузовъ: мнѣнія современниковъ о дѣйствіяхъ его въ 1812 г., изслѣдов. А. Н. Попова.—IV. Уничтоженіе масонскихъ ложъ въ Россіи въ 1822 г.: вновь открытые доносы-записки, вызвавшія это событіе.—V. Кн. А. С. Меншиковъ въ разсказахъ его адъютанта А. А. Панаева: дни съ 9-го по 16-е сентября 1854 г. въ Севастополѣ и знаменитое фланговое движеніе русской арміи. — VI. Пріѣздъ Тотлебена въ Севастополь. Статья Н. К. Шильдера. — VII. Очерки и замѣтки А. Н. Сѣрова, 1846 г.—VIII. Русская историческая и юридич. литература въ 1876 г.: статьи професс. В. С. Иконникова, Д. И. Иловайскаго, професс. М. И. Горчакова и В. И. Сергѣевича. — IX. Записная книжка „Русской Старины": письма достопамятн. людей, очерки, разсказы анекдоты и замѣтки. — X. Перечень русско-историческихъ книгъ.

При этой книгѣ приложенъ гравированный на мѣди портретъ Кавказскаго имама и вождя **Шамиля**, гравированъ на мѣди съ фотографіи исполненной съ натуры въ экспедиціи заготовл. госуд. бумагъ.

Гг. иногородные подписчики имѣютъ высылать свои требованія адресуя такъ: **въ С-Петербургъ, въ редакцію журнала „Русская Старина"**, Надеждинская, д. № 42, кв. № 12.

Городскіе подписчики „Русской Старины„ обращаются въ контору сего журнала: въ С.-Петербургѣ, на Невскій проспектъ, противъ Гостинаго двора, при книжномъ магазинѣ **Ник. Ив. Мамонтова, д. № 46.**

Отдѣленія главной конторы „Русской Старины": въ Москвѣ, при книжныхъ магазинахъ И. Г. Соловьева, на Страстномъ бульварѣ, домъ Алексѣева, и Ник. Ив. Мамонтова, на Кузнецкомъ мосту, домъ Фирсанова.

Принимается подписка на „Русскую Старину" 1877 г. Цѣна за 12 книгъ съ портретами при каждой книгѣ 8 руб. съ пересылкой.

Лица и учрежденія подписавшіяся на „Русскую Старину" 1877 г. до перваго мая сего года получатъ безплатно портретъ **Н. В. Гоголя**, отпечатанный красками, точный снимокъ съ портрета, писаннаго съ натуры знаменитымъ художникомъ **А. А. Ивановымъ.**

ТОЛЬКО ЧТО ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ ЖИЗНИ. Сочиненіе Клодъ Бернара. Переводъ съ франц. СПб. 1876 г. Ц. 35 к. съ пересылкою 50 к.

РУКОВОДСТВО КРОЙКѢ и ШИТЬЮ женскаго платья, для самообученія, по вновь изобрѣтенной весьма простой и вѣрной системѣ. Въ 2-хъ частяхъ и въ 3-хъ отдѣлахъ, съ 15 рисунками и многими планами. Ц. 1 руб. съ пересылкой 1 руб. 50 коп.

НОВЫЙ СПОСОБЪ РИСОВАНІЯ, посредствомъ котораго всякій, даже не имѣющій понятія о рисованіи, можетъ весьма легко безъ всякой предварительной подготовки, снимать всевозможныя копіи съ рисунковъ, картинъ, фотографическихъ картъ, портретовъ и проч. совершенно сходныя съ оригиналомъ, въ роскошномъ картонажѣ съ приборомъ и объясненіемъ. СПб. 1876 г. Ц. 3 руб. съ пересылкой.

Съ требованіемъ гг. иногородные благоволятъ обращаться исключительно въ **С.-Петербургъ**, Большая Садовая улица, близъ Церкви Покрова Богородицы, домъ № 88, Артамоновыхъ, на имя Петра Петровича **Федорова.**

Гг. подписчики, при каждомъ заявленіи о перемѣнѣ своихъ адресовъ, благоволятъ прилагать по 30 коп. (почтов. марками).

3-й, мартовскій, выпускъ выйдетъ 2 апрѣля.

Дозволено цензурою. Спб. 4 марта 1877. Типогр. кн. В. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ГОДЪ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ. II-Й,

1877.

МАРТЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на ежемѣсячное изданіе Ѳ. М. Достоевскаго

„ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ“

НА 1877 ГОДЪ.

(ДВѢНАДЦАТЬ ВЫПУСКОВЪ ВЪ ГОДЪ).

Каждый выпускъ будетъ заключать въ себѣ отъ полутора до двухъ листовъ убористаго шрифта, въ форматѣ еженедѣльныхъ газетъ нашихъ.

Каждый выпускъ будетъ выходить въ послѣднее число каждаго мѣсяца и продаваться отдѣльно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 25 копѣекъ. Желающіе подписаться на все годовое изданіе впередъ пользуются уступкою и платятъ лишь два рубля (безъ доставки и пересылки), а съ пересылкою или доставкою на домъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: для городскихъ подписчиковъ въ С.-Петербургѣ: Въ книжномъ магазинѣ Я. А. Исакова (гостиный дворъ № 24) и въ книжномъ „Магазинѣ для иногородныхъ“, Невскій пр., № 44.

Въ Москвѣ: въ „Центральномъ книжномъ магазинѣ“, Никольская, д. Славянскаго Базара,

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА выпусковъ производится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга, въ Москвѣ: у Салаева, Соловьева, Живарева, Кашкина, Мамонтова, Васильева, Юрьева, Александрова, Разсохина и др., въ Казани у Дубровина и въ магазинѣ „Восточная Лира“, въ Кіевѣ у Гинтера и Малецкаго, въ Южно-русскомъ Книжномъ Магазинѣ, у Отлоблина (Литова) и у Корейво, въ Одессѣ: у Распопова и Бѣлаго, въ Харьковѣ у Геевскаго и Куколевскаго, въ Воронежѣ и Тулѣ: у Аносова, въ Тамбовѣ: у Зотова, въ Перми: у Наумова, въ Смоленскѣ: у Лаврова, въ Тифлисѣ: у Береиштама, въ Черниговѣ: у Данюшевскаго, въ Варшавѣ: у Истомина, въ Томскѣ: у Макушина, въ Саратовѣ: у

Лятошинскаго и Холодковскаго, въ Острогожскѣ: у Новгородова, въ Козловѣ: у Муравьева, въ Вильно: у Сыркина, въ Нѣжинѣ: у Куриленко.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться исключительно къ автору по слѣдующему адресу: **С.-Петербургъ, Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6, Ѳедору Михайловичу Достоевскому.**

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Еще разъ о томъ что Константинополь, рано ли поздно ли, а долженъ быть нашъ.

Прошлаго года, въ іюнѣ мѣсяцѣ, въ іюньскомъ № моего „Дневника“, я сказалъ, что Константинополь „рано ли, поздно ли долженъ быть нашъ“. Тогда было горячее и славное время: подымалась духомъ и сердцемъ вся Россія и народъ шелъ „добровольно“ послужить Христу и православію противъ невѣрныхъ, за нашихъ братьевъ по вѣрѣ и крови славянъ. Я хоть и назвалъ тогдашнюю статью мою „утопическимъ пониманіемъ исторіи“,—но самъ я твердо вѣрилъ въ свои слова и не считалъ ихъ утопіей, да и теперь готовъ подтвердить ихъ буквально. Вотъ что я написалъ тогда о Константинополѣ:

„Да, золотой рогъ и Константинополь,—все это будетъ наше... И во первыхъ, это случится само собою, именно потому, что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то дѣйствительно время уже близко, всѣ къ тому признаки. Это выходъ естественный, это такъ сказать слово самой природы. Если не случилось этого раньше, то именно потому, что не созрѣло еще время“.

Затѣмъ я тогда разъяснилъ мою мысль почему не созрѣло, да и не могло созрѣть прежде время. Еслибъ Петру Великому (писалъ я) и пришла тогда мысль,

вмѣсто основанія Петербурга захватить Константинополь, то, мнѣ кажется, онъ, по нѣкоторомъ размышленіи, оставилъ бы эту мысль тогда же, еслибъ даже и имѣлъ на столько силы чтобы сокрушить султана, именно потому, что тогда дѣло это было несвоевременное и могло бы принести даже гибель Россіи.

Ужъ когда въ чухонскомъ Петербургѣ мы не избѣгли вліянія сосѣднихъ нѣмцевъ, хотя и бывшихъ полезными, но за то и весьма парализовавшихъ русское развитіе прежде чѣмъ выяснилась его настоящая дорога, то какъ въ Константинополѣ, огромномъ и своеобразномъ, съ остатками могущественной и древнѣйшей цивилизаціи, могли бы мы избѣжать вліянія грековъ, людей несравненно болѣе тонкихъ чѣмъ грубые нѣмцы, людей, имѣющихъ несравненно болѣе общихъ точекъ соприкосновенія съ нами чѣмъ совершенно непохожіе на насъ нѣмцы, людей многочисленныхъ и царедворныхъ, которые тотчасъ же бы окружили тронъ и прежде русскихъ стали бы и учены и образованы, которые и Петра самого очаровали бы въ его слабой струнѣ ужъ однимъ своимъ знаніемъ и умѣніемъ въ мореходствѣ, а не только его ближайшихъ преемниковъ. Однимъ словомъ, они овладѣли бы Россіей политически, они стащили бы ее немедленно на какую нибудь новую Азіатскую дорогу, на какую нибудь опять замкнутость и ужъ конечно этого не вынесла бы тогдашняя Россія. Ея русская сила и ея національность

были бы остановлены въ своемъ ходѣ. Мощный Великоруссъ остался бы въ отдаленіи на своемъ мрачномъ снѣжномъ сѣверѣ, служа не болѣе какъ матеріаломъ для обновленнаго Царьграда и можетъ быть, подконецъ, совсѣмъ не призналъ бы нужнымъ идти за нимъ. Югъ же Россіи весь бы подпалъ захвату грековъ. Даже можетъ быть совершилось бы распаденіе самаго Православія на два міра: на обновленный Царьградскій и старый русскій... Однимъ словомъ, дѣло было въ высшей степени несвоевременное. Теперь же совсѣмъ иное.

Теперь (писалъ я), теперь Россія уже могла бы завладѣть Константинополемъ и не перенося въ него свою столицу, чего тогда, при Петрѣ, и даже долго послѣ него, было бы нельзя миновать. Теперь Царьградъ могъ бы быть нашимъ и не какъ столица Россіи, но (прибавлялъ я) и не какъ столица всеславянства, какъ мечтаютъ нѣкоторые:

Всеславянство, безъ Россіи, истощится тамъ въ борьбѣ съ греками, если бы даже и могло составить изъ своихъ частей какое нибудь политическое цѣлое. Наслѣдовать же Константинополь однимъ грекамъ теперь уже совсѣмъ невозможно: нельзя отдать имъ такую важную точку земнаго шара, слишкомъ ужъ было бы имъ не по мѣркѣ.

Но во имя чего же, во имя какого *нравственнаго* права могла бы искать Россія Константинополя? Опираясь на какія высшія цѣли могла бы требовать его отъ Европы?

А вотъ именно (писалъ я)—какъ Предводительница Православія, какъ покровительница и охранительница его,—роль предназначенная ей еще съ Ивана III, поставившаго въ знакъ ея и царьградскаго двуглаваго орла выше древняго герба Россіи, но обозначившаяся уже несомнѣнно лишь послѣ Петра Великаго, когда Россія сознала въ себѣ силу исполнить свое назначеніе, а фактически уже и стала дѣйствительной и единственной покровительницей и православія и народовъ его исповѣдующихъ. Вотъ эта причина, вотъ это *право* на древній Царьградъ и было бы понятно и не обидно даже самымъ ревнивымъ къ своей независимости славянамъ, или даже самимъ грекамъ. Да и тѣмъ самымъ обозначилась бы и настоящая сущность тѣхъ политическихъ отношеній, которыя и должны неминуемо наступить у Россіи ко всѣмъ прочимъ православнымъ народностямъ, — славянамъ ли, грекамъ ли, все равно: Она—покровительница ихъ и даже можетъ быть предводительница, но не владычица; мать ихъ, а не госпожа. Если даже и государыня ихъ, когда нибудь, то лишь по собственному ихъ провозглашенію, съ сохраненіемъ всего того, чѣмъ сами они опредѣлили бы независимость и личность свою.

Всѣ эти соображенія само собою представлялись мною въ іюньской прошлогодней статьѣ отнюдь не какъ подлежащія немедленному исполненію, а лишь какъ долженствующія несомнѣнно исполниться когда придетъ къ тому историческое время и восполнятся сроки, близость и отдаленность которыхъ хотя невозможно предсказать, но все же можно предчувствовать. Съ тѣхъ поръ прошло девять мѣсяцевъ. Про эти девять мѣсяцевъ вспоминать я думаю нечего: всѣмъ намъ извѣстно это восторженное время въ началѣ, полное надеждъ, а потомъ странное и тревожное и которое до сихъ поръ еще не заключилось ничѣмъ, такъ что одинъ Богъ знаетъ—(я думаю такъ лишь можно выразиться)—чѣмъ оно разрѣшится: обнажимъ ли мы мечь или дѣло еще разъ оттянется какимъ нибудь компромиссомъ въ долгій ящикъ. Но чтобы ни случилось, мнѣ какъ разъ почему-то именно теперь захотѣлось высказать нѣсколько дополнительныхъ и поясняющихъ словъ къ моимъ іюньскимъ мечтамъ о судьбѣ Царьграда. Что бы тамъ теперь ни случилось—миръ ли, вновь ли уступки со стороны Россіи, но рано ли поздно ли, а Царьградъ будетъ нашъ,—вотъ что хочется мнѣ именно теперь опять подтвер-

дить, но уже съ нѣкоторой новой точки зрѣнія.

Да, онъ долженъ быть нашъ не съ одной точки зрѣнія знаменитаго порта, пролива, „средоточія вселенной“, „пупа земли“; не съ точки зрѣнія давно сознанной необходимости такому огромному великану какъ Россія выйти наконецъ изъ запертой своей комнаты, въ которой онъ уже доросъ до потолка, на просторъ, дохнуть вольнымъ воздухомъ морей и океановъ. Я хочу поставить на видъ лишь одно соображеніе, тоже самой первой важности, по которому Константинополь не можетъ миновать Россіи. Это соображеніе я потому преимущественно передъ другими выставляю на видъ, что, какъ мнѣ кажется, такой точки зрѣнія никто теперь не беретъ въ разсчетъ, или по крайней мѣрѣ давно позабыли брать въ разсчетъ, а она то пожалуй что и изъ самыхъ важныхъ.

II.

Русскій народъ слишкомъ доросъ до здраваго понятія о Восточномъ вопросѣ съ своей точки зрѣнія.

Хоть и дико сказать, но четырехвѣковой гнетъ Турокъ на Востокѣ съ одной стороны былъ даже полезенъ тамъ Христіанству и Православію,—отрицательно конечно, но однако же способствуя его укрѣпленію, а главное его единенію, его единству, точно также какъ двухвѣковая татарщина способствовала нѣкогда укрѣпленію Церкви и у насъ въ Россіи. Придавленное и измученное христіанское населеніе Востока увидало во Христѣ и въ вѣрѣ въ него единое свое утѣшеніе; а въ Церкви—единственный и послѣдній остатокъ своей національной личности и особности. Это была послѣдняя единая надежда, послѣдняя доска, остававшаяся отъ разбитаго корабля; ибо Церковь всетаки сохраняла эти населенія какъ національность, а вѣра во Христа препятствовала имъ т. е. хотя части изъ нихъ, слиться съ побѣдителями во едино, забывъ свой родъ и свою прежнюю исторію. Все это чувствовали и хорошо понимали сами угнетенные народы и единились около креста тѣснѣе. Съ другой стороны, съ самаго покоренія Константинополя, весь огромный христіанскій Востокъ, невольно и вдругъ обратилъ свой молящій взглядъ на далекую Россію, только что вышедшую тогда изъ своего татарскаго рабства, и какъ бы предугадалъ въ ней будущее ея могущество, свой будущій всеединящій центръ себѣ во спасеніе. Россія же немедленно и не колеблясь приняла знамя Востока и поставила Царьградскаго двуглаваго орла выше своего древняго герба и тѣмъ какъ бы приняла обязательство передъ всѣмъ Православіемъ: хранить его и всѣ народы его исповѣдующіе отъ конечной гибели. Въ тоже время и весь русскій народъ совершенно подтвердилъ новое назначеніе Россіи и Царя своего въ грядущихъ судьбахъ всего Восточнаго міра. Съ тѣхъ поръ главное, излюбленное наименованье Царя своего народъ твердо и неуклонно поставилъ и до сихъ поръ видитъ въ словѣ: „православный“ „Царь Православный“. Назвавъ такъ Царя своего, онъ какъ бы призналъ въ наименованіи этомъ и назначеніе его,—назначеніе охранителя, единителя, а когда прогремитъ велѣніе Божіе,—и Освободителя Православія и всего Христіанства его исповѣдующаго отъ мусульманскаго варварства и западнаго ере-

тичества. Два вѣка назадъ, и особенно начиная съ Петра Великаго, вѣрованія и надежды народовъ Востока начали сбываться уже на дѣлѣ: мечъ Россіи уже нѣсколько разъ сіялъ на Востокѣ въ защиту его. Само собою что и народы Востока не могли не видѣть въ Царѣ Россіи не только Освободителя, но и будущаго Царя своего. Но въ эти два вѣка явилось и у нихъ Европейское просвѣщеніе, Европейское вліяніе. Высшая просвѣщенная часть народа, интелигенція его, какъ у насъ, такъ и на Востокѣ, мало по малу стала къ идеѣ Православія равнодушнѣе, стала даже отрицать, что въ этой идеѣ заключается обновленіе и воскресеніе въ новую великую жизнь, какъ для Востока, такъ и для Россіи. Въ Россіи, напримѣръ, въ огромной части ея образованнаго сословія перестали и даже какъ бы отучились видѣть въ этой идеѣ главное назначеніе Россіи, завѣтъ будущаго и жизненную силу ея; въ противоположность тому стали находить все это въ новыхъ указаніяхъ. Въ церкви, по западному, многіе стали видѣть лишь мертвенный формализмъ, особность, обрядность, а съ конца прошлаго вѣка такъ даже предразсудокъ и ханжество: о духѣ, объ идеѣ, объ живой силѣ было забыто. Явились идеи экономическія характера западнаго, явились новыя ученія политическія, явилась новая нравственность, стремившаяся поправить прежнюю и стать выше ея. Явилась наконецъ наука, не могшая не внести безвѣрія въ прежнія идеи... Въ народахъ же Востока стали пробуждаться кромѣ того, и главнѣйшимъ образомъ, идеи національныя: явилась вдругъ боязнь, освободясь отъ Турецкаго ига, подпасть подъ иго Россіи. Зато въ простомъ, многомилліонномъ народѣ нашемъ и въ Царяхъ его идея освобожденія Востока и Церкви Христовой не умирала никогда. Движеніе, охватившее народъ русскій прошлымъ лѣтомъ доказало, что народъ не забылъ ничего изъ своихъ древнихъ надеждъ и вѣрованій и даже удивило огромную часть нашей интелигенціи, до того, что та прямо не повѣрила этому движенію, отнеслась къ нему скептически и насмѣшливо, стала всѣхъ увѣрять, и себя прежде всѣхъ, что движеніе это выдумано и поддѣлано неблаговидными людьми, желавшими выдвинуться впередъ на красивое мѣсто. Въ самомъ дѣлѣ, кто-бы могъ, въ наше время, въ нашей интелигенціи, кромѣ небольшой отдѣлившейся отъ общаго хора части ея, допустить, что народъ нашъ въ состояніи *сознательно* понимать свое политическое, соціальное и нравственное назначеніе? Какъ можно было имъ допустить чтобъ эта грубая черная масса, недавно еще крѣпостная, а теперь опившаяся водкой, знала бы и была увѣрена, что назначеніе ея—служеніе Христу, а Царя ея—храненіе Христовой вѣры и освобожденіе Православія. „Пусть эта масса всегда называла себя не иначе какъ Христіанствомъ (крестьянствомъ), но вѣдь она все-таки не имѣетъ понятія ни о религіи, ни о Христѣ даже, она самыхъ обыкновенныхъ молитвъ не знаетъ.“ Вотъ что говорятъ обыкновенно про народъ нашъ. Кто говоритъ это? Вы думаете—нѣмецкій пасторъ, обработавшій у насъ штунду, или заѣзжій европеецъ, корреспондентъ политической газеты, или образованный какой нибудь высшій еврей изъ тѣхъ, что не вѣруютъ въ Бога и которыхъ вдругъ у насъ такъ много теперь расплоди-

лось, или наконецъ кто нибудь изъ тѣхъ поселившихся за границей русскихъ, воображающихъ Россію и народъ ея лишь въ образѣ пьяной бабы, со штофомъ въ рукахъ? О нѣтъ, такъ думаетъ огромная часть нашего русскаго и самаго лучшаго общества; а и не подозрѣваютъ они, что хоть народъ нашъ и не знаетъ молитвъ, но суть христіанства, но духъ и правда его, сохранились и укрѣпились въ немъ такъ, какъ можетъ быть ни въ одномъ изъ народовъ міра сего, не смотря даже на пороки его. Впрочемъ атеистъ, или равнодушный въ дѣлѣ вѣры русскій европеецъ и не понимаетъ вѣры иначе, какъ въ видѣ формалистики и ханжества. Въ народѣ же они не видятъ ничего подобнаго ханжеству, а потому и заключаютъ, что онъ въ вѣрѣ ничего не смыслитъ, молится когда ему надо доскѣ, а въ сущности равнодушенъ и духъ его убитъ формалистикою. Духа христіанскаго они въ немъ не примѣтили вовсе можетъ быть и потому еще, что сами этотъ духъ давно уже потеряли, да и не знаютъ гдѣ онъ находится, гдѣ онъ вѣетъ. Этотъ „развратный“ и темный народъ нашъ любитъ однако же смиреннаго и юродиваго: во всѣхъ преданіяхъ и сказаніяхъ своихъ онъ сохраняетъ вѣру, что слабый и приниженный, несправедливо и напрасно Христа ради терпящій, будетъ вознесенъ превыше знатныхъ и сильныхъ, когда раздастся судъ и велѣніе Божіе. Народъ нашъ любитъ тоже разсказывать и всеславное и великое житіе своего великаго, цѣломудреннаго и смиреннаго христіанскаго богатыря Ильи-Муромца, подвижника за правду, освободителя бѣдныхъ и слабыхъ, смиреннаго и непревозносящагося, вѣрнаго и сердцемъ чистаго. И имѣя, чтя и любя такого богатыря,—народу-ли нашему не вѣровать и въ торжество приниженныхъ теперь народовъ и братьевъ нашихъ на Востокѣ? Народъ нашъ чтитъ память своихъ великихъ и смиренныхъ отшельниковъ и подвижниковъ, любитъ разсказывать исторіи великихъ христіанскихъ мучениковъ своимъ дѣтямъ. Эти исторіи онъ знаетъ и заучилъ и я самъ ихъ впервые отъ народа услышалъ, разсказанныя съ проникновеніемъ и благоговѣніемъ и оставшіяся у меня на сердцѣ. Кромѣ того, народъ ежегодно и самъ выдѣляетъ изъ себя великихъ кающихся „Власовъ“, идущихъ съ умиленіемъ, раздавъ все имѣніе свое, на смиренный и великій подвигъ правды, работы и нищеты... Но впрочемъ о народѣ русскомъ потомъ; когда нибудь добьется же онъ того, что начнутъ понимать и его и по крайней мѣрѣ принимать его во вниманіе. Поймутъ, что и онъ что нибудь да значитъ. Поймутъ наконецъ и то важное обстоятельство, что ни разу еще въ великіе, или даже въ чуть-чуть важные моменты исторіи русской, безъ него не обходилось, что Россія *народна*, что Россія не Австрія, что въ каждый значительный моментъ нашей исторической жизни дѣло всегда рѣшалось народнымъ духомъ и взглядомъ, царями народа въ высшемъ единеніи съ нимъ. Это чрезвычайно важное историческое обстоятельство обыкновенно у насъ пропускается почти безъ вниманія нашей интелигенціей, и вспоминается всегда какъ-то вдругъ, когда грянетъ историческій срокъ. Но я отвлекся, я заговорилъ о Константинополѣ...

—

III.

Самыя подходящія въ настоящее время мысли.

Восточная Церковь, ея предстоятели, Вселенскій Патріархъ, во всѣ эти четыре вѣка порабощенія ихъ Церкви, жили съ Россіею и между собою мирно—въ дѣлѣ вѣры то есть: большихъ смутъ, ересей, расколовъ не было, не до того было. Но вотъ въ нынѣшнемъ вѣкѣ, и особенно въ послѣднее двадцатилѣтіе, послѣ великой Восточной войны, какъ бы потянуло у нихъ тлѣннымъ запахомъ разлагающагося трупа: предчувствіе смерти и разложенія „больнаго человѣка“ и гибели его царства, стало ощущеніемъ главнымъ, насущнымъ. О, конечно освободить можетъ окончательно всетаки лишь одна Россія, та самая Россія, которая и теперь, и въ настоящую минуту всеобщихъ разговоровъ о Востокѣ всетаки лишь одна разговариваетъ за нихъ въ Европѣ, тогда какъ всѣ остальные народы и царства просвѣщеннаго Европейскаго міра были бы конечно рады, чтобы ихъ всѣхъ, этихъ угнетенныхъ народовъ Востока, хотя бы и вовсе на свѣтѣ не было. Но увы, чуть ли не вся интелигенція Восточной райи, хоть и зоветъ Россію на помощь, но боится ея можетъ быть столько же сколько и Турокъ: „Хоть и освободитъ насъ Россія отъ Турокъ, но поглотитъ насъ какъ и „больной человѣкъ“ и не дастъ развиться нашимъ національностямъ“—вотъ ихъ неподвижная идея, отравляющая всѣ ихъ надежды! А сверхъ того у нихъ и теперь уже все сильнѣй разгораются и между собою національныя соперничества; начались они чуть лишь просіялъ для нихъ первый лучь образованія. Столь недавняя у нихъ Греко-Болгарская Церковная распря, подъ видомъ церковной, была конечно лишь національною, а для будущаго какъ бы нѣкимъ пророчествомъ. Вселенскій Патріархъ, порицая ослушаніе Болгаръ и отлучая ихъ и самовольно выбраннаго ими экзарха отъ Церкви, выставлялъ на видъ, что въ дѣлѣ вѣры нельзя жертвовать уставами Церкви и послушаніемъ церковнымъ „новому и пагубному принципу національности“. Между тѣмъ самъ же онъ, будучи Грекомъ и произнося это отлученіе Болгарамъ, безъ сомнѣнія служилъ тому же самому принципу національности, но только въ пользу грековъ противъ Славянъ. Однимъ словомъ, можно даже съ вѣроятностью предсказать, что умри „больной человѣкъ“ и у нихъ у всѣхъ тотчасъ же начнутся между собою смятенія и распри на первый случай именно характера церковнаго, и которыя нанесутъ несомнѣнный вредъ даже и самой Россіи; нанесутъ даже и въ томъ случаѣ, еслибъ та совершенно устранилась или была устранена обстоятельствами отъ участія въ рѣшеніи Восточнаго вопроса. Мало того, смуты эти можетъ быть отзовутся даже еще тяжелѣе для Россіи, если она устранитъ себя отъ дѣятельнаго и первенствующаго участія въ судьбахъ Востока. А тутъ вдругъ кричатъ—(и не только въ Европѣ, но и у насъ многіе высшіе политическіе наши умы)—что случись умереть Туркамъ какъ государству, то Константинополь долженъ возродиться не иначе какъ городомъ „международнымъ“, т. е. какимъ то серединнымъ, общимъ, вольнымъ, чтобы не было изъ за него споровъ. Ошибочнѣе мысли нельзя было и придумать.

И вопервыхъ уже по тому одному, что такой великолѣпной точкѣ земнаго

шара просто не дадутъ стать международной, т. е. ничьей; непремѣнно и сейчасъ же явятся хоть-бы Англичане со своимъ флотомъ, въ качествѣ друзей, и именно охранять и оберегать эту самую „международность“, а въ сущности чтобъ овладѣть Константинополемъ въ свою пользу. А ужъ гдѣ они поселятся, оттуда ихъ трудно выжить, народъ цѣпкій. Мало того: Греки, Славяне и мусульмане Царьграда призовутъ ихъ сами, ухватятся за нихъ обѣими руками и не выпустятъ ихъ отъ себя, а причина тому—все таже Россія: „защитятъ дескать они насъ, отъ Россіи, нашей освободительницы“. И добро бы они не видѣли и не понимали что такое для нихъ Англичане, да и вообще вся Европа? О, они и *теперь* знаютъ лучше всѣхъ, что Англичанамъ (да и никому въ Европѣ кромѣ Россіи) до ихъ счастья, то есть до счастья всей христіанской райи, нѣтъ ровно никакого дѣла. Вся эта райя знаетъ отлично, что еслибъ возможно было повторить Болгарскіе лѣтніе ужасы (а это кажется очень возможно) какъ-нибудь неслышно и втихомолку, то въ Европѣ Англичане первые пожелали бы повторенія этихъ убійствъ хоть разъ десять—и не изъ кровожадности, вовсе нѣтъ: тамъ народы гуманные и просвѣщенные,—а потому что такія убійства, повторенныя десять разъ, истребили бы окончательно райю, истребили бы до того, что уже некому было бы на Балканскомъ полуостровѣ дѣлать противъ турокъ возстанія,—а въ этомъ-то и вся главная суть: остались бы одни милые турки и турецкія бумаги повысились бы разомъ на всѣхъ европейскихъ биржахъ, а Россіи „съ ея честолюбіемъ и завоевательными планами“ пришлось бы откочевать поглубже восвояси за неимѣніемъ кого защищать. Райя слишкомъ хорошо знаетъ, что только этихъ чувствъ она и можетъ ожидать теперь отъ Европы. Но совсѣмъ другое дѣло явилось бы мигомъ на свѣтѣ еслибъ какимъ нибудь образомъ, самъ собою или отъ меча Россіи, умеръ бы наконецъ „больной человѣкъ“. Тотчасъ же вся Европа возгорѣлась бы къ обновленнымъ народамъ нѣжнѣйшею любовью и тотчасъ же бросилась бы „спасать ихъ отъ Россіи“. Надо думать, что идею о „международности“ Европа первая и внесетъ въ ихъ новое устройство. Европа пойметъ, что надъ трупомъ „больнаго человѣка“ у освобожденныхъ народовъ немедленно возгорится смута, распря и соперничество, а ей это и на руку: предлогъ вмѣшательства, главное, предлогъ возбудить ихъ противъ Россіи, которая навѣрно не захочетъ имъ дать ссориться изъ за наслѣдства больнаго человѣка. И не будетъ такой клеветы, которую бы не пустила въ ходъ противъ насъ Европа. „Изъ за русскихъ-то мы вамъ и противъ турокъ не помогали“, скажутъ имъ тогда англичане. Увы народы Востока и теперь это понимаютъ отлично, и знаютъ что „Англія никогда не приметъ участія въ ихъ освобожденіи и никогда не дастъ на это своего согласія, еслибъ оно считалось нужнымъ, потому что она ненавидитъ этихъ христіанъ за ихъ духовную связь съ Россіей. Англіи нужно, чтобъ Восточные христіане возненавидѣли насъ всею силою той ненависти, какую она сама питаетъ къ намъ“... („Московскія Вѣдомости“ № 63). Вотъ что знаютъ и покамѣстъ запоминаютъ про себя эти народы и вотъ что они ужь и теперь конечно поставили на будущій счетъ Россіи. А

мы то думаемъ, что они насъ обожаютъ.

Въ международномъ городѣ, мимо покровителей англичанъ, все-таки будутъ хозяевами Греки—исконные хозяева города. Надо думать, что греки смотрятъ на славянъ еще съ большимъ презрѣніемъ, чѣмъ нѣмцы. Но такъ какъ славяне будутъ и страшны для грековъ, то презрѣніе смѣнится ожесточеніемъ. Воевать между собою, объявлять другъ другу войну, они конечно не смогутъ, потому что ихъ все же не допустятъ до того покровители, по крайней мѣрѣ въ смыслѣ серьезномъ. Ну вотъ именно за невозможностью открытой и откровенной драки, у нихъ и пойдутъ всякія другія распри и прежде всего примутъ характеръ церковныхъ смутъ. Съ того и начнется, потому что это всего сподручнѣе; и вотъ это я и хотѣлъ указать.

Я потому такъ говорю, что ужь программа была дана: болгаре и Константинополь. Съ этой точки греки сильны и они понимаютъ это. А между тѣмъ ничего страшнѣе въ грядущемъ не можетъ быть для всего Востока, а вмѣстѣ и для Россіи, какъ еще разъ подобная церковная распря, которая увы такъ возможна, устранись хоть на мигъ Россія съ своимъ покровительствомъ и съ строгимъ надъ ними надзоромъ. Хоть это и всего только будущее, и даже лишь гаданія, но непростительно было бы выпустить это изъ виду даже хотя бы только какъ гаданіе. Въ самомъ дѣлѣ, неужели ужь и намъ желать продолженія владычества турокъ и здоровья „больному человѣку“? Неужели и намъ дойти до того? Неужели не ясно, что умри этотъ больной человѣкъ, а главное отстранись Россія хоть на половину отъ окончательнаго и первенствующаго вліянія на судьбы Востока, сдѣлай она эту уступку Европѣ, и—болѣе чѣмъ вѣроятно, что на Балканскомъ полуостровѣ пошатнется церковное единеніе столькихъ вѣковъ, а можетъ быть и еще далѣе на Востокѣ. Даже такъ можно сказать: будутъ эти распри или нѣтъ, но умри больной человѣкъ то весьма вѣроятно, что можетъ быть дѣло не обойдется, *во всякомъ случаѣ*, безъ великаго церковнаго собора, для уложенія дѣлъ вновь возрождающейся церкви. Почему бы это не предвидѣть заранѣе? Въ эти четыре вѣка гоненій и гнета предстоятели Восточной Церкви всегда слушались совѣтовъ Россіи; но освободись они завтра отъ турецкаго гнета и окажи имъ къ тому же покровительство Европа,—они тотчасъ же заявятъ себя въ другихъ отношеніяхъ къ Россіи. Предстоятели Восточной Церкви, то есть главное греки, чуть лишь Россія взяла бы сторону славянъ, тотчасъ же можетъ быть пожелали бы ей заявить, что въ ней и въ совѣтахъ ея они болѣе совсѣмъ не нуждаются. Именно потому поспѣшатъ заявить, что четыре вѣка смотрѣли на нее сложа въ мольбѣ руки. А положеніе Россіи будетъ почти всѣхъ труднѣе. Тѣже болгаре тотчасъ же закричатъ, что въ Константинополѣ воцарился новый Восточный Папа и—кто знаетъ, можетъ быть правы будутъ. Международный Константинополь дѣйствительно можетъ послужить, хоть на время, подножіемъ новаго папы. Тогда Россіи стать за грековъ будетъ значить потерять славянъ, а стать за славянъ, въ этой будущей и столь вѣроятной между ними распрѣ, значитъ нажить и себѣ, можетъ быть, пренепріятныя и пресеріозныя церковныя

хлопоты. Ясно, что все это можетъ быть избѣгнуто лишь заблаговременною стойкостью Россіи въ Восточномъ вопросѣ и неуклоннымъ слѣдованіемъ все тѣмъ же великимъ преданіямъ нашей древней вѣковой русской политики. Никакой Европѣ не должны мы уступать ничего въ этомъ дѣлѣ ни для какихъ соображеній, потому что дѣло это наша жизнь и смерть. Константинополь долженъ быть нашъ, рано-ли, поздно-ли, хотя бы именно во избѣжаніе тяжелыхъ и непріятныхъ церковныхъ смутъ, которыя столь легко могутъ возродиться между молодыми и не жившими народами Востока и которымъ примѣръ уже былъ въ спорѣ болгаръ и вселенскаго патріарха, весьма плохо окончившемся. Разъ мы завладѣемъ Константинополемъ и ничего этого не можетъ произойти. Народы Запада, столь ревниво слѣдящіе за каждымъ шагомъ Россіи, еще не знаютъ и не подозрѣваютъ въ настоящую минуту всѣхъ этихъ новыхъ, еще мечтательныхъ, но слишкомъ возможныхъ будущихъ комбинацій. Еслибъ и узнали ихъ теперь, то не поняли бы ихъ и не придали бы имъ особенной важности. Зато слишкомъ поймутъ и придадутъ важности потомъ, когда будетъ уже поздно. Русскій народъ, понимающій Восточный вопросъ не иначе какъ въ освобожденіи всего православнаго христіанства и въ великомъ будущемъ единеніи Церкви, если увидитъ, напротивъ, новыя смуты и новый разладъ, то будетъ слишкомъ потрясенъ и можетъ быть глубоко отзовется и на немъ, и на всемъ бытѣ его всякій новый исходъ дѣла, особенно если оно въ концѣ концовъ получитъ характеръ церковный по преимуществу. Вотъ по этому одному мы ни за что и никакъ не можемъ оставлять, или ослаблять степень нашего вѣковаго участія въ этомъ великомъ вопросѣ. Не одинъ только великолѣпный портъ, не одна только дорога въ моря и океаны связываютъ Россію столь тѣсно съ рѣшеніемъ судебъ роковаго вопроса, и даже не объединеніе и возрожденіе славянъ... Задача наша глубже, безмѣрно глубже. Мы, Россія, дѣйствительно необходимы и неминуемы и для всего Восточнаго Христіанства, и для всей судьбы будущаго Православія на землѣ, для единенія его. Такъ всегда понимали это нашъ народъ и государи его... Однимъ словомъ, этотъ страшный Восточный вопросъ—это чуть не вся судьба наша въ будущемъ. Въ немъ заключаются какъ бы всѣ наши задачи и, главное, единственный выходъ нашъ въ полноту исторіи. Въ немъ и окончательное столкновеніе наше съ Европой, и окончательное единеніе съ нею, но уже на новыхъ, могучихъ, плодотворныхъ началахъ. О, гдѣ понять теперь Европѣ всю ту роковую жизненную важность для насъ самихъ въ рѣшеніи этого вопроса! Однимъ словомъ, чѣмъ бы ни кончились теперешнія, столь необходимыя, можетъ быть, дипломатическія соглашенія и переговоры въ Европѣ, но рано-ли поздно-ли, а *Константинополь долженъ быть нашъ*, и хотя бы лишь въ будущемъ только столѣтіи! Это намъ русскимъ надо всегда имѣть въ виду всѣмъ неуклонно. Вотъ что мнѣ хотѣлось заявить, особенно въ настоящій европейскій моментъ...

ГЛАВА ВТОРАЯ.

IV.

„Еврейскій вопросъ“.

О, не думайте, что я дѣйствительно затѣваю поднять „еврейскій вопросъ!“ Я написалъ это заглавіе въ шутку. Поднять такой величины вопросъ, какъ положеніе еврея въ Россіи, и о положеніи Россіи, имѣющей въ числѣ сыновъ своихъ три милліона евреевъ — я не въ силахъ. Вопросъ этотъ не въ моихъ размѣрахъ. Но нѣкоторое сужденіе мое я все же могу имѣть, и вотъ выходитъ, что сужденіемъ моимъ нѣкоторые изъ евреевъ стали вдругъ интересоваться. Съ нѣкотораго времени я сталъ получать отъ нихъ письма, и они серьезно и съ горечью упрекаютъ меня за то, что я на нихъ нападаю, „что я ненавижу жида“, ненавижу не за пороки его, „не какъ эксплуататора“, а именно какъ племя, т. е. въ родѣ того, что: „Іуда, дескать, Христа продалъ“. Пишутъ это „образованные“ евреи, т. е. изъ такихъ, которые (я замѣтилъ это, но отнюдь не обобщаю мою замѣтку, оговариваюсь заранѣе)—которые всегда какъ бы постараются дать вамъ знать, что они, при своемъ образованіи, давно уже не раздѣляютъ „предразсудковъ“ своей націи, своихъ религіозныхъ обрядовъ не исполняютъ какъ прочіе мелкіе евреи, считаютъ это ниже своего просвѣщенія, да и въ Бога, дескать, не вѣруемъ. Замѣчу въ скобкахъ и кстати, что всѣмъ этимъ господамъ изъ „высшихъ евреевъ“, которые такъ стоятъ за свою націю, слишкомъ даже грѣшно забывать своего сорокавѣковаго Іегову и отступаться отъ него. И это далеко не изъ одного только чувства національности грѣшно, а и изъ другихъ, весьма высокаго размѣра причинъ. Да и странное дѣло: еврей безъ Бога какъ-то немыслимъ; еврея безъ Бога и представить нельзя. Но тема эта изъ обширныхъ, мы ее пока оставимъ. Всего удивительнѣе мнѣ то: какъ это и откуда я попалъ въ ненавистники еврея, какъ народа, какъ націи? Какъ эксплуататора и за нѣкоторые пороки мнѣ осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но — но лишь на словахъ: на дѣлѣ трудно найти что нибудь раздражительнѣе и щепетильнѣе образованнаго еврея, и обидчивѣе его, какъ еврея? Но опять таки: когда и чѣмъ заявилъ я ненависть къ еврею какъ къ народу? Такъ какъ въ сердцѣ моемъ этой ненависти не было никогда, и тѣ изъ евреевъ, которые знакомы со мной и были въ сношеніяхъ со мной, это знаютъ, то я, съ самаго начала и прежде всякаго слова, съ себя это обвиненіе снимаю, разъ навсегда, съ тѣмъ, чтобъ ужъ потомъ объ этомъ и не упоминать особенно. Ужъ не потому ли обвиняютъ меня въ „ненависти“, что я называю иногда еврея „жидомъ“? Но во-первыхъ я не думалъ, чтобъ это было такъ обидно, а во-вторыхъ слово „жидъ“, сколько

помню, я упоминалъ всегда для обозначенія извѣстной идеи: „жидъ, жидовщина, жидовское царство“ и проч. Тутъ обозначалось извѣстное понятіе, направленіе, характеристика вѣка. Можно спорить объ этой идеѣ, не соглашаться съ нею, но не обижаться словомъ. Выпишу одно мѣсто изъ письма одного весьма образованнаго еврея, написавшаго мнѣ длинное и прекрасное во многихъ отношеніяхъ письмо, весьма меня заинтересовавшее. Это одно изъ самыхъ характерныхъ обвиненій меня въ ненависти къ еврею какъ къ народу. Само собою разумѣется, что имя г. NN, мнѣ писавшаго это письмо останется подъ самымъ строгимъ анонимомъ.

... но я намѣренъ затронуть одинъ предметъ, который я рѣшительно не могу себѣ объяснить. Это ваша ненависть къ „жиду“, которая проявляется почти въ каждомъ выпускѣ вашего „Дневника“.

Я бы хотѣлъ знать почему вы возстаете противъ жида, а не противъ эксплуататора вообще, я не меньше вашего терпѣть не могу предразсудковъ моей націи,— я не мало отъ нихъ страдалъ,—но никогда не соглашусь, что въ крови этой націи живетъ безсовѣстная эксплоатація.

Неужели *вы* не можете подняться до основнаго закона всякой соціальной жизни, что *всѣ* безъ исключенія граждане одного государства, если они только несутъ на себѣ всѣ повинности, необходимыя для существованія государства, должны пользоваться *всѣми* правами и выгодами его существованія, и что для отступниковъ отъ закона, для вредныхъ членовъ общества, должна существовать одна и та же мѣра взысканія, общая для всѣхъ?... Почему же всѣ евреи должны быть ограничены въ правахъ и почему для нихъ должны существовать спеціальные карательные законы? Чѣмъ эксплоатація чужестранцевъ (евреи вѣдь все-таки русскіе подданные): нѣмцевъ, англичанъ, грековъ, которыхъ въ Россіи такая пропасть, лучше жидовской эксплоатаціи? Чѣмъ русскій православный кулакъ, міроѣдъ, цѣловальникъ, кровопійца, которыхъ такъ много расплодилось во *всей* Россіи, лучше таковыхъ изъ жидовъ, которые все-таки дѣйствуютъ въ ограниченномъ кругу? Чѣмъ такой-то лучше такого то...

(Здѣсь почтенный корреспондентъ сопоставляетъ нѣсколько извѣстныхъ русскихъ кулаковъ съ еврейскими въ томъ смыслѣ, что русскіе не уступятъ. Но что же это доказываетъ? Вѣдь мы нашими кулаками не хвалимся, не выставляемъ ихъ какъ примѣры подражанія и напротивъ въ высшей степени соглашаемся, что тѣ и другіе не хороши).

Такихъ вопросовъ я бы могъ Вамъ задавать тысячами.

Между тѣмъ вы, говоря о „жидѣ“, включаете въ это понятіе всю страшно-нищую массу трехмилліоннаго еврейскаго населенія въ Россіи, изъ которыхъ два милліона 900,000, по крайней мѣрѣ, ведетъ отчаянную борьбу за жалкое существованіе, нравственно чище не только другихъ народностей, но и обоготворяемаго вами русскаго народа. Въ это названіе вы включаете и ту почтенную цифру евреевъ, получившихъ высшее образованіе, отличающихся на всѣхъ поприщахъ государственной жизни, берите хоть

(Тутъ опять нѣсколько именъ, которыхъ я, кромѣ Гольдштейнова, считаю не вправѣ напечатать, потому что нѣкоторымъ изъ нихъ можетъ быть непріятно будетъ прочесть что они происходятъ изъ евреевъ).

Гольдштейна (геройски умершаго въ Сербіи за славянскую идею) и работающихъ на пользу общества и человѣчества? Ваша ненависть къ „жиду“ простирается даже на Дизраэли... который вѣроятно самъ не знаетъ, что его предки были когда-то испанскими евреями, и который ужь конечно не руководитъ англійской консервативной политикой съ точки зрѣнія „жида“ (?)...

Нѣтъ, къ сожалѣнію, вы не знаете ни еврейскаго *народа*, ни его жизни, ни его духа, ни его сорокавѣковой исторіи, наконецъ. Къ сожалѣнію потому, что вы, во всякомъ случаѣ, человѣкъ искренній, абсолютно честный, а наносите безсознательно вредъ громадной массѣ нищенствующаго народа,— сильные же „жиды“, принимая сильныхъ міра сего въ своихъ салонахъ, конечно не

боятся ни печати, ни даже безсильнаго гнѣва эксплоатируемыхъ. Но довольно объ этомъ предметѣ! Врядъ ли я васъ убѣжду въ моемъ взглядѣ,—но мнѣ крайне желательно было бы, чтобы вы убѣдили меня.

Вотъ этотъ отрывокъ. Прежде чѣмъ отвѣчу что нибудь (ибо не хочу нести на себѣ такое тяжелое обвиненіе)—обращу вниманіе на ярость нападенія и на степень обидчивости. Положительно у меня, во весь годъ изданія „Дневника“ не было такихъ размѣровъ статьи противъ „жида“, которая бы могла вызвать такой силы нападеніе. Во вторыхъ нельзя не замѣтить что почтенный корреспондентъ, коснувшись въ этихъ немногихъ строкахъ своихъ и до русскаго народа, не утерпѣлъ и не выдержалъ, и отнесся къ бѣдному русскому народу нѣсколько слишкомъ ужь свысока. Правда, въ Россіи и отъ русскихъ-то не осталось ни одного не проплеванаго мѣста (словечко Щедрина), а еврею тѣмъ „простительнѣе“. Но во всякомъ случаѣ ожесточеніе это свидѣтельствуетъ ярко о томъ, какъ сами евреи смотрятъ на русскихъ. Писалъ это дѣйствительно человѣкъ образованный и талантливый (не думаю только чтобъ безъ предразсудковъ); чего же ждать, послѣ того, отъ необразованнаго еврея, которыхъ такъ много, какихъ чувствъ къ русскому? Я не въ обвиненіе это говорю: все это естественно; я только хочу указать что въ мотивахъ нашего разъединенія съ евреемъ виновенъ можетъ быть и не одинъ русскій народъ, и что скопились эти мотивы конечно съ обѣихъ сторонъ, и еще неизвѣстно на какой сторонѣ въ большей степени. Отмѣтивъ это выскажу нѣсколько словъ въ мое оправданіе и вообще какъ я смотрю на это дѣло. И хоть вопросъ этотъ, повторяю, мнѣ и не по силамъ, но что-же нибудь вѣдь и я могу выразить.

II.

Pro и contra.

Положимъ очень трудно узнать сорокавѣковую исторію такого народа, какъ евреи; но на первый случай я уже то одно знаю, что навѣрно нѣтъ въ цѣломъ мірѣ другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждымъ шагомъ и словомъ своимъ, на свое приниженіе, на свое страданіе, на свое мученичество. Подумаешь не они царятъ въ Европѣ, не они управляютъ тамъ биржами хотя-бы только, а стало быть политикой, внутренними дѣлами, нравственностью государствъ. Пусть благородный Гольдштейнъ умираетъ за славянскую идею. Но все таки, не будь такъ сильна еврейская идея въ мірѣ, и можетъ быть тотъ же самый „славянскій“ (прошлогодній) вопросъ давно бы уже рѣшенъ былъ въ пользу славянъ, а не турокъ. Я готовъ повѣрить, что лордъ Биконсфильдъ самъ можетъ быть забылъ о своемъ происхожденіи, когда-то, отъ испанскихъ жидовъ; (навѣрно однако не забылъ); но что онъ „руководилъ англійской консервативной политикой“ за послѣдній годъ *отчасти* съ точки зрѣнія жида, въ этомъ, по моему, нельзя сомнѣваться. „Отчасти-то“ ужь нельзя не допустить.

Но пусть все это, съ моей стороны, голословіе, легкій тонъ и легкія слова. Уступаю. Но все таки не могу вполнѣ повѣрить крикамъ евреевъ, что ужь такъ они забиты, замучены и приниженны. На мой взглядъ русскій мужикъ, да и вообще русскій простолюдинъ, несетъ тягостей чуть-ли не больше еврея. Мой корреспондентъ пишетъ мнѣ въ другомъ уже письмѣ:

„Прежде всего *необходимо* предоставить имъ (евреямъ) всѣ гражданскія права (подумайте, что они лишены до сихъ поръ самого кореннаго права: свободнаго выбора мѣстожительства, изъ чего вытекаетъ множество страшныхъ стѣсненій для всей еврейской массы), какъ и всѣмъ другимъ чужимъ народностямъ въ Россіи, а потомъ уже требовать отъ нихъ исполненія своихъ обязанностей къ государству и къ коренному населенію".

Но подумайте и вы, г. корреспондентъ, который сами пишете мнѣ, въ томъ же письмѣ, на другой страницѣ, что вы „не въ примѣръ больше любите и жалѣете трудящуюся массу русскаго народа, чѣмъ еврейскую" — (что уже слишкомъ для еврея сильно сказано)— подумайте только о томъ, что когда еврей „терпѣлъ въ свободномъ выборѣ мѣстожительства", тогда двадцать три милліона „русской трудящейся массы" терпѣли отъ крѣпостнаго состоянія, что ужь конечно было потяжелѣе „выбора мѣстожительства". И что-же, пожалѣли ихъ тогда евреи? Не думаю; въ Западной окраинѣ Россіи и на Югѣ вамъ на это отвѣтятъ обстоятельно. Нѣтъ, они и тогда точно также кричали о правахъ, которыхъ не имѣлъ самъ русскій народъ, кричали и жалобились, что они забиты и мученики, и что когда имъ дадутъ больше правъ „тогда и спрашивайте съ насъ исполненія обязанностей къ государству и коренному населенію". Но вотъ пришелъ Освободитель и освободилъ коренной народъ и что-же, кто первый бросился на него, какъ на жертву, кто воспользовался его пороками преимущественно, кто оплелъ его вѣковѣчнымъ золотымъ своимъ промысломъ, кто тотчасъ же замѣстилъ гдѣ только могъ и поспѣлъ упраздненныхъ помѣщиковъ, съ тою разницею, что помѣщики хоть и сильно эксплуатировали людей, но все-же старались не раззорять своихъ крестьянъ, пожалуй для себя же, чтобъ не истощить рабочей силы, а еврею до истощенія русской силы дѣла нѣтъ, взялъ свое и ушелъ. Я знаю, что евреи прочтя это, тотчасъ же закричатъ, что это не правда, что это клевета, что я лгу, что я потому вѣрю всѣмъ этимъ глупостямъ, что „не знаю сорокавѣковой исторіи" этихъ чистыхъ ангеловъ, которые несравненно „нравственно чище не только другихъ народностей, но и обоготворяемаго мною русскаго народа" (по словамъ корреспондента, см. выше). Но пусть, пусть они нравственно чище всѣхъ народовъ въ мірѣ, а русскаго ужь разумѣется, а между тѣмъ я только что прочелъ въ мартовской книжкѣ „Вѣстника Европы" извѣстіе о томъ, что евреи въ Америкѣ, въ Южныхъ Штатахъ, уже набросились всей массой на многомилліонную массу освобожденныхъ негровъ и уже прибрали ее къ рукамъ по своему, извѣстнымъ и вѣковѣчнымъ своимъ „золотымъ промысломъ", и пользуясь неопытностью и пороками эксплуатируемаго племени. Представьте же себѣ, когда я прочелъ это, мнѣ тотчасъ же вспомнилось, что мнѣ еще пять лѣтъ тому приходило это самое на умъ, именно то, что вотъ вѣдь негры отъ рабовладѣльцевъ теперь освобождены, а вѣдь имъ не уцѣлѣть, потому, что на эту свѣжую жертвочку какъ разъ набросятся евреи, которыхъ столь много на свѣтѣ. Подумалъ я это и увѣряю васъ, нѣсколько разъ потомъ въ этотъ срокъ мнѣ вспадало на мысль: „да что-же тамъ ничего объ евреяхъ не слышно, что въ газетахъ не пишутъ, вѣдь эти негры евреямъ кладъ,

неужели пропустятъ?“ И вотъ дождался, написали въ газетахъ, прочелъ. А дней десять тому назадъ прочелъ въ „Новомъ Времени“ (№ 371) корреспонденцію изъ Ковно, прехарактернѣйшую: „дескать до того набросились тамъ евреи на мѣстное литовское населеніе, что чуть не сгубили всѣхъ водкой и только ксендзы спасли бѣдныхъ опившихся, угрожая имъ муками ада и устраивая между ними общества трезвости. Просвѣщенный корреспондентъ, правда, сильно краснѣетъ за свое населеніе, до сихъ поръ вѣрующее въ ксендзовъ и въ муки ада, но онъ сообщаетъ при этомъ, что поднялись вслѣдъ за ксендзами и просвѣщенные мѣстные экономисты, начали устраивать сельскіе банки, именно чтобы спасти народъ отъ проценщика-еврея, и сельскіе рынки, чтобы можно было „бѣдной трудящейся массѣ“ получать предметы первой потребности по настоящей цѣнѣ, а не по той, которую назначаетъ еврей. Ну, вотъ я это все прочелъ и знаю, что мнѣ въ одинъ мигъ закричатъ что все это ничего не доказываетъ, что это отъ того, что евреи сами угнетены, сами бѣдны, и что все это лишь „борьба за существованіе“, что только глупецъ разобрать этого не можетъ, и не будь евреи такъ сами бѣдны, а напротивъ разбогатѣй они, то мигомъ показали бы себя съ самой гуманной стороны, такъ что міръ бы весь удивили. Но вѣдь конечно всѣ эти негры и литовцы еще бѣднѣе евреевъ, выжимающихъ изъ нихъ соки, а вѣдь тѣ (прочтите-ка корреспонденцію) гнушаются такой торговлей, на которую такъ падокъ еврей; во-вторыхъ, не трудно быть гуманнымъ и нравственнымъ когда самому жирно и весело, а чуть „борьба за существованіе“ такъ и не подходи ко мнѣ близко. Не совсѣмъ ужь это, по моему, такая ангельская черта, а въ третьихъ, вѣдь и я конечно не выставляю эти два извѣстія изъ „Вѣстника Европы“ и „Новаго Времени, за такіе ужь капитальные и всерѣшающіе факты. Если начать писать исторію этого всемірнаго племени то можно тотчасъ же найти сто тысячь такихъ же, и еще крупнѣйшихъ фактовъ, такъ что одинъ или два факта лишнихъ ничего особеннаго не прибавятъ, но вѣдь что при этомъ любопытно: любопытно то, что чуть лишь вамъ—въ спорѣ ли, или просто въ минуту собственнаго раздумья,—чуть лишь вамъ понадобится справка о евреѣ и дѣлахъ его,—то не ходите въ библіотеки для чтенія, не ройтесь въ старыхъ книгахъ или въ собственныхъ старыхъ отмѣткахъ, не трудитесь, не ищите, не напрягайтесь, а не сходя съ мѣста, не подымаясь даже со стула, протяните лишь руку къ какой хотите первой, лежащей подлѣ васъ газетѣ, и поищите на второй или на третьей страницѣ: непремѣнно найдете что нибудь о евреяхъ и непремѣнно то, что васъ интересуетъ, непремѣнно самое характернѣйшее и непремѣнно одно и тоже—т. е. все одни и тѣже подвиги! Такъ вѣдь это, согласитесь сами, что нибудь да значитъ, что нибудь да указуетъ, что нибудь открываетъ же вамъ, хотя бы вы были круглый невѣжда въ сорокавѣковой исторіи этого племени. Разумѣется мнѣ отвѣтятъ, что всѣ обуреваемы ненавистью, а потому всѣ лгутъ. Конечно, очень можетъ случиться, что всѣ до единаго лгутъ, но въ такомъ случаѣ рождается тотчасъ другой вопросъ: если всѣ до единаго лгутъ и обуреваемы такою ненавистью, то съ чего нибудь да взялась же эта ненависть, вѣдь что ни-

*

будь значитъ же эта всеобщая ненависть, „вѣдь что нибудь значитъ же слово *всѣ!*“ какъ восклицалъ нѣкогда Бѣлинскій.

„Свободный выборъ мѣстожительства!“ Но развѣ русскій „коренной“ человѣкъ ужъ такъ совершенно свободенъ въ выборѣ мѣстожительства? Развѣ не продолжаются и до сихъ поръ еще прежнія, еще отъ крѣпостныхъ временъ оставшіяся и нежелаемыя стѣсненія въ полной свободѣ выбора мѣстожительства и для русскаго простолюдина, на которыя давно обращаетъ вниманіе правительство? А что до евреевъ, то всѣмъ видно, что права ихъ въ выборѣ мѣстожительства весьма и весьма расширились въ послѣднія двадцать лѣтъ. По крайней мѣрѣ они явились по Россіи въ такихъ мѣстахъ, гдѣ прежде ихъ не видывали. Но евреи все жалуются на ненависть и стѣсненія. Пусть я не твердъ въ познаніи еврейскаго быта, но одно—то я уже знаю навѣрно и буду спорить со всѣми, именно: что нѣтъ въ нашемъ простонародьи предвзятой, апріорной, тупой, религіозной какой-нибудь ненависти къ еврею, въ родѣ: „Іуда, дескать, Христа продалъ“. Если и услышишь это отъ ребятишекъ или отъ пьяныхъ, то весь народъ нашъ смотритъ на еврея, повторяю это, безъ всякой предвзятой ненависти. Я пятьдесятъ лѣтъ видѣлъ это. Мнѣ даже случалось жить съ народомъ, въ массѣ народа, въ однихъ казармахъ, спать на однихъ нарахъ. Тамъ было нѣсколько евреевъ—и никто не *презиралъ* ихъ, никто не исключалъ ихъ, не гналъ ихъ. Когда они молились, (а евреи молятся съ крикомъ, надѣвая особое платье) то никто не находилъ этого страннымъ, не мѣшалъ имъ и не смѣялся надъ ними, чего впрочемъ именно надо-бы было ждать отъ такого грубаго, по нашимъ понятіямъ, народа какъ русскіе; напротивъ, смотря на нихъ говорили: „это у нихъ такая вѣра, это они такъ молятся“ и проходили мимо съ спокойствіемъ и почти съ одобреніемъ. И что-же, вотъ эти-то евреи чуждались во многомъ русскихъ, нехотѣли ѣсть съ ними, смотрѣли чуть не свысока (и это гдѣ-же? въ острогѣ!) и вообще выражали гадливость и брезгливость къ русскому, къ „коренному“ народу. Тоже самое и въ солдатскихъ казармахъ, и вездѣ по всей Россіи: навѣдайтесь, спросите, обижаютъ-ли въ казармахъ еврея какъ еврея, какъ *жида*, за вѣру, за обычай? Нигдѣ не обижаютъ, и такъ во всемъ народѣ. Напротивъ, увѣряю васъ, что и въ казармахъ, и вездѣ, русскій простолюдинъ слишкомъ видитъ и понимаетъ (да и не скрываютъ того сами евреи), что еврей съ нимъ ѣсть не захочетъ, брезгаетъ имъ, сторонится и ограждается отъ него сколько можетъ, и что-же,—вмѣсто того чтобъ обижаться на это. русскій простолюдинъ спокойно и ясно говоритъ: „это у него вѣра такая, это онъ по вѣрѣ своей не ѣстъ и сторонится“ (т. е. не потому что золъ) и, сознавъ эту высшую причину, отъ всей души извиняетъ еврея. А между тѣмъ, мнѣ иногда входила въ голову фантазія: ну что, еслибъ это не евреевъ было въ Россіи три миліона, а русскихъ; а евреевъ было бы 80 милліоновъ — ну, во что обратились-бы у нихъ русскіе и какъ бы они ихъ третировали? Дали бы они имъ сравняться съ собою въ правахъ? Дали бы имъ молиться среди нихъ свободно? Не обратили-ли бы прямо въ рабовъ? Хуже того: не содрали-ли бы кожу совсѣмъ? Не изби-

ли-бы до тла, до окончательнаго истребленія, какъ дѣлывали они съ чужими народностями въ старину, въ древнюю свою исторію? Нѣтъ-съ, увѣряю васъ, что въ русскомъ народѣ нѣтъ предвзятой ненависти къ еврею, а есть можетъ быть несимпатія къ нему, особенно по мѣстамъ и даже можетъ быть очень сильная. О, безъ этого нельзя, это есть, но происходитъ это вовсе не отъ того что онъ еврей, не изъ племенной, не изъ религіозной какой-нибудь ненависти, а происходитъ это отъ иныхъ причинъ, въ которыхъ виноватъ уже не коренной народъ, а самъ еврей.

III.

Status in statu. Сорокъ вѣковъ бытія.

Ненависть, да еще отъ предразсудковъ—вотъ въ чемъ обвиняютъ евреи коренное населеніе. Но если ужъ зашла рѣчь о предразсудкахъ, то какъ вы думаете: еврей менѣе питаетъ предразсудковъ къ русскому, чѣмъ русскій къ еврею? Не побольше ли? Вотъ я вамъ представлялъ примѣры того, какъ относится русское простолюдье къ еврею; а у меня передъ глазами письма евреевъ, да не изъ простолюдья а образованныхъ евреевъ, и—сколько ненависти въ этихъ письмахъ къ „коренному населенію?“ А главное,—пишутъ, да и не примѣчаютъ этого сами.

Видите-ли, чтобъ существовать сорокъ вѣковъ на землѣ, т. е. во весь почти историческій періодъ человѣчества, да еще въ такомъ плотномъ и нерушимомъ единеніи; чтобы терять столько разъ свою территорію, свою политическую независимость, законы, почти даже вѣру, — терять и всякій разъ опять соединяться, опять возраждаться *въ прежней идеѣ*, хоть и въ другомъ видѣ, опять создавать себѣ и законы и почти вѣру—нѣтъ, такой живучій народъ, такой необыкновенно сильный и энергическій народъ, такой безпримѣрный въ мірѣ народъ, не могъ существовать безъ status in statu, который онъ сохранялъ всегда и вездѣ во время самыхъ страшныхъ, тысячелѣтнихъ разсѣяній и гоненій своихъ. Говоря про stalus in statu, я вовсе не обвиненіе какое нибудь хочу возвести. Но въ чемъ однако заключается этотъ status in statu, въ чемъ вѣковѣчно-неизмѣнная идея его, и въ чемъ суть этой идеи?

Излагать это было-бы долго, да и невозможно въ коротенькой статьѣ, да и не возможно еще и по той даже причинѣ, что не настали еще *всѣ времена и сроки*, не смотря на протекшіе сорокъ вѣковъ, и окончательное слово человѣчества объ этомъ великомъ племени еще впереди. Но не вникая въ суть и въ глубину предмета, можно изобразить хотя нѣкоторые признаки этого status in statu, покрайней мѣрѣ хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени религіознаго догмата, несліянность, вѣра въ то, что существуетъ въ мірѣ лишь одна народная личность—еврей, а другія хоть есть, но все равно, надо считать, что какъ бы ихъ и не существовало. „Выйди изъ народовъ и составь свою особь и знай, что съ сихъ поръ ты *единъ у Бога*, остальныхъ истреби, или въ рабовъ обрати, или эксплоатируй. Вѣрь въ побѣду надъ всѣмъ міромъ, вѣрь, что все покорится тебѣ. Строго всѣмъ гнушайся, и ни съ кѣмъ въ быту своемъ не сообщайся. И да-

же когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда разъсѣянъ будешь по лицу всей земли, между всѣми народами—все равно,—вѣрь всему тому, что тебѣ обѣщано, разъ навсегда, вѣрь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и—ожидай, ожидай"... Вотъ суть идеи этого status in statu, а затѣмъ конечно есть внутренніе, а можетъ быть и таинственные законы, ограждающіе эту идею.

Вы говорите, господа, образованные евреи и оппоненты, что ужь это-то все вздоръ и что „если и есть status in statu (т. е. былъ, а теперь-де остались самые слабые слѣды), то единственно лишь гоненія привели къ нему, гоненія породили его, религіозныя, съ среднихъ вѣковъ и раньше, и явился этотъ status in statu единственно лишь изъ чувства самосохраненія. Если же и продолжается, особенно въ Россіи, то потому, что еврей еще не сравненъ въ правахъ съ кореннымъ населеніемъ". Но вотъ что мнѣ кажется: еслибъ онъ былъ и сравненъ въ правахъ, то ни за что не отказался бы отъ своего. status in statu. Мало того: приписывать status in statu однимъ лишь гоненіямъ и чувству самосохраненія—недостаточно. Да и не хватило бы упорства въ самосохраненіи на сорокъ вѣковъ, надоѣло бы и сохранять себя такой срокъ. И сильнѣйшія цивилизаціи въ мірѣ не достигали и до половины сорока вѣковъ и теряли политическую силу и племенной обликъ. Тутъ не одно самосохраненіе стоитъ главной причиной, а нѣкая идея, движущая и влекущая, нѣчто такое, міровое и глубокое, о чемъ можетъ быть человѣчество еще не въ силахъ произнесть своего послѣдняго слова, какъ сказалъ я выше. Что религіозный-то характеръ тутъ есть по преимуществу—это-то уже несомнѣнно. Что свой Промыслитель, подъ именемъ прежняго первоначальнаго Іеговы, съ своимъ идеаломъ и съ своимъ обѣтомъ продолжаетъ вести свой народъ къ цѣли твердой—это-то уже ясно. Да и нельзя, повторю я, даже и представить себѣ еврея безъ Бога, мало того не вѣрю я даже и въ образованныхъ евреевъ безбожниковъ: всѣ они одной сути и еще Богъ знаетъ чего ждетъ міръ отъ евреевъ образованныхъ! Еще въ дѣтствѣ моемъ я читалъ и слыхалъ про евреевъ легенду о томъ что они-де и теперь неуклонно ждутъ Мессію, всѣ, какъ самый низшій жидъ, такъ и самый высшій и ученый изъ нихъ, философъ и кабалистъ-раввинъ, что они вѣрятъ всѣ, что Мессія соберетъ ихъ опять въ Іерусалимѣ и низложитъ всѣ народы мечемъ своимъ къ ихъ подножію; что потому-то де евреи, покрайней мѣрѣ въ огромномъ большинствѣ своемъ, предпочитаютъ лишь одну профессію,—торгъ золотомъ и много что обработку его, и это все будто бы для того, что когда явится Мессія, то чтобъ не имѣть новаго отечества, не быть прикрѣпленнымъ къ землѣ иноземцевъ, обладая ею, а имѣть все съ собою лишь въ золотѣ и драгоцѣнностяхъ, чтобъ удобнѣе ихъ унести когда

Загоритъ, заблеститъ лучь денницы:
И кимвалъ, и тимпанъ и цѣвницы,
И сребро, и добро, и святыню,
Понесемъ въ старый Домъ, въ Палестину.

Все это, повторяю, слышалъ я какъ легенду, но я вѣрю, что суть дѣла существуетъ непремѣнно, особенно въ цѣлой массѣ евреевъ въ видѣ инстинктивно-неудержимаго влеченія. Но чтобъ сохранялась такая суть дѣла, ужь конечно необходимо, чтобъ сохра-

нялся самый строгій status in statu. Онъ и сохраняется. Стало быть не одно лишь гоненіе было и есть ему причиною, а другая *идея*...

Еслиже существуетъ вправду такой особый, внутренній, строгій строй у евреевъ, связующій ихъ въ нѣчто цѣльное и особное, то вѣдь почти еще можно задуматься надъ вопросомъ о совершенномъ сравненіи во всемъ ихъ *правъ* съ правами кореннаго населенія. Само собою, все что требуетъ гуманность и справедливость, все что требуетъ человѣчность и христіанскій законъ—все это должно быть сдѣлано для евреевъ. Но если они, во всеоружіи своего строя и своей особности, своего племеннаго и религіознаго отъединенія, во всеоружіи своихъ правилъ и принциповъ, совершенно противуположныхъ той идеѣ, слѣдуя которой, доселѣ по крайней мѣрѣ, развивался весь европейскій міръ, потребуютъ совершеннаго уравненіи *всевозможныхъ* правъ съ кореннымъ населеніемъ, то—не получатъ ли они уже тогда нѣчто большее, нѣчто лишнее, нѣчто верховное противъ самаго кореннаго даже населенія? Тутъ конечно укажутъ на другихъ инородцевъ: „что вотъ дескать сравнены или почти сравнены въ правахъ, а евреи имѣютъ правъ меньше всѣхъ инородцевъ, и это-де потому, что боятся насъ, евреевъ, что мы де будто бы вреднѣе всѣхъ инородцевъ. А между тѣмъ чѣмъ вреденъ еврей? Если и есть дурныя качества въ еврейскомъ народѣ, то единственно потому что самъ русскій народъ таковымъ способствуетъ, по русскому собственному невѣжеству своему, по необразованности своей, по неспособности своей къ самостоятельности, по малому экономическому развитію своему. Русскій-де народъ самъ требуетъ посредника, руководителя, экономическаго опекуна въ дѣлахъ, кредитора, самъ зоветъ его, самъ отдается ему. Посмотрите, напротивъ, въ Европѣ: тамъ народы сильные и самостоятельные духомъ, съ сильнымъ національнымъ развитіемъ, съ привычкой давнишней къ труду и съ умѣніемъ труда, и вотъ тамъ не боятся дать всѣ права еврею! Слышно ли что нибудь во Франціи о вредѣ отъ status in statu тамошнихъ евреевъ?“

Разсужденіе повидимому сильное, но однако же прежде всего тутъ мерещится одна замѣтка въ скобкахъ, а именно: „Стало быть еврейству тамъ и хорошо, гдѣ народъ еще невѣжественъ, или несвободенъ, или мало развитъ экономически,—тутъ-то стало быть ему и лафа! И вмѣсто того, чтобъ напротивъ, вліяніемъ своимъ поднять этотъ уровень образованія, усилить знаніе, породить экономическую способность въ коренномъ населеніи, вмѣсто того еврей, гдѣ ни поселялся, тамъ еще пуще унижалъ и развращалъ народъ, тамъ еще больше приникало человѣчество, еще больше падалъ уровень образованія, еще отвратительнѣе распространялась безвыходная, безчеловѣчная бѣдность, а съ нею и отчаяніе. Въ окраинахъ нашихъ спросите коренное населеніе: что двигаетъ евреемъ и что двигало имъ столько вѣковъ? Получите единогласный отвѣтъ: *безжалостность*; „двигали имъ столько вѣковъ одна лишь къ намъ безжалостность и одна только жажда напитаться нашимъ потомъ и кровью.“ И дѣйствительно, вся дѣятельность евреевъ, въ этихъ нашихъ окраинахъ заключалась лишь въ постановкѣ кореннаго населенія, сколь возможно въ безвыходную отъ себя зависимость *пользуясь мѣстными законами*. О, тутъ они всегда находили возможность пользоваться *правами и*

законами. Они всегда умѣли водить дружбу съ тѣми, отъ которыхъ зависѣлъ народъ и ужь не имъ бы роптать хоть тутъ-то на *малыя свои права сравнительно съ кореннымъ населеніемъ*. Довольно они ихъ получали у насъ, этихъ правъ, надъ кореннымъ населеніемъ. Что становилось, въ десятилѣтія и столѣтія, съ русскимъ народомъ тамъ, гдѣ поселялись евреи—о томъ свидѣтельствуетъ исторія нашихъ русскихъ окраинъ. И что же? Укажите на какое нибудь другое племя изъ русскихъ инородцевъ, которое бы, по ужасному вліянію своему, могло бы равняться въ этомъ смыслѣ съ евреемъ? Не найдете такого; въ этомъ смыслѣ еврей сохраняетъ всю свою оригинальность передъ другими русскими инородцами, а причина тому, конечно, этотъ status in statu его, духъ котораго дышетъ именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, къ этому неуваженію ко всякому народу и племени и ко всякому человѣческому существу, кто не есть еврей. И что въ томъ за оправданіе что вотъ на Западѣ Европы не дали одолѣть себя народы, и что стало быть русскій народъ самъ виноватъ? Потому что русскій народъ въ окраинахъ Россіи оказался слабѣе европейскихъ народовъ (и единственно въ слѣдствіе жестокихъ вѣковыхъ политическихъ своихъ обстоятельствъ) потому только и задавить его окончательно эксплуатаціей, а не помочь ему?

Если же и указываютъ на Европу, на Францію, напримѣръ, то врядъ ли и тамъ такъ безвреденъ былъ status in statu. Конечно христіанство и идея его тамъ пали и падаютъ не по винѣ еврея, а по своей винѣ, тѣмъ не менѣе нельзя не указать и въ Европѣ на сильное торжество еврейства, замѣнившаго многія прежнія идеи своими. О, конечно, человѣкъ всегда и во всѣ времена боготворилъ матерьялизмъ и наклоненъ былъ видѣть и понимать свободу лишь въ обезпеченіи себя накопленными изо всѣхъ силъ и запасенными всѣми средствами деньгами. Но никогда эти стремленія не возводились такъ откровенно и такъ поучительно въ высшій принципъ, какъ въ нашемъ девятнадцатомъ вѣкѣ. „Всякъ за себя и только за себя и всякое общеніе между людьми единственно для себя“,—вотъ нравственный принципъ большинства тепершнихъ людей,*) и даже не дурныхъ людей, а напротивъ трудящихся, не убивающихъ, не ворующихъ. А безжалостность къ низшимъ массамъ, а паденіе братства, а эксплуатація богатаго бѣднымъ, — о, конечно все это было и прежде и всегда, но—но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христіанствомъ, а теперь напротивъ возводится въ добродѣтель. Стало быть не даромъ же все таки, царятъ тамъ повсемѣстно евреи на биржахъ, не даромъ они движутъ капиталами, не даромъ же они властители кредита и не даромъ, повторю это, они же властители и всей международной политики, и что будетъ дальше—конечно и самимъ евреямъ: близится ихъ царство, полное ихъ царство! Наступаетъ вполнѣ торжество идей, передъ которыми никнутъ чувства человѣколюбія, жажда правды, чувства христіанскія, національныя и даже народной гордости европейскихъ народовъ. Наступаетъ, напротивъ, ма-

*) Основная идея буржуазіи, замѣстившей собою въ концѣ прошлаго столѣтія прежній міровой строй, и ставшая главной идеей всего нынѣшняго столѣтія во всемъ европейскомъ мірѣ.

терьялизмъ, слѣпая, плотоядная жажда *личнаго* матерьяльнаго обезпеченія, жажда личнаго накопленія денегъ всѣми средствами—вотъ все что признано за высшую цѣль, за разумное, за свободу, вмѣсто христіанской идеи спасенія лишь посредствомъ тѣснѣйшаго нравственнаго и братскаго единенія людей. Засмѣются и скажутъ что это тамъ вовсе не отъ евреевъ. Конечно, не отъ однихъ евреевъ, но если евреи окончательно восторжествовали и процвѣли въ Европѣ именно тогда когда тамъ восторжествовали эти новыя начала даже до степени возведенія ихъ въ нравственный принципъ, то нельзя не заключить что и евреи приложили тутъ своего вліянія. Наши опоненты указываютъ, что евреи, напротивъ, бѣдны, повсемѣстно даже бѣдны, а въ Россіи особенно, что только самая верхушка евреевъ богата, банкиры и цари биржъ, а изъ остальныхъ евреевъ чуть ли не девять десятыхъ ихъ—буквально нищіе, мечутся изъ-за куска хлѣба, предлагаютъ куртажъ, ищутъ гдѣ бы урвать копѣйку на хлѣбъ. Да, это кажется правда, но что же это обозначаетъ? Не значитъ ли это именно, что въ самомъ трудѣ евреевъ (т. е. огромнаго большинства ихъ по крайней мѣрѣ), въ самой эксплуатаціи ихъ заключается нѣчто неправильное, ненормальное, нѣчто неестественное, несущее само въ себѣ свою кару. Еврей предлагаетъ посредничество, торгуетъ чужимъ трудомъ. Капиталъ есть накопленный трудъ; еврей любитъ торговать чужимъ трудомъ! Но все же это пока ничего не измѣняетъ: зато верхушка евреевъ воцаряется надъ человѣчествомъ все сильнѣе и тверже и стремится дать міру свой обликъ и свою суть. Евреи все кричатъ, что есть же и между ними хорошіе люди. О Боже! да развѣ въ этомъ дѣло? Да и вовсе мы не о *хорошихъ* или *дурныхъ* людяхъ теперь говоримъ. И развѣ между тѣми нѣтъ тоже хорошихъ людей? Развѣ покойный парижскій Джемсъ Ротшильдъ былъ дурной человѣкъ? Мы говоримъ о цѣломъ и объ идеѣ его, мы говоримъ о *жидовствѣ* и объ *идеѣ жидовской*, охватывающей весь міръ, вмѣсто „неудавшагося“ христіанства...

IV.

Но да здравствуетъ братство!

Но что же я говорю и зачѣмъ? Или и я врагъ евреевъ? Неужели правда, какъ пишетъ мнѣ одна, безо всякого для меня сомнѣнія (что уже видно по письму ея и по искреннимъ, горячимъ чувствамъ письма этого) благороднѣйшая и образованная еврейская дѣвушка,—неужели и я, по словамъ ея, врагъ этого „несчастнаго“ племени, на которое я „при всякомъ удобномъ случаѣ будто бы такъ жестоко нападаю“. „Ваше презрѣніе къ жидовскому племени, которое „ни о чемъ кромѣ себя не думаетъ“ и т. д. и т. д. очевидно“.—Нѣтъ, противъ этой очевидности я возстану, да и самый фактъ оспариваю. Напротивъ, я именно говорю и пишу, что „все, что требуетъ гуманность и справедливость, все что требуетъ человѣчность и христіанскій законъ—все это должно быть сдѣлано для евреевъ“. Я написалъ эти слова выше, но теперь я еще прибавлю къ нимъ, что не смотря на всѣ соображенія уже мною выставленныя, я окончательно стою однакоже за совершенное расширеніе правъ евреевъ въ формальномъ законодательствѣ и, если возможно только, и за полнѣйшее равенство правъ съ кореннымъ населе-

ніемъ (NB, хотя можетъ быть, въ иныхъ случаяхъ, они имѣютъ уже и теперь больше правъ, или лучше сказать *возможности ими пользоваться*, чѣмъ само коренное населеніе). Конечно мнѣ приходитъ тутъ же на умъ напримѣръ, такая фантазія: Ну, что если пошатнется какимъ нибудь образомъ и отъ чего нибудь наша сельская община, ограждающая нашего бѣднаго коренника-мужика отъ столькихъ золъ,—ну что если тутъ же, къ этому освобожденному мужику, столь неопытному, столь не умѣющему сдержать себя отъ соблазна и котораго именно опекала доселѣ община,—нахлынетъ всѣмъ кагаломъ еврей — да что тутъ: тутъ мигомъ конецъ его: все имущество его, вся сила его перейдетъ на завтра-же во власть еврея и наступитъ такая пора, съ которой не только не могла бы сравняться пора крѣпостничества, но даже татарщина.

Но не смотря на всѣ „фантазіи“ и на все что я написалъ выше, я все-таки стою за полное и окончательное уравненіе правъ — потому что это Христовъ законъ, потому что это христіанскій принципъ. Но если такъ, то для чего же я исписалъ столько страницъ, и что хотѣлъ выразить если, такъ *противурѣчу* себѣ? А вотъ именно то, что я не противурѣчу себѣ и что съ русской, съ коренной стороны нѣтъ и не вижу препятствій въ расширеніи еврейскихъ правъ, но утверждаю за то что препятствія эти, — лежатъ со стороны евреевъ несравненно больше чѣмъ со стороны русскихъ, и что если до сихъ поръ не созидается того, чего желалось бы всѣмъ сердцемъ, то русскій человѣкъ въ этомъ виновенъ несравненно менѣе чѣмъ самъ еврей. Подобно тому какъ я выставлялъ еврея простолюдина, который не хотѣлъ сообщаться и ѣсть съ русскими, а тѣ не только не сердились и не мстили ему за это, а напротивъ разомъ осмыслили и извинили его говоря: „это онъ потому что у него вѣра такая“—подобно тому, т. е. этому еврею простолюдину, мы и въ интелигентномъ евреѣ видимъ весьма часто такое же безмѣрное и высокомѣрное предубѣжденіе противъ русскаго. О, они кричатъ что они любятъ русскій народъ; одинъ такъ даже писалъ мнѣ, что онъ именно скорбитъ о томъ, что русскій народъ не имѣетъ религіи и ничего не понимаетъ въ своемъ христіанствѣ. Это уже слишкомъ сильно сказано для еврея и рождается лишь вопросъ: понимаетъ-ли что въ христіанствѣ самъ-то этотъ высокообразованный еврей? Но самомнѣніе и высокомѣріе есть одно изъ очень тяжелыхъ для насъ, русскихъ, свойствъ еврейскаго характера. Кто изъ насъ, русскій или еврей, болѣе неспособенъ понимать другъ друга? Клянусь, я оправдаю скорѣе русскаго: у русскаго покрайней мѣрѣ нѣтъ (положительно нѣтъ!) религіозной ненависти къ еврею. А остальныхъ предубѣжденій гдѣ, у кого больше? Вонъ евреи кричатъ, что они были столько вѣковъ угнетены и гонимы, угнетены и гонимы и теперь и что это, покрайней мѣрѣ надобно взять въ разсчетъ русскому при сужденіи о еврейскомъ характерѣ. Хорошо, мы и беремъ въ расчетъ и доказать это можемъ: въ интелигентномъ слоѣ русскаго народа не разъ уже раздавались голоса за евреевъ. Ну, а евреи: брали ли и берутъ ли они въ расчетъ, жалуясь и обвиняя русскихъ, столько вѣковъ угнетеній и гоненій которые перенесъ самъ русскій народъ? Неужто можно утверждать что

русскій народъ вытерпѣлъ меньше бѣдъ и золъ „въ свою исторію“ чѣмъ евреи гдѣ бы то ни было? И неужто можно утверждать что не еврей, весьма часто, соединялся съ его гонителями, бралъ у нихъ на откупъ русскій народъ, и самъ обращался въ его гонителя? Вѣдь это все было же, существовало, вѣдь это исторія, историческій фактъ, но мы нигдѣ не слыхали чтобъ еврейскій народъ въ этомъ раскаявался, а русскій народъ онъ все таки обвиняетъ за то, что тотъ мало любитъ его.

Но „буди! буди!“ Да будетъ полное и духовное единеніе племенъ и никакой разницы правъ! А для этого я прежде всего умоляю моихъ опонентовъ и кореспондентовъ евреевъ быть, напротивъ, къ намъ русскимъ снисходительнѣе и справедливѣе. Если высокомѣріе ихъ, если всегдашняя „скорбная брезгливость“ евреевъ къ русскому племени есть только предубѣжденіе, „историческій наростъ“, *а не кроется въ какихъ нибудь гораздо болѣе глубокихъ тайнахъ его закона и строя*,— то да разсѣется все это скорѣе и да сойдемся мы единымъ духомъ, въ полномъ братствѣ, на взаимную помощь и на великое дѣло служенія землѣ нашей, государству и отечеству нашему! Да смягчатся взаимныя обвиненія, да исчезнетъ всегдашняя экзальтація этихъ обвиненій мѣшающая ясному пониманію вещей. А за русскій народъ поручиться можно: о, онъ приметъ еврея въ самое полное братство съ собою, не смотря на различіе въ вѣрѣ, и съ совершеннымъ уваженіемъ къ историческому факту этого различія, но все таки для братства, для полнаго братства, *нужно братство съ обѣихъ сторонъ* Пусть еврей покажетъ ему и самъ хоть сколько-нибудь братскаго чувства чтобъ ободрить его. Я знаю что въ еврейскомъ народѣ и теперь можно отдѣлить довольно лицъ, ищущихъ и жаждущихъ устраненія недоумѣній, людей притомъ человѣколюбивыхъ, и не я буду молчать объ этомъ, скрывая истину. Вотъ для того-то, чтобъ эти полезные и человѣколюбивые люди не унывали и не падали духомъ и чтобъ сколько нибудь ослабить предубѣжденія ихъ и тѣмъ облегчить имъ начало дѣла, я и желалъ бы полнаго расширенія правъ еврейскаго племени, по крайней мѣрѣ по возможности, именно на сколько самъ еврейскій народъ докажетъ способность свою принять и воспользоваться правами этими безъ ущерба коренному населенію. Даже-бы можно было уступить впередъ, сдѣлать съ русской стороны еще больше шаговъ впередъ... Вопросъ только въ томъ: много ли удастся сдѣлать этимъ новымъ, хорошимъ людямъ изъ евреевъ и насколько сами они способны къ новому и прекрасному дѣлу *настоящаго* братскаго единенія съ чуждыми имъ по вѣрѣ и по крови людьми?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Похороны „Общечеловѣка“

Мнѣ о многомъ хотѣлось поговорить въ этотъ разъ въ этомъ Мартовскомъ № моего „Дневника“. И вотъ опять какъ-то такъ случилось что то, объ чемъ хотѣлъ сказать лишь нѣсколько словъ,

заняло все мѣсто. И сколько темъ, на которыя я уже цѣлый годъ собираюсь говорить и все не соберусь. Объ иномъ именно надо бы много сказать, а такъ какъ весьма часто выходитъ что очень многое нельзя сказать, то и не принимаешься за тему.

Хотѣлось мнѣ въ этотъ разъ тоже, мимо всѣхъ этихъ „важныхъ“ темъ, сказать хоть мимоходомъ слова два объ искусствѣ. Видѣлъ я Росси въ Гамлетѣ, и вывелъ заключеніе что вмѣсто Гамлета я видѣлъ господина Росси. Но лучше и не начинать говорить если не намѣренъ всего сказать. Хотѣлось бы поговорить (немножко) о картинѣ Семирадскаго, а пуще всего хотѣлось бы ввернуть хоть два слова объ идеализмѣ и реализмѣ въ искусствѣ, о Рѣпинѣ и о господинѣ Рафаэлѣ,—но видно придется отложить все это до болѣе удобнаго времени.

Потомъ хотѣлось бы мнѣ, но уже нѣсколько побольше, написать по поводу нѣкоторыхъ изъ полученныхъ мною за все время изданія „Дневника“ писемъ, и особенно анонимныхъ. Вообще я не могу отвѣчать на всѣ письма, которыя получаю, а на анонимныя само собою, а между тѣмъ, за всѣ эти почти полтора года, я вывелъ изъ этой корреспонденціи (все объ общихъ нашихъ темахъ) нѣсколько наблюденій можетъ быть и любопытныхъ, на мой взглядъ по крайней мѣрѣ. По крайней мѣрѣ можно сдѣлать нѣсколько особыхъ отмѣтокъ уже на основаніи опыта о нашемъ русскомъ умственномъ теперешнемъ настроеніи, о томъ чѣмъ интересуются и куда клонятъ, наши не праздные умы, кто именно наши непраздные умы, причемъ выдаются любопытныя черты по возрастамъ, по полу, по сословіямъ и даже по мѣстностямъ Россіи. Думаю, что можно бы отдѣлить нѣсколько мѣста въ какомъ нибудь изъ будущихъ „Дневниковъ“ по поводу хоть бы однихъ анонимовъ, напримѣръ, и ихъ характеристики, и не думаю, чтобъ это вышло такъ ужь очень скучно, потому что тутъ довольно всевозможнаго разнообразія. Разумѣется обо всемъ нельзя сказать и всего нельзя передать и даже можетъ быть самаго любопытнаго. А потому и боюсь приниматься, не зная совладаю ли съ темой.

Однако хочу привести теперь одно письмо, уже не анонима, а весьма знакомой мнѣ г-жи Л., очень молодой дѣвицы, еврейки, съ которой я познакомился въ Петербургѣ и которая пишетъ мнѣ теперь изъ М. Съ уважаемой мною г-жею Л. мы никогда почти не говорили на тему о „еврейскомъ вопросѣ“, хотя она, кажется, изъ строгихъ и серьезныхъ евреекъ. Вижу, что очень странно подошло письмо это къ сейчасъ только дописанной мною цѣлой главѣ о евреяхъ. Было бы слишкомъ много все на одну и туже тему. Но тутъ не на ту тему; а если отчасти и на ту, то выставляется какъ бы совсѣмъ другая, именно противуположная сторона вопроса, а при этомъ и какъ бы даже намекъ на разрѣшеніе его. Пусть извинитъ меня великодушно г-жа Л., что я позволяю себѣ передать здѣсь ея словами всю ту часть письма ея о похоронахъ доктора Гинденбурга въ М., подъ первымъ впечатлѣніемъ которыхъ она и написала эти столь искреннія и трогательныя въ правдѣ своей строки. Не хотѣлось мнѣ тоже утаить, что писано это еврейкой, что чувства эти — чувства еврейки...

Это я пишу подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ похороннаго марша. Хоронили доктора *Гинденбурга* 84-хъ лѣтъ отъ роду. Какъ протес-

танта его сначала отвезли въ кирку, а уже затѣмъ на кладбище. Такого сочувствія, такихъ отъ души вырвавшихся словъ такихъ горячихъ слезъ я еще никогда не видѣла при похоронахъ... Онъ умеръ въ такой бѣдности, что не на что было похоронить его.

Уже 58 лѣтъ какъ онъ практикуетъ въ М... и сколько добра онъ сдѣлалъ за это время. Еслибъ вы знали, Ѳедоръ Михайловичъ, что это былъ за человѣкъ! Онъ былъ докторъ и акушеръ; его имя перейдетъ здѣсь въ потомство, о немъ уже сложились легенды, весь простой народъ звалъ его отцомъ, любилъ, обожалъ и только съ его смертью понялъ, что онъ потерялъ въ этомъ человѣкѣ. Когда онъ еще стоялъ въ гробу (въ церкви) то не было кажется ни одного человѣка, который бы не пошелъ поплакать надъ нимъ и цѣловать его ноги, въ особенности бѣдныя еврейки, которымъ онъ такъ много помогалъ, плакали и молились, чтобъ онъ попалъ прямо въ рай. Сегодня пришла бывшая наша кухарка ужасно бѣдная женщина и говоритъ, что при рожденіи послѣдняго ея ребенка, онъ видя, что ничего дома нѣтъ, далъ 30 к. чтобъ сварить супъ, а затѣмъ каждый день приходилъ и оставлялъ 20 к., а видя, что она поправляется, прислалъ пару куропатокъ. Также будучи позванъ къ одной страшно бѣдной родильницѣ (такія къ нему и обращались) онъ видя, что не во что принять ребенка, снялъ съ себя верхнюю рубаху и платокъ свой (голова у него была повязана платкомъ) разорвалъ и отдалъ.

Еще вылечилъ онъ одного бѣднаго еврея дровосѣка, затѣмъ заболѣла его жена, затѣмъ дѣти, онъ каждый Божій день пріѣзжалъ 2 раза и когда всѣхъ поставилъ на ноги, спрашиваетъ еврея: чѣмъ ты мнѣ заплатишь? Тотъ говоритъ, что у него ничего нѣтъ, только послѣдняя коза, которую онъ сегодня продастъ. Онъ такъ и сдѣлалъ, продалъ за 4 р. и принесъ ему деньги, тогда докторъ далъ лакею своему еще 12 р. къ этимъ 4-мъ и отправилъ купить корову, а дровосѣку велѣлъ идти домой, черезъ часъ тому приводятъ корову и говорятъ, что докторъ призналъ козье молоко для нихъ вреднымъ.

Такъ онъ прожилъ всю свою жизнь. Бывали примѣры, что онъ оставлялъ 30 и 40 р. у бѣдныхъ; оставлялъ и у бѣдныхъ бабъ въ деревняхъ.

За то хоронили его какъ святаго. Всѣ бѣдняки заперли лавки и бѣжали за гробомъ. У евреевъ есть мальчики, которые при похоронахъ распѣваютъ псалмы, но запрещается провожать иновѣрца этими псалмами. Тутъ передъ гробомъ, во время процессіи, ходили мальчики и громко распѣвали эти псалмы. Во всѣхъ синагогахъ молились за его душу, также колокола *всѣхъ* церквей звонили все время процессіи. Былъ хоръ военной музыки, да еще еврейскіе музыканты пошли къ сыну усопшаго, просить, какъ чести, позволенія играть во все время процессіи. Всѣ бѣдные принесли кто 10, кто 5 к., а богатые евреи дали много и приготовили великолѣпный, огромный вѣнокъ свѣжихъ цвѣтовъ съ бѣлыми и черными лентами по сторонамъ, гдѣ золотыми буквами были вычислены его главныя заслуги, такъ наприм., учрежденіе больницы и т. п. я не могла разобрать что тамъ, да и развѣ возможно вычислить его заслуги?

Надъ его могилой держали рѣчь пасторъ и еврейскій раввинъ и оба плакали, а онъ себѣ лежалъ въ старенькомъ, истертомъ вицъ мундирѣ, старымъ платкомъ была обвязана его голова, эта милая голова и казалось онъ спалъ, такъ свѣжъ былъ цвѣтъ его лица...

II.

Единичный случай.

Единичный случай скажутъ. Чтожъ, господа, я опять виноватъ: опять вижу въ единичномъ случаѣ чуть не начало разрѣшенія всего вопроса... ну хоть того же самаго „еврейскаго вопроса“, которымъ я озаглавилъ мою вторую главу этого „Дневника“. Кстати, почему я назвалъ старичка доктора „общечеловѣкомъ“? Это былъ не общечеловѣкъ, а скорѣе общій человѣкъ. Этотъ городъ М. — это большой губернскій городъ въ западномъ краѣ, и въ этомъ городѣ множество евреевъ, есть нѣмцы, русскіе конечно, поляки, литовцы,—и всѣ то, всѣ эти народности признали праведнаго старичка каждая за своего. Самъ

же онъ былъ протестантъ, и именно нѣмецъ, вполнѣ нѣмецъ: манера какъ онъ купилъ и отослалъ бѣдному еврею корову — это чисто нѣмецкій вицъ. Сперва озадачилъ того: „чѣмъ уплатишь“? И ужь конечно бѣднякъ, продавая послѣднюю козу чтобъ уплатить „благодѣтелю“, не ропталъ ни мало, а напротивъ горько страдалъ въ душѣ, что всего-то коза стоитъ 4 цѣлковыхъ, а вѣдь и бѣдному работающему на нихъ всѣхъ бѣдняковъ старичку тоже вѣдь жить надо, а что такое четыре цѣлковыхъ за всѣ то его благодѣянія семейству“? Ну а старичокъ себѣ на умѣ, посмѣевается, а сердце горитъ у него: „вотъ же я ему бѣдняку нашъ нѣмецкій вицъ покажу“! И вѣдь какъ должно быть хорошо смѣялся про себя, когда повели къ еврею корову, какъ прибодрился духомъ, и пожалуй всю ту ночь можетъ быть провозился въ нищей лачугѣ какой нибудь бѣдной еврейки родильницы. А вѣдь восьмидесятилѣтнему старичку хорошо бы и поспать ночку, попокоить старыя, усталыя кости. Еслибъ я былъ живописецъ, я именно бы написалъ этотъ „жанръ“, эту ночь у еврейки-родильницы. Я ужасно люблю реализмъ въ искуствѣ, но у иныхъ современныхъ реалистовъ нашихъ *нѣтъ нравственнаго центра* въ ихъ картинахъ, какъ выразился на дняхъ одинъ могучій поэтъ и тонкій художникъ, говоря со мной о картинѣ Семирадскаго. Тутъ, въ предлагаемомъ мною сюжетѣ для „жанра“, мнѣ кажется былъ бы этотъ центръ. Да и для художника роскошь сюжета. Во-первыхъ, идеальная, невозможная, смраднѣйшая нищета бѣдной еврейской хаты. Тутъ можно бы много даже юмору выразить и ужасно кстати: юморъ вѣдь есть остроуміе глубокаго чувства, и мнѣ очень нравится это опредѣленіе. Съ тонкимъ чувствомъ и умомъ можно много взять художнику въ одной уже перетасовкѣ ролей всѣхъ этихъ нищихъ предметовъ и домашней утвари въ бѣдной хатѣ, и этой *забавной* перетасовкой сразу оцарапать вамъ сердце. Да и освѣщеніе можно бы сдѣлать интересное: на кривомъ столѣ догораетъ оплывшая сальная свѣчка, а сквозь единственное, заиндивѣвшее и обледенѣлое оконце уже брезжетъ разсвѣтъ новаго дня, новаго труднаго дня для бѣдныхъ людей. Трудныя родильницы часто родятъ на разсвѣтѣ: всю ночь промучаются, а къ утру родятъ. Вотъ усталый старичокъ, на мигъ оставивъ мать, берется за ребенка. Принять не во что, пеленокъ нѣтъ, ни тряпки нѣтъ (бываетъ этакая бѣдность, господа, клянусь вамъ, бываетъ, чистѣйшій реализмъ,—реализмъ, такъ сказать, доходящій до фантастическаго) и вотъ праведный старичокъ снялъ свой старенькій вицъ-мундирчикъ, снялъ съ плечъ рубашку и разрываетъ ее на пеленки. Лицо его строгое и проникнутое. Бѣдный новорожденный еврейчикъ копошится передъ нимъ на постелѣ, христіанинъ принимаетъ еврейчика въ свои руки и обвиваетъ его рубашкой съ плечъ своихъ. Разрѣшеніе еврейскаго вопроса, господа! Восьмидесятилѣтній обнаженный и дрожащій отъ утренней сырости торсъ доктора можетъ занять видное мѣсто въ картинѣ, не говорю уже про лицо старика и про лицо молодой, измученной родильницы, смотрящей на своего новорожденнаго и на продѣлки съ нимъ доктора. Все это видитъ сверху Христосъ и докторъ знаетъ это: „этотъ бѣдный жидокъ выростетъ и можетъ сниметъ и самъ съ плеча рубашку и отдастъ христіанину, вспоминая раз-

сказъ о рожденіи своемъ"—съ наивной и благородной вѣрой думаетъ старикъ про себя. Сбудется-ли это? вѣроятнѣе всего что нѣтъ, но вѣдь сбыться можетъ, а на землѣ лучше и дѣлать-то нечего, какъ вѣрить въ то, что *это* сбыться можетъ и сбудется. А докторъ вправѣ вѣрить потому что ужь на немъ сбылось: „исполнилъ я, исполнитъ и другой, чѣмъ я лучше другаго?" подкрѣпляетъ онъ себя аргументомъ. Усталая старуха еврейка, — мать родильницы, въ лохмотьяхъ суетится у печки. Еврей, выходившій за вязанкой щепокъ отворяетъ дверь хаты и мерзлый паръ клубомъ врывается на мигъ въ комнату. На полу, на войлочной подстилкѣ крѣпко спятъ два малолѣтнихъ еврейчика. Однимъ словомъ, аксесуаръ могъ бы выйти хорошій. Даже тридцать копѣекъ мѣдью на столѣ, отщитанныя докторомъ на супъ родильницѣ, могли-бы составить деталь: мѣдный столбикъ трехкопѣечниковъ, методически сложенныхъ, отнюдь не разбросанныхъ. Даже перламутръ могъ бы быть написанъ какъ и въ картинѣ Семирадскаго, въ которой удивительно написанъ кусокъ перламутра: докторамъ вѣдь дарятъ же иногда (чтобы не платить много деньгами) хорошенькія вещицы, и вотъ перламутровая докторская сигарочница лежитъ тутъ же подлѣ мѣдной кучки. Нѣтъ ничего, картинка бы вышла съ „нравственнымъ центромъ". Приглашаю написать.

Единственный случай! Года два тому назадъ откуда-то (забылъ) съ юга Россіи писали про какого-то доктора, только что вышедшаго утромъ въ жаркій день изъ купальни, освѣжившагося, ободрившагося и поспѣшавшаго поскорѣе домой напиться кофею, а потому и не захотѣвшаго помочь тутъ же вытащенному изъ воды утопленнику, не смотря на приглашеніе толпы. Его кажется за это судили. А вѣдь это можетъ быть былъ человѣкъ образованный и новыхъ идей, прогрессистъ, но „разумно" требовавшій новыхъ общихъ законовъ и правъ для всѣхъ, пренебрегая единичными случаями. Полагавшій можетъ быть, что единичные случаи даже скорѣе вредятъ, отдаляя общее рѣшеніе вопроса, и что въ отношеніи единичныхъ случаевъ „чѣмъ хуже, тѣмъ лучше". Но безъ единичныхъ случаевъ не осуществишь и общихъ правъ. Этотъ общій человѣкъ, хоть и единичный случай, а соединилъ же надъ гробомъ своимъ весь городъ. Эти русскія бабы и бѣдныя еврейки цаловали его ноги въ гробу вмѣстѣ, тѣснились около него вмѣстѣ, плакали вмѣстѣ. Пятдесятъ восемь лѣтъ служенія человѣчеству въ этомъ городѣ, пятдесятъ восемь лѣтъ неустанной любви соединили всѣхъ хоть разъ надъ гробомъ его въ общемъ восторгѣ и въ общихъ слезахъ. Провожаетъ его весь городъ, звучатъ колокола *всѣхъ* церквей, поются молитвы на всѣхъ языкахъ. Пасторъ со слезами говоритъ свою рѣчь надъ раскрытой могилой. Раввинъ стоитъ въ сторонѣ, ждетъ и какъ кончилъ пасторъ, смѣняетъ его и говоритъ свою рѣчь и льетъ тѣже слезы. Да вѣдь въ это мгновеніе почти разрѣшенъ хоть бы этотъ самый „еврейскій вопросъ"! Вѣдь пасторъ и раввинъ соединились въ общей любви, вѣдь они почти обнялись надъ этой могилой въ виду христіанъ и евреевъ. Что въ томъ, что разойдясь, каждый примется за старые предразсудки: капля точитъ камень, а вотъ эти-то „общіе человѣки" побѣждаютъ міръ соединяя его; предразсудки будутъ блѣднѣть съ каждымъ единичнымъ случаемъ и наконецъ во-

все исчезнутъ. Про старичка останутся легенды, пишетъ г-жа Л., тоже еврейка, и тоже плакавшая надъ „милой головой“ человѣколюбца. А легенды ужъ это первый шагъ къ дѣлу, это живое воспоминаніе и неустанное напоминаніе объ этихъ „побѣдителяхъ міра“, которымъ принадлежитъ земля. А увѣровавъ въ то, что это дѣйствительно побѣдители, и что такіе дѣйствительно „наслѣдятъ землю“, вы уже почти соединились во всемъ. Все это очень просто, но мудрено кажется одно: именно убѣдиться въ томъ, что вотъ безъ этихъ-то единицъ, никогда не соберете всего числа, сейчасъ все разсыплется, а вотъ эти то все соединятъ. Эти мысль даютъ, эти вѣру даютъ, живой опытъ собою представляютъ, а стало быть и доказательство. И вовсе нечего ждать, пока всѣ станутъ такими же хорошими какъ и они, или очень многіе: нужно очень немного такихъ, чтобъ спасти міръ, до того они сильны. А если такъ, то какже не надѣяться?

III.

Нашимъ корреспондентамъ.

—

Новочеркаскъ Ю. Г. О Штундѣ. Высылайте.

—

Г-жу NN, предлагающую извѣщать о событіяхъ изъ крестьянской жизни и изъ земской дѣятельности края, просятъ приступить къ обѣщанному.

—

Всѣхъ, приславшихъ намъ объявленія о своихъ изданіяхъ для напечатанія въ „Дневникѣ“ покорнѣйше просимъ на этотъ разъ извинить насъ: мы не могли исполнить порученій за недостаткомъ мѣста.

Ѳ. Достоевскій.

Оставшіеся въ небольшемъ количествѣ полные экземпляры „Дневника Писателя“ за 1876 г. сброшюрованы въ одну книгу и поступили въ продажу во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 2 р. 50 коп. за экземпляръ. **Выписывающіе прямо отъ автора пользуются безплатною пересылкою:**

У автора „Дневника Писателя“ можно получать слѣдующія его сочиненія:

Романъ **„БѢСЫ“**, въ трехъ томахъ, цѣна 3 р. 50 коп.
——— **„ИДІОТЪ“**, въ двухъ томахъ, цѣна 3 р. 50 коп.
——— **„ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА“**, 4-е изданіе въ одномъ томѣ, цѣна 2 рубля.
——— **„ПОДРОСТОКЪ“**, три тома, цѣна 3 р. 50 коп.

Вышелъ въ свѣтъ **четвертымъ изданіемъ** и поступилъ въ продажу романъ Ѳ. М. Достоевскаго **„ПРЕСТУПЛЕНІЕ И НАКАЗАНІЕ“**, два тома, цѣна 3 р. 50 коп.

Подписчики „Дневника Писателя“, обращающіеся за означенными сочиненіями къ автору, получаютъ 20% уступки; иногородные же пользуются, кромѣ того, безплатною пересылкою.

Гг. подписчики, при каждомъ заявленіи о перемѣнѣ своихъ адресовъ, благоволятъ прилагать по 30 коп. (почтов. марками).

4-й, апрѣльскій, выпускъ выйдетъ 30 апрѣля.

Дозволено цензурою. Спб. 1 апрѣля 1877. Типогр. кн. В. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ГОДЪ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ. II-й,

1877.

АПРѢЛЬ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на ежемѣсячное изданіе Ѳ. М. Достоевскаго

„ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ“

НА 1877 ГОДЪ.

(ДВѢНАДЦАТЬ ВЫПУСКОВЪ ВЪ ГОДЪ).

Каждый выпускъ будетъ заключать въ себѣ отъ полутора до двухъ листовъ убористаго шрифта, въ форматѣ еженедѣльныхъ газетъ нашихъ.

Каждый выпускъ будетъ выходить въ послѣднее число каждаго мѣсяца и продаваться отдѣльно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 25 копѣекъ. Желающіе подписаться на все годовое изданіе впередъ пользуются уступкою и платятъ лишь два рубля (безъ доставки и пересылки), а съ пересылкою или доставкою на домъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: для городскихъ подписчиковъ въ С.-Петербургѣ: Въ книжномъ магазинѣ Я. А. Исакова (гостиный дворъ № 24) и въ книжномъ „Магазинѣ для иногородныхъ“, Невскій пр., № 44.

Въ Москвѣ: въ „Центральномъ книжномъ магазинѣ“, Никольская, д. Славянскаго Базара,

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА выпусковъ производится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга, въ Москвѣ: у Салаева, Соловьева, Живарева, Кашкина, Мамонтова, Васильева, Юрьева, Александрова, Разсохина и др., въ Казани у Дубровина и въ магазинѣ „Восточная Лира“, въ Кіевѣ у Гинтера и Малецкаго, въ Южно-русскомъ Книжномъ Магазинѣ, у Оглоблина (Литова) и у Корейво, въ Одессѣ: у Распопова и Бѣлаго, въ Харьковѣ у Геевскаго и Куколевскаго, въ Воронежѣ и Тулѣ: у Аносова, въ Тамбовѣ: у Зотова, въ Перми: у Наумова, въ Смоленскѣ: у Лаврова, въ Тифлисѣ: у Береништама, въ Черниговѣ: у Данюшевскаго, въ Варшавѣ: у Истомина, въ Томскѣ: у Макушина, въ Саратовѣ: у

Бятошинскаго и Холодковскаго, въ Острогожскѣ: у Новгородова, въ Козловѣ: у Муравьева, въ Вильно: у Сыркина, въ Нѣжинѣ: у Куриленко.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться **исключительно** къ автору по слѣдующему адресу: **С.-Петербургъ, Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6, Ѳедору Михайловичу Достоевскому.**

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Война. Мы всѣхъ сильнѣе.

„Война! объявлена война“,—восклицали у насъ двѣ недѣли назадъ. „Будетъ ли война“? спрашивали тутъ же другіе. „Объявлена, объявлена“! отвѣчали имъ. „Да, объявлена, но будетъ ли“? продолжали тѣ спрашивать...

И право были такіе вопросы, можетъ быть есть и теперь. И это не отъ одной только долгой дипломатической проволочки разувѣрились такъ люди, тутъ другое, тутъ инстинктъ. Всѣ чувствуютъ что началось что-то окончательное, что наступаетъ какой-то конецъ чего-то прежняго, долгаго, длиннаго прежняго, и дѣлается шагъ къ чему-то совсѣмъ уже новому, къ чему-то преломляющему прежнее на двое, обновляющему и воскрешающему его уже для новой жизни и... что шагъ этотъ дѣлаетъ Россія! Вотъ въ этомъ-то и невѣріе „премудрыхъ“ людей. Инстинктивное предчувствіе есть, а невѣріе продолжается: „Россія! Но какже она можетъ, какъ она смѣетъ? Готова ли она? Готова ли внутренно, нравственно, не только матерьяльно? Тамъ Европа, легко сказать Европа! А Россія, что такое Россія? И на такой шагъ“?

Но народъ вѣритъ что онъ готовъ на новый, обновляющій и великій шагъ. Это самъ народъ поднялся на войну, съ Царемъ во главѣ. Когда раздалось Царское слово народъ хлынулъ въ церкви, и это по всей землѣ Русской. Когда читали Царскій Манифестъ народъ крестился и всѣ *поздравляли* другъ друга съ войной. Мы это сами видѣли своими глазами, слышали, и все это даже здѣсь въ Петербургѣ. И опять начались тѣже дѣла, тѣже факты какъ и въ прошломъ году: Крестьяне въ волостяхъ жертвуютъ по силѣ своей деньги, подводы и вдругъ, эти тысячи людей какъ одинъ человѣкъ восклицаютъ: „да что жертвы, что подводы, мы всѣ пойдемъ воевать“! — Здѣсь въ Петербургѣ являются жертвователи на раненыхъ и больныхъ воиновъ, даютъ суммы по нѣскольку тысячь, а записываются *неизвѣстными*. Такихъ фактовъ множество, будутъ десятки тысячь подобныхъ фактовъ и никого ими не удивишь. Они означаютъ лишь, что весь народъ поднялся за истину, за святое дѣло, что весь народъ поднялся на войну и идетъ. О, мудрецы и эти факты отрицать будутъ, какъ и прошлогодніе; мудрецы все еще, какъ и недавно, продолжаютъ смѣяться надъ народомъ, хотя и замѣтно притихли ихъ голоса. Почему же они смѣются, откуда въ нихъ столько самоувѣренности? А вотъ именно потому-то и

продолжаютъ они смѣяться, что все еще почитаютъ себя силой, той самой силой, безъ которой ничего не подѣлаешь. А межъ тѣмъ сила-то ихъ приходитъ къ концу. Близятся они къ страшному краху и когда разразится надъ ними крахъ, пустятся и они говорить другимъ языкомъ, но всѣ увидятъ что они бормочатъ чужія слова и съ чужаго голоса и отвернутся отъ нихъ и обратятъ свое упованіе туда гдѣ Царь и народъ его съ нимъ.

Намъ нужна эта война и самимъ; не для однихъ лишь „братьевъ-славянъ“, измученныхъ турками, подымаемся мы а и для собственнаго спасенія: война освѣжитъ воздухъ, которымъ мы дышемъ, и въ которомъ мы задыхались, сидя въ немощи разстлѣнія и въ духовной тѣснотѣ. Мудрецы кричатъ и указываютъ что мы погибаемъ и задыхаемся отъ нашихъ собственныхъ внутреннихъ неустройствъ, а потому не войны желать намъ надо, а напротивъ, долгаго мира, чтобы мы изъ звѣрей и тупицъ могли обратиться въ людей, научились порядку, честности и чести: „тогда и идите помогать вашимъ братьямъ-славянамъ“—заканчиваютъ они, въ одинъ хоръ, свою пѣсню. Любопытно въ такомъ случаѣ въ какомъ видѣ представляютъ они себѣ тотъ процессъ, посредствомъ котораго они сдѣлаются лучше? И какимъ образомъ сами-то они пріобрѣтутъ себѣ честь явнымъ безчестіемъ? Любопытно наконецъ какъ и чѣмъ оправдаютъ они свой разрывъ съ всеобщимъ и повсемѣстнымъ чувствомъ народнымъ? Нѣтъ, видно правда что истина покупается лишь мученичествомъ. Миліоны людей движутся и страдаютъ и отходятъ безслѣдно какъ бы предназначенные никогда не понять истину. Они живутъ чужою мыслію, ищутъ готоваго слова и примѣра, схватываются за подсказанное дѣло. Они кричатъ что за нихъ авторитеты, что за нихъ Европа. Они свистятъ на несогласныхъ съ ними, на всѣхъ презирающихъ лакейство мысли и вѣрящихъ въ свою собственную и народа своего самостоятельность. И что же, на самомъ-то дѣлѣ эти массы кричащихъ людей предназначены послужить собою лишь коснымъ средствомъ для того, чтобъ развѣ единицы лишь изъ нихъ приблизились сколько нибудь къ истинѣ, или по крайней мѣрѣ получили бы о ней хоть предчувствіе. Вотъ эти-то единицы и ведутъ потомъ всѣхъ за собою, овладѣваютъ движеніемъ, родятъ идею и оставляютъ ее въ наслѣдство этимъ мечущимся массамъ людей. Такія единицы уже были и у насъ. Нѣкоторые изъ насъ уже ихъ понимаютъ, даже многіе. Но мудрецы все еще продолжаютъ смѣяться и все еще вѣрить въ себя, что они великая сила. „Погуляютъ и воротятся“, говорятъ они теперь про наши войска, перешедшія границу, говорятъ даже въ слухъ. „Не бывать войнѣ, какая война, гдѣ ужъ намъ воевать: просто военная прогулка и маневры, съ тратой сотенъ миліоновъ, для поддержанія чести“. Вотъ ихъ интимный взглядъ на дѣло. Да и интимный ли?

Да, еслибъ могло такъ случиться что мы будемъ побиты, или хотя и побьемъ врага, но подъ давленіемъ обстоятельствъ замиримъ пустяками,— о, тогда мудрецы конечно восторжествуютъ. И какой, какой опять начнется свистъ и гамъ и цинизмъ на нѣсколько лѣтъ, какая опять вакханалія самооплеванія, пощечинъ и самодразненія — и это не для вызова къ воскресенію и силѣ, а именно ради

*

торжества собственнаго безчестія, безличности и безсилія. И новый нигилизмъ начнетъ, точь въ точь какъ и прежній, съ отрицанія народа русскаго и самостоятельности его. А главное, пріобрѣтетъ столько силы и такъ укрѣпится что несомнѣнно начнетъ даже вслухъ помыкать святыней Россіи. И опять молодежь оплюетъ свои семейства и домы, и побѣжитъ отъ своихъ стариковъ, твердящихъ въ зубряжку безконечныя общія мѣста и старыя, надоѣвшія всѣмъ слова о европейскомъ величіи и объ обязанности нашей быть какъ можно безличнѣе. А главное — старая пѣсня, старыя слова и — надолго новаго ничего! Нѣтъ, намъ нужна война и побѣда. Съ войной и побѣдой придетъ новое слово, и начнется живая жизнь а не одна только мертвящая болтовня какъ прежде, — да что какъ прежде: какъ до сихъ поръ, господа!

Но надо быть на все готовымъ, и что-же: если предположить даже самый худшій, самый даже невозможно худшій исходъ для начавшейся теперь войны, то, хоть и много вынесемъ сквернаго, уже надоѣвшаго до смерти стараго горя, но колоссъ все же не будетъ расшатанъ и рано-ли, поздно-ли, а возьметъ все свое. Это не надежда только, это полная увѣренность и въ этой невозможности расшатать колоссъ — вся наша сила передъ Европой, гдѣ всѣ теперь, чуть не сплошь боятся, что расшатается ихъ старое зданіе и обрушатся на нихъ потолки. Колоссъ этотъ есть народъ нашъ. И начало теперешней *народной* войны, и всѣ недавнія предшествовавшія ей обстоятельства показали лишь наглядно, всѣмъ кто смотрѣть умѣетъ, всю народную цѣлость и свѣжесть нашу и до какой степени не коснулось народныхъ силъ нашихъ то растлѣніе, которое загноило мудрецовъ нашихъ. И какую услугу оказали намъ эти мудрецы передъ Европой! Они такъ недавно еще кричали на весь міръ, что мы бѣдны и ничтожны, они насмѣшливо увѣряли всѣхъ что духа народнаго нѣтъ у насъ вовсе, потому что и *народа* нѣтъ вовсе, потому что и народъ нашъ и духъ его изобрѣтены лишь фантазіями доморощенныхъ московскихъ мечтателей, что восемдесятъ милліоновъ мужиковъ русскихъ суть всего только милліоны косныхъ, пьяныхъ податныхъ единицъ, что никакого соединенія Царя съ народомъ нѣтъ, что это лишь въ прописяхъ, что все, напротивъ, расшатано и проѣдено нигилизмомъ, что солдаты наши бросятъ ружья и побѣгутъ какъ бараны, что у насъ нѣтъ ни патроновъ, ни провіанта и что мы, въ заключеніе, сами видимъ, что разхрабрились и зарвались не въ мѣру и изо всѣхъ силъ ждемъ только предлога какъ бы отступить безъ послѣдней степени позорныхъ пощечинъ, которыхъ „даже и намъ уже нельзя выносить“, и молимъ чтобъ предлогъ этотъ намъ выдумала Европа. Вотъ въ чемъ клялись мудрецы наши, и что-же: на нихъ почти и сердиться нельзя, это ихъ взглядъ и понятія, кровные взглядъ и понятія. И дѣйствительно, да, мы бѣдны, да, мы жалки во многомъ; да, дѣйствительно у насъ столько нехорошаго, что мудрецъ, и особенно если онъ *нашъ* „мудрецъ“, не могъ „измѣнить“ себѣ и не могъ не воскликнуть: „капутъ Россіи и жалѣть нечего!“ Вотъ эти-то родныя мысли мудрецовъ нашихъ и облетѣли Европу, и особенно черезъ европейскихъ корреспондентовъ, нахлынувшихъ къ намъ на-

канунѣ войны изучить насъ на мѣстѣ, разсмотрѣть насъ своими европейскими взглядами и измѣрить наши силы своими европейскими мѣрками. И само собою они слушали однихъ лишь „премудрыхъ и разумныхъ“ нашихъ. Народную силу, народный духъ всѣ проглядѣли и облетѣла Европу вѣсть, что гибнетъ Россія, что ничто Россія, ничто была, ничто и есть и въ ничто обратится. Дрогнули сердца исконныхъ враговъ нашихъ и ненавистниковъ, которымъ мы два вѣка ужь досаждаемъ въ Европѣ, дрогнули сердца многихъ тысячъ жидовъ европейскихъ и милліоновъ вмѣстѣ съ ними жидовствующихъ „христіанъ“; дрогнуло сердце Биконсфильда: сказано было ему что Россія все перенесетъ, все, до самой срамной и послѣдней пощечины, но не пойдетъ на войну—до того, дескать, сильно ея „миролюбіе“. Но Богъ насъ спасъ наславъ на нихъ на всѣхъ слѣпоту; слишкомъ ужъ они повѣрили въ погибель и въ ничтожность Россіи а главное-то и проглядѣли. Проглядѣли они весь русскій народъ, какъ живую силу и проглядѣли колоссальный фактъ: союзъ Царя съ народомъ своимъ! Вотъ *только это* и проглядѣли они! Кромѣ того, не могли они никакъ понять и повѣрить тому, что Царь нашъ дѣйствительно миролюбивъ и дѣйствительно такъ жалѣетъ кровь человѣческую: они думали что все это у насъ изъ „политики“. Не видятъ они ничего даже и теперь: они кричатъ что у насъ вдругъ, послѣ Царскаго манифеста появился „патріотизмъ“. Да развѣ это патріотизмъ, развѣ это единеніе Царя съ народомъ на великое дѣло есть *только* патріотизмъ? Въ томъ-то и главная наша сила, что они совсѣмъ не понимаютъ Россіи, ничего не понимаютъ въ Россіи! Они не знаютъ, что мы непобѣдимы ничѣмъ въ мірѣ, что мы можемъ пожалуй проигрывать битвы, но всетаки останемся непобѣдимыми именно единеніемъ нашего духа народнаго и сознаніемъ народнымъ. Что мы не Франція, которая вся въ Парижѣ, что мы не Европа, которая вся зависитъ отъ биржъ своей буржуазіи и отъ „спокойствія“ своихъ пролетаріевъ, покупаемаго уже послѣдними усиліями тамошнихъ правительствъ и всего лишь на часъ. Не понимаютъ они и не знаютъ, что если мы *захотимъ*, то насъ не побѣдятъ ни жиды всей Европы вмѣстѣ, ни милліоны ихъ золота, ни милліоны ихъ армій, что если мы захотимъ, то насъ нельзя заставить сдѣлать то, чего мы не пожелаемъ, и что нѣтъ такой силы на всей землѣ. Бѣда только въ томъ, что надъ словами этими засмѣются не только въ Европѣ, но и у насъ, и не только наши мудрецы и разумные а даже и настоящіе русскіе люди интелигентныхъ слоевъ нашихъ—до того мы еще не понимаемъ самихъ себя и всю исконную силу нашу, до сихъ поръ еще, слава Богу, не надломившуюся. Не понимаютъ эти хорошіе люди, что у насъ, въ нашей необозримой и своеобразной, въ высшей степени непохожей на Европу странѣ, даже тактика военная (столь общая вещь!) можетъ быть совсѣмъ не похожая на европейскую, что основы европейской тактики—деньги и ученыя организаціи шестисотъ тысячныхъ войсковыхъ нашествій могутъ споткнуться о землю нашу и наткнуться у насъ на новую и невѣдомую имъ силу, основы которой лежатъ въ природѣ безконечной земли Русской и въ природѣ всеединящагося духа русскаго. Но пусть *пока* еще не знаютъ этого у насъ столь многіе и хорошіе люди—(не знаютъ и робѣютъ).

Но за то знаютъ это Цари наши и чувствуетъ это народъ нашъ. Александръ I зналъ про эту своеобразную силу нашу, когда говорилъ, что отроститъ себѣ бороду и уйдетъ въ лѣса съ народомъ своимъ, но не положитъ меча и не покорится волѣ Наполеона. И ужь конечно объ такую силу разбилась бы вся Европа вмѣстѣ, потому что не хватитъ у ней на такую войну ни денегъ, ни единства организаціи. Когда у насъ всѣ наши русскіе люди узнаютъ о томъ, что мы такъ сильны, тогда мы и добьемся того, что воевать уже не будемъ, тогда въ насъ увѣруетъ и впервые *откроетъ* насъ, какъ когда-то Америку, Европа. Но для того надобно, чтобы мы прежде ихняго открыли сами себя и чтобъ интеллигенція наша поняла, что ей нельзя уже болѣе разъединяться и разрывать съ народомъ своимъ...

II.

Не всегда война бичь, иногда и спасеніе.

Но мудрецы наши схватились и за другую сторону дѣла: они проповѣдуютъ о человѣколюбіи, о гуманности, они скорбятъ о пролитой крови, о томъ, что мы еще больше озвѣрѣемъ и осквернимся въ войнѣ и тѣмъ еще болѣе отдалимся отъ внутренняго преуспѣянія, отъ вѣрной дороги, отъ науки. Да, война конечно есть несчастье, но много тутъ и ошибки въ разсужденіяхъ этихъ, а главное—довольно ужь намъ этихъ буржуазныхъ нравоученій! Подвигъ самопожертвованія кровью своею за все то, что мы почитаемъ святымъ, конечно нравственнѣе всего буржуазнаго катехизиса. Подъемъ духа націи ради великодушной идеи—есть толчекъ впередъ, а не озвѣреніе. Конечно, мы можемъ ошибаться въ томъ, что считаемъ великодушной идеей; но если то, что мы почитаемъ святынею — позорно и порочно, то мы не избѣгнемъ кары отъ самой природы: позорное и порочное несетъ само въ себѣ смерть и рано-ли, поздно-ли, само собою казнитъ себя. Война, напримѣръ, изъ-за пріобрѣтенія богатствъ, изъ-за потребности ненасытной биржи, хотя въ основѣ своей и выходитъ изъ того же общаго всѣмъ народамъ закона развитія своей національной личности, но бываетъ тотъ предѣлъ, который, въ этомъ развитіи переходить нельзя, и за которымъ всякое пріобрѣтеніе, всякое развитіе значитъ уже излишекъ, несетъ въ себѣ болѣзнь, а за ней и смерть. Такъ Англія, еслибъ стала въ теперешней восточной борьбѣ за Турцію, забывъ уже окончательно, изъ-за торговыхъ выгодъ своихъ, стоны измученнаго человѣчества — безъ сомнѣнія подняла бы сама на себя мечь, который, рано-ли, поздно-ли, а опустился бы ей самой на голову. Наоборотъ: что святѣе и чище подвига такой войны, которую предпринимаетъ теперь Россія? Скажутъ, что „вѣдь и Россія, хоть и въ правду идетъ лишь освобождать измученныя племена и возрождать ихъ самостоятельность, но вѣдь тѣмъ самымъ, въ этихъ же племенахъ, пріобрѣтетъ потомъ себѣ же союзниковъ, а стало быть силу,—и что стало быть все это разумѣется составляетъ тотъ же самый законъ развитія національной личности, къ которому стремится и Англія. А такъ какъ замыселъ „панславизма“ колоссальностью своей, безъ сомнѣнія можетъ пугать Европу, то ужь по одному закону самосохраненія, Европа несом-

нѣнно вправѣ остановить насъ, точно также впрочемъ, какъ и мы вправѣ идти впередъ, нисколько не останавливаясь передъ ея страхомъ и руководясь, въ движеніи нашемъ лишь политическою предусмотрительностію и благоразуміемъ. Такимъ образомъ ничего нѣтъ въ этомъ ни святого, ни позорнаго, а есть лишь какъ бы вѣковѣчный животный инстинктъ народовъ, которому подчиняются безразлично всѣ, еще недостаточно и неразумно развитыя племена на землѣ. Тѣмъ не менѣе накопившееся сознаніе, наука и гуманность, рано-ли, поздно-ли, непремѣнно должны ослабить вѣковѣчный и звѣрскій инстинктъ неразумныхъ націй и вселить напротивъ во всѣхъ народахъ желаніе мира, международнаго единѣнія и человѣколюбиваго преуспѣянія. А стало быть надо всетаки проповѣдывать миръ, а не кровь".

Святыя слова! Но въ настоящемъ случаѣ они какъ то не прикладываются къ Россіи, или чтобъ еще лучше выразиться,—Россія составляетъ собою, въ теперешній историческій моментъ всей Европы, какъ бы нѣкоторое исключеніе, что и дѣйствительно такъ. Въ самомъ дѣлѣ, если Россія, столь безкорыстно и правдиво ополчившаяся теперь на спасеніе и на возрожденіе угнетенныхъ племенъ, впослѣдствіи и усилится ими же, то все же, и въ этомъ даже случаѣ, явитъ собою самый исключительный примѣръ, котораго ужь никакъ не ожидаетъ Европа, мѣрящая на свой аршинъ: Усилясь, хотя бы даже чрезмѣрно, союзомъ своимъ съ освобожденными ею племенами, она не бросится на Европу съ мечемъ, не захватитъ и не отниметъ у ней ничего, какъ бы непремѣнно сдѣлала Европа, еслибъ нашла возможность вновь соединиться вся противъ Россіи, и какъ дѣлали въ Европѣ всѣ націи, во всю жизнь свою, чуть только получала какая нибудь изъ нихъ возможность усилиться на счетъ своей сосѣдки. (И это съ самыхъ дикихъ первобытныхъ временъ Европы вплоть до современной намъ и еще столь недавней Франко-Прусской войны, и куда дѣвалась тогда вся ихняя цивилизація: бросилась самая ученая и просвѣщенная изъ всѣхъ націй на другую, столь же ученую и просвѣщенную и воспользовавшись случаемъ, загрызла ее какъ дикій звѣрь, выпила ея кровь, выжала изъ нея соки въ видѣ милліардовъ дани и отрубила у ней цѣлый бокъ въ видѣ двухъ, самыхъ лучшихъ провинцій! Да, вправду, виновата ли Европа, если послѣ этого не можетъ понять назначенія Россіи? Имъ ли, гордымъ, ученымъ и сильнымъ понять и допустить хоть въ фантазіи, что Россія предназначена и создана, можетъ быть, для ихъ же спасенія и что она только, можетъ быть, произнесетъ наконецъ это слово, спасенія!) О да, да, конечно—мы не только ничего не захватимъ у нихъ и не только ничего не отнимемъ, но именно тѣмъ самымъ обстоятельствомъ что чрезмѣрно усилимся (союзомъ любви и братства а не захватомъ и насиліемъ)—тѣмъ самымъ и получимъ наконецъ возможность не обнажать меча, а напротивъ, въ спокойствіи силы своей, явить собою примѣръ уже искренняго мира, международнаго всеединенія и безкорыстія. Мы первые объявимъ міру, что не чрезъ подавленіе личностей иноплеменныхъ намъ національностей хотимъ мы достигнуть собственнаго преуспѣянія, а напротивъ видимъ его лишь въ свободнѣйшемъ и самостоятельнѣйшемъ развитіи всѣхъ другихъ націй и въ братскомъ единеніи съ ними, вос-

полняясь одна другою, прививая къ себѣ ихъ органическія особенности и удѣляя имъ и отъ себя вѣтви для прививки, сообщаясь съ ними душой и духомъ, учась у нихъ и уча ихъ и такъ до тѣхъ поръ когда человѣчество, восполнясь міровымъ общеніемъ народовъ до всеобщаго единства, какъ великое и великолѣпное древо осѣнитъ собою счастливую землю. О пускай смѣются надъ этими „фантастическими“ словами наши теперешніе „общечеловѣки“ и самооплевники наши, но мы невиноваты если вѣримъ тому, то есть идемъ рука въ руку вмѣстѣ съ народомъ нашимъ, который именно вѣритъ тому. Спросите народъ, спросите солдата: для чего они подымаются, для чего идутъ и чего желаютъ въ начавшейся войнѣ,—и всѣ скажутъ вамъ, какъ одинъ человѣкъ, что идутъ чтобъ Христу служить и освободить угнетенныхъ братьевъ, и ни одинъ изъ нихъ не думаетъ о захватѣ. Да мы тутъ, именно въ теперешней же войнѣ, и докажемъ всю нашу идею о будущемъ предназначеніи Россіи въ Европѣ, именно тѣмъ докажемъ, что освободивъ славянскія земли, не пріобрѣтемъ изъ нихъ себѣ ни клочка (какъ мечтаетъ уже Австрія для себя), а напротивъ будемъ надзирать за ихъ же взаимнымъ согласіемъ и оборонять ихъ свободу и самостоятельность хотя бы отъ всей Европы. А если такъ, то идея наша свята и война наша вовсе не „вѣковѣчный и звѣрскій инстинктъ не разумныхъ націй“, а именно первый шагъ къ достиженію того вѣчнаго мира, въ который мы имѣемъ счастье вѣрить, къ достиженію *воистину* международнаго единенія и *воистину* человѣколюбиваго преуспѣянія! И такъ не всегда надо проповѣдывать одинъ только миръ, и не въ мирѣ одномъ, во чтобы то ни стало, спасеніе, а иногда и въ войнѣ оно есть.

III.

Спасаетъ-ли пролитая кровь?

„Но кровь, но вѣдь всетаки кровь“—наладили мудрецы, и право же, всѣ эти казенныя фразы о крови—все это подчасъ только наборъ самыхъ ничтожнѣйшихъ высокихъ словъ для извѣстныхъ цѣлей. Биржевики, напримѣръ, чрезвычайно любятъ теперь толковать о гуманности. И многіе, толкующіе теперь о гуманности, суть лишь торгующіе гуманностью. А между тѣмъ крови можетъ быть еще больше-бы пролилось безъ войны. Повѣрьте, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, если не во всѣхъ почти (кромѣ развѣ войнъ междоусобныхъ)—война есть процессъ, которымъ *именно* съ наименьшимъ пролитіемъ крови, съ наименьшею скорьбію и съ наименьшей тратой силъ, достигается международное спокойствіе и вырабатываются, хоть приблизительно, сколько нибудь нормальныя отношенія между націями. Разумѣется это грустно, но что же дѣлать если это такъ. Ужь лучше разъ извлечь мечь, чѣмъ страдать безъ срока. И чѣмъ лучше теперешній миръ между цивилизованными націями—войны? Напротивъ скорѣе миръ, долгій миръ звѣритъ и ожесточаетъ человѣка, а не война. Долгій миръ всегда родитъ жестокость, трусость и грубый, ожирѣлый эгоизмъ, а главное—умственный застой. Въ долгій миръ жирѣютъ лишь одни эксплуататоры народовъ. Налажено, что миръ родитъ богатство—но вѣдь лишь десятой доли людей, а эта десятая доля, заразившись болѣзнями богатства, сама передаетъ

заразу и остальнымъ девяти десятымъ, хотя и безъ богатства. Заражается же она развратомъ и цинизмомъ. Отъ излишняго скопленія богатства въ однихъ рукахъ, рождается у обладателей богатства грубость чувствъ. Чувство изящнаго обращается въ жажду капризныхъ излишествъ и ненормальностей. Страшно развивается сладострастіе. Сладострастіе родитъ жестокость и трусость. Грузная и грубая душа сладострастника жесточе всякой другой, даже и порочной души. Иной сладострастникъ падающій въ обморокъ при видѣ крови изъ обрѣзаннаго пальца, не проститъ бѣдняку и заточитъ его въ тюрьму за ничтожнѣйшій долгъ. Жестокость-же родитъ усиленную, слишкомъ трусливую заботу о самообезпеченіи. Эта трусливая забота о самообезпеченіи всегда, въ долгій миръ, подконецъ обращается въ какой-то панической страхъ за себя, сообщается всѣмъ слоямъ общества, родитъ страшную жажду накопленія и пріобрѣтенія денегъ. Тернется вѣра въ солидарность людей, въ братство ихъ, въ помощь общества, провозглашается громко тезисъ: „всякій за себя и для себя“; бѣднякъ слишкомъ видитъ что такое богачъ и какой онъ ему братъ и вотъ—всѣ уединяются и обособляются. Эгоизмъ умерщвляетъ великодушіе. Лишь искусство поддерживаетъ еще въ обществѣ высшую жизнь и будитъ души засыпающія въ періоды долгаго мира. Вотъ отчего и выдумали что искусство можетъ процвѣтать лишь во время долгаго мира, а между тѣмъ тутъ огромная невѣрность: искусство, то есть *истинное* искусство, именно и развивается потому во время долгаго мира, что идетъ въ разрѣзъ съ грузнымъ и порочнымъ усыпленіемъ душъ, и напротивъ, созданіями своими, всегда въ эти періоды, взываетъ къ идеалу, рождаетъ протестъ и негодованіе, волнуетъ общество и нерѣдко заставляетъ страдать людей, жаждущихъ проснуться и выйти изъ зловонной ямы. Въ результатѣ же оказывается, что буржуазный долгій миръ, всетаки, въ концѣ концовъ, всегда почти зарождаетъ самъ потребность войны, выноситъ ее самъ изъ себя какъ жалкое слѣдствіе, но уже не изъ-за великой и справедливой цѣли, достойной великой націи, а изъ-за какихъ нибудь жалкихъ биржевыхъ интересовъ, изъ-за новыхъ рынковъ нужныхъ эксплоататорамъ, изъ-за пріобрѣтенія новыхъ рабовъ, необходимыхъ обладателямъ золотыхъ мѣшковъ,—словомъ изъ-за причинъ, неоправдываемыхъ даже потребностью самосохраненія, а напротивъ именно свидѣтельствующихъ о капризномъ, болѣзненномъ состояніи національнаго организма. Интересы эти и войны за нихъ предпринимаемыя, развращаютъ и даже совсѣмъ губятъ народы, тогда какъ война изъ-за великодушной цѣли, изъ-за освобожденія угнетенныхъ, ради безкорыстной и святой идеи,—такая война лишь очищаетъ зараженный воздухъ отъ скопившихся міазмовъ, лечитъ душу, прогоняетъ позорную трусость и лѣнь, объявляетъ и ставитъ твердую цѣль, даетъ и уясняетъ идею, къ осуществленію которой призвана та или другая нація. Такая война укрѣпляетъ каждую душу сознаніемъ самопожертвованія, а духъ всей націи сознаніемъ взаимной солидарности и единенія всѣхъ членовъ составляющихъ націю. А главное, сознаніемъ исполненнаго долга и совершоннаго хорошаго дѣла: „не со-

всѣмъ же мы упали и развратились, есть же и въ насъ человѣческое"! И посмотрите, съ чего начинали свою проповѣдь эти, столь недавніе наши проповѣдники миролюбія и гуманности: они прямо начинали съ самой безчеловѣчной жестокости. Они сами не хотѣли и другихъ удерживали помочь мученикамъ, взывавшимъ къ намъ. Они, повидимому столь гуманные и чувствительные, хладнокровно и съ насмѣшкой отрицали необходимость для насъ самопожертвованія и духовнаго подвига. Они желали столкнуть Россію на самую пошлую и недостойную великой націи дорогу, не говоря уже объ ихъ презрѣніи къ народу, признавшему въ славянскихъ мученикахъ братьевъ своихъ, а стало быть объ ихъ надменномъ разрывѣ съ волею народной, выше которой поставили они свое фальшивое „европейское" просвѣщеніе. Любимымъ тезисомъ ихъ было: „врачу исцѣлися самъ". „Вы лѣзете исцѣлять и спасать другихъ, а у самихъ даже школъ не устроено"— выставляли они на видъ. „Чтожъ мы и идемъ исцѣляться. Школы важное дѣло конечно, но школамъ надобенъ духъ и направленіе,—вотъ мы и идемъ теперь запасаться духомъ и добывать здоровое направленіе. И добудемъ, особенно если Богъ побѣду пошлетъ. Мы воротимся съ сознаніемъ совершоннаго нами безкорыстнаго дѣла, съ сознаніемъ того что славно послужили человѣчеству кровью своей, съ сознаніемъ обновленной силы нашей и энергіи нашей—и все это вмѣсто столь недавняго позорнаго шатанія мысли нашей, вмѣсто мертвящаго застоя нашего въ заимствованномъ безъ толку европеизмѣ. Главное же, пріобщимся къ народу и соединимся съ нимъ тѣснѣе,—ибо у него и въ немъ одномъ найдемъ исцѣленіе отъ двухвѣковой болѣзни нашей, отъ двухвѣковаго непроизводительнаго слабосилія нашего".

Да и вообще можно сказать, что если общество нездорово и заражено, то даже такое благое дѣло какъ долгій миръ, вмѣсто пользы обществу обращается ему же во вредъ, Это вообще можно примѣнить даже и ко всей Европѣ. Не даромъ же не проходило поколѣнія въ исторіи европейской, съ тѣхъ поръ какъ мы ее запомнимъ, безъ войны. И такъ, видно и война необходима для чего нибудь, цѣлительна, облегчаетъ человѣчество. Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практикѣ выходитъ кажется такъ, и именно потому что для зараженнаго организма и такое благое дѣло, какъ миръ, обращается во вредъ. Но все-таки полезною оказывается лишь та война, которая предпринята для идеи, для высшаго и великодушнаго принципа, а не для матерьяльнаго интереса, не для жаднаго захвата, не изъ гордаго насилія. Такія войны только сбивали націи на ложную дорогу и всегда губили ихъ. Не мы такъ дѣти наши увидятъ чѣмъ кончитъ Англія. Теперь для всѣхъ въ мірѣ уже „время близко". Да и пора.

IV.

Мнѣніе „Тишайшаго" Царя о Восточномъ вопросѣ.

Мнѣ сообщили одну выписку изъ одного сочиненія изданнаго въ Кіевѣ въ прошломъ году: „Московское Государство при Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и патріархѣ Никонѣ, по запискамъ архидіакона Павла Алеппскаго. Соч. Ив. Оболенскаго, Кіевъ 1876 г. „стр. 90—91." Страница изъ сочиненія чужаго, но она столь характерна

и столь любопытна въ теперешнюю нашу минуту, а самое сочиненіе вѣроятно еще такъ мало извѣстно въ общей массѣ публики, что я рѣшился помѣстить эти нѣсколько строкъ въ „Дневникѣ“. Это мнѣніе Царя Алексѣя Михайловича о Восточномъ вопросѣ, — тоже „Тишайшаго“ Царя, но жившаго еще два вѣка тому назадъ и его тогдашнія слезы о томъ, что онъ не можетъ быть Царемъ Освободителемъ.

„Говорили, что на Св. Пасху (1656 г.) Государь, христосуясь съ греческими купцами, бывшими въ Москвѣ, сказалъ между прочимъ къ нимъ: „хотите ли вы, и ждете ли, чтобы я освободилъ васъ изъ плѣна и выкупилъ?“ И когда они отвѣчали: „какъ можетъ быть иначе? какъ намъ не желать этого?“ онъ прибавилъ: „такъ,—поэтому, когда вы возвратитесь въ свою сторону, просите всѣхъ монаховъ и епископовъ молить Бога и совершать литургію за меня, чтобы ихъ молитвами дана была мнѣ мощь отрубить голову ихъ врагу“. И, проливъ при этомъ обильныя слезы, онъ сказалъ потомъ, обратившись къ вельможамъ: „мое сердце сокрушается о порабощеніи этихъ бѣдныхъ людей, которые стонутъ въ рукахъ враговъ нашей вѣры; Богъ призоветъ меня къ отчету въ день суда, *если, имѣя возможность освободить ихъ, я пренебрегу этимъ*.—Я не знаю, какъ долго будетъ продолжаться это дурное состояніе государственныхъ дѣлъ, но со времени моего отца и предшественниковъ его къ намъ не переставали приходить постоянно съ жалобой на угнетеніе поработителей патріархи, епископы, монахи и простые бѣдняки, изъ которыхъ ни одинъ не приходилъ иначе, какъ только преслѣдуемый суровою печалью и убѣгая отъ жестокости своихъ господъ; *и я боюсь вопросовъ, которые мнѣ предложитъ Творецъ въ тотъ день: и порѣшилъ въ своемъ умѣ, если Богу угодно, что потрачу всѣ свои войска и свою казну, пролью свою кровь до послѣдней капли, но постараюсь освободить ихъ*“. На все это вельможи отвѣчали ему: „*Господи даруй по жеданію сердца твоего*“.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

СОНЪ СМѢШНАГО ЧЕЛОВѢКА.

ФАНТАСТИЧЕСКІЙ РАЗСКАЗЪ.

I.

Я смѣшной человѣкъ. Они меня называютъ теперь сумасшедшимъ. Это было бы повышеніе въ чинѣ, еслибъ я все еще не оставался для нихъ такимъ же смѣшнымъ какъ и прежде. Но теперь ужь я не сержусь, теперь они всѣ мнѣ милы и даже когда они смѣются надо мной — и тогда чѣмъ-то даже особенно милы. Я бы самъ смѣялся съ ними,—не то что надъ собой, а ихъ любя, еслибъ мнѣ не было такъ грустно на нихъ глядя. Грустно потому что они не знаютъ истины, а я знаю истину. Охъ какъ тяжело одному знать истину! Но они этого не поймутъ. Нѣтъ, не поймутъ.

А прежде я тосковалъ очень отъ того, что казался смѣшнымъ. Не казался, а былъ. Я всегда былъ смѣшонъ, и знаю это можетъ быть съ самого моего рожденія. Можетъ быть я уже семи лѣтъ зналъ что я смѣшонъ. Потомъ я учился въ школѣ, потомъ въ университетѣ и что же—чѣмъ больше я учился, тѣмъ больше я научался тому что я смѣшонъ. Такъ что для меня вся моя университетская наука какъ бы для того только и существовала подконецъ чтобы дока-

зывать и объяснять мнѣ, по мѣрѣ того какъ я въ нее углублялся, что я смѣшонъ. Подобно какъ въ наукѣ шло и въ жизни. Съ каждымъ годомъ нарастало и укрѣплялось во мнѣ то же самое сознаніе о моемъ смѣшномъ видѣ во всѣхъ отношеніяхъ. Надо мной смѣялись всѣ и всегда. Но не знали они никто, и не догадывались о томъ, что если былъ человѣкъ на землѣ, больше всѣхъ знавшій про то что я смѣшонъ, такъ это былъ самъ я, и вотъ это-то было для меня всего обиднѣе что они этого не знаютъ, но тутъ я самъ былъ виноватъ: я всегда былъ такъ гордъ, что ни за что и никогда не хотѣлъ никому въ этомъ признаться. Гордость эта росла во мнѣ съ годами и еслибъ случилось такъ, что я хоть передъ кѣмъ бы то ни было позволилъ бы себѣ признаться, что я смѣшной, то мнѣ кажется я тутъ же, въ тотъ же вечеръ, раздробилъ бы себѣ голову изъ револьвера. О, какъ я страдалъ въ моемъ отрочествѣ о томъ, что я не выдержу и вдругъ какъ нибудь признаюсь самъ товарищамъ. Но съ тѣхъ поръ какъ я сталъ молодымъ человѣкомъ, я хоть и узнавалъ съ каждымъ годомъ, все больше и больше о моемъ ужасномъ качествѣ, но почему-то сталъ немного спокойнѣе. Именно почему-то, потому что я и до сихъ поръ не могу опредѣлить почему. Можетъ быть потому что въ душѣ моей наростала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже безконечно выше всего меня: именно—это было постигшее меня одно убѣжденіе въ томъ, что на свѣтѣ вездѣ *все равно*. Я очень давно предчувствовалъ это, но полное убѣжденіе явилось въ послѣдній годъ какъ-то вдругъ. Я вдругъ почувствовалъ, что мнѣ *все равно* было-бы, существовалъ-ли бы міръ, или еслибъ нигдѣ ничего не было. Я сталъ слышать и чувствовать всѣмъ существомъ моимъ, что *ничего при мнѣ не было*. Сначала мнѣ все казалось, что за то было многое прежде, но потомъ я догадался что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало по малу я убѣдился, что и никогда ничего не будетъ. Тогда я вдругъ пересталъ сердиться на людей, и почти сталъ не примѣчать ихъ. Право, это обнаруживалось даже въ самыхъ мелкихъ пустякахъ: я, напримѣръ, случалось, иду по улицѣ и натыкаюсь на людей. И не то чтобъ отъ задумчивости: объ чемъ мнѣ было думать, я совсѣмъ пересталъ тогда думать: мнѣ было все равно. И добро-бы я разрѣшилъ вопросы; о, ни одного не разрѣшилъ, а сколько ихъ было? Но мнѣ стало *все равно*, и вопросы всѣ удалились.

И вотъ, послѣ того ужь, я узналъ истину. Истину я узналъ въ прошломъ ноябрѣ, и именно третьяго ноября, и съ того времени я каждое мгновеніе мое помню. Это было въ мрачный, самый мрачный вечеръ какой только можетъ быть. Я возвращался тогда въ одиннадцатомъ часу вечера домой и именно, помню, я подумалъ, что ужь не можетъ быть болѣе мрачнаго времени. Даже въ физическомъ отношеніи. Дождь лилъ весь день и это былъ самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, съ явной враждебностью къ людямъ, а тутъ вдругъ, въ одиннадцатомъ часу, пересталъ, и началась страшная сырость, сырѣе и холоднѣе чѣмъ когда дождь шелъ, и ото всего шелъ какой-то паръ, отъ каждаго камня на улицѣ и изъ каждаго переулка если заглянуть въ него въ самую глубь,

подальше, съ улицы. Мнѣ вдругъ представилось, что еслибъ потухъ вездѣ газъ, то стало бы отраднѣе, а съ газомъ грустнѣе сердцу, потому что онъ все это освѣщаетъ. Я въ этотъ день почти не обѣдалъ и съ ранняго вечера просидѣлъ у одного инженера, а у него сидѣли еще двое пріятелей. Я все молчалъ и кажется имъ надоѣлъ. Они говорили объ чемъ-то вызывающемъ и вдругъ даже разгорячились. Но имъ было все равно, я это видѣлъ и они горячились только такъ. Я имъ вдругъ и высказалъ это: „Господа, вѣдь вамъ, говорю, все равно“. Они не обидѣлись, а всѣ надо мной засмѣялись. Это оттого что я сказалъ безъ всякаго упрека, и просто потому что мнѣ было все равно. Они и увидѣли что мнѣ все равно, и имъ стало весело.

Когда я на улицѣ подумалъ про газъ, то взглянулъ на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванныя облака, а между ними бездонныя черныя пятна. Вдругъ я замѣтилъ въ одномъ изъ этихъ пятенъ звѣздочку и сталъ пристально глядѣть на нее. Это потому что эта звѣздочка дала мнѣ мысль: я положилъ въ эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два мѣсяца назадъ и какъ я ни бѣденъ, а купилъ прекрасный револьверъ и въ тотъ же день зарядилъ его. Но прошло уже два мѣсяца а онъ все лежалъ въ ящикѣ; но мнѣ было до того все равно, что захотѣлось наконецъ улучить минуту когда будетъ не такъ все равно, для чего такъ — не знаю. И такимъ образомъ, въ эти два мѣсяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думалъ, что застрѣлюсь. Я все ждалъ минуты. И вотъ теперь эта звѣздочка дала мнѣ мысль, и я положилъ, что это будетъ *непремѣнно* уже въ эту ночь. А почему звѣздочка дала мысль—не знаю.

И вотъ когда я смотрѣлъ на небо меня вдругъ схватила за локоть эта дѣвочка. Улица уже была пуста и никого почти не было. Вдали спалъ на дрожкахъ извощикъ. Дѣвочка была лѣтъ восьми, въ платочкѣ и въ ододномъ платьишкѣ, вся мокрая, но я запомнилъ особенно ея мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мнѣ особенно мелькнули въ глаза. Она вдругъ стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но какъ-то отрывисто выкрикивила какія-то слова, которыя не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью въ ознобѣ. Она была отъ чего-то въ ужасѣ и кричала отчаянно: „мамочка! мамочка!“ Я обернулъ было къ ней лицо, но не сказалъ ни слова и продолжалъ идти, но она бѣжала и дергала меня и въ голосѣ ея прозвучалъ тотъ звукъ, который у очень испуганныхъ дѣтей означаетъ отчаяніе. Я знаю этотъ звукъ. Хоть она и недоговаривала слова, но я понялъ что ея мать гдѣ-то помираетъ, или что-то тамъ съ ними случилось и она выбѣжала позвать кого-то, найти что-то чтобъ помочь мамѣ. Но я не пошелъ за ней и, напротивъ, у меня явилась вдругъ мысль прогнать ее. Я сначала ей сказалъ, чтобъ она отыскала городоваго. Но она вдругъ сложила ручки и всхлипывая, задыхаясь, все бѣжала съ боку и не покидала меня. Вотъ тогда-то я топнулъ на нее и крикнулъ. Она прокричала лишь: „баринъ, баринъ!...“ но вдругъ бросила меня и стремглавъ перебѣжала улицу: тамъ показался тоже какой-то прохожій и она видно бросилась отъ меня къ нему.

Я поднялся въ мой пятый этажъ. Я живу отъ хозяевъ и у насъ номера. Комната у меня бѣдная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диванъ, столъ, на которомъ книги, два стула и покойное кресло, старое — престарое, но за то вольтеровское. Я сѣлъ, зажегъ свѣчку и сталъ думать. Рядомъ, въ другой комнатѣ, за перегородкой, продолжался содомъ. Онъ шелъ у нихъ еще съ третьяго дня. Тамъ жилъ отставной капитанъ, а у него были гости—человѣкъ шесть стрюцкихъ, пили водку и играли въ штосъ старыми картами. Въ прошлую ночь была драка и я знаю, что двое изъ нихъ долго таскали другъ друга за волосы. Хозяйка хотѣла жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочихъ жильцовъ у насъ въ номерахъ всего одна маленькая ростомъ и худенькая дама, изъ полковыхъ, пріѣзжая, съ тремя маленькими и заболѣвшими уже у насъ въ номерахъ дѣтьми. И она и дѣти боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а съ самымъ маленькимъ ребенкомъ былъ отъ страху какой-то припадокъ. Этотъ капитанъ, я навѣрно знаю, останавливаетъ иной разъ прохожихъ на Невскомъ и проситъ на бѣдность. На службу его не принимаютъ, но странное дѣло (я вѣдь къ тому и разсказываю это), капитанъ во весь мѣсяцъ, съ тѣхъ поръ какъ живетъ у насъ, не возбудилъ во мнѣ никакой досады. Отъ знакомства я конечно уклонился съ самаго начала, да ему и самому скучно со мной стало съ перваго же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы ихъ тамъ ни было—мнѣ всегда все равно. Я сижу всю ночь и право ихъ не слышу,—до того о нихъ забываю. Я вѣдь каждую ночь не сплю до самаго разсвѣта и вотъ уже этакъ годъ. Я просиживаю всю ночь у стола въ креслахъ и ничего не дѣлаю, Книги читаю я только днемъ. Сижу и даже не думаю, а такъ, какія-то мысли бродятъ, а я ихъ пускаю на волю. Свѣчка сгораетъ въ ночь вся. Я сѣлъ у стола тихо, вынулъ револьверъ и положилъ передъ собою. Когда я его положилъ, то помню спросилъ себя: „такъ-ли?“, и совершенно утвердительно отвѣтилъ себѣ: „такъ“. То есть застрѣлюсь. Я зналъ что ужь въ эту ночь застрѣлюсь навѣрно, но сколько еще просижу до тѣхъ поръ за столомъ—этого не зналъ. И ужь конечно-бы застрѣлился еслибъ не та дѣвочка.

II.

Видите-ли: хоть мнѣ и было все равно, но вѣдь боль-то я, напримѣръ, чувствовалъ. Ударь меня кто и я бы почувствовалъ боль. Такъ точно и въ нравственномъ отношеніи: случись что нибудь очень жалкое, то почувствовалъ бы жалость, также какъ и тогда когда мнѣ было еще въ жизни не все равно. Я и почувствовалъ жалость давеча: ужь ребенку-то я-бы непремѣнно помогъ. Почемужъ я не помогъ дѣвочкѣ? А изъ одной явившейся тогда идеи: когда она дергала и звала меня, то вдругъ возникъ тогда передо мной вопросъ и я не могъ разрѣшить его. Вопросъ былъ праздный, но я разсердился. Разсердился вслѣдствіе того вывода, что если я уже рѣшилъ, что въ нынѣшнюю ночь съ собой покончу, то стало быть мнѣ все на свѣтѣ должно было стать теперь, болѣе чѣмъ когда нибудь, все равно. Отчего же я вдругъ почувствовалъ, что мнѣ не все

равно и я жалѣю дѣвочку? Я помню что я ее очень пожалѣлъ; до какой-то даже странной боли и совсѣмъ даже невѣроятной въ моемъ положеніи. Право, я не умѣю лучше передать этого тогдашняго моего мимолетнаго ощущенія, но ощущеніе продолжалось и дома, когда уже я засѣлъ за столомъ и я очень былъ раздраженъ, какъ давно уже не былъ. Разсужденіе текло за разсужденіемъ. Представлялось яснымъ, что если я человѣкъ, и еще не нуль, и пока не обратился въ нуль, то живу, а слѣдственно могу страдать, сердиться, и ощущать стыдъ за свои поступки. Пусть. Но вѣдь если я убью себя напримѣръ черезъ два часа, то что мнѣ дѣвочка и какое мнѣ тогда дѣло и до стыда, и до всего на свѣтѣ? Я обращаюсь въ нуль, въ нуль абсолютный. И неужели сознаніе о томъ, что я сейчасъ *совершенно* не буду существовать, а стало быть и ничто не будетъ существовать, не могло имѣть ни малѣйшаго вліянія ни на чувство жалости къ дѣвочкѣ, ни на чувство стыда послѣ сдѣланной подлости? Вѣдь я потому-то и затопалъ и закричалъ дикимъ голосомъ на несчастнаго ребенка, что „дескать не только—вотъ не чувствую жалости, но если и безчеловѣчную подлость сдѣлаю, то теперь могу, потому что черезъ два часа все угаснетъ. Вѣрите-ли что потому закричалъ? я теперь почти убѣжденъ въ этомъ. Яснымъ представлялось, что жизнь и міръ теперь какъ-бы отъ меня зависятъ. Можно сказать даже такъ, что міръ теперь какъ-бы для меня одного и сдѣланъ: застрѣлюсь я и міра не будетъ, покрайней мѣрѣ для меня. Не говоря уже о томъ что можетъ быть и дѣйствительно ни для кого ничего не будетъ послѣ меня, и весь міръ, только лишь угаснетъ мое сознаніе, угаснетъ тотчасъ какъ призракъ, какъ принадлежность лишь одного моего сознанія, и упразднится, ибо можетъ быть весь этотъ міръ и всѣ эти люди — я-то самъ одинъ и есть. Помню, что сидя и разсуждая, я обертывалъ всѣ эти новые вопросы, тѣснившіеся одинъ за другимъ, совсѣмъ даже въ другую сторону и выдумывалъ совсѣмъ ужь новое. Напримѣръ, мнѣ вдругъ представилось, одно странное соображеніе, что еслибъ я жилъ прежде на лунѣ, или на Марсѣ, и сдѣлалъ бы тамъ какой нибудь самый срамный и безчестный поступокъ, какой только можно себѣ представить и былъ тамъ за него порганъ и обезчещенъ такъ, какъ только можно ощутить и представить лишь развѣ иногда во снѣ, въ кошмарѣ, и еслибъ, очутившись потомъ на землѣ, я продолжалъ бы сохранять сознаніе о томъ что сдѣлалъ на другой планетѣ, и кромѣ того зналъ бы что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря съ земли на луну,— было бы мнѣ *все равно* или нѣтъ? Ощущалъ ли бы я за тотъ поступокъ стыдъ или нѣтъ? Вопросы были праздные и лишніе, такъ какъ револьверъ лежалъ уже передо мною, и я всѣмъ существомъ моимъ зналъ что *это* будетъ навѣрно, но они горячили меня и я бѣсился. Я какъ бы уже не могъ умереть теперь, чего-то не разрѣшивъ предварительно. Однимъ словомъ эта дѣвочка спасла меня, потому что я вопросами отдалилъ выстрѣлъ. У капитана же между тѣмъ стало тоже все утихать: они кончили въ карты, устраивались спать, а пока ворчали и лѣниво доругивались. Вотъ тутъ-то я вдругъ и заснулъ, чего никогда со мной не случалось прежде за столомъ въ креслахъ. Я заснулъ совершенно мнѣ непримѣтно.

*

Сны, какъ извѣстно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется съ ужасающею ясностью, съ ювелирски-мелочною отдѣлкой подробностей, а черезъ другое перескакиваешь, какъ бы не замѣчая вовсе, напримѣръ черезъ пространство и время. Сны кажется стремитъ не разсудокъ, а желаніе, не голова, а сердце, а между тѣмъ какія хитрѣйшія вещи продѣлывалъ иногда мой разсудокъ во снѣ! Между тѣмъ съ нимъ происходятъ во снѣ вещи совсѣмъ непостижимыя. Мой братъ, напримѣръ, умеръ пять лѣтъ назадъ. Я иногда его вижу во снѣ: онъ принимаетъ участіе въ моихъ дѣлахъ, мы очень заинтересованы, а между тѣмъ я вѣдь вполнѣ, во все продолженіе сна, знаю и помню что братъ мой померъ и схороненъ. Какъ же я не дивлюсь тому, что онъ, хоть и мертвый, а все таки тутъ подлѣ меня и со мной хлопочетъ? Почему разумъ мой совершенно допускаетъ все это? Но довольно. Приступаю къ сну моему. Да, мнѣ приснился тогда этотъ сонъ, мой сонъ третьяго ноября! Они дразнятъ меня теперь тѣмъ, что вѣдь это былъ только сонъ. Но неужели не все равно сонъ или нѣтъ, если сонъ этотъ возвѣстилъ мнѣ Истину? Вѣдь если разъ узналъ истину и увидѣлъ ее, то вѣдь знаешь что она истина и другой нѣтъ и не можетъ быть, спите вы или живете. Ну и пусть сонъ, и пусть, но эту жизнь, которую вы такъ превозносите, я хотѣлъ погасить самоубійствомъ, а сонъ мой, сонъ мой,—о, онъ возвѣстилъ мнѣ новую, великую, обновленную, сильную жизнь!

Слушайте.

—

III.

Я сказалъ что заснулъ незамѣтно, и даже какъ бы продолжая разсуждать о тѣхъ же матеріяхъ. Вдругъ, приснилось мнѣ, что я беру револьверъ, и сидя, наставляю его прямо въ сердце,—въ сердце, а не въ голову; я же положилъ прежде непремѣнно застрѣлиться въ голову и именно въ правый високъ. Наставивъ въ грудь, я подождалъ секунду или двѣ и свѣчка моя, столъ и стѣна передо мною вдругъ задвигались и заколыхались. Я поскорѣе выстрѣлилъ.

Во снѣ вы падаете иногда съ высоты, или рѣжутъ васъ, или бьютъ, но вы никогда не чувствуете боли, кромѣ развѣ если сами какъ нибудь дѣйствительно ушибетесь въ кровати, тутъ вы почувствуете боль и всегда почти отъ боли проснетесь. Такъ и во снѣ моемъ: боли я не почувствовалъ, но мнѣ представилось что съ выстрѣломъ моимъ все во мнѣ сотряслось и все вдругъ потухло и стало кругомъ меня ужасно черно. Я какъ будто ослѣпъ и онѣмѣлъ и вотъ я лежу на чемъ-то твердомъ, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сдѣлать ни малѣйшаго движенія. Кругомъ ходятъ и кричатъ, баситъ капитанъ, визжитъ хозяйка,—и вдругъ опять перерывъ, и вотъ уже меня несутъ въ закрытомъ гробѣ. И я чувствую какъ колыхается гробъ, и разсуждаю объ этомъ, и вдругъ меня въ первый разъ поражаетъ идея, что вѣдь я умеръ, совсѣмъ умеръ, знаю это и не сомнѣваюсь, не вижу и не движусь, а между тѣмъ чувствую и разсуждаю. Но я скоро мирюсь съ этимъ и по обыкновенію, какъ во снѣ, принимаю дѣйствительность безъ спору.

И вотъ меня зарываютъ въ землю. Всѣ уходятъ, я одинъ, совершенно

одинъ. Я не движусь. Всегда когда я прежде на яву представлялъ себѣ какъ меня похоронятъ въ могилѣ, то собственно съ могилой соединялъ лишь одно ощущеніе сырости и холода. Такъ и теперь я почувствовалъ что мнѣ очень холодно, особенно концамъ пальцевъ на ногахъ, но больше ничего не почувствовалъ.

Я лежалъ и, странно,—ничего не ждалъ, безъ спору принимая что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю сколько прошло времени,—часъ или нѣсколько дней, или много дней. Но вотъ вдругъ, на лѣвый закрытый глазъ мой упала просочившаяся черезъ крышу гроба капля воды, за ней черезъ минуту другая, затѣмъ черезъ минуту третья, и такъ далѣе и такъ далѣе, все черезъ минуту. Глубокое негодованіе загорѣлось вдругъ въ сердцѣ моемъ, и вдругъ я почувствовалъ въ немъ физическую боль: „Это рана моя“ подумалъ я „это выстрѣлъ, тамъ пуля“... А капля все капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глазъ. И я вдругъ воззвалъ, не голосомъ, ибо былъ недвижимъ, но всѣмъ существомъ моимъ къ властителю всего того, что совершалось со мною:

— „Кто бы ты ни былъ, но если ты есть, и если существуетъ что нибудь разумнѣе того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здѣсь. Если же ты мстишь мнѣ за неразумное самоубійство мое — безобразіемъ и нелѣпостью дальнѣйшаго бытія, то знай что никогда и никакому мученію, какое бы ни постигло меня, не сравниться съ тѣмъ презрѣніемъ, которое я буду молча ощущать, хотя бы въ продолженіи милліоновъ лѣтъ мученичества!...

Я воззвалъ и смолкъ. Цѣлую почти минуту продолжалось глубокое молчаніе и даже еще одна капля упала, но я зналъ, я безпредѣльно и нерушимо зналъ и вѣрилъ, что непремѣнно сейчасъ все измѣнится. И вотъ вдругъ разверзлась могила моя. То есть я не знаю была ли она раскрыта и раскопана, но я былъ взятъ какимъ то темнымъ и неизвѣстнымъ мнѣ существомъ и мы очутились въ пространствѣ. Я вдругъ прозрѣлъ: Была глубокая ночь и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись въ пространствѣ уже далеко отъ земли. Я не спрашивалъ того, который несъ меня ни о чемъ, я ждалъ и былъ гордъ. Я увѣрялъ себя, что не боюсь и замиралъ отъ восхищенія при мысли что не боюсь. Я не помню сколько времени мы неслись и не могу представить: совершалось все такъ какъ всегда во снѣ, когда перескакиваешь черезъ пространство и время и черезъ законы бытія и разсудка, и останавливаешься лишь на точкахъ, о которыхъ грезитъ сердце. Я помню что вдругъ увидалъ въ темнотѣ одну звѣздочку. „Это Сиріусъ? — спросилъ я, вдругъ не удержавшись, ибо я не хотѣлъ ни о чемъ спрашивать.—„Нѣтъ, это та самая звѣзда, которую ты видѣлъ между облаками, возвращаясь домой“,—отвѣчало мнѣ существо уносившее меня. Я зналъ что оно имѣло какъ бы ликъ человѣческій. Странное дѣло, я не любилъ это существо, даже чувствовалъ глубокое отвращеніе. Я ждалъ совершеннаго небытія и съ тѣмъ выстрѣлилъ себѣ въ сердце. И вотъ я въ рукахъ существа конечно не человѣческаго, но которое *есть*, существуетъ: „А, стало быть есть и за гробомъ жизнь!“—подумалъ я съ страннымъ легкомысліемъ сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубинѣ: „И если надо *быть* сно-

ва“—подумалъ я, „и жить опять по чьей-то неустранимой волѣ, то не хочу чтобъ меня побѣдили и унизили!“—„Ты знаешь что я боюсь тебя и за то презираешь меня“,—сказалъ я вдругъ моему спутнику, не удержавшись отъ унизительнаго вопроса, въ которомъ заключалось признаніе, и ощутивъ какъ уколъ булавки, въ сердцѣ моемъ униженіе мое. Онъ не отвѣтилъ на вопросъ мой, но я вдругъ почувствовалъ что меня не презираютъ, и надо мной не смѣются, и даже не сожалѣютъ меня, и что путь нашъ имѣетъ цѣль, неизвѣстную и таинственную, и касающуюся одного меня. Страхъ нарасталъ въ моемъ сердцѣ. Что-то нѣмо, но съ мученіемъ сообщалось мнѣ отъ моего молчащаго спутника и какъ бы проницало меня. Мы неслись въ темныхъ и невѣдомыхъ пространствахъ. Я давно уже пересталъ видѣть знакомыя глазу созвѣздія. Я зналъ, что есть такія звѣзды въ небесныхъ пространствахъ, отъ которыхъ лучи доходятъ на землю лишь въ тысячи и милліоны лѣтъ. Можетъ быть мы уже пролетали эти пространства. Я ждалъ чего-то въ страшной измучившей мое сердце тоскѣ. И вдругъ какое-то знакомое и въ высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидѣлъ вдругъ наше солнце! Я зналъ что это не могло быть *наше* солнце, породившее *нашу* землю, и что мы отъ нашего солнца на безконечномъ разстояніи, но я узналъ почему-то, всѣмъ существомъ моимъ, что это совершенно такое же солнце какъ и наше, повтореніе его и двойникъ его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгомъ въ душѣ моей: родная сила свѣта, того же, который родилъ меня, отозвалась въ моемъ сердцѣ и воскресила его, и я ощутилъ жизнь, прежнюю жизнь, въ первый разъ послѣ моей могилы.

— „Но если это—солнце, если это совершенно такое же солнце какъ наше, вскричалъ я, то гдѣ-же земля?“ И мой спутникъ указалъ мнѣ на звѣздочку, сверкавшую въ темнотѣ изумруднымъ блескомъ. Мы неслись прямо къ ней.

— И неужели возможны такія повторенія во вселенной, неужели таковъ природный законъ?... И если это тамъ земля, то неужели она такая же земля, какъ и наша... совершенно такая же, несчастная, бѣдная, но дорогая и вѣчно любимая, и такую же мучительную любовь рождающая къ себѣ въ самыхъ неблагодарныхъ даже дѣтяхъ своихъ какъ и наша?... вскрикивалъ я, сотрясаясь отъ неудержимой, восторженной любви къ той родной прежней землѣ, которую я покинулъ. Образъ бѣдной дѣвочки, которую я обидѣлъ, промелькнулъ передо-мною.

— Увидишь все, отвѣтилъ мой спутникъ, и какая то печаль послышалась въ его словѣ. Но мы быстро приближались къ планетѣ. Она росла въ глазахъ моихъ, я уже различалъ океанъ, очертанія Европы, и вдругъ странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорѣлось въ сердцѣ моемъ: „какъ можетъ быть подобное повтореніе и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставилъ, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрѣломъ въ сердце мое погасилъ мою жизнь. Но никогда, никогда не переставалъ я любить ту землю, и даже въ ту ночь, разставаясь съ ней, я можетъ быть любилъ ее мучительнѣе чѣмъ когда либо. Есть ли мученіе на этой новой

землѣ? На нашей землѣ мы истинно можемъ любить лишь съ мученіемъ и только черезъ мученіе! Мы иначе не умѣемъ любить и не знаемъ иной любви. Я хочу мученія чтобъ любить. Я хочу, я жажду, въ сію минуту цаловать, обливаясь слезами лишь одну ту землю, которую я оставилъ и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!...

Но спутникъ мой уже оставилъ меня. Я вдругъ, совсѣмъ какъ бы для меня незамѣтно, сталъ на этой другой землѣ въ яркомъ свѣтѣ солнечнаго, прелестнаго какъ рай дня. Я стоялъ кажется на одномъ изъ тѣхъ острововъ, которые составляютъ на нашей землѣ Греческій Архипелагъ, или гдѣ-нибудь на прибрежьи материка, прилегающаго къ этому архипелагу. О, все было точно также какъ у насъ, но казалось всюду сіяло какимъ-то праздникомъ и великимъ, святымъ и достигнутымъ наконецъ торжествомъ. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега, и лобызало ихъ съ любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокія, прекрасныя деревья стояли во всей роскоши своего цвѣта, а безчисленные листочки ихъ, я убѣжденъ въ томъ, привѣтствовали меня тихимъ, ласковымъ своимъ шумомъ, и какъ бы выговаривали какія-то слова любви. Мурава горѣла яркими ароматными цвѣтами. Птички стадами перелетали въ воздухѣ, и не боясь меня, садились мнѣ на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконецъ я увидѣлъ и узналъ людей счастливой земли этой. Они пришли ко мнѣ сами, они окружили меня, цаловали меня. Дѣти солнца, дѣти своего солнца,—о, какъ они были прекрасны! Никогда я не видывалъ на нашей землѣ такой красоты въ человѣкѣ. Развѣ лишь въ дѣтяхъ нашихъ, въ самые первые годы ихъ возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблескъ красоты этой. Глаза этихъ счастливыхъ людей сверкали яснымъ блескомъ. Лица ихъ сіяли разумомъ и какимъ-то восполнившимся уже до спокойствія сознаніемъ, но лица эти были веселы; въ словахъ и голосахъ этихъ людей звучала дѣтская радость. О, я тотчасъ же, при первомъ взглядѣ на ихъ лица, понялъ все, все! Это была земля не оскверненная грѣхопаденіемъ, на ней жили люди не согрѣшившіе, жили въ такомъ же раю, въ какомъ жили, по преданіямъ всего человѣчества, и наши согрѣшившіе прародители, съ тою только разницею, что вся земля здѣсь была повсюду, однимъ и тѣмъ же раемъ. Эти люди, радостно смѣясь, тѣснились ко мнѣ и ласкали меня; они увели меня къ себѣ и всякому изъ нихъ хотѣлось успокоить меня. О, они не разспрашивали меня ни о чемъ, но какъ бы все уже знали, такъ мнѣ казалось, и имъ хотѣлось согнать поскорѣе страданіе съ лица моего.

IV.

Видите-ли что, опять-таки: Ну, пусть это былъ только сонъ! Но ощущеніе любви этихъ невинныхъ и прекрасныхъ людей осталось во мнѣ навѣки, и я чувствую, что ихъ любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видѣлъ ихъ самъ, ихъ позналъ и убѣдился, я любилъ ихъ, я страдалъ за нихъ потомъ. О, я тотчасъ же понялъ, даже тогда, что во многомъ не пойму ихъ вовсе; мнѣ, какъ современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрѣшимымъ то напримѣръ, что они,

зная столь много, не имѣютъ нашей науки. Но я скоро понялъ, что знаніе ихъ восполнялось и питалось иными проникновеніями, чѣмъ у насъ на землѣ, и что стремленія ихъ были тоже совсѣмъ иныя. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились къ познанію жизни, такъ какъ мы стремимся сознать ее, потому что жизнь ихъ была восполнена. Но знаніе ихъ было глубже и высшее, чѣмъ у нашей науки; ибо наука наша ищетъ объяснить что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтобъ научить другихъ жить; они же и безъ науки знали какъ имъ жить, и это я понялъ, но я не могъ понять ихъ знанія. Они указывали мнѣ на деревья свои, и я не могъ понять той степени любви, съ которою они смотрѣли на нихъ: точно они говорили съ себѣ подобными существами. И знаете, можетъ быть я не ошибусь, если скажу, что они говорили съ ними! Да ,они нашли ихъ языкъ и убѣжденъ, что тѣ понимали ихъ. Такъ смотрѣли они и на всю природу,—на животныхъ, которыя жили съ ними мирно, не нападали на нихъ и любили ихъ, побѣжденныя ихъ же любовью. Они указывали мнѣ на звѣзды и говорили о нихъ со мною о чемъ-то, чего я не могъ понять, но я убѣжденъ, что они какъ-бы чѣмъ-то соприкасались съ небесными звѣздами, не мыслію только, а какимъ-то живымъ путемъ. О, эти люди и не добивались чтобъ я понималъ ихъ, они любили меня и безъ того, но за то я зналъ, что и они никогда не поймутъ меня, а потому почти и не говорилъ имъ о нашей землѣ. Я лишь цѣловалъ при нихъ ту землю, на которой они жили, и безъ словъ обожалъ ихъ самихъ и они видѣли это и давали себя обожать, не стыдясь, что я ихъ обожаю потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, въ слезахъ, порою цѣловалъ ихъ ноги, радостно зная въ сердцѣ своемъ какою силой любви они мнѣ отвѣтятъ. Порою я спрашивалъ себя въ удивленіи: какъ могли они, все время, не оскорбить такого какъ я, и ни разу не возбудить въ такомъ какъ я чувства ревности и зависти? Много разъ я спрашивалъ себя, какъ могъ я, хвастунъ и лжецъ, не говорить имъ о моихъ познаніяхъ, о которыхъ, конечно, они не имѣли понятія, не желать удивить ихъ ими, или хотя бы только изъ любви къ нимъ?—Они были рѣзвы и веселы какъ дѣти. Они блуждали по своимъ прекраснымъ рощамъ и лѣсамъ, они пѣли свои прекрасныя пѣсни, они питались легкою пищею, плодами своихъ деревьевъ, медомъ лѣсовъ своихъ, и молокомъ ихъ любившихъ животныхъ. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У нихъ была любовь и рождались дѣти, но никогда я не замѣчалъ въ нихъ порывовъ того *жестокаго* сладострастія, которое постигаетъ почти всѣхъ на нашей землѣ, всѣхъ и всякаго, и служитъ единственнымъ источникомъ почти всѣхъ грѣховъ нашего человѣчества. Они радовались являвшимся у нихъ дѣтямъ какъ новымъ участникамъ въ ихъ блаженствѣ. Между ними не было ссоръ и не было ревности, и они не понимали даже что это значитъ. Ихъ дѣти были дѣтьми всѣхъ, потому что всѣ составляли одну семью. У нихъ почти совсѣмъ не было болѣзней, хоть и была смерть; но старики ихъ умирали тихо, какъ бы засыпая, окруженные прощавшимися съ ними людьми, благословляя ихъ, улыбаясь имъ и сами напутствуемые ихъ

свѣтлыми улыбками. Скорби, слезъ при этомъ я не видалъ, а была лишь умножившаяся какъ бы до восторга любовь, но до восторга спокойнаго, восполнившагося, созерцательнаго. — Подумать можно было что они соприкасались еще съ умершими своими даже и послѣ ихъ смерти и что земное единеніе между ними не прерывалось смертію. Они почти не понимали меня, когда я спрашивалъ ихъ про вѣчную жизнь, но видимо былиъ ней до того убѣждены безотчетно, что это не составляло для нихъ вопроса. У нихъ не было храмовъ, но у нихъ было какое-то насущное, живое и безпрерывное единеніе съ Цѣлымъ вселенной; у нихъ не было вѣры, за то было твердое знаніе, что когда восполнится ихъ земная радость до предѣловъ природы земной, тогда наступитъ для иихъ, и для живущихъ и для умершихъ, еще большее расширеніе соприкосновенія съ Цѣлымъ вселенной. Они ждали этого мгновенія съ радостію, но не торопясь, не страдая по немъ, а какъ-бы уже имѣя его въ предчувствіяхъ сердца своего, о которыхъ они сообщали другъ другу. По вечерамъ, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. Въ этихъ пѣсняхъ они передавали всѣ ощущенія, которыя доставилъ имъ отходящій день, славили его и прощались съ нимъ. Они славили природу, землю, море, лѣса. Они любили слагать пѣсни другъ о другѣ, и хвалили другъ друга какъ дѣти; это были самыя простыя пѣсни, но онѣ выливались изъ сердца и проницали сердца. Да и не въ пѣсняхъ однѣхъ, а казалось и всю жизнь свою они проводили лишь въ томъ, что любовались другъ другомъ. Это была какая-то влюбленность другъ въ друга, всецѣлая, всеобщая. Иныхъ же ихъ пѣсенъ, торжественныхъ и восторженныхъ, я почти не понималъ вовсе. Понимая слова, я никогда не могъ проникнуть во все ихъ значеніе. Оно оставалось какъ бы недоступно моему уму, за то сердце мое какъ бы проникалось имъ безотчетно и все болѣе и болѣе. Я часто говорилъ имъ что я все это давно уже прежде предчувствовалъ, что вся эта радость и слава сказывалась мнѣ еще на нашей землѣ зовущею тоскою, доходившею подчасъ до нестерпимой скорби; что я предчувствовалъ всѣхъ ихъ и славу ихъ въ снахъ моего сердца и въ мечтахъ ума моего, что я часто не могъ смотрѣть, на землѣ нашей, на заходящее солнце безъ слезъ... Что въ ненависти моей къ людямъ нашей земли, заключалась всегда тоска: зачѣмъ я не могу ненавидѣть ихъ не любя ихъ, зачѣмъ не могу не прощать ихъ, а въ любви моей къ нимъ тоска: за чѣмъ не могу любить ихъ не ненавидя ихъ? Они слушали моня и я видѣлъ что они не могли представить себѣ то что я говорю, но я не жалѣлъ что имъ говорилъ о томъ: я зналъ что они понимаютъ всю силу тоски моей о тѣхъ кого я покинулъ. Да, когда они глядѣли на меня своимъ милымъ проникнутымъ любовью взглядомъ, когда я чувствовалъ что при нихъ и мое сердце становилось столь же невиннымъ и правдивымъ какъ и ихъ сердца, то и я не жалѣлъ, что не понимаю ихъ. Отъ ощущенія полноты жизни мнѣ захватывало духъ и я молча молился на нихъ.

О, всѣ теперь смѣются мнѣ въ глаза и увѣряютъ меня, что и во снѣ нельзя видѣть такія подробности, какія я передаю теперь, что во снѣ моемъ я видѣлъ или прочувствовалъ лишь одно ощущеніе, порожденное моимъ же сердцемъ въ

бреду, а подробности уже самъ сочинилъ проснувшись. И когда я открылъ имъ, что можетъ быть въ самомъ дѣлѣ такъ было — Боже, какой смѣхъ они подияли мнѣ въ глаза и какое я имъ доставилъ веселье! О да, конечно я былъ побѣжденъ лишь однимъ ощущеніемъ того сна, и оно только одно уцѣлѣло въ до крови раненомъ сердцѣ моемъ: но за то дѣйствительные образы и формы сна моего, т. е. тѣ, которыя я въ самомъ дѣлѣ видѣлъ въ самый часъ моего сновидѣнія, были восполнены до такой гармоніи, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что проснувшись я конечно не въ силахъ былъ воплотить ихъ въ слабыя слова наши, такъ что они должны были какъ бы стушеваться въ умѣ моемъ, а стало быть и дѣйствительно можетъ быть я самъ, безсознательно, принужденъ былъ сочинить потомъ подробности и ужь конечно исказивъ ихъ, особенно при такомъ страстномъ желаніи моемъ поскорѣе и хоть сколько нибудь ихъ передать. Но за то какъ же мнѣ не вѣрить что все это было? Было можетъ быть въ тысячу разъ лучше, свѣтлѣе и радостнѣе чѣмъ я разсказываю? Пусть это сонъ, но все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вамъ секретъ: все это быть можетъ было вовсе не сонъ! Ибо тутъ случилось нѣчто такое, нѣчто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во снѣ. Пусть сонъ мой породило сердце мое, но развѣ одно сердце мое въ силахъ было породить ту ужасную правду, которая потомъ случилась со мной? Какъ бы могъ я ее одинъ выдумать или пригрезить сердцемъ? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный умъ мой могли возвыситься до такого откровенія правды! О, судите сами: я до сихъ поръ скрывалъ, но теперь доскажу и эту правду. Дѣло въ томъ, что я... развратилъ ихъ всѣхъ!

V.

Да, да, кончилось тѣмъ, что я развратилъ ихъ всѣхъ! Какъ это могло совершиться—не знаю, но помню ясно. Сонъ пролетѣлъ черезъ тысячелѣтія, и оставилъ во мнѣ лишь ощущеніе цѣлаго. Знаю только, что причиною грѣхопаденія былъ я. Какъ скверная трихина, какъ атомъ чумы, заражающій цѣлыя государства, такъ и я заразилъ собой всю эту счастливую, безгрѣшную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это можетъ быть началось *невинно*, съ шутки, съ кокетства, съ любовной игры, въ самомъ дѣлѣ можетъ быть съ атома, но этотъ атомъ лжи проникъ въ ихъ сердца и понравился имъ. Затѣмъ быстро родилось сладострастіе, сладострастіе породило ревность, ревность—жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже другъ противъ друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыдъ и стыдъ возвели въ добродѣтель. Родилось понятіе о чести и въ каждомъ союзѣ поднялось свое знамя. Они стали мучить животныхъ и животныя удалились отъ нихъ въ лѣса и стали имъ врагами. Началась борьба за разъединеніе, за обособленіе, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разныхъ языкахъ. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мученія и говорили что Истина достигается лишь мученіемъ. Тогда у нихъ явилась наука. Когда они стали злы,

то начали говорить о братствѣ и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрѣли справедливость и предписали себѣ цѣлые кодексы, чтобъ сохранить ее, а для обезпеченія кодексовъ поставили гильотину. Они чуть чуть лишь помнили о томъ, что потеряли, даже не хотѣли вѣрить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смѣялись даже надъ возможностью этого прежняго ихъ счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себѣ въ формахъ и образахъ, но странное и чудесное дѣло: утративъ всякую вѣру въ бывшее счастье, назвавъ его сказкой, они до того захотѣли быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали передъ желаніями сердца своего, какъ дѣти, обоготворили это желаніе, настроили храмовъ и стали молиться своей же идеѣ, своему же „желанію“, въ тоже время вполнѣ вѣруя въ неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, еслибъ только могло такъ случиться чтобъ они возвратились въ то невиное и счастливое состояніе, которое они утратили, и еслибъ кто вдругъ имъ показалъ его вновь и спросилъ ихъ: хотятъ-ли они возвратится къ нему? то они навѣрно бы отказались. Они отвѣчали мнѣ: „пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы *знаемъ* это и плачемъ объ этомъ, и мучимъ себя за это сами, и истязаемъ себя и наказываемъ больше, чѣмъ даже можетъ быть тотъ милосердый Судья, который будетъ судить насъ и имени котораго мы не знаемъ. Но у насъ есть наука и черезъ нее мы отыщемъ вновь истину, но примемъ ее уже сознательно, Знаніе выше чувства, сознаніе жизни — выше жизни. Наука дастъ намъ премудрость, премудрость откроетъ законы, а знаніе законовъ счастья—выше счастья“. Вотъ что говорили они, и послѣ словъ такихъ каждый возлюбилъ себя больше всѣхъ, да и не могли они иначе сдѣлать. Каждый сталъ столь ревнивъ къ своей личности, что изо всѣхъ силъ старался лишь унизить и умалить ее въ другихъ; и въ томъ жизнь свою полагалъ. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнѣйшимъ, съ тѣмъ только чтобъ тѣ помогали имъ давить еще слабѣйшихъ, чѣмъ они сами. Явились праведники, которые приходили къ этимъ людямъ со слезами и говорили имъ объ ихъ гордости, о потерѣ мѣры и гармоніи, объ утратѣ ими стыда. Надъ ними смѣялись или побивали ихъ каменьями. Святая кровь лилась на порогахъ храмовъ. За то стали появляться люди, которые начали придумывать: какъ бы всѣмъ вновь такъ соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всѣхъ, въ тоже время не мѣшать никому другому, и жить такимъ образомъ всѣмъ вмѣстѣ какъ бы и въ согласномъ обществѣ. Цѣлыя войны поднялись изъза этой идеи. Всѣ воюющіе твердо вѣрили въ тоже время, что наука, премудрость и чувство самосохраненія заставятъ наконецъ человѣка соединиться въ согласное и разумное общество, а потому пока, для ускоренія дѣла „премудрые“ старались поскорѣе истребить всѣхъ „непремудрыхъ“ и не понимающихъ ихъ идею чтобъ они не мѣшали торжеству ея. Но чувство самосохраненія стало быстро ослабѣвать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего иль ничего. Для пріобрѣтенія всего прибѣгалось къ злодѣйству, а если оно не удавалось — къ само-

убійству. Явились религіи съ культомъ небытія и саморазрушенія ради вѣчнаго успокоенія въ ничтожествѣ. Наконецъ эти люди устали въ безсмысленномъ трудѣ, и на ихъ лицахъ появилось страданіе, и эти люди провозгласили что страданіе есть красота, ибо въ страданіи лишь мысль. Они воспѣли страданіе въ пѣсняхъ своихъ. Я ходилъ между ними ломая руки и плакалъ надъ ними, но любилъ ихъ можетъ быть еще больше чѣмъ прежде, когда на лицахъ ихъ еще не было страданія и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбилъ ихъ оскверненную ими землю еще больше чѣмъ когда она была раемъ, за то лишь что на ней явилось горе. Увы, я всегда любилъ горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а объ нихъ я плакалъ, жалѣя ихъ. Я простиралъ къ нимъ руки, въ отчаяніи обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорилъ имъ что все это сдѣлалъ я, я одинъ; что это я имъ принесъ развратъ, заразу и ложь! Я умолялъ ихъ чтобъ они распяли меня на крестѣ, я училъ ихъ какъ сдѣлать крестъ. Я не могъ, не въ силахъ былъ убить себя самъ, но я хотѣлъ принять отъ нихъ муки, я жаждалъ мукъ, жаждалъ чтобъ въ этихъ мукахъ пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смѣялись надо мной и стали меня считать подконецъ за юродиваго. Они оправдывали меня, они говорили что получили лишь то, чего сами желали и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконецъ они объявили мнѣ, что я становлюсь имъ опасенъ и что они посадятъ меня въ сумасшедшій домъ, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла въ мою душу съ такою силой, что сердце мое стѣснилось и я почувствовалъ что умру, и тутъ... ну вотъ тутъ я и проснулся.

—

Было уже утро, т. е. еще не разсвѣло, но было около шестаго часу. Я очнулся въ тѣхъ же креслахъ, свѣчка моя догорѣла вся, у капитана спали и кругомъ была рѣдкая въ нашей квартирѣ тишина. Первымъ дѣломъ, я вскочилъ въ чрезвычайномъ удивленіи; никогда со мной не случалось ничего подобнаго, даже до пустяковъ и мелочей: никогда еще не засыпалъ я, напримѣръ, такъ въ моихъ креслахъ. Тутъ вдругъ, пока я стоялъ и приходилъ въ себя,—вдругъ мелькнулъ передо мной мой револьверъ, готовый, заряженный,—но я въ одинъ мигъ оттолкнулъ его отъ себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднялъ руки и воззвалъ къ вѣчной истинѣ; не воззвалъ, а заплакалъ; восторгъ, неизмѣримый восторгъ поднималъ все существо мое. Да, жизнь, и—проповѣдь! О проповѣди я порѣшилъ въ туже минуту и ужь конечно на всю жизнь! Я иду проповѣдывать, я хочу проповѣдывать,—что? Истину, ибо я видѣлъ ее, видѣлъ своими глазами, видѣлъ всю ея славу!

И вотъ съ тѣхъ поръ я и проповѣдую! Кромѣ того—люблю всѣхъ, которые надо мной смѣются больше всѣхъ остальныхъ. Почему это такъ,—не знаю и не могу объяснить, но пусть такъ и будетъ. Они говорятъ, что я ужъ и теперь сбиваюсь т. е. коль ужъ и теперь сбился такъ, что жъ дальше-то будетъ? Правда истинная: Я сбиваюсь и можетъ быть дальше пойдетъ еще хуже. И ужъ конечно собьюсь нѣсколько разъ, пока отыщу какъ проповѣдывать т. е. какими словами и какими дѣлами, потому что это очень трудно исполнить. Я вѣдь и теперь все

это какъ день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тѣмъ вѣдь всѣ идутъ къ одному и тому же, по крайней мѣрѣ всѣ стремятся къ одному и тому же, отъ мудреца до послѣдняго разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вотъ что тутъ новое: я и сбиться то очень не могу. Потому что я видѣлъ истину, я видѣлъ и знаю что люди могутъ быть прекрасны и счастливы, не потерявъ способности жить на землѣ. Я не хочу и не могу вѣрить чтобы зло было нормальнымъ состояніемъ людей. А вѣдь они всѣ только надъ этой вѣрой-то моей и смѣются. Но какъ мнѣ не вѣровать: Я видѣлъ истину,—не то что изобрѣлъ умомъ, а видѣлъ, видѣлъ, и *живой образъ* ея наполнилъ душу мою навѣки. Я видѣлъ ее въ такой восполненной цѣлости, что не могу повѣрить чтобъ ея не могло быть у людей. И такъ какже я собьюсь? Уклонюсь конечно, даже нѣсколько разъ, и буду говорить даже можетъ быть чужими словами, но не надолго: живой образъ того что я видѣлъ будетъ всегда со мной, и всегда меня поправитъ и направитъ. О я бодръ, я свѣжъ, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лѣтъ. Знаете, я хотѣлъ даже скрыть, вначалѣ, что я развратилъ ихъ всѣхъ, но это была ошибка,—вотъ уже первая ошибка! Но истина шепнула мнѣ что я *му*, и охранила меня и направила. Но какъ устроить рай—я не знаю, потому что не умѣю передать словами. Послѣ сна моего потерялъ слова. По крайней мѣрѣ всѣ главныя слова, самыя нужныя. Но пусть: я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все таки видѣлъ воочію, хотя и не умѣю пересказать что я видѣлъ. Но вотъ этого насмѣшники и не понимаютъ: „Сонъ, дескать, видѣлъ, бредъ, галлюнацію.“ Эхъ! Неужто это премудро? А они такъ гордятся! Сонъ? что такое сонъ? А наша-то жизнь не сонъ? Больше скажу: Пусть, пусть, это никогда не сбудется и не бывать раю, (вѣдь уже это-то я понимаю!)—ну, а я все таки буду проповѣдывать. А между тѣмъ, такъ это просто: въ одинъ бы день, *въ одинъ бы часъ* — все бы сразу устроилось! Главное—люби другихъ какъ себя, вотъ что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчасъ найдешь какъ устроиться. А между тѣмъ вѣдь это только—старая истина, которую биліонъ разъ повторяли и читали, да вѣдь не ужилась-же! „Сознаніе жизни выше жизни, знаніе законовъ счастья—выше счастья“—вотъ съ чѣмъ бороться надо! И буду. Если только всѣ захотятъ, то сейчасъ все устроится.

—

А ту маленькую дѣвочку я отыскалъ... И пойду! И пойду!

Освобожденіе подсудимой Корниловой.

22 апрѣля сего года, въ здѣшнемъ Окружномъ судѣ вторично рѣшалось дѣло подсудимой Корниловой съ новымъ составомъ суда и присяжныхъ засѣдателей. Прежній приговоръ суда, состоявшійся еще въ прошломъ году, былъ кассированъ сенатомъ за недостаточно произведенной медицинской экспертизой. Можетъ быть большинство моихъ читателей очень помнитъ объ этомъ дѣлѣ. Молодая мачиха (тогда еще несовершеннолѣтняя), въ бе-

ременномъ состояніи, въ злобѣ на мужа, попрекавшаго ее прежней женой, и послѣ жестокой съ нимъ ссоры, выбросила свою шестилѣтнюю падчерицу, дочь своего мужа отъ прежней жены, изъ окошка, изъ четвертаго этажа ($5^1/_2$ саж. высоты) при чемъ случилось почти чудо: ребенокъ не разбился, не сломалъ и не повредилъ себѣ ничего и скоро очнулся; теперь же живъ и здоровъ. Это звѣрское дѣйствіе молодой женщины сопровождалось такой безсмыслицей и загадочностью всѣхъ ея остальныхъ поступковъ, что само собою являлось соображеніе: въ здравомъ-ли умѣ она дѣйствовала? И не была-ли она, напримѣръ, хоть подъ афектомъ своего беременнаго состоянія? Проснувшись утромъ, когда уже мужъ ушелъ на работу, она дала выспаться ребенку; потомъ одѣла ее, обула, и напоила кофеемъ. Затѣмъ отворила окно и выбросила ее за окно. Не взглянувъ даже изъ окна внизъ, чтобъ посмотрѣть что сталось съ ребенкомъ, она затворила окно, одѣлась и отправилась въ участокъ. Тамъ объявила о происшедшемъ, отвѣчала на вопросы грубо и странно. Когда ей уже нѣсколько часовъ спустя возвѣстили, что ребенокъ остался живъ, она, не обнаруживъ ни радости, ни досады, совершенно равнодушно и хладнокровно замѣтила какъ бы въ задумчивости: „какая живучая“. Затѣмъ въ продолженіи почти полутора мѣсяца, въ двухъ тюрьмахъ, въ которыхъ ей пришлось находиться, она продолжала быть угрюмой, грубой, неразговорчивой. И вдругъ все разомъ прошло: всѣ остальные четыре мѣсяца до разрѣшенія отъ беремени и все остальное время, на первомъ судѣ и послѣ суда, начальница женскаго отдѣленія тюрьмы не могла ею нахвалиться: явился характеръ ровный, тихій, ласковый, ясный. Впрочемъ я все это уже описывалъ прежде. Однимъ словомъ прежній приговоръ былъ кассированъ, а затѣмъ состоялся новый, 22 апрѣля, которымъ Корнилова была оправдана.

Я былъ въ залѣ суда и вынесъ много впечатлѣній. Жаль только что нахожусь въ полной невозможности передать ихъ и буквально принужденъ ограничиться лишь самыми немногими словами. Да и сообщаю о дѣлѣ единственно потому, что прежде много писалъ о немъ, а стало быть считаю не лишнимъ сообщить читателямъ и объ исходѣ его. Судъ продолжался вдвое долѣе прежняго раза. Составъ присяжныхъ засѣдателей былъ особенно замѣчателенъ. Призвана была новая свидѣтельница—начальница женскаго отдѣленія тюрьмы. Показаніе ея о характерѣ Корниловой было очень вѣско и въ ея пользу. Замѣчательно очень было показаніе мужа подсудимой: съ чрезвычайною честностью онъ не скрылъ ничего, ни ссоръ, ни обидъ съ его стороны, оправдывалъ жену, говорилъ сердечно, прямо, откровенно. Онъ всего только крестьянинъ, правда носящій нѣмецкое платье, читающій книги и получающій тридцать рублей ежемѣсячнаго жалованія. Затѣмъ замѣчателенъ былъ подборъ экспертовъ. Приглашено было шесть человѣкъ,—все извѣстности и знаменитости въ медицинѣ; изъ нихъ давали показанія пятеро: Трое заявили не колеблясь, что болѣзненное состояніе, свойственное беременной женщинѣ, весьма *могло* повліять на совершеніе преступленія и въ данномъ случаѣ. Одинъ лишь докторъ Флоринскій съ этимъ мнѣніемъ былъ не согласенъ, но къ счастью онъ не психіатръ и мнѣніе его прошло безъ всякаго значенія. Послѣднимъ показывалъ извѣстный нашъ психіатръ Дюковъ. Онъ говорилъ почти около часу, отвѣчая на вопросы прокурора и предсѣдателя суда. Трудно представить себѣ болѣе тонкое пониманіе души человѣческой и болѣзненныхъ ея состояній. Поражало тоже богатство и разнообразіе многолѣтнихъ и чрезвычайно любопытныхъ наблюденій. Что до меня то я выслушалъ нѣкоторыя изъ показаній эксперта рѣшительно съ восхищеніемъ. Мнѣніе эксперта было вполнѣ въ пользу подсудимой: онъ *утвердительно* и *доказательно* заключилъ о несомнѣнномъ по его мнѣнію болѣзненномъ состояніи души подсудимой, во время совершенія ею страшнаго преступленія.

Кончилось тѣмъ что самъ прокуроръ, не смотря на свою грозную рѣчь—отказался отъ обвиненія въ преднамѣренности, т. е. отъ самой главной злобы обвиненія. Защитникъ подсудимой, присяжный повѣренный Люстигъ, тоже чрезвычайно ловко отбилъ нѣсколько обвиненій, а одно, важнѣйшее,—долгую будто-бы ненависть мачихи къ падчерицѣ привелъ къ полному нулю, ослзательно обнаруживъ въ немъ лишь коридорную сплетню. Затѣмъ, послѣ длинной рѣчи предсѣдателя, присяжные удалились и менѣе чѣмъ черезъ четверть часа вынесли оправдательный приговоръ, произведшій почти восторгъ въ многочисленной публикѣ. Многіе крестились, другіе поздравляли другъ друга, жали другъ другу руки. Мужъ оправданной увелъ ее въ тотъ же вечеръ, уже въ одинадцатомъ часу, къ себѣ домой и она, счастливая, вошла опять въ свой домъ, почти послѣ годоваго отсутствія, съ впечатлѣніемъ огромнаго вынесеннаго ею урока на всю жизнь и явнаго Божьяго перста во всемъ этомъ дѣлѣ,—хотя бы только начиная съ чудеснаго спасенія ребенка.

Къ моимъ читателямъ.

Прибѣгаю къ чрезвычайному снисхожденію моихъ читателей. Въ прошломъ году, изъ за моей поѣздки лѣтомъ въ Эмсъ для леченія болѣзни, я принужденъ былъ выдать №№ Дневника за Іюль и Августъ мѣсяцы вмѣстѣ, въ одномъ выпускѣ, 31-го Августа, конечно въ удвоенномъ числѣ листовъ. Въ нынѣшнемъ же году, по усилившейся еще болѣе моей болѣзни, я принужденъ выдать и Майскій № съ Іюньскимъ вмѣстѣ, въ одномъ выпускѣ, въ концѣ Іюня или въ самыхъ первыхъ числахъ Іюля. Затѣмъ Іюльскій и Августовскій №№ какъ и въ прошломъ году выйдутъ тоже въ Августѣ. Съ сентября же мѣсяца №№ „Дневника“ начнутъ опять выдаваться акуратно въ послѣднее число каждаго мѣсяца.

Уѣзжая изъ Петербурга по приговору докторовъ, я заявляю, что хотя въ Петербургѣ помѣщеніе Редакціи и будетъ закрыто до самаго Сентября, тѣмъ не менѣе всѣ иногородные подписчики и читатели, *равно какъ и всѣ Петербургскіе*, въ случаѣ надобности могутъ обращаться *письменно* въ Редакцію совершенно какъ и прежде. Письма эти будутъ немедленно доставлены завѣдующимъ Редакціей и всякая жалоба, всякое недоумѣніе и проч. будутъ по прежнему въ скорѣйшемъ времени удовлетворены. Равно всѣ письма на мое имя будутъ немедленно мнѣ доставлены. На этотъ счетъ сдѣланы Редакціей самыя точныя распоряженія. Подписка по прежнему можетъ продолжаться: подписавшіеся будутъ немедленно удовлетворены.

Не знаю извинятъ-ли меня мои читатели и подписчики „Дневника Писателя?“ Притакомъ непредвидѣнномъ обстоятельствѣ какъ усложненіе болѣзни, трудно было угадать все это впередъ. Огромное большинство читателей моихъ относилось доселѣ ко мнѣ весьма доброжелательно, въ чемъ я увѣренъ по твердымъ фактамъ. Осмѣливаюсь ждать этой доброты и теперь.

Ѳ. Достоевскій.

Къ книгопродавцамъ: Я. А. Исакову и Н. И. Мамонтову (Невскій пр., № 46).
поступила въ продажу **НОВАЯ КНИГА Г-жи ИШИМОВОЙ:**

РАЗСКАЗЫ ДЛЯ ДѢТЕЙ ИЗЪ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРІИ.

Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к. Эта книга одобрена ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія и посвящена Его Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю Александровичу,

За покупкою ея можно обращаться и къ самой г-жѣ Ишимовой, по Коломенской улицѣ, у Свѣчнаго переулка, № 13.

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ:

Руководство къ обученію кройки, шитью, бѣлошвейному мастерству и вязанью,

(для школъ, семействъ и мастерскихъ).

Переводъ съ французскаго. Сочиненіе Э. Гирцъ. Съ рисунками въ текстѣ. Изданіе А. Сазановичъ. Принято во всѣхъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ Франціи и Германіи. Ц. 1 р.

1-го МАЯ вышла и разослана подписчикамъ V-я, МАЙСКАЯ, книга историческаго журнала:

„РУССКАЯ СТАРИНА“.

Въ этой книгѣ между другими статьями, напечатаны: біографія К. В. Чевкина († 1875 г.). Разсказы о Севастополѣ **А. А. Панаева.** Письма и предначертанія императора Николая Павловича; а также письма и донесенія его полководцевъ во время войнъ 1829 и 1854 гг. Статья **Н. И. Костомарова.** Путешествіе въ Россію англичанина Кокса въ 1778 г. и другія статьи.

Гг. иногородные подписчики высылаютъ свои требованія **въ С-Петербургъ, въ редакцію журнала „Русская Старина“,** Надеждинская улица, д. № 42.

Городскіе подписчики „Русской Старины„ обращаются въ контору сего журнала: въ С.-Петербургѣ, на Невскій проспектъ, противъ Гостинаго двора, при книжномъ магазинѣ **Ник. Ив. Мамонтова, д. № 46.**

Отдѣленія главной конторы „Русской Старины“: въ Москвѣ, при книжныхъ магазинахъ И. Г. Соловьева, на Страстномъ бульварѣ, домъ Алексѣева, и Ник. Ив. Мамонтова, на Кузнецкомъ мосту, домъ Фирсанова.

Продолжается подписка на „Русскую Старину“ 1877 г. Цѣна за 12 книгъ съ портретами при каждой книгѣ 8 руб. съ пересылкой.

Оставшіеся въ небольшемъ количествѣ полные экземпляры „Дневника Писателя“ за 1876 г. сброшюрованы въ одну книгу и поступили въ продажу во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 2 р. 50 коп. за экземпляръ. **Выписывающіе прямо отъ автора пользуются безплатною пересылкою:**

У автора „Дневника Писателя“ можно получать слѣдующія его сочиненія:

Романъ **„БѢСЫ“**, въ трехъ томахъ, цѣна 3 р. 50 коп.
—— **„ИДІОТЪ“**, въ двухъ томахъ, цѣна 3 р. 50 коп.
—— **„ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА“**, 4-е изданіе въ одномъ томѣ, цѣна 2 рубля.
—— **„ПОДРОСТОКЪ“**, три тома, цѣна 3 р. 50 коп.

Вышелъ въ свѣтъ **четвертымъ изданіемъ** и поступилъ въ продажу романъ Ѳ. М. Достоевскаго **„ПРЕСТУПЛЕНІЕ И НАКАЗАНІЕ“**, два тома, цѣна 3 р. 50 коп.

Подписчики „Дневника Писателя“, обращающіеся за означенными сочиненіями къ автору, получаютъ 20% уступки; иногородные же пользуются, кромѣ того, безплатною пересылкою.

Гг. подписчики, при каждомъ заявленіи о перемѣнѣ своихъ адресовъ, благоволятъ прилагать по 30 коп. (почтов. марками).

5-й и 6-й выпуски выйдутъ вмѣстѣ 30 іюня.

Дозволено цензурою. Спб. 3 мая 1877. Типогр. кн. **В. Оболенскаго,** Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ГОДЪ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ. II-Й.

1877.

МАЙ—ІЮНЬ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на ежемѣсячное изданіе Ѳ. М. Достоевскаго

„ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ“

НА 1877 ГОДЪ.

(ДВѢНАДЦАТЬ ВЫПУСКОВЪ ВЪ ГОДЪ).

Каждый выпускъ будетъ заключать въ себѣ отъ полутора до двухъ листовъ убористаго шрифта, въ форматѣ еженедѣльныхъ газетъ нашихъ.

Каждый выпускъ будетъ выходить въ послѣднее число каждаго мѣсяца и продаваться отдѣльно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 25 копѣекъ. Желающіе подписаться на все годовое изданіе впередъ пользуются уступкою и платятъ лишь два рубля (безъ доставки и пересылки), а съ пересылкою или доставкою на домъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: для городскихъ подписчиковъ въ С.-Петербургѣ: Въ книжномъ магазинѣ Я. А. Исакова (гостиный дворъ № 24) и въ книжномъ „Магазинѣ для иногородныхъ“, Невскій пр., № 44.

Въ Москвѣ: въ „Центральномъ книжномъ магазинѣ“, Никольская, д. Славянскаго Базара.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА выпусковъ производится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга, въ Москвѣ: у Салаева, Соловьева, Живарева, Кашкина, Мамонтова, Васильева, Юрьева, Александрова, Разсохина и др., въ Казани у Дубровина и въ магазинѣ „Восточная Лира“, въ Кіевѣ у Гинтера и Малецкаго, въ Южно-русскомъ Книжномъ Магазинѣ, у Оглоблина (Литова) и у Корейво, въ Одессѣ: у Распопова и Бѣлаго, въ Харьковѣ у Геевскаго и Куколевскаго, въ Воронежѣ и Тулѣ: у Аносова, въ Тамбовѣ: у Зотова, въ Перми: у Наумова, въ Смоленскѣ: у Лаврова, въ Тифлисѣ: у Берештама, въ Черниговѣ: у Данюшевскаго, въ Варшавѣ: у Истомина, въ Томскѣ: у Макушина, въ Саратовѣ: у

Бятошинскаго и Холодковскаго, въ Острогожскѣ: у Новгородова, въ Козловѣ: у Муравьева, въ Вильно: у Сыркина, въ Нѣжинѣ: у Куриленко.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться **исключительно** къ автору по слѣдующему адресу: **С.-Петербургъ, Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6, Ѳедору Михайловичу Достоевскому.**

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Изъ книги предсказаній Іоанна Лихтенбергера, 1528 года.

Мнѣ сообщили одинъ престранный документъ. Это одно древнее, правда туманное и аллегорическое, предсказаніе о нынѣшнихъ событіяхъ и о нынѣшней войнѣ. Одинъ изъ нашихъ молодыхъ ученыхъ нашелъ въ Лондонѣ, въ королевской библіотекѣ, одинъ старый фоліантъ, „книгу предсказаній“, „Prognostications“ Іоанна Лихтенбергера, изданіе 1528 года, на латинскомъ языкѣ. Экземпляръ рѣдкій и даже можетъ быть единственный въ свѣтѣ. Въ туманныхъ картинахъ изображается въ этой книгѣ будущность Европы и человѣчества. Книга мистическая. Помѣщаю лишь тѣ строки, которыя мнѣ сообщили, *и мнѣ какъ фактъ*, не лишенный нѣкотораго любопытства.

Послѣ предсказаній о французской революціи (1789 г.) и о Наполеонѣ первомъ, который именуется въ книгѣ великимъ орломъ (aquila grandis), говорится далѣе о грядущихъ европейскихъ событіяхъ такъ:

Post haec veniet altera aquila
Послѣ сего придетъ другой орелъ,
quae ignem fovebit in gremio spon-
который огонь возбудитъ въ лонѣ невѣ-
sae Christi et erunt tres adulteri
сты Христовой и будутъ трое побочныхъ
unusque legitimus qui alios vora-
и одинъ законный, который другихъ по-
bit.
жретъ.

Exsurget aquila grandis in Oriente,
Возстанетъ орелъ великій на Востокѣ,
aquicolae occidentales moerebunt. Tria
островитяне западные восплачутъ. Три
regna comportabit. Ipsa est aquila
царства захватитъ. Сей есть орелъ
grandis, quae dormiet annis multis,
великій, который спитъ годы многіе,
refutata resurget et contremiscere fa-
пораженный возстанетъ и трепетать за-
ciet aquicolas occidentales in terra
ставитъ водяныхъ жителей западныхъ
Virginis et alios montes Superbis-
въ землѣ дѣвы и другія вершины пре-
simos; et volabit ad meridiem recupe-
гордыя, и полетитъ къ югу, чтобъ возвра-
rando amissa. Et amore charitatis
тить потерянное. И любовью милосердія
inflammabit Deus aquilam orientalem vo-
воспламенитъ Богъ орла восточнаго, да
lando ad ardua alis duabus ful-
летитъ на трудное, крылами двумя свер-
gens in montibus christianitatis.
кая на вершинахъ христіанства.“

Конечно темновато, но согласитесь однако что „великій орелъ восточный, который спитъ годы многіе и *пораженный* (NB не война-ли наша съ Европой

22 года назадъ?) возстанетъ и трепетать заставитъ водяныхъ жителей западныхъ“,—согласитесь, что это какъ будто и похоже на теперешнее, конечно если только не брать въ соображеніе нашихъ европействующихъ мудрецовъ, какъ бы все еще трепещущихъ передъ „водяными жителями“, обратно пророчеству, тогда какъ уже орелъ полетѣлъ „сверкая двумя крылами“. Но трепещутъ лишь мудрецы, а не орелъ. Далѣе: „водяные жители западные въ землѣ дѣвы“, если приложить пророчество Іоанна Лихтенбергера къ современнымъ событіямъ, очевидно означаютъ собою Англію. Но въ такомъ случаѣ почему же „земля дѣвы“? Въ 1528 году еще не было королевы Елизаветы. Не означаетъ-ли аллегорія Лихтенбергера землю (острова Великобританіи) не подвергавшуюся ни разу нашествію, въ томъ смыслѣ въ какомъ выразился когда-то Наполеонъ о европейскихъ столицахъ подвергавшихся его нашествію: „Столица подвергшаяся нашествію, похожа на дѣвицу, потерявшую свою дѣвственность.“ — Но орелъ, по пророчеству, трепетать заставитъ и другія „вершины прегордыя“, полетитъ къ югу чтобъ возвратить потерянное, и—что всего замѣчательнѣе—„любовью милосердія воспламенитъ Богъ орла восточнаго да летитъ на трудное, крылами двумя сверкая на вершинахъ христіанства“. Согласитесь, что ужъ это-то нѣчто даже очень подходящее. Развѣ не милосердіемъ воспламенясь къ угнетеннымъ и измученнымъ, взлетѣлъ нашъ орелъ? Развѣ не милосердіе Христово двинуло весь народъ нашъ „на дѣло трудное“ и въ прошломъ и въ нынѣшнемъ году? Кто станетъ это отрицать? Этотъ народъ, эти солдаты, взятые изъ народа, незнающаго хорошенько молитвъ, подымали однакоже въ Крыму, подъ Севастополемъ, раненыхъ французовъ и уносили ихъ на перевязку *прежде* чѣмъ своихъ русскихъ: „Тѣ пусть полежатъ и подождутъ; русскаго-то всякій подыметъ, а французикъ-то чужой, его напередъ пожалѣть надо.“ Развѣ тутъ не Христосъ, и развѣ не Христовъ духъ въ этихъ простодушныхъ и великодушныхъ, шутливо сказанныхъ словахъ? И такъ развѣ не духъ Христовъ въ народѣ нашемъ, — темномъ, но добромъ, невѣжественномъ, но не варварскомъ. Да, Христосъ его сила, наша русская теперь сила, когда орелъ полетѣлъ „на дѣло трудное“. И что значитъ одинъ какой-нибудь анекдотъ о Севастопольскихъ солдатикахъ, сравнительно съ тысячами проявленій духа Христова и „огня милосердія“ въ народѣ нашемъ, на яву и во-очію, въ наше время, хотя и до сихъ поръ изо всѣхъ силъ стараются мудрецы задавить мысль и похоронить фактъ участія народа нашего, духомъ и сердцемъ его, въ теперешнихъ судьбахъ Россіи и Востока? И не указывайте на „звѣрство и тупость“ народа, на невѣжественность его и неразвитость, при которыхъ онъ будто-бы не въ силахъ понять того что теперь происходитъ. Сущность дѣла онъ понимаетъ превосходно, будьте увѣрены, онъ четыре уже столѣтія какъ ее понимаетъ. Вотъ теперешнихъ дипломатовъ не понялъ бы вовсе, еслибъ объ нихъ узналъ; но вѣдь кто-жъ ихъ пойметъ? Да, великій народъ нашъ былъ взращенъ какъ звѣрь, претерпѣлъ мученія еще съ самаго начала своего, за всю свою тысячу лѣтъ, такія, какихъ ни одинъ народъ въ мірѣ не вытерпѣлъ бы, разложился бы и уничтожился, а нашъ только окрѣпъ и сплотился въ этихъ мученіяхъ. Не корите же его за „звѣрство и невѣже-

ство", господа мудрецы, потому что вы, именно вы-то для него ничего и не сдѣлали. Напротивъ, вы ушли отъ него, двѣсти лѣтъ назадъ, покинули его и разъединили съ собой, обратили его въ податную единицу и въ оброчную для себя статью, и росъ онъ, господа просвѣщенные европейцы, вами же забытый и забитый, вами же загнанный какъ звѣрь въ берлогу свою, но съ нимъ былъ его Христосъ и съ нимъ однимъ дожилъ онъ до великаго дня, когда двадцать лѣтъ тому назадъ сѣверный орелъ, воспламененный огнемъ милосердія, взмахнулъ и расправилъ свои крылья и осѣнилъ его этими крылами... Да, звѣрства въ народѣ много, но не указывайте на него. Это звѣрство—тина вѣковъ, она вычистится. И не то бѣда, что есть еще звѣрство; бѣда въ томъ, если звѣрство вознесено будетъ какъ добродѣтель. Я видалъ и разбойниковъ, страшно много надѣлавшихъ звѣрства, и павшихъ развращенною и ослабѣвшею волею своею ниже всего низкаго; но эти развращенные и столь упавшіе звѣри—знали по крайней мѣрѣ про себя, что они звѣри и чувствовали, сколь упали они, и въ минуты чистыя и свѣтлыя, которыя и звѣрямъ посылаетъ Богъ,—сами умѣли осудить себя, хотя часто не въ силахъ уже были подняться. Другое дѣло когда звѣрство воздвигается надъ всѣми, какъ идолъ, и люди ему поклоняются, считая себя именно за это-то добродѣтельными. Лордъ Биконсфильдъ, а за нимъ и всѣ Биконсфильды, и наши и европейскіе, зажали уши себѣ и закрыли глаза на звѣрства и муки, которымъ подвергаютъ цѣлыя племена людей, и измѣнили Христу—ради „интересовъ цивилизаціи" и ради того, что измученныя племена называются славянами, то-есть несутъ въ себѣ нѣчто новое, а стало быть ихъ тѣмъ болѣе надо задавить совсѣмъ до корня, и тоже ради интересовъ старой загнившей цивилизаціи. Вотъ это такъ звѣрство — образованное и вознесенное какъ добродѣтель, и кланяются ему какъ идолу, и на Западѣ, и у насъ еще въ Россіи. А „блаженнѣйшій папа, непогрѣшимый намѣстникъ Божій", отходя къ Богу, въ послѣдніе дни свои на землѣ,—развѣ не пожелалъ онъ побѣды туркамъ и мучителямъ христіанства надъ русскими, ополчившимися во имя Христа за христіанство, — за то только, что, по его *непогрѣшимому* опредѣленію, турки все же лучше русскихъ еретиковъ, не признающихъ папу? Развѣ это не звѣрство, не варварство? Да, пророчество Іоанна Лихтенбергера сильно подходитъ къ настоящей минутѣ. И не разумѣть-ли намъ ужъ и папу въ числѣ другихъ-то „вершинъ прегордыхъ", которыхъ заставитъ трепетать взмахнувшій крылами орелъ? Кстати, чтобъ покончить съ пророчествомъ: что же разумѣлъ Іоаннъ Лихтенбергеръ, говоря о томъ, что „придетъ орелъ, который огонь возбудитъ въ лонѣ невѣсты Христовой, и будутъ три побочныхъ и одинъ законный, который другихъ пожретъ?" На религіозномъ и мистическомъ языкѣ подъ выраженіемъ „невѣста Христова" всегда разумѣлась вообще церковь. Кто же трое побочныхъ и одинъ законный? Казалось должно бы тутъ разумѣть, т. е. если ужъ его принимать за предсказателя, три исповѣданія: католицизмъ, протестантство и... какое же третье-то изъ незаконныхъ? И какое же законное-то?

Но оставимъ Іоанна Лихтенбергера. Серьезно говорить обо всемъ этомъ трудно; все это лишь мистическая аллегорія, хотя бы и похожая нѣсколько на правду.

И мало-ли бываетъ совпаденій? Правда, все это написано и напечатано въ 1528 году и это очень любопытно. Въ то время должно быть часто являлись подобныя сочиненія, и хотя время это еще только предшествовало войнамъ великой протестантской реформаціи, но уже протестантовъ, реформаторовъ и пророковъ было много. Извѣстно тоже, что потомъ, особенно въ протестантскихъ арміяхъ, всегда появлялись изступленные „пророки“ изъ самихъ сражавшихся, предсказатели и конвульсіонеры. Если я сообщилъ эту латинскую выписку изъ старой книги (несомнѣнно существующей, — повторяю это), то единственно какъ занимательный фактъ. Не какъ чудо, да и не одни лишь чудеса чудесны. Всего чудеснѣе бываетъ весьма часто то, что происходитъ въ дѣйствительности. Мы видимъ дѣйствительность всегда почти такъ, какъ *хотимъ* ее видѣть, какъ сами, *предвзято*, желаемъ растолковать ее себѣ. Если же подчасъ вдругъ разберемъ и въ видимомъ увидимъ не то что хотѣли видѣть, а то что есть *въ самомъ дѣлѣ*, то прямо принимаемъ то, что увидѣли, за чудо, и это весьма не рѣдко, а подчасъ, клянусь, повѣримъ скорѣе чуду и невозможности, чѣмъ дѣйствительности, чѣмъ истинѣ, *которую не желаемъ видѣть*. И такъ всегда бываетъ на свѣтѣ, въ томъ вся исторія человѣчества.

II.

Объ анонимныхъ ругательныхъ письмахъ.

Я заграницу не поѣхалъ и нахожусь теперь въ курской губерніи. Мой докторъ, узнавъ что я имѣю случай провести лѣто въ деревнѣ, да еще въ такой губерніи, какъ курская, прописалъ мнѣ пить въ деревнѣ Ессентукскую воду и прибавилъ, что это будетъ для меня несравненно полезнѣе Эмса, къ водѣ котораго я-де уже привыкъ. Долгомъ считаю заявить, что я получилъ весьма много писемъ отъ моихъ читателей съ самымъ сочувственнымъ выраженіемъ ихъ ко мнѣ участія по поводу моего объявленія о болѣзни. И вообще, къ слову скажу, за все время изданія моего „Дневника“ я получилъ и продолжаю получать много писемъ, подписанныхъ и анонимныхъ, столь для меня лестныхъ и столь одобрявшихъ и поддерживавшихъ меня въ трудѣ моемъ, что, прямо скажу, я никогда не разсчитывалъ на такое всеобщее сочувствіе и никогда не считалъ себя достойнымъ того. Эти письма я сберегу какъ драгоцѣнность и— что тутъ приторнаго, если я заявляю объ этомъ печатно? Неужто дурно, что я цѣню и дорожу общимъ вниманіемъ? Но, скажутъ, вы теперь хвалитесь, хвастаетесь. Пусть скажутъ это, я знаю про себя, что это не хвастовство, что я заявляю лишь мою благодарность, мое искреннее чувство и слишкомъ ужъ не молодъ, чтобъ не понимать какъ раздражаю иныхъ господъ моимъ заявленіемъ. Но и господъ этихъ, кажется, у меня тоже слишкомъ немного. Изъ нѣсколькихъ сотъ писемъ, полученныхъ мною за эти полтора года изданія „Дневника“, по крайней мѣрѣ сотня (но навѣрно больше) было анонимныхъ, но изъ этихъ ста анонимныхъ писемъ лишь два письма были абсолютно враждебныя. Есть несогласные со мной въ убѣжденіяхъ, тѣ прямо излагаютъ свои возраженія, но всегда серьезно, искренно, безъ малѣйшихъ личностей, и въ подписанныхъ, и въ

анонимныхъ письмахъ, и я лишь жалѣю, что, по множеству получаемыхъ писемъ, никакъ не могу всѣмъ отвѣтить. Но эти два письма—исключенія, и написаны не для возраженія, а для ругательства. И вотъ, эти-то господа сочинители этихъ писемъ и будутъ раздражены моимъ заявленіемъ благодарности. Послѣднее изъ этихъ писемъ какъ разъ касается моего объявленія о болѣзни. Мой анонимный корреспондентъ разсердился не на шутку: какъ, дескать, я осмѣлился объявить печатно о такомъ частномъ, личномъ дѣлѣ какъ моя болѣзнь, и въ письмѣ ко мнѣ написалъ, на мое объявленіе свою пародію, весьма неприличную и грубую. Но, отлагая главную цѣль письма — ругательство, я невольно заинтересовался вопросомъ, именно: если я, напримѣръ, поставленъ въ необходимость, по разстроенному здоровью, уѣхать лечиться, а потому принужденъ не выдать майскій № „Дневника“ своевременно, а вмѣстѣ съ іюньскимъ, и такъ какъ я каждый разъ, въ каждомъ выпускѣ „Дневника“ объявлялъ о времени выхода слѣдующаго номера, — то мнѣ и показалось что прямое, голословное, безо всякихъ объясненій объявленіе о томъ, что слѣдующій выпускъ „Дневника“ выйдетъ вмѣстѣ съ іюньскимъ, было бы нѣсколько безцеремоннымъ и почему же было не объявить причину, изъ за которой такъ вышло? И развѣ, въ объявленіи моемъ, такъ ужъ много я расписалъ о моей болѣзни? Но все это конечно пустяки, и еслибъ дѣло шло лишь отъ человѣка серьозно шокированнаго въ своемъ чувствѣ литературнаго и общественнаго приличія, то получился бы любопытный, хотя отчасти пожалуй и почтенный экземпляръ господина, стоящаго можетъ быть и внѣ литературы, но изъ безкорыстной любви къ ней, такъ сказать, сгорающаго почтеннымъ огнемъ соблюденія литературныхъ приличій, и хоть доводящаго свои стремленія до щепетильности, тѣмъ не менѣе выводящаго ихъ изъ источника уважаемаго и любопытнаго,—такъ что я, изъ одной только деликатности, не могъ бы отказать такому анониму въ своего рода уваженіи. Но ругательства все испортили: ясное дѣло что въ нихъ-то и была вся цѣль. И ужъ безъ сомнѣнія припоминать все это здѣсь и не стоило бы; но мнѣ давно хотѣлось сказать слова два вообще объ анонимныхъ письмахъ, т. е. собственно о ругательныхъ анонимныхъ письмахъ, и я радъ что набрелъ на случай.

Дѣло въ томъ, что мнѣ давно казалось что въ наше время, столь неустойчивое, столь переходное, столь исполненное перемѣнъ и столь мало кого удовлетворяющее (да такъ и должно быть) — непремѣнно должно было развестись чрезвычайное множество людей, такъ сказать, обойденныхъ, позабытыхъ, оставленныхъ безъ вниманія и досадующихъ: „зачѣмъ, дескать, вездѣ *они*, а не я, зачѣмъ не обращаютъ и на меня вниманія“. Въ этомъ состояніи личнаго раздраженія и неудовлетвореннаго, такъ сказать, идеала, иной господинъ готовъ подчасъ взять спичку и идти зажигать,—до того это чувство мучительно, я это очень понимаю, и чтобъ осуждать это надо вооружиться скорѣе гуманностью чѣмъ негодованіемъ. Но зажигать спичкой уже крайность и, такъ сказать, удѣлъ натуръ могучихъ, Байроновскихъ. Къ счастью есть выходы не столь ужасные для натуръ не столь могучихъ. Такой выходъ — просто напакостить, ну тамъ наклеветать, налгать, насплетничать, или

анонимное ругательное письмо пустить. Однимъ словомъ, я сталъ давно уже подозрѣвать, и подозрѣваю до сихъ поръ, что наше время должно быть непремѣнно временемъ, хотя и великихъ реформъ и событій, это безспорно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и усиленныхъ анонимныхъ писемъ ругательнаго характера. Что касается литературы, то тутъ нѣтъ никакого сомнѣнія: анонимныя ругательныя письма составляютъ, такъ сказать, неотъемлемую часть современной русской литературы и сопровождаютъ ее по всѣмъ направленіямъ,—и кто только изъ издателей и писателей не получаетъ ихъ, я даже справлялся кой въ какихъ изданіяхъ, и въ одномъ изъ нихъ — именно въ одномъ изъ тѣхъ, которыя пошли вдругъ, произвели впечатлѣніе быстрое, внезапное, и угодили публикѣ въ такой степени, что сами даже на такой успѣхъ не расчитывали, — въ этомъ изданіи, одинъ изъ ближайшихъ участниковъ его повѣдалъ мнѣ, что они получаютъ такое множество ругательныхъ анонимныхъ писемъ, что ужъ и не читаютъ ихъ вовсе, а только распечатываютъ. Онъ было хотѣлъ разсказать мнѣ иныя изъ такихъ посланій въ подробности, но съ первыхъ же словъ залился неудержимымъ смѣхомъ. Да такъ и должно быть; наши неопытные анонимы и не подозрѣваютъ еще, кажется, что чѣмъ ругательнѣе ихъ письма, тѣмъ они невиннѣе и безвреднѣе. Черта хорошая: она обозначаетъ, что наши анонимы хоть и горячи, но все же безъ выдержки и не понимаютъ, что чѣмъ вѣжливѣе, чѣмъ достойнѣе тонъ язвительнаго анонимнаго письма, тѣмъ оно будетъ злѣе и сильнѣе подѣйствуетъ. Іезуитства-то этого, стало быть, еще не развилось у насъ, во второй, *высшій* фазисъ свой не вступило это дѣло, а, стало быть, находится еще въ самомъ только началѣ и, стало быть, есть всего лишь плодъ перваго необузданнаго пыла, а не плодъ обдуманнаго, строго воспитаннаго злобнаго чувства. Это не испанское, такъ сказать, мщеніе, готовое принести для достиженія цѣли своей даже великія жертвы и научившееся выдержкѣ. Нашъ анонимный ругатель далеко еще не тотъ таинственный незнакомецъ изъ драмы Лермонтова „Маскарадъ“ — колоссальное лицо, получившее отъ какого-то офицерика когда-то пощечину и удалившееся въ пустыню тридцать лѣтъ обдумывать свое мщеніе. Нѣтъ, дѣйствуетъ пока все еще та же славянская природа наша, которой всего бы только поскорѣй выругаться, да тѣмъ и покончить (а чего добраго, такъ даже тутъ же и помириться) и, согласитесь, что все это, въ одномъ смыслѣ отрадно, ибо и тутъ стало быть все это, такъ сказать, юно, молодо, свѣжо, въ родѣ какъ бы весна жизни, хотя, надо сознаться, препакостная. Долгомъ считаю присовокупить еще наблюденіе: кажется наше молодое поколѣніе, т. е. слишкомъ юное, подростки, анонимныхъ ругательныхъ писемъ не пишутъ. Я получаю отъ молодежи множество писемъ и всѣ подписанныя. Не подписанныя изъ нихъ только тѣ, которыя выражаютъ слишкомъ ужъ дружескія чувства. Несогласные же со мною въ чемъ нибудь изъ молодежи всегда подписываются. (Анонимное же ругательное письмо слишкомъ легко узнать и слишкомъ ясно, по многимъ признакамъ и пріемамъ, что оно не изъ молодаго поколѣнія идетъ, не отъ юнаго подростка). И такъ молодежь наша очевидно понимаетъ, что, во-первыхъ, можно напи-

сать весьма даже рѣзкое письмо, но что подпись подъ такимъ письмомъ придастъ выраженіямъ чрезвычайную цѣну, и что весь характеръ такого письма измѣнится къ лучшему черезъ подпись, которая придастъ ему духъ прямодушія, мужества, готовности постоять и отвѣтить за свои убѣжденія, да и самая рѣзкость выраженій покажетъ лишь горячку убѣжденія, а не желаніе оскорбить. И такъ, ясное дѣло, что не подписывающійся ругатель желаетъ главное выругаться площадными ругательствами, желаетъ доставить себѣ прежде всего это именно удовольствіе, а другой цѣли не имѣетъ. И вѣдь самъ онъ знаетъ, что дѣлаетъ пакость и что самъ себѣ вредитъ, т. е. силѣ письма своего, но ужъ такова потребность выругаться. Эту черту, т. е. эту потребность, надо замѣтить, ибо она все еще предоминируетъ въ нашемъ интелигентномъ обществѣ. И пусть не смѣются надо мной, что я вѣрю что такая черта у насъ *предоминируетъ;* я убѣжденъ, что не преувеличиваю, и что мы стоимъ теперь на этой именно точкѣ развитія, такъ сказать, въ массѣ нашей. Къ тому же сообразите и то, что можно во всю жизнь не написать ни одного анонимнаго ругательнаго письма, а между тѣмъ всю жизнь носить въ себѣ душу анонимнаго ругателя; а вѣдь это тоже важное соображеніе. И что въ томъ, что я, въ полтора года, получилъ всего лишь два ругательныхъ письма; это лишь доказываетъ мою невинность и непримѣтность, равно какъ и малый кругъ моей дѣятельности, а сверхъ того и то, что я имѣю дѣло лишь съ порядочными людьми. Другіе же дѣятели, болѣе моего примѣтные (а стало быть уже потому одному болѣе моего виновные), и сверхъ того принужденные дѣйствовать по самому роду и характеру изданій своихъ въ чрезвычайно расширенномъ кругѣ дѣйствія, получаютъ ругательныхъ писемъ можетъ быть по двѣсти, а не по два въ полтора года. Однимъ словомъ, я убѣжденъ, что, европейская цивилизація чрезвычайно мало привила къ намъ гуманности и что у насъ людей, желающихъ выругаться быстро и непосредственно, въ каждомъ случаѣ, который имъ чуть-чуть не понравится, даже можетъ быть до того не мало, что страшно сказать; а желающихъ выругаться—при томъ же и безнаказанно, анонимно и безопасно, изъ-за двери, еще того больше, и вотъ какъ разъ анонимное письмо даетъ эту возможность: письмо не прибьешь и письмо не краснѣетъ.

Въ старину у насъ европейской чести не было, наши бояре ругивались и даже дирались между собою откровенно и плюха за большую и окончательную поруху чести не считалась. Но за то у нихъ была своя честь, хоть и не въ европейской формѣ, но не менѣе чѣмъ тамъ священная и серьезная, и изъ-за этой чести боринъ пренебрегалъ иной разъ всѣмъ состояніемъ своимъ, положеніемъ своимъ при дворѣ, даже царскою милостью. Но, съ перемѣною костюма и съ введеніемъ европейской шпаги, началась у насъ новая европейская честь и—въ цѣлые два вѣка не принялась серьезно, такъ что старое забыли и оплевали, а новое приняли недовѣрчиво и скептически. Приняли, такъ сказать, механически, а душевно позабыли что значитъ честь и сердечную потребность въ ней утратили и это, страшно признаться, за весьма можетъ быть малыми исключеніями.

Въ эти два вѣка нашего европейскаго и шпажнаго, такъ сказать, періода, честь и совѣсть, странно даже сказать, сохранилась наиболѣе и даже цѣликомъ въ нашемъ народѣ, до котораго почти и не коснулся шпажный періодъ нашей исторіи. Пусть народъ грязенъ, невѣжественъ, варварственъ, пусть смѣются надъ моимъ предположеніемъ безъ малѣйшаго снисхожденія, но во всю мою жизнь я вынесъ убѣжденіе, что народъ нашъ несравненно чище сердцемъ высшихъ нашихъ сословій и что умъ его далеко не на столько раздвоенъ, чтобъ рядомъ съ самою свѣтлою идеею лелѣять тутъ-же, тотчасъ-же, и самый гаденькій антитезъ ея, какъ сплошь да рядомъ въ интелигенціи нашей, да еще оставаться съ обѣими этими идеями, не зная которой изъ нихъ вѣровать и отдать преимущество на практикѣ, да еще называть это состояніе ума и души своей—богатствомъ развитія, благами европейскаго просвѣщенія, и хоть и умирать при такомъ богатствѣ отъ скуки и отвращенія, но въ тоже время изъ всѣхъ силъ смѣяться надъ простымъ, не тронутымъ еще чужою цивилизаціей, народомъ нашимъ за наивность и прямодушіе его вѣрованій... Но тема эта обширная. Просто скажу: самый грубый изъ народа постыдится иныхъ мыслей и побужденій иного нашего „высшаго дѣятеля“, я увѣренъ въ томъ, и съ отвращеніемъ отвернется отъ большей части дѣлъ нашихъ интелигентныхъ людей. Я увѣренъ, что онъ не понимаетъ и долго еще не пойметъ, что можно наединѣ, за дверями, когда никто не подглядываетъ, дѣлать про себя пакости и считать ихъ вполнѣ дозволительными, нравственно дозволенными, единственно потому что нѣтъ свидѣтелей и никто не подглядываетъ,—а между тѣмъ эта черта до ужаса часто практикуется въ интелигентномъ сословіи нашемъ, да еще безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти, и даже напротивъ весьма часто съ высшимъ удовлетвореніемъ ума и высшихъ свойствъ просвѣщеннаго духа. По понятіямъ народа, то, что пакостно на міру, пакостно и за дверями. Между тѣмъ мы на народъ-то и смотримъ именно какъ на пахабника, пакостника, обскурантнаго ругателя и находящаго лишь наслажденіе въ ругательствѣ. Кстати припомнить, тѣмъ болѣе что это уже давно прошло и измѣнилось. Во времена моей юности было у военныхъ людей, въ огромномъ большинствѣ ихъ, убѣжденіе, что русскій солдатъ, какъ вышедшій изъ народа, чрезвычайно любитъ говорить пахабности, ругатель и сквернословъ. А потому, чтобъ быть популярными, иные командиры, на ученіяхъ напримѣръ, позволяли себѣ такъ ругаться, съ такими утонченностями и вывертами, что солдаты буквально краснѣли отъ этихъ ругательствъ, а потомъ, у себя въ казармахъ, старались забыть высказанное начальствомъ, и на того, который припоминалъ, вскрикивали всею артелью. *Я бывалъ самъ лично тому свидѣтелемъ.* А командиры-то какъ довольны были въ душѣ, что вотъ дескать какъ они поддѣлались подъ духъ русскаго солдата! Да чего,—даже Гоголь въ „Перепискѣ съ друзьями“, совѣтовалъ пріятелю, распекая крѣпостнаго мужика всенародно, употреблять непремѣнно крѣпкія слова, и даже приводилъ какія именно: т. е. именно тѣ изъ нихъ, которыя садче, въ которыхъ какъ можно больше бы оказывалось, такъ сказать, нравственной пахабности, чѣмъ наружной, утонченности чтобъ въ ругательствѣ больше было. Между

тѣмъ народъ русскій хоть и ругается, къ сожалѣнію, крѣпкими словами, но далеко не весь, далеко не весь, въ самой незначительной даже своей долѣ (повѣрятъ-ли тому?) а главное (и безспорно), ругается онъ скорѣе машинально чѣмъ съ нравственною утонченностью, скорѣе по привычкѣ чѣмъ съ умысломъ, и вотъ это-то, послѣднее-то, т. е. съ умысломъ, случается лишь въ чрезвычайно рѣдкихъ экземплярахъ у бродягъ, пропоицъ и всякихъ стрюцкихъ презираемыхъ народомъ. Народъ хоть и ругается по привычкѣ, но самъ знаетъ что эта привычка скверная и осуждаетъ ее. Такъ что отучить народъ отъ ругательствъ, по моему, есть просто дѣло механической отвычки, а не нравственнаго усилія. Вообще эта идея о народѣ нашемъ, какъ о любителѣ подлыхъ ругательствъ, по моему мнѣнію, укоренилась въ интелигентномъ слоѣ нашемъ, главное, уже тогда, когда уже произошелъ окончательный, нравственный разрывъ его съ народомъ, кончившійся, какъ извѣстно, со стороны интелигентнаго слоя нашего совершеннымъ непониманіемъ народа. Тогда-то явилось много и другихъ всякихъ ошибочныхъ идей о нашемъ народѣ. Пусть не повѣрятъ мнѣ и свидѣтельству моему, что народъ нашъ вовсе не такой ругатель, какъ до сихъ поръ его представляли себѣ и описывали, пусть: я вѣдь убѣжденъ, что свидѣтельство мое оправдается. Тѣже надежды, которыя возлагаю я на народъ, возлагаю я и на юное поколѣніе наше. Народъ и юное поколѣніе интелигенціи нашей сойдутся вмѣстѣ вдругъ и во многомъ и гораздо ближе и успѣшнѣе поймутъ другъ друга, чѣмъ то было въ наше время и въ наше поколѣніе. Въ молодежи нашей есть серьезность и, дай только Богъ, чтобъ она была умнѣе направлена. Кстати о молодежи: одинъ весьма молодой человѣкъ прислалъ мнѣ недавно въ письмѣ весьма рѣзкое возраженіе на одну тему, на какую—умолчу, и подписался подъ своимъ рѣзкимъ (но отнюдь не невѣжливымъ) письмомъ en toutes lettres, да еще выставилъ адресъ. Я пригласилъ его къ себѣ объясниться. Онъ пришелъ и поразилъ меня горячностью и серьезностью своего отношенія къ дѣлу. Кой въ чемъ онъ со мной согласился и ушелъ въ раздумьи. Замѣчу еще, что, какъ мнѣ кажется, юное поколѣніе наше гораздо лучше умѣетъ спорить чѣмъ старики, т. е. собственно въ манерѣ спора: они выслушиваютъ и даютъ говорить — и это именно отъ того, что для нихъ разъясненіе дѣла дороже ихъ самолюбія. Уходя, онъ пожалѣлъ о рѣзкости письма своего и все это вышло у него съ неподдѣльнымъ достоинствомъ. Руководителей нѣтъ у нашей молодежи, вотъ что! А ужъ какъ она въ нихъ нуждается, какъ часто она устремлялась съ восторгомъ во слѣдъ людей, хотя и не стоившихъ того, но чуть-чуть если искреннихъ! И каковы или каковъ долженъ быть этотъ будущій руководитель — тамъ кто бы онъ ни былъ? Да и пошлетъ-ли еще намъ такихъ людей наша русская судьба — вотъ вопросы!

III.

Планъ обличительной повѣсти изъ современной жизни.

А вѣдь я объ анонимномъ ругателѣ еще не кончилъ. Дѣло въ томъ, что этакой человѣкъ можетъ представить собою чрезвычайно серьезный литературный типъ, въ романѣ или повѣсти.

Главное, тутъ можно и надо взглянуть съ иной уже точки зрѣнія, съ точки общей, гуманной и согласить ее съ русскимъ характеромъ вообще и съ современною текущею причинностью появленія у насъ этого типа въ особенности. Въ самомъ дѣлѣ, чуть-чуть вы начнете работать надъ этимъ характеромъ, какъ тотчасъ сознаетесь, что у насъ безъ такихъ людей теперь и не можетъ быть, или еще ближе—что только подобнаго рода людей мы, скорѣе всего, и ожидать должны въ наше время, и что если ихъ сравнительно еще мало, то это именно по особой милости Божіей. Въ самомъ дѣлѣ все это народъ взросшій въ нашихъ недавнихъ шаткихъ семействахъ, у недовольныхъ скептическихъ отцовъ, передавшихъ дѣтямъ одно равнодушіе ко всему насущному и много, много что какое-то неопредѣленное безпокойство на счетъ чего-то грядущаго, страшно фантастическаго, но во что однако же наклонны увѣровать даже эти такъ называемые *готовые* реалисты и холодные ненавистники нашего настоящаго. Да сверхъ того передавшихъ имъ разумѣется свой скептическій безсильный смѣхъ, хотя и мало сознательный, но всегда вседовольный. Мало-ли взросло за послѣднія двадцать, двадцать пять лѣтъ дѣтей у этихъ гадкихъ завистниковъ, прожившихъ послѣднія выкупныя и оставившихъ дѣтямъ нищету и завѣтъ подлости—развѣ мало такихъ семействъ? И вотъ молодой человѣкъ вступаетъ, положимъ, на службу. Фигуры нѣтъ, „остроумія нѣтъ“, связей никакихъ. Есть природный умъ, который впрочемъ у всякаго есть, но такъ какъ онъ у него воспитанъ прежде всего на безцѣльномъ зубоскальствѣ, вотъ ужъ двадцать пять лѣтъ принимающемся у насъ за либерализмъ, то ужъ конечно нашъ герой свой умъ немедленно принимаетъ за геній. О, Боже, какъ не оказаться безраничному самолюбію, когда человѣкъ выросъ безъ малѣйшей нравственной выдержки. И сначала онъ куражится ужасно, но такъ какъ въ немъ все-таки умъ (я для типа предпочитаю взять человѣка нѣсколько умнѣе средины людей чѣмъ глупѣе, ибо только въ этихъ двухъ случаяхъ и возможно появленіе такого типа), то онъ скоро догадывается, что зубоскальство все же вещь отрицательная и до положительнаго ни до чего не доведетъ. И что если довольствовался имъ его батюшка, то вѣдь потому, что тотъ былъ все же старый колпакъ, хоть и либеральный человѣкъ, ну а онъ, сынокъ, все же геній, и только вотъ покамѣстъ проявить себя затрудняется. О, онъ конечно готовъ на всякую самую положительную подлость въ душѣ, „ибо почему же не употребить подлость въ дѣло? Да и кто можетъ доказать въ нашъ вѣкъ что подлость есть подлость“ и т. д. и т. д.—Однимъ словомъ, онъ вѣдь взросъ на этихъ готовыхъ вопросахъ. Но онъ скоро догадывается, что нынѣ, чтобъ даже и подлость-то употребить въ дѣло надо ждать долгой вакансіи, да къ тому же отъ нравственной готовности на подлость до дѣла даже и ему пожалуй далеко, и надо предварительно еще, такъ сказать, практически выровняться. Ну, конечно, будь онъ поглупѣе, онъ бы мигомъ устроился: „высшія поползновенія долой и примоститься поскорѣе къ тому-то или къ такому-то, да ужъ и тянуть за нимъ лямку послушно и убѣжденно и—въ концѣ карьера“. Но самолюбіе-то, убѣжденіе-то въ своей геніальности пока еще долго мѣшаетъ: не можетъ онъ даже и въ мысли своей слить столь славную предполагаемую судьбу

свою съ судьбой такого-то иль такого-то: „Нѣтъ-съ, мы пока еще въ опозиціи, а если они захотятъ меня, то пусть сами придутъ-поклонятся“. И вотъ онъ ждетъ пока кто нибудь ему поклонится, и злится, злится и ждетъ, а между тѣмъ, подъ бокомъ у него такой-то уже шагнулъ выше его, другой уже примостился, а третій уже сѣлъ ему въ начальники,—этотъ третій, которому онъ же, тамъ въ ихъ „высшемъ училищѣ“ изобрѣлъ прозвище и пустилъ на него эпиграмму въ стихахъ, когда рукописный, училищный журналъ издавалъ и слылъ тамъ за генія. „Нѣтъ-съ, это обидно! Нѣтъ, зачѣмъ же не я, а онъ? И вездѣ-то, вездѣ-то все занято! Нѣтъ, думаетъ онъ, тутъ не моя карьера, да и что служить, служатъ мѣшки, мое поприще литература—и вотъ онъ начинаетъ разсылать по редакціямъ свои произведенія, сначала incognito, потомъ съ обозначеніемъ полнаго имени. Ему, разумѣется, не отвѣчаютъ; въ нетерпѣніи онъ пускается лично обивать пороги редакцій. При случаѣ, получая обратно рукопись, позволяетъ себѣ даже побрить, желчно позубоскальничать, такъ сказать, сердце сорвать, но все это не помогаетъ. „Нѣтъ, видно и тутъ все занято“, думаетъ онъ, скорбно усмѣхаясь. Главное, его все мучитъ роковая забота отыскивать всегда и вездѣ какъ можно больше людей хуже себя. О, онъ бы и понять никогда не могъ, какъ это можно радоваться тому, что есть и лучше его! Вотъ тогда-то онъ и натыкается въ первый разъ на мысль пустить въ какую нибудь редакцію, изъ тѣхъ, гдѣ его наиболѣе обидѣли, злобное неподписанное письмецо. Написалъ, пустилъ, повторилъ въ другой разъ — понравилось. Но послѣдствій все таки никакихъ, все по прежнему кругомъ его глухо, нѣмо и слѣпо. „Нѣтъ, чтожъ это за карьера“, рѣшаетъ онъ окончательно и рѣшаетъ наконецъ „примоститься“. Онъ выбираетъ *лицо*— именно своего начальника—директора, тутъ можетъ быть какъ нибудь помогаетъ ему и случай и связишки. И Поприщинъ у Гоголя началъ вѣдь съ того, что отличился чинкою перьевъ и былъ вытребованъ для сей цѣли въ квартиру его превосходительства, гдѣ и увидалъ директорскую дочку, для которой очинилъ два пера. Но время Поприщиныхъ прошло, да и перьевъ теперь не чинятъ, да и не можетъ измѣнить нашъ герой своему характеру: не перья въ его головѣ, а самыя дерзкія мечты. Короче, въ самый короткій срокъ, онъ уже убѣжденъ, что плѣнилъ директорскую дочку и что та по немъ изнываетъ. „Ну вотъ и карьера“, думаетъ онъ, „да и къ чему бы годились женщины, еслибъ нельзя было черезъ нихъ сдѣлать умному человѣку карьеру: въ этомъ, въ сущности, весь женскій вопросъ и заключается, если реально-то обсудить его. А главное, и не стыдно: мало-ли кто выходилъ на дорогу черезъ женщинъ?“ Но—но тутъ какъ разъ подвертывается, какъ и у Поприщина, адъютантъ! Поприщинъ поступилъ по своему характеру: онъ сошелъ съ ума на мечтѣ о томъ, что онъ Испанскій король. И какъ натурально! Что могло оставаться приниженному Поприщину, безъ связей, безъ карьеры, безъ смѣлости и безъ всякой иниціативы, да еще въ то петербургское время, какъ не броситься въ самое отчаянное мечтаніе и повѣрить ему? Но нашъ Поприщинъ, современный намъ Поприщинъ, — ни за что въ мірѣ не въ состояніи повѣрить, что онъ такой же самый Поприщинъ, какъ и первоначальный, только повторившійся тридцать лѣтъ спустя. Въ

душѣ его громы и молніи, презрѣніе и сарказмы и—и вотъ онъ бросается тоже въ мечту, но въ другую. Онъ вспоминаетъ, что на свѣтѣ могутъ быть анонимныя письма и что они уже разъ употреблены имъ, и — вотъ онъ рискуетъ свое письмецо, но уже не въ журнальную редакцію, а почище-съ: онъ чувствуетъ, что вступаетъ въ новый практическій фазисъ. О, какъ онъ запирается въ своей каморкѣ отъ своей хозяйки, какъ трепещетъ, чтобъ за нимъ не подглядѣли, но онъ строчитъ, строчитъ, измѣняя почеркъ, создаетъ четыре страницы клеветъ и ругательствъ, перечитываетъ съ наслажденіемъ и — просидѣвъ ночь, къ разсвѣту запечатываетъ письмо и адресуетъ—къ жениху адъютанту. Почеркъ онъ измѣнилъ, онъ не боится. Вотъ онъ разсчитываетъ часы, вотъ теперь письмо должно дойти—это жениху объ его невѣстѣ,—о, тотъ конечно откажется, онъ испугается, вѣдь это же не письмо, а „шедёвръ!“ И молодой нашъ другъ изо всѣхъ силъ знаетъ что онъ подленькій негодяй; но онъ этому только радъ: „Нынѣ-де время раздвоенія мысли и широкости, нынѣ прямолинейной мыслью не проживешь.“

Разумѣется, письмо не оказало дѣйствія, свадьба состоялась, но начало сдѣлано и герой нашъ, какъ бы, попалъ на свою карьеру. Его обуялъ своего рода миражъ какъ и Поприщина. Съ жаромъ бросается онъ въ новую дѣятельность, въ анонимныя письма. Онъ вывѣдываетъ про своего генерала, онъ соображаетъ, онъ изливаетъ все, что накопилось въ немъ за цѣлые годы неудовлетворенной службы, раздраженнаго самолюбія, желчи, зависти. Онъ критикуетъ всѣ дѣйствія генерала, онъ осмѣиваетъ его самымъ безпощаднымъ образомъ, и это въ нѣсколькихъ письмахъ, въ цѣломъ рядѣ писемъ. И какъ ему это сначала нравится? И поступки-то генерала, и жену-то его, и любовницу, и глупость всего ихъ вѣдомства—все, все изобразилъ онъ въ своихъ письмахъ. Мало по малу онъ кидается даже въ государственныя соображенія, онъ компануетъ письмо къ министру, въ которомъ предлагаетъ измѣнить Россію, уже не церемонясь. „Нѣтъ, министръ не можетъ не поразиться, геній поразитъ его и письмо дойдетъ пожалуй до... До такого то-есть лица, что... Однимъ словомъ, куражъ, mon enfant, и когда станутъ розыскивать автора, тутъ-то я разомъ и объявлюсь, такъ сказать уже безъ застѣнчивости.“ Однимъ словомъ, онъ упивается своими произведеніями и поминутно воображаетъ какъ распечатываются его письма и что за тѣмъ происходитъ на лицахъ тѣхъ лицъ... Въ такомъ расположеніи духа онъ позволяетъ себѣ иногда даже и пошалить: для штуки пишетъ къ инымъ самымъ смѣшнымъ даже лицамъ, не пренебрегаетъ какимъ-нибудь даже Егоромъ Егоровичемъ, своимъ старичкомъ столоначальникомъ, котораго и вправду чуть не сводитъ съума, анонимно увѣривъ его, что его супруга завела любовную связь съ мѣстнымъ частнымъ приставомъ (главное, что тутъ на половину могло быть и правды). Такъ проходитъ нѣкоторое время, но... но вдругъ странная идея осѣняетъ его, — именно: что вѣдь онъ Поприщинъ, не болѣе какъ Поприщинъ, тотъ же самый Поприщинъ, но только въ милліонъ разъ подлѣе, и что всѣ эти пасквили изъ-за угла, все это анонимное могущество его, есть въ сущности миражъ и больше ничего, да еще самый гаденькій миражъ, самый паскудненькій и позорный, хуже даже

чѣмъ мечта объ испанскомъ престолѣ. А тутъ какъ разъ случилось обстоятельство уже серьозное,—не позорное какое нибудь: „что позоръ, позоръ вздоръ, позора боятся теперь лишь аптекари“, а дѣйствительно страшное обстоятельство, въ самомъ дѣлѣ страшное. Дѣло въ томъ, что хоть разсудокъ и былъ у него, но все же онъ не удержался и во время своего упоенія новой карьерой, именно послѣ-то письмеца къ министру, сболтнулъ о своихъ письмахъ — кому же? нѣмкѣ, хозяйкѣ своей,—ну, конечно, не все, она бы и не поняла всего, конечно чуть-чуть, такъ, отъ избытка лишь сердца; но каково-же было его изумленіе когда, черезъ мѣсяцъ, тихоня-чиновникъ другаго вѣдомства, проживавшій у той-же хозяйки въ отдаленной комнаткѣ, злобно-молчаливый человѣчекъ, вдругъ, разсердившись на что-то, намекнулъ ему, проходя мимо въ корридорѣ, на то, что онъ, — то-есть вотъ онъ, чиновникъ-тихоня, — есть „человѣкъ нравственный, и анонимныхъ писемъ, по примѣру нѣкоторыхъ господъ, не пишетъ“. Каково! Сначала онъ не такъ испугался, мало того проэкзаменовавъ чиновника—а для того нарочно и даже унизительно помирившись съ нимъ, — онъ убѣдился, что тотъ ничего почти и не знаетъ. Но... ну а если знаетъ? Ктому же въ департаментѣ давно уже начался слухъ о томъ, что кто-то пишетъ начальству по городской почтѣ ругательства и что это непремѣнно кто-то изъ своихъ. Несчастный начинаетъ задумываться, даже не спитъ по ночамъ. Однимъ словомъ, можно особенно ярко выставить его душевныя муки, его мнительность, его промахи. Наконецъ онъ почти уже совсѣмъ убѣжденъ, что всѣ все знаютъ, что ему только не говорятъ до времени; что-же объ исключеніи его изъ службы, то это уже рѣшено, что этимъ конечно не ограничатся, — однимъ словомъ, онъ почти сходитъ съума. И вотъ разъ сидитъ онъ въ департаментѣ и почти безпредѣльное негодованіе подымаетъ его сердце на все и на всѣхъ: „О злые, проклятые люди, думаетъ онъ, ну можно ли такъ притворяться! Вѣдь они знаютъ же что *это я*, знаютъ всѣ до единаго, вѣдь они объ этомъ шепотомъ говорятъ другъ съ другомъ, когда я прохожу мимо, знаютъ и бумагу, которая обо мнѣ тамъ въ кабинетѣ приготовлена и... и всѣ притворяются! Всѣ скрываютъ отъ меня! Имъ хочется насладиться, увидѣть какъ меня потащутъ... Такъ нѣтъ же! Нѣтъ-же!“ И вотъ онъ, часъ спустя, случайно относитъ какую-то бумагу въ кабинетъ его превосходительства. Онъ входитъ, кладетъ почтительно бумагу на столъ, генералъ занятъ и не обращаетъ вниманія, онъ повертывается чтобъ неслышно выйти, берется за замокъ и—вдругъ, такъ какъ падаютъ въ бездну, бросается къ ногамъ его превосходительства, за секунду и не подозрѣвая о томъ что бросится: „Все равно погибать, лучше ужъ самъ сознаюсь!“ „Только потише, ваше превосходительство, только пожалуйста потише, ваше превосходительство! Чтобъ тамъ не услыхалъ насъ кто нибудь, а я вамъ все разскажу, все разскажу, все разскажу!“— умоляетъ онъ, какъ безумный, изумленнаго его превосходительство, сложа передъ нимъ подурацки руки. И вотъ, отрывочно, безсвязно, весь дрожа, глупо признается во всемъ, къ вящшему изумленію его превосходительства, совсѣмъ ничего и не подозрѣвавшаго. Но вѣдь и тутъ герой нашъ выдержалъ характеръ вполнѣ,—ибо для чего

онъ бросился къ ногамъ генерала? Конечно отъ болѣзни, конечно отъ мнительности, но *главное и отъ того* что онъ,—и струсившій, и униженный и себя во всемъ обвиняющій,—а все же мечталъ по прежнему, какъ всеупоенный самомнѣніемъ дурачекъ, что можетъ быть его превосходительство, выслушавъ его, и все же, такъ сказать, пораженный его геніемъ,— раскроетъ обѣ руки свои, которыми онъ столь много подписываетъ на пользу Отечества бумагъ и заключитъ его въ свои объятія: „Неужели, дескать, ты до того доведенъ былъ несчастный, но даровитый молодой человѣкъ! О, это я, я во всемъ виноватъ, я просмотрѣлъ тебя! Беру всю вину на себя. О, Боже мой, вотъ до чего принуждена доходить наша талантливая молодежь изъ за вины нашихъ старыхъ порядковъ и предразсудковъ! Но прійди, прійди на грудь мою, и — вмѣстѣ со мною раздѣли постъ мой и мы... и мы перевернемъ департаментъ!“ Но такъ не случилось, и потомъ, долго спустя, въ позорѣ и въ униженіи, вспоминая о пинкѣ носкомъ генеральскаго сапога, пришедшагося ему прямо тогда въ лицо, онъ почти искренно обвинялъ судьбу и людей: „Разъ, дескать, въ жизни моей я раскрылъ людямъ мои объятія вполнѣ, и что-же удостоился получить?“ Финалъ ему можно придумать какой нибудь самый натуральный и современный, напримѣръ, его, уже выгнаннаго изъ службы, нанимаютъ въ фиктивный бракъ, за сто руб., причемъ послѣ вѣнца онъ въ одну сторону, а она въ другую къ своему лабазнику: „и мило и благородно“ какъ выражается частный приставъ у Щедрина о подобномъ-же случаѣ.

Однимъ словомъ, мнѣ кажется, что типъ анонимнаго ругателя—весьма недурная тема для повѣсти. И серьезная. Тутъ конечно-бы нуженъ Гоголь, но... я радъ, по крайней мѣрѣ, что случайно набрелъ на идею. Можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ попробую вставить въ романъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Прежніе земледѣльцы—будущіе дипломаты.

Но куда я удалился отъ дѣла? Я началъ съ того, что я въ деревнѣ и радъ тому. Давненько таки я не живалъ въ русской деревнѣ. Но о деревнѣ потомъ, а здѣсь лишь вставлю, что я уже потому, между прочимъ, радъ что я въ деревнѣ, а не за границей, что не увижу за границей слоняющихся тамъ нашихъ русскихъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ наше, столь народное, столь единительное и патріотическое время, когда именно всюду ищешь у себя дома русскихъ, ждешь русскихъ, желаешь и требуешь русскихъ, въ такое время слишкомъ тяжело видѣть за границей, куда вотъ ужъ двадцать лѣтъ, ежегодно экспатрируется и гдѣ колонизируется наша интелигенція,—претвореніе чисто-русскаго, сыраго и превос-

ходнаго, можетъ быть, матеріала въ жалкую международную дрянь, обезличенную, безъ характера, безъ народности и безъ отечества. Я не про отцовъ говорю,—отцы неисправимы и Богъ съ ними,—а про ихъ несчастныхъ дѣтей, которыхъ они губятъ за границей. Отцы же даже отъявленнымъ нашимъ русскимъ европейцамъ становятся наконецъ смѣшны. Г. Буренинъ, отправившійся корреспондентомъ на войну, разсказываетъ въ одномъ изъ своихъ писемъ забавную встрѣчу съ однимъ изъ нашихъ европейцевъ сороковыхъ годовъ, „въ сѣдыхъ почтенныхъ кудряхъ“, проживающимъ постоянно за границей, но пріѣхавшимъ нарочно на войну посмотрѣть на „зрѣлище борьбы“ (разумѣется съ самого почтительнаго разстоянія) и разострившимся въ вагонѣ надъ всѣмъ, надъ чѣмъ вотъ ужъ сорокъ лѣтъ острятъ эти господа, т. е. надъ русскимъ духомъ, надъ славянофилами и проч. и проч. Онъ потому-де живетъ за границей, что у насъ въ Россіи „все еще нечего дѣлать серьезному и порядочному человѣку“. (NB: Я привожу цитаты на память). Одна изъ удачнѣйшихъ остротъ его состояла въ томъ что „уже сдѣлано распоряженіе по желѣзнымъ дорогамъ, привезти въ особомъ вагонѣ, въ виду вступленія нашихъ войскъ въ Болгарію и обновленія Славянства—тѣнь Хомякова“. Но этому сѣдокудрому господину можно-бы было замѣтить, что самъ онъ очень тоже похожъ на тѣнь какого нибудь, можетъ быть и весьма почтеннаго западно-либеральнаго говорильщика сороковыхъ годовъ, но который теперь, еслибъ столько лѣтъ спустя и доживъ до сѣдыхъ кудрей, повторялъ бы тоже самое, на чемъ остановился въ своихъ сороковыхъ годахъ, то ужъ конечно, даже будь онъ хоть самъ Грановскій, казался-бы, непремѣнно точь въ точь такимъ же самымъ шутомъ какъ и этотъ господинъ, извѣщавшій о распоряженіи доставить по желѣзной дорогѣ на театръ войны тѣнь Хомякова и о томъ, что въ нашей Россіи все еще нечего дѣлать порядочному человѣку.

Эмигрировали изъ Россіи (я удерживаю это слово) двадцать лѣтъ назадъ наиболѣе помѣщики и съ тѣхъ поръ эмиграція продолжается съ каждымъ годомъ. Конечно въ этомъ числѣ много и не помѣщиковъ, были всякіе, но, въ огромномъ большинствѣ, если не всѣ,—болѣе или менѣе ненавидящіе Россію, иные нравственно, вслѣдствіе убѣжденія „что въ Россіи, такимъ порядочнымъ и умнымъ, какъ они, людямъ, нечего дѣлать“, другіе уже просто ненавидя ее безо всякихъ убѣжденій, такъ сказать, натурально, физически: за климатъ, за поля, за лѣса, за порядки, за освобожденнаго мужика, за русскую исторію, однимъ словомъ, за все, за все ненавидя. Замѣчу, что такая ненависть можетъ быть и весьма пассивная, очень спокойная и до апатіи равнодушная. А тутъ какъ разъ, почувствовались въ рукахъ выкупныя и сверхъ того ужасно многихъ озарило убѣжденіе, что съ освобожденіемъ крестьянъ все погибло—и деревня, и землевладѣніе, и дворянство, и Россія. Правда и то, что съ освобожденіемъ крестьянъ сельскій трудъ остался безъ достаточной организаціи и обезпеченія, и личное землевладѣніе натурально струсило и сконфузилось такъ, какъ ни въ какой историческій переворотъ не могло бы случиться больше. Вотъ и пустились помѣщики продавать и продавать и часть ихъ (слишкомъ не малая), бросилась за границу. Но что бы ни выставляли они себѣ въ оправда-

ніе, но не могутъ же они утаить, и передъ согражданами, и передъ дѣтьми своими, что главная причина ихъ эмигрированія была тоже и приманка эгоистическаго „ничего-недѣланья“. И вотъ съ тѣхъ поръ русская личная поземельная собственность въ полнѣйшемъ хаосѣ, продается и покупается, мѣняетъ своихъ владѣтелей поминутно, мѣняетъ даже видъ свой, обезлѣсивается,—и во что обратится она, за кѣмъ останется она окончательно, изъ кого составится окончательно обновленное русское землевладѣльческое сословіе, въ какую форму преобразится оно въ концѣ концовъ — все это трудно предсказать, а между тѣмъ, если хотите, въ этомъ главнѣйшій вопросъ русской будущности. Это ужъ какой-то законъ природы, не только въ Россіи, но и во всемъ свѣтѣ: кто въ странѣ владѣютъ землей, тѣ и хозяева той страны, во всѣхъ отношеніяхъ. Такъ бывало вездѣ и всегда. Но у насъ, скажутъ, сверхъ того община,—вотъ значитъ и хозяева. Но... вопросъ объ общинѣ развѣ изъ рѣшенныхъ у насъ окончательно? Развѣ пятнадцать лѣтъ назадъ онъ не вошелъ у насъ тоже въ новый фазисъ, какъ и все остальное? Но объ этомъ обо всемъ потомъ, а заключу пока мою мысль голословно: если въ странѣ владѣніе землей *серьозное*, то и все въ этой странѣ будетъ серьозно, во всѣхъ то-есть отношеніяхъ, и въ самомъ общемъ и въ частностяхъ. Хлопочутъ, напримѣръ, у насъ о просвѣщеніи, о народныхъ школахъ, а я вотъ вѣрю только тому, что школы тогда только примутся у насъ серьезно и основательно, когда землевладѣніе и земледѣліе наше организуются у насъ серьезно и основательно, и что скорѣе не отъ школы получится хорошее земледѣліе, а напротивъ, отъ хорошаго лишь земледѣлія (т. е. отъ правильнаго землевладѣнія) получится хорошая школа, но никакъ не раньше. Паралельно же съ этимъ примѣромъ и все: и порядки, и законы, и нравственность и даже самый умъ націй, и все наконецъ, всякое правильное отправленіе національнаго организма организуется лишь тогда, когда въ странѣ утвердится прочное землевладѣніе. Тоже самое можно сказать и о характерѣ землевладѣнія: будь характеръ аристократическій, будь демократическій, но каковъ характеръ землевладѣнія, таковъ и весь характеръ націи.

Но теперь пока наши бывшіе помѣщики гуляютъ за границей, по всѣмъ городамъ и водамъ Европы, набивая цѣны въ ресторанахъ, таская за собой, какъ богачи, гувернантокъ и боннъ при своихъ дѣтяхъ, которыхъ водятъ въ кружевахъ и въ англійскихъ костюмахъ, съ голыми ножками, на показъ Европѣ. А Европа-то смотритъ, и дивится: „Вотъ вѣдь сколько у нихъ тамъ богатыхъ людей, и главное столь образованныхъ, столь жаждущихъ европейскаго просвѣщенія. Это вѣдь изъза деспотизма имъ до сихъ поръ не выдавали заграничныхъ паспортовъ, и вдругъ сколько у нихъ оказалось землевладѣтелей и капиталистовъ и удалившихся отъ дѣлъ рантьеровъ, — да больше чѣмъ даже во Франціи, гдѣ столько рантьеровъ!“ И разскажите Европѣ, растолкуйте ей, что это чисто-русское явленіе, что никакого тутъ нѣтъ рантьерства, а напротивъ пожираніе основныхъ своихъ фондовъ, сжиганіе свѣчки съ обоихъ концовъ, то Европа, конечно, не повѣритъ этому, невозможному у ней, явленію, да и не пойметъ его вовсе. И вѣдь, главное, эти сибариты, слоняю-

щіеся по германскимъ водамъ и по берегамъ швейцарскихъ озеръ, эти Лукуллы, проживающіеся въ ресторанахъ Парижа — вѣдь сами они знаютъ и съ нѣкоторою даже болью все-же предчувствуютъ, что вѣдь фонды-то они свои, наконецъ, проѣдятъ, и что дѣтямъ ихъ, вотъ этимъ самымъ херувимчикамъ въ англійскихъ костюмчикахъ, придется, можетъ быть, просить по Европѣ милостыню (и будутъ просить милостыню!) или обратиться въ французскихъ и нѣмецкихъ рабочихъ (и обратятся въ французскихъ и нѣмецкихъ рабочихъ!). Но, думаютъ они, „après nous le deluge, да и кто виноватъ: виноваты все тѣ же наши русскіе порядки, наша неуклюжая Россія, въ которой порядочному человѣку до сихъ поръ еще ничего сдѣлать нельзя.“ Вотъ какъ они думаютъ, а либеральнѣйшіе изъ нихъ, тѣ, которые могутъ назваться высшими и чистѣйшими западниками сороковыхъ годовъ, тѣ прибавляютъ еще можетъ быть про себя: „Ну что-жь, что дѣти останутся безъ состоянія, за то унаслѣдуютъ идею, благородную закваску истиннаго и священнаго образа мыслей. Воспитанные вдали отъ Россіи, они не будутъ знать поповъ и глупое слово: „Отечество“. Они поймутъ, что Отечество есть предразсудокъ и даже самый пагубнѣйшій изъ всѣхъ существующихъ въ мірѣ. Изъ нихъ выйдутъ благородные общечеловѣческіе умы. Мы и только мы русскіе, положимъ начало этимъ новымъ умамъ. Именно тѣмъ, что проживаемъ за границей наши выкупныя, мы полагаемъ основаніе новому, грядущему международному гражданству, которое, рано-ли, поздно-ли, а обновитъ Европу, и вся честь за то намъ, потому что мы начали раньше всѣхъ.“ Впрочемъ, такъ говорятъ лишь „сѣдокудрые“, т. е. еще очень немногіе, ибо много-ли передовыхъ-то? Болѣе же практическіе, и даже изъ „сѣдокудрыхъ“ *не столь благородные*, въ концѣ концовъ все еще надѣются на „связишки“: „Мы-то здѣсь проживаемся, это правда, да вѣдь и наживаемъ же что нибудь все-таки, ну тамъ знакомства, связишки, которыя потомъ въ „Отечествѣ-то“, и пригодятся. Къ тому же хоть и въ либеральномъ духѣ воспитываемъ дѣтокъ, да вѣдь все-жь джентльменами, — а въ этомъ вѣдь и все главное. Будутъ они витать въ сферахъ исключительныхъ и высшихъ, а либерализмъ въ высшихъ сферахъ всегда обозначалъ и сопровождалъ у насъ джентльменство, ибо джентльменскій либерализмъ для высшаго-то, такъ сказать, консерватизма и полезенъ, это всегда у насъ различать умѣли. И что-жь, мы дѣтей ростимъ за границей и — какъ разъ, значитъ, готовимъ ихъ въ дипломаты. Что за прелесть здѣсь всѣ эти мѣста при посольствахъ, при консульствахъ и какая бездна - бездная этихъ милѣйшихъ мѣстечекъ, и какъ восхитительно дотированныхъ! Вотъ и хватитъ на нашихъ дѣтишекъ: и покойно, и хорошо, и денежно, и прочно, да и служба всегда на виду. Да и служба чистенькая, щегольская, джентльменская; а работа, — ну а работа прелегкая: знай знакомься съ русскими за границей, изъ тѣхъ кто попорядочнѣе, а изъ тѣхъ кто накуралесятъ да защитить себя консула просятъ — мы тѣхъ свысока обернемъ, поначальственнѣе, и слушать-то не станемъ: „не вѣримъ вамъ дескать, безпорядки производите сами, все еще воображаете себя въ миломъ Отечествѣ, тогда какъ здѣсь мѣсто чистое. Изъ-за васъ непріятности получай, да

и стоитъ еще изъ-за такого какъ вы иноземное начальство безпокоить; вы только посмотрите на себя въ зеркало, до чего вы дошли-съ!“ Вотъ и вся служба въ этомъ! Однимъ словомъ, съумѣютъ и наши дѣточки выдти въ люди, да-съ, были бы только связи — вотъ что первѣе всего надо родительскому сердцу наблюсти, а прочее все приложится по востребованію“.

И такъ, всѣ не столь благородные изъ проживающихся за границей болѣе или менѣе разсчитываютъ на связишки. Но вѣдь что такое связи? Ну хоть и значатъ что нибудь, но вѣдь эта *матерья* ужасно скоро изнашивается. И далеко бы не мѣшало, кромѣ связей, запасти себѣ—ну хоть немножко знанія Россіи и собственнаго ума, хоть на всякій случай. Теперь, же именно, въ эпоху реформъ и новыхъ началъ, у насъ какъ нарочно всѣ собственнымъ умомъ хотятъ жить, всѣ того захотѣли; — идея безспорно просвѣщенная, но то бѣда, что никогда еще у насъ не бывало столь мало собственнаго ума какъ теперь, при общемъ желаніи имѣть его. Почему это такъ — рѣшать не возьмусь, да и трудно, но одну изъ причинъ почему херувимчики наши безспорно будутъ дурачками—основательно знаю, и хоть она стара, но укажу на нее. А впрочемъ все тоже самое объ чемъ я говорилъ и въ прошломъ году. Причина — русскій языкъ, т. е. недостатокъ русскаго, отечественнаго языка отъ воспитанія за границей, съ гувернантками и боннами иностранками. Это у насъ и всегда водилось, и прежде, т. е. недостатокъ этотъ, но никогда какъ теперь, когда столько херувимчиковъ взростетъ за границей. Положимъ они готовятся въ дипломаты, а дипломатическій языкъ, извѣстно, французскій языкъ; русскій же языкъ довольно знать лишь и грамматически. Но такъ-ли это? Вопросъ этотъ хоть и до пошлости старый, а между тѣмъ онъ до того еще нерѣшенный, что недавно даже въ печати о немъ опять заговорили, хоть и косвенно, по поводу сочиненій г Тургенева на французскомъ языкѣ. Выражено было даже мнѣніе что „не всели равно г-ну Тургеневу сочинять на французскомъ или на русскомъ языкѣ и что тутъ такого запрещеннаго?“ Запрещеннаго конечно нѣтъ ничего и особенно такому огромному писателю и знатоку русскаго языка, какъ Тургеневъ, и если у него такая фантазія, то почему же ему не писать на французскомъ, да и ктому же если онъ французскій языкъ почти какъ русскій знаетъ. И потому о Тургеневѣ ни слова, но... но я вижу, что я рѣшительно повторяюсь и прошлаго года говорилъ рѣшительно тоже самое, на туже самую тему, и въ этихъ же заграничныхъ мѣсяцахъ, толкуя съ заграничнo-русской маменькой о вредѣ французскаго языка для ея херувимчиковъ. Но маменька готовитъ теперь херувимчиковъ въ дипломаты и вотъ собственно лишь по поводу дипломатіи-то, хоть и непріятно повторяться, но рискну и еще ей словцо.

— Но вѣдь дипломатическій языкъ французскій, — прерываетъ меня маменька на этотъ разъ, не давъ мнѣ даже и начать. Увы, она съ прошлаго года приготовилась, она третируетъ меня свысока.—Такъ, сударыня, отвѣчаю я, возраженіе ваше сильное и я согласенъ съ вами безспорно. Но, во первыхъ, вѣдь что я говорилъ о знаніи Русскаго языка, надо приложить и къ французскому, вѣдь не правда-ли? Вѣдь чтобъ выразить богат-

ства своего организма на французскомъ языкѣ надо и французскій языкъ усвоить себѣ богатѣйшимъ образомъ. Ну такъ знайте же, есть такая тайна природы, законъ ея, по которому только тѣмъ языкомъ можно владѣть въ совершенствѣ, съ какимъ родился, т. е. какимъ говоритъ тотъ народъ, которому принадлежите вы. Вы морщитесь, я васъ обидѣлъ, вы смотрите насмѣшливо. Вы махаете ручкой и увѣряете меня, что слышали это еще прошлаго года и что я повторяюсь. Хорошо-съ, я вамъ уступаю, да и тема эта не *дамская*. Я вамъ просто за просто уступлю и соглашусь съ вами, что можно и русскому усвоить себѣ французскій языкъ въ совершенствѣ, но съ огромнымъ условіемъ: родиться во Франціи, вырости въ ней и съ самаго перваго часа своей жизни преобразиться въ француза. О, вы развеселились, вы уже улыбаетесь, но замѣтьте однако, сударыня, что это даже и для васъ не совсѣмъ возможно будетъ исполнить касательно вашего херувимчика, не смотря даже на всѣ удобства, т. е. эмиграцію, выкупныя, парижскую бонну и проч. и проч. Кромѣ же возьмите въ соображеніе и природные, такъ сказать, дары, потому что нельзя же вѣдь сравнивать г. Тургенева и вашего, напримѣръ, херувимчика относительно этихъ даровъ. Много-ль, скажите, родится Тургеневыхъ-то... Ахъ нѣтъ, нѣтъ, что я! Я опять ошибся, сболтнулъ: изъ вашего херувимчика выйдетъ навѣрно Тургеневъ, или даже три Тургенева разомъ, оставимъ это, но... — „Но, прерываете вы вдругъ меня, — вѣдь дипломаты и безъ того всѣ умны, такъ зачѣмъ же ужъ такъ хлопотать объ умѣ? Повѣрьте, были бы только связи. Mon mari..“ — Вы совершенно правы, сударыня, перебиваю и я поскорѣе, были бы связи, и оставляя вашего супруга какъ можно болѣе въ сторонѣ, все-таки прибавлю, что къ связямъ не худо-бы хоть немного ума. И во первыхъ, дипломаты вовсе не потому умны, что они дипломаты, а потому только что они и до дипломатіи были умные люди, а повѣрьте, что есть даже чрезвычайно много дипломатовъ замѣчательно глупыхъ людей.— „Ахъ нѣтъ, вотъ ужъ извините, прерываете вы меня въ нетерпѣніи, дипломаты всѣ всегда умные, и всѣ на превосходныхъ мѣстахъ, и это самая благородная служба!“ „Сударыня, сударыня, восклицаю я, вы говорите: связи и знаніе языковъ, но вѣдь связи только мѣсто доставятъ, а тамъ, потомъ.... Ну представьте себѣ: вашъ херувимчикъ взростаетъ въ ресторанахъ Европы, кутитъ съ молодыми кокотками въ товариществѣ заграничныхъ виконтовъ и нашихъ русскихъ графовъ, но вѣдь потомъ... Вотъ онъ знаетъ всѣ языки и уже по тому одному никакого. Не имѣя же своего языка, онъ естественно схватываетъ обрывки мыслей и чувствъ всѣхъ націй, умъ его, такъ сказать, сбалтывается еще съ молоду въ какую-то бурду, изъ него выходитъ международный межеумокъ съ коротенькими, недоконченными идейками, съ тупою прямолинейностью сужденія. Онъ дипломатъ, но для него исторія націй слагается какъ-то по шутовски. Онъ не видитъ, даже не подозрѣваетъ того чѣмъ живутъ націи и народы, какіе законы въ организмѣ ихъ и есть-ли въ этихъ законахъ цѣлое, усматривается-ли общій международный законъ. Онъ готовъ выводить всѣ событія міра изъ того только, что такая-то, напримѣръ, королева разсердила фаворитку такого-то

короля, вотъ и произошла отъ того война двухъ королевствъ. Позвольте, я буду съ вашей точки зрѣнія судить. Пусть связи.... Но вѣдь для пріобрѣтенія связей нуженъ характеръ, нужна, такъ сказать, любезность характера, мягкость, доброта и въ тоже время твердость, настойчивость... Дипломатъ вѣдь долженъ быть плѣнителенъ, такъ сказать, плѣнять, побѣждать, не правда-ли? Ну, такъ повѣрите-ли вы или нѣтъ, когда я вамъ прямо и въ высшей степени опредѣленно скажу, что безъ знанія натуральнаго своего языка, безъ обладанія имъ, нельзя даже выровнять себѣ и характера, особенно если херувимчикъ хорошо и богато одаренъ отъ природы: У него начнутъ-же въ свое время рождаться мысли, идеи, чувства, его будутъ давить, такъ сказать, изнутри эти мысли и чувства, ища и требуя себѣ выраженія, а безъ богатыхъ, усвоенныхъ съ дѣтства, готовыхъ формъ выраженія, т. е. безъ языка, безъ развитія его, безъ утонченностей его, безъ обладанія оттѣнками его—сынъ вашъ будетъ вѣчно недоволенъ собою; обрывки мыслей перестанутъ его удовлетворять, накопляющійся въ умѣ и въ сердцѣ матеріалъ потребуетъ основательнаго уже выраженія.... Молодой человѣкъ станетъ озабоченъ, разсѣянъ, безпредметно задумчивъ, потомъ брюзгливъ, несносенъ, потомъ разстроитъ свое здоровье, даже желудокъ можетъ быть, вѣрите-ли тому...“

Но вижу, вижу, вы покатились со смѣху, я опять увлекся, согласенъ (а вѣдь Боже, какую я правду говорю!) но позвольте мнѣ закончить, позвольте мнѣ вамъ напомнить, что я давеча вамъ уступилъ, я съ вами согласился, для виду, что дипломаты все же умные люди, но вы меня до того довели, сударыня, что я принужденъ теперь не скрыть отъ васъ даже самую секретнѣйшую подкладку взгляда моего на этотъ предметъ. Именно, сударыня, мнѣ, какъ нарочно, нѣсколько уже разъ въ жизни приходило на мысль, что въ дипломатіи, т. е. во всеобщей дипломатіи, всѣхъ народовъ и всего девятнадцатаго столѣтія, чрезвычайно даже мало было умныхъ людей. Даже поражаетъ. Напротивъ, скудоуміе этого сословія въ исторіи Европы нынѣшняго столѣтія... то есть, видите-ли, всѣ они умны, болѣе или менѣе, это безспорно, всѣ остроумны, но умы-то это какіе! Проникалъ-ли хоть одинъ изъ этихъ умовъ въ сущность вещей, понималъ-ли, предчувствовалъ-ли таинственные законы ведущіе къ чему-то Европу, къ чему-то неизвѣстному, странному, страшному—но теперь уже очевидному, почти во-очію совершающемуся въ глазахъ тѣхъ, которые чуть-чуть умѣютъ предчувствовать? Нѣтъ-съ, положительно можно изрѣчь, что не было ни одного такого дипломата и ни одного такого ума въ этомъ столь почтенномъ и фаворизированномъ сословіи! (Я ужъ конечно, говоря такъ, исключаю Россію и все отечественное, потому что мы, по самой сущности нашей, въ этомъ дѣлѣ „особъ-статья“). Напротивъ, во все столѣтіе являлись дипломатическіе умы, положимъ прехитрѣйшіе, интриганы, съ претензіей на реальнѣйшее пониманіе вещей, а между тѣмъ, дальше своего носу и текущихъ интересовъ (да еще самыхъ поверхностныхъ и ошибочныхъ) никто изъ нихъ ничего не усматривалъ! Порванныя ниточки какъ бы тамъ связать, заплаточку на дырочку положить, „пѣну подбить, вызолотить, за новое сойдетъ“—вотъ наше дѣло, вотъ наша работа! И всему тому есть причи-

ны—и главнѣйшая, по моему—разъединеніе началъ, разъединеніе съ народомъ и обособленіе дипломатическихъ умовъ въ слишкомъ ужъ, такъ сказать, великосвѣтской и отвлеченной отъ человѣчества, сферѣ. Ну возьмите, напримѣръ, графа Кавура—это-ль былъ не умъ, это-ль не дипломатъ? Я потому и беру его, что за нимъ уже рѣшена геніальность, да ктому же и потому еще что онъ умеръ. Но что-жъ онъ сдѣлалъ, посмотрите: о, онъ достигъ своего, объединилъ Италію и что же вышло: [2000 лѣтъ носила въ себѣ Италія міровую и объединяющую міръ идею—не отвлеченную какую нибудь, не спекуляцію кабинетнаго ума, а реальную, органическую, плодъ жизни націи, плодъ міровой жизни: это было объединеніе всего міра—сначала древне-римское, потомъ папское. Народы взроставшіе и преходившіе въ эти два съ половиной тысячелѣтія въ Италіи, понимали что они носители міровой идеи, а не понимавшіе чувствовали и предчувствовали это. Наука, искусство—все облекалось и проникалось этимъ же міровымъ значеніемъ. О, положимъ, что міровая эта идея тамъ, подъ конецъ, сама собой износилась и вся истратилась, вся вышла (хотя врядъ-ли такъ?), но вѣдь что-жъ, наконецъ, получилось вмѣсто-то нея, съ чѣмъ поздравить теперь-то Италію, чего достигла она лучшаго-то послѣ дипломатіи графа Кавура? А явилось объединенное второстепенное королевствьицо, потерявшее всякое міровое поползновеніе, промѣнявшее его на самое изношенное буржуазное начало, — (тридцатое повтореніе этого начала со времени первой французской революціи)—королевство вседовольное своимъ единствомъ, ровно ничего не означающимъ, единствомъ механическимъ, а не духовнымъ (т.е. не прежнимъ міровымъ единствомъ), и сверхъ того въ неоплатныхъ долгахъ, и сверхъ того именно вседовольное своею второстепенностью. Вотъ что получилось, вотъ созданіе графа Кавура! Однимъ словомъ, современный дипломатъ есть именно „великій звѣрь на малыя дѣла!“ Князь Меттернихъ считался однимъ изъ самыхъ глубокихъ и тончайшихъ дипломатовъ въ мірѣ и ужь безспорно имѣлъ всеевропейское вліяніе. А между тѣмъ въ чемъ была его идея, какъ понялъ онъ свой вѣкъ, въ его время лишь начинавшійся, какъ предчувствовалъ онъ грядущее будущее? Увы, онъ со всѣми основными идеями начинавшагося столѣтія рѣшилъ справиться полицейскимъ порядкомъ и вполнѣ былъ увѣренъ въ успѣхѣ! Посмотримъ теперь на князя Бисмарка, вотъ этотъ такъ ужь безспорно геній, но...

— Finissons, monsieur, строго прерываетъ меня маменька съ видомъ глубоко и свысока оскорбленнаго достоинства. Я, разумѣется, тотчасъ же и ужасно пугаюсь. Конечно я не понятъ, конечно съ маменьками еще нельзя теперь заговаривать на такія темы и я далъ страшнаго маху. Но съ кѣмъ можно-то теперь заговаривать о дипломатіи, вотъ вѣдь вопросъ? А вѣдь какая интереснѣйшая тема и какъ разъ въ наше время! Но...

II.

Дипломатія передъ міровыми вопросами.

И какая серьезная тема! Ибо что такое теперь наше время? Всѣ кто одарены мудростью, говорятъ что наше время есть время по преимуществу

дипломатическое, время рѣшенія всѣхъ міровыхъ судебъ одной лишь дипломатіей. Утверждаютъ, напримѣръ, что будто бы гдѣ-то теперь у насъ идетъ война. И я даже слышалъ о томъ, что идетъ война, но мнѣ говорятъ, и я читаю вездѣ, что если и есть тамъ что-то и гдѣ-то въ родѣ войны, то все это навѣрно не такъ понимается... По крайней мѣрѣ рѣшено, что эта война ничему не помѣшаетъ, т. е. ни какимъ здравымъ отправленіямъ націи, совмѣщающимся, по послѣднимъ взглядамъ всего того что называется вообще „премудростью“, преимущественно и даже единственно въ одной лишь дипломатіи; и что самыя даже эти военныя прогулки, маневры и проч. всегда, впрочемъ, необходимыя,—въ истинномъ смыслѣ вещей составляютъ не болѣе какъ лишь одинъ изъ фазисовъ высшей дипломатіи и ничего болѣе. Такъ и надо вѣровать. Съ моей стороны я очень наклоненъ этому вѣрить, ибо все это очень успокоительно, но вотъ однако что любопытно и что ужасно какъ выдается: у насъ, напримѣръ, загорѣлся Восточный вопросъ, загорѣлся онъ и во всей Европѣ тотчасъ же, какъ и у насъ, даже раньше,—и это ужасно понятно: всѣ и даже не дипломаты (и даже особенно если не дипломаты) — всѣ знаютъ давнымъ давно что Восточный вопросъ—есть, такъ сказать, одинъ изъ міровыхъ вопросовъ, одинъ изъ главнѣйшихъ *отдѣловъ* міроваго и ближайшаго разрѣшенія судебъ человѣческихъ, новый грядущій фазисъ этихъ судебъ. Извѣстно, что тутъ дѣло не только одного Востока Европы касается, не только славянъ, русскихъ и турокъ, или тамъ спеціально болгаръ какихъ-нибудь, но тоже и всего Запада Европы, и вовсе не относительно только морей и проливовъ, входовъ и выходовъ, а гораздо глубже, основнѣе, стихійнѣе, насущнѣе, существеннѣе, первоначальнѣе. А потому понятно, что Европа тревожится и что дипломатіи такъ много дѣла. Но какое же однако дѣло у дипломатіи?—вотъ мой вопросъ! Чѣмъ она-то (по преимуществу теперь) въ Восточномъ вопросѣ, занята? Дѣло дипломатіи (а иначе она и дипломатіей бы не была), дѣло ея теперь—конфисковать Восточный вопросъ во всѣхъ отношеніяхъ и поскорѣй увѣрить всѣхъ, кого слѣдуетъ и не слѣдуетъ, что никакого вопроса вовсе и не начиналось, что все это только такъ, маневрики и прогулочки—и даже, если только можно, то увѣрить, что Восточный вопросъ не только не начинался, но и никогда его не бывало на свѣтѣ, не существовало, а только туману лѣтъ сто назадъ напустили, изъ видовъ, и тоже дипломатическихъ, такъ вотъ и лежитъ этотъ нерастолкованный туманъ до сихъ поръ. Откровенно скажу, что этому можно бы даже и повѣрить, еслибъ тутъ какъ разъ не представлялась одна загадка, но уже не дипломатическая (вотъ бѣда!), ибо дипломатія никогда и ни за что не берется за такія загадки, мало того, отворачивается отъ нихъ съ презрѣніемъ, ибо считаетъ ихъ недостойными высшихъ умовъ фантазіями. Эту загадку можно бы формулировать въ такомъ видѣ: „почему это всегда такъ происходитъ, и особенно въ послѣднее время, съ половины т. е. девятнадцатаго столѣтія, и чѣмъ далѣе тѣмъ нагляднѣе и осязательнѣе, почему—чуть лишь дѣло коснется въ мірѣ до чего нибудь міроваго, всеобщаго, какъ тотчасъ же, рядомъ съ однимъ поднявшимся

гдѣ нибудь міровымъ вопросомъ, подымаются параллельно тому и *всѣ остальные* міровые вопросы, такъ что мало напримѣръ теперь Европѣ одного поднявшагося міроваго вопроса, Восточнаго, нѣтъ, она рядомъ съ нимъ нежданно—негаданно, вдругъ поднимаетъ во Франціи вопросъ, и тоже міровой, католическій? И католическій вопросъ не потому только что вотъ де умретъ скоро папа, то Франція, какъ представительница католичества, должна позаботиться объ томъ, чтобъ отнюдь не исчезло и не измѣнилось ничего въ установившейся вѣками организаціи католичества, а и потому еще что католичество принято тутъ видимо за общее знамя соединенія всего стараго порядка вещей, за всѣ девятнадцать вѣковъ, — соединенія противъ чего-то новаго и грядущаго, насущнаго и роковаго, противъ грозящаго вселенной обновленія новымъ порядкомъ вещей, противъ соціальнаго, нравственнаго и кореннаго переворота во всей Западно-европейской жизни, или по крайней мѣрѣ, если и не совершится обновленіе это, то противъ страшнаго потрясенія и колоссальной революціи, которая несомнѣнно грозитъ потрясти всѣ царства буржуазіи во всемъ мірѣ, вездѣ гдѣ они организовались и процвѣли, по шаблону французскому 1789 года, грозитъ сковырнуть ихъ прочь и стать на ихъ мѣсто. Кстати, на минутку отступлю отъ темы и сдѣлаю одно необходимое Nota bene, ибо предчувствую какъ смѣшно покажется инымъ мудрецамъ, особенно либеральнымъ, что я, въ самомъ разгарѣ девятнадцатаго столѣтія, называю Францію державою католической, представительницей католичества! А потому въ разъясненіе моей мысли и объявлю пока голословно, что Франція есть именно такая страна, которая, еслибъ въ ней не оставалось даже ни единаго человѣка вѣрящаго не только въ папу, но даже въ Бога, всетаки будетъ продолжать оставаться страной по преимуществу католической, представительницей, такъ сказать, всего католическаго организма, знаменемъ его, и это пребудетъ въ ней чрезвычайно долгое время, даже до невѣроятности, до того можетъ быть времени, когда Франція перестанетъ быть Франціей и обратится во что нибудь другое. Мало того: и соціализмъ-то самый начнется въ ней по католическому шаблону, съ католической организаціей и закваской, не иначе,— до такой степени эта страна есть страна католическая! Ничего этого подробно теперь не стану доказывать, а покамѣстъ, укажу лишь, напримѣръ, на то: почему это такъ вдругъ подтолкнуло маршала Макъ-Магона возбудить и поднять, ни съ того ни съ сего, именно католическій вопросъ? Этотъ храбрый генералъ, (впрочемъ почти вездѣ побѣжденный, а въ дипломатіи отличившійся коротенькой фразой: „j'y suis et j'y reste)— этотъ генералъ вовсе не изъ такихъ кажется дѣятелей, чтобъ въ состояніи былъ *сознательно* поднять что-либо въ этомъ родѣ. А вотъ началъ же, поднялъ же самый капитальный изъ старо-Европейскихъ вопросовъ, и именно въ томъ видѣ въ какомъ и должно было ему подняться — но главное: почему, почему именно какъ разъ въ ту минуту поднять, какъ на другомъ концѣ міра загорѣлся другой міровой вопросъ, Восточный вопросъ? Почему вопросъ къ вопросу жмется, почему одинъ другой вызываетъ, тогда какъ казалось бы между ними и связи-то

нѣтъ? Да и не одни эти два вопроса поднялись вмѣстѣ: съ Восточнымъ поднялись и еще вопросы, поднимутся и еще и еще, если онъ правильно разовьется. Однимъ словомъ, всѣ главнѣйшіе вопросы Европы и человѣчества въ нашъ вѣкъ начали подниматься всегда одновременно. И вотъ одновременность-то эта и поражаетъ. Условіе-то это непремѣнно всѣмъ вопросамъ являться вмѣстѣ и составляетъ загадку! Но для чего я это все говорю. А вотъ именно въ виду того что дипломатія на такіе именно вопросы и смотритъ съ презрѣніемъ. Она не только не признаетъ никакихъ подобныхъ совпаденій, но и думать-то о нихъ не желаетъ. Миражи дескать, вздоры и пустяки: „нѣтъ этого всего ничего, а просто маршалу Макъ-Магону, а пуще его супругѣ чего-то захотѣлось, вотъ все и вышло“. А потому не смотря на то что самъ же я провозгласилъ, начиная этотъ отдѣлъ главы, что время наше по преимуществу дипломатическое, а прочее все миражъ—самъ же я принужденъ этому не повѣрить первый. Нѣтъ, тутъ загадка! Нѣтъ, тутъ рѣшаетъ дѣло не одна дипломатія, а и еще что-то другое. И признаюсь, я чрезвычайно смущенъ этимъ выводомъ; я такъ наклоненъ былъ вѣрить въ дипломатію, а всѣ эти новые вопросы—все это только новые хлопоты и больше ничего...

III.

Никогда Россія не была столь могущественною, какъ теперь, — рѣшеніе недипломатическое.

Въ самомъ дѣлѣ, я вотъ предложилъ одинъ вопросъ и пока лишь развилъ его голословно. Но всегда мнѣ представлялся, и еще за долго до этого теперешняго вопроса (т. е. вопроса о совокупности появленія разомъ всѣхъ міровыхъ вопросовъ, чуть лишь одинъ изъ нихъ подымется), еще другой вопросъ, несравненно простѣйшій и естественнѣйшій, но на который, именно потому что онъ такъ простъ и естественъ, люди мудрости и не обращаютъ почти никакого вниманія. Вотъ этотъ другой вопросъ: Да, пусть дипломатія есть и была, всегда и вездѣ, рѣшительницей всѣхъ основныхъ и важнѣйшихъ вопросовъ человѣчества, и будетъ впредь; но всегда-ли окончательное рѣшеніе европейскихъ вопросовъ отъ нея зависитъ? Не бываетъ-ли, напротивъ, такого фазиса, такой точки въ каждомъ вопросѣ, когда уже нельзя разрѣшить его всѣмъ извѣстнымъ успокоительнымъ способомъ, дипломатическимъ, т. е. заплаточками. И хоть и безспорно, что всѣ міровые вопросы, съ точки зрѣнія дипломатическаго, а стало быть и здраваго смысла, всегда объясняются не болѣе какъ тѣмъ, что такимъ-то вотъ державамъ захотѣлось расширенія границъ, или лично чего-то захотѣлось такому-то храброму генералу, или не понравилось что-нибудь какой-нибудь знатной дамѣ и проч. и проч. (пусть, это безспорно, я это ужъ уступлю, ибо здѣсь премудрость), — но все-таки не бываетъ-ли въ извѣстный моментъ, даже вотъ и при этихъ-то самыхъ реальныхъ причинахъ и ихъ объясненіяхъ, такой точки въ ходѣ дѣлъ, такого фазиса, когда появляются вдругъ какія-то странныя другія силы, положимъ и непонятныя и загадочныя, но которыя овладѣваютъ вдругъ всѣмъ, захватываютъ все разомъ въ совокупности и влекутъ неотразимо, слѣпо, въ родѣ какъ-бы подъ гору, а пожалуй, такъ

и въ бездну? Въ сущности я хотѣлъ-бы только узнать: всегда-ли такъ ужъ надѣется на себя и на средства свои дипломатія, что никакихъ подобныхъ силъ, и точекъ, и фазисовъ не боится вовсе, а пожалуй такъ и не предполагаетъ ихъ вовсе? Увы, кажется что всегда, а потому: какъ я повѣрю ей и довѣрюсь ей, и могу-ли принять ее за окончательную рѣшительницу судебъ столь блажнаго и безпутнаго еще человѣчества!

Увы, въ пространной исторіи Кайданова, есть одна величайшая изъ фразъ. Это именно когда онъ, въ Новой Исторіи, приступилъ къ изложенію французской революціи и появленію Наполеона I. Фраза эта есть начало главы и она осталась въ моей памяти на всю жизнь, вотъ она: „Глубокая тишина царствовала во всей Европѣ, когда Фридрихъ Великій закрывалъ на вѣки глаза свои; но никогда подобная тишина не предшествовала такой великой бурѣ!“ — Скажите, что знаете вы выше изъ фразъ? Въ самомъ дѣлѣ, кто тогда въ Европѣ, т. е. когда Фридрихъ Великій закрывалъ на вѣки глаза свои, могъ бы предузнать, хотя бы самымъ отдаленнымъ образомъ, что̀ произойдетъ съ людьми и съ Европой въ теченіе слѣдующаго тридцатилѣтія? Я не говорю про какихъ нибудь тамъ обыкновенныхъ образованныхъ людей, или даже писателей, журналистовъ, профессоровъ. Всѣ они, какъ извѣстно, сбились тогда съ толку: Шиллеръ написалъ, напримѣръ, тогда дифирамбъ на открытіе національнаго собранія; путешествовавшій по Европѣ молодой Карамзинъ смотрѣлъ съ умилительнымъ дрожаніемъ сердца на тоже событіе, а въ Петербургѣ, у насъ, еще за долго передъ симъ красовался мраморный бюстъ Вольтера. Нѣтъ, я обращаюсь прямо къ самой высшей премудрости, прямо къ всерѣшителямъ судебъ человѣческихъ, т. е. къ самимъ дипломатамъ съ вопросомъ: предугадывали-ли они тогда хоть что-нибудь изъ того, что въ слѣдующее тридцатилѣтіе произойдетъ?

Но вѣдь вотъ что ужасно: еслибъ я спросилъ объ этомъ дипломатовъ (и замѣтьте, всѣ почти европейскіе дипломаты учились по „Кайдашкѣ“)—и еслибъ они удостоили меня выслушать, то навѣрно отвѣтили-бы съ высокомѣрнымъ смѣхомъ, что „*Случайностей* предвидѣть нельзя, и что вся мудрость состоитъ лишь въ томъ, чтобы ко всякимъ случайностямъ быть готовымъ“.

Каково-съ! Нѣтъ, я вамъ скажу: это отвѣтъ типическій, и хотя я самъ его выдумалъ, потому что ни одного дипломата не безпокоилъ вопросами (да и не смѣю), но весь ужасъ мой въ томъ, что я вѣдь увѣренъ, что мнѣ именно такъ отвѣтили бы, а потому я и назвалъ сей отвѣтъ типическимъ. Ибо что такое скажите, были эти событія конца прошлаго вѣка въ глазахъ дипломатовъ — какъ не *случайности*? Были и есть. А Наполеонъ, напримѣръ — такъ ужъ архи-случайность, и не явись Наполеонъ, умри онъ тамъ, въ Корсикѣ, трехъ лѣтъ отъ роду отъ скарлатины — и третье сословіе человѣчества, буржуазія, не потекло-бы съ новымъ своимъ знаменемъ въ рукахъ измѣнять весь ликъ всей Европы (что продолжается и до сихъ поръ), а такъ-бы и осталось сидѣть тамъ у себя въ Парижѣ, да пожалуй и замерло бы въ самомъ началѣ!

Дѣло въ томъ, что мнѣ кажется, что и нынѣшній вѣкъ кончится въ Старой Европѣ чѣмъ нибудь колоссальнымъ, т. е. можетъ быть чѣмъ

нибудь хотя и не буквально похожимъ на то, чѣмъ кончилось восемнадцатое столѣтіе, но все-же на столько-же колоссальнымъ, — стихійнымъ, и страшнымъ, и тоже съ измѣненіемъ лика міра сего—по крайней мѣрѣ на Западѣ Старой Европы. И вотъ, если наши премудрые будутъ утверждать, что нельзя-же предугадать *случайностей* и т. д., мало того: если имъ даже и въ голову что нибудь объ этомъ финалѣ не заходило, то...

Однимъ словомъ: заплаточки, заплаточки и заплаточки!

Ну что-же, будемъ благоразумны, будемъ ждать. Заплаточки вѣдь если хотите, вещь тоже необходимая и полезная, благоразумная и практическая. Тѣмъ болѣе, что заплаточками, наприм. обмануть врага можно. Вотъ у насъ теперь война, и еслибъ случилось, что Австрія повернулась бы къ намъ враждебно, то „заплаточкой“ ее какъ разъ можно ввести въ обманъ, въ который сама же она съ удовольствіемъ втюрится, ибо что такое Австрія? Сама-то она чуть не на ладонъ дышетъ, развалиться хочетъ, точно такой же „больной человѣкъ“ какъ и Турція, да можетъ быть и еще того пложе. Это образецъ всевозможныхъ дуализмовъ, всевозможныхъ внутри себя враждебныхъ соединеній, народностей, идей, всевозможныхъ несогласій и противорѣчивыхъ направленій; тутъ и венгры, тутъ и славяне, тутъ и нѣмцы, тутъ и царство жидовъ... Ну, а теперь, благодаря ухаживанію за ней дипломатіи, она и впрямь пожалуй можетъ вздумать о себѣ, что она — могущество, которое и дѣйствительно много значитъ и многое можетъ сдѣлать въ общемъ рѣшеніи судебъ. Такой обманъ воображенія, возбужденный именно посредствомъ ухаживаній и заплаточекъ для рѣшенія славянскихъ судебъ выгоденъ, ибо можетъ на время отвлечь врага, а къ моменту рѣшенія, когда онъ вдругъ увидитъ, что его никто не боится, и что онъ вовсе не могущество—можетъ поразить его упадкомъ духа, по просту сконфузить. Другое дѣло Англія: это нѣчто посерьезнѣе, къ тому же теперь страшно озабоченное въ самыхъ основныхъ своихъ начинаніяхъ. Эту заплаточками и ухаживаніями не усыпишь. Что ни толкуй ей, а вѣдь она ни за что и никогда не повѣритъ тому, чтобъ огромная, сильнѣйшая теперь нація въ мірѣ, вынувшая свой могучій мечь и развернувшая знамя великой идеи, и уже перешедшая черезъ Дунай, можетъ въ самомъ дѣлѣ пожелать разрѣшить тѣ задачи, за которыя взялась она, себѣ въ явный ущербъ, и единственно въ ея, Англіи, пользу. Ибо всякое улучшеніе судебъ славянскихъ племенъ, есть, *во всякомъ случаѣ*, явный для Англіи ущербъ, и заплаточками тутъ ни за что и никого не умаслишь: не повѣрятъ! просто ничему въ Англіи не повѣрятъ. Да и какими аргументами убѣдить ее? „Я вотъ дескать немножко *начну*, но не кончу“. Но вѣдь въ политикѣ начало дѣла есть все, ибо начало, естественно, рано-ли, поздно-ли приведетъ къ концу. Что въ томъ что окончаніе завершится не сегодня, все равно завершится завтра. Однимъ словомъ, они не повѣрятъ, а потому надо бы и намъ англичанамъ не вѣрить, или какъ можно меньше вѣрить, разумѣется про себя. Хорошо бы намъ тоже догадаться, что Англія въ самомъ критическомъ теперь положеніи, въ которомъ когда либо находилась. Это критическое ея положеніе можетъ быть формулировано точнѣйшимъ образомъ въ одномъ словѣ: *Уединеніе*, ибо

никогда еще можетъ быть Англія не была въ такомъ страшномъ уединеніи какъ теперь. О, какъ бы она рада была теперь найти въ Европѣ союзъ, какой нибудь entente cordiale. Но бѣда ея въ томъ, что не было еще момента въ Европѣ, когда бы труднѣе было составить союзъ. Ибо именно теперь въ Европѣ все поднялось одновременно, всѣ міровые вопросы разомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ міровыя противурѣчія, такъ что каждому народу и государству *страшно много собственнаго дѣла у себя дома.* А такъ какъ Англійскій интересъ не міровой, а давно уже отъ всего и всѣхъ отъединенный и единственно касающійся одной только Англіи, то, на время по крайней мѣрѣ, она и останется въ чрезвычайномъ уединеніи. О, разумѣется ей можно бы было согласиться даже и съ преслѣдующими другую цѣль изъ взаимныхъ выгодъ: „Я дескать тебѣ то доставлю, а ты мнѣ это“. — Но по характеру-то теперешнихъ заботъ Европейскихъ трудно въ этомъ родѣ entente cordiale составить, по крайней мѣрѣ въ данную минуту, и придется долго ждать пока потомъ, въ будущемъ развитіи, найдется такой моментъ, что можно будетъ и ей куда нибудь съ своимъ союзомъ примазаться. Кромѣ того Англіи прежде всего надобенъ союзъ выгодный, т. е. такой, при которомъ она возьметъ все, а сама отплатитъ по возможности *ничѣмъ*. Ну вотъ именно такого-то выгоднаго союза теперь всего болѣе не предвидится, и Англія въ уединеніи. О, еслибъ этимъ уединеніемъ мы могли удачно воспользоваться! Но тутъ другое восклицаніе: „О, еслибъ мы были менѣе скептиками и могли увѣровать въ то, что есть міровые вопросы и что не миражъ они! Главное то, что у насъ въ Россіи, очень большая часть интелигенціи нашей всегда какъ-то видитъ и принимаетъ Европу не реально, какъ она есть теперь, а всегда какъ-то заднимъ числомъ, съ запаздываніемъ. Въ будущность не заглядываютъ, а наклонны судить болѣе по прошедшему, даже по давно прошедшему.

А между тѣмъ міровые вопросы существуютъ дѣйствительно и какъ бы это въ нихъ-то не вѣрить, да еще намъ-то? Два изъ нихъ уже поднялись и влекутся уже не человѣческою премудростью, а стихійною своею силою, основною органическою своею потребностью, и не могутъ уже остаться безъ разрѣшенія, не смотря на всѣ разсчеты дипломатіи. Но есть и третій вопросъ, и тоже міровой, и тоже подымается и почти уже поднялся. Вопросъ этотъ въ частности можно назвать Германскимъ, а въ сущности, въ цѣломъ, какъ нельзя болѣе всеевропейскимъ, и какъ нельзя сильнѣе слитъ онъ органически съ судьбой всей Европы и всѣхъ остальныхъ міровыхъ вопросовъ. Казалось бы однако на видъ, что ничего не можетъ быть спокойнѣе и безмятежнѣе какъ теперь Германія: въ спокойствіи грозной силы своей она смотритъ, наблюдаетъ и ждетъ. Всѣ, болѣе или менѣе, въ ней нуждаются, всѣ, болѣе или менѣе, отъ нея зависятъ. И однако... все это миражъ! Вотъ то-то и есть, что у всѣхъ теперь въ Европѣ свое дѣло, у каждаго объявилось по собственному своему самоважнѣйшему вопросу, по вопросу такой важности какъ само почти существованіе, какъ вопросъ о томъ быть иль не быть: Вотъ этакій самый вопросъ нашелся и у Германіи и какъ разъ въ ту минуту, какъ поднялись и другіе міровые вопросы—и вотъ это-то со-

стояніе Европы, прибавлю забѣгая впередъ, какъ не надо болѣе выгодно для Россіи въ данный моментъ! Ибо никогда она не была столь нужна Европѣ и могущественнѣе въ глазахъ ея, и между тѣмъ столь отъединеннѣе отъ поднявшихся въ ней, въ этой старой Европѣ, самыхъ капитальныхъ и страшныхъ, но *своихъ*, ей только, Старой Европѣ, а не Россіи свойственныхъ вопросовъ. И никогда союзъ Россіи не цѣнился бы выше какъ теперь въ Европѣ, никогда еще она не могла себя съ большею радостью поздравить съ тѣмъ, что она не Старая Европа, а Новая, что она сама по себѣ, свой особый и могучій міръ, для котораго именно теперь наступилъ моментъ вступить въ новый и высшій фазисъ своего могущества, и болѣе чѣмъ когда нибудь стать независимою отъ прочихъ, *ихнихъ*, роковыхъ вопросовъ, которыми старая, дряхлая Европа связала себя!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Германскій міровой вопросъ. Германія страна протестующая.

Но мы заговорили про Германію, про теперешнюю задачу ея, теперешній ея роковой а вмѣстѣ съ тѣмъ и міровой вопросъ. Какая же эта задача? И почему эта задача лишь теперь обращается для Германіи въ столь хлопотливый вопросъ, а не прежде, не недавно, не годъ назадъ, или даже не два мѣсяца назадъ?

Задача Германіи одна, и прежде была и всегда. Это ея *протестантство*,— не та единственно формула этого протестанства, которая опредѣлилась при Лютерѣ, а всегдашнее ея протестантство, всегдашій *протестъ* ея—противъ римскаго міра, начиная съ Арминія, противъ всего что было Римомъ и римской задачей, и потомъ противъ всего что отъ древняго Рима перешло къ новому Риму и ко всѣмъ тѣмъ народамъ, которые восприняли отъ Рима его идею, его формулу и стихію, къ наслѣдникамъ Рима и ко всему, что составляетъ это наслѣдство. Я убѣжденъ, что нѣкоторые изъ читателей, прочтя это, вскинутъ плечами и засмѣются: „ну, можно-ли, дескать, въ девятнадцатомъ столѣтіи, въ вѣкъ новыхъ идей и науки, толковать о католичествѣ и протестантствѣ, какъ будто мы еще въ среднихъ вѣкахъ! И если еще есть пожалуй религіозные люди и даже фанатики, то сохранились какъ археологическая рѣдкость, сидятъ по опредѣленнымъ мѣстамъ и угламъ, осужденные и всѣми осмѣянные, а главное, въ самомъ маломъ числѣ, въ видѣ ничтожной мизерной кучки отсталыхъ людей. И такъ можно ли ихъ считать за что нибудь въ такомъ высшемъ дѣлѣ, какъ міровая политика?“

Но я не религіозный *протестъ* разумѣю, я не останавливаюсь на временныхъ формулахъ идеи древне-римской, равно какъ и вѣковѣчнаго германскаго противъ нея протеста. Я беру лишь основную идею, начавшуюся еще двѣ тысячи лѣтъ тому и которая съ тѣхъ поръ не умерла, хотя постоянно перевоплощалась въ разные

виды и формулы. Теперь именно весь этотъ крайній западно-европейскій міръ, — именно унаслѣдовавшій римское наслѣдство, мучится родами новаго перевоплощенія этой унаслѣдованной древней идеи, и это для тѣхъ, кто умѣетъ смотрѣть, до того наглядно, что и объясненій не проситъ.

Древній Римъ первый родилъ идею всемірнаго единенія людей, и первый думалъ (и твердо вѣрилъ) практически ее выполнить въ формѣ всемірной монархіи. Но эта формула пала предъ христіанствомъ,—формула, а не идея. Ибо идея эта есть идея еввропейскаго человѣчества, изъ нея составилась его цивилизація, для нея одной лишь оно и живетъ. Пала лишь идея всемірной *римской* монархіи и замѣнилась новымъ идеаломъ всемірнаго же единенія во Христѣ. Этотъ новый идеалъ раздвоился на Восточный, то есть идеалъ совершенно духовнаго единенія людей, и на западно-европейскій, римско-католическій, папскій, совершенно обратный Восточному. Это западное римско-католическое воплощеніе идеи и совершилось по своему, но утративъ свое христіанское, духовное начало и подѣлившись имъ съ древне-римскимъ наслѣдствомъ. Римскимъ папствомъ было провозглашено, что христіанство и идея его, безъ всемірнаго владѣнія землями и народами,—не духовно, а государственно,—другими словами безъ осуществленія на землѣ новой всемірной римской монархіи, во главѣ которой будетъ уже не римскій императоръ, а папа,—осуществимо быть не можетъ. И вотъ началась опять попытка всемірной монархіи совершенно въ духѣ древне-римскаго міра, но уже въ другой формѣ. Такимъ образомъ въ Восточномъ идеалѣ — сначала духовное единеніе человѣчества во Христѣ, а потомъ ужъ, въ силу этого духовнаго соединенія всѣхъ во Христѣ, и несомнѣнно вытекающее изъ него правильное государственное и соціальное единеніе, тогда какъ по римскому толкованію наоборотъ: сначала заручиться прочнымъ государственнымъ единеніемъ въ видѣ всемірной монархіи, а потомъ ужъ, пожалуй, и духовное единеніе подъ началомъ папы, какъ владыки міра сего.

Съ тѣхъ поръ эта попытка въ римскомъ мірѣ шла впередъ и измѣнялась безпрерывно. Съ развитіемъ этой попытки самая существенная часть христіанскаго начала почти утратилась вовсе. Отвергнувъ, наконецъ, христіанство духовно, наслѣдники древне-римскаго міра отвергли и папство. Прогремѣла страшная французская революція, которая въ сущности была не болѣе какъ послѣднимъ видоизмѣненіемъ и перевоплощеніемъ той же древне-римской формулы всемірнаго единенія. Но новая формула оказалась недостаточною, новая идея не завершилась. Былъ даже моментъ, когда для всѣхъ націй, унаслѣдовавшихъ древне-римское призваніе, наступило почти отчаяніе. О, разумѣется, та часть общества, которая выиграла для себя съ 1789 года политическое главенство, т. е. буржуазія—восторжествовала и объявила, что далѣе и не надо идти. Но за то всѣ тѣ умы, которые по вѣковѣчнымъ законамъ природы обречены на вѣчное міровое безспокойство, на исканіе новыхъ формулъ идеала и новаго слова, необходимыхъ для развитія человѣческаго организма, — всѣ тѣ бросились ко всѣмъ униженнымъ и обойденнымъ, ко всѣмъ не получившимъ доли въ новой формулѣ всечеловѣческаго еди-

ненія, провозглашенной французской революціей 1789 года. Они провозгласили свое уже новое слово, именно необходимость всеединенія людей уже не въ виду распредѣленія равенства и правъ жизни для какой нибудь одной четверти человѣчества, оставляя остальныхъ лишь сырымъ матеріаломъ и эксплуатируемымъ средствомъ для счастья этой четверти человѣчества, а напротивъ: всеединенія людей на основаніяхъ всеобщаго уже равенства, при участіи всѣхъ и каждаго въ пользованіи благами міра сего, какія бы они тамъ не оказались. Осуществить же это рѣшеніе положили *всякими* средствами, т. е. отнюдь уже не средствами христіанской цивилизаціи, и не останавливаясь ни передъ чѣмъ.

Причемъ же тутъ все это время, всѣ эти двѣ тысячи лѣтъ была Германія? Характернѣйшая, существеннѣйшая черта этого великаго, гордаго и особаго народа, съ самой первой минуты его появленія въ историческомъ мірѣ, состояла въ томъ, что онъ никогда не хотѣлъ соединиться, въ призваніи своемъ и въ началахъ своихъ, съ крайне западнымъ европейскимъ міромъ, т. е. со всѣми преемниками древне-римскаго призванія. Онъ *протестовалъ* противъ этого міра всѣ двѣ тысячи лѣтъ, и хоть и не представилъ (и никогда не представлялъ еще) своего Слова, своего строго формулированнаго идеала взамѣнъ древне-римской идеи, но кажется всегда былъ убѣжденъ, внутри себя, что въ состояніи представить это новое Слово и повести за собою человѣчество. Онъ бился съ Римскимъ міромъ еще во времена Арминія, затѣмъ во времена Римскаго христіанства онъ болѣе чѣмъ кто нибудь бился за верховную власть съ новымъ Римомъ. Наконецъ, протестовалъ самымъ сильнымъ и могучимъ образомъ, выводя новую формулу протеста уже изъ самыхъ духовныхъ, стихійныхъ основъ Германскаго міра: онъ провозгласилъ свободу изслѣдованія и воздвигъ знамя Лютера. Разрывъ былъ страшный и міровой, формула протеста нашлась и восполнилась,—хотя все еще отрицательная, хотя все еще новое и *положительное* слово сказано еще не было.

И вотъ Германскій духъ, сказавъ это Новое Слово протеста—на время какъ-бы замеръ, и произошло это совершенно паралельно съ такимъ же ослабленіемъ прежняго строго формулированнаго единства силъ и въ его противникѣ. Крайне западный міръ подъ вліяніемъ открытія Америки, новой науки и новыхъ началъ искалъ переродиться въ новую истину, въ новый фазисъ. Когда наступила первая попытка этого перевоплощенія во время Французской революціи, Германскій духъ былъ въ большомъ смущеніи и на время потерялъ было самость свою и вѣру въ себя. Онъ ничего не могъ сказать противъ новыхъ идей крайне-западнаго европейскаго міра. Лютерово Протестанство уже отжило свое время давно, идея же свободнаго изслѣдованія давно уже принята была всемірной наукой. Огромный организмъ Германіи почувствовалъ болѣе чѣмъ кто нибудь, что онъ не имѣетъ, такъ сказать, плоти и формы для своего выраженія. Вотъ тогда-то въ немъ родилась настоятельная потребность хотя бы сплотиться только наружно въ единый стройный организмъ, въ виду новыхъ грядущихъ фазисовъ его вѣчной борьбы съ крайне-западнымъ міромъ Европы. Тутъ надо замѣтить весьма любопытное совпаденіе: оба всегдашніе враждебные лагеря, оба противника старой Европы за главенство въ ней, въ одно и тоже время

(или почти) схватываются и исполняютъ очень схожую между собою задачу. Новая, еще мечтательная грядущая формула крайне западнаго міра, т. е. обновленіе человѣческаго общества на новыхъ соціальныхъ началахъ — эта формула, почти все наше столѣтіе провозглашавшаяся лишь мечтателями, научными представителями ея, всякими идеалистами и фантазерами, вдругъ въ послѣдніе годы измѣняетъ свой видъ и ходъ своего развитія и рѣшаетъ: оставить пока теоретическое опредѣленіе и возсозданіе своей задачи и приступить прямо, прежде всякихъ мечтаній, къ практическому шагу задачи, т. е. прямо начать борьбу: а для того— положить начало соединенію во единую организацію всѣхъ будущихъ бойцовъ новой идеи, т. е. всему *четвертому*, обойденному въ 1789 году сословію людей, всѣмъ неимущимъ, всѣмъ рабочимъ, всѣмъ нищимъ, и уже устроивъ это соединеніе, поднять знамя новой и неслыханной еще всемірной революціи. Явились Интернаціоналка, международныя сношенія всѣхъ нищихъ міра сего, сходки, конгрессы, новые порядки, законы,—однимъ словомъ, положено *по всей старой западной Европѣ* основаніе новому Status in statu, грядущему поглотить собою старый, владычествующій въ крайне-западной Европѣ, порядокъ міра сего. И вотъ, въ то время какъ это совершалось у противника, геній Германіи понялъ что и Германская задача, прежде всякаго дѣла и начинанія, прежде всякой попытки Новаго Слова противъ перевоплотившагося изъ старой древне-католической идеи противника—закончить собственное политическое единеніе, завершить возсозданіе собственнаго политическаго организма, и возсоздавъ его, тогда только стать лицомъ къ лицу съ вѣковѣчнымъ врагомъ своимъ. Такъ и случилось: завершивъ свое объединеніе, Германія бросилась на противника и вступила съ нимъ въ новый періодъ борьбы, начавъ ее желѣзомъ и кровью. Дѣло желѣзомъ кончено, теперь предстоитъ его кончить духовно, существенно. И вотъ вдругъ теперь для Германіи является новая забота, новый неожиданный поворотъ дѣла, страшно усложняющій задачу. Какая же это задача и въ чемъ этотъ новый поворотъ дѣла?

II.

Одинъ геніально-мнительный человѣкъ.

Эта задача, эта новая *внезапная* забота Германіи, если хотите, давно уже просилась наружу, а теперь все дѣло въ томъ, что она слишкомъ ужъ вдругъ, выскочила всѣмъ на видъ вслѣдствіе внезапнаго клерикальнаго переворота во Франціи. Формулировать ее можно отчасти въ видѣ такого сомнѣнія: „Да объединился ли полно Германскій организмъ въ одно цѣлое, не раздробленъ ли онъ напротивъ по прежнему, не смотря на геніальныя усилія предводителей Германіи за послѣднія двадцать пять лѣтъ, — мало того: объединился ли онъ хотя бы только лишь политически, не миражъ ли и это не смотря на Франко-Прусскую войну и провозглашенную послѣ нея новую неслыханную прежде Германскую Имперію?“ Вотъ этотъ мудреный вопросъ.

Вся мудреность этого Вопроса заключается, главное, въ томъ, что его, почти до самаго послѣдняго времени, не предполагали даже и существующимъ, по крайней мѣрѣ среди огром-

нѣйшаго большинства Германцевъ. Самоупоеніе, гордость и совершенная вѣра въ свое необъятное могущество чуть не опьянили всѣхъ нѣмцевъ поголовно послѣ франко-германской войны. Народъ необыкновенно рѣдко побѣждавшій, но зато до странности часто побѣждаемый, — этотъ народъ вдругъ побѣдилъ такаго врага, который почти всѣхъ всегда побѣждалъ! А такъ какъ ясно было что онъ и не могъ не побѣдить вслѣдствіе образцоваго устройства своей безчисленной арміи и своеобразнаго пересозданія ея на совершенно новыхъ началахъ, и кромѣ того имѣя столь геніальныхъ предводителей во главѣ, то разумѣется Германецъ и не могъ не возгордиться этимъ до опьяненія. Тутъ ужъ нечего брать въ соображеніе всегдашнюю самодовольную хвастливость всякаго нѣмца — исконную черту нѣмецкаго характера. Съ другой стороны, изъ такъ недавно еще раздробленнаго политическаго организма вдругъ появилось такое стройное цѣлое, что Германецъ не могъ и тутъ усумниться и вполнѣ повѣрилъ что объединеніе завершилось, и что для Германскаго организма наступилъ новый, блестящій и великій фазисъ развитія. И такъ, не только явилась гордость и шовинизмъ, но явилось почти легкомысліе; и ужъ какіе тутъ могли быть вопросы, — не только для какого-нибудь воинственнаго лавочника или сапожника, но даже для профессора или министра? Но однако же всетаки оставалась кучка нѣмцевъ, очень скоро, почти сейчасъ же послѣ Франко-Прусской войны, начавшихъ сомнѣваться и задумываться. Во главѣ замѣчательнѣйшихъ членовъ этой кучки безспорно стоялъ князь Бисмаркъ.

Еще не успѣли выйти Германскіе войска изъ Франціи, какъ онъ уже ясно увидѣлъ, что слишкомъ мало было сдѣлано „кровью и желѣзомъ“, и что надо было, имѣя передъ собою такихъ размѣровъ цѣль, сдѣлать по крайней мѣрѣ вдвое больше пользуясь случаемъ. Правда, военныхъ выгодъ осталось все же безмѣрно больше на сторонѣ Германіи и это еще на долго. Франція, послѣ уступки Эльзаса и Лотарингіи, стала такой маленькой, по земельному объему, страной для великой державы, что одно или два удачныхъ для Германіи сраженія, въ случаѣ новой войны, и Германскія войска тотчасъ же будутъ въ центрѣ Франціи и въ стратегическомъ отношеніи Франція пропала. Но однако вѣрны ли побѣды, можно ли надѣяться на эти два побѣдоносныя сраженія навѣрно? Въ Франко-Прусскую войну нѣмцы побѣдили-то собственно вѣдь не французовъ, а только Наполеона и его порядки. Не всегда же во Франціи будутъ войска столь плохо устроенныя и командуемыя, не всегда же будутъ и узурпаторы, которые, нуждаясь въ своихъ генералахъ и чиновникахъ изъ династическихъ интересовъ, принуждены будутъ допускать у себя такія плачевныя упущенія, при которыхъ не можетъ существовать правильное войско. Не всегда же будетъ повторяться и Седанъ, ибо Седанъ въ сущности только случай и вышелъ лишь потому, что Наполеону нельзя уже было воротиться въ Парижъ императоромъ иначе какъ по милости короля Прусскаго. Не всегда тоже будутъ и столь мало даровитые генералы какъ Макъ-Магонъ или такіе измѣнники какъ Базенъ. Опьяненные столь неслыханнымъ для нихъ торжествомъ, нѣмцы конечно, всѣ до единаго, мог-

ли увѣровать въ то, что это все они сдѣлали, одними своими талантами, но въ сомнѣвающейся кучкѣ могли думать иное, особенно послѣ того, когда побѣжденный врагъ, еще столь разстроенный и потрясенный, вдругъ уплатилъ три милліарда контрибуціи разомъ и не поморщился. Это ужъ конечно очень огорчило князя Бисмарка.

Съ другой стороны, для сомнѣвающейся кучки предстоялъ и другой вопросъ можетъ быть еще важнѣйшій: совсѣмъ ли завершилось политическое и гражданское объединеніе внутри организма? Для всѣхъ почти въ Европѣ, и кажется въ особенности у насъ въ Россіи, въ этомъ доселѣ еще никто не сомнѣвался. Вообще мы, Русскіе, приняли все то, что приключилось въ послѣднія десять—пятнадцать лѣтъ въ Германіи, за нѣчто уже окончательное, въ высшей степени не случайное, а натуральное, за такое что уже и не должно измѣниться. Совершившіеся факты намъ внушили необыкновенное почтеніе. А между тѣмъ, въ глазахъ столь геніальныхъ людей какъ князь Бисмаркъ, врядъ ли все чему слѣдовало приняло свою окончательную прочность. То, что можетъ казаться теперь прочнымъ, то можетъ быть всего только еще фантазія. Трудно предположить, чтобъ столь долгая привычка къ политическому разъединенію изчезла у нѣмцевъ такъ вдругъ, какъ выпитый стаканъ воды. Нѣмецъ упоренъ уже по своей природѣ. Нынѣшнее поколѣніе нѣмцевъ къ тому же было подкуплено успѣхами, опьянено гордостью и сдержано желѣзной рукой предводителей. Но въ весьма можетъ недалекомъ будущемъ, когда эти предводители отойдутъ въ другой міръ и уступятъ мѣсто другимъ, поднимутся можетъ быть прижатые на время вопросы и инстинкты. Весьма тоже вѣроятно, что тогда утратится энергія перваго порыва соединенія, напротивъ возродится вновь энергія опозиціи, которая и пошатнетъ то что было сдѣлано. Явится стремленіе къ распаденію, къ обособленію, и именно тогда, когда на западѣ ужъ совсѣмъ оправится отъ удара страшный врагъ, который и теперь уже не спитъ и не дремлетъ, и даже извѣстно съ чего начнетъ. А тутъ вдобавокъ и самый такъ сказать законъ природы: Германія вѣдь все-таки въ Европѣ страна *срединная*: какъ бы она ни была сильна—съ одной стороны Франція, съ другой Россія. Правда, русскіе пока вѣжливы. Но что если они вдругъ догадаются, что не они нуждаются въ союзѣ съ Германіей, а что Германія нуждается въ союзѣ съ Россіей, мало того: *что зависимость отъ союза съ Россіей есть повидимому роковое назначеніе Германіи, съ Франко-Прусской войны особенно*. То-то и есть что въ слишкомъ сильную почтительность Россіи даже и такой убѣжденный въ своей силѣ человѣкъ какъ князь Бисмаркъ не въ состояніи вѣрить. Правда, до послѣдняго внезаннаго приключенія во Франціи, измѣнившаго вдругъ весь видъ дѣла, князь Бисмаркъ все еще надѣялся что чрезвычайная вѣжливость Россіи еще надолго непоколебима, и вотъ вдругъ это приключеніе! Однимъ словомъ, случилось нѣчто необычайное.

Необычайное для всѣхъ, но не для князя Бисмарка! Теперь оказалось что геній его все это „приключеніе“ предвидѣлъ заранѣе. Не геній ли его, скажите, не геніальный ли глазъ его подмѣтилъ главнаго врага столь за долго? Почему именно онъ такъ воз-

ненавидѣлъ католицизмъ, почему онъ такъ гналъ и преслѣдовалъ все что исходило изъ Рима (т. е. отъ папы),—вотъ уже столько лѣтъ? Почему онъ такъ дальновидно озаботился заручиться итальянскимъ *союзомъ* (такъ можно выразиться),—какъ не для того, чтобъ съ помощью итальянскаго правительства раздавить папское начало въ мірѣ когда придетъ срокъ выбирать новаго папу. Не католическую вѣру онъ гналъ, а римское начало этой вѣры. О, безъ сомнѣнія онъ дѣйствовалъ какъ нѣмецъ, какъ протестантъ, онъ дѣйствовалъ противъ основной стихіи крайне-западнаго, всегда враждебнаго Германіи міра, но все же очень и очень многіе изъ геніальнѣйшихъ и либеральныхъ мыслителей Европы смотрѣли на этотъ походъ великаго Бисмарка противъ столь ничтожнаго папы, какъ на борьбу слона съ мухой. Иные объясняли все это даже странностью генія, капризами геніальнаго человѣка. Но дѣло въ томъ, что геніальный политикъ *съумѣлъ* оцѣнить, можетъ быть единый въ мірѣ изъ политиковъ, какъ сильно еще римское начало само въ себѣ и среди враговъ Германіи, и какимъ страшнымъ цементомъ можетъ оно послужить въ будущемъ для соединенія всѣхъ этихъ враговъ во едино. Онъ съумѣлъ догадаться, что можетъ быть у одной лишь римской идеи можетъ найтись такое знамя, которое въ роковую (а въ глазахъ Бисмарка и неизбѣжную) минуту сплотитъ всѣхъ уже раздавленныхъ имъ враговъ Германіи опять въ одно страшное цѣлое. И вотъ геніальная догадка вдругъ оправдалась: всѣ партіи въ побѣжденной Франціи, изъ тѣхъ которыя могли начать движеніе противъ Германіи, — всѣ эти партіи были раздроблены, ни одна изъ нихъ не могла восторжествовать и захватить во Франціи власть. Соединиться тоже онѣ никакъ не могли, имѣя каждая въ виду противоположныя цѣли задачъ своихъ,—и вотъ знамя папы и іезуитовъ соединяетъ все. Врагъ возталъ и врагъ этотъ уже не Франція, а самъ папа. Это папа предводительствующій всѣмъ и всѣми кому завѣщана римская идея и идущій броситься на Германію. Но чтобы яснѣе изложить случившееся, взглянемъ пристальнѣе въ лагерь противниковъ Германіи.

III.

И сердиты и сильны.

Папа умираетъ. Онъ очень скоро умретъ. Все католичество принимающее Христа въ образѣ римской идеи—давно уже въ страшномъ волненіи. Подходитъ роковая минута. Оплошать нельзя, ибо тогда уже смерть римской идеѣ. Можетъ именно случиться, что новый папа, подъ давленіемъ правительствъ всей Европы, будетъ избранъ, „не свободно“, и провозглашенный папой согласится отказаться на вѣки, и въ принципѣ, отъ земнаго владѣнія, отъ сана земнаго государя, отъ котораго не отказался Пій IX (напротивъ въ самую роковую минуту, когда отъ него отнимали и Римъ и послѣдній кусокъ земли и оставляли ему въ собственность лишь одинъ Ватиканъ, въ эту самую минуту онъ, какъ нарочно, провозгласилъ свою непогрѣшимость, а вмѣстѣ съ тѣмъ и тезисъ: что безъ земнаго владѣнія христіанство не можетъ уцѣлѣть на землѣ,—т. е. въ сущности провозгласилъ себя владыкой міра, а предъ католичествомъ поставилъ, уже догматически, прямую

цѣль всемірной монархіи, къ которой и повелѣлъ стремиться во славу Божію и Христа на землѣ). О, конечно, онъ ужасно насмѣшилъ тогда всѣхъ остроумныхъ людей: „сердить да не силенъ,—Хлестакову братъ“. И вотъ, вдругъ, если ново-избранный папа будетъ подкупленъ, если даже самъ Конклавъ, подъ давленіемъ всей Европы, принужденъ будетъ войти въ соглашеніе съ противниками римской идеи, — ну, тогда ей и смерть! Ибо разъ, правильно-избранный, а стало быть непогрѣшимый папа, откажется въ принципѣ отъ сана земнаго государя, — то стало быть и впредь на вѣки такъ и останется. Съ другой стороны, если новоизбранный конклавомъ папа твердо и на всю вселенную объявитъ, что онъ ни отъ чего не хочетъ отказываться, а пребудетъ въ прежней идеѣ вполнѣ, и начнетъ съ анафемы на всѣхъ враговъ Рима и римскаго католичества, то тогда правительства Европы могутъ его не признать, а стало быть и въ этомъ случаѣ можетъ произойти такое роковое потрясеніе въ римской церкви, послѣдствія котораго могутъ быть неизчислимы и непредвидимы.

О, неправда ли, что для политиковъ и дипломатовъ почти всей Европы—все это весьма смѣшно и ничтожно! Папа, поверженный и заключенный въ Ватиканѣ, представлялъ собою, въ послѣдніе годы, въ ихъ глазахъ такое ничтожество, которымъ стыдно было и заниматься. Такъ размышляли чрезвычайно многіе передовые люди Европы, особенно изъ остроумныхъ и либеральнѣйшихъ. Папа издающій аллокуціи и силлабусы, принимающій богомольцевъ, проклинающій и умирающій — въ глазахъ ихъ похожъ былъ на шута для ихъ увеселенія. Мысль о томъ, что огромнѣйшая идея міра, идея вышедшая изъ главы діавола во время искушенія Христова въ пустынѣ, идея живущая въ мірѣ уже органически тысячу лѣтъ—эта идея такъ таки возьметъ и умретъ въ одну минуту—эта мысль принималась за несомнѣнную. Ошибка конечно тутъ заключалась въ религіозномъ значеніи этой идеи, въ томъ что два значенія были перемѣшаны вмѣстѣ: „Такъ какъ-де рѣдко кто теперь вѣритъ на свѣтѣ въ Бога, особенно по римскому толкованію, а во Франціи такъ даже не вѣритъ въ него и народъ, а развѣ одно только высшее сословіе, да и то не вѣритъ, а только ломается,—то стало быть какую же силу могутъ имѣть, въ нашъ образованный вѣкъ, папа и римское католичество?“—вотъ въ чемъ увѣрены даже и теперь остроумные люди. Но идея религіозная и идея папская въ сущности различны. Вотъ эта-то папская идея вдругъ въ наши дни, всего только два мѣсяца назадъ, разомъ проявила такую живучесть, такую силу, что произвела во Франціи радикальнѣйшій политическій переворотъ, надѣла на всю Францію узду и рабски повлекла ее за собой.

Во Франціи за послѣдніе годы образовалось парламентское большинство изъ республиканцевъ, и вели они свои дѣла порядочно, чисто, спокойно, безъ потрясеній. Улучшили армію, дали для нея громадныя суммы не споря, но и не думали о войнѣ, и всѣ понимали, и во Франціи, и въ Европѣ, что если есть вполнѣ миролюбивая партія, то ужъ конечно это они, республиканцы. Предводители ихъ отличались сдержанностью и необычнымъ еще у нихъ благоразуміемъ. Въ сущности, однако, все это люди отвлеченные и идеалисты. Это давно уже отпѣтые и ужасно

безсильные люди. Это либеральные, сѣдые, но молодящіеся старички, воображающіе себя все еще молодыми. Они остановились на идеяхъ первой французской революціи, т. е. на торжествѣ третьяго сословія, и въ полномъ смыслѣ слова суть воплощеніе буржуазіи. Это совершенно та же іюльская монархія, но съ тою лишь разницей, что она называется республикой и что нѣтъ короля (т. е. ужъ разумѣется „тирана“). Все, что они внесли новаго — это провозглашеніе въ 1848 году всеобщей подачи голосовъ, котораго такъ боялось іюльское королевское правительство, и изъ котораго не только не вышло ничего опаснаго, а напротивъ очень даже много, для буржуазіи, полезнаго. Очень тоже пригодилась потомъ эта идея правительству Наполеона III. Но старички удовлетворены были ею въ высшей степени, и ихъ, какъ дѣтей, тѣшитъ, что они республиканцы. Слово „республика“ у нихъ что-то комически-идеальное. Казалось бы эта невинная партія могла вполнѣ удовлетворить Францію, т. е. городскую буржуазію и землевладѣльцевъ. Но оказалось напротивъ. Въ самомъ дѣлѣ, почему республика всегда казалась во Франціи правительствомъ неблагонадежнымъ. И если республиканцы не были всегда ненавидимы, то всегда были презираемы за безсиліе ихъ огромнымъ большинствомъ буржуазіи. Если не прямо презираемы, то всегда не уважаемы. Народъ тоже въ нихъ почти никогда не вѣрилъ. Дѣло въ томъ, что каждый разъ, съ воцареніемъ во Франціи республики, все во Франціи какъ бы теряло свою прочность и самоувѣренность. Всегда до сихъ поръ республика была лишь какой-то временной срединой—между соціальными попытками самаго страшнаго размѣра и какимъ нибудь, иногда самымъ наглымъ, узурпаторомъ. И такъ какъ это почти всегда случалось, то такъ и привыкло на нее смотрѣть общество, и чуть лишь наступала республика, то всегда всѣ начинали чувствовать себя какъ бы въ междуцарствіи, и какъ бы благоразумно ни правили республиканцы, но буржуазія всегда при нихъ увѣрена, что рано-ли, поздно-ли, а грянетъ красный бунтъ или опять наступитъ какая-нибудь монархія. Кончилось тѣмъ, что монархическое правленіе буржуазія полюбила гораздо больше, чѣмъ республику, не смотря даже на то, что монархія, какъ напримѣръ Наполеона III, выражала даже какъ бы попытки войти въ соглашеніе съ соціалистами, тогда какъ ужъ никто на свѣтѣ не можетъ быть враждебнѣе соціалистамъ, какъ чистые республиканцы: для республиканцевъ было бы только слово республика, а соціалисты ищутъ не слова, а одного лишь дѣла. По принципамъ соціалистовъ все равно—республика, монархія-ли, французы ли они будутъ или станутъ нѣмцами, и право даже, если-бъ вышло какъ нибудь такъ, что имъ могъ бы пригодиться самъ Папа, то они провозгласили бы и Папу. Они прежде всего ищутъ *своего дѣла*, т. е. торжества четвертаго сословія и равенства въ распредѣленіи правъ въ пользованіи благами жизни, а подъ какимъ знаменемъ—это ужъ какъ тамъ придется, все равно хоть подъ самымъ деспотическимъ.

Замѣчательно, что князь Бисмаркъ ненавидитъ соціализмъ не меньше папства, и что германское правительство, въ самое послѣднее время особенно, стало какъ-то слишкомъ бояться соціалистической пропаганды. Безъ сомнѣнія это потому, что соціализмъ

обезличиваетъ національное начало и подъѣдаетъ національность въ самомъ корнѣ, а принципъ національности есть основная, есть главная идея всего германскаго объединенія, всего того, что совершилось въ Германіи въ послѣдніе годы. Но очень можетъ быть, что князь Бисмаркъ смотритъ еще глубже, а именно: соціализмъ есть сила грядущая для всей западной Европы, и если папство, когда нибудь будетъ покинуто и отброшено правительствами міра сего, то весьма и весьма можетъ случиться, что оно бросится въ объятія соціализма и соединится съ нимъ во едино. Папа выйдетъ ко всѣмъ нищимъ пѣшъ и босъ, и скажетъ, что все, чему они учатъ и чего хотятъ, давно уже есть въ Евангеліи, что до сихъ поръ лишь время не наступало имъ про это узнать, а теперь наступило, и что онъ, Папа, отдаетъ имъ Христа и вѣритъ въ муравейникъ. Римскому католичеству (слишкомъ ужь ясно это) нуженъ не Христосъ, а всемірное владычество: „Вамъ-де надо единеніе противъ врага — соединитесь подъ моею властью, ибо я одинъ *всемірен*ъ изъ всѣхъ властей и властителей міра, и пойдемъ вмѣстѣ.“ Эту картину, вѣроятно, предвидитъ князь Бисмаркъ, ибо лишь онъ одинъ изъ всѣхъ дипломатовъ возъимѣлъ на столько зоркій взглядъ, чтобъ провидѣть живучесть римской идеи и всю ту энергію съ которою она готова себя отстоять, не различая уже средствъ. Жить ей хочется адски, а убить ее трудно, это змѣя! — вотъ что понимаетъ во всей силѣ одинъ лишь князь Бисмаркъ, — главный врагъ папства и римской идеи!

Но молодящіеся старички, французскіе республиканцы, этого не въ состояніи были понять. Клерикаловъ они ненавидѣли изъ одного уже либерализма, но считали Папу безсильнымъ и презрѣннымъ, а римскую идею совсѣмъ отжившею. Они не догадались даже ужиться съ страшною клерикальною партіею, хотя бы только политически, чтобъ придать себѣ больше крѣпости. По крайней мѣрѣ они могли бы не раздражать пока клерикаловъ, не затрогивать ихъ, съ такимъ нарочнымъ задоромъ, и даже могли бы пообѣщать нѣкоторое содѣйствіе въ ближайшемъ будущемъ при выборѣ новаго Папы. Но они именно сдѣлали все противоположное—или отъ идеальной честности своихъ убѣжденій, или просто по легкомыслію. Послѣднее время они особенно стали гнать клерикаловъ, и какъ разъ въ ту минуту, когда папству лишь только и оставалась что одна Франція какъ поддержка, иначе выходилъ страшный шансъ умереть папству вмѣстѣ съ Піемъ IX-мъ. Ибо кто, въ случаѣ нужды, могъ-бы въ Европѣ обнажить мечь за „свободу“ избранія Папы и за свободу избраннаго Папы? Да и мечъ этотъ долженъ быть сильный и могучій. Другаго выбора не оставалось кромѣ Франціи и ея милліонной арміи. И вотъ Франція-то и во главѣ враговъ! Правда, маршалъ Макъ-Магонъ послушенъ, но онъ въ тискахъ и выпутаться самъ не умѣетъ: большинство палаты республиканское и либеральное и ни одна изъ партій не въ силахъ замѣстить его. Однимъ словомъ, сковырнуть республиканское большинство невозможно, и вотъ вдругъ клерикалы, — эти презираемые и безсильные клеракалы, выручаютъ маршала Макъ-Магона и проявляютъ на весь міръ такое могущество, какого никто отъ нихъ не ожидалъ болѣе. Они даютъ знать партіямъ, что имъ можно

войны два мѣсяца назадъ, даже можетъ быть заключалось для Германіи нѣчто почти пріятное: „Нѣтъ ужъ теперь-то они никакъ не догадаются—думали въ Германіи два мѣсяца назадъ—что это мы въ нихъ нуждаемся, теперь они напротивъ, стоя передъ Дунаемъ—„нѣмецкой рѣкой“, вполнѣ убѣждены, что сами они ужасно въ насъ нуждаются, и что въ концѣ войны не обойдется безъ нашего вѣскаго слова. И это хорошо что русскіе такъ думаютъ, это намъ въ будущемъ пригодится“. Сомнѣній нѣтъ, что навѣрно объ насъ такъ думали весьма многіе тонкіе нѣмцы; вся печать ея такъ думала и писала и—вдругъ теперь это клерикальное настроеніе все переворотило на другую сторону: „О, теперь они догадаются, теперь обо всемъ догадаются! А кромѣ того надо чтобъ Россія какъ можно скорѣе кончила на востокѣ. и освободилась. Но оказать на нее давленіе весьма невыгодно. Развѣ сама испугается Англіи и Австріи, но врядъ-ли. Соединиться-же съ Англіей и Австріей для давленія на Россію—нечего и думать: Они потомъ не помогутъ, а Россія разсердится. Странное положеніе! Ужъ не помочь-ли Россіи, чтобъ она кончила поскорѣе? Это можно сдѣлать и не обнажая меча, а лишь давленіемъ политическимъ,на Австрію напримѣръ...“—вотъ какъ раздумываютъ теперь тѣже политики, и очень, очень можетъ случиться, что все это такъ именно и есть въ самомъ дѣлѣ.

Однимъ словомъ, мнѣ хотѣлось высказать лишь мое убѣжденіе, мою вѣру, что Россія не только сильна и могущественна какъ всегда была, но теперь, особенно теперь, она самая сильная изъ всѣхъ странъ Европы, и что никогда ея рѣшающее слово не могло цѣниться въ Европѣ такъ вѣско какъ въ данный моментъ. Пусть Россія сама занята на Востокѣ, но одно лишь рѣшающее слово ея на вѣсахъ Европейской политики можетъ покачнуть теперь вѣсы по ея волѣ и желанію. Конечно и сама Англія теперь понимаетъ, что въ виду *возможности* весьма хлопотливыхъ новыхъ событій въ крайне-западной Европѣ,—и она пожалуй потеряетъ въ глазахъ Русскихъ двѣ трети своего престижа, и что поймутъ же наконецъ, даже самые мнительные изъ Русскихъ, что она отнюдь не рискнетъ на войну въ случаѣ сильной рѣшимости Россіи продолжать свое дѣло, и скорѣе станетъ расчитывать на дѣлежъ наслѣдства послѣ „больнаго человѣка“, чѣмъ рѣшится начать открытую войну за него въ такую и безъ того хлопотливую минуту въ Европѣ. Въ самомъ дѣлѣ, случись такъ, что и впрямь что нибудь разъиграется въ Западной Европѣ неожиданное и роковое, то никогда Англія не рѣшится слишкомъ всецѣло ввязаться въ такое хлопотливое дѣло, столь несходное съ обычнымъ характеромъ ея интересовъ, и ужъ навѣрно приметъ лишь зорко наблюдательное положеніе, выжидая по обычаю своему удобный моментъ когда можно будетъ пронюхать гдѣ нибудь какой-нибудь дѣлежъ добычи, чтобы немедленно къ нему примазаться. Затѣвать же теперь (т. е. до окончанія разъясненій крайне-западныхъ событій) съ Россіею что нибудь слишкомъ серьозное, будетъ ужъ слишкомъ для нея неразсчетливо. Съ другой стороны, Австрія, оставшись *одна*—что можетъ сдѣлать? Да и невѣроятно, чтобы клерикальное усложненіе дѣла въ крайне-западной Европѣ не смутило и ее хоть отчасти. И она конечно ждетъ, какъ и всѣ, дальнѣйшей раз-

вязки событій, такъ что и у ней, какъ у всѣхъ, отчасти связаны руки. У всѣхъ связаны, а у одной Россіи только распутаны. Вотъ ужъ и разъигралось значитъ нѣчто *непредвидѣнное* въ нашу пользу. Ну какъ не разсчитывать на *непредвидѣнное* въ рѣшеніи судебъ человѣческихъ?

Міромъ управляетъ Богъ и законы его, и если и впрямь разразится надъ Европой что либо новое и усложненное, то значитъ, рано ли поздно-ли, а тому непремѣнно надо было совершиться. Но дай Богъ чтобы *я* ошибся, дай Богъ чтобы новая грядущая туча разсѣялась и всѣ предчувствія мои оказались лишь „пылкими“ моими же фантазіями,—фантазіями ничего не понимающаго въ политикѣ человѣка. Все дѣло въ томъ: правы-ли всѣ официозные органы печати въ Германіи, ожидающіе и пророчащіе войну? Съ другой стороны, министры Макъ-Магона изо всѣхъ силъ, прежде всякихъ обвиненій увѣряютъ французовъ и весь свѣтъ, что Франція не начнетъ войны. Согласитесь что все это покрайней мѣрѣ подозрительно и что разрѣшеніе сомнѣній можетъ послѣдовать, уже по самому ходу дѣла, весьма и весьма въ непродолжительномъ времени. Но что если такъ много теперь зависитъ отъ „мнѣнія легіоновъ“? Худо если до того дойдетъ; тогда конецъ Франціи. Впрочемъ, съ ней только съ одной это и можетъ случиться, и ни съ кѣмъ больше въ цѣломъ мірѣ. Но дай Богъ чтобъ и съ ней не случилось: начинъ нехорошъ, примѣръ будетъ очень ужъ нехорошъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Любители турокъ.

А вѣдь у насъ теперь объявилось довольно много любителей турокъ, — конечно по поводу войны съ ними. Прежде я не помню ни разу во всю мою жизнь, чтобы кто нибудь началъ разговоръ съ тѣмъ чтобъ восхищаться турками. Теперь же очень часто слышу про ихъ защитниковъ и даже самъ встрѣчался съ такими, и очень даже горячатся. Тутъ разумѣется потребность отличиться оригинальностью. Но вотъ однакоже любители ученые, учителя, профессора.

— Мусульманскій міръ внесъ въ христіанскій науку. Христіанскій міръ потопалъ во мракѣ невѣжества, когда у арабовъ уже сіяла наука.

Тутъ, видите-ли, причиною невѣжества христіанство. Туть Бокль, тутъ даже Дреперъ. Выходитъ стало быть обратно, что мусульманство есть свѣтъ, а христіанство начало тьмы. Какая уединенная логика! Оттого-то вѣроятно магометанство такъ и просвѣщено въ настоящее время сравнительно съ христіанствомъ. Чтожъ они свой свѣточь-то потушили такъ рано!

— Да, но у нихъ однако монотеизмъ, а у христіанъ...

Это превознесеніе мусульманъ за монотеизмъ, т. е. за чистоту ученія о единствѣ Божіемъ, будто-бы высшую

сравнительно съ ученіемъ христіанскимъ,—это конекъ очень многихъ любителей Турокъ. Но тутъ главное въ томъ, что эти любители порвали съ народомъ и не понимаютъ его. Разорвавъ съ народомъ они успѣли уже составить себѣ иныя удивительныя понятія о томъ, что у русскаго простолюдина происходитъ въ головѣ. Между тѣмъ у русскаго простолюдина, „ничего не смыслящаго въ дѣлѣ вѣры и не знающаго молитвъ“—какъ привыкли говорить о немъ,—весьма часто, если не всегда, составляется однако въ умѣ и въ душѣ весьма своеобразное, но *твёрдое* и строгое и вполнѣ удовлетворяющее его убѣжденіе о томъ, во что онъ вѣруетъ, хотя въ тоже время, конечно, рѣдкій изъ простолюдиновъ съумѣетъ изложить свои вѣрованія словами отчетливо и въ послѣдовательности. Этому, порвавшему съ народомъ „интелигентному“ русскому удивительно было бы услышать, что этотъ безграмотный мужикъ вполнѣ и незыблемо вѣруетъ въ Божіе единство, въ то что Богъ единъ и нѣтъ другаго Бога, такого какъ Онъ. Въ тоже время русскій мужикъ знаетъ и благоговѣйно вѣруетъ (всякій русскій мужикъ это знаетъ) что Христосъ, истинный Богъ его, родился отъ Бога Отца и воплотился отъ Дѣвы Маріи. Прежде всего интелигентный русскій порвавшій съ народомъ не захочетъ допустить даже возможности того, чтобъ русскій мужикъ, ничему не учившійся, могъ имѣть такія знанія: „Онъ такъ необразованъ, такъ теменъ, его ничему не учатъ, гдѣ его учитель?“ Онъ не пойметъ никогда, что учитель мужика, „въ дѣлѣ вѣры его“—это сама почва, это вся земля русская, что вѣрованія эти какъ-бы рождаются вмѣстѣ съ нимъ и укрѣпляются въ сердцѣ его вмѣстѣ съ жизнію. Но всего невѣроятнѣе иному русскому мыслителю то, какъ можетъ русскій простолюдинъ не сбиться въ своихъ понятіяхъ! Самъ давно уже утративъ всякое понятіе о томъ, что такое непосредственная великая теплая вѣра народа, онъ уже не можетъ допустить, чтобъ благоговѣйно вѣруя въ великую христіанскую тайну воплощенія Сына Божія, простолюдинъ могъ въ тоже время оставаться при самомъ строжайшемъ монотеизмѣ. Скорѣе-же онъ припишетъ эту твердость столь *непосредственныхъ* убѣжденій русскаго простолюдина—непривычкѣ размышлять, привычкѣ къ путаницѣ понятій отъ лѣности и отупѣнія мысли, отъ отсутствія всякой критики въ умѣ его; „плачевное“ же состояніе ума его припишетъ забитости, нуждѣ, разврату, крѣпостному состоянію и проч. На томъ и стоитъ русскій ученый, *изучающій* русскій народъ. Совершенно тѣмъ же процессомъ могло произойти и осужденіе православныхъ русскихъ за поклоненіе, напримѣръ, иконамъ. Иной лютеранскій пасторъ, ни за что не можетъ понять какъ можно, вѣруя въ истиннаго Бога, покланяться въ тоже время „доскѣ“, изображенію святого, и допустить чтобъ изъ этого не вышло идолопоклонства. Русскій интелигентный человѣкъ всего чаще согласенъ въ этомъ сужденіи съ пасторомъ. Между тѣмъ нѣтъ *ни одного* русскаго мужика, или бабы, которые, поклонясь иконѣ, въ тоже время *хотъ сколько нибудь* смѣшивали „доску“ съ самимъ Богомъ, не смотря на то, что православный народъ въ тоже время вѣруетъ въ чудотворность иныхъ иконъ. Но нѣтъ ни *одного русскаго*, который чудотворную силу иконы приписалъ бы самой иконѣ, а не соизволенію Божію. А это уже совсѣмъ другое. Вотъ этого то воззрѣнія русскаго простолюдина ни па-

сторъ, ни разорвавшій съ народомъ русскій ни за что не допустятъ, да и не повѣрятъ что такъ оно есть.

Вспомнили бы однако Магометовъ рай, чтобы уже совсѣмъ восполнить свое убѣжденіе о чистотѣ Турецкихъ понятій о единствѣ Божіемъ. Все это я разумѣется говорю не затѣмъ, чтобъ затѣять съ почитателями турецкаго монотеизма богословскій споръ, и ужъ конечно не затѣвалъ его. Вѣдь почитатели эти хлопочутъ больше о *здравыхъ* понятіяхъ народа, а самимъ-то имъ, пожалуй, и все равно, кто-бы какъ ни вѣрилъ. Вотъ потому то я и свелъ этотъ вопросъ лишь на народное о немъ понятіе.

II.

Золотые фраки. Прямолинейные.

Кромѣ любителей турокъ объявилось очень много людей съ потребностью *особливаго мнѣнія:* „Все вздоръ, нѣтъ никакого движенія; адрессы вздоръ, это не по русски; санитарные отряды вздоръ, это не по русски. Сантиментальничаніе. Славянъ выдумали, Болгаръ выдумали, турки лучше Болгаръ, все вздоръ. Я люблю турокъ“...

Это не то, чтобъ изъ какихъ нибудь злокачественно-тонкихъ видовъ высшей политики. „Высшая политика“ у насъ есть, это безспорно, но эти—эти просто самолюбіе. Самолюбіе въ двухъ видахъ: или до крайности придавленное, а вслѣдствіе того и непремѣнная потребность пооригинальничать чтобъ отличиться и чѣмъ нибудь заявить себя, или 2) самолюбіе отъ необыкновеннаго величія. Русскій „великій человѣкъ“ всего чаще не выноситъ своего величія. Право, еслибъ можно было надѣть золотой фракъ, изъ парчи напримѣръ, чтобъ ужъ не походить на всѣхъ прочихъ и низшихъ, то онъ бы откровенно надѣлъ его и не постыдился. Я увѣренъ въ томъ и если до сихъ поръ еще не видалъ ни одного изъ нашихъ „великихъ“ въ золотомъ фракѣ, то вѣроятно потому, что портные шить не согласны. „Я всѣхъ умнѣе, я великъ, Всѣ они объ войнѣ *такъ* думаютъ, такъ я не хочу такъ какъ они думать. Докажу что великъ“...

Объ золотомъ фракѣ, объ характерно-русскихъ соціальныхъ и психологическихъ основаніяхъ происхожденія его, о наглядныхъ примѣрахъ и проч. и проч., мнѣ хочется особо поговорить, тема милая и я можетъ быть о ней не забуду. Теперь же, оставивъ пока золотой фракъ въ покоѣ, скажу словечко о „прямолинейныхъ“. Прямолинейные бываютъ всякіе, — люди добрые и злые, умные и глупые, честные и нечестные и т. д. Ихъ у насъ очень много. Эти бьютъ въ одну точку и ихъ ни за что не собьешь съ этой точки: J'y suis et j'y reste. Это наши Макъ-Магоны.

Изъ арміи доносятся извѣстія о геройствѣ, о самоотверженности русскихъ, какъ солдатъ, такъ и офицеровъ. Тутъ молодежь. Еще недавно было такое безвѣріе въ молодежь—въ надежду нашу; многіе видѣли въ ней лишь цинизмъ, обвиняли ее въ тупомъ отрицаніи, въ холодности, въ равнодушіи, въ тупомъ самоубійствѣ, а теперь вдругъ какъ бы прочистился воздухъ: таже молодежь проявляетъ великодушіе, жажду геройскаго порыва, долга, чести, жертвы. Они идутъ впереди солдатъ, они бросаются первые въ опасность...

— Да, но этакъ сознательно бросаться на вѣрную смерть можетъ

только пьяный или сумасшедшій. Другаго объясненія нельзя найти.

— Какъ? неужели вы не предполагаете въ немъ великодушнаго сознанія что онъ жертвуетъ собою для Россіи, служитъ ей...

— Кулакомъ.

— То есть какъ же? Въ войнѣ надо драться. Чѣмъ же бы онъ могъ принесть пользу?

— Гм. Напримѣръ школы.

— Школы въ свое время. Въ школы онъ принесетъ потомъ сознаніе исполненнаго долга, великодушное воспоминаніе, сближеніе съ народомъ.

— Какое сближеніе съ народомъ?

— Въ общей солидарности для общаго дѣла. Солдатъ и его офицеръ живутъ теперь *тамъ* единымъ духомъ и единымъ чувствомъ. Интелигенція роднится съ народомъ, возвращается къ нему опять и уже дѣломъ а не теоріей, научается уважать народъ, изъ котораго вышелъ этотъ солдатъ, и научаетъ народъ уважать себя и уже не какъ начальника, или господина, а какъ человѣка, душевно. Недавній разсказъ о простолюдинѣ, обнявшемъ въ слезахъ въ Успенскомъ соборѣ Черняева, имѣетъ значеніе. Вы хотите образовать народъ, но вы скорѣе его образуете за[illegible]зивъ его уважать ваши идеи, ваши дѣла и привлекая къ себѣ народъ сердцемъ. Чѣмъ больше народъ будетъ уважать людей образованныхъ *мнѣ*, тѣмъ вѣрнѣе пойдетъ и образованіе народное. Такимъ образомъ, заслуживая уваженіе народа, вы служите уже дѣлу образованія народнаго, тѣмъ же школамъ, о которыхъ вы такъ хлопочете.

— Заслужить уваженіе черезъ кулакъ; заставить народъ уважать кулакъ?

— Тутъ не одинъ кулакъ, тутъ прежде всего великодушіе, тутъ жертва собственною жизнію на виду. На виду и смерть красна. Вы вотъ спрашиваете, что можетъ заставить человѣка, въ цвѣтѣ жизни, жертвовать почти навѣрно жизнію и недоумѣваете, — иначе вѣдь нельзя объяснить вашихъ словъ о пьяномъ и сумасшедшемъ: они только аллегорія, способъ выраженія. Но что можетъ заставить? Жажда славы, честнаго дѣла, жажда заслужить добрую извѣстность, похвалу всѣхъ согражданъ, которые всѣ теперь слѣдятъ за ихъ дѣлами, проявить личность, прославить имя.

— Ага, сдѣлать карьеру!

— Но всѣ эти чувства и побужденія великодушны. Ихъ тысячи и все вмѣстѣ. Человѣкъ не изъ одного какого-нибудь побужденія состоитъ, человѣкъ—цѣлый міръ, было бы только основное побужденіе въ немъ благородно. Пролитая же собственная кровь и готовность пролить ее благородятъ даже и неблагороднаго до тѣхъ поръ человѣка, налагаютъ на него обязанность чести на всю потомъ жизнь. У насъ уже появились въ печати опасенія, что эти люди потомъ возьмутъ верхъ, явится самоудовлетвореніе, гордость, будутъ презирать образованіе, штафирокъ, будутъ буйствовать, и что въ общество проникнутъ эти идеи. Но напрасные страхи. Улита ѣдетъ когда-то будетъ. Какъ не появиться Копѣйкинымъ, „такъ сказать кровь проливавшимъ“, это правда, но вѣдь они только людей насмѣшатъ и себѣ повредятъ. Выгода же нравственная будетъ неисчислима. Развѣется тоска цинизма, явится уваженіе къ честному подвигу...

— И къ кулаку.

— Тутъ не одни кулачные бойцы, тутъ есть почти еще дѣти, чистые

сердцемъ дѣти. Онъ только что произведенъ, онъ бросается впередъ на подвигъ, съ мыслію о томъ что скажетъ о немъ, тамъ, далеко, его мать, сестра, съ которыми онъ только что простился... Неужели это только смѣшно и сантиментально? Наконецъ, почему не допустить въ этихъ герояхъ высшаго сознанія. Онъ понимаетъ что Россія взяла задачу трудную, что задача эта можетъ и еще усложниться. Они всѣ видятъ теперь что Россія не съ одной ужъ Турціей ведетъ войну, что турецкими арміями руководятъ англійскіе генералы, что англійскіе офицеры воздвигаютъ многочисленнѣйшія укрѣпленія на англійскія деньги, что флотъ англійскій ободряетъ Турцію продолжать войну, что наконецъ, чутьли не явились (въ Азіатской Турціи) уже англійскія войска... Они знаютъ все это и бросаются почти на смерть, понимая что пришло время сослужить Россіи вѣрную службу. Я уже не говорю про Болгаръ, про угнетеныхъ „братьевъ славянъ", мучимыхъ, обижаемыхъ. Къ стыду нашему эта тема уже устарѣла... но не въ ихъ сердцахъ. Не ужели вы не предполагаете во многихъ изъ нихъ высшаго сознанія, что они идутъ служить человѣчеству, угнетеннымъ, оскорбленнымъ...

— Служить человѣчеству кулакомъ!

— Позвольте, кстати, вамъ разсказать одинъ анекдотъ. Я уже передавалъ однажды, что въ Москвѣ, въ одномъ изъ пріютовъ, гдѣ наблюдаютъ маленькихъ Болгарскихъ дѣтей сиротокъ, привезенныхъ къ намъ въ Россію послѣ тамошняго разгрома, есть одна больная дѣвочка, лѣтъ 10, которая видѣла (и не можетъ забыть) какъ Турки, при ней, содрали кожу съ ея живаго отца. Ну такъ въ этомъ же пріютѣ есть и другая больная болгарка, тоже лѣтъ десяти и мнѣ объ ней недавно разсказали. У ней странная болѣзнь: постепенный, все большій и большій упадокъ силъ и безпрерывный позывъ ко сну. Она все спитъ, но сонъ нисколько ее не укрѣпляетъ, а даже напротивъ. Болѣзнь очень серьезная. Теперь эта дѣвочка можетъ быть уже умерла. У ней тоже одно воспоминаніе, котораго она не можетъ выносить. Турки взяли ея маленькаго брата, ребенка двухъ-трехъ лѣтъ, сначала выкололи ему иголкой глаза, а потомъ посадили на колъ. Ребеночекъ страшно и долго кричалъ пока умеръ, фактъ этотъ совершенно вѣрный. Ну, вотъ этого и не можетъ забыть дѣвочка, все это они сдѣлали при ней, на ея глазахъ. Природа можетъ быть и посылаетъ такимъ, пораженнымъ сердечно, сонъ, потому что они не могли бы долго оставаться на яву съ такимъ безпрерывнымъ воспоминаніемъ предъ собою.—Теперь представьте себѣ, что вы-бы тамъ были сами въ ту минуту какъ они прокалывали ребенку глаза. Скажите, неужели вы бы не бросились остановить ихъ, даже и кулакомъ?

— Да, но все же кулакъ.

— Да вы не бейте ихъ, если хотите, вы только ятаганы-то у нихъ отнимите! Неужели и этого нельзя сдѣлать силой?

А кстати, неужели есть у насъ даже такіе любители турокъ, которые и ятагановъ-то у нихъ не желали бы отобрать? Не думаю и не вѣрю чтобъ были.

Ѳ. Достоевскій.

7-й и 8-й выпуски выйдутъ вмѣстѣ въ первыхъ числахъ сентября.

Дозволено цензурою. Спб. 8 іюля 1877. Типогр. кн. В. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ГОДЪ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ. II-Й,

1877.

ІЮЛЬ—АВГУСТЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Разговоръ мой съ однимъ московскимъ знакомымъ.—Замѣтка по поводу новой книжки.

Выдавъ въ Петербургѣ мой запоздавшій май-іюньскій выпускъ „Дневника“ и возвращаясь затѣмъ въ курскую губернію, я, проѣздомъ черезъ Москву, поговорилъ кой о чемъ съ однимъ изъ моихъ давнихъ московскихъ знакомыхъ, съ которымъ вижусь рѣдко, но мнѣніе котораго глубоко цѣню. Разговора я въ цѣломъ не привожу, хотя я узналъ при этомъ кое-что весьма любопытное изъ текущаго, чего и не подозрѣвалъ. Но, разставаясь съ моимъ собесѣдникомъ, я, между прочимъ, упомянулъ, что хочу сдѣлать, пользуясь случаемъ, маленькій крюкъ по дорогѣ, изъ Москвы полтораста верстъ въ сторону, чтобы посѣтить мѣста перваго моего дѣтства и отрочества,—деревню, принадлежавшую когда-то моимъ родителямъ, но давно уже перешедшую во владѣніе одной изъ нашихъ родственницъ. Сорокъ лѣтъ я тамъ не былъ и столько разъ хотѣлъ туда съѣздить, но все никакъ не могъ, не смотря на то что это маленькое и незамѣчательное мѣсто оставило во мнѣ самое глубокое и сильное впечатлѣніе на всю потомъ жизнь и гдѣ все полно для меня самыми дорогими воспоминаніями.

— Вотъ у васъ есть такія воспоминанія и такія мѣста, и у всѣхъ насъ были. Любопытно: что у нынѣшней молодежи, у нынѣшнихъ дѣтей и подростковъ будетъ драгоцѣннаго въ ихъ воспоминаніяхъ, и будетъ-ли? Главное что именно? Какого рода?

Что святыя воспоминанія будутъ и у нынѣшнихъ дѣтей, сомнѣнія конечно

быть не можетъ, иначе прекратилась бы живая жизнь. Безъ святаго и драгоцѣннаго, унесеннаго въ жизнь изъ воспоминаній дѣтства, не можетъ и жить человѣкъ. Иной повидимому о томъ и не думаетъ, а все-таки эти воспоминанія безсознательно да сохраняетъ. Воспоминанія эти могутъ быть даже тяжелыя, горькія, но вѣдь и прожитое страданіе можетъ обратиться впослѣдствіи въ святыню для души. Человѣкъ и вообще такъ созданъ, что любитъ свое прожитое страданіе. Человѣкъ, кромѣ того, уже по самой необходимости наклоненъ отмѣчать какъ бы точки въ своемъ прошедшемъ, чтобы по нимъ потомъ ориентироваться въ дальнѣйшемъ, и выводить по нимъ хотя бы нѣчто цѣлое, для порядка и собственнаго назиданія. При этомъ самыя сильнѣйшія и вліяющія воспоминанія почти всегда тѣ, которыя остаются изъ дѣтства. А потому и сомнѣнія нѣтъ, что воспоминанія и впечатлѣнія, и, можетъ быть, самыя сильныя и святыя, унесутся и нынѣшними дѣтьми въ жизнь. Но что именно будетъ въ этихъ воспоминаніяхъ, что именно унесутъ они съ собою въ жизнь, какъ именно оформируется для нихъ этотъ дорогой запасъ—все это конечно и любопытный и серьезный вопросъ. Еслибъ можно было хоть сколько нибудь предугадать на него отвѣтъ, то можно бы было утолить много современныхъ тревожныхъ сомнѣній, и, можетъ быть многіе-бы радостно увѣровали въ русскую молодежь; главное же — можно бы было хоть сколько нибудь почувствовать наше будущее, наше русское столь загадочное будущее. Но бѣда въ томъ, что никогда еще не было эпохи въ нашей русской жизни, которая столь менѣе представляла-бы данныхъ для предчувствованія и предузнанія всегда загадочнаго нашего будущаго, какъ теперешняя эпоха. Да и никогда семейство русское не было болѣе расшатано, разложено, болѣе неразсортировано и неоформлено, какъ теперь. Гдѣ вы найдете теперь такія „Дѣтства и Отрочества“, которыя бы могли быть возсозданы въ такомъ стройномъ и отчетливомъ изложеніи, въ какомъ представилъ, напримѣръ, намъ *свою* эпоху и свое семейство графъ Левъ Толстой, или какъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ его-же? Всѣ эти поэмы теперь *не болѣе мишь, какъ историческія картины давно прошедшаго*. О, я вовсе не желаю сказать, что это были такія прекрасныя картины, отнюдь я не желаю ихъ повторенія въ наше время, и совсѣмъ не про то говорю. Я говорю лишь объ ихъ *характерѣ*, о законченности, точности и опредѣленности ихъ характера,—качества, благодаря которымъ и могло появиться такое ясное и отчетливое изображеніе эпохи, какъ въ обѣихъ поэмахъ графа Толстаго. Нынѣ этого нѣтъ, нѣтъ опредѣленности, нѣтъ ясности. Современное русское семейство становится все болѣе и болѣе *случайнымъ* семействомъ. Именно *случайное семейство* — вотъ опредѣленіе современной русской семьи. Старый обликъ свой она какъ то вдругъ потеряла, какъ-то внезапно даже, а новый.... въ силахъ ли она будетъ создать себѣ новый, желанный и удовлетворяющій русское сердце обликъ? Иные, и столь серьезные даже люди, говорятъ прямо, что русскаго семей, ства теперь „вовсе нѣтъ“. Разумѣется все это говорится лишь о русскомъ интелигентномъ семействѣ, т. е., высшихъ сословій, не народномъ. Но, однако, народное-то семейство, — развѣ теперь оно не вопросъ тоже?

— Вотъ что безспорно, — сказалъ

мнѣ мой собесѣдникъ,—безспорно то, что въ весьма непродолжительномъ времени въ народѣ явятся новые вопросы, да и явились уже — куча вопросовъ, страшная масса все новыхъ, никогда не бывавшихъ, до сихъ поръ въ народѣ неслыханныхъ, и все это естественно. Но кто отвѣтитъ на эти вопросы народу? Кто готовъ у насъ отвѣчать на нихъ, и кто первый выищется, кто ждетъ уже и готовится? Вотъ вопросъ, нашъ вопросъ, да еще самой первой важности.

И ужъ, конечно, первой важности. Столь крутой переломъ жизни какъ реформа 19-го февраля, какъ всѣ потомъ реформы, а главное грамотность (хотя бы даже самое малое соприкосновеніе съ нею), все это безспорно родитъ и родило уже вопросы, потомъ пожалуй, оформируетъ ихъ, объединитъ, дастъ имъ устойчивость и — въ самомъ дѣлѣ, кто отвѣтитъ на эти вопросы? Ну кто всего ближе стоитъ къ народу? Духовенство? Но духовенство наше не отвѣчаетъ на вопросы народа давно уже. Кромѣ иныхъ, еще горящихъ огнемъ ревности о Христѣ священниковъ, часто незамѣтныхъ, никому неизвѣстныхъ, именно потому что ничего не ищутъ для себя, а живутъ лишь для паствы, — кромѣ этихъ, и увы, весьма кажется немногихъ, остальные, если ужъ очень потребуются отъ нихъ отвѣты — отвѣтятъ на вопросы, пожалуй, еще доносомъ на нихъ. Другіе до того отдаляютъ отъ себя паству несоразмѣрными ни съ чѣмъ поборами, что къ нимъ и не придетъ никто спрашивать. На эту тему можно-бы и много прибавить, но прибавимъ потомъ. Затѣмъ, одни изъ ближайшихъ къ народу—это сельскіе учителя. Но къ чему годятся и къ чему готовы наши сельскіе учителя? Что представила до сихъ поръ эта, лишь начинающаяся впрочемъ, но столь важная по значенію въ будущемъ, новая корпорація, и на что она въ состояніи отвѣтить? На это лучше не отвѣчать. Остаются, стало быть, отвѣты случайные,—по городамъ, на станціяхъ, на дорогахъ, на улицахъ, на рынкахъ, отъ прохожихъ, отъ бродягъ и, наконецъ, отъ прежнихъ помѣщиковъ (объ начальствѣ само собою не упоминаю). О, отвѣтовъ, конечно, будетъ множество, пожалуй, еще больше чѣмъ вопросовъ,—отвѣтовъ добрыхъ и злыхъ, глупыхъ и премудрыхъ, но главный характеръ ихъ, кажется, будетъ тотъ, что каждый отвѣтъ родитъ еще по три новыхъ вопроса, и пойдетъ это все crescendo. Въ результатѣ хаосъ, но хаосъ бы еще хорошо: скороспѣлыя разрѣшенія задачъ хуже хаоса.

— А главное, — нечего и говорить объ этомъ. Вынесутъ.

Конечно вынесутъ, и безъ насъ вынесутъ, и безъ отвѣтчиковъ и при отвѣтчикахъ. Могуча Русь и не то еще выносила. Да и не таково назначеніе и цѣль ея, чтобъ зря повернулась она съ вѣковой своей дороги, да и размѣры ея не тѣ. Кто вѣритъ въ Русь, тотъ знаетъ, что вынесетъ она *все* рѣшительно, даже и вопросы, и останется въ сути своей такою-же прежнею, святою нашей Русью, какъ и была до сихъ поръ, и, сколь ни измѣнился бы, пожалуй, обликъ ея, но измѣненія облика бояться нечего, и задерживать, отдалять вопросы вовсе не надо: кто вѣритъ въ Русь, тому даже стыдно это. Ея назначеніе столь высоко, и ея внутреннее предчувствіе этого назначенія столь ясно (особенно теперь, въ нашу эпоху, въ теперешнюю минуту главное), что тотъ, кто вѣруетъ въ это назначеніе, долженъ стоять выше всѣхъ сомнѣній и

опасеній. „Здѣсь терпѣніе и вѣра святыхъ“, какъ говорится въ священной книгѣ.

—

Въ то утро я только что увидалъ, въ первый разъ, объявленіе въ газетахъ о выходѣ отдѣльно восьмой и послѣдней части Анны Карениной, отвергнутой редакціей „Русскаго Вѣстника“, въ которомъ печатался весь романъ, съ самой первой части. Всѣмъ извѣстно было тоже, что отвергнута эта послѣдняя, восьмая часть за разногласіе ея съ направленіемъ журнала и убѣжденіями редакторовъ, и именно по поводу взгляда автора на Восточный вопросъ и прошлогоднюю войну. Книгу я немедленно положилъ купить и, прощаясь съ моимъ собесѣдникомъ, спросилъ его о ней, зная что ему давно уже извѣстно ея содержаніе. Онъ засмѣялся.

— Самая невиннѣйшая вещь, какая только можетъ быть! отвѣчалъ онъ. Вовсе не понимаю, зачѣмъ „Русскій Вѣстникъ“ не помѣстилъ ее. Притомъ же авторъ предоставлялъ имъ право на какія угодно оговорки и выноски, если они съ нимъ несогласны. А потому прямо и сдѣлали-бы выноску, что вотъ дескать авторъ...

Я, впрочемъ, не впишу сюда содержанія этой выноски, предлагавшейся моимъ собесѣдникомъ, тѣмъ болѣе, что и высказалъ онъ ее, все еще продолжая смѣяться. Но въ концѣ онъ прибавилъ уже серьезно:

— Авторъ Анны Карениной, не смотря на свой огромный художественный талантъ, есть одинъ изъ тѣхъ русскихъ умовъ, которые видятъ ясно лишь то, что стоитъ прямо передъ ихъ глазами, а потому и прутъ въ эту точку. Повернуть же шею на право иль на лѣво, чтобъ разглядѣть и то, что стоитъ въ сторонѣ, они очевидно не имѣютъ способности: имъ нужно для того повернуться всѣмъ тѣломъ, всѣмъ корпусомъ. Вотъ тогда они, пожалуй, заговорятъ совершенно противоположное, такъ какъ во всякомъ случаѣ они всегда строго искренни. Этотъ перевертъ можетъ и совсѣмъ не совершиться, но можетъ совершиться и черезъ мѣсяцъ, и тогда почтенный авторъ съ такимъ же задоромъ закричитъ, что и добровольцевъ надо посылать и корпій щипать, и будетъ говорить все что мы говоримъ...

Книжку эту я купилъ и потомъ прочелъ, и нашелъ ее вовсе не столь „невинною“. И такъ какъ я, не смотря на все мое отвращеніе пускаться въ критику современныхъ мнѣ литераторовъ и ихъ произведеній—рѣшилъ непремѣнно поговорить объ ней въ „Дневникѣ“ (даже, можетъ быть въ этомъ же выпускѣ)—то и счелъ не лишнимъ вписать сюда и мой разговоръ о ней съ моимъ собесѣдникомъ, у котораго и прошу потому извиненія за мою нескромность...

II.

Жажда слуховъ и того что „скрываютъ“.—Слово: скрываютъ можетъ имѣть будущность, а потому и надобно принять мѣры заранѣе.—Опять о случайномъ семействѣ.

Эти „мѣста моего дѣтства“, куда я собирался съѣздить,—отъ Москвы всего полтораста верстъ, изъ коихъ сто сорокъ по желѣзной дорогѣ; но употребить на эти полтораста верстъ пришлось почти десять часовъ. Множество остановокъ, пересаживаній, а на одной станціи приходится ждать этого пересаживанія три часа. И все это при всѣхъ непріятностяхъ русской желѣз-

ной дороги, при небрежнѣйшемъ и почти высокомѣрномъ отношеніи къ вамъ и къ нуждамъ вашимъ кондукторовъ и „начальства“. Всѣмъ давно извѣстна формула русской желѣзной дороги: „не дорога создана для публики, а публика для дороги“. Нѣтъ такого желѣзнодорожника, съ кондуктора до директора включительно который бы сомнѣвался въ этой аксіомѣ, и не посмотрѣлъ бы на васъ съ насмѣшливымъ удивленіемъ еслибъ вы стали утверждать передъ нимъ, что дорога создана для публики. А главное, и слушать не будутъ.

Кстати въ это лѣто я изъѣздилъ до четырехъ тысячь верстъ, по крайней мѣрѣ, и вездѣ по дорогѣ меня особенно поражалъ этотъ разъ народъ; вездѣ народъ говорилъ про войну. Ничто не могло сравниться съ тѣмъ интересомъ и съ тѣмъ жаднымъ любопытствомъ, съ которымъ простонародье выслушивало и распрашивало про войну. Въ вагонахъ я замѣтилъ даже нѣсколькихъ мужиковъ читавшихъ газеты, большею частію вслухъ. Случалось садиться рядомъ съ ними: какой-нибудь мѣщанинъ оглядитъ васъ осторожно сначала, и особенно коль увидитъ у васъ, или подлѣ васъ газету,— немедленно, и чрезвычайно вѣжливо освѣдомится: откуда вы? И коль отвѣтите что изъ Москвы, или изъ Петербурга (а еще интереснѣе для него если съ юга, изъ Одессы напримѣръ), то непремѣнно спроситъ: „Что слышно про войну?“ За тѣмъ чуть-чуть вы вселите въ него довѣрчивость вашимъ отвѣтомъ и готовностью отвѣчать ему, онъ тотчасъ, впрочемъ опять-таки съ осторожностью, мѣняетъ любопытный видъ на таинственный, приближается къ вамъ и спрашиваетъ, уже понижая голосъ: „А нѣтъ-ли, дескать, чего особеннаго?“ то есть, поособеннѣе чѣмъ въ газетахъ, того, дескать, что скрываютъ? При этомъ прибавлю, что недовольныхъ на правительство за объявленіе войны въ народѣ нѣтъ никого, даже въ самыхъ злорадныхъ типахъ, а злорадные есть, но тутъ особеннаго рода злорадство: Проходишь, напримѣръ, во время остановки по платформѣ станціи и вдругъ услышишь: „семнадцать тысячь нашихъ легло, только что сейчасъ была телеграма!“ Смотришь, ораторствуетъ какой-нибудь паренекъ, лицо у него выражаетъ какое-то зловѣщее упоеніе, и вовсе не то, чтобъ онъ былъ радъ, что нашихъ легло семнадцать тысячь, нѣтъ, тутъ другое, тутъ въ родѣ того какъ еслибъ вдругъ погорѣлъ человѣкъ, все сгорѣло—изба, деньги, скотъ: „смотрите, дескать, на меня православные христіане, все пропало, въ лохмотьяхъ, одинъ какъ перстъ!“ Въ эти минуты тоже бываетъ у этакого какая-то сладость злораднаго самоупоенія въ лицѣ. Но на счетъ „семнадцати тысячь“ было и другое: „телеграма, дескать, такая есть, только ее задерживаютъ, скрываютъ еще не пущаютъ... видѣли, сами читали...“—вотъ смыслъ. Я не утерпѣлъ, вдругъ подошелъ къ кучкѣ и сказалъ что все вздоръ, слухи глупые, не могли побить семнадцати тысять нашихъ, все благополучно. Паренекъ (какъ будто изъ мѣщанства, а то и мужикъ пожалуй) нѣсколько хотя и сконфузился, но не очень: „мы, дескать, люди темные, не свои слова говоримъ, такъ слышали“. толпа быстро разошлась, къ тому же зазвенѣлъ и звонокъ. Любопытно мнѣ теперь потому, что происходило это девятнадцатаго іюля, часовъ въ пять по полудни. Наканунѣ-же, восемнадцатаго, было Плевненское дѣло. Какая тутъ

могла быть еще телеграма, даже кому бы то ни было, а не то что среди поѣзда желѣзной дороги? Конечно, случайное совпаденіе. Не думаю, впрочемъ, чтобъ парень былъ самъ распускатель и выдумщикъ ложныхъ слуховъ, вѣрнѣе всего что онъ въ самомъ дѣлѣ отъ кого-нибудь слышалъ. Надо думать, что фабрикантовъ ложныхъ слуховъ, и уже конечно злыхъ слуховъ, объ неудачахъ и несчастіяхъ, развелось по Россіи въ это лѣто чрезвычайное множество и ужъ конечно съ цѣлями, а не то что изъ одного простаго вранья.

Въ виду горячаго патріотическаго настроенія народа въ эту войну, въ виду той *сознательности* о значеніи и задачахъ этой войны, которая обнаружилась въ народѣ нашемъ еще съ прошлаго года, въ виду пламенной и благоговѣйной вѣры народа въ своего царя—всѣ эти задержки и секреты въ извѣстіяхъ съ театра войны не только не полезны, но положительно вредны. Никто не можетъ конечно ни требовать, ни желать чтобъ сообщались стратегическіе планы, цифры войскъ раньше дѣла, военные секреты и проч., но по крайней мѣрѣ то, что узнаютъ вѣнскія газеты раньше нашихъ, можно бы знать и намъ раньше ихъ *).

Сидя на станціи, на которой приходилось ждать три часа для пересадки на другой поѣздъ, я былъ въ предурномъ расположеніи духа и на все досадовалъ. Отъ нечего дѣлать мнѣ пришло вдругъ на мысль изслѣдовать: почему я досадую, и не было-ли тутъ, кромѣ общихъ причинъ какой-нибудь случайной, ближайшей? Я не долго искалъ и вдругъ засмѣялся найдя эту причину. Дѣло заключалось въ одной недавней встрѣчѣ моей, въ вагонѣ, за двѣ станціи передъ этой. Въ вагонъ вдругъ вошелъ одинъ джентльменъ, совершенный джентльменъ, очень похожій на типъ русскихъ джентльменовъ скитающихся за границей. Онъ вошелъ ведя съ собой маленькаго своего сына, мальчика лѣтъ восьми, никакъ не болѣе, даже можетъ быть, менѣе. Мальчикъ былъ премило одѣтъ въ самый модный европейскій дѣтскій костюмчикъ, въ прелестную курточку, изящно обутъ, бѣлье батистовое. Отецъ видимо о немъ заботился. Вдругъ мальчикъ, только что сѣли, говоритъ отцу: „папа, дай папироску?“ Папа тотчасъ же идетъ въ карманъ, вынимаетъ перламутровую папиросочницу, вынимаетъ двѣ папироски, одну для себя, другую — для мальчика, и оба, съ самымъ обыкновеннымъ видомъ, прямо свидѣтельствующимъ что между ними ужъ и давно такъ, закуриваютъ. Джентльменъ погружается въ какую-то думу, а мальчикъ смотритъ въ окошко вагона, куритъ и затягивается. Онъ выкурилъ свою папироску очень скоро, затѣмъ, не прошло и четверти часа, вдругъ опять: „папа, дай папироску?“—и опять оба вновь закуриваютъ и, впродолженіи двухъ станцій, которыя они просидѣли со мною въ одномъ вагонѣ, мальчикъ выкурилъ, по крайней мѣрѣ, четыре папироски. Никогда я еще не видалъ ничего подобнаго и былъ очень удивленъ. Слабая, нѣженькая, совсѣмъ не сформировавшаяся грудка такого маленькаго ребенка пріучена уже къ такому ужасу. И откуда могла явиться такая неестественно-ранняя привычка? Разумѣется глядя на

*) Теперь все это, въ самомъ важномъ, поправлено: почти ни одного дня не остается публика безъ депешъ главнокомандующаго.

отца: дѣти такъ переимчивы; но развѣ отецъ можетъ допустить своего младенца къ такой отравѣ? Чахотка, катарръ дыхательныхъ путей, каверны въ легкихъ—вотъ что неотразимо ожидаетъ несчастнаго мальчика—тутъ девять изъ десяти шансовъ, это ясно, это всѣмъ извѣстно, и именно отецъ-то и развиваетъ въ своемъ младенцѣ неестественно-преждевременную привычку! Что хотѣлъ доказать этимъ этотъ джентльменъ,—я не могу себѣ и представить: пренебреженіе-ли къ предразсудкамъ, новую-ли идею провести, что все, что прежде запрещалось—вздоръ, а напротивъ, все дозволено?—Понять не могу. Случай этотъ такъ и остался для меня неразъясненнымъ, почти чудеснымъ. Никогда въ жизни я не встрѣчалъ такого отца и вѣроятно не встрѣчу. Удивительные въ наше время попадаются отцы! Я впрочемъ тотчасъ пересталъ смѣяться. Разсмѣялся я тому только, что такъ скоро отыскалъ причину моего сквернаго расположенія духа. Тутъ, хотя впрочемъ безъ прямой связи съ событіемъ, припомнился мнѣ вчерашній мой разговоръ съ моимъ собесѣдникомъ о томъ: что унесутъ дорогаго и святаго изъ своего дѣтства въ жизнь современныя дѣти, потомъ напомнилась моя мысль о *случайности* современнаго семейства... и вотъ я вновь погрузился въ весьма непріятныя соображенія.

Спросятъ: что такое эта *случайность* и что я подъ этимъ словомъ подразумѣваю? Отвѣчаю: случайность современнаго русскаго семейства, по моему, состоитъ въ утратѣ современными отцами всякой общей идеи, въ отношеніи къ своимъ семействамъ, общей для всѣхъ отцовъ, связующей ихъ самихъ между собою, въ которую-бы они сами вѣрили и научили-бы такъ вѣрить дѣтей своихъ, передали бы имъ эту вѣру въ жизнь. Замѣтьте еще: эта идея, эта вѣра — можетъ быть даже пожалуй ошибочная, такъ что лучшія изъ дѣтей впослѣдствіи сами-бы отъ нея отказались, по крайней мѣрѣ, исправили-бы ее для своихъ уже дѣтей, но все же самое присутствіе этой общей, связующей общество и семейство идеи,—есть уже начало порядка, т. е. нравственнаго порядка, конечно подверженнаго измѣненію, прогрессу, поправкѣ, положимъ такъ—но порядка. Тогда какъ въ наше время этого-то порядка и нѣтъ, ибо нѣтъ ничего общаго и связующаго во что-бы всѣ отцы вѣрили, а есть на мѣсто того или: во 1-хъ, поголовное и сплошное отрицаніе прежняго (но за то лишь отрицаніе и ничего положительнаго); во 2-хъ, попытки сказать положительное, но не общее и связующее, а сколько головъ столько умовъ,—попытки, раздробившіяся на единицы и лица, безъ опыта, безъ практики, даже безъ полной вѣры въ нихъ ихъ изобрѣтателей. Попытки эти иногда даже и съ прекраснымъ началомъ, но невыдержанныя, незаконченныя, а иногда такъ и совсѣмъ безобразныя, въ родѣ огульнаго допущенія всего того что прежде запрещалось, на основаніи принципа что все старое глупо, и это даже до самыхъ глупѣйшихъ выходокъ, до позволенія напримѣръ курить табакъ семилѣтнимъ дѣтямъ. Наконецъ, въ 3-хъ, лѣнивое отношеніе къ дѣлу, вялые и лѣнивые отцы, эгоисты: „э, пусть будетъ что будетъ, чего намъ заботиться, пойдутъ дѣти, какъ и всѣ, во что нибудь выровняются, надоѣдаютъ только они очень, хоть-бы ихъ вовсе и не было!“ Такимъ образомъ въ результа-

тѣ — безпорядокъ, раздробленность и *случайность* русскаго семейства,—а надежда — почти что на одного Бога: „авось, дескать, пошлетъ намъ какую нибудь общую идейку и мы вновь соединимся!“

Такой порядокъ, конечно, родитъ безотрадность, а безотрадность еще пуще родитъ лѣность, а у горячихъ—циническую, озлобленную лѣность. Но есть и теперь много совсѣмъ не лѣнивыхъ, а напротивъ, очень даже прилежныхъ отцовъ. Большею частью это отцы съ идеями. Одинъ, наслушавшись, положимъ, весьма даже не глупыхъ вещей и прочтя двѣ-три умныя книги, вдругъ сводитъ все воспитаніе и всѣ обязанности свои къ семейству на одинъ бифштексъ: „Бифштексъ съ кровью и кончено, Либихъ дескать“ и т. д. Другой, пречестнѣйшій человѣкъ самъ по себѣ, въ свое время даже блиставшій остроуміемъ, уже согналъ три няньки отъ своихъ младенцевъ: „невозможно съ этими шельмами, запретилъ настрого, вдругъ вхожу вчера въ дѣтскую и что-же, представьте себѣ, слышу: Лизочку укладываетъ въ люльку, а сама ее Богородицѣ учитъ и креститъ: помилуй, дескать, Господи, папу, маму... вѣдь настрого запретилъ! Рѣшаюсь на англичанку, да выйдетъ-ли лучше-то?“ Третій, едва пятнадцатилѣтнему своему мальчишкѣ, самъ подыскиваетъ уже любовницу: „а то, знаете, эти дѣтскія ужасныя привычки разовьются, али пойдетъ какъ-нибудь на улицу, да болѣзнь скверную схватитъ... нѣтъ, ужъ лучше обезпечить ему этотъ пунктъ заранѣ...“; Четвертый доводитъ своего семнадцатилѣтняго мальчика до самыхъ передовыхъ „идей“, а тотъ самымъ естественнымъ образомъ (ибо что можетъ выдти изъ иныхъ познаній раньше жизни и опыта?), сводитъ эти передовыя мысли (нерѣдко очень хорошія) на то, что „если нѣтъ ничего святого, то стало быть можно дѣлать всякую пакость“. Положимъ, въ этомъ случаѣ отцы горячи, но вѣдь у многихъ-ли изъ нихъ эта горячка оправдывается чѣмъ-нибудь серьезнымъ, мыслію, страданіемъ? Много-ль у насъ такихъ-то? Большею вѣдь частью одно либеральное подхихикиваніе съ чужаго голоса, и вотъ, ребенокъ уноситъ въ жизнь, сверхъ всего и комическое воспоминаніе объ отцѣ, комическій образъ его.

Но это „прилежные“ и ихъ не такъ много; несравненно больше лѣнивыхъ. Всякое переходное и разлагающееся состояніе общества порождаетъ лѣность и апатію, потому что лишь очень не многіе, въ такія эпохи, могутъ ясно видѣть передъ собою и не сбиваться съ дороги. Большинство же путается, теряетъ нитку, и наконецъ махаетъ рукой: „э, чтобъ васъ! Какія тамъ еще обязанности когда и сами то никто ничего толкомъ не умѣемъ сказать! Прожить-бы только какъ нибудь самому то, а то что тутъ еще обязанности“. И вотъ эти лѣнивые если только богаты, исполняютъ даже все *какъ слѣдуетъ*: одѣваютъ дѣтей хорошо, кормятъ хорошо, нанимаютъ гувернантокъ, потомъ учителей; дѣти ихъ наконецъ вступаютъ пожалуй въ университеты, но.... отца тутъ не было, семейства не было, юноша вступаетъ въ жизнь одинъ какъ перстъ, сердцемъ онъ не жилъ, сердце его ничѣмъ не связано съ его прошедшимъ, съ семействомъ, съ дѣтствомъ. И еще вотъ что: вѣдь это только богатенькіе, у нихъ былъ достатокъ, а много-ли достаточныхъ-то? Большинство, страшное большинство—вѣдь все бѣдные, а потому,

при лѣности отцевъ къ семейству дѣтки уже въ высшей степени оставлены на случайность! Нужда, забота отцовъ, отражаются въ ихъ сердцахъ съ дѣтства мрачными картинами, воспоминаніями иногда самаго отравляющаго свойства. Дѣти вспоминаютъ до глубокой старости малодушіе отцовъ, ссоры въ семействахъ, споры, обвиненія, горькіе попреки и даже проклятія на нихъ, на лишніе рты, и что хуже всего, вспоминаютъ иногда подлость отцовъ, низкіе поступки изъ за достиженія мѣстъ, денегъ, гадкія интриги и гнусное раболѣпство. И долго потомъ въ жизни, можетъ всю жизнь, человѣкъ склоненъ слѣпо обвинять этихъ прежнихъ людей, ничего не вынеся изъ своего дѣтства чѣмъ бы могъ онъ смягчить эту грязь воспоминаній и правдиво, реально, а стало быть и *оправдательно* взглянуть на тѣхъ прошлыхъ, старыхъ людей, около которыхъ такъ уныло протянулись его первые годы. Но это еще лучшіе изъ дѣтей, а вѣдь большинство то ихъ уноситъ съ собою въ жизнь не одну лишь грязь *воспоминаній*, а и самую грязь, запасется ею даже нарочно, карманы полные набьетъ себѣ этой грязью въ дорогу, чтобъ употребить ее потомъ въ дѣло и уже не съ скрежетомъ страданія какъ его родители, а съ легкимъ сердцемъ: „Всѣ дескать ходятъ въ грязи, объ идеалахъ бредятъ только одни фантазеры, а съ грязнотцой-то и лучше“...

„Но что-же вы хотите? Какія это такія воспоминанія должны-бы были они унести изъ дѣтства для очистки грязи своихъ семействъ и для *оправдательнаго*, какъ вы говорите, взгляда на отцовъ своихъ“? Отвѣчаю: „Что же я могу сказать одинъ, если въ цѣломъ обществѣ нѣтъ на это отвѣта? Общаго нѣтъ ничего у современныхъ отцовъ, сказалъ я, связующаго ихъ самихъ нѣтъ ничего. Великой мысли нѣтъ (утратилась она), великой вѣры нѣтъ въ ихъ сердцахъ въ такую мысль. А только подобная великая вѣра и въ состояніи породить *прекрасное* въ воспоминаніяхъ дѣтей, — и даже какъ: не смотря даже на самую лютую обстановку ихъ дѣтства, бѣдность и, даже самую нравственную грязь, окружавшую ихъ колыбели! О, есть такіе случаи, что даже самый падшій изъ отцовъ, но еще сохранившій въ душѣ своей хотя бы только отдаленный прежній образъ великой мысли и великой вѣры въ нее, могъ и успѣвалъ пересаждать въ воспріимчивыя и жаждущія души своихъ жалкихъ дѣтей это семя великой мысли и великаго чувства, и былъ прощенъ потомъ своими дѣтьми всѣмъ сердцемъ за одно это благодѣяніе, не смотря ни на что остальное. Безъ зачатковъ положительнаго и прекраснаго нельзя выходить человѣку въ жизнь изъ дѣтства, безъ зачатковъ положительнаго и прекраснаго нельзя пускать поколѣніе въ путь. Посмотрите, развѣ современные отцы, изъ горячихъ и прилежныхъ, не вѣрятъ въ это? О, они вполнѣ вѣрятъ что безъ связующей, общей, нравственной и гражданской идеи нельзя взрастить поколѣніе и пустить его въ жизнь! Но сами-то они всѣ вмѣстѣ утратили цѣлое, потеряли общее, разбились по частямъ; соединились лишь въ отрицательномъ, да и то кое-какъ, и раздѣлились всѣ въ положительномъ, а въ сущности и сами даже не вѣрятъ себѣ ни въ чемъ, ибо говорятъ съ чужаго голоса, примкнули къ чуждой жизни и къ чуждой идеѣ и потеряли всякую связь съ родной русской жизнью,

Впрочемъ, повторяю, этихъ горячихъ немного, лѣнивыхъ безконечно больше.

Кстати, помните-ли вы процессъ Джунковскихъ? Этотъ процессъ очень недавній и разсматривался въ Калужскомъ Окружномъ судѣ всего лишь 10-го іюня текущаго года. На него, среди грома текущихъ событій, весьма можетъ быть немногіе и обратили вниманіе. Я прочелъ его въ газетѣ „Новое Время“ и не знаю былъ-ли онъ перепечатанъ еще гдѣ нибудь. Это—дѣло о перемышльскихъ землевладѣльцахъ маіорѣ Александрѣ Афонасьевѣ Джунковскомъ, 50 лѣтъ, и женѣ его Екатеринѣ Петровой Джунковской 40 лѣтъ, обвиняемыхъ въ жестокомъ обращеніи съ малолѣтними дѣтьми ихъ Николаемъ, Александромъ и Ольгою.... Здѣсь своевременно будетъ замѣтить, что дѣти, о которыхъ идетъ рѣчь, были въ слѣдующемъ возрастѣ: Николай—тринадцати лѣтъ, Ольга—двѣнадцати и Александръ—одинадцати лѣтъ. Прибавлю еще забѣгая впередъ, что судъ оправдалъ подсудимыхъ.

Въ этомъ процессѣ весьма, по моему, рѣзко выступаетъ многое типичное изъ нашей дѣйствительности, а между тѣмъ, что всего болѣе въ немъ поразительно—это чрезвычайная обыкновенность, обыденность его. Чувствуешь что именно такихъ русскихъ семействъ необыкновенное теперь множество,—конечно не въ этомъ самомъ видѣ, конечно не вездѣ такія случайности какъ *чесаніе пятокъ* (о чемъ будетъ ниже), но суть-то дѣла, основная-то черта множества подобныхъ семействъ одна и таже. Это именно типъ „лѣниваго семейства“, о которомъ я сейчасъ только говорилъ. Если не цѣлый, не правильный очень типъ (особенно судя по инымъ весьма исключительнымъ и характернымъ подробностямъ), то все таки замѣчательная особь этого тина. Но пусть читвтели судятъ сами. Подсудимые были преданы суду по опредѣленію московской судебной палаты; припомнимъ-же это обвиненіе. Перепечатываю изъ „Новаго Времени“ такъ, какъ оно тамъ было изложено, т. е. въ сжатомъ видѣ.

III.

Дѣло родителей Джунковскихъ съ родными дѣтьми.

Обвиняемые Джунковскіе, обладая извѣстнымъ достаткомъ и имѣя надлежащее число прислуги, поставили дѣтей своихъ: Николая, Александра и Ольгу, въ совершенно иныя отношенія къ себѣ, чѣмъ другихъ дѣтей. Они не только не держали себя съ ними и не ласкали ихъ какъ родители, но, оставивъ безъ присмотра, давали имъ плохое содержаніе, помѣщеніе, одежду, постели и столъ, принуждали къ занятіямъ въ родѣ часанія пятокъ и т. п., возбуждая и поддерживая такимъ образомъ въ нихъ неудовольствіе и раздраженіе, доведшее ихъ до поступка съ умершею сестрою, о чемъ будетъ сказано ниже. Все это не могло не имѣть дурнаго вліянія на здоровье дѣтей. Такъ напримѣръ, изъ дѣла видно, что Ольга страдаетъ падучею болѣзнію, кромѣ того, не способствуя ни надзоромъ, ни попеченіями своими нравственному развитію дѣтей, подсудимые прибѣгали къ мѣрамъ, которыя нельзя признать кроткими мѣрами исправленія родителями своихъ малолѣтнихъ дѣтей. Такъ, обвиняемые запирали дѣтей на продолжительное время въ сортиръ, оставляли дома въ холодной комнатѣ и почти безъ пищи, или посылали обѣдать и спать въ комнатѣ прислуги, ставя ихъ такимъ образомъ въ общество лицъ, мало способныхъ содѣйствовать ихъ исправленію, наконецъ, часто били чѣмъ попало, даже кулаками, сѣкли розгами, хворостиною, плетью, назначенной для лошадей и съ такою жестокостью, что страшно было смотрѣть и что (по показанію мальчика Александра) спина ребенка болѣла пять дней отъ одной изъ такихъ экзекуцій. Подобные побои были послѣдствіемъ не всегда какой нибудь, хотя бы маловажной шалости, но и просто такъ себѣ—по желанію. Служившая

прачкою у Джунковскихъ солдатка Сергѣева; между прочимъ, объяснила, что обвиняемые не любили дѣтей Николая, Александра, и Ольгу, которые спали отдѣльно отъ другихъ дѣтей, внизу, въ одной комнатѣ, на полу на войлокѣ, одѣвались чѣмъ попало (было одно рваное одѣяло); ѣли людское кушанье, такъ что всегда были голодны. Одѣвали ихъ плохо: лѣтомъ въ разныя рубашки, а зимою въ полушубки. Джунковская была для этихъ дѣтей хуже мачихи; она била ихъ, особенно Александра чѣмъ попало, а то такъ просто кулаками. Когда сѣкла Николая, то страшно было глядѣть. Дѣти, хотя и были шаловливы, но какъ дѣти. Имъ доставалось больше всего по вечерамъ, когда они чесали матери пятки, что продолжалось по часу и болѣе—пока мать не уснетъ. Это дѣлала раньше прислуга, въ томъ числѣ и Сергѣева, которая наконецъ отказалась, потому что рука отекала! Изъ показанія Усачковой оказывается что Александръ и Ольга валялись на полу, на грязныхъ подушкахъ, „вообще ихъ держали грязно—въ свиномъ логовищѣ чище чѣмъ у нихъ“. Жившій у Джунковскихъ, въ качествѣ учителя, по августъ 1875 года, дворянинъ Любимовъ утверждалъ, что Николая, Ольгу и Александра содержали плохо и имъ иногда приходилось ходить босикомъ. Въ показаніи дѣвицы Шишовой (кандидатка Николаевскаго института), бывшей у дѣтей подсудимыхъ гувернанткою, по августъ 1874 года, которое было прочитано на судѣ, вслѣдствіе неявки свидѣтельницы,—значится, что Джунковская—женщина эгоистичная, не ласкавшая никогда, равно какъ и мужъ ея, дѣтей Александра и Николая. Отсутствіе вообще порядка въ домѣ подсудимыхъ и равнодушное отношеніе къ дѣтямъ Шишова объясняетъ какою-то небрежностью обвиняемыхъ ко всему и даже въ отношеніи себя; дѣла ихъ были постоянно запутаны и они жили постоянно въ хлопотахъ и не умѣли хозяйничать. Джунковская, старавшаяся чтобы ее ничто не безпокоило, поручала мужу наказывать дѣтей, что имъ и было исполняемо и хотя при экзекуціяхъ свидѣтельница не присутствовала, но тѣмъ не менѣе удостовѣряетъ, что „никакой жестокости въ наказаніяхъ не было“. „Случалось, продолжаетъ педагогичка Шишова, что Джунковская или я даже, за шалости запирала дѣтей въ комнату, гдѣ стоялъ ватерклозетъ, но эта комната не холоднѣе другихъ въ квартирѣ и отапливалась“. Шишова и сама наказывала дѣтей ременною плеткою, „но только она была маленькая“. При свидѣтельницѣ никогда не случалось, чтобы дѣтямъ не давали ѣсть по нѣсколько дней.

Затѣмъ мальчики Николай и Александръ дали слѣдователю сдержанныя показанія, изъ которыхъ однако видно, что ихъ сѣкли розгами, ременною плетью, которою гоняютъ лошадь, а также и хворостиною, употреблявшеюся въ дѣло и учителемъ Любимовымъ. Однажды у Александра пять дней болѣла спина послѣ того, какъ мать высѣкла его за то, что онъ изъ кухни принесъ сестрѣ Ольгѣ картофелю для завтрака.

Джунковскій въ оправданіе свое ссылался на полнѣйшую испорченность своихъ дѣтей, въ подтвержденіе чего привелъ слѣдующій случай: когда умерла его старшая дочь Екатерина, мальчики Николай и Александръ въ то время, когда сестра ихъ лежала на столѣ,—нарѣзавъ въ саду прутьевъ, били мертвую по лицу, приговаривая: теперь-то натѣшимся надъ тобою, за то, что ты на насъ жаловалась.

На судѣ обвиняемые не признали себя виновными.

Подсудимый увѣрялъ, что тратитъ на воспитаніе своихъ дѣтей болѣе, чѣмъ позволяютъ его средства, но что онъ такъ несчастливъ, что не достигъ своей цѣли и что дѣти дѣлаются все хуже и хуже.

Старшій сынъ (Николай) до отдачи въ гимназію былъ хорошимъ мальчикомъ, но, побывъ въ гимназіи, выучился тамъ воровать; до поступленія въ гимназію онъ зналъ молитвы, но потомъ забылъ ихъ по той причинѣ, что объявилъ себя католикомъ и вслѣдствіе этого не учился совсѣмъ закону Божію, между тѣмъ было представлено метрическое свидѣтельство, въ которомъ сказано, что Николай — православнаго вѣроисповѣданія.

Въ послѣднемъ своемъ словѣ Джунковская высказала, что она нанимала къ дѣтямъ нѣсколько гувернантокъ, но къ несчастью все ошибалась въ нихъ, также какъ и въ учителѣ, но что въ настоящее время отецъ самъ занимается съ дѣтьми и она надѣется, что дѣти совершенно поправятся.

Вотъ этотъ процессъ. Подсудимые, какъ сказано выше, были оправданы,

Еще бы нѣтъ? И замѣчательно не то что ихъ оправдали, а то что ихъ предали подъ судъ и судили. Кто и какой судъ можетъ обвинить ихъ и за что? О, конечно есть такой судъ, который можетъ ихъ обвинить и ясно указать за что, но, не уголовный-же судъ съ присяжными засѣдателями судящій по написанному закону. А въ написанныхъ законахъ нигдѣ нѣтъ статьи, ставящей преступленіемъ лѣнивое, неумѣлое и безсердечное отношеніе отцовъ къ дѣтямъ. Иначе пришлось бы ссудить пол-Россіи, куды, гораздо больше. Да и что такое безсердечное отношеніе? Вотъ еслибы жестокія истязанія, какія нибудь ужасныя, безчеловѣчныя. Но мнѣ помнится, какъ адвокатъ, въ процессѣ Кронеберга, обвинявшагося въ безчеловѣчномъ обращеніи съ своимъ младенцемъ, раскрылъ сводъ законовъ и прочелъ статью о жестокомъ обращеніи, жестокихъ истязаніяхъ и проч., имѣя въ виду доказать, что кліентъ его не подходитъ ни подъ одну изъ этихъ статей, въ которыхъ ясно и точно опредѣлено что надо считать жестокими и безчеловѣчными истязаніями. И помню, эти опредѣленія жестокихъ истязаній были до того жестоки, что рѣшительно похожи были на истязанія болгаръ баши-бузуками, и если не сажаніе на колъ и ремни изъ спины, то разломанныя ребра, руки, ноги и не знаю еще что, такъ что какая нибудь ременная плетка да еще маленькая, по показанію дѣвицы Шишовой—рѣшительно не можетъ подойти къ статьѣ свода законовъ и составить пунктъ обвиненія. „Сѣкли, дескать, розгой“. Да ктожъ не сѣчетъ дѣтей розгой? девять десятыхъ Россіи сѣчетъ. Подъ уголовный-то законъ уже никакъ нельзя подвести. „Сѣкли, дескать, ни за что, ни про что, за картофель“. Нѣтъ-съ не за картофель, отвѣтилъ-бы г. Джунковскій, а тутъ ужь все вмѣстѣ сошлось, за развратъ, за то, что они, изверги, сѣкли умершую дочь Екатерину по лицу.—„Въ сортиръ, дескать, запирали“. Да вѣдь сортиръ топленый, такъ чего-жъ вамъ больше, карцеръ всегда карцеръ. „За то, дескать, что людской пищей кормили и посылали спать чуть не въ свиной хлѣвъ, на какой-то подстилкѣ, съ однимъ рваннымъ одѣяломъ“? „А это тоже за наказаніе-съ, и притомъ, рваное—не рваное, а я и безъ того трачу на обученіе дѣтей свыше моихъ средствъ и надѣюсь, что закону нечего считать въ моемъ карманѣ средства мои“. „За то, дескать, что вы не ласкали дѣтей“? Но позвольте, покажите мнѣ такую статью свода законовъ, которая повелѣвала бы мнѣ, подъ страхомъ уголовнаго наказанія, ласкать дѣтей, да еще шалуновъ, безсердечныхъ, дрянныхъ воришекъ и изверговъ... „За то наконецъ, что вы избрали не ту систему воспитанія вашихъ дѣтей“? А какую систему воспитанія предписываетъ уголовный законъ, подъ страхомъ уголовнаго наказанія? Да и вовсе это не дѣло закона....

Однимъ словомъ, я хочу сказать что тащить это дѣло Джунковскихъ въ уголовный судъ было невозможно. Да такъ и случилось: они были оправданы, изъ обвиненія ихъ ничего не вышло. А между тѣмъ, читатель чувствуетъ что изъ этого дѣла можетъ выйти, а можетъ быть ужь и вышла цѣлая трагедія. О, тутъ дѣло другого суда, но какого-же?

Какого? Да вотъ хоть бы, напримѣръ, дѣвица Шишова, педагогичка, — она даетъ свое показаніе и уже произноситъ въ немъ приговоръ. Замѣтимъ

что, эта г. Шишова, хоть и сѣкла сама дѣтей ременной плеткой („только она была маленькая„) но кажется весьма умная женщина. Невозможно опредѣлить точнѣе и умнѣе характеръ Джунковскихъ какъ она его опредѣляетъ. Г-жа Джунковская—*женщина эгоистичная*, говоритъ она. Домъ Джунковскихъ *въ безпорядкѣ... по небрежности обвиняемыхъ ко всему и даже въ отношеніи себя*. Дѣла ихъ постоянно запутаны, живутъ они постоянно въ хлопотахъ; не умѣютъ хозяйничать, мучаются, а между тѣмъ всего болѣе ищутъ покоя: Джунковская, безпрерывно *старавшаяся чтобы ее ничто не безпокоило*, даже дѣтей поручала наказывать мужу... Однимъ словомъ г. Шишова унесла съ собой изъ дома Джунковскихъ, то мнѣніе, что эти люди—безсердечные эгоисты, а главное—лѣнивые эгоисты. Все отъ лѣни. и сердца у нихъ лѣнивыя. Отъ лѣни, конечно и вѣчный безпорядокъ въ домѣ, безпорядокъ и въ дѣлахъ, а между тѣмъ ничего они такъ не ищутъ, какъ покоя: „Э, чтобъ васъ, только бы прожить!“ Отчего же ихъ лѣность, отчего ихъ апатія—Богъ знаетъ! Тяжело ли имъ среди современнаго хаоса жизни, въ которомъ такъ трудно что-нибудь понять? Или такъ мало отвѣтила современная жизнь на ихъ духовныя стремленія, на ихъ желанія, вопросы? Или наконецъ, отъ непониманія кругомъ происходящаго разложились и ихъ понятія и уже больше не собрались, и наступило разочарованіе? Не знаю, не знаю; но повидимому это люди имѣющіе образованіе, можетъ быть нѣкогда, да и теперь, пожалуй, любившіе прекрасное и высокое. Чесаніе пятокъ тутъ ничему не могло бы противурѣчить. Чесаніе пятокъ—это именно что-то въ родѣ какъ бы лѣниваго, апатичнаго разочарованія, лѣнивое дорлотерство, жажда уединенія, покоя, теплоты. Тутъ нервы,—и именно, не столько лѣнь, сколько эта жажда покоя и уединенія, т. е. скорѣе отъединенія отъ всѣхъ долговъ и обязанностей. Да, тутъ конечно эгоизмъ, а эгоисты капризны, и трусливы передъ долгомъ: въ нихъ вѣчное, трусливое отвращеніе связать себя какимъ нибудь долгомъ. Замѣтьте что вѣчное и страстное желаніе этого освобожденія себя отъ всякаго долга, почти всегда рождаетъ и развиваетъ въ эгоистѣ на оборотъ убѣжденіе, что всѣ кто бы ни сталкивался съ нимъ, ему должны что-то, какъ бы обложены относительно его какимъ то долгомъ, данью, податью. Какъ ни безсмысленно это мечтаніе, но оно наконецъ укореняется и переходитъ въ раздражительное недовольство всѣмъ міромъ и въ горькое, нерѣдко озлобленное чувство ко всему и всѣмъ. Не исполненіе этихъ фантастическихъ долговъ, принимается наконецъ сердцемъ какъ обида — такъ что вы иногда во всю жизнь не вообразите за что иной такой эгоистъ постоянно на васъ сердится и злобится. Это озлобленное чувство рождается даже и къ собственнымъ дѣтямъ,—о, къ дѣтямъ даже по преимуществу. Дѣти—это именно предназначенныя жертвы этого капризнаго эгоизма, ктому-же ови всѣхъ ближе подъ рукою, а всего пуще то что никакого контроля: „мои дескать, дѣти, собственныя!“ Не удивляйтесь же что это ненавистное чувство, вѣчно раздражаемое напоминаніемъ неисполненнаго относительно дѣтей долга, раздражаемое вѣчнымъ торчаніемъ передъ вами этихъ маленькихъ, новыхъ личностей, требующихъ отъ васъ всего и дерзко (увы, не дерзко, а по дѣтски!) не понимающихъ что вамъ такъ ну-

женъ вашъ покой и считающихъ этотъ покой ни во что,—не удивляйтесь, говорю я, что это ненавистное чувство даже къ собственнымъ дѣтямъ можетъ переродиться наконецъ въ настоящую месть, а подъ поощреніемъ и подстреканіемъ безнаказанности — даже въ звѣрство. Да лѣность и всегда порождаетъ звѣрство, заканчивается звѣрствомъ. И звѣрство это не отъ жестокости, а именно отъ лѣни. Сердца эти не жестокія, а именно лѣнивыя сердца. И вотъ эта, столь любящая покой дама, даже до чесанія пятокъ возлюбившая его, озлобившаяся наконецъ на то, что лишь у ней, *у ней лишь одной* нѣтъ никогда покоя, потому что все кругомъ нея въ безпорядкѣ и требуетъ ея безпрерывнаго присутствія и вниманія,—эта дама вскакиваетъ наконецъ съ постели, хватаетъ хворостину и сѣчетъ, сѣчетъ собственнаго ребенка, неутолимо, ненасытно, злорадно, такъ что „страшно было глядѣть“ какъ показываетъ прислуга, и за что, изъ за чего: за то что мальчикъ принесъ голодной маленькой сестрѣ (страдающей падучей болѣзнію) изъ кухни не много картофелю,—т. е. сѣчетъ его за хорошее чувство, за то что не развратилось и не очерствѣло еще сердце ребенка. „Все равно, дескать, я запретила. а ты принесъ, такъ вотъ же, не дѣлай свое хорошее, а дѣлай мое дурное“. Нѣтъ-съ, вѣдь это истерика. Дѣти спятъ въ грязи, „въ свиномъ логовищѣ чище“, съ однимъ прорваннымъ одѣяломъ на троихъ: „пусть, такъ имъ и надо, думаетъ родная мать, не даютъ они мнѣ покоя!“ И не потому думаетъ она такъ что сердце у ней жестокое, нѣтъ, сердце у ней можетъ быть весьма доброе и хорошее отъ природы, да вотъ покоя-то ей никакъ не даютъ, достигнуть то его она всю жизнь не можетъ, и чѣмъ дальше тѣмъ хуже, а тутъ эти дѣти („зачѣмъ они! зачѣмъ они появились“!) ростутъ, шалятъ и требуютъ каждодневно все больше и больше труда и вниманія! Нѣтъ, если уже тутъ и истерика, то цѣлыми годами накопленная. Рядомъ съ этою болѣзненною (доведенною до болѣзненности) матерью семейства, стоитъ предъ судомъ отецъ, г. Джунковскій. Что-жъ, можетъ быть онъ и очень хорошій человѣкъ, кажется человѣкъ образованный, вовсе не циникъ, напротивъ сознающій отцовскій долгъ свой, до огорченія сердца его сознающій. Вотъ онъ чуть не со слезами жалуется въ судѣ на малолѣтнихъ дѣтей, онъ простираетъ руки: „я сдѣлалъ для нихъ все, все, я нанималъ учителей, гувернантокъ, я тратилъ на нихъ болѣе чѣмъ позволяли мнѣ средства, но они изверги, они стали воровать, они сѣкли мертвую сестру по лицу!“ Однимъ словомъ онъ считаетъ себя вполнѣ правымъ. Дѣти стоятъ тутъ-же, подлѣ; замѣчательно что они дали „показанія сдержанныя, осторожныя“ т. е. мало жаловались и чуть-чуть лишь защищались, и не думаю, чтобъ это отъ одного лишь страха родителей, къ которымъ все таки придется воротиться. Напротивъ, казалось-бы тотъ фактъ, что ихъ отца уже судятъ за жестокое обращеніе съ ними долженъ-бы ихъ былъ ободрить. Просто имъ неловко было судиться съ отцомъ, стоять подлѣ него и свидѣтельствовать противъ него, тогда какъ онъ, не думая о будущемъ и о томъ, какія чувства останутся въ сердцѣ этихъ дѣтей отъ этого дня, не подозрѣвая даже о томъ что они унесутъ въ свое будущее изъ этого дня,—онъ обвиняетъ ихъ и разоблачаетъ все ихъ дурное, всѣ постыдные поступ-

ки ихъ, жалуется суду, публикѣ, обществу. Но онъ вѣритъ что онъ правъ, а г-жа Джунковская вѣритъ даже и въ будущность, и вполнѣ, вполнѣ! Она объявляетъ суду, что *все* отъ дурныхъ учителей и гувернантокъ, что она разочаровалась въ нихъ, а что теперь, когда вотъ мужъ ея самъ примется за обученіе и воспитаніе дѣтей, то дѣти „совершенно исправятся“ (такъ! такъ!). Дай имъ Богъ однако.

Кстати, замѣтимъ кое-что объ этихъ шалостяхъ маленькихъ Джунковскихъ.

То, что они сѣкли розгами по лицу мертвую сестру, за то, что она когда-то на нихъ жаловалась, конечно возмутительно и омерзительно. Но постараемся быть безпристрастнѣе, и клянусь вамъ, увидимъ, что даже и это лишь дѣтская шалость, именно,— это дѣтская „фантастичность“. Тутъ что нибудь отъ воображенія дѣтей, а не отъ развращеннаго сердца. Дѣтское воображеніе даже по природѣ своей, и особенно въ извѣстномъ возрастѣ, чрезвычайно воспріимчиво и наклонно къ фантастическому. И особенно въ тѣхъ семействахъ, въ которыхъ хоть и тѣсно живутъ люди, такъ что каждый торчитъ у другаго на виду, но дѣти все-таки отъединены въ особую кучку—заботами, вѣчнымъ недосугомъ отцовъ: „учиться, за книгу, не шалить!“ Только и слышатъ они и сидятъ за своими книжонками, по опредѣленнымъ угламъ, не смѣя даже болтнуть ногой. Въ свиномъ своемъ хлѣвѣ, по ночамъ, засыпая, или сидя за скучными уроками, или запертые въ сортиръ, маленькіе Джунковскіе могли пріучить себя къ страннымъ мечтаніямъ — и къ добрымъ и сердечнымъ, и къ озлобленнымъ, или просто по дѣтски, къ сказочнымъ, фантастическимъ: „вотъ, дескать, былъ бы я побольше, пошелъ бы на войну, а тамъ бы пріѣхалъ сюда; учителишка спросилъ бы: гдѣ вы, были? какъ смѣли уѣхать изъ класса? А я бы вынулъ изъ кармана Георгій и повѣсилъ въ петлицу, тутъ бы онъ испугался и бросился на колѣни!“ Когда умерла сестра, кто нибудь изъ нихъ троихъ, грѣясь подъ уголкомъ своего рванаго одѣяла, могъ засыпая придумать: „а знаешь, Николя, вѣдь Богъ-то ее нарочно наказалъ за то, что она злая была, жаловалась. Она теперь видитъ сверху, хотѣла бы пожаловаться, да нельзя уже. Давайте ее завтра розгами сѣчь, пусть она смотритъ сверху, видитъ и злится, что нельзя пожаловаться!“ Клянусь вамъ, что ребятишки можетъ быть черезъ нѣсколько дней раскаялись въ сердцахъ своихъ въ томъ, что они сдѣлали такую гнусную глупость. Дѣтскія сердца мягки. На этотъ счетъ, я знаю вотъ какой маленькій случай: умерла одна мать у семерыхъ дѣтей. Одинъ ребенокъ, дѣвочка лѣтъ семи или восьми, увидя мертвую маму, стала ужасно рыдать. Она такъ плакала, что ее унесли въ дѣтскую почти въ истерикѣ, и не знали чѣмъ утѣшить. Дура приживалка, случившаяся тутъ, вдругъ сказала ей, утѣшая: „не плачь, что ты ужь такъ плачешь-то, вѣдь она тебя не любила, она тебя, помнишь, наказала, въ углу-то ты стояла, помнишь!“ Дурѣ думалось сдѣлать лучше: вотъ дескать перестанетъ и успокоится ребенокъ— и достигла вѣдь цѣли: дѣвочка вдругъ перестала плакать. Мало того и на другой день, и на похоронахъ имѣла какой-то холодный, подобранный, обиженный видъ: „она, дескать, меня не любила“. Ей понравилась мысль, что она была обиженная, загнанная, не любимая. Ей-Богу, это случилось съ

ребенкомъ по восьмому году. Но дѣтская „фантастичность“ не продержалась долго: черезъ нѣсколько дней ребенокъ такъ опять затосковалъ о матери, что сдѣлался боленъ, и никогда потомъ, во всю жизнь, эта дочь не могла вспомнить о своей матери безъ благоговѣйнаго чувства. За проступокъ маленькихъ Джунковскихъ съ мертвою сестрою, ихъ, безъ сомнѣнія, слѣдовало наказать, и строго, но поступокъ этотъ — дѣтскій, глупый, фантастическій, именно дѣтскій и вовсе не означаетъ развращенія сердецъ. Шалость же мальчика Николая въ гимназіи, объявившаго себя католикомъ, чтобы не учиться Закону Божію, есть въ высшей степени лишь дѣтская шалость: это классный вывертъ передъ товарищами: „вотъ, дескать, вы учитесь Закону, а я избавился, надулъ ихъ всѣхъ, благо фамилья моя похожа на польскую“. Тутъ рѣшительно одно только *школьничество* — глупое, скверное, за которое слѣдуетъ строжайше наказать, но не слѣдуетъ отчаяваться за мальчика, не слѣдуетъ вѣрить, что онъ уже до того развращенъ, что сталъ мошенникомъ. Но Джунковскій отецъ кажется вѣритъ тому: не жаловался бы онъ такъ плачевно на судѣ, если бы не вѣрилъ.

У насъ въ судахъ случается, что когда подсудимые бываютъ оправданы (и особенно когда они очевидно виновны, но отпущены лишь милосердіемъ суда), то предсѣдатель суда, объявляя подсудимому свободу, говоритъ ему иногда при этомъ назиданіе на тему: какъ именно ему слѣдуетъ принять это оправданіе, что вынести изъ всего этого въ жизнь, какъ избѣжать въ дальнѣйшемъ повторенія бѣды. Предсѣдатель суда говоритъ въ такомъ случаѣ отъ лица какъ бы всего общества, государства; слова эти важныя, назиданіе верховное. Можетъ быть подсудимымъ Джунковскимъ объявлено было ихъ оправданіе безъ всякаго особаго, въ такомъ родѣ, внушенія,—этого я не знаю, но я просто самъ воображаю себѣ: что могъ бы имъ сказать предсѣдатель суда отпуская ихъ. И вотъ что мнѣ, кажется, онъ бы могъ имъ сказать:

IV.

Фантастическая рѣчь предсѣдателя суда.

„Подсудимые, вы оправданы, но вспомните, что кромѣ этого суда есть другой судъ,—судъ собственной вашей совѣсти. Сдѣлайте же такъ чтобъ и этотъ судъ оправдалъ васъ, хотя-бы впослѣдствіи. Вы объявили что намѣрены теперь сами заняться воспитаніемъ и обученіемъ дѣтей вашихъ: еслибъ вы раньше взялись за это, то не былобы, вѣроятно, и сегодняшняго суда вашего здѣсь съ дѣтьми вашими. Но боюсь: имѣете-ли вы достаточно силъ въ себѣ для исполненія добраго намѣренія вашего? Не достаточно лишь рѣшиться на такое дѣло, надо спросить себя: достанетъ-ли ревности и терпѣнія на исполненіе его? Не хочу и не смѣю сказать про васъ, что вы родители безсердечные, ненавистники дѣтей вашихъ. Да и ненавидѣть дѣтей своихъ вещь, въ сущности, почти неестественная, а потому невозможная. Ненавидѣть же столь малыхъ еще дѣтей,—вещь безразсудная и даже смѣшная. Но лѣность, но равнодушіе, но лѣнивая отвычка отъ исполненія такой первѣйшей естественной и высшей гражданской обязанности, какъ воспитаніе собственныхъ дѣтей, дѣй-

ствительно могутъ породить даже нелюбовь къ нимъ, почти ненависть, почти чувство личной какой-то мести къ нимъ, особенно по мѣрѣ ихъ возрастанія, по мѣрѣ все возрастающихъ природныхъ требованій ихъ, по мѣрѣ вашего сознанія о томъ, что для нихъ много надо сдѣлать, много потрудиться, а стало быть много имъ пожертвовать изъ собственнаго вседовольнаго отъединенія и покоя. Ктому-же, все возрастающія шалости оставленныхъ въ пренебреженіи дѣтей и укорененіе въ нихъ дурныхъ привычекъ, видимое извращеніе умовъ и сердецъ ихъ, могутъ вселить наконецъ прямое отвращеніе къ нимъ даже и въ родительскихъ сердцахъ. Въ горячихъ, слезныхъ жалобахъ вашихъ на пороки вашихъ дѣтей, мы всѣ услышали здѣсь и увидѣли глубокую, неподдѣльную горесть вашу, горесть несчастнаго и оскорбленнаго своими дѣтьми отца. Но подумайте, однако, немного и разсудите: изъ чего имъ было и сдѣлаться лучше? Выяснилось, напримѣръ, на судѣ, что за лѣность ихъ и за шалости вы ихъ запирали на нѣсколько иногда часовъ въ сортиръ. Конечно: карцеръ есть карцеръ, да и сортиръ вашъ *отапливался*, стало быть не было тутъ жестокаго истязанія, но вѣдь такъ-ли однако? Сидя тамъ, чувствуя унизительное и срамное положеніе свое, ребенокъ могъ ожесточаться, въ головѣ его могли проходить самыя фантастическія извращенныя и циническія мечты; онъ могъ окончательно потерять любовь, любовь къ родному гнѣзду и къ вамъ даже, родителямъ его, ибо ему могло казаться, что вы уже совершенно не дорожите ни чувствами его къ вамъ, ни человѣческимъ его достоинствомъ, а у ребенка, даже у самаго малаго есть тоже и уже сформировавшееся человѣческое достоинство, замѣтьте это себѣ. О томъ что эти мысли, а главное—сильныя, хотя и дѣтскія впечатлѣнія эти онъ унесетъ потомъ въ жизнь и проноситъ ихъ въ сердцѣ своемъ можетъ быть до самой могилы, вы кажется совсѣмъ не подумали. Да и сдѣлали-ли вы сами то хоть что нибудь предварительно, чтобъ избѣжать этой, обижающей ребенка необходимости сажать его въ такое мѣсто, и тѣмъ позорить его и издѣваться надъ нимъ? Вѣдь впослѣдствіи, въ жизни, онъ этотъ вопросъ непремѣнно подыметъ и поставитъ передъ собой. Вы утверждаете, что вы сдѣлали для дѣтей своихъ *все*, и какъ будто сами убѣждены въ этомъ, но я не вѣрю тому, что вы сдѣлали все; и когда вы съ такимъ огорченнымъ чувствомъ произносили это, я убѣжденъ былъ, что въ васъ самихъ было уже большое сомнѣніе на счетъ этого самаго пункта. Вы увѣряете, что нанимали учителей и тратили свыше средствъ вашихъ. Безъ сомнѣнія учитель необходимъ для дѣтей и, пригласивъ учителя, вы поступили конечно какъ ревностный отецъ; но нанять учителя для преподаванія дѣтямъ наукъ не значитъ конечно, *сдать* ему дѣтей, такъ сказать, съ плечъ долой, чтобъ отвязаться отъ нихъ и чтобъ они больше ужъ васъ не безпокоили. А вы кажется именно это-то и сдѣлали и думали, что заплативъ деньги, уже совершенно все сдѣлали, и даже болѣе чѣмъ *все*—„свыше средствъ“. Между тѣмъ, увѣряю васъ, что вы сдѣлали лишь наименьшее изъ того, что могли бы сдѣлать для нихъ; вы лишь откупились отъ долга и отъ обязанности родительской деньгами, а думали, что уже все совершили. Вы забыли, что ихъ маленькія, дѣтскія

души требуютъ безпререрывнаго и неустаннаго соприкосновенія съ вашими родительскими душами, требуютъ, чтобъ вы были для нихъ, такъ сказать, всегда духовно на горѣ какъ предметъ любви, великаго нелицемѣрнаго уваженія и прекраснаго подражанія. Наука наукой, а отецъ передъ дѣтьми всегда долженъ быть какъ бы добрымъ, наглядным примѣромъ всего того нравственнаго вывода, который умы и сердца ихъ могутъ почерпнуть изъ науки. Сердечная, всегда наглядная для нихъ забота ваша о нихъ, любовь ваша къ нимъ, согрѣли бы какъ теплымъ лучемъ, все посѣянное въ ихъ душахъ и плодъ вышелъ бы конечно обильный и добрый. Но кажется ничего не посѣявъ сами, и сдавъ ихъ чуждому семьѣ вашей сѣятелю,—вы потребовали уже жатвы и, непривычные къ этому дѣлу, потребовали этой жатвы слишкомъ рано; не получивъ же ее озлобились и ожесточились... на малютокъ, на собственныхъ дѣтей вашихъ, и тоже рано, слишкомъ рано!

Все оттого, что воспитаніе дѣтей есть трудъ и долгъ, — для иныхъ родителей сладкій, не смотря на гнетущія даже заботы, на слабость средствъ, на бѣдность даже, для другихъ же, и даже для очень многихъ достаточныхъ родителей,—это самый гнетущій трудъ и самый тяжелый долгъ. Вотъ потому и стремятся они откупиться отъ него деньгами, если есть деньги. Если же и деньги не помогаютъ, или, какъ у многихъ ихъ и вовсе нѣтъ, то прибѣгаютъ обыкновенно къ строгости, къ жестокости, къ истязанію, къ розгѣ. Я вамъ скажу что такое розга. Розга въ семействѣ есть продуктъ лѣни родительской, неизбѣжный результатъ этой лѣни. Все что можно-бы сдѣлать трудомъ и любовью, неустанной работой надъ дѣтьми и съ дѣтьми, все чего можно-бы было достигнуть разсудкомъ, разъясненіемъ, внушеніемъ, терпѣніемъ, воспитаніемъ и примѣромъ,—всего того слабые, лѣнивые, но нетерпѣливые отцы полагаютъ всего чаще достигнуть розгой: „не разъясню, а прикажу, не внушу, а заставлю“. Каковъ же результатъ выходитъ? Ребенокъ хитрый, скрытный, непремѣнно покорится и обманетъ васъ и розга ваша не исправитъ, а только развратитъ его. Ребенка слабаго, трусливаго и сердцемъ нѣжнаго—вы забьете. Наконецъ, ребенка добраго, простодушнаго, съ сердцемъ прямымъ и открытымъ — вы сначала измучаете, а потомъ ожесточите и потеряете его сердце. Трудно, часто очень трудно дѣтскому сердцу отрываться отъ тѣхъ, кого оно любитъ; но если оно уже оторвется, то въ немъ зарождается страшный, неестественно-ранній цинизмъ, ожесточеніе и извращается чувство справедливости. Все это конечно въ томъ только случаѣ, если жестокость происходитъ отъ эгоизма родителей, и если хозяинъ нивы, не посѣявъ самъ, потребуетъ съ нея доброй жатвы. Въ такихъ случаяхъ, жестокость и несправедливость идутъ со стороны отцовъ усиливаясь, безъ удержу, и это всего чаще. „Не дѣлай свое хорошее, а дѣлай мое дурное!“— вотъ наконецъ что становится девизомъ, и ребенка наказываютъ даже за доброе дѣло, за картофель, который онъ принесъ сестрѣ изъ кухни: какже не ожесточиться сердцу и какъ не извратиться понятіямъ? Не будучи жестокими и даже любя ихъ, вы наказывали ихъ вашимъ пренебреженіемъ къ нимъ, униженіемъ ихъ: они спали въ нечистой комнатѣ, на какой-то подстилкѣ, ѣли пищу не съ вашего стола, а со слугами. И конечно вы думали, что они наконецъ почувству-

ютъ вину свою и исправятся. Въ противномъ случаѣ, надо бы было предположить, что вы дѣлали такъ отъ ненависти къ нимъ, отъ мести къ нимъ, чтобы имъ сдѣлать зло? Но судъ не захотѣлъ такъ заключить и приписалъ поступки ваши ошибочному разсчету воспитателя. Но вотъ теперь вы сами собираетесь воспитывать и учить ихъ: трудное это дѣло, не смотря на то, что супругѣ вашей кажется оно легкимъ.

Дѣтей вашихъ нѣтъ въ залѣ, я приказалъ ихъ вывести, а потому я могу коснуться до самаго главнаго въ этомъ предстоящемъ вамъ трудномъ дѣлѣ. Самое главное въ немъ то, что предстоитъ многое простить съ обѣихъ сторонъ. Они должны простить вамъ горькія, тяжелыя впечатлѣнія ихъ дѣтскихъ сердецъ, ожесточеніе свое, пороки свои. Вы же должны простить имъ вашъ эгоизмъ, ваше пренебреженіе къ нимъ, извращеніе чувствъ вашихъ къ нимъ, жестокость вашу и то наконецъ, что вы сидѣли здѣсь и судились за нихъ. Говорю такъ потому, что не себя обвините вы во всемъ этомъ, выйдя изъ залы суда, а непремѣнно ихъ, я увѣренъ въ этомъ! И такъ, начиная ваше трудное дѣло воспитанія дѣтей вашихъ, спросите сами себя: можете-ли вы обвинить за всѣ эти проступки и преступленія ваши, не ихъ, а именно себя? Если можете, о, тогда вы успѣете въ трудѣ вашемъ! Значитъ, Богъ очистилъ взглядъ вашъ и просвѣтилъ вашу совѣсть. Если-же не можете, то лучше и не принимайтесь за ваше намѣреніе.

Второе, что предстоитъ вамъ тяжелаго въ вашемъ трудѣ, это побороть, истребить въ ихъ сердцахъ и измѣнить въ нихъ слишкомъ многія прежнія впечатлѣнія и воспоминанія. Но тутъ надо столь многое заставить забыть и столь многое вновь создать, что недоумѣваю: какимъ путемъ этого достигнете? О, если научитесь любить ихъ, то конечно всего достигнете. Но вѣдь даже и любовь есть трудъ, даже и любви надобно учиться, вѣрите-ли вы тому? Вѣрите-ли вы, наконецъ, убѣждены-ли вы что васъ не остановятъ и не побѣдятъ, въ прекрасномъ предпріятіи вашемъ, иныя самыя мелкія, самыя первоначальныя, самыя пошлыя обыденныя заботы, о которыхъ вы можетъ быть теперь и не думаете, но которыя однако могутъ составить наиважнѣйшее препятствіе добрымъ начинаніямъ вашимъ. Всякій ревностный и разумный отецъ знаетъ, напримѣръ, сколь важно воздерживаться передъ дѣтьми своими въ обыденной семейной жизни отъ извѣстной такъ сказать, халатности семейныхъ отношеній, отъ извѣстной распущенности ихъ и разнузданности, воздерживать себя отъ дурныхъ и безобразныхъ привычекъ, а главное отъ невниманія и пренебреженія къ дѣтскому ихъ мнѣнію о васъ самихъ, къ непріятному, безобразному и комическому впечатлѣнію, которое можетъ зародиться въ нихъ столь часто при созерцаніи нашей безшабашности въ семейномъ быту. Вѣрите-ли вы, что ревностный отецъ даже долженъ иногда совсѣмъ перевоспитать себя для дѣтей своихъ. О, если родители добры, если любовь ихъ къ дѣтямъ ревностна и горяча, то дѣти многое простятъ имъ и многое забудутъ потомъ не только изъ комическаго и безобразнаго, но даже не осудятъ ихъ безапелляціонно за иныя совсѣмъ уже дурныя дѣла ихъ; напротивъ сердца ихъ непремѣнно найдутъ смягчающія обстоятельства. Но совсѣмъ другое можетъ случиться въ семействахъ несогласныхъ и оже-

сточенныхъ. Ваша супруга, какъ оказалось на судѣ, имѣетъ болѣзненную привычку заставлять чесать себѣ передъ сномъ ноги. Служанка засвидѣтельствовала, что эта обязанность была для нея даже мучительна, что „затекали руки“. Представьте же себѣ этого мальчика, вашего сына, котораго вмѣсто служанки заставляютъ чесать? О, еслибъ мать любила его искренно и сердечно, и онъ бы увѣренъ былъ въ томъ, то онъ-бы и теперь, да и всегда потомъ, вспоминалъ объ этой немощи дорогаго ему человѣка съ добродушною улыбкою, хотя, можетъ быть, злился-бы и досадовалъ въ тѣ минуты, когда его заставляли чесать. Но воображаю, какъ онъ смотрѣлъ и что онъ чувствовалъ, что заходило ему въ голову, когда онъ сидѣлъ, по часу и болѣе, надъ смѣшнымъ занятіемъ, передъ существомъ, не любившимъ его, которое вотъ-вотъ вскочитъ и начнетъ сѣчь его ни за что, ни про что. Тогда требованіе отъ него этой услуги несомнѣнно должно было казаться ему унижающимъ его, пренебрежительнымъ къ нему и презрительнымъ. Не могъ не сознавать онъ, или, лучше сказать, не почувствовать, что матери своей онъ не нуженъ какъ сынъ, что какъ сына она его презираетъ, забываетъ, посылаетъ спать на какую то подстилку, а если вспоминаетъ о немъ, то для того лишь, чтобъ бить его, но что онъ нуженъ, стало быть ей, не какъ сынъ, а всего только какъ какая-то чесалка! И вы же жалуетесь послѣ того, что они развратились, что они безсердечные изверги, „что научились воровать!“ Напрягите немного ваше воображеніе, вообразите сына вашего въ будущемъ уже тридцати положимъ лѣтъ и подумайте съ какимъ отвращеніемъ, съ какимъ озлобленнымъ чувствомъ и презрѣніемъ припомнитъ онъ этотъ эпизодъ своего дѣтства... Что онъ будетъ помнить о немъ до могилы, въ томъ нѣтъ сомнѣнія. Онъ не проститъ, онъ возненавидитъ свои воспоминанія, свое дѣтство, проклянетъ свое бывшее родное гнѣздо и тѣхъ, кто былъ съ нимъ въ этомъ гнѣздѣ! Эти воспоминанія предстоитъ вамъ теперь непремѣнно искоренить, непремѣнно пересоздать, надо заглушить ихъ иными новыми сильными и святыми впечатлѣніями, — какой огромный трудъ! Страшно подумать! Нѣтъ: дѣло, предпринимаемое вами, гораздо, гораздо труднѣе, чѣмъ кажется вашей супругѣ!

Не сердитесь, не обижайтесь словами моими. Говоря вамъ я исполняю непремѣнную обязанность. Я говорю отъ лица общества, государства, отечества. Вы отцы, они ваши дѣти, вы современная Россія, они будущая: что же будетъ съ Россіей если русскіе отцы будутъ уклоняться отъ своего гражданскаго долга и станутъ искать уединенія, или, лучше сказать, отъединенія, лѣниваго и циническаго, отъ общества, народа своего и самыхъ первѣйшихъ къ нимъ обязанностей. Всего ужаснѣе то, что это такъ распространено: вы не одни такіе, хотя другіе впадаютъ въ тѣже ошибки какъ вы можетъ быть и подъ другими формулами. Но внушительнѣе всего то, что вы, не только еще не худшіе, но даже многимъ лучшіе изъ современныхъ отцевъ, ибо все же въ сердцахъ вашихъ не умерло сознаніе вашего долга, хотя вы и не исполняли его. Абсолютнаго отрицанія долга въ васъ нѣтъ. Вы не холодные эгоисты, а напротивъ, раздраженные — на себя-ли, на дѣтей-ли вашихъ, не стану опредѣлять того, но вы оказались способными принять къ сердцу вашъ неуспѣхъ и глубоко огорчиться имъ! И такъ да поможетъ вамъ Богъ въ рѣшеніи вашемъ исправить вашъ не

успѣхъ. Ищите же любви и копите любовь въ сердцахъ вашихъ. Любовь столь всесильна, что перерождаетъ и насъ самихъ. Любовью лишь купимъ сердца дѣтей нашихъ, а не однимъ лишь естественнымъ правомъ надъ ними. Да и самая природа изъ всѣхъ обязанностей нашихъ наиболѣе помогаетъ намъ въ обязанностяхъ передъ дѣтьми, сдѣлавъ такъ, что дѣтей нельзя не любить. Да и какъ не любить ихъ? Если уже перестанемъ дѣтей любить, то кого же послѣ того мы сможемъ полюбить и что станется тогда съ нами самими? Вспомните тоже, что, лишь для дѣтей и для ихъ золотыхъ головокъ, Спаситель нашъ обѣщалъ намъ „сократить времена и сроки“. Ради нихъ сократится мученіе перерожденія человѣческаго общества въ совершеннѣйшее. Да совершится же это совершенство и да закончатся наконецъ страданія и недоумѣнія цивилизаціи нашей!

А теперь ступайте, вы оправданы...

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Опять обособленіе. Восьмая часть Анны Карениной.

У насъ очень многіе теперь изъ интелигентныхъ русскихъ повадились говорить: „какой народъ? я самъ народъ“. Въ восьмой части Анны Карениной, Левинъ, излюбленный герой автора романа, говоритъ про себя что онъ *самъ народъ*. Этого Левина я какъ то прежде, говоря объ Аннѣ Карениной, назвалъ „чистый сердцемъ Левинъ“. Продолжая вѣрить въ чистоту его сердца по прежнему, я не вѣрю что онъ — народъ; напротивъ, вижу теперь что и онъ съ любовью норовитъ въ обособленіе. Убѣдился я въ этомъ прочитавъ вотъ ту самую восьмую часть Анны Карениной, о которой я заговорилъ въ началѣ этого іюль-августовскаго дневника моего. Левинъ, какъ фактъ, есть конечно не дѣйствительно существующее лицо, а лишь вымыселъ романиста. Тѣмъ не менѣе этотъ романистъ — огромный талантъ, значительный умъ и весьма уважаемый интелигентною Россіею человѣкъ,—этотъ романистъ изображаетъ въ этомъ идеальномъ, т. е. придуманномъ лицѣ, частью и собственный взглядъ свой на современную нашу русскую дѣйствительность, что ясно каждому, прочитавшему его замѣчательное произведеніе. Такимъ образомъ, судя объ несуществующемъ Левинѣ, мы будемъ судить и о дѣйствительномъ уже взглядѣ одного изъ самыхъ значительныхъ современныхъ русскихъ людей на текущую русскую дѣятельность. А это уже предметъ для сужденія серьезный даже и въ наше столь гремучее время, столь полное огромныхъ, потрясающихъ и быстро смѣняющихся дѣйствительныхъ фактовъ. Взглядъ этотъ столь значительнаго русскаго писателя, и именно на столь интересное для всѣхъ русскихъ дѣло, какъ всеобщее національное движеніе всѣхъ русскихъ людей за послѣдніе два года по „восточному вопросу“, выразился точно и окончательно именно въ этой восьмой и послѣдней части его произведенія, отвергнутой редакціей

„Русскаго Вѣстника“ по несходству убѣжденій автора съ ея собственными и появившейся весьма недавно отдѣльной книжкой. Сущность этого взгляда, насколько я его понялъ, заключается главное въ томъ, что во 1-хъ) все это такъ называемое національное движеніе нашимъ народамъ отнюдь не раздѣляется, и народъ вовсе даже не понимаетъ его, во 2-хъ, что все это нарочно поддѣлано, сперва извѣстными лицами, а потомъ поддержано журналистами изъ выгодъ, чтобъ заставить болѣе читать ихъ изданія, въ 3-хъ) что всѣ добровольцы были или потерянные и пьянные люди или просто глупцы, въ 4-хъ) что весь этотъ, такъ называемый подъемъ русскаго національнаго духа за славянъ, былъ не только поддѣланъ извѣстными лицами и поддержанъ продажными журналистами, но и поддѣланъ вопреки такъ сказать самыхъ основъ.... И наконецъ въ 5-хъ) что всѣ варварства и неслыханныя истязанія, совершенныя надъ славянами, не могутъ возбуждать въ насъ русскихъ непосредственнаго чувства жалости и что „такого непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ *нѣтъ и не можетъ быть*.“ Послѣднее выражено окончательно и категорически.

Такимъ образомъ, „чистый сердцемъ Левинъ“ ударился въ обособленіе и разошелся съ огромнымъ большинствомъ русскихъ людей. Взглядъ его впрочемъ вовсе не новъ и не оригиналенъ. Онъ слишкомъ бы пригодился и пришелся по вкусу многимъ, почти также думавшимъ людямъ прошлою зимой у насъ въ Петербургѣ и людямъ далеко не послѣднимъ по общественному положенію, а потому и жаль что книжка нѣсколько запоздала. Отъ чего произошло столь мрачное обособленіе Левина и столь угрюмое отъединеніе въ сторону—не могу опредѣлить. Правда это человѣкъ горячій, „безпокойный“, всеанализирующій, и если строго судить, ни въ чемъ себѣ не вѣрующій. Но все таки человѣкъ этотъ „сердцемъ чистый“ и я стою на томъ, хотя трудно и представить себѣ какими таинственными, а подчасъ, и смѣшными путями можетъ проникнуть иной разъ самое неестественное, самое выдѣланное, и самое безобразное чувство въ иное въ высшей степени искреннее и чистое сердце. Впрочемъ замѣчу еще, что хотя и утверждаютъ многіе, и даже я самъ ясно вижу, (какъ и сообщилъ выше), что въ лицѣ Левина авторъ, во многомъ выражаетъ свои собственныя убѣжденія и взгляды, влагая ихъ въ уста Левина чуть не насильно и даже явно жертвуя иногда притомъ художественностью, но лицо самого Левина, такъ какъ изобразилъ его авторъ, я все же съ лицомъ самого автора отнюдь не смѣшиваю. Говорю это, находясь въ нѣкоторомъ горькомъ недоумѣніи, потому что хотя очень многое изъ выраженнаго авторомъ, въ лицѣ Левина, очевидно касается собственно одного Левина, какъ художественно изображеннаго типа, но все же не того ожидалъ я отъ такого автора!

II.

Признанія славянофила.

Да, не того. Здѣсь я принужденъ выразить нѣкоторыя чувства мои, хотя и положилъ было, начиная прошлаго года издавать мой „Дневникъ“, что литературной критики у меня не будетъ. Но чувства не критика, хотя бы и высказалъ я ихъ по поводу литературнаго произведенія. Въ самомъ дѣлѣ, я пишу мой „дневникъ“, т. е. записываю мои впечатлѣнія по поводу всего что наиболѣе поражаетъ меня въ текущихъ событіяхъ, — и вотъ я,

и во всей-то плеядѣ не найдете того, строго говоря, что называется геніальною, творящею силою. Безспорныхъ геніевъ, съ безспорнымъ „новымъ словомъ“ во всей литературѣ нашей было всего только три: Ломоносовъ, Пушкинъ и частію Гоголь. Вся же плеяда эта (и авторъ Анны Карениной въ томъ числѣ) вышла прямо изъ Пушкина, одного изъ величайшихъ русскихъ людей, но далеко еще не понятаго и не растолкованнаго. Въ Пушкинѣ двѣ главныя мысли — и обѣ заключаютъ въ себѣ прообразъ всего будущаго назначенія и всей будущей цѣли Россіи, а стало быть и всей будущей судьбы нашей. Первая мысль— *всемірность* Россіи, ея отзывчивость и дѣйствительное, безспорное и глубочайшее родство ея генія съ геніями всѣхъ временъ и народовъ міра. Мысль эта выражена Пушкинымъ не какъ одно только указаніе, ученіе, или теорія, не какъ мечтаніе или пророчество, но исполнена *имъ на дѣлѣ*, заключена вѣковѣчно въ геніальныхъ созданіяхъ его и доказана ими. Онъ человѣкъ древняго міра, онъ и германецъ, онъ и агличанинъ глубоко сознающій геній свой, тоску своего стремленія (Пиръ во время чумы), онъ и поэтъ Востока. Всѣмъ этимъ народамъ онъ сказалъ и заявилъ, что русскій геній знаетъ ихъ, понялъ ихъ, соприкоснулся имъ какъ родной, что онъ можетъ *перевоплощаться* въ нихъ во всей полнотѣ, что лишь одному только русскому духу дана всемірность, дано назначеніе въ будущемъ постигнуть и объединить все многоразличіе національностей и снять всѣ противорѣчія ихъ. Другая мысль Пушкина, это поворотъ его къ народу и упованіе единственно на силу его, завѣтъ того что лишь въ народѣ и въ одномъ только народѣ обретемъ мы всецѣло весь нашъ русскій геній и сознаніе назначенія его. И это, опять таки, Пушкинъ не только указалъ, но и совершилъ первый, на дѣлѣ. Съ него только начался у насъ настоящій сознательный поворотъ къ народу, немыслимый еще до него съ самой реформы Петра. Вся теперешняя *плеяда* наша работала лишь по его указаніямъ, *новаго* послѣ Пушкина ничего не сказала. Всѣ зачатки ея были въ немъ, указаны имъ. Да ктому же она разработала лишь самую малую часть имъ указаннаго. Но за то, то что они сдѣлали, разработано ими съ такимъ богатствомъ силъ, съ такою глубиною и отчетливостью, что Пушкинъ конечно призналъ-бы ихъ. Анна Каренина—вещь конечно не новая по идеѣ своей, не неслыханная у насъ доселѣ. Вмѣсто нея мы конечно могли бы указать Европѣ прямо на источникъ, т. е. на самого Пушкина, какъ на самое яркое, твердое и неоспоримое доказательство самостоятельности русскаго генія и права его на величайшее міровое, общечеловѣческое и всеединящее значеніе въ будущемъ, (увы, сколько бы мы ни указывали, а нашихъ долго еще не будутъ читать въ Европѣ, а и станутъ читать, то долго еще не поймутъ и не оцѣнятъ. Да и оцѣнить еще они совсѣмъ не въ силахъ, не по скудости способностей, а потому что мы для нихъ совсѣмъ другой міръ, точно съ луны сошли, такъ что имъ даже самое существованіе наше допустить трудно. Все это я знаю, и объ „указаніи Европѣ“ говорю лишь въ смыслѣ нашего собственнаго убѣжденія въ нашемъ правѣ передъ Европой на самостоятельность нашу). Тѣмъ не менѣе Анна Каренина есть совершенство какъ художественное произведеніе, подвернувшееся какъ разъ кстати, и такое, съ которымъ ничто подобное изъ европейскихъ литературъ въ настоящую эпоху

не можетъ сравниться, а во вторыхъ и по идеѣ своей это уже нѣчто наше, наше *свое* родное, и именно то самое, что составляетъ нашу особенность передъ европейскимъ міромъ, что составляетъ уже наше національное „новое слово“ или по крайней мѣрѣ начало его,—такое слово, котораго именно не слыхать въ Европѣ и которое однако столь необходимо ей не смотря на всю ея гордость. Я не могу пуститься здѣсь въ литературную критику и скажу лишь небольшое слово. Въ Аннѣ Карениной проведенъ взглядъ на виновность и преступность человѣческую. Взяты люди въ ненормальныхъ условіяхъ. Зло существуетъ прежде нихъ. Захваченные въ круговоротъ лжи люди совершаютъ преступленіе и гибнутъ неотразимо: какъ видно мысль на любимѣйшую и стариннѣйшую изъ европейскихъ темъ. Но какъ однако-же рѣшается такой вопросъ въ Европѣ? Рѣшается онъ тамъ повсемѣстно двоякимъ образомъ. Первое рѣшеніе: законъ данъ, написанъ, формулованъ, составлялся тысячелѣтіями. Зло и добро опредѣлено, взвѣшано, размѣры и степени опредѣлялись исторически мудрецами человѣчества, неустанной работой надъ душой человѣка и высшей научной разработкой надъ степенью единительной силы человѣчества въ общежитіи. Этому выработанному кодексу повелѣвается слѣдовать слѣпо. Кто не послѣдуетъ, кто преступитъ его,—тотъ платитъ свободою, имуществомъ, жизнью, платитъ буквально и безчеловѣчно. „Я знаю“, говоритъ сама ихъ цивилизація“, что это и слѣпо и безчеловѣчно и невозможно, такъ какъ нельзя выработать окончательную формулу человѣчества въ серединѣ пути его, но такъ какъ другаго исхода нѣтъ, то и слѣдуетъ держаться того что написано и держаться буквально и безчеловѣчно; не будь этого будетъ хуже. Съ тѣмъ вмѣстѣ, не смотря на всю ненормальность и нелѣпость устройства того, что называемъ мы нашей великой европейской цивилизацей, тѣмъ не менѣе пусть силы человѣческаго духа пребываютъ здравы и невредимы, пусть общество не колеблется въ вѣрѣ что оно идетъ къ совершенству, пусть не смѣетъ думать что затемнился идеалъ прекраснаго и высокаго, что извращается и коверкается понятіе о добрѣ и злѣ, что нормальность безпрерывно смѣняется условностью, что простота и естественность гибнутъ, подавляемыя безпрерывно накопляющеюся ложью! „Другое рѣшеніе обратное:“ такъ какъ общество устроено ненормально, то и нельзя спрашивать отвѣта съ единицъ людскихъ за послѣдствія. Стало быть преступникъ безотвѣтственъ, и преступленія пока не существуетъ. Чтобы покончить съ преступленіями и людскою виновностью, надо покончить съ ненормальностью общества и склада его. Такъ какъ лечить существующій порядокъ вещей долго и безнадежно, да и лекарствъ не оказалось, то слѣдуетъ разрушить все общество и смести старый порядокъ какъ бы метлой. Затѣмъ начать все новое, на иныхъ началахъ, еще неизвѣстныхъ, но которыя все же не могутъ быть хуже теперешняго порядка, напротивъ заключаютъ въ себѣ много шансовъ успѣха. Главная надежда на науку“. И такъ вотъ это второе рѣшеніе: ждутъ будущаго муравейника, а пока зальютъ міръ кровью. Другихъ рѣшеній о виновности и преступности людской западно-европейскій міръ не представляетъ.

Во взглядѣ же русскаго автора на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейникъ, никакое торжество „четвертаго

сословія", никакое уничтоженіе бѣдности, никакая организація труда не спасутъ человѣчество отъ ненормальности, а слѣдственно и отъ виновности и преступности. Выражено это въ огромной психологической разработкѣ души человѣческой, съ страшной глубиною и силою, съ небывалымъ доселѣ у насъ реализмомъ художественнаго изображенія. Ясно и понятно до очевидности, что зло таится въ человѣчествѣ глубже, чѣмъ предполагаютъ лекаря соціалисты, что ни въ какомъ устройствѣ общества не избѣгнете зла, что душа человѣческая останется таже, что ненормальность и грѣхъ исходятъ изъ нея самой, и что наконецъ законы духа человѣческаго столь еще не извѣстны, столь невѣдомы наукѣ, столь неопредѣлены, и столь таинственны, что нѣтъ и не можетъ быть еще ни лекарей, ни даже судей *окончательныхъ*, а есть Тотъ, который говоритъ: „Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ". Ему одному лишь извѣстна *вся* тайна міра сего и окончательная судьба человѣка. Человѣкъ же пока не можетъ браться рѣшать ничего съ годостью своей непогрѣшности, не пришли еще времена и сроки. Самъ судья человѣческій долженъ знать о себѣ, что онъ не судья окончательный, что, онъ грѣшникъ самъ, что вѣсы и мѣра въ рукахъ его будутъ нелѣпостью *если* самъ онъ держа въ рукахъ мѣру и вѣсы, не преклонится передъ закономъ не разрѣшимой еще тайны и не прибѣгнетъ къ единственному выходу — къ Милосердію и Любви. А чтобъ не погибнуть въ отчаяніи отъ непониманія путей и судебъ своихъ, отъ убѣжденія въ таинственной и роковой неизбѣжности зла, человѣку именно указанъ исходъ. Онъ геніально намѣченъ поэтомъ въ геніальной сценѣ романа еще въ предпослѣдней части его, въ сценѣ смертельной болѣзни героини романа, когда преступники и враги вдругъ преображаются въ существа высшія, въ братьевъ все простившихъ другъ другу, въ существа которыя сами, взаимнымъ всепрощеніемъ сняли съ себя ложь, вину и преступность, и тѣмъ разомъ сами оправдали себя съ полнымъ сознаніемъ что получили право на то. Но потомъ въ концѣ романа въ мрачной и страшной картинѣ паденія человѣческаго духа, прослѣженнаго шагъ за шагомъ, въ изображеніи того неотразимаго состоянія когда зло, овладѣвъ существомъ человѣка, связываетъ каждое движеніе его, парализируетъ всякую силу сопротивленія, всякую мысль, всякую охоту борьбы съ мракомъ падающимъ на душу и сознательно, излюбленно, со страстью отмщенія принимаемымъ душой вмѣсто свѣта,—въ этой картинѣ—столько назиданія для судьи человѣческаго, для держащаго мѣру и вѣсъ, что конечно онъ воскликнетъ, въ страхѣ и недоумѣніи: „нѣтъ, не всегда мнѣ отмщеніе и не всегда азъ воздамъ", и не поставитъ безчеловѣчно въ вину мрачно павшему преступнику того, что онъ пренебрегъ указаннымъ вѣковѣчно свѣтомъ исхода и уже *сознательно* отвергъ его. Къ буквѣ, покрайней мѣрѣ не прибѣгнетъ....

Если у насъ есть литературныя произведенія такой силы мысли и исполненія, то почему у насъ не можетъ быть *впослѣдствіи*, и *своей* науки, и своихъ рѣшеній экономическихъ, соціальныхъ, почему намъ отказываетъ Европа въ самостоятельности, въ нашемъ *своемъ собственномъ* словѣ,—вотъ вопросъ который рождается самъ собою. Нельзя же предположить смѣшную мысль что природа одарила насъ лишь одними литературными способностями. Все остальное есть вопросъ исторіи, обстоятельствъ, усло-

вій времени. Такъ могла-бы разсудить наши покрайней мѣрѣ европейцы, въ ожиданіи пока разсудятъ европейскіе европейцы...

IV.

Помѣщикъ добывающій вѣру въ Бога отъ мужика.

Теперь, когда я выразилъ мои чувства, можетъ быть поймутъ какъ подѣйствовало на меня отпаденіе такого автора, отъединеніе его отъ русскаго всеобщаго и великаго дѣла, и парадоксальная неправда, возведенная имъ на народъ въ его несчастной восьмой части, изданной имъ отдѣльно. Онъ просто отнимаетъ у народа все его драгоцѣннѣйшее, лишаетъ его главнаго смысла его жизни. Ему бы несравненно пріятнѣе было еслибъ народъ нашъ не подымался повсемѣстно сердцемъ своимъ за терпящихъ за вѣру братій своихъ. Въ этомъ только смыслѣ онъ и отрицаетъ явленіе, не смотря на очевидность его. Конечно все это выражено лишь въ фиктивныхъ лицахъ героевъ романа, но, повторяю это, слишкомъ видно рядомъ съ ними и самого автора. Правда, книжка эта искренняя, говоритъ авторъ отъ души. Даже самыя щекотливыя вещи (а тамъ есть *щекотливыя* вещи) улеглись въ ней совсѣмъ какъ-бы невзначай, такъ что не смотря на всю ихъ щекотливость вы ихъ принимаете лишь за прямое слово и не допускаете ни малѣйшей кривизны. Тѣмъ не менѣе книжку эту я все таки считаю вовсе не столь невинною. Теперь она, разумѣется, не имѣетъ и не можетъ имѣть никакого вліянія, кромѣ какъ развѣ поддакнетъ еще разъ нѣкоторой отмѣжованной кучкѣ. Но такой фактъ что такой авторъ такъ пишетъ, очень грустенъ. Это для будущаго грустно. А впрочемъ примусь лучше за дѣло: мнѣ хочется возразить, укажу на то, что меня особенно поразило.

Прежде, впрочемъ, разскажу про Левина,—очевидно главнаго героя романа; въ немъ выражено положительное, какъ бы въ противуположность тѣхъ ненормальностей, отъ которыхъ погибли или пострадали другія лица романа и онъ видимо къ тому и предназначался авторомъ чтобы все это въ немъ выразить. И однакоже Левинъ все еще не совершененъ, все еще чего-то недостаетъ ему и этимъ надо было заняться и разрѣшить, чтобъ ужъ никакихъ сомнѣній и вопросовъ Левинъ болѣе собою не представлялъ. Читатель впослѣдствіи пойметъ причину почему я на этомъ останавливаюсь не переходя прямо къ главному дѣлу.

Левинъ счастливъ, романъ кончился къ пущей славѣ его, но ему недостаетъ еще внутренняго духовнаго мира. Онъ мучается вѣковѣчными вопросами человѣчества: о Богѣ, о вѣчной жизни, о добрѣ и злѣ и проч. Онъ мучается тѣмъ, что онъ не вѣрующій и что не можетъ успокоиться на томъ, на чемъ всѣ успокоиваются, т. е. на интересѣ, на обожаніи собственной личности или собственныхъ идоловъ, на самолюбіи и проч. Признакъ великодушія, не правда-ли? Но отъ Левина и ожидать нельзя было меньше. Оказывается кстати что Левинъ много прочиталъ: Ему знакомы и философы, и позитивисты, и просто естественники. Но ничто не удовлетворяетъ его, а напротивъ еще больше запутываетъ, такъ что онъ, въ свободное по хозяйству время, убѣгаетъ въ лѣса и рощи, сердится, даже не столь цѣнитъ свою Кити сколько-бы надо цѣнить. И вотъ вдругъ онъ встрѣчаетъ мужика, кото-

рый передавая ему о двухъ, различныхъ нравственною стороною своею мужикахъ, Митюхѣ и Ѳоканычѣ, выражается такъ:

„Митюхѣ какъ не выручить! Этотъ наживетъ да свое выберетъ. Онъ хрестьянина не пожалѣетъ, а дядя Ѳоканычь развѣ станетъ драть шкуру съ человѣка? Гдѣ въ долгъ, гдѣ и спуститъ. Анъ и не доберетъ, тоже человѣкомъ.

— Да зачѣмъ-же онъ будетъ спускать?

— Да такъ, значитъ—люди разные; одинъ человѣкъ только для нужды своей живетъ, хоть бы Митюха, только брюхо набиваетъ,— а Ѳоканычь—правдивый старикъ. Онъ для души живетъ, Бога помнитъ.

— Какъ Бога помнитъ? Какъ для души живетъ? почти вскрикнулъ Левинъ.

— Извѣстно какъ, по правдѣ, по Божью, Вѣдь люди разные. Вотъ хоть васъ взять, тоже не обидите человѣка.

— Да, да, прощай!—проговорилъ Левинъ. задыхаясь отъ волненія, и, повернувшись взялъ свою палку и быстро пошелъ прочь къ дому.

. . . . . .

Онъ, впрочемъ, побѣжалъ опять въ лѣсъ, легъ подъ осинами и началъ думать почти въ какомъ-то восторгѣ. Слово было найдено, всѣ вѣковѣчныя загадки разрѣшены и это однимъ простымъ словомъ мужика: „Жить для души, Бога помнить“. Мужикъ, разумѣется, не сказалъ ему ничего новаго, все это онъ давно уже самъ зналъ; но мужикъ все же навелъ его на мысль и подсказалъ ему рѣшеніе въ самый щекотливый моментъ. Засимъ наступаетъ рядъ разсужденій Левина весьма вѣрныхъ и мѣтко выраженныхъ. Мысль Левина та: Къ чему искать умомъ того, что уже *дано* самою жизнію, съ чѣмъ родится каждый человѣкъ и чему (по неволѣ даже) долженъ слѣдовать и слѣдуетъ каждый человѣкъ. Съ совѣстью, съ понятіемъ о добрѣ и злѣ каждый человѣкъ рождается, стало быть рождается прямо и съ цѣлью жизни: жить для добра и не любить зла. Рождается съ этимъ и мужикъ и баринъ, и французъ и русскій и турокъ—всѣ чтутъ добро (NB хотя многіе ужасно по своему). Я же, говоритъ Левинъ, хотѣлъ все это познать математикой, наукой, разумомъ, или ждалъ чуда, между тѣмъ это дано мнѣ даромъ, рождено со мною. А что оно дано даромъ, то этому есть прямыя доказательства: Всѣ на свѣтѣ понимаютъ, или могутъ понять, что надо *любить ближняго какъ самаго себя*. Въ этомъ знаніи, въ сущности и заключается весь *законъ* человѣческій, какъ и объявлено намъ самимъ Христомъ. Между тѣмъ это знаніе прирожденно, стало быть послано даромъ, ибо разумъ ни за что не могъ бы дать такое знаніе,—почему? да потому что „любить ближняго“, если судить по разуму, выйдетъ не разумно.

— „Откуда взялъ я это? (спрашиваетъ Левинъ). Разумомъ что-ли дошелъ я до того, что надо любить ближняго и не душить его? Мнѣ сказали это въ дѣтствѣ, *и я радостно повѣрилъ*, потому-что мнѣ сказали то, что было у меня въ душѣ. А кто открылъ это? Не разумъ. Разумъ открылъ борьбу за существованіе и законъ, требующій того, чтобы душить всѣхъ, мѣшающихъ удовлетворенію моихъ желаній. Это выводъ разума. А любить другаго не могъ открыть разумъ, потому что это неразумно.

Далѣе представилась Левину недавняя сцена съ дѣтьми. Дѣти стали жарить малину въ чашкахъ на свѣчахъ и лить себѣ молоко фонтаномъ въ ротъ. Мать, заставъ ихъ на дѣлѣ, стала имъ внушать что если они испортятъ посуду, и разольютъ молоко, то не будетъ у нихъ ни посуды ни молока. Но дѣти очевидно не повѣрили, потому что не могли себѣ и представить „всего объема того, чѣмъ они пользуются, а потому не могли представить себѣ, что то, что они разрушаютъ есть то самое, чѣмъ они живутъ“.

„Это все само собой“, думали они, „интереснаго и важнаго въ этомъ ничего нѣтъ, потому что это всегда было и будетъ. И всегда все одно и тоже. Объ этомъ намъ думать нечего, это готово; а намъ хочется выдумать что-нибудь свое и новенькое. Вотъ мы выдумали въ чашку положить малину и жарить ее на свѣчкѣ, а молоко лить фонтаномъ прямо въ ротъ другъ другу. Это весе-

ло и ново, и ничѣмъ не хуже, чѣмъ пить изъ чашекъ".

„Развѣ не тоже самое дѣлаемъ мы, дѣлалъ я, разумомъ отыскивая значеніе силъ природы и смыслъ жизни человѣка"? продолжалъ Левинъ.

„И развѣ не тоже дѣлаютъ всѣ теоріи философскія, путемъ мысли страннымъ, несвойственнымъ человѣку, приводя его къ знанію того, что онъ давно знаетъ, и такъ вѣрно знаетъ, что безъ того и жить-бы не могъ. Развѣ не видно ясно въ развитіи теоріи каждаго философа, что онъ впередъ знаетъ такъ же несомнѣнно, какъ и мужикъ Ѳедоръ, и ничуть не яснѣе его, главный смыслъ жизни, и только сомнительнымъ умственнымъ путемъ хочетъ вернуться къ тому, что всѣмъ извѣстно.

Ну-ка, пустить однихъ дѣтей, чтобъ они сами пріобрѣли, сдѣлали посуду, подоили молоко, и т. д. Стали-бы они шалить? Онибы съ голоду померли. Ну-ка, пустите насъ съ нашими страстями, мыслями, безъ понятія о единомъ Богѣ и Творцѣ! Или безъ понятія того, что есть добро, безъ объясненія зла нравственнаго.

„Нука, безъ этихъ понятій постройте что-нибудь!

„Мы только разрушаемъ, потому что духовно сыты. Именно дѣти"!

Однимъ словомъ, сомнѣнія кончились и Левинъ увѣровалъ, — во что? Онъ еще этого строго не опредѣлилъ, но онъ уже вѣруетъ. Но вѣра ли это? Онъ самъ себѣ радостно задаетъ этотъ вопросъ: „Неужели это вѣра?" Надобно полагать что еще нѣтъ. Мало того: врядъ ли у такихъ какъ Левинъ и можетъ быть окончательная вѣра. Левинъ любитъ себя называть народомъ, но это баричъ, московскій баричъ средневысшаго круга, историкомъ котораго и былъ по преимуществу графъ Л. Толстой. Хоть мужикъ и не сказалъ Левину ничего новаго, но все же онъ его натолкнулъ на идею, а съ этой идеи и началась вѣра. Ужъ въ этомъ-то одномъ Левинъ могъ бы увидать что онъ не совсѣмъ народъ и что нельзя ему говорить про себя: я самъ народъ. Но объ этомъ послѣ. Я хочу только сказать, что вотъ эти какъ Левинъ, сколько бы ни прожили съ народомъ или подлѣ народа, но народомъ вполнѣ не сдѣлаются, мало того—во многихъ пунктахъ такъ и не поймутъ его никогда вовсе. Мало одного самомнѣнія, или акта воли да еще столь причудливой, чтобъ захотѣть и стать народомъ. Пусть онъ помѣщикъ, и работящій помѣщикъ, и работы мужицкія знаетъ, и самъ коситъ и телѣгу запрячь умѣетъ, и знаетъ что къ сотовому меду огурцы свѣжіе подаются. Все-таки въ душѣ его, какъ онъ ни старайся, останется оттѣнокъ чего-то, что можно я думаю назвать *праздношатайствомъ* — тѣмъ самымъ праздношатайствомъ, физическимъ и духовнымъ, которое, какъ онъ ни крѣпись, а все же досталось ему по наслѣдству и которое ужъ конечно видитъ во всякомъ баринѣ народъ, благо не нашими глазами смотритъ. Но и объ этомъ потомъ. А вѣру свою онъ разрушитъ опять, разрушитъ самъ, долго не продержится: выйдетъ какой нибудь новый сучекъ и разомъ все рухнетъ. Кити пошла и споткнулась, такъ вотъ зачѣмъ она споткнулась? Если споткнулась, значитъ и не могла не споткнуться; слишкомъ ясно видно что она споткнулась потому-то и потому-то. Ясно что все тутъ зависѣло отъ законовъ, которые могутъ быть строжайше опредѣлены. А если такъ, то значитъ всюду наука. Гдѣ же Промыселъ? Гдѣ же роль его? Гдѣ же отвѣтственность человѣческая? А если нѣтъ Промысла, то какъ же я могу вѣрить въ Бога и т. д. и т. д.". Берите прямую линію и пустите въ безконечность. Однимъ словомъ, эта честная душа, есть самая праздно-хаотическая душа, иначе онъ не былъ бы современнымъ русскимъ интелигентнымъ баріномъ, да еще средне-высшаго дворянскаго круга.

Онъ доказываетъ это блистательно всего какой-нибудь часъ спустя по пріѣ-

обрѣтеніи вѣры; онъ доказываетъ что русскій народъ вовсе не чувствуетъ того, что могутъ чувствовать вообще люди, онъ разрушаетъ душу народа самымъ всевластнымъ образомъ, мало того, — объявляетъ что самъ не чувствуетъ никакой жалости къ человѣческому страданію. Онъ объявляетъ что „непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть“— т. е. не только у него, но и у всѣхъ русскихъ не можетъ быть: я дескать самъ народъ. Слишкомъ уже они дешево цѣнятъ русскій народъ. Старые впрочемъ оцѣнщики. Не прошло и часу по пріобрѣтеніи вѣры какъ пошла опять жариться малина на свѣчкѣ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Раздражительность самолюбія.

Прибѣжали дѣти и объявляютъ Левину, что пріѣхали гости, — „одинъ вотъ такъ размахиваетъ руками“. Оказывается что гости изъ Москвы. Левинъ сажаетъ ихъ подъ деревьями, приноситъ имъ сотоваго меду съ свѣжими огурцами и гости тотчасъ же принимаются за медъ и за Восточный вопросъ. Все происходитъ, видите-ли, прошлаго года, — помните: Черняевъ, добровольцы, пожертвованія. Разговоръ быстро разгарается, потому что всѣ неудержимо стремятся къ главному. Собесѣдники, кромѣ дамъ, во первыхъ одинъ изъ Москвы профессорчикъ, человѣкъ милый, но глуповатый. Затѣмъ слѣдуетъ человѣкъ (съ тѣмъ онъ и выставленъ) огромнаго ума и познаній, Сергѣй Ивановичъ Кознышевъ, единоутробный братъ Левина. Характеръ этотъ проведенъ въ романѣ искусно, и подъ конецъ понятенъ (сороковыхъ годовъ человѣкъ). Сергѣй Ивановичъ только что бросился, всецѣло и съ азартомъ, въ славянскую дѣятельность и комитетомъ на него много возложено, такъ что трудно и представить себѣ, вспоминая прошлое лѣто, какъ онъ могъ бросить дѣло и пріѣхать на цѣлыя двѣ недѣли въ деревню. Правда, въ такомъ случаѣ не было бы и разговора на пчельникѣ о народномъ движеніи, а стало быть и всей восьмой части романа, которая для одного этого разговора и написана. Видите-ли, этотъ Сергѣй Ивановичъ, мѣсяца два или три передъ тѣмъ, издалъ въ Москвѣ какую-то ученую книгу о Россіи, которую давно готовилъ и на которую возлагалъ большія надежды, но книга вдругъ лопнула, и лопнула со срамомъ, никто-то объ ней ничего не сказалъ, прошла незамѣченная. И вотъ тутъ-то Сергѣй Ивановичъ и бросился въ славянскую дѣятельность, и съ такимъ жаромъ, какого отъ него и ожидать нельзя было. Выходитъ, стало быть, что бросился не натурально; весь его жаръ къ славянамъ — ambition rentrée не болѣе, и вы ясно предчувствуете что Левинъ уже и не можетъ не остаться надъ такимъ побѣдителемъ. Сергѣй Ивановичъ и въ прежнихъ частяхъ проведенъ былъ въ комическомъ видѣ весьма искусно; въ восьмой же части становится уже окончательно

яснымъ, что онъ и задуманъ-то былъ единственно для того, чтобы въ концѣ романа послужить пьедесталомъ дли величія Левина. Но лицо очень удачное.

За то изъ неудачнѣйшихъ лицъ — это старый князь. Онъ тутъ-же сидитъ и толкуетъ о восточномъ вопросѣ. Неудачный и во всемъ романѣ, а не то что въ одномъ восточномъ вопросѣ. Это одно изъ положительныхъ лицъ романа, предназначенныхъ выразить собою положительную красоту, — ну, разумѣется, не грѣша противъ реализма: онъ и съ слабостями, и чутьли не съ смѣшными сторонами, но за то почтенный, почтенный. Онъ и добросердъ романа, онъ и здравомыслъ, но не фонвизинскій какой нибудь здравомыслъ, который какъ уже заладитъ, такъ точно оселъ ученый: одно здравомысліе и ничего болѣе. Нѣтъ, тутъ и юморъ и вообще человѣческія стороны. Забавное-же въ томъ, что этотъ старый человѣкъ предназначенъ выражать собою остроуміе. Пройдя школу жизни, отецъ многочисленныхъ, хотя уже и пристроенныхъ дѣтей, онъ, подъ старость, взираетъ на все кругомъ него съ тихою улыбкою мудреца, но съ улыбкою, далеко, однако, не столь кроткою и безобидною. Онъ дастъ совѣтъ, но берегитесь игры ума его: отбрѣетъ. И вотъ вдругъ тутъ случилось одно несчастье: предназначенный къ остроумію здравомыслъ, Богъ знаетъ отчего вышелъ вовсе не остроуменъ, а напротивъ даже и пошловатъ. Правда, онъ все порывается, равно какъ и во весь романъ, сказать что нибудь остроумное, но такъ и остается при одномъ желаніи, ровнешенько ничего не выходитъ. Читатель изъ деликатности готовъ наконецъ зачесть ему эти попытки и, такъ сказать, потуги остроумія за самое остроуміе, но гораздо хуже то, что это же самое лицо, въ восьмой, отдѣльно вышедшей части романа, предназначено выразить вещи, положимъ опять-таки неостроумныя (въ этомъ старый князь твердо выдерживаетъ свой характеръ), но за то вещи циническія и хульныя на часть нашего общества и на народъ нашъ. Вмѣсто добросерда является какой-то клубный отрицатель какъ русскаго народа, такъ и всего что въ немъ есть хорошаго. Слышится клубное раздраженіе, стариковская желчь. Впрочемъ политическая теорія стараго князя нисколько не нова. Это стотысячное повтореніе того, что мы и безъ него поминутно слышимъ:

— Вотъ и я, сказалъ князь. Я жилъ заграницей, читалъ газеты и, признаюсь, еще до Болгарскихъ ужасовъ, никакъ не понималъ, почему всѣ русскіе такъ вдругъ полюбили братьевъ славянъ, а я никакой къ нимъ любви не чувствую? Я очень огорчался, думалъ что я уродъ, (это видите-ли онъ остритъ: вообразить только что онъ думаетъ про себя, что онъ уродъ!) или что такъ Карлсбадъ на меня дѣйствуетъ (сугубая острота). Но, пріѣхавъ сюда, я успокоился (Еще-бы!) я вижу, что и кромѣ меня есть люди, интересующіеся только Россіей, а не братьями славянами...

Вотъ она гдѣ глубина-то! Надо интересоваться *только* Россіей. Такъ что вспоможеніе славянамъ прямо признается не русскимъ дѣломъ; признавалъ-бы онъ его русскимъ дѣломъ— не говорилъ-бы онъ что надо интересоваться *только* Россіей, такъ какъ интересоваться славянами само собою означало-бы тогда интересоваться самой Россіей и назначеніемъ ея. Характеръ воззрѣнія князя состоитъ стало быть въ узости пониманія русскихъ интересовъ. Этого какъ не слыхать, это тысячу разъ услышишь, а въ иныхъ сферахъ такъ только это и слышишь. Но вотъ однако-же нѣчто гораздо злокачественнѣе; это разговоръ, который былъ за нѣсколько минутъ прежде. Старый князь спрашиваетъ Сергѣя Ивановича:

...ради Христа, объясните мнѣ, Сергѣй Ивановичъ, куда ѣдутъ всѣ эти добровольцы, съ кѣмъ они воюютъ?...

— Съ турками, спокойно улыбаясь отвѣчалъ Сергѣй Ивановичъ...

— Да кто-же объявилъ войну туркамъ? Иванъ Ивановичъ Рагозовъ и графиня Лидія Ивановна съ мадамъ Шталь?

Вотъ и проговорился. Вы понимаете, что онъ къ тому и велъ, и для этого можетъ быть и пріѣхалъ поскорѣе изъ Карлсбада. Но это вопросъ уже другого сорта, и то что князь объ этомъ заговорилъ какъ будто даже и не хорошо. Конечно и это идея не новая, но зачѣмъ-же она опять повторяется? Прошлой зимой и очень даже многіе, кому надо было, утверждали, что кто-то въ Россіи объявилъ войну туркамъ. Это выставляли; но идейка походила, погуляла и назадъ воротилась къ изобрѣтателямъ. Потому что ровно никто въ Россіи прошлаго года не объявлялъ войны туркамъ и утверждать это — по меньшей мѣрѣ *преувеличеніе*. Правда, Сергѣй Ивановичъ далѣе отшучивается, но наивный и честный Левинъ, какъ настоящій enfant terrible, прямо высказываетъ то что у князя на умѣ.

— Никто не объявлялъ войны, а люди сочувствуютъ страданіямъ ближнихъ и желаютъ помочь имъ, сказалъ Сергѣй Ивановичъ.

— Но князь говоритъ не о помощи, сказалъ Левинъ, заступаясь за тестя, а объ войнѣ. Князь говоритъ, что частные люди не могутъ принимать участія въ войнѣ безъ разрѣшенія правительства.

Видите-ли теперь о чемъ заботится Левинъ? Дѣло ставится уже совсѣмъ прямо, разъяснено сверхъ того глупой выходкой Катавасова: Вотъ что говоритъ Левинъ далѣе:

— Да моя теорія та: война, съ одной стороны есть такое животное, жестокое и ужасное дѣло, что ни одинъ человѣкъ, не говорю уже христіанинъ, не можетъ лично взять на свою отвѣтственность начало войны, а можетъ только правительство, которое призвано къ этому и приводится къ войнѣ неизбѣжно. Съ другой стороны, и по наукѣ, и по здравому смыслу, въ государственныхъ дѣлахъ, въ особенности въ дѣлѣ войны, граждане отрекаются отъ своей личной воли.

Сергѣй Ивановичъ и Катавасовъ съ готовыми возраженіями заговорили въ одно время.

— Въ томъ-то и штука, батюшка, что могутъ быть случаи, когда правительство не исполняетъ воли гражданъ, и тогда общество заявляетъ свою волю, сказалъ Катавасовъ.

Но Сергѣй Ивановичъ очевидно не одобрялъ этого возраженія...

Однимъ словомъ указывается и поддерживается, что дѣйствительно кѣмъ-то была въ Россіи объявлена война туркамъ прошлаго года, мимо правительства. Съ его умомъ Левинъ могъ-бы догадаться, что Катавасовъ дурачекъ, что Катавасовыхъ вездѣ найдешь, что прошлогоднее движеніе было именно противуположно идеямъ Катавасовыхъ, потому что было русское, національное, настоящее наше, а не игра въ какую-то опозицію. Но Левинъ стоитъ на своемъ, онъ ведетъ свое обвиненіе до конца; дорога ему не истина, а то что онъ придумалъ. Вотъ какими разсужденіями заканчиваетъ онъ свои мысли на этотъ счетъ:

...Онъ (Левинъ) говорилъ вмѣстѣ съ Михайлычемъ и народомъ, выразившимъ свою мысль въ преданіи о призваніи Варяговъ: „Княжите и владѣйте нами. Мы радостно обѣщаемъ полную покорность. Весь трудъ, всѣ униженія, всѣ жертвы мы беремъ на себя; но не мы судимъ и рѣшаемъ". А теперь народъ, по словамъ Сергѣй Иванычей, *отрекался отъ этого, купленнаго такой дорогой цѣной, права.*

Ему хотѣлось еще сказать, что если общественное мнѣніе есть непогрѣшимый судья, то почему революція, коммуна не такъ-же законны, какъ и движеніе въ пользу славянъ?...

Слышите? И никакія соображенія не сбиваютъ этихъ господъ съ толку, никакіе самые очевидные факты. Я сказалъ уже, что лучше еслибъ князь и Левинъ такихъ обвиненій совсѣмъ не дѣлали; но кто-же не видитъ что одинъ — оскорбленное самолюбіе, а другой парадоксалистъ. Впрочемъ можетъ быть и Левинъ оскорбленное самолюбіе, потому-что неизвѣстно чѣмъ можетъ вдругъ оскорбляться самолюбіе людей!

А между тѣмъ дѣло ясное, обвиненіе вздорное, да и не можетъ быть такого обвиненія, потому что оно вовсе не можетъ существовать. Не тѣ были вовсе факты.

II.

Tout ce qui n'est pas expressement permis est defendu.

Война была объявлена Турціи, въ прошломъ году, не Россіей и не въ Россіи, а въ славянскихъ земляхъ, славянскими владѣтельными князьями, т. е. государями, княземъ Миланомъ сербскимъ и княземъ Николаемъ черногорскимъ, ополчившимся на турцію за неслыханныя притѣсненія, звѣрства, грабежи и избіенія подвластныхъ ей славянъ, въ томъ числѣ герцеговинцевъ, вынужденныхъ наконецъ этими самыми звѣрствами возстать противъ притѣснителей. Неслыханныя истязанія и избіенія, которымъ подверглись герцеговинцы, стали извѣстны всей Европѣ. Извѣстія объ этихъ ужасахъ проникли и къ намъ въ Россію, въ интелигентную публику и наконецъ въ народъ. По неслыханности своей они проникли всюду. Получались свѣденія, что сотни тысячь людей, старики, беременныя женщины, оставленныя на произволъ дѣти, бросили свои жилища и устремились вонъ изъ Турціи, въ сосѣднія земли, куда попало, безъ хлѣба, безъ крова, безъ одежды, въ послѣднемъ животномъ страхѣ самосохраненія. Князья, Церковь, предстоятели Церкви, возвысили за несчастныхъ голосъ и стали собирать для нихъ подаяніе. Началъ подавать имъ и нашъ народъ, жертвы стекались въ опредѣленныя мѣста, въ редакціи журналовъ, въ отдѣлы бывшихъ славянскихъ комитетовъ—и въ этомъ вовсе ничего не было незаконнаго, противъ-правительственнаго или безнравственнаго. Напротивъ, смѣло можно сказать, что было лишь одно хорошее. Что-же до славянскихъ князей, затѣявшихъ войну съ Турціею, то ни Россія и никто въ Россіи въ этомъ не были виноваты. Правда, одинъ изъ этихъ владѣтелей, именно князь Миланъ Сербскій, былъ владѣтелемъ не вполнѣ независимымъ; напротивъ, обязанъ былъ султану нѣкоторой вассальной подчиненностью, такъ что въ одной изъ русскихъ газетъ его горько упрекали за то, что онъ, такъ сказать, бунтовщикъ, и чтобъ ужь совершенно сконфузить и пристыдить его, написали, что онъ возсталъ противъ своего „сюзерена“. Но все это опять-таки было собственнымъ дѣломъ князя Милана, за которое ему одному и слѣдуетъ отвѣчать. Россія-же и никто въ Россіи войны прошлаго года не объявляли, а стало быть ровно ничѣмъ передъ султаномъ не согрѣшили. А пожертвованія между тѣмъ все стекались да стекались, но это уже совсѣмъ другое. Но вотъ вдругъ одинъ изъ русскихъ генераловъ, на то время безъ занятій, человѣкъ еще не старый, всего только генералъ-маіоръ, но уже нѣсколько извѣстный по прежнимъ, довольно успѣшнымъ дѣйствіямъ своимъ въ Средней Азіи, отправился, по своей собственной охотѣ, въ Сербію и предложилъ князю Милану свои услуги. На службу онъ былъ принятъ и зачисленъ, но вовсе не главнокомандующимъ сербскою арміей, какъ пронесся было у насъ о томъ слухъ въ Россіи, долго державшійся. Вотъ тутъ-то и начались русскіе добровольцы, которые, впрочемъ, несомнѣнно и прежде были, т. е. до Черняева; вмѣстѣ съ тѣмъ усилились сборы пожертвованій, на которыя поднялась

вся Россія. Всѣхъ добровольцевъ за весь прошлый годъ, было не Богъ знаетъ сколько, очень не много тысячъ, но провожала ихъ въ Сербію рѣшительно вся Россія, и особенно народъ, настоящій народъ, а не стрюцкіе, какъ особенно настаиваетъ на томъ озлобленный Левинъ; стрюцкими онъ считаетъ и добровольцевъ. Но это было не такъ, дѣло это не въ углу происходило, дѣло это всѣмъ извѣстно, всѣ могли видѣть и убѣдиться и всѣ, т. е. вся Россія, рѣшили что дѣло это—хорошее дѣло. Со стороны народа объявилось столько благороднаго, умилительнаго и сознательнаго, что все прошлогоднее движеніе это, русскаго народа въ пользу славянъ, несомнѣнно останется одною изъ лучшихъ страницъ въ его исторіи. Впрочемъ, защищать народъ противъ Левиныхъ, доказывать Левинымъ что это были не стрюцкіе и не воздыхатели, а напротивъ, сознающіе свое дѣло люди — доказывать все это, по моему совершенно лишнее и не нужное, мало того—даже для народа и унизительное. Главное-же въ томъ, что все это происходило открыто, у всѣхъ на виду: объявлялись факты поражающіе, характерные, которые записались, запомнились и не забудутся, и оспорены быть уже не могутъ. Но о народѣ потомъ, что-же до добровольцевъ, то какъ не случиться въ ихъ числѣ, рядомъ съ высочайшимъ самоотверженіемъ въ пользу ближняго (NB. Кирѣевъ) и просто удальству, прыти, гульбѣ и пр. и пр. Все произошло какъ всегда и вездѣ происходитъ. Правда, не сочтено еще сколько и изъ этихъ гулякъ-пьяницъ, заболтавшихся людей, если только такіе были въ числѣ добровольцевъ, положили тамъ далеко животъ свой за великодушное дѣло, а потому и на нихъ нечего бы было столь порицательно и даже ругательно возставать. Но утверждать, что прошлогодніе добровольцы были *сплошь* гуляки, пьяницы и люди потерянные — по меньшей мѣрѣ не имѣетъ смысла, ибо, опять-таки повторяю, дѣло это не въ углу происходило и всѣ могли видѣть. Но во всякомъ случаѣ объявленія войны, въ прошломъ году, сосѣдней державѣ, кѣмъ-нибудь изъ русскихъ помимо правительства, положительно не было. Иванъ Ивановичъ Рагозовъ и графиня Лидія Ивановна и не могли бы объявить войну туркамъ, еслибъ даже и хотѣли. Мало того, они даже добровольцевъ не подымали, никого не заманивали, не нанимали, а всякій шелъ *добровольно вполнѣ*, что рѣшительно всѣмъ извѣстно. Но что помогали они добровольцамъ и сверхъ того посылали въ славянскія земли деньги для помощи несчастнымъ, измученнымъ и изувѣченнымъ, и сверхъ того помогали деньгами же возставшимъ ихъ защищать,—это было, о, это было, и даже вмѣстѣ съ самымъ ревностнымъ пожеланіемъ, чтобъ кровопійцы турки сломали себѣ шею,—да, это въ высшей степени было! Но весь вопросъ въ томъ: объявленіе-ли это войны? Если-же нѣтъ, то запрещено все это или нѣтъ правительствомъ, т. е. запрещено-ли помогать сражающимся за христіанъ деньгами и желать чтобъ турки сломали себѣ шею? Опять-таки никакъ не думаю чтобъ было запрещено, ибо дѣло это было открытое, всѣ видѣли, всѣ участвовали, а добровольцы получали свои заграничные паспорты отъ правительства-же. Я не знаю впрочемъ, можетъ быть и есть такой законъ „что частные люди не могутъ *принимать участія* въ войнѣ безъ разрѣшенія правительства“, т. е. не могутъ вступать безъ особа-

го разрѣшенія своего правительства въ службу къ инземнымъ государямъ. Можетъ быть дѣйствительно существуетъ какой-нибудь такой законъ, очень старый, но еще не отмѣненный; но правительство всегда могло бы и само воспользоваться этимъ закономъ, чего-же тутъ Левину-то? Ему-то что во всемъ этомъ? Между тѣмъ онъ именно этимъ-то и волнуется...

— Pardon monsieur, mais il me semble que tout ce qui n'est pas expressement défendu est permis.

— Au contraire, m-r: tout ce qui n'est pas expressement permis est défendu.

То есть по русски:

— Да, но мнѣ кажется что все что не особенно настойчиво запрещено, то можно бы считать дозволеннымъ.

— Совсѣмъ напротивъ-съ: все то, что не особенно настойчиво дозволено надо несомнѣнно считать уже запрещеннымъ.

Это краткій комическій разговоръ человѣка порядка съ человѣкомъ безпорядка, происходившій во Франціи. Но вѣдь этотъ толковникъ порядка и поставленъ у порядка, онъ объяснитель и защитникъ его, онъ уже такое лицо. А Левину-то что? Что онъ-то за спеціалистъ въ этомъ родѣ? Онъ все боится чтобъ не потерялось какое-то право. А между тѣмъ весь народъ, сочувствуя угнетеннымъ христіанамъ, совершенно зналъ что онъ правъ, что онъ ничего не дѣлаетъ противъ воли Царя своего, и сердцемъ своимъ былъ за одно съ Царемъ своимъ. Да, онъ зналъ это. Такъ точно думали и тѣ, которые снаряжали добровольцевъ. Ни одинъ не утѣшалъ себя, хоти бы въ тайнѣ, смѣшною мыслью что онъ ведетъ дѣло противъ воли правительства. Царскаго слова ждали съ терпѣніемъ и съ великою надеждою и всѣ предчувствовали его впередъ и въ немъ не ошиблись. Обвиненіе въ объявленіи войны есть, однимъ словомъ, обвиненіе фантастическое, которое пало само собою и которое нельзя поддерживать.

Но Левинъ и князь отъ этого обвиненія сами выгораживаютъ народъ. Они прямо отрицаютъ участіе народа въ прошлогоднемъ движеніи, но за то прямо утверждаютъ что народъ не понималъ ничего, да и не могъ понимать, что все было искусственно возбуждено журналистами для пріобрѣтенія подписчиковъ и нарочно поддѣлано Рагозовыми и проч. и проч.

— Личныя мнѣнія тутъ ничего не значатъ, сказалъ Сергѣй Ивановичъ. Нѣтъ дѣла до личныхъ мнѣній, когда вся Россія—народъ выразилъ свою волю.

— Да извините меня. Я этого не вижу. Народъ *и знать не знаетъ*, сказалъ князь.

— Нѣтъ, папа... Какже нѣтъ? А въ воскресенье въ церкви? сказала Долли, прислушавшаяся къ разговору...

— Да чтоже въ воскресенье въ церкви? Священнику *велѣли* прочесть. Онъ прочелъ. Они *ничего не поняли*, вздыхали, *какъ при всякой проповѣди*, продолжалъ князь. Потомъ имъ сказали, что вотъ собираютъ на душеспасительное дѣло въ церкви, ну они *вынули по копѣйкѣ* и дали. А на что, *они сами не знаютъ*.

Это мнѣніе нелѣпое, идущее прямо противъ факта и въ устахъ князя оно легко объясняется: оно исходитъ отъ одного изъ прежнихъ опекуновъ народа, отъ прежняго крѣпостника, который не могъ, какъ бы ни былъ онъ добръ, не презирать своихъ рабовъ и не считать себя безмѣрно выше ихъ пониманіямъ; „повздыхали, дескать, и ничего не поняли“. Но вотъ мнѣніе Левина, онъ покрайней мѣрѣ выставленъ не прежнимъ крѣпостникомъ.

— Мнѣ не нужно спрашивать, сказалъ Сергѣй Ивановичъ, — мы видѣли и видимъ сотни и сотни людей, которые бросаютъ все, чтобы послужить правому дѣлу, приходятъ со всѣхъ концовъ Россіи, и прямо и ясно выражаютъ свою мысль и цѣль. Они приносятъ свои гроши, или сами идутъ, и прямо говорятъ зачѣмъ. Что же это значитъ?

— Значитъ по моему, сказалъ начинавшій горячиться Левинъ, что въ восьмидесятимиліонномъ народѣ всегда найдутся не сотни, какъ теперь, а десятки тысячъ людей, *потерявшихъ общественное положеніе, безшабашныхъ людей, которые всегда готовы—въ шайку Пугачева, въ Хиву, въ Сербію*...

— Я тебѣ говорю, что не сотни и не люди безшабашные, а лучшіе представители народа!—сказалъ Сергѣй Ивановичъ съ такимъ раздраженіемъ, какъ будто онъ защищалъ послѣднее свое достояніе. А пожертвованія? Тутъ ужь прямо весь народъ выражаетъ свою волю.

— Это слово „народъ“ такъ неопредѣленно, сказалъ Левинъ. Писаря волостные, учителя, и изъ мужиковъ одинъ на тысячу, можетъ быть знаютъ о чемъ идетъ дѣло. Остальные же 80 милліоновъ какъ Михайлычъ, не только не выражаютъ своей воли, но не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о чемъ имъ надо бы выражать свою волю. Какое же мы имѣемъ право говорить, что это воля народа?

Да и вообще надо бы здѣсь замѣтить, разъ навсегда, что слово: „воля народа“ въ прошлогоднемъ движеніи его, вовсе неумѣстно, да и ровно ни къ чему не служитъ, потому что ничего точно не обозначаетъ. Прошлаго года не воля народа обозначилась, а великое состраданіе его, во первыхъ, во вторыхъ ревность о Христѣ, а въ третьихъ собственное какъ бы покаяніе его, въ родѣ какъ бы говѣнія—право этакъ можно бы выразиться. Я это поясню ниже, но теперь прибавлю что весьма радъ, въ устахъ Левина, такимъ выраженіямъ про прошлогднихъ добровольцевъ, какъ *пойти въ шайку Пугачева* и проч. По крайней мѣрѣ эти мысли я уже никакъ теперь не могу приписать автору, чему и радъ ужасно, ибо ясно понимаю что авторъ вступилъ въ свои права художника: онъ слишкомъ почувствовалъ, что разгорячившійся ипохондрикъ Левинъ, какъ имъ же созданное художественное лицо, и не могъ въ данный моментъ спора не выдержать свой характеръ, т. е. не закончить оскорбительнѣйшимъ ругательствомъ свой отзывъ какъ о добровольцахъ, такъ и объ русскомъ народѣ, ихъ провожавшемъ. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ обвиненіе народа, за прошлогоднее движеніе его, въ глупости и въ тупости, дѣйствительно существовало и ходило, а намекъ на счетъ шаекъ Пугачева дѣйствительно тоже наклевывался, то я здѣсь, кстати, и рѣшаюсь, по возможности въ самыхъ краткихъ словахъ, попробовать разъяснить: какимъ образомъ надобно понимать загадку *сознательности* прошлогодняго всенароднаго движенія нашего на помощь славянамъ? Ибо изъ этого дѣйствительно составили цѣлую загадку въ извѣстныхъ кружкахъ: „какъ дескать, народъ только вчера услыхалъ о славянахъ, ничего-то онъ не знаетъ, ни географія, ни исторіи, и на-вотъ—вдругъ полѣзъ на стѣну за славянъ, полюбились они ему такъ вдругъ очень“! За эту тему, кромѣ извѣстныхъ кружковъ, ухватились и сѣдые старички какъ старый князь въ клубахъ, и вотъ обрадовался ей, какъ видно и Левинъ, такъ какъ ею очень можно поддержать и предлагаемое имъ объясненіе объ искуственной поддѣлкѣ движенія извѣстными людьми для извѣстныхъ цѣлей. Правда, выставляется Сергѣй Ивановичъ какъ-бы защитникомъ противъ Левина сознательности народнаго движенія, но защищаетъ онъ дѣло свое плохо, тоже горячится, и вообще, какъ я уже и сказалъ, выставленъ въ комическомъ видѣ. Между тѣмъ, дѣло это о сознательности и толковости народнаго чувства въ пользу угнетенныхъ христіанъ, до того ясно, до того точно можетъ быть опредѣлено, что я не могъ не соблазниться чтобъ не выставить на видъ: какъ надо по моему понимать это дѣло для избѣжанія путаницы и, въ особенности, *за:адокъ?*

—

III.

О безошибочномъ знаніи необразованнымъ и безграмотнымъ русскимъ народомъ главнѣйшей сущности Восточнаго вопроса.

Съ самаго начала народа русскаго и его государства, съ самаго крещенія земли русской, начали устремляться изъ нея паломники во святыя земли, ко Гробу Господню, на Аѳонъ и проч. Еще во время крестовыхъ походовъ ходилъ въ Іерусалимъ одинъ игуменъ русскій и былъ ласково принятъ королемъ Іерусалимскимъ „Балдвиномъ“, что прекрасно описалъ въ хожденіи своемъ. Затѣмъ паломничество на Востокъ, ко святымъ мѣстамъ, не прекращалось и до нашихъ дней. Изъ русскихъ же монаховъ есть и теперь въ Россіи весьма многіе, жившіе на Аѳонѣ. Такимъ образомъ, темный и совершенно необразованный русскій народъ, т. е. самые даже простые деревенскіе мужики, совершенно не зная исторіи и географіи, знаютъ однакоже отлично, и уже очень давно, что святыми мѣстами и всѣми тамошними Восточными христіанами овладѣли нечестивые Агаряне, магометане, турки, и что жить христіанамъ по всему Востоку чрезвычайно трудно и тяжело. Знаетъ объ этомъ русскій народъ съ сокрушеніемъ сердца; а такова уже русская народная черта, историческая, что покаянные подвиги хожденія ко святымъ мѣстамъ, онъ издревле еще высоко цѣнилъ. Сердцемъ его всегда влекло туда,—черта историческая. Люди безъ гроша, старики, отставные солдаты, старыя бабы, совершенно не зная географіи, уходили изъ селеній своихъ съ нищенскими котомками своими за плечами, и дѣйствительно, иногда послѣ безчисленныхъ бѣдствій, достигали святыхъ земель. Когда же возвращались на родину, то разсказы ихъ объ ихъ странствованіяхъ благоговѣйно выслушивались. Да и вообще разсказы про „божественное“ очень любитъ русскій народъ. Мужики, дѣти ихъ, въ городахъ мѣщане, купцы даже, этихъ разсказовъ заслушиваются, съ умиленіемъ и воздыханіемъ. Напримѣръ вопросъ: кто читалъ Четьи-Минеи? Въ монастырѣ кто нибудь, изъ свѣтскихъ профессоръ какой нибудь по обязанности, или какой нибудь старикашка-чудакъ, который постится и ходитъ ко всенощной. Да и достать ихъ трудно: надо купить, а попробуйте попросите почитать на время въ приходѣ — не дадутъ. И вотъ, вѣрите ли вы тому, что по всей землѣ русской чрезвычайно распространено знаніе Четьи-Минеи — о, не всей конечно книги, — но распространенъ духъ ея по крайней мѣрѣ — почему же такъ? А потому что есть чрезвычайно много разскащиковъ и разскащицъ о Житіяхъ Святыхъ. Разсказываютъ они изъ Четьи-Миней, прекрасно, точно, не вставляя ни единаго лишняго слова отъ себя и ихъ заслушиваются. Я самъ въ дѣтствѣ слышалъ такіе разсказы прежде еще чѣмъ научился читать. Слышалъ я потомъ эти разсказы даже въ острогахъ у разбойниковъ и разбойники слушали и воздыхали. Эти разсказы передаются не по книгамъ, а заучились изустно. Въ этихъ разсказахъ, и въ разсказахъ про святыя мѣста, заключается для русскаго народа, такъ сказать, нѣчто покаянное и очистительное. Даже худые, дрянные люди, барышники и притѣснители, получали нерѣдко странное и неудержимое желаніе идти странствовать, очиститься трудомъ, подвигомъ, исполнить давно данное обѣщаніе. Если не на Востокъ, не въ Іеру-

салимъ, то устремлялись ко святыхъ мѣстамъ русскимъ, въ Кіевъ, къ Соловецкимъ чудотворцамъ. Некрасовъ, создавая своего великаго „Власа“, какъ великій художникъ, не могъ и вообразить его себѣ иначе, какъ въ веригахъ, въ покаянномъ скитальчествѣ. Черта эта въ жизни народа нашего—историческая, на которую невозможно не обратить вниманія, даже и потому только, что ея нѣтъ болѣе ни въ одномъ европейскомъ народѣ. Что изъ нея выйдетъ — сказать трудно, тѣмъ болѣе что и къ нашему народу надвигаются, черезъ школы и грамотность, просвѣщеніе и несомнѣнно новые вопросы, которые могутъ многое измѣнить. Но пока ею, и только ею одною, то есть этою только чертою и возможно объяснить всю *загадку сознательности* прошлогодняго движенія народа нашего въ пользу „братьевъ-славлнъ“, какъ выражались прошлаго года оффиціально, а теперь какъ выражаются почти въ насмѣшку. Про славянъ дѣйствительно народъ нашъ почти ничего не зналъ, и не только одинъ на тысячу, какъ выражается Левинъ, но на много тысячъ одинъ какой нибудь можетъ быть слышалъ, какъ нибудь мелькомъ, что есть тамъ какіе-то сербы, черногорцы, болгары, единовѣрцы наши. Но за то народъ нашъ, почти весь, или *въ чрезвычайномъ большинствѣ*, слышалъ и знаетъ что есть православные христіане подъ игомъ Магометовымъ, страдаютъ, мучаются и что даже самыя святыя мѣста, Іерусалимъ, Аѳонъ, принадлежатъ иновѣрцамъ. Онъ даже двадцать слишкомъ лѣтъ тому назадъ могъ слышать объ истязуемыхъ Восточныхъ христіанахъ и о порабощенныхъ святыхъ мѣстахъ, когда покойный Государь начиналъ свою войну съ Турціей, а потомъ съ Европой, кончившуюся Севастополемъ. Тогда тоже, въ началѣ войны, пронеслось сверху слово о святыхъ мѣстахъ, которое народъ могъ тоже съ тѣхъ поръ запомнить. Кромѣ того, еще задолго до прошлогодняго подъема нашего въ пользу славянъ, начались истязанія этихъ славянъ и почти годъ какъ объ этомъ уже говорили и писали въ Россіи, и я самъ слышалъ какъ въ народѣ уже спрашивали даже тогда еще: „правда ли, что турокъ опять подымается?“ Кромѣ того (хотя это и отдаленное соображеніе), но мнѣ кажется, что и время какъ бы всему этому способствовало т. е. прошлогоднему движенію. Довольно давно уже, относительно говоря, какъ послѣдовало у насъ освобожденіе крестьянъ, и вотъ прошли эти годы—и что же увидѣлъ въ средѣ своей народъ? Увидѣлъ онъ, между прочимъ, увеличившееся пьянство, умножившихся и усилившихся кулаковъ, кругомъ себя нищету, на себѣ нерѣдко звѣриный образъ,—многихъ, о, многихъ можетъ быть брала уже за сердце какая-то скорбь, покаянная скорбь, скорбь самообвиненія, исканія лучшаго, святого... И вотъ вдругъ раздается голосъ объ угнетеніи христіанъ, объ мученіяхъ за церковь, за вѣру, о христіанахъ полагающихъ голову за Христа, и идущихъ на крестъ,—(такъ какъ если бы они согласились отречься отъ Креста и принять магометанство, то были бы всѣ пощажены и награждены,—это-то уже конечно народу было извѣстно). Поднялись воззванія къ пожертвованіямъ, затѣмъ пронесся слухъ про русскаго генерала, поѣхавшаго помогать христіанамъ, затѣмъ начались добровольцы,—все это потрясло народъ. Именно потрясло, какъ я выразился выше какъ бы *призывомъ къ покаянію, къ говѣнью*. Кто не могъ идти самъ, принесъ свои гроши, но добро-

вольцевъ всѣ провожали, всѣ, вся Россія. Старый князь, сидя въ Карлсбадѣ, не могъ понять этого движенія и воротился въ самый разгаръ его съ юморомъ на устахъ. Но вѣдь что же могъ понять въ Россіи и въ русскомъ человѣкѣ этотъ клубный старичекъ? Умный Левинъ могъ бы понять гораздо болѣе его, но его сбило съ толку соображеніе что народъ не знаетъ исторіи и географіи, а главное досада на то, что какіе-то Рагозовы объявляютъ войну даже не спросясь его. Но объявленія войны не было, а со стороны народа было какъ-бы всеобщее умиленное покаяніе, жажда принять участіе въ чемъ-то святомъ, въ дѣлѣ Христовомъ, за ревнующихъ о крестѣ его,—вотъ все что было. Такъ что движеніе-то было и покаянное и въ тоже время историческое. Замѣтьте себѣ, что говоря про эту историческую черту русскаго народа, т. е. про ревность его къ „дѣлу Божію“, ко Святымъ мѣстамъ, къ угнетенному христіанству и вообще ко всему *покаянному*, *божественному*, я вѣдь вовсе не думаю хвалить за это русскій народъ: я не хвалю и не хулю, я только констатирую фактъ, *которымъ многое объяснить можно*. Что же дѣлать что у насъ есть такая *историческая* черта? Я не знаю что изъ нея выйдетъ, но очень можетъ быть что нибудь и выйдетъ. Въ жизни народовъ все важнѣйшее слагается всегда сообразно съ ихъ важнѣйшими и характернѣйшими національными особенностями. Пока, напримѣръ, у насъ, изъ вышеуказанной исторической черты народа нашего, выходитъ можетъ быть, *каждый разъ*, въ войну Россіи съ султаномъ—сознательно - національное отношеніе народа нашего ко всякой такой войнѣ, такъ что нечего дивится горячему участію народа къ такой войнѣ собственно потому только, что онъ не знаетъ исторіи и географіи. Что надо знать ему онъ знаетъ. О, нашъ народъ безграмотный невѣжда, это безспорно, и ему даже въ нравственномъ отношеніи можно-бы насказать множество превосходныхъ и просвѣщеннѣйшихъ вещей на счетъ столь застарѣлой въ немъ, древней исторической черты его. Этимъ русскимъ людямъ можно бы было разъяснить что всѣ ихъ странствованія, паломничества — суть только узкое пониманіе ихъ долга и обязанностей; что нечего ходить за хорошимъ такъ далеко, что лучше было-бы еслибъ онъ бросилъ пьянство, обратилъ вниманіе на умноженіе своего благосостоянія, на прикопленіе экономическихъ силъ, не билъ жену, обратилъ вниманіе на школы, на шосейныя дороги и проч. однимъ словомъ хоть чѣмъ-бы нибудь способствовалъ чтобъ Россія, его отечество стала наконецъ походить на другія „просвѣщенныя европейскія государства“. Можно-бы внушить, наконецъ, паломнику, что хожденія его по святымъ мѣстамъ Богу вовсе не надобны, потому главное, что ни ему самому, ни семейству его и никому пользы никакой не приносятъ, а что напротивъ приносятъ даже вредъ, ибо странствующій, уходя надолго, оставляетъ свой домъ, родину, въ сущности для цѣли эгоистической, для спасенія души своей, тогда какъ Богу несравненно было бы пріятнѣе, еслибъ онъ, употребилъ свой праздный досугъ на какую нибудь пользу ближнему: посидѣлъ бы на огородѣ, присмотрѣлъ-бы за телятами и проч. и проч. Однимъ словомъ можно-бы наговорить много прекраснаго; но чтоже однако дѣлать, если такъ именно сложилась эта историческая черта и исканіе добраго приняло въ народѣ на-

шемъ *почти что одну эту форму*, то есть форму *покаянную*, въ паломническомъ или жертвенномъ видѣ? Покрайней мѣрѣ, въ ожиданіи „просвѣщенія“, умный Левинъ могъ бы зачесть народу эту *историческую черту его*. Онъ могъ бы понять, покрайней мѣрѣ, что многіе добровольцы и народъ провожавшій ихъ, дѣйствовали изъ побужденія хорошаго, думали дѣло сдѣлать доброе (въ этомъ нельзя же не согласиться!), а стало быть, во всякомъ случаѣ это были хорошіе представители народа, конечно не „блиставшіе просвѣщеніемъ“, но и не потерянные же люди, не безшабашные, не стрюцкіе, не заболтавшіеся, а напротивъ даже можетъ быть лучшіе люди изъ народа. Дѣло это было ведено прямо, какъ Христово дѣло, а у многихъ, у очень многихъ въ тайникахъ души ихъ—именно какъ очистительное и покаянное дѣло. И не одинъ-то изъ всего этого народа не чувствовалъ себя, за это дѣло, виноватымъ передъ Царемъ своимъ! Напротивъ зналъ, что милосердымъ сердцемъ своимъ Царь-Освободитель за одно съ народомъ своимъ. Воли Царевой, слова его, всѣ ждали въ умиленіи и надеждѣ, а мы, мы, сидя по угламъ нашимъ, радовались еще про себя что великій народъ Русскій оправдалъ великую и вѣчную надежду нашу на него. А потому могло-ли быть, хоть съ какой нибудь стороны, примѣнено къ нему и къ его благородному и кроткому движенію—сравненіе съ шайкой Пугачева, съ коммуной и проч! Именно только раздраженный до сотрясенія ипохондрикъ Левинъ могъ провозгласить это. Вотъ что значитъ обидчивость!

—

IV.

Сотрясеніе Левина. Вопросъ: Имѣетъ ли разстояніе вліяніе на человѣколюбіе? Можно ли согласиться съ мнѣніемъ одного плѣннаго турка о гуманности нѣкоторыхъ нашихъ дамъ? Чему же наконецъ насъ учатъ наши учители?

Но сотрясеніе идетъ еще далѣе: Левинъ прямо и назойливо провозглашаетъ, что состраданія къ мученіямъ славянъ, что *„непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ, и не можетъ быть“*. Сергѣй Ивановичъ говоритъ:

... Тутъ нѣтъ объявленія войны, а просто выраженіе человѣческаго, христіанскаго чувства. Убиваютъ братьевъ, единокровныхъ и единовѣрцевъ. Ну, положимъ даже не братьевъ, ни единовѣрцевъ, а просто дѣтей, женщинъ, стариковъ; чувство возмущается и русскіе люди бѣгутъ, чтобъ помочь прекратить эти ужасы. Представь себѣ, что ты бы шелъ по улицѣ и увидѣлъ бы, что пьяные бьютъ женщину, или ребенка, я думаю, ты не сталъ бы спрашивать объявлена или не объявлена война этому человѣку, а ты бы бросился на него и защитилъ бы обижаемаго.

— Но не убилъ бы сказалъ Левинъ.

— Нѣтъ, ты бы убилъ.

— Я не знаю. Если бы я увидалъ это, я бы отдался своему чувству непосредственному; *но впередъ сказать я не могу*. И такого непосреднаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ, и не можетъ быть.

— Можетъ быть для тебя нѣтъ. Но для другихъ оно есть, недовольно хмурясь, сказалъ Сергѣй Ивановичъ.—Въ народѣ живы преданія о православныхъ людяхъ, страдающихъ подъ игомъ „нечестивыхъ Агарянъ“. Народъ услыхалъ о страданіяхъ своихъ братій и заговорилъ.

— Можетъ быть, уклончиво сказалъ Левинъ—но я не вижу; *я самъ народъ*, и я не чувствую этого.

И опять: „я самъ народъ“. Повторю еще разъ: всего только два часа тому, какъ этотъ Левинъ и вѣру-то свою получилъ отъ мужика, по крайней мѣрѣ тотъ надоумилъ его какъ вѣрить. Я не восхваляю мужика и не унижаю Левина, да и судить не берусь теперь кто изъ нихъ лучше вѣрилъ и чье состояніе души было выше и развитѣе,

ну и проч. и проч. Но вѣдь согласитесь сами, повторяю это, что ужъ изъ одного этого факта Левинъ могъ бы догадаться что есть-же нѣкоторая *существенная* разница между нимъ и народомъ. И вотъ онъ говоритъ: „Я самъ народъ". А почему онъ такъ увѣренъ въ томъ что онъ самъ народъ? А потому что запречь телѣгу умѣетъ и знаетъ что огурцы съ медомъ ѣсть хорошо. Вотъ вѣдь люди! И какое самомнѣніе, какая гордость, какая заносчивость!

Но все же не въ томъ главное. Левинъ увѣряетъ что непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ *нѣтъ и не можетъ быть*. Ему возражаютъ что „народъ услыхалъ о страданіяхъ своихъ братій и заговорилъ, а онъ отвѣчаетъ: Можетъ быть, но я не вижу; я самъ народъ, *и я не чувствую этого*"!

То есть состраданія? Замѣтьте что споръ Левина съ Сергѣемъ Ивановичемъ о состраданіи и о непосредственномъ чувствѣ къ угнетенію славянъ ведется уклончиво и какъ бы съ намѣреніемъ, чтобъ кончить побѣдою Левина. Сергѣй Ивановичъ споритъ, напримѣръ, изо всѣхъ силъ, что еслибъ Левинъ шелъ и увидѣлъ что пьяные бьютъ женщину, то онъ бы бросился освободить ее! „Но не убилъ-бы!" возражаетъ Левинъ.—Нѣтъ, ты бы убилъ, настаиваетъ Сергѣй Ивановичъ, и ужъ конечно говоритъ вздоръ, потому что ктожъ, помогая женщинѣ, которую бьютъ пьяные, убьетъ пьяныхъ? Можно освободить и не убивая. А главное, дѣло вовсе идетъ не о дракѣ на улицѣ, сравненіе невѣрно и не однородно. Говорятъ о славянахъ, объ истязаніяхъ, пыткахъ и убійствахъ, которымъ они подвергаются, и Левинъ слишкомъ знаетъ, что онъ говоритъ о славянахъ. Стало быть когда онъ говоритъ, что онъ не знаетъ помогъ ли-бы онъ, что онъ не видитъ и *ничего не чувствуетъ* и проч. и проч., то именно заявляетъ, что не чувствуетъ состраданія къ мученіямъ славянъ (а не къ мученіямъ прибитой пьяными женщины) и настаиваетъ что непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ, и не можетъ быть, а не къ угнетенію пьяной женщины. Да такъ онъ буквально и выражается.

Здѣсь довольно любопытный психологическій фактъ. Книга вышла всего $2^1/_2$ мѣсяца назадъ, а $2^1/_2$ мѣсяца назадъ уже совершенно извѣстно было, что всѣ безчисленные разсказы о безчисленныхъ мученіяхъ и истязаніяхъ славянъ—совершенная истина,—истина, засвидѣтельствованная теперь тысячью свидѣтелей и очевидцевъ всѣхъ націй. То, что мы узнали въ эти полтора года объ истязаніяхъ славянъ, пересиливаетъ фантазію всякаго, самаго болѣзненнаго и изступленнаго воображенія. Извѣстно во первыхъ, что убійства эти не случайныя, а систематическія, нарочно возбуждаемыя и всячески поощряемыя. Истребленія людей производятся тысячами и десятками тысячъ. Утонченности въ мученіяхъ таковы, что мы не читали и не слыхивали ни о чемъ еще подобномъ прежде. Съ живыхъ людей сдирается кожа въ глазахъ ихъ дѣтей; въ глазахъ матерей подбрасываютъ и ловятъ на штыкъ ихъ младенцевъ, производится насильничаніе женщинъ и въ моментъ насилія онъ прокалываетъ ее кинжаломъ, а главное мучатъ въ пыткахъ младенцевъ и ругаются надъ ними. Левинъ говоритъ что онъ не чувствуетъ *ничего* (!), и азартно утверждаетъ что непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ, и не можетъ быть. Но смѣю увѣрить г. Левина, что оно можетъ быть и что я самъ былъ тому уже неоднократно свидѣтелемъ. Я ви-

дѣлъ напримѣръ одного господина, который о своихъ чувствахъ говорить не любитъ, но который, услышавъ какъ одному двух-лѣтнему мальчику, въ глазахъ его сестры, прокололи иголкой глаза и потомъ посадили на колъ, такъ что ребенокъ все таки не скоро умеръ и еще долго кричалъ,—услышавъ про это этотъ господинъ чуть не сдѣлался боленъ, всю ту ночь не спалъ и два дня послѣ того находился въ тяжеломъ и разбитомъ состояніи духа, мѣшавшемъ его занятіямъ. Смѣю увѣрить при этомъ г. Левина, что господинъ этотъ человѣкъ честный и безспорно-порядочный, далеко не стрюцкій и ужь отнюдь не членъ шайки Пугачева. Я хотѣлъ только заявить, что непосредственное чувство къ истязаніямъ славянъ существовать можетъ, и даже самое сильное, и даже во всѣхъ классахъ общества. Но Левинъ настаиваетъ что его *не можетъ и быть* и что самъ онъ *ничего* не чувствуетъ. Это для меня загадка. Конечно есть просто безчувственные люди, грубые, съ развитіемъ извращеннымъ. Но вѣдь Левинъ кажется не таковъ, онъ выставленъ человѣкомъ вполнѣ чувствительнымъ. Не дѣйствуетъ-ли здѣсь просто разстояніе? Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ-ли въ иныхъ натурахъ этой *психологической* особенности: „Самъ, дескать не вижу, происходитъ далеко, ну вотъ ничего и не чувствую". Кромѣ шутокъ, представьте, что на планетѣ Марсъ есть люди, и что тамъ выкалываютъ глаза младенцамъ. Вѣдь можетъ быть и не было-бы намъ на землѣ жалко, по крайней мѣрѣ такъ ужъ очень жалко? Тоже самое пожалуй можетъ быть и на землѣ при очень большихъ разстояніяхъ: „Э, дескать, въ другомъ полушаріи, не у насъ"! То есть хоть онъ и не выговариваетъ это прямо, но такъ чувствуетъ, т. е. *ничего* не чувствуетъ. Въ такомъ случаѣ, если разстояніе дѣйствительно такъ вліяетъ на гуманность, то рождается самъ собою новый вопросъ: на какомъ разстояніи кончается человѣколюбіе? А Левинъ дѣйствительно представляетъ большую загадку въ человѣколюбіи: Онъ прямо утверждаетъ, что онъ *не знаетъ* убилъ-ли бы онъ?

„Еслибы я увидалъ это, я бы отдался своему чувству непосредственному, но впередъ сказать я не могу.

Значитъ не знаетъ что-бы онъ сдѣлалъ! А между тѣмъ это человѣкъ чувствительный, и вотъ, какъ чувствительный-то человѣкъ онъ и боится убить... турку. Представимъ себѣ такую сцену: стоитъ Левинъ уже на мѣстѣ, тамъ, съ ружьемъ и со штыкомъ, а въ двухъ шагахъ отъ него турокъ сладострастно приготовляется выколоть иголкой глазки ребенку, который уже у него въ рукахъ. Семилѣтняя сестренка мальчика кричитъ и какъ безумная бросается вырвать его у турка. И вотъ Левинъ стоитъ въ раздумьи и колеблется:

— Не знаю, что сдѣлать. Я ничего не чувствую. Я самъ народъ. Непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ, и не можетъ быть.

Нѣтъ серьезно, чтобы онъ сдѣлалъ, послѣ всего того, что намъ высказалъ? Ну, какъ бы не освободить ребенка? Неужели дать замучить его, неужели не вырвать сейчасъ-же изъ рукъ злодѣя турка?

— Да, вырвать, но вѣдь пожалуй придется больно толкнуть турка?

— Ну и толкни!

— Толкни! А какъ онъ не захочетъ отдать ребенка и выхватитъ саблю? Вѣдь придется можетъ быть убить турку?

— Ну и убей!

— Нѣтъ, какъ можно убить! Нѣтъ,

нельзя убить турку. Нѣтъ ужь пусть онъ лучше выколетъ глазки ребенку и замучаетъ его, а я уйду къ Кити.

Вотъ какъ долженъ поступить Левинъ, это прямо выходитъ изъ его убѣжденій и изъ всего того, что онъ говоритъ. Онъ прямо говоритъ, что *не знаетъ* помогъ-ли бы онъ женщинѣ или ребенку, если-бы приходилось убить при этомъ турку. А турокъ ему жаль ужасно.

— Двадцать лѣтъ тому назадъ мы бы молчали (говоритъ Сергѣй Ивановичъ), а теперь слышенъ голосъ русскаго народа, который готовъ встать какъ одинъ человѣкъ, и готовъ жертвовать собой для угнетенныхъ братьевъ; это великій шагъ и задатокъ силы.

— Но вѣдь не жертвовать только, а убивать турокъ, робко сказалъ Левинъ. Народъ жертвуетъ и готовъ жертвовать для своей души а не для убійства...

То есть другими словами: „возьми дѣвочка деньги, жертву для души нашей, а ужь братишкѣ пусть выколютъ глазки. Нельзя-же турку убивать...“

И потомъ дальше уже говоритъ самъ авторъ про Левина:

... „Онъ не могъ согласиться съ тѣмъ, чтобы десятки людей, въ числѣ которыхъ и братъ его, имѣли право, на основаніи того, что имъ разсказали сотни приходившихъ изъ столицы краснобаевъ добровольцевъ говорить, что они съ газетами выражаютъ волю и мысль народа, и такую мысль, *которая выражается въ мщеніи и убійствѣ*.

Это несправедливо: *мщенія* нѣтъ никакого. У насъ и теперь ведется война съ этими кровопійцами и мы слышимъ только о самыхъ гуманныхъ фактахъ со стороны русскихъ. Смѣло можно сказать, что немногія изъ европейскихъ армій поступили бы съ такимъ непріятелемъ такъ, какъ поступаетъ теперь наша. Недавно только, въ двухъ или трехъ изъ нашихъ газетъ, была проведена мысль, что не полезнѣе-ли бы было, и именно для уменьшенія звѣрствъ, ввести репрессаліи съ отъявленно-уличенными въ звѣрствахъ и мучительствахъ турками? Они убиваютъ плѣнныхъ и раненыхъ послѣ неслыханныхъ истязаній, въ родѣ отрѣзыванія носовъ и другихъ членовъ. У нихъ объявились спеціалисты истребленія грудныхъ младенцевъ, мастера, которые схвативъ грудного ребенка за обѣ ножки разрываютъ его сразу по поламъ на потѣху и хохотъ своихъ товарищей баши-бузуковъ. Эта изолгавшаяся и изподлившаяся нація отпирается отъ звѣрствъ, совершенныхъ ею. Министры султана увѣряютъ что не можетъ быть умерщвленія плѣнныхъ, ибо „коранъ запрещаетъ это“. Еще недавно человѣколюбивый Императоръ германскій съ негодованіемъ отвергъ офиціальную и лживую, повсемѣстную жалобу турокъ на русскія будто бы жестокости и объявилъ, что не вѣритъ имъ. Съ этой подлой націей нельзя бы кажется поступать по человѣчески, но мы поступаемъ по человѣчески. Осмѣлюсь выразить даже мое личное мнѣніе, что къ репресаліямъ противъ турокъ, уличенныхъ въ убійствѣ плѣнныхъ и раненыхъ, лучше бы не прибѣгать. Врядъ-ли это уменьшило бы ихъ жестокости. Говорятъ они и теперь, когда ихъ берутъ въ плѣнъ, смотрятъ испуганно и недовѣрчиво, *твердо убѣжденные* что имъ сейчасъ станутъ отрѣзать головы. Пусть уже лучше великодушное и человѣколюбивое веденіе этой войны русскими не омрачится репресаліями. Но выкалывать глаза младенцамъ нельзя допускать, а для того, чтобы пресѣчь навсегда злодѣйство, надо освободить угнетенныхъ накрѣпко, а у тирановъ вырвать оружіе разъ навсегда. Не безпокойтесь, когда ихъ обезоружатъ, они будутъ дѣлать и продавать халаты и мыло, какъ наши казанскіе татары, объ чемъ уже я и говорилъ, но чтобы вырвать изъ рукъ ихъ оружіе, надо вырвать его въ бою. Но бой не мщеніе, Левинъ можетъ быть за турка спокоенъ.

Левинъ могъ бы быть и прошлаго года за турка спокоенъ. Развѣ онъ не знаетъ русскаго человѣка, русскаго солдата? Вонъ пишутъ, что солдатъ хоть и колетъ изверга турку въ бою, но что видѣли какъ съ плѣннымъ туркой онъ уже не разъ дѣлялся своимъ солдатскимъ раціономъ, кормилъ его, жалѣлъ его. И повѣрьте, что солдатикъ зналъ все про турка, зналъ что попался бы онъ самъ къ нему въ плѣнъ, то этотъ же самый плѣнный турокъ отрѣзалъ бы ему голову и вмѣстѣ съ другими головами сложилъ бы изъ нихъ полумѣсяцъ, а въ срединѣ полумѣсяца сложилъ бы срамную звѣзду изъ другихъ частей тѣла. Все это знаетъ солдатикъ и все таки кормитъ измученнаго въ бою и захваченнаго въ плѣнъ турку: „человѣкъ тоже, хоть и не хрестьянинъ“. Корреспондентъ англійской газеты, видя подобные случаи, выразился: „это армія джентльменовъ“. И Левинъ лучше многихъ другихъ могъ-бы знать что это дѣйствительно армія джентльменовъ. Когда болгары въ иныхъ городахъ спрашивали Его Высочество главнокомандующаго, какъ имъ поступать съ имуществомъ бѣжавшихъ турокъ, то онъ отвѣчалъ имъ: „имущество собрать и сохранить до ихъ возвращенія, поля ихъ убрать и хлѣбъ сохранить, взявъ треть въ вознагражденіе за трудъ“. Это тоже слова джентльмена и повторяю, Левинъ могъ бы быть спокоенъ за турокъ: гдѣ тутъ мщеніе, гдѣ репрессаліи? Сверхъ того Левинъ, столь тонко знающій русское общество, могъ бы тоже сообразить, что турокъ спасетъ еще нашъ ложный европеизмъ и наше нелѣпое, выдѣланное и прямолинейное сантиментальничанье, столь нерѣдкое въ нашемъ образованномъ обществѣ. Слыхалъ-ли Левинъ про нашихъ дамъ, которыя, провозимымъ въ вагонахъ плѣннымъ туркамъ бросаютъ цвѣты, выносятъ дорогаго табаку и конфектъ? Писали что одинъ турокъ, когда тронулся опять поѣздъ, громко харкнулъ и энергически плюнулъ въ самую группу гуманныхъ русскихъ дамъ, махавшихъ отходящему поѣзду въ слѣдъ платочками. Конечно трудно согласиться вполнѣ съ мнѣніемъ этого безчувственнаго турка, и Левинъ можетъ разсудить, что тутъ со стороны ласкавшихъ турокъ дамъ нашихъ — лишь истерическое сантиментальничаніе и ложный либеральный европеизмъ: „вотъ дескать, какъ мы гуманны и какъ мы европейски развиты, и какъ мы умѣемъ это выказать!“ Но однако самъ-то Левинъ: развѣ не туже прямолинейность, не тоже сантиментальное европейничанье онъ самъ проповѣдуетъ и высказываетъ? Убиваютъ турокъ въ войнѣ, въ честномъ бою, не *мстя* имъ, а единственно *потому*, что иначе никакъ нельзя вырвать у нихъ изъ рукъ ихъ безчестное оружіе. Такъ было и прошлаго года. А если не вырвать у нихъ оружіе и—чтобъ не убивать ихъ уйти, то они вѣдь тотчасъ же опять станутъ вырѣзывать груди у женщинъ и прокалывать младенцамъ глаза. Какъ же быть? дать лучше прокалывать глаза чтобъ только не убить какъ нибудь турку? Но вѣдь это извращеніе понятій, это тупѣйшее и грубѣйшее сантиментальничаніе, это изступленная прямолинейность, это самое полное извращеніе природы. Ктому же, принужденный убивать турку солдатъ, самъ несетъ жизнь свою въ жертву, да еще терпитъ мученія и истязанія. Для мщенія-ли, для убійства-ли одного только поднялся русскій народъ? И когда бывало это, чтобъ помощь убиваемымъ, истребляемымъ цѣлыми областями, насилуемымъ женщинамъ и дѣтямъ и за которыхъ уже въ цѣломъ свѣтѣ совер-

шенно некому заступиться—считалась бы дѣломъ грубымъ, смѣшнымъ, почти безнравственнымъ, жаждой мщенія и кровопійства! И что за безчувственность рядомъ съ сантиментальностью! Вѣдь у Левина у самаго есть ребенокъ, мальчикъ, вѣдь онъ же любитъ его, вѣдь когда моютъ въ ваннѣ этого ребенка такъ вѣдь это въ домѣ въ родѣ событія; какъ-же не искровенить ему сердце свое слушая и читая объ избіеніяхъ массами, объ дѣтяхъ съ проломленными головами, ползающихъ около изнасилованныхъ своихъ матерей, убитыхъ, съ вырѣзанными грудями. Такъ было въ одной болгарской церкви, гдѣ нашли двѣсти такихъ труповъ, послѣ разграбленія города. Левинъ читаетъ все это, и стоитъ въ задумчивости:

— Кити весела и съ апетитомъ сегодня кушала, мальчика вымыли въ ваннѣ и онъ сталъ меня узнавать: какое мнѣ дѣло, что тамъ въ другомъ полушаріи происходитъ; *непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть*,—потому что я *ничего* не чувствую.

Этимъ-ли закончилъ Левинъ свою эпопею? Его-ли хочетъ выставить намъ авторъ какъ примѣръ правдиваго и честнаго человѣка? Такіе люди, какъ авторъ Анны Карениной—суть учители общества, наши учители, а мы лишь ученики ихъ. Чему-жъ они насъ учатъ?

Ѳ. Достоевскій.

У автора „Дневника Писателя“ можно получать слѣдующія его сочиненія:

Романъ „**БѢСЫ**“, въ трехъ томахъ, цѣна 3 р. 50 коп.
——— „**ИДІОТЪ**“, въ двухъ томахъ, цѣна 3 р. 50 коп.
——— „**ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА**“, 4-е изданіе въ одномъ томѣ, цѣна 2 рубля.
——— „**ПОДРОСТОКЪ**“, три тома, цѣна 3 р. 50 коп.

Вышелъ въ свѣтъ **четвертымъ изданіемъ** и поступилъ въ продажу романъ Ѳ. М. Достоевскаго **„ПРЕСТУПЛЕНІЕ И НАКАЗАНІЕ“**, два тома, цѣна 3 р. 50 коп.

Подписчики „Дневника Писателя“, обращающіеся за означенными сочиненіями къ автору, получаютъ 20% уступки; иногородные же пользуются, кромѣ того, безплатною пересылкою.

Гг. подписчики, при каждомъ заявленіи о перемѣнѣ своихъ адресовъ, благоволятъ прилагать по 30 коп. (почтов. марками).

9-й (сентябрьскій) выпускъ выйдетъ въ свѣтъ 7 октября.

Цѣна настоящему (іюль—августовскому) выпуску „Дневника Писателя“ въ отдѣльной продажѣ 50 коп.

Дозволено цензурою. Спб. 10 сентября 1877. Типогр. кн. В. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ГОДЪ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ. II-Й,

1877.

СЕНТЯБРЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Несчастливцы и неудачники.

Трудно представить себѣ болѣе несчастныхъ людей какъ французскіе республиканцы и ихъ французская республика. Вотъ уже скоро сто лѣтъ тому, какъ въ первый разъ появилось на свѣтъ это учрежденіе, и съ тѣхъ поръ каждый разъ (теперь уже въ третій), когда ловкіе узурпаторы конфисковали реснублику въ свою пользу, никто-то не вставалъ серьезно ее защищать, кромѣ какой-нибудь кучки. Всенародной сильной поддержки ни въ одинъ разъ не было. Да и въ тѣ сроки когда приходилось ей существовать, рѣдко кто ее считалъ за дѣло окончательное, а не переходное. Тѣмъ не менѣе, нѣтъ людей болѣе убѣжденныхъ въ сочувствіи къ нимъ страны какъ французскіе республиканцы.

Впрочемъ, въ первыя двѣ попытки создать во Франціи республику, въ прошломъ столѣтіи и въ 1848 году, все же могли быть, особенно въ началѣ попытокъ, нѣкоторыя основанія у тогдашнихъ республиканцевъ разсчитывать на сочувствіе къ нимъ страны. Но у нынѣшнихъ, у теперешнихъ республиканцевъ,—вотъ тѣхъ самыхъ, которыхъ въ самомъ скоромъ времени предназначено конфисковать, вмѣстѣ съ ихъ республикой, кому-то въ свою пользу, казалось бы не могло быть никакихъ уже надеждъ на твердую будущность, даже и въ случаѣ нѣкотораго сочувствія къ нимъ страны, (очень впрочемъ нетвердаго, такъ какъ и существуютъ-то они теперь лишь отрицательно, по пословицѣ: на безрыбьи и ракъ рыба). А между тѣмъ, наканунѣ почти вѣрнаго своего паденья, они убѣждены въ полной побѣдѣ. И однако, что это за несчастные были люди и что за несчастная была эта послѣдняя третья республика, которую хоть и призналъ покойникъ Тьеръ, но именно какъ рака на

безрыбьи! Вспомнимъ только какъ явилась эта третья республика на свѣтъ. Почти двадцать лѣтъ эти республиканцы ждали „славной“ минуты когда рухнетъ узурпаторъ и когда ихъ опять „позоветъ страна“. И что же случилось: захвативъ власть послѣ Седана, эти неудачники принуждены были взвалить себѣ на плечи страшную войну, которой не хотѣли, но которою наградилъ ихъ тотъ же узурпаторъ уѣзжая курить свои папироски въ прелестный замокъ Вильгельмсгеге. И если злился на нихъ этотъ коварный узурпаторъ, гуляя по аллеямъ садовъ нѣмецкаго замка, за то что они захватили опять его власть, то навѣрно и усмѣхался про себя, минутами, ехидной усмѣшкою, при мысли о томъ какъ отомстилъ онъ имъ, сваливъ на ихъ слабыя плечи свою вину. Потому что, какъ бы тамъ ни было, а всетаки Франція обвиняла потомъ скорѣе ихъ чѣмъ его,—по крайней мѣрѣ болѣе ихъ чѣмъ его,—въ томъ что они продолжали безнадежную войну, не съумѣли замирить тотчасъ же какъ приняли власть, отдали двѣ большія провинціи, три милліарда, разорили страну, сражались неумѣло, распоряжались на авось, безпорядочно и безъ контроля, въ чемъ до сихъ поръ обвиняютъ бывшаго тогдашняго диктатора Гамбетту, ни въ чемъ однако не виноватаго, а напротивъ, сдѣлавшаго все, что только можно было сдѣлать при страшныхъ тогдашнихъ обстоятельствахъ. Однимъ словомъ, это обвиненіе въ неумѣлости республиканцевъ и въ загубленіи ими страны держалось и держится даже теперь очень серьезно и твердо. Пусть всѣ понимаютъ, что первая причина бѣды былъ императоръ Наполеонъ, „но они-то, дескать, зачѣмъ не съумѣли поправить дѣла, если взялись за него? Мало того — испортили его какъ нельзя вообразить хуже“ — вотъ обвиненіе! Мало того: рядомъ съ обвиненіемъ пало на нихъ даже что-то презрительное и смѣшное при мысли, въ какой просакъ попались они въ самомъ началѣ какъ захватили власть, и однако что другое они могли тогда сдѣлать? Не принять этой войны, замирить съ самаго начала по принятіи ими власти послѣ Седана, было совсѣмъ невозможно: нѣмцы и тогда потребовали бы уступки территоріи и денегъ, и что же бы сталось съ республиканцами, еслибъ они замирили на такихъ условіяхъ? Ихъ прямо обвинили бы въ малодушіи, въ безславіи страны, въ томъ что они „имѣя еще армію“ не сопротивлялись, а позорно сдались. Хорошо было бы клеймо на ихъ новой республикѣ! А такъ какъ для нихъ республика и ея возстановленіе во Франціи, были гораздо дороже спасенія страны, составляло все, то они и принуждены были воевать, почти явно предчувствуя что придутъ еще къ большему позору въ концѣ войны. Значитъ и спереди былъ позоръ и сзади стоялъ позоръ—положеніе не только несчастное, не только трагическое, но въ нѣкоторомъ отношеніи даже и комическое, ибо не въ такомъ совсѣмъ видѣ воображали они воцариться послѣ тирана!

Этотъ комизмъ усугубился еще болѣе тѣмъ, что воцарились они всетаки съ самымъ легкимъ сердцемъ, не смотря ни на что, то есть не то чтобъ они не горевали о Франціи—о, между ними есть превосходные люди по чувствамъ и даже истинные слуги отечества, въ томъ случаѣ, если оно будетъ называться республикой. Даже можетъ быть есть и такихъ, одинъ

„Переворотъ во Франціи можетъ начаться даже нынѣшней осенью, и можетъ быть скоро, очень скоро кончится. Если пропадетъ республика, или останется въ какомъ-нибудь номинально-нелѣпомъ видѣ, то можетъ быть зимою же успѣютъ произойти съ Германіей несогласія. Клерикалы объ этомъ ужъ постараются, тѣмъ болѣе что папа навѣрно умретъ къ тому времени и тогда избраніе его тотчасъ же подастъ предлогъ къ недоразумѣніямъ и столкновеніямъ. Но и не умри папа возможность недоразумѣній и столкновеній останется во всей силѣ. И если только Германія твердо рѣшится, то къ веснѣ же и начнется война. На другомъ концѣ Европы зимняя компанія противъ Турціи кажется тоже неизбѣжна, такъ что союзникъ Германіи къ веснѣ все еще будетъ занятъ. И такъ, если загорится война возмездія, то Франція тотчасъ же найдетъ двухъ союзниковъ: Англію и Турцію.

Германія стало быть будетъ одна... съ Италіею, т. е. почти все равно что одна. О, конечно, Германія заносчива и могуча. Но вѣдь и Франція успѣла оправиться: у ней войска милліонъ, и все же Англія хоть какая-нибудь да помощь: надо будетъ охранять отъ ея флота нѣмецкіе приморскіе города, стало быть все же оставить войско, артиллерію, оружіе, припасы. Все же это хоть чѣмъ нибудь, да ослабитъ Германію. „Однимъ словомъ, шансовъ, чтобъ сразиться съ успѣхомъ, у Франціи и безъ меня довольно“, думаетъ Австрія — „по крайней мѣрѣ вдвое больше чѣмъ было въ семидесятомъ году, такъ какъ Франція навѣрно не сдѣлаетъ теперь тогдашнихъ ошибокъ. Затѣмъ, разбита-ли будетъ Франція или нѣтъ, а я всетаки мое получу на Востокѣ: ничто на Востокѣ не разрѣшится въ противность интересамъ Австріи. Это уже рѣшено и подписано. Но... что̀ если я, въ самую-то рѣшительную минуту, благоразумно сохранивъ за собой всю свободу рѣшенія, возьму да и стану за Францію, да и мечь еще выну!“

Въ самомъ дѣлѣ, что тогда выйдетъ?

Австрія очутится разомъ между тремя врагами: Италіей, Германіей и Россіей. Но Россія будетъ страшно занята своей войной и ей будетъ не до нападеній, Италіи можно во всякомъ случаѣ не очень ужъ бояться. Остается одна Германія, но если она и вышлетъ на Австрію силу, то, хоть и ослабитъ тѣмъ себя, но ужъ конечно не очень большую силу, потому что ей понадобятся всѣ силы ея на Францію. Въ самомъ дѣлѣ, рѣшись только Австрія на союзъ съ Франціей, и Франція бросится на Германію можетъ быть ужъ сама первая, еслибъ даже Германія и не захотѣла драться. Франція, Австрія, Англія и Турція противъ Германіи съ Италіей—это страшная коалиція! Успѣхъ очень и очень можетъ быть возможенъ. А при успѣхѣ Австрія можетъ вдругъ воротить все утраченное при Садовой, даже ухъ какъ болѣе того. Затѣмъ на Востокѣ выгодъ своихъ и всего уже ей обѣщаннаго, она тоже никакъ не потеряетъ. А главное, несомнѣнно выиграетъ въ своемъ вліяніи въ католической Германіи. Будь побѣждена Германія, даже и не побѣждена, а только воротись она не совсѣмъ удачно съ войны — и единство Германіи сильно и вдругъ покачнется. Въ южной католической Германіи явится сепаратизмъ, о которомъ сверхъ того постараются изо всѣхъ силъ кле-

рикалы и которымъ Австрія уже конечно воспользуется... даже до того, что можетъ быть явятся тогда двѣ Германіи, двѣ объединенныя Германскія Имперіи, католическая и протестансткая. А за симъ, усилившись тогда нѣмецкимъ элементомъ, Австрія могла бы посягнуть и на свой „дуализмъ“, поставить Венгрію въ прежнія, древнія и почтительныя къ себѣ отношенія, а затѣмъ, разумѣется, распорядиться ужъ и съ своими славянами, и этакъ какъ нибудь уже на вѣки. Однимъ словомъ, выгоды могли бы быть неисчислимы! Даже и въ томъ, наконецъ, случаѣ, если Германія останется побѣдительницей, можетъ быть не будетъ еще такой бѣды, такъ какъ не можетъ же она побѣдить такую сильную коалицію, такъ *окончательно*, какъ въ 1871 году, а напротивъ, навѣрно сама натретъ себѣ бока. Стало быть миръ можетъ быть заключенъ безъ особенно страшныхъ послѣдствій. „И такъ, за кого-же стать? Гдѣ лучше, съ кѣмъ выгоднѣе?“

Въ виду настоящаго хода дѣлъ въ Европѣ такіе радикальные вопросы про себя—въ Австріи несомнѣнны...

V.

Кто стучится въ дверь? Кто войдетъ? Неизбѣжная судьба.

Когда я начиналъ эту главу, еще не было тѣхъ фактовъ и сообщеній, которые теперь вдругъ наполнили всю европейскую прессу, такъ что все, что я написалъ въ этой главѣ еще гадательно, подтвердилось теперь почти точнѣйшимъ образомъ. „Дневникъ“ мой явится въ свѣтъ еще въ будущемъ мѣсяцѣ, 7-го октября, а теперь всего 29 сентября, и мои, такъ сказать „прорицанія“, на которыя я рѣшился въ этой главѣ, какъ бы рискуя, окажутся отчасти уже устарѣлыми и совершившимися фактами, съ которыхъ я скопировалъ мои „прорицанія“. Но осмѣлюсь напомнить читателямъ „Дневника“ мой лѣтній май-іюньскій выпускъ. Почти все, что я написалъ въ немъ о ближайшемъ будущемъ Европы, теперь уже подтвердилось или *начинаетъ подтверждаться*. И однако я слышалъ тогда еще мнѣнія о той статьѣ: ее назвали (правда частные люди)„изступленнымъ бѣснованіемъ“ фантастическимъ преувеличеніемъ. Надъ силою и значеніемъ клерикальнаго заговора просто смѣялись, да и заговора совсѣмъ не признавали. Я впрочемъ еще недѣли двѣ всего тому назадъ слышалъ мнѣніе отъ „компетентнаго“ лица, что фактъ смерти и избранія новаго папы совершенно ничтоженъ и пройдетъ въ Европѣ безслѣдно. Но даже теперь уже извѣстно какую важность придаетъ ему Бисмаркъ и объ чемъ было говорено въ Берлинѣ съ Криспи. Я написалъ въ май-іюньскомъ „Дневникѣ“ моемъ что геній князя Бисмарка постигъ еще съ самой франко-прусской войны, что самый страшный врагъ новообъединенной Германіи есть римскій католицизмъ, который прежде всего послужитъ предлогомъ къ великой войнѣ „возмездія“, которая и охватитъ всю Европу. Это нашли нелѣпымъ, и проч. и проч. И это все потому, что я написалъ объ этомъ тогда, когда еще никто, ни у насъ, ни въ европейской прессѣ и не думалъ объ этихъ вещахъ заботиться, не смотря на восточную войну, уже гремѣвшую въ мірѣ и заботившую всѣхъ. Всѣмъ тогда представлялось, что такъ однимъ Востокомъ и кончится. Впрочемъ и теперь можетъ быть еще никто не вѣритъ почти въ

неминуемость европейской войны въ ближайшемъ будущемъ. Напротивъ, недавно еще серьезно обращали вниманіе на мнѣніе компетентныхъ англичанъ (рѣчь Нордскота) что можно еще до зимы замирить. Такъ что, пожалуй, я напрасно считаю мою настоящую главу заранѣе устарѣлою: хотя факты уже обозначились, хотя огромное ихъ значеніе уже выходитъ наружу, хотя надъ всей Европой уже несомнѣнно носится что-то роковое, страшное и, главное, близкое, но не смотря на эти обозначившіеся факты, я увѣренъ, очень многіе найдутъ и теперь мои объясненія этихъ фактовъ опять-таки ложными и смѣшными, фантастическими и преувеличенными, потому что всѣ принимаютъ происходящее теперь за несравненно меньшее и мельчайшее, чѣмъ оно есть въ самомъ дѣлѣ. Тутъ, какъ разъ, напримѣръ, подойдутъ во Франціи выборы и Франція вдругъ пришлетъ въ палату прежнее республиканское большинство, что очень можетъ случиться, и вотъ, я почти въ томъ увѣренъ, всѣ закричатъ что все кончилось благополучно, что небо расчистилось, столкновеній никакихъ, что Макъ-Магонъ повинился, *безсильные* клерикалы позорно стушевались и въ Европѣ опять миръ и „законность“. Всѣ *измышленія* мои въ этой главѣ покажутся опять лишь продуктомъ досужаго воображенія. Опять скажутъ, что я фактамъ, положимъ и совершившимся, придалъ значеніе не точное, а главное такое, какого *никто имъ не придаютъ*. Но подождемъ опять событій и увидимъ тогда гдѣ была болѣе точная и вѣрная дорога. А для памяти, попробую, въ заключеніе, еще разъ обозначить точки и вѣхи этой, уже открывающейся передъ всѣми дороги, и на которую, волей неволей, а кажется предназначено всѣмъ вступить. Дѣлаю это для памяти, чтобъ потомъ можно было провѣрить. Впрочемъ это только простая и заключительная перечень этой же главы.

1) Дорога начинается и идетъ изъ Рима, изъ Ватикана, гдѣ умирающій старикъ, глава толпы окружающихъ его іезуитовъ намѣтилъ ее уже давно. Когда же загорѣлся Восточный вопросъ, іезуиты поняли, что наступило самое удобное время. По намѣченной дорогѣ своей они ворвались во Францію, произвели въ ней государственный переворотъ, и поставили ее въ такое положеніе что близкая война ея съ Германіей почти неминуема, даже еслибъ она и не желала начать ее. Все это задолго раньше того понималъ и провидѣлъ князь Бисмаркъ. По крайней мѣрѣ кажется только онъ одинъ, и еще можетъ быть за нѣсколько лѣтъ до настоящей минуты, разглядѣлъ и постигъ своего важнѣйшаго врага и всю ту огромную для всего міра важность той послѣдней битвы за существованіе свое, которую несомнѣнно задастъ всему свѣту *умирающее навѣки папское католичество* въ самомъ ближайшемъ будущемъ.

2) Эта роковая борьба въ настоящую минуту уже завершается, а послѣдняя битва близится съ страшною быстротою. Франція была выбрана и предназначена для страшнаго боя и бой будетъ. Бой неминуемъ, это вѣрно. Впрочемъ есть еще малый шансъ что будетъ отложенъ, но лишь на самое короткое время. Но во всякомъ случаѣ *неминуемъ и близокъ*.

3) Только что бой начнется, какъ тотчасъ-же и обратится въ всеевропейскій. Восточный вопросъ и Восточный бой, силою судебъ, сольется тоже съ всеевропейскимъ боемъ. Однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ эпизодовъ этого

боя будетъ окончательное рѣшеніе Австріи: которой сторонѣ отдать ей свой мечь? Но самая существенная и важная часть этой послѣдней и роковой борьбы будетъ состоять, съ одной стороны, въ томъ, что ею разрѣшится тысячелѣтній вопросъ римскаго католичества, и что волею Провидѣнія, на его мѣсто станетъ возрожденное Восточное христіанство. Такимъ образомъ нашъ русскій Восточный вопросъ раздвинется въ міровой и вселенскій, съ чрезвычайнымъ предназначеннымъ значеніемъ, хотя бы и совершилось это предназначеніе и передъ слѣпыми глазами, непризнающими его, до послѣдней минуты способными не видѣть яснаго и не разумѣть смысла предназначеннаго. Наконецъ —

4) (И пусть это назовутъ самымъ гадательнымъ и фантастическимъ изъ всѣхъ предреканій моихъ, согласенъ заранѣ): Я увѣренъ, что бой окончится въ пользу Востока, въ пользу Восточнаго союза, что Россій бояться нечего если Восточная война сольется съ всеевропейскою, и что даже и лучше будетъ если такъ разширится дѣло. О, безспорно, страшное будетъ дѣло если прольется столько драгоцѣнной человѣческой крови! Но утѣшеніе въ томъ по крайней мѣрѣ соображеніи, что эта проліянная кровь несомнѣнно спасетъ Европу отъ вдесятеро большаго изліянія крови еслибъ дѣло отдалилось и еще разъ затянулось. Тѣмъ болѣе, что великая борьба эта несомнѣнно окончится быстро. Но за то разрѣшится окончательно столько вопросовъ (Римско-католическій вмѣстѣ съ судьбою Франціи, Германскій, Восточный, Магометанскій), столько уладится дѣлъ совершенно неразрѣшимыхъ въ прежнемъ ходѣ событій, до того измѣнится ликъ Европы, столько начнется новаго и прогрессивнаго въ отношеніяхъ людей, что можетъ быть нечего страдать духомъ и слишкомъ пугаться этого послѣдняго судорожнаго движенія старой Европы наканунѣ несомнѣннаго и великаго обновленія ея...

Наконецъ прибавлю еще соображеніе: если взять за правило что обо всѣхъ міровыхъ событіяхъ, даже самой огромной важности на самый поверхностный взглядъ, надо непремѣнно судить по принципу: „нынѣче какъ вчера, а завтра какъ сегодня“, то не явно-ли будетъ что правило это рѣшительно ляжетъ въ разрѣзъ съ исторіей націй и человѣчества. Между тѣмъ это именно предписывается такъ называемымъ реальнымъ и трезвымъ здравомысліемъ, такъ что осмѣивается и освистывается чуть не всякій, который осмѣлился бы помыслить, что завтра дѣло явится для всѣхъ глазъ можетъ быть совсѣмъ въ иной формѣ чѣмъ въ какой тянулось все наканунѣ. Даже теперь, напримѣръ, когда уже пришли факты, не кажется ли даже очень многимъ, что клерикальное движеніе есть самая мелкая мелочь, что Гамбета скажетъ рѣчь и все возстановится по вчерашнему, что война наша съ Турціей очень и очень можетъ быть кончится къ зимѣ и тогда опять по прежнему начнется биржевая игра, желѣзнодорожное дѣло, возвысится рубль, покатимъ за границу и проч. и прочее. Немыслимость продолженія стараго порядка дѣлъ—была явною въ Европѣ истиною, для передовыхъ умовъ ея, наканунѣ первой европейской революціи, начавшейся въ концѣ прошлаго столѣтія съ Франціи. Между тѣмъ, кто въ цѣломъ мірѣ, даже наканунѣ созванія Генеральныхъ Штатовъ, могъ-бы предвидѣть и предсказать тогда ту форму, въ которую воплотится это дѣло почти на другой же

день какъ началось оно... А уже когда воплотилось оно, кто могъ напримѣръ, предсказать Наполеона I, въ сущности бывшаго какъ бы предназначеннымъ завершителемъ перваго историческаго фазиса того-же самаго дѣла, которое началось въ 1789 году? Мало того, во время Наполеона I-го можетъ быть всякому въ Европѣ казалось что появленіе его есть рѣшительная и совершенно внѣшняя случайность, ни мало не связанная съ тѣмъ самымъ міровымъ закономъ, по которому предназначено было измѣниться, съ конца прошлаго столѣтія всему прежнему лику міра сего...

Да, и теперь кто-то стучится, кто-то, новый человѣкъ, съ новымъ словомъ—хочетъ отворить дверь и войти... Но кто войдетъ—вотъ вопросъ: Совсѣмъ новый человѣкъ, или опять похожій на всѣхъ насъ старыхъ человѣчковъ?

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Ложь ложью спасается.

Однажды Донъ-Кихотъ, столь извѣстный рыцарь печальнаго образа, самый великодушный изъ всѣхъ рыцарей бывшихъ въ мірѣ, самый простой душою и одинъ изъ самыхъ великихъ сердцемъ людей, скитаясь съ своимъ вѣрнымъ оруженосцемъ Санхой въ погонѣ за приключеніями, вдругъ былъ объятъ нѣкоторымъ недоумѣніемъ, которое заставило его долго думать. Дѣло въ томъ, что часто великіе древніе рыцари, начиная съ Амадиса Гальскаго, исторіи которыхъ уцѣлѣли въ правдивѣйшихъ книгахъ, именуемыхъ рыцарскими романами, — (для пріобрѣтенія коихъ Донъ-Кихотъ не пожалѣлъ продать нѣсколько лучшихъ акровъ своего маленькаго помѣстья), — часто эти рыцари, во время полезныхъ всему міру и славныхъ странствованій своихъ, встрѣчали вдругъ и неожиданно цѣлыя арміи, во сто даже тысячъ воиновъ, насылаемыхъ на нихъ злою силою, злыми волшебниками, имъ завидовавшими, и мѣшавшими имъ всячески достигнуть великой цѣли ихъ и соединиться наконецъ съ ихъ прекрасными дамами. Обыкновенно происходило такъ, что рыцарь встрѣчая такую чудовищную и злую армію, обнажалъ свой мечь, призывалъ въ духовную помощь себѣ имя своей дамы и затѣмъ врубался одинъ въ самую средину враговъ, которыхъ и уничтожалъ всѣхъ, до единаго человѣка. Кажется-бы дѣло ясное, но Донъ-Кихотъ вдругъ задумался, и надъ чѣмъ же: ему показалось вдругъ невозможнымъ, чтобы одинъ рыцарь, какой-бы онъ силы ни былъ и даже если-бы махалъ своимъ побѣдоноснымъ мечемъ цѣлыя сутки безъ всякой усталости, могъ заразъ уложить сто тысячъ враговъ, и это въ одномъ сраженіи. Чтобы убить каждаго человѣка нужно все-таки время, чтобы убить сто тысячъ людей нужно огромное время, и какъ ни махай мечемъ, а въ нѣсколько какихъ нибудь часовъ, и заразъ, одному этого не сдѣлать. Между тѣмъ въ этихъ правдивыхъ книгахъ повѣствуется, что дѣло кончалось именно въ

одно сраженіе. Какъ-же это могло происходить?

— Я разрѣшилъ это недоумѣніе, другъ мой Санхо, сказалъ, наконецъ, Донъ-Кихотъ. Такъ какъ всѣ эти великаны, всѣ эти злые волшебники, были нечистая сила, то и арміи ихъ носили такой-же волшебный и нечистый характеръ. Я полагаю, что эти арміи состояли не совсѣмъ изъ такихъ же людей, какъ мы, напримѣръ. Люди эти были лишь навожденіе, созданіе волшебства и по всей вѣроятности тѣла ихъ не походили на наши, а были болѣе похожи на тѣла, какъ напримѣръ, у слизняковъ, червей, пауковъ. Такимъ образомъ, крѣпкій и острый мечь рыцаря, въ могучей его рукѣ, упадая на эти тѣла проходилъ по нимъ мгновенно, почти безъ всякаго сопротивленія, какъ по воздуху. А если такъ, то дѣйствительно онъ могъ однимъ взмахомъ пройти по тремъ или по четыремъ тѣламъ, и даже по десяти если тѣ стояли въ тѣсной кучѣ. Понятно послѣ того, что дѣло чрезвычайно ускорялось и рыцарь дѣйствительно могъ истреблять, въ нѣсколько часовъ, цѣлыя арміи этихъ злыхъ ароповъ и другихъ чудищь...

Здѣсь подмѣчена великимъ поэтомъ и сердцевѣдцемъ одна изъ глубочайшихъ и таинственнѣйшихъ сторонъ человѣческаго духа. О, это книга великая, не такая, какія теперь пишутъ; такія книги посылаются человѣчеству по одной въ нѣсколько сотъ лѣтъ. И такихъ подмѣченныхъ глубочайшихъ сторонъ человѣческой природы найдете въ этой книгѣ на каждой страницѣ. Взять уже то, что этотъ Санхо, олицетвореніе здраваго смысла, благоразумія, хитрости, золотой средины, попалъ въ друзья и спутники къ самому сумашедшему человѣку въ мірѣ; именно онъ, а никто другой! Все время онъ обманываетъ его, надуваетъ какъ ребенка и въ то же время вполнѣ вѣритъ въ его великій умъ, до нѣжности очарованъ великостью сердца его, вполнѣ вѣритъ во всѣ фантастическіе сны великаго рыцаря и ни разу, во все время, не сомнѣвается, что тотъ завоюетъ ему, наконецъ, островъ! Какъ-бы желалось, чтобъ съ этими великими произведеніями всемірной литературы основательно знакомилось наше юношество. Чему учатъ теперь въ классахъ литературы не знаю, но знакомство съ этой величайшей и самой грустной книгой изъ всѣхъ, созданныхъ геніемъ человѣка, несомнѣнно возвысило-бы душу юноши великою мыслію, заронило бы въ сердце его великіе вопросы, и способствовало-бы отвлечь его умъ отъ поклоненія вѣчному и глупому идолу средины, вседовольному самомнѣнію и пошлому благоразумію. Эту самую *грустную* изъ книгъ не забудетъ взять съ собою человѣкъ на послѣдній судъ Божій. Онъ укажетъ на сообщенную въ ней глубочайшую и роковую тайну человѣка и человѣчества. Укажетъ на то, что величайшая красота человѣка, величайшая чистота его, цѣломудріе, простодушіе, незлобивость, мужество и наконецъ величайшій умъ,— все это не рѣдко (увы, такъ часто даже) обращается ни во что, проходитъ безъ пользы для человѣчества и даже обращается въ посмѣяніе человѣчествомъ единственно потому, что всѣмъ этимъ благороднѣйшимъ и богатѣйшимъ дарамъ, которыми даже часто бываетъ награжденъ человѣкъ, не доставало одного только послѣдняго дара — именно: *генія*, чтобъ управить всѣмъ богатствомъ этихъ даровъ, и всѣмъ могуществомъ

ихъ,—управить и направить все это могущество на правдивый, а не фантастическій и сумасшедшій путь дѣятельности, во благо человѣчества! Но генія, увы, отпускается на племена и народы такъ мало, такъ рѣдко, что зрѣлище той злой ироніи судьбы, которая столь часто обрѣкаетъ дѣятельность иныхъ благороднѣйшихъ людей и пламенныхъ друзей человѣчества,—на свистъ и смѣхъ и на побіеніе камнями, единственно за то, что тѣ, въ роковую минуту, не съумѣли прозрѣть въ истинный смыслъ вещей и отыскать ихъ *новое слово*, это зрѣлище напрасной гибели столь великихъ и благороднѣйшихъ силъ — можетъ довести дѣйствительно до отчаянія иного друга человѣчества, возбудить въ немъ уже не смѣхъ, а горькія слезы и навсегда озлобить сомнѣніемъ дотолѣ чистое и вѣрующее сердце его...

Впрочемъ я хотѣлъ только указать на ту любопытнѣйшую черту, которую, вмѣстѣ съ сотней другихъ такихъ же глубокихъ наблюденій, подмѣтилъ и указалъ Сервантесъ въ сердцѣ человѣческомъ. Самый фантастическій изъ людей, до помѣшательства увѣровавшій въ самую фантастическую мечту, какую лишь можно вообразить, вдругъ впадаетъ въ сомнѣніе и недоумѣніе, почти поколебавшее всю его вѣру. И любопытно что могло поколебать: не нелѣпость его основнаго помѣшательства, не нелѣпость существованія скитающихся для блага человѣчества рыцарей, не нелѣпость тѣхъ волшебныхъ чудесъ, которыя объ нихъ разсказаны въ „правдивѣйшихъ книгахъ“, нѣтъ, а самое, напротивъ, постороннее и второстепенное, совершенно частное обстоятельство. Фантастическій человѣкъ вдругъ *затосковалъ о реализмѣ!* Не актъ появленія волшебныхъ армій смущаетъ его: О, это не подвержено сомнѣнію, и какъ же бы могли эти великіе и прекрасные рыцари проявить всю свою доблесть, еслибъ не посылались на нихъ всѣ эти испытанія, еслибъ не было завистливыхъ великановъ и злыхъ волшебниковъ? Идеалъ странствующаго рыцаря столь великъ, столь прекрасенъ и полезенъ и такъ очаровалъ сердце благороднаго Донъ-Кихота, что отказаться вѣрить въ него совсѣмъ уже стало для него невозможностью, стало равносильно измѣнѣ идеалу, долгу, любви къ Дульцинеѣ и къ человѣчеству. (Когда онъ отказался, когда онъ излѣчился отъ своего помѣшательства и *поумнѣлъ* возвратясь послѣ втораго своего похода, въ которомъ онъ былъ побѣжденъ умнымъ и здравомыслящимъ цирюльникомъ Караско, отрицателомъ и сатирикомъ, онъ тотчасъ же умеръ, тихо, съ грустною улыбкою, утѣшая плачущаго Санхо, любя весь міръ всею великою силой любви, заключенной въ святомъ сердцѣ его и понимая, однако, что ему уже нечего болѣе въ этомъ мірѣ дѣлать). Нѣтъ, но смутило его лишь то, самое вѣрное однако и математическое соображеніе, что какъ бы ни махалъ рыцарь мечемъ, и сколь бы ни былъ онъ силенъ, все же нельзя побѣдить армію во сто тысячь въ нѣсколько часовъ, даже въ день, избивъ всѣхъ до послѣдняго человѣка. Между тѣмъ въ правдивыхъ книгахъ это написано. Стало быть написана ложь. А если ужъ разъ ложь, то и все ложь. Какже спасти *истину*? И вотъ онъ придумываетъ для спасенія истины другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнѣе первой, грубѣе и нелѣпѣе, придумываетъ сотни тысячь навожденныхъ людей съ тѣлами слизняковъ, но за то по которымъ острый мечъ рыцаря можетъ вдесятеро удоб-

нѣе и скорѣе ходить чѣмъ по обыкновеннымъ человѣческимъ. *Реализмъ* стало быть удовлетворенъ, *правда спасена*, и вѣрить въ первую, въ главную мечту, можно уже безъ сомнѣній—и все, опять таки, единственно благодаря второй уже гораздо нелѣпѣйшей мечтѣ, придуманной лишь для спасенія *реализма* первой.

Спросите самихъ себя: не случалось ли съ вами сто разъ можетъ быть такого-же обстоятельства въ жизни? Вотъ вы возлюбили какую нибудь свою мечту, идею, свой выводъ, убѣжденіе или внѣшній какой нибудь фактъ поразившій васъ, женщину наконецъ околдовавшую васъ. Вы устремляетесь за предметомъ любви вашей всѣми силами вашей души. Правда, какъ ни ослѣплены вы, какъ ни подкуплены сердцемъ, но если есть въ этомъ предметѣ любви вашей ложь, *навожденіе*, что нибудь такое что вы сами преувеличили и исказили въ немъ вашей страстностью, вашимъ первоначальнымъ порывомъ—единственно чтобъ сдѣлать изъ него вашего идола и поклониться ему—то ужъ разумѣется вы втайнѣ это чувствуете про себя, сомнѣніе тяготитъ васъ, дразнитъ умъ, ходитъ по душѣ вашей и мѣшаетъ жить вамъ покойно съ излюбленной вашей мечтой. И чтожъ, не помните-ли вы, не сознаетесь ли сами, хоть про себя: чѣмъ вы тогда вдругъ утѣшились? Не придумали-ли вы новой мечты, новой лжи, даже страшно можетъ быть грубой, но которой вы съ любовью поспѣшили повѣрить, потому только что она разрѣшала первое сомнѣніе ваше?

—

II.

Слизняки принимаемые за людей. Что намъ выгоднѣе: когда знаютъ о насъ правду или когда говорятъ о насъ вздоръ?

Въ наше время чуть не вся Европа влюбилась въ турокъ, болѣе или менѣе. Прежде, напримѣръ, ну хоть годъ назадъ, хоть и старались въ Европѣ отыскать въ туркахъ какія-то національныя великія силы, но въ тоже время почти всѣ про себя понимали что дѣлаютъ они это единственно изъ ненависти къ Россіи. Не могли же они въ самомъ дѣлѣ не понимать что въ Турціи нѣтъ и не можетъ быть силъ правильнаго и здороваго національнаго организма, мало того,—что и организма то можетъ быть уже не осталось никакого,—до того онъ разшатанъ, зараженъ и сгнилъ; что турки азіятская орда а не правильное государство. Но теперь, съ тѣхъ поръ какъ Турція въ войнѣ съ Россіею, мало по малу укрѣпилось и установилось, въ иныхъ мѣстахъ въ Европѣ, даже уже дѣйствительное и серьезное убѣжденіе, что нація эта не только организмъ, но и имѣющій большую силу, которая въ свою очередь обладаетъ свойствомъ развитія и дальнѣйшаго прогресса. Эта мечта плѣняетъ многіе европейскіе умы все болѣе и болѣе, а наконецъ даже и къ намъ перешла: и у насъ въ Россіи заговорили иные о какихъ-то неожиданныхъ національныхъ силахъ, которыя вдругъ проявила Турція. Но въ Европѣ укрѣпилась эта мечта опять таки изъ ненависти къ Россіи, у насъ же—изъ малодушія и страшной поспѣшности пессимистскихъ заключеній, которыя всегда были свойствомъ интелигентныхъ класовъ нашего общества, чуть

только лишь начинались гдѣ-нибудь и въ чемъ нибудь наши „неудачи“! Въ Европѣ случилось тоже самое, что произошло въ поврежденномъ умѣ Донъ-Кихота, но лишь въ формѣ обратной, хотя сущность факта совершенно таже: тотъ, чтобъ спасти *истину*, выдумалъ людей съ тѣлами слизняковъ, эти же чтобъ спасти свою основную мечту, столь ихъ утѣшающую, о ничтожности и безсиліи Россіи, — сдѣлали изъ настоящаго уже слизняка организмъ человѣческій, одаривъ его плотью и кровью, духовною силою и здоровьемъ. Объ Россіи же самыя образованныя европейскія государства со страстью распространяютъ теперь совершенныя нелѣпости. Въ Европѣ и прежде насъ мало знали, даже до того, что всегда надо было удивляться что столь просвѣщенные народы такъ мало интересуются изучить тотъ народъ, который они же такъ ненавидятъ и котораго постоянно боятся. Эта скудость европейскихъ о насъ познаній и даже нѣкоторая невозможность Европы понять насъ во многихъ пунктахъ, все это въ нѣкоторомъ отношеніи было для насъ до сихъ поръ отчасти и выгодно. А потому вреда не будетъ и теперь. Пусть они кричатъ у себя о „позорной слабости Россіи, какъ военной державы“ вопреки свидѣтельству десятковъ ихъ же корреспондентовъ съ самого поля войны, удивлявшихся боевой способности, рыцарской стойкости и высочайшей дисциплинѣ русскаго солдата и офицера; пусть самыя возможныя, хотя бы и значительныя ошибки русскаго штаба вначалѣ войны, они считаютъ не только непоправимыми, но и органическими всегдашними недостатками нашего войска и націи (забывъ какъ часто мы ихъ бивали въ битвахъ за всѣ послѣднія два столѣтія). Пусть, наконецъ *самыя серьезнѣйшія* изъ ихъ политическихъ изданій сообщаютъ Европѣ за точную истину, объ огромномъ бунтѣ народа, предводимаго нигилистами, на Выборгской сторонѣ въ Петербургѣ, и о вытребованныхъ русскимъ начальствомъ двухъ полкахъ по желѣзной дорогѣ изъ Динабурга, для спасенья Петербурга, — пусть это все говорятъ они въ слѣпой своей злобѣ. Повторяю, намъ это даже выгодно, такъ какъ сами они не вѣдаютъ что творятъ. Вѣдь ужъ конечно имъ бы хотѣлось возбудить у себя повсемѣстно къ намъ ненависть, „какъ къ опаснымъ противникамъ ихъ цивилизаціи“, — и вотъ они же представляютъ насъ въ упадшемъ видѣ, въ смѣшномъ до позора слабосиліи какъ военной державы и какъ государственнаго организма. Но вѣдь кто такъ слабъ и ничтоженъ, тотъ можетъ-ли возбуждать опасенія и противъ себя коалиціи? А имъ именно нужно настроить противъ насъ свое общество. Стало быть во вредъ же себѣ говорятъ, а коли такъ то приносятъ намъ не вредъ а пользу. Мы же подождемъ конца.

Но вообразить только, что къ нимъ дошло бы самое полное, точное, и истинное свѣденіе о всей силѣ духа, чувства и непоколебимой вѣры народа русскаго въ справедливость великаго дѣла, за которое обнажилъ мечь Государь его и въ несомнѣнное торжество этого дѣла, рано или поздно? Вообразить, что въ Европѣ поняли наконецъ, что война эта для Россіи есть національная война въ высшей степени и что народъ нашъ вовсе не мертвая и бездушная масса, какъ они всегда представляютъ его себѣ, а могущественный и сознающій свое могущество организмъ, сплоченный весь какъ одинъ человѣкъ, и не

раздѣльный сердцемъ и волею съ своею арміею,—о какой бы страхъ и какое повсемѣстное волненіе возбудило бы у нихъ это свѣденіе! И ужъ конечно это скорѣе способствовало бы къ дѣйствительной и явной уже коалиціи противъ насъ Европы, чѣмъ столь любезныя имъ клеветы на наше слабосиліе и паденіе. Нѣтъ ужъ пусть они лучше вѣрятъ бунту на Выборгской. Насъ же только ободритъ, что они тому вѣрятъ.

Но въ Европѣ все это понятно, и понятно отъ чего это происходитъ. Но какъ у насъ-то могутъ колебаться, волноваться и даже вѣрить въ какія-то новыя, вдругъ открывшіяся, жизненныя силы турецкой націи? Чѣмъ проявила она эту силу? Фанатизмомъ? Но фанатизмъ мертвечина а не сила, у насъ сто разъ проповѣдовали это самые же эти люди, которые вѣрятъ теперь въ турецкія силы. Говорятъ про турецкія побѣды. Но турки отразили, разъ и другой, лишь наши атаки, а это побѣды такъ сказать отрицательныя а не положительныя. Мы, сидя въ Севастополѣ, отразили разъ приступъ французовъ и англичанъ съ страшною для нихъ потерею людей, но Европа однакоже не кричала тогда объ нашей побѣдѣ. Мы цѣлые два послѣдніе мѣсяца были гораздо слабѣе силами чѣмъ турки и чтожъ они не воспользовались этимъ, чтожъ не вытѣснили насъ за Балканы, не прогнали за Дунай? Напротивъ, мы вездѣ удержали наши главныя позиціи и вездѣ отразили турокъ. Бывало что семь или восемь нашихъ батальоновъ разбиваютъ ихнихъ двадцать, какъ недавно случилось подъ Церковной. Убѣжденные въ силѣ турокъ, указываютъ однако на ихъ ружья, которыя лучше нашихъ и даже на ихъ артилерію, которая будто бы лучше нашей. Но они не хотятъ припомнить что мы въ сущности воюемъ не съ одними турками, а и съ европейскими державами, что множество англичанъ служатъ офицерами въ турецкомъ войскѣ, что вооружены турки на европейскія деньги, что европейская дипломатія во многомъ стала поперегъ нашей дороги съ самаго начала войны, лишивъ насъ помощи естественныхъ союзниковъ нашихъ, лишивъ насъ даже настоящихъ дорогъ нашихъ въ Турцію. Кромѣ того Европа, ненавистью къ намъ, несомнѣнно ободрила и фанатизмъ турокъ. Въ Европѣ открылся наконецъ заговоръ цѣлыхъ шаекъ, уже организованныхъ, съ оружіемъ, съ деньгами, чтобъ броситься внезапно въ тылъ нашей арміи. Въ довершеніе тамъ состряпали недавно и заемъ для турокъ, въ огромный ущербъ своему карману, и невозможный заемъ этотъ состоялся единственно потому что въ Европѣ такъ полюбили мечту о томъ что Турція не государство слизняковъ, а дѣйствительно съ такою же плотью и кровью какъ и европейскіе государственные организмы. И это когдаже, когда кровь цѣлыхъ провинцій Турціи лилась рѣкою, когда открытъ даже правильный заговоръ между самими правителями Турціи съ цѣлью истребить Болгаръ всѣхъ до единаго? Турки воюютъ съ нами, кормя и поддерживая свое войско такими реквизиціями припасовъ, лошадей и скота съ Болгаръ, которыя не могутъ не разорить до тла эту богатѣйшую провинцію Турціи. И этимъ-то разорителямъ и умертвителямъ собственной страны, просвѣщенные англичане дали взаймы денегъ, повѣрили ихъ экономической состоятельности! Но пусть, пусть все это

тамъ, тамъ все-таки это понятно. Но у насъ-то какъ же признаютъ турокъ силой? Разореніе до тла собственной земли и истребленіе въ корень всего христіанскаго населенія страны—развѣ это сила? Да силы такой и до конца войны имъ не хватитъ. Первый оборотъ дѣла въ нашу пользу—и все это фантастическое зданіе ихъ военной и національной силы рухнетъ мгновенно и за разъ, и разсѣется какъ истинный призракъ, вмѣстѣ даже съ ихъ фанатизмомъ, который вылетитъ какъ изъ отвореннаго клапана паръ.

Нѣкоторые умные люди проклинаютъ теперь у насъ славянскій вопросъ, и на словахъ и печатно: „Дались дескать намъ эти славяне и всѣ эти фантазіи объ объединеніи славянъ! И кто намъ навалилъ этихъ славянъ на шею, и для чего: на вѣчную распрю съ Европой, на вѣчную ея подозрительность къ намъ, ненависть, и теперь и въ будущемъ! Да будутъ-же прокляты слафянофилы!“ и т. д. и т. д. Но эти восклицающіе умные люди кажется имѣютъ совершенно ложныя свѣденія и о славянахъ и о Восточномъ вопросѣ, а многіе такъ совсѣмъ даже и не интересовались имъ до самой послѣдней минуты. А потому спорить съ ними нельзя. И вѣдь дѣйствительно имъ неизвѣстно, что Восточный вопросъ (т. е. и славянскій вмѣстѣ) вовсе не славянофилами выдуманъ, да и никѣмъ не выдуманъ, а самъ родился и уже очень давно — родился раньше славянофиловъ, раньше насъ, раньше васъ, раньше даже Петра Великаго и Русской имперіи. Родился онъ при первомъ сплоченіи великорусскаго племени въ единое русское государство, т. е. вмѣстѣ съ царствомъ Московскимъ. Восточный вопросъ есть исконная идея Московскаго Царства, которую Петръ Великій призналъ въ высшей степени и, оставляя Москву, перенесъ съ собой въ Петербургъ. Петръ въ высшей степени понималъ ея органическую связь съ русскимъ государствомъ и съ русской душой. Вотъ почему идея не только не умерла въ Петербургѣ, но прямо признана была какъ-бы *русскимъ назначеніемъ* всѣми преемниками Петра. Вотъ почему ее нельзя оставить и нельзя ей измѣнить. Оставить славянскую идею и отбросить безъ разрѣшенія задачу о судьбахъ Восточнаго христіанства (NB. сущность Восточнаго вопроса)—значитъ все равно что сломать и въ дребезги разбить всю Россію, а на мѣсто ея выдумать что нибудь новое, но только уже совсѣмъ не Россію. Это было-бы даже и не революціей, а просто уничтоженіемъ, а потому и немыслимо даже, потому что нельзя же уничтожить такое цѣлое и вновь переродить его совсѣмъ въ другой организмъ. Идею эту не видятъ и не признаютъ теперь развѣ ужъ самые слѣпые изъ русскихъ европейцевъ, да вмѣстѣ съ ними, и къ стыду ихъ, биржевики. Биржевиками я называю здѣсь условно всѣхъ вообще теперешнихъ русскихъ, которымъ, кромѣ своего кармана, нѣтъ никакой въ Россіи забыты, а потому взирающихъ и на Россію единственно съ точки зрѣнія интересовъ своего кармана. Они кричатъ теперь хоромъ о торговомъ застоѣ, о биржевомъ кризисѣ, о паденіи рубля. Но еслибъ эти биржевики наши были настолько дальновидны чтобъ понимать кое-что внѣ своей сферы, то они бы и сами догадались, что еслибъ Россія не начала теперешнюю войну, то было бы имъ же хуже. Чтобъ были „дѣла“, даже биржевыя, надо чтобъ нація жила въ самомъ дѣлѣ, то есть на-

стоящею живою жизнію и исполняя свое естественное назначеніе, а не была бы гальванизированнымъ трупомъ, въ рукахъ жидовъ и биржевиковъ.—Еслибъ мы не начали теперешней войны послѣ всѣхъ циническихъ и обидныхъ намъ вызововъ враговъ нашихъ, и еслибъ мы не помогли истязуемымъ мученикамъ, то сами же себя стали-бы презирать. А самопрезрѣніе, нравственное паденіе, и за нимъ цинизмъ, — мѣшаютъ даже „дѣламъ“. Націи живутъ великимъ чувствомъ и великою всѣхъ единящею и все освѣщающею мыслью, соединеніемъ съ народомъ наконецъ, когда народъ невольно признаетъ верхнихъ людей съ нимъ за одно, изъ чего раждается національная сила — вотъ чѣмъ живутъ націи, а не одной лишь биржевой спекуляціей и заботой о цѣнѣ рубля. Чѣмъ богаче духовно нація, тѣмъ она и матерьяльно богаче... А впрочемъ, чтожъ я какія старыя слова говорю!

III.

Легкій намекъ на будущаго интелигентнаго русскаго человѣка. Несомнѣнный удѣлъ будущей русской женщины.

Есть теперь странныя недоумѣнія и странныя заботы. Положительно есть русскіе люди *боящіеся* даже русскихъ успѣховъ и русскихъ побѣдъ. Не потому боятся они, что желаютъ зла русскимъ, напротивъ они скорбятъ объ всякой русской неудачѣ сердечно, они хорошіе русскіе, но они боятся и удачъ, и побѣдъ русскихъ, — „потому-де что явится послѣ побѣдоносной войны самоувѣренность, самовосхваленіе, шовинизмъ, застой“. Но вся ошибка этихъ добрыхъ людей въ томъ, что они всегда видѣли русскій прогрессъ единственно въ самооплеваніи. Да самонадѣянность-то намъ можетъ быть и всего нужнѣе теперь! Самоуваженіе намъ нужно наконецъ, а не самооплеваніе. Не безпокойтесь: застоя не будетъ. Война освѣтитъ столько новаго, и заставитъ столько измѣнить стараго, что вы бы никогда не добились того самооплеваніемъ и поддразниваньемъ, которыя обратились въ послѣднее время лишь въ простую забаву. За то обнаружится и многое такое что прежде считалось даже умниками-обличителями нашими лишь мелочью, смѣшными пустяками и даже послѣднимъ дѣломъ, но что однакоже составляетъ главнѣйшую нашу сущность дѣла во всемъ. Да и не намъ, не намъ предаваться шовинизму и самоупоенію! Гдѣ и когда это случалось въ русскомъ обществѣ! Утверждающіе это просто не знаютъ русской исторіи. Объ нашемъ самоупоеніи много говорили послѣ Севастополя: самоувѣренность-де насъ тогда погубила. Но никогда интеллигентное общество не было у насъ менѣе самоувѣренно и даже болѣе въ разложеніи какъ въ эпоху предъ Севастополемъ.

Кстати замѣчу: изъ писавшихъ о нашемъ самоупоеніи и дразнившихъ насъ имъ послѣ Севастополя было нѣсколько новыхъ молодыхъ писателей, обратившихъ тогда на себя большое вниманіе общества и возбудившихъ въ немъ горячее сочувствіе къ ихъ обличеніямъ. И однако къ этимъ истинно желавшимъ добра обличителямъ присоединилось тогда тотчасъ-же столько нахальнаго и грязнаго народу, явилось столько свистопляски, столько людей совсѣмъ не понимавшихъ въ чемъ сущность дѣла, а между тѣмъ воображавшихъ себя спасителями Россіи, мало того — явилось въ ихъ числѣ столько даже откровенныхъ вра-

говъ Россіи, что они подконецъ сами повредили тому дѣлу, къ которому примкнули и которое повелось было талантливыми людьми. Но сначала и они имѣли успѣхъ, единственно потому что чистые сердцемъ русскіе люди, дѣйствительно жаждавшіе тогда повсемѣстно обновленія и новаго слова—не разобрали въ нихъ негодяевъ, людей бездарныхъ и безъ убѣжденій, и даже продажныхъ. Напротивъ думали что они-то и за Россію, за ея интересы, за обновленіе, за народъ и общество. Кончилось тѣмъ что огромное большинство русскихъ людей наконецъ разочаровалось и отвернулось отъ нихъ,—а затѣмъ ужъ пришли биржевики и желѣзнодорожники... Теперь этой ошибки кажется не повторится, потому что несомнѣнно явятся новые люди, уже съ новою мыслью и съ новою силою.

Эти новые люди не побоятся самоуваженія, но и не побоятся не плыть за старымъ. Не побоятся и умниковъ: они будутъ скромны, но будутъ уже многое знать, по опыту и уже на дѣлѣ, изъ того что и не снилось мудрецамъ нашимъ. По опыту и на дѣлѣ они научатся уважать русскаго человѣка и русскій народъ. Это-то познаніе они ужъ навѣрно принесутъ съ собой, и въ немъ-то и будетъ состоять ихъ главная точка опоры. Они не станутъ сваливать всѣхъ нашихъ бѣдъ и всѣхъ *неумныій* нашихъ единственно лишь на свойства русскаго человѣка и русской натуры, что обратилось уже въ казенный пріемъ у нашихъ умниковъ, потому что это и покойно и ума не требуетъ. Они первые засвидѣтельствуютъ собою что русскій духъ и русскій человѣкъ, въ этихъ ста тысячахъ взваленныхъ на нихъ обвиненій, невиноваты нисколько, что тамъ, гдѣ только есть возможность прямого доступа русскому человѣку, тамъ русскій человѣкъ сдѣлаетъ свое дѣло не хуже другаго. О, эти новые люди поймутъ наконецъ, не смотря на всю свою скромность, какъ часто наши умники, даже и чистѣйшіе сердцемъ и желающіе истинной пользы,—садились между двухъ стульевъ, желая отыскать корень зла. Къ этимъ то новымъ людямъ, которые несомнѣнно явятся послѣ войны, примкнетъ много живыхъ силъ изъ народа и русской молодежи. Они и до войны уже объявлялись, но мы все еще ихъ не могли тогда замѣтить, и когда мы всѣ здѣсь ожидали увидѣть лишь зрѣлища цинизма и растлѣнія, они тамъ явили зрѣлище такого сознательнаго самоотверженія, такого искренняго чувства, такой полной вѣры въ то, за что пошли отдавать свои головы, что мы здѣсь лишь дивились: откуда взялось все это? Нѣкоторые иностранные корреспонденты иностранныхъ газетъ упрекали нѣкоторыхъ русскихъ офицеровъ за то, что они самолюбивы, карьеристы, рвутся къ отличіямъ, забывая главную цѣль: любовь къ родинѣ и къ тому дѣлу, которому взялись служить. Но если и есть у насъ такіе офицеры, то все же этимъ корреспондентамъ не дурно было бы узнать и о той молодежи, или объ тѣхъ, незамѣтныхъ даже по чину своему офицерахъ, скромныхъ слугахъ отечества и праваго дѣла, которые умирали вмѣстѣ съ своими солдатами доблестно, съ полнымъ самоотверженіемъ, вовсе уже не для награды, не для красы и не для карьеры, а потому только что были великія сердца, великіе христіане и *незамѣтные* великіе русскіе люди, которыхъ такъ много, чуть не до послѣдняго солдата въ нашемъ войскѣ. Замѣтьте тоже, что, говоря о грядущемъ новомъ человѣкѣ, я вовсе не указываю лишь на

однихъ нашихъ воиновъ, въ ожиданіи того когда они воротятся. Явятся и безчисленные другіе—*всѣ тѣ, которые прежде такъ жаждали вѣрить въ русскаго человѣка*, но не могли проявиться и идти противъ всеобщаго царившаго наружу отрицанія и пессимизма. Но теперь, созерцая съ какой *вѣрой* въ свои силы проявился русскій человѣкъ *тамъ*, они поневолѣ ободрятся и повѣрятъ что есть настоящія русскія силы и здѣсь: откуда тамошніято взялись какъ не отсюда-же? А ободрившись сплотятся и скромно, но твердо примутся уже за настоящее дѣло, не боясь ни чьихъ громкихъ и звонкихъ словъ. И все такихъ старыхъ, старыхъ словъ! А умные старички наши все еще до сихъ поръ увѣрены что они-то и есть самые новые и *молодые* люди и что говорятъ самыя новыя слова!

Но главное и самое спасительное обновленіе русскаго общества выпадетъ безспорно на долю русской женщины. Послѣ нынѣшней войны, въ которую такъ высоко, такъ свѣтло, такъ свято проявила себя наша русская женщина, нельзя уже сомнѣваться въ томъ высокомъ удѣлѣ, который несомнѣнно ожидаетъ ее между нами. Наконецъ-то падутъ вѣковые предразсудки и „варварская“ Россія покажетъ, какое мѣсто отведетъ она у себя „матушкѣ“ и „сестрицѣ“ русскаго солдата, самоотверженницѣ и мученицѣ за русскаго человѣка. Ей-ли, этой-ли женщинѣ, столь явно проявившей доблесть свою, продолжать отказывать въ полномъ равенствѣ правъ съ мущиной по образованію, по занятіямъ, по должностямъ, тогда какъ на нее-то мы и возлагаемъ всѣ надежды наши теперь, послѣ подвига ея, въ духовномъ обновленіи и въ нравственномъ возвышеніи нашего общества! Это уже будетъ стыдно и неразумно, тѣмъ болѣе что не совсѣмъ отъ насъ это и зависѣть будетъ теперь, потому что русская женщина сама стала на подобающее ей мѣсто, сама перешагнула тѣ ступени, гдѣ доселѣ ей полагался предѣлъ. Она доказала какой высоты она можетъ достигнуть и что можетъ совершить. Впрочемъ, говоря такъ, я говорю про *русскую женщину*, а не про тѣхъ чувствительныхъ дамъ, которыя кормили турокъ конфетами. Въ добротѣ къ туркамъ конечно нѣтъ худа, но все же вѣдь это не то, что совершили тамъ *тѣ женщины;* а потому *эти* всего только русскія *старыя* барыни, а *тѣ—новыя* русскія женщины. Но и не про тѣхъ однѣхъ женщинъ говорю я, которыя тамъ подвизаются въ дѣлѣ Божіемъ и въ служеніи человѣчеству; тѣ своимъ появленіемъ только доказали намъ, что въ русской землѣ много великихъ сердцемъ женщинъ, готовыхъ на общественный трудъ и на самоотверженіе, — потому что, опять-таки, откуда-же тѣ-то взялись какъ не отсюдова-же? Но о русской женщинѣ и о несомнѣнномъ ближайшемъ жребіи ея въ нашемъ обществѣ, я хотѣлъ-бы поговорить побольше и особо, а потому и возвращусь еще къ этой темѣ въ слѣдующемъ октябрьскомъ „Дневникѣ“ моемъ.

Ѳ. Достоевскій.

10-й (октябрьскій) выпускъ выйдетъ 31 октября.

Дозволено цензурою. Спб. 6 октября 1877. Типогр. кн. В. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ГОДЪ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ. II-Й.

1877.

ОКТЯБРЬ.

ПОДПИСКА НА „ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ“ ВЪ СЛѢДУЮЩЕМЪ 1878 ГОДУ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

Подписка на „Дневникъ Писателя“ въ текущемъ 1877 году продолжается.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Къ читателю.

По недостатку здоровья, особенно мѣшающему мнѣ издавать „Дневникъ“ въ точные опредѣленные сроки, я рѣшаюсь, на годъ или на два, прекратить мое изданіе. Дѣлаю это съ чрезвычайнымъ сожалѣніемъ, потому что и не ожидалъ, начиная прошлаго года „Дневникъ“, что буду встрѣченъ читателями съ такимъ сочувствіемъ. Сочувствіе это продолжалось все время, до послѣдняго дня. Благодарю за него искренно. Благодарю особенно всѣхъ обращавшихся ко мнѣ письмами: изъ писемъ этихъ я узналъ много новаго. И вообще изданіе „Дневника“, въ продолженіи этихъ двухъ лѣтъ многому меня самого научило, и во многомъ еще тверже укрѣпило. Но къ сожалѣнію я рѣшительно принужденъ остановиться. Съ Декабрьскимъ выпускомъ

изданіе окончится. Авось ни я, ни читатели не забудемъ другъ друга до времени.

II.

Старое всегдашнее военное правило.

Объ нашихъ военныхъ ошибкахъ въ нынѣшнюю кампанію говорили и писали и въ Европѣ и въ Россіи. Продолжаютъ разсуждать и теперь. Вѣрная и полная оцѣнка нашихъ военныхъ дѣйствій, конечно принадлежитъ лишь будущему, т. е. по крайней мѣрѣ можетъ состояться лишь по окончаніи войны; но нѣкоторые факты выступаютъ уже и теперь съ достаточною полнотою чтобъ произнести о нихъ болѣе или менѣе точное сужденіе. Не о военныхъ ошибкахъ нашихъ возьмусь судить я, малокомпетентный въ этомъ дѣлѣ человѣкъ (хотя малокомпетентные-то, кажется, всѣхъ болѣе у насъ теперь и горячатся). Я лишь хочу указать на одинъ современный фактъ (а не на ошибку), который доселѣ былъ военной наукой мало разъясненъ, мало наблюдаемъ, не успѣлъ быть оцѣненъ въ своей *современной* сущности, который можно было угадывать лишь въ теоріи, но который, практически почти никогда не былъ подтвержденъ, вплоть до нынѣшней войны. Этому роковому, до нынѣшней войны практически не подтвержденному въ военномъ дѣлѣ факту, суждено было, какъ нарочно, проявиться въ самой полной своей силѣ и въ самой окончательной своей точности, неминуемо въ нынѣшнюю кампанію, потому что этотъ, чисто военный фактъ, какъ разъ подошелъ къ національному военному характеру турокъ, или лучше сказать: къ главному отличительному свойству ихъ военнаго характера. Мало того, можно даже такъ заключить, что фактъ этотъ, и не разъяснился бы пожалуй, безъ турокъ,—по крайней мѣрѣ въ Европѣ не смотря на недавнія войны (и такія огромныя войны какъ франко-прусская война) онъ еще не былъ разъясненъ, не успѣлъ опредѣлиться. Теперь, послѣ роковаго опыта текущей войны, онъ разумѣется войдетъ въ военное искусство и будетъ оцѣненъ по своему значенію. Но въ текущую войну, *роковое* для насъ заключалось въ томъ, что русская армія, такъ сказать, наткнулась на этотъ неразъясненный во всемъ практическомъ своемъ значеніи военный фактъ, и что предназначено было разъяснять его намъ, русскимъ, съ огромнымъ ущербомъ для насъ, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока смыслъ его не выяснился для насъ вполнѣ. Между тѣмъ, очень многіе, и у насъ, и въ Европѣ, наклонны до сихъ поръ считать этотъ огромный ущербъ, который мы понесли отъ этого неразъясненнаго факта — единственно лишь нашей военной ошибкой, тогда какъ тутъ было нѣчто роковое и неминуемое, а не ошибка, и будь на нашемъ мѣстѣ, напримѣръ, хоть германское войско, то и оно бы ссадило себѣ на этомъ фактѣ бока... хотя можетъ быть скорѣе оцѣнило-бы его и поспѣшнѣе приняло мѣры. Я хочу только сказать что не всѣ наши ошибки теперешней кампаніи—суть въ самомъ дѣлѣ ошибки и что важнѣйшая изъ этихъ ошибокъ постигла бы и любую европейскую армію на нашемъ мѣстѣ. Повторяю, мы натѣнулись на неразъясненный военный фактъ и до разъясненія его понесли ущербъ, — а это нельзя считать безусловной ошибкой. Но что-же это за фактъ?

Когда я, въ моей юности, слушалъ курсъ высшихъ военныхъ и инженерныхъ наукъ въ Главномъ Инженерномъ Училищѣ, тогда существовало у насъ одно убѣжденіе, считавшееся непреложнымъ, одна инженерная аксіома. (Впрочемъ, поспѣшу оговориться въ скобкахъ: я такъ давно оставилъ инженерное и военное дѣло, что не претендую ни на малѣйшую въ этомъ смыслѣ компетентность. Я поступилъ въ Главное Инженерное Училище и слушалъ въ немъ шестилѣтній курсъ въ концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ; затѣмъ, кончивъ курсъ и оставивъ училище, прослужилъ инженеромъ лишь годъ, вышелъ въ отставку и занялся литературой. Тотлебенъ вышелъ тремя или четырьмя годами прежде меня. Кауфмана я помню въ офицерскихъ классахъ. Съ младшимъ Кауфманомъ я былъ въ одно время еще въ кондукторскихъ. Радецкій, Петрушевскій и Іолшинъ были всего лишь однимъ классомъ старше меня. Изъ моихъ же одноклассныхъ товарищей удалились съ прямого пути на путь шаткій и неопредѣленный всего только трое: я, писатель Григоровичъ и живописецъ Трутовскій. Однимъ словомъ все это было очень давно). Эта инженерная аксіома состояла въ томъ, что нѣтъ и не можетъ быть крѣпости неприступной, т. е. какъ бы ни была искусно укрѣплена и оборонена крѣпость, но въ концѣ концовъ она должна быть взята и что стало быть военное искусство атаки крѣпости, всегда превышаетъ средства и искусство ея обороны. Разумѣется все это лишь вообще и теоретически: отвлеченно разсматривается лишь существенное свойство обоихъ инженерныхъ искусствъ, атаки и обороны крѣпостей. Разумѣется тоже, что нѣтъ правила безъ исключеній; и у насъ указывалось тогда на нѣкоторыя существующія крѣпости, которыя будтобы были неприступны. Гибралтаръ, напримѣръ, о которомъ впрочемъ мы знали лишь по слухамъ. Но въ научномъ смыслѣ все-таки никакой Гибралтаръ не могъ и не долженъ былъ считаться неприступнымъ и аксіома, что искусство атаки крѣпости всегда превышаетъ средства и искусство ея обороны—оставалась непоколебимою.

О, другое дѣло на практикѣ. Иная крѣпость напримѣръ можетъ получить характеръ неприступной твердыни (не будучи таковою), потому только, что она, по тѣмъ или другимъ обстоятельствамъ, можетъ слишкомъ долго задержать передъ собою главныя силы непріятеля, истощить эти силы и такимъ образомъ сослужить службу больше которой и нельзя требовать. Тотлебенъ, напримѣръ, навѣрно зналъ, что Севастополь все-таки возьмутъ наконецъ и не могутъ не взять, какъ бы онъ ни защищалъ его. Но союзники уже навѣрно не знали и не предполагали, начиная осаду, что Севастополь потребуетъ отъ нихъ такихъ напряженій силы. Напротивъ, вѣроятно полагали, что Севастополь займетъ ихъ мѣсяца на два и войдетъ лишь какъ мимоходный эпизодъ въ обширный планъ тѣхъ безчисленныхъ ударовъ, которые они готовились нанести Россіи и кромѣ взятія Севастополя. И вотъ именно Севастополь-то и сослужилъ службу неприступной твердыни, хотя и былъ взятъ подъ конецъ. Долгой, неожиданной для нихъ геніальной защитой Тотлебена, силы союзниковъ, военныя и финансовыя, были истощены и потрясены до того, что по взятіи Севастополя о дальнѣйшихъ ударахъ нечего было и думать, и вра-

ги наши желали мира, по крайней мѣрѣ не менѣе нашего! А такія-ли условія мира предложили-бы они намъ, если-бы удалось имъ взять Севастополь черезъ два мѣсяца! Такимъ образомъ и *не надо* абсолютно неприступныхъ крѣпостей; — при искусной защитѣ и при доблестной стойкости защитниковъ и далеко не неприступная крѣпость можетъ сломить силы враговъ. Тѣмъ не менѣе, какъ ни геніальна была защита Севастополя, но, повторю это, онъ все-таки, рано-ли, поздно-ли долженъ былъ пасть, потому что, при извѣстномъ равенствѣ силъ обоихъ противниковъ, сила атаки всегда превышаетъ силу обороны (т. е. опять-таки въ научномъ смыслѣ говоря, а не въ практическомъ, ибо отъ иныхъ твердынь дѣйствительно уходили иногда атакующіе, послѣ даже долгой осады ихъ и не по неприступности ихъ, а разсчитывая лишь сдѣлать другой ударъ, въ другомъ мѣстѣ и съ меньшимъ ущербомъ силъ, если только такой исходъ могъ представиться).

III.

Тоже правило, только въ новомъ видѣ.

И вотъ этотъ военный фактъ, эта такъ сказать военная аксіома, въ нынѣшнюю нашу войну съ турками вдругъ какъ бы поколебались и чѣмъ-же, — не „долговременнымъ“ фортификаціоннымъ укрѣпленіемъ, не неприступною твердынею грозной крѣпости, а летучимъ, полевымъ, много что „временнымъ“ фортификаціоннымъ укрѣпленіемъ. Прежде полевыя укрѣпленія и въ счетъ не шли, это была лишь полевая фортификація. Полевая фортификація лишь укрѣпляла мѣстность боя, но неприступною никогда ее не могла сдѣлать. У насъ подъ Бородинымъ были воздвигнуты редуты и оказали свою пользу, т. е. укрѣпили мѣстность, но все-таки были взяты и хоть съ ущербомъ для непріятеля, но все-таки въ тотъ-же день были взяты, въ день битвы.

И вотъ подъ Плевной произошло что-то совсѣмъ уже новое. Рядъ простыхъ полевыхъ, много что *временныхъ* (не очень тоже важная вещь въ прежнее время) укрѣпленій придаетъ мѣстности значеніе неприступной твердыни, которую прежними средствами и взять нельзя, которая уже потребовала отъ насъ двойныхъ, тройныхъ усилій, чѣмъ предполагалось вначалѣ, и которая до сихъ поръ еще не взята. Будь весь этотъ грозный рядъ укрѣпленій съ прежними средствами защиты — устоялъ-ли бы онъ противъ энергическаго, блистательнаго, безпримѣрнаго натиска русскихъ? Конечно нѣтъ: сослужилъ-бы свое дѣло, затруднилъ-бы атаку, но 50,000 русскихъ, конечно, при такомъ беззавѣтномъ натискѣ, какъ 30-го августа, овладѣли-бы редутами и разбили-бы пятидесяти-тысячную армію Османа-паши, т. е. дѣло завершилось-бы при равномъ числѣ войскъ и не потребовалось-бы никакихъ подкрѣпленій. Теперь-же, послѣ двухъ неудавшихся штурмовъ, оказалось необходимымъ увеличить нашу армію вдвое, и это по крайней мѣрѣ, и это только первый шагъ къ достиженію цѣли.

Въ чемъ-же дѣло? Уже конечно въ теперешнемъ ружьѣ. Турокъ закрывшись наскоро набросанною насыпью можетъ выпустить въ атакующихъ такую массу пуль, что не невѣроятно если и вся штурмующая колонна, не дойдя еще и до гласиса будетъ истреблена,

до послѣдняго человѣка. О, конечно, можно взять всю Плевну совершенно прежними средствами, т. е. прежней фронтальной атакой безъ фортификаціонныхъ работъ, вотъ точно также, какъ были взяты редуты подъ Бородинымъ. *И наши русскіе это бы сдѣлали*! Можетъ быть ни одна армія въ Европѣ не рѣшилась бы сдѣлать это, а они бы сдѣлали. Только вотъ бѣда: оказалось изъ опыта, что для этого навѣрно надо положить русскихъ десятками тысячъ, такъ что овладѣвъ редутами фронтальной атакой, мы, при равномъ вначалѣ числѣ войскъ съ Османомъ, оказались-бы подъ самый конецъ, столь обезсиленными численно, что уже не могли-бы сдержать Османа, который-бы потерялъ въ десять разъ меньше нашего за своими насыпями. И такъ, послѣ двухъ страшныхъ неудавшихся приступовъ выяснилась наконецъ необходимость: во-первыхъ увеличить вдвое нашу силу, затѣмъ, съ помощію Тотлебена, приступить къ инженернымъ работамъ, къ чему-то даже похожему на атаку сильнѣйшихъ, долговременныхъ крѣпостей, затѣмъ къ обложенію Плевны, къ занятію дорогъ, къ пресѣченію сообщеній, подвозовъ къ непріятелю. Однимъ словомъ рядъ весьма обыкновонныхъ полевыхъ и временныхъ укрѣпленій сослуживъ врагу нашему роль первокласной крѣпости. И хоть и возьмутъ Плевно (что навѣрно), т. е. вѣрнѣе сказать хоть и возьмутъ Османа, когда онъ пойдетъ на проломъ, чтобы выйти изъ собственной западни и не умереть въ ней съ голоду, — (а бросившись на проломъ *откроется*, и изъ защищающагося *перейдетъ самъ въ роль атакующаго*, въ этомъ-то и все для насъ дѣло), чѣмъ разомъ потеряетъ всѣ выгоды смертоноснаго и непреодолимаго огня за закрытыми укрѣпленіями, — тѣмъ не менѣе въ результатѣ все-таки выйдетъ то, что Плевна уже сослужила свое дѣло врагу нашему, остановила первоначальное побѣдоносное шествіе русскихъ, принудила на двойныя, тройныя усилія и растраты, (къ чему даже и въ Европѣ уже считали Россію неспособной) и — кто знаетъ, можетъ быть и безъ такого страшнаго для себя результата въ концѣ: Османъ все-же вѣдь надѣется хоть половину-то своей арміи урвать у русскихъ и убѣжать вмѣстѣ съ нею, а тамъ опять гдѣ нибудь окопаться и опять воздвигнуть новую Плевну (если только ему дадутъ все это устроить; но вѣдь всякому позволительно надѣяться, а Османъ человѣкъ энергичный и гордый).

Даже такъ можно сказать: если у обороняющагося есть шанцевый инструментъ и хоть десятка два тысячъ солдатъ, съ теперешнимъ ружьемъ, то рядъ этихъ простыхъ прежнихъ полевыхъ укрѣпленій, которыхъ можно въ одну ночь разбросать по избранной мѣстности сколько угодно—на завтра усилитъ эти теперешніе два десятка тысячъ войска до силы пятидесяти, или шестидесяти тысячной арміи, съ которою, если обстоятельства неблагопріятствуютъ при томъ маневрированію, вы уже и не знаете что дѣлать. Такимъ образомъ—этотъ рядъ легкихъ укрѣпленій оказывается иной разъ даже лучше для защищающагося чѣмъ самая грозная и неприступная крѣпость, потому что эту крѣпость обороняющійся, отступая, какъ бы переноситъ съ собою въ другое любое мѣсто, былъ бы шанцевый инструментъ. Вы у него возьмете ее наконецъ, положивъ при штурмѣ тысячи солдатъ, а на завтра васъ встрѣчаетъ такая же крѣпость на ва-

шемъ пути если только успѣетъ уйти отъ васъ врагъ. Не одна Плевна теперь въ Турціи, а всякая турецкая армія, всякій даже отрядъ окапывается и выставляетъ на утро русскому изъ-за окоповъ свои смертоносныя ружья: „Подходи-ка дескать въ двойныхъ силахъ, да теряй войска вдесятеро чѣмъ ты разсчитывалъ вначалѣ войны". Атакующему остается, чтобъ поровняться силами съ атакованнымъ, стать напротивъ него и тоже окопаться. Но этого нельзя, онъ атакующій, онъ пришелъ чтобъ атаковать и идти впередъ. Онъ не можетъ сидѣть за укрѣпленіями, онъ пришелъ штурмовать укрѣпленія... Знающіе люди поймутъ, что я говорю лишь теоретически, говорю объ атакѣ и оборонѣ вообще, отбрасывая всѣ другія случайности войны, измѣняющія поминутно ходъ дѣла, колеблющія его въ ту или другую сторону. Я хочу только выразить формулу, что *при нынѣшнемъ ружьѣ*, съ помощію полевыхъ укрѣпленій, всякій обороняющійся, *въ какой бы то ни было странѣ Европы*, получилъ вдругъ страшный перевѣсъ силъ передъ атакующимъ. Сила обороны *пересиливаетъ* теперь силу атаки и обороняющемуся несомнѣнно выгоднѣе воевать чѣмъ атакующему. Вотъ тотъ фактъ, до сихъ поръ въ военномъ дѣлѣ неразъясненный, въ достаточной полнотѣ, и даже совсѣмъ *неожиданный*, на который намъ русскимъ суждено было наткнуться и его разъяснить къ огромному нашему ущербу. И это вовсе не наша *ошибка*, а лишь новый военный фактъ, вдругъ вышедшій наружу и вдругъ разъяснившійся...

—

IV.

Самыя огромныя военныя ошибки иногда могутъ быть совсѣмъ не ошибками.

Ну вотъ, скажутъ мнѣ, какой вы тутъ новый фактъ открыли? Развѣ не знали мы до начала кампаніи, что такое новое ружье и его смертоносная сила? Да и не новое оно, а давно уже старое, такъ что мы не только могли, но и должны были еще въ Петербургѣ разсчитать и приготовиться къ его страшному дѣйствію, особенно за закрытымъ укрѣпленіемъ. То-то и есть что *на дѣлѣ* не такъ выходитъ какъ кажется въ теоріи и что мы дѣйствительно *не могли* разсчитать и приготовиться. Легко это кажется лишь тѣмъ штатскимъ людямъ, которые, сидя въ своихъ кабинетахъ, критикуютъ теперь наши военныя дѣйствія. Я вѣдь не отрицаю ошибокъ, замѣтьте себѣ, я вѣдь признаю что они есть и быть должны, я только этотъ одинъ *фактъ* не хочу считать безусловно нашей ошибкой и объявляю, что до нынѣшней войны онъ былъ фактомъ неразъясненнымъ и даже неизвѣстнымъ *во всей своей подавляющей силѣ*. О, безъ сомнѣнія можно было разсчитать и заранѣе знать, что при нынѣшнемъ ружьѣ обороняющійся, закрывшись самымъ легкимъ укрѣпленіемъ, можетъ принесть вреда атакующему даже *вдвое* болѣе чѣмъ прежде; узнать и разсчитать—это дѣло легкое и даже никакой военной науки не требуетъ. Но вотъ что было уже несравненно труднѣе разсчитать и предузнать—именно: что при нынѣшнемъ ружьѣ обороняющійся, закрывшись укрѣпленіемъ, нанесетъ вреда не *вдвое* противъ прежняго, а по крайней мѣрѣ *впятеро*, а при такой энергической оборонѣ, которую мы

ствахъ вооруженія—остается во всей силѣ. (Подчеркну еще разъ: не перевѣсъ силы нельзя было намъ предвидѣть, а такую *чрезмѣрность* его).

Но теперь практика уже на нашей сторонѣ и мы больше *такой* ошибки не сдѣлаемъ. Теперь тамъ Тотлебенъ; что онъ дѣлаетъ, намъ въ точности неизвѣстно, но геніальный инженеръ найдетъ можетъ быть средство (не только въ частномъ случаѣ, но и вообще) потрясти *аксіому*, уничтожить *чрезмѣрность* и уравновѣсить двѣ силы (атаки и обороны) какимъ нибудь новымъ геніальнымъ открытіемъ. На его дѣйствія внимательно и жадно смотритъ Европа и ждетъ не однихъ политическихъ выводовъ но и научныхъ. Однимъ словомъ, нашъ военный горизонтъ просіялъ и надеждъ опять много. Въ Азіи кончилось большой побѣдой. Балканская же армія наша многочисленна и великолѣпна, духъ ея вполнѣ на высотѣ своей цѣли. Русскій народъ (т. е. народъ) весь какъ одинъ человѣкъ хочетъ чтобъ великая цѣль войны за христіанство была достигнута. Нельзя матерямъ не плакать надъ своими дѣтьми идущими на войну: это природа; но убѣжденіе въ святости дѣла остается во всей своей силѣ. Отцы и матери знаютъ на что отпускаютъ дѣтей: война народная. Это отрицаютъ иные, не вѣрятъ, набираютъ факты противурѣчущіе, а вотъ такія, напримѣръ, извѣстія, мелкимъ шрифтомъ, въ газетахъ такъ и остаются почти непримѣченными:

„Со станціи Бирзулы пишутъ въ „Одесскій Вѣстникъ“, что 3-го октября черезъ эту станцію провезено въ дѣйствующую армію 2,800 выздоровѣвшихъ солдатъ. Съ ними было 6 выздоровѣвшихъ раненыхъ офицеровъ. Замѣчательно, что изъ числа раненыхъ *ни одинъ* не пожелалъ воспользоваться своимъ правомъ и остаться въ запасныхъ войскахъ. Всѣ спѣшили и спѣшатъ на мѣсто войны. „Моск. Вѣдомости“, № 251.

Какъ вамъ нравится такое свѣдѣніе? Вѣдь ужь кажется такіе факты свидѣтельствуютъ о характерѣ дѣла! Какже утверждать послѣ нихъ, что нынѣшняя война не имѣетъ народнаго характера и что народъ въ сторонѣ? Но такихъ фактовъ не одинъ, а множество. Всѣ они соберутся и просіяютъ и войдутъ въ Исторію.. Къ счастью, большинство этихъ фактовъ засвидѣтельствовано многочисленнѣйшими европейскими очевидцами, и теперь уже ихъ нельзя измѣнить, подтасовать и представить въ биржевомъ или въ *римско-клерикальномъ видѣ*...

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Самоубійство Гартунга и всегдашній вопросъ нашъ: кто виноватъ?

Всѣ русскія газеты толковали недавно (и до сихъ поръ толкуютъ) о самоубійствѣ генерала Гартунга, въ Москвѣ, во время засѣданія Окружнаго Суда, четверть часа спустя послѣ прослушанія имъ обвинительнаго надъ нимъ приговора присяжныхъ. А потому я думаю, что всѣ читатели „Дневника“ уже знаютъ болѣе или менѣе объ этомъ чрезвычайномъ и

трагическомъ происшествіи, и подробно объяснять его мнѣ уже нечего. Общій смыслъ въ томъ, что человѣкъ, въ значительномъ чинѣ и круга высшаго, сходится съ бывшимъ портнымъ, а потомъ процентщикомъ и дисконтеромъ Занфтлебеномъ, и не потому только что принужденъ былъ занимать у него деньги, а даже какъ-бы и дружественно, принимаетъ напримѣръ на себя обязанность его душеприкащика и повидимому очень охотно. Затѣмъ, по смерти Занфтлебена, происходитъ нѣсколько вопіющихъ вещей: пропадаетъ вексельная книга неизвѣстно куда; векселя, бумаги и документы, съ совершеннымъ нарушеніемъ порядка, предписаннаго закономъ, отвозятся Гартунгомъ къ себѣ на квартиру. Гартунгъ, какъ оказывается, вступаетъ въ соглашеніе съ одной частью наслѣдниковъ въ ущербъ другой (хотя можетъ быть и не подозрѣваетъ того самъ). Затѣмъ къ нему врывается одинъ изъ наслѣдниковъ и бѣдному душеприкащику уже на дѣлѣ приходится узнать, что онъ попалъ въ такое общество, въ какое и не ожидалъ. Затѣмъ начинаются обвиненія уже прямо — въ кражѣ векселей, вексельной книги, въ перепискѣ векселей, въ исчезновеніи документовъ слишкомъ на сто или даже на двѣсти тысячь рублей имущества... Затѣмъ начинается судъ. Прокуроръ даже радъ суду и тому, что генералъ сидитъ рядомъ съ простолюдиномъ и тѣмъ даетъ поводъ русской Ѳемидѣ произнести торжество равенства передъ закономъ сильныхъ и высшихъ съ малыми и ничтожными.

Судъ, однако-же идетъ весьма нормальнымъ порядкомъ (что-бы ни говорили объ этомъ), и въ концѣ концовъ присяжные выносятъ почти неминуемое обвиненіе, въ томъ числѣ и о Гартунгѣ, смыслъ котораго: „виновенъ и похитилъ“. Судъ удаляется составить приговоръ, но генералъ Гартунгъ дождаться его не захотѣлъ: выйдя въ другую комнату онъ, говорятъ, сѣлъ къ столу и схватилъ обѣими руками бѣдную свою голову; затѣмъ вдругъ раздался выстрѣлъ: онъ умертвилъ себя принесеннымъ съ собой и заряженнымъ заранѣ револьверомъ, ударомъ въ сердце. На немъ нашли тоже заранѣ заготовленную записку, въ которой онъ „клянется *всемогущимъ Богомъ*“ что ничего въ этомъ дѣлѣ не похитилъ и враговъ своихъ прощаетъ“. Такимъ образомъ онъ умеръ въ сознаніи своей невинности, и въ сознаніи своего джентльменства.

И вотъ эта-то смерть и взволновала всѣхъ въ Москвѣ и всѣ газеты во всей Россіи. Говорятъ и судьи и прокуроръ вышли изъ своихъ комнатъ совсѣмъ блѣдные. Присяжные, говорятъ, будто бы тоже были сконфужены. Газеты завопили даже объ „очевидно несправедливомъ рѣшеніи“ и однѣ изъ нихъ замѣчали что наши суды нельзя уже теперь обвинять за мягкіе и потворствующіе приговоры: „вотъ, дескать, примѣръ, палъ невинный“. Другіе справедливо замѣтили, что такимъ торжественнымъ и послѣднимъ словамъ человѣка на землѣ, почти невозможно не вѣрить, а стало быть почти несомнѣнно можно заключить, что произошла плачевная судебная ошибка. И многое, многое говорили и писали газеты. Надо признаться, нѣкоторые изъ отзывовъ газетъ были странны: слышалась какая-то фальшь, можетъ быть горячая и искренняя, но фальшь. Гартунга жалко, но тутъ скорѣе трагедія (преглубокая), фатумъ русской жизни, чѣмъ съ которой нибудь стороны ошибка.

Или лучше сказать тутъ всѣ виноваты: и нравы и обычаи нашего интелигентнаго общества, и характеры въ этомъ обществѣ выровнявшіеся и создавшіеся, наконецъ нравы и обычаи нашихъ заимствованныхъ и недостаточно обрусѣвшихъ молодыхъ судовъ. Но вѣдь когда всѣ огуломъ виноваты, значитъ порознь нѣтъ никого виновнаго. Изъ всѣхъ газетныхъ отзывовъ мнѣ всего болѣе понравился отзывъ „Новаго Времени“. Я наканунѣ какъ разъ говорилъ съ однимъ изъ нашихъ тонкихъ юристовъ и знатоковъ русской жизни, и оказалось что на счетъ этого дѣла, у насъ одинъ и тотъ же выводъ, причемъ мой собесѣдникъ весьма мѣтко указалъ на „трагизмъ“ этого дѣла и на причины трагизма. На другой день, въ фельетонѣ Незнакомца, я прочелъ очень многое весьма похожее на то объ чемъ мы только что говорили наканунѣ. А потому, если и скажу теперь нѣсколько словъ, то лишь въ частности и „по поводу“.

II.

Русскій джентльменъ. Джентльмену нельзя не остаться до конца джентльменомъ.

Дѣло въ томъ что старые характеры еще не перевелись и, кажется, еще долго не переведутся, потому что на все надобенъ срокъ и вездѣ природа. Я говорю о характерахъ нашего интелигентнаго общества. Здѣсь впрочемъ настойчиво и съ упорствомъ замѣчу: что и не хорошо было бы еслибъ мы вдругъ, какъ флюгера измѣнялись, потому что самая противная вещь въ нашихъ интелигентныхъ характерахъ именно это свойство легковѣсности и безсодержательности. Она напоминаетъ что-то лакейское, лакея рядящагося въ барское платье. Одно изъ свойствъ, напримѣръ, нашего джентльментечанья, если мы почему нибудь разъ прикоснулись къ богатымъ и знатнымъ, и особенно если къ нимъ проникли—это *представительность*, потребность обставить себя широко. Замѣтьте, я лично о Гартунгѣ не говорю теперь ни слова, я совершенно не знаю его біографіи; я только хочу отмѣтить нѣсколько штриховъ всѣмъ извѣстнаго характера нашего интелигентнаго человѣка, говоря вообще, и съ которымъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ могло бы случиться точь въ точь тоже самое что и съ генераломъ Гартунгомъ. Человѣкъ напримѣръ ничтожный, въ маломъ чинѣ, безъ гроша въ карманѣ вдругъ попадаетъ въ высшее общество, или хоть почему либо соприкосается съ нимъ. И вотъ, у бѣдняка ничего неимѣвшаго, кромѣ способности профильтроваться въ высшее общество, вдругъ является своя карета, квартира, въ которой „возможно“ жить, лакеи, костюмы, перчатки. Можетъ быть онъ хочетъ сдѣлать карьеру, выбиться въ люди, но чаще всего бываетъ такъ, что просто подражать хочетъ: всѣ дескать такъ живутъ, какже я то? Тутъ какой-то въ немъ стыдъ, котораго никакъ нельзя пересилить, однимъ словомъ: честь и порядочность понимаются какъ-то странно, собственнаго же достоинства не оказывается никакого. Въ паралель этому непониманію такой первѣйшей вещи какъ чувство собственнаго достоинства можно поставить, мнѣ кажется, лишь непониманіе, чуть не всѣмъ интелигентнымъ европейскимъ вѣкомъ нашимъ, свободы, въ чемъ состоитъ она,—но объ этомъ потомъ. Вторая,

и опять-таки почти трагическая черта нашего русскаго интелигентнаго человѣка—это его податливость, его готовность на соглашеніе. О, есть множество кулаковъ, биржевиковъ, противныхъ но стойкихъ мерзавцевъ: есть даже и хорошіе стойкіе люди, но ихъ мало ужасно, въ большинствѣ же порядочныхъ русскихъ людей царитъ именно эта скорая уступчивость, потребность уступить, согласиться. И вовсе это даже не отъ добродушія, равно какъ далеко не отъ трусости, а такъ, деликатность какая-то, или неизвѣстно ужъ что тутъ. Сколько разъ вамъ, напримѣръ, приходилось въ разговорѣ съ упорнымъ, напримѣръ, человѣкомъ, налегавшимъ на васъ и требовавшимъ вашего отзыва—согласиться и уступить ваше мнѣніе, или вашъ даже голосъ въ какомъ нибудь засѣданіи, хотя вы можетъ быть внутри себя и вовсе бы того не желали. Увлекаетъ тоже очень русскаго человѣка слово *всѣ:* „я какъ и всѣ“—„я съ общимъ мнѣніемъ согласенъ“,—„всѣ идемъ, ура!“ Но есть тутъ и еще странность: русскій человѣкъ самъ себя обольстить, прельстить, увлечь и уговорить очень любитъ. И не хочется ему сдѣлать то и то, пойти напримѣръ въ душеприкащики къ Занфтлебену, но уговорить себя: „чтожъ, дескать, такое, пойду“...

Бываютъ въ этомъ слоѣ интелигентныхъ русскихъ людей, типы, съ нѣкоторой стороны даже чрезвычайно привлекательные, но именно съ этими несчастными свойствами русскаго джентльменства на которыя я сейчасъ намекалъ. Иные изъ нихъ почти невинны, почти Шиллеры; ихъ незнаніе „дѣлъ“ придаетъ имъ почти нѣчто трогательное, но чувство чести въ нихъ сильное: онъ застрѣлится какъ Гартунгъ, если, по своему мнѣнію, потеряетъ честь. Можетъ быть ихъ даже довольно и числомъ. Но врядъ ли эти люди знаютъ, напримѣръ, когда нибудь сумму своихъ долговъ. И не то чтобъ всѣ они были кутилы, иные напротивъ прекрасные мужья и отцы, но деньги можно мотать и кутилѣ и прекрасному отцу. Весьма многіе изъ нихъ входятъ въ жизнь съ слабыми остатками прежнихъ родовыхъ имѣній, которыя быстро улетучиваются въ первые-же дни юности. Затѣмъ бракъ, затѣмъ чинъ, и хорошее казенное мѣстечко, которое такъ себѣ, а все же даетъ какой нибудь доходъ и основаніе въ жизни, нѣчто уже солидное, въ противоположность великосвѣтскому бродяжеству въ прежнюю жизнь. Но долги идутъ безпрерывно, онъ конечно платитъ ихъ, потому что онъ джентльменъ, но платитъ новыми долгами. Положительно можно сказать, что многіе изъ нихъ, обдумывая въ иную минуту свое положеніе про себя, наединѣ, могли бы смѣло и съ великимъ благородствомъ произнести: „мы ничего не похищали, и ничего не хотимъ похитить“. Между тѣмъ вотъ какая тутъ мелкая черточка можетъ даже произойти: при случаѣ (ну очень понадобилось) онъ способенъ взять въ займы даже у няньки дѣтей своихъ, какіе нибудь накопленные ею 10 рублей. Да что-же такое, помилуйте, почему-же нѣтъ? Притомъ старушка нянька, весьма часто, есть обжившійся близкій и интимный въ домѣ человѣкъ. Она почти членъ семьи, ее ласкаютъ, ей даже самые важные ключи на храненіе передаютъ. Добрый генералъ, ея баринъ, давно уже обѣщалъ ей мѣсто въ богадѣльнѣ на старость, да вотъ только дѣла-то эти все мѣшаютъ ему позаботиться,

а давно-бы надо тамъ объ ней словечко замолвить. А нянька такъ и напомнить страшится, напоминаетъ развѣ одинъ разикъ въ годъ о богадѣльнѣ, все трепещетъ досадить такому нервному и обезпокоенному всегда человѣку, какъ ея генералъ. „Добрые вѣдь они, сами вспомнятъ“, думаетъ она подчасъ, укладывая въ постель свои старыя кости; объ 10-ти же рубляхъ и напомнить такъ даже стыдится, у ней своя совѣсть есть, у старушки. И вотъ вдругъ умираетъ генералъ, и — ни мѣста у старушки, ни десяти рублей. Все это разумѣется пустяки и мелочь страшная, но если-бы вдругъ на томъ свѣтѣ напомнили генералу, что нянька-то вѣдь 10-ти рублей не получила, то онъ бы страшно покраснѣлъ: „какіе десять рублей? Неужто! Ахъ да вѣдь въ самомъ дѣлѣ, года четыре назадъ! Mais comment, comment, и какъ это могло случиться!“ И этотъ долгъ мучилъ бы его сильнѣе чѣмъ иной даже десятитысячный оставленный имъ на землѣ! Ему было-бы ужасно какъ стыдно: „о, повѣрьте, я не хотѣлъ того, повѣрьте, что я даже не думалъ о томъ, забылъ думать“! Но бѣднаго генерала слушали бы тамъ тольло ангелы (такъ какъ онъ навѣрно попалъ-бы въ рай), а нянька все-таки осталась-бы безъ десяти рублей на землѣ, и жалко ей ихъ иногда старушкѣ: „ну да Богъ съ ними, грѣхъ поминать этимъ, а человѣкъ были самый драгоцѣнный, самый какъ ни на есть праведный баринъ“.

И вотъ что еще: если-бы этотъ прелестный человѣкъ какъ нибудь опять очутился на землѣ и воплотился въ прежняго генерала — отдалъ-бы онъ 10 рублей нянькѣ или нѣтъ?

Но не все вѣдь они занимаютъ. Вотъ пріятель, благо-р-роднѣйшій Иванъ Петровичъ проситъ его выдать ему векселей тысячь на шесть: заложу дескать въ банкъ, гдѣ я состою, и дисконтирую, а вотъ тебѣ, дражайшій другъ, встрѣчные на шесть тысячь. Чего же думать? Векселя выдаются, Ивана Петровича онъ часто встрѣчаетъ потомъ въ клубѣ, оба забыли разумѣется и думать о выданныхъ векселяхъ, потому что оба суть самый цвѣтъ, такъ сказать, порядочныхъ людей въ нашемъ обществѣ, и вдругъ черезъ шесть мѣсяцевъ, всѣ шесть тысячь падаютъ на плеча генералу: „Извольте, дескать, платить, ваше превосходительство“. Ну вотъ тутъ и бросаются къ людямъ какъ Занфтлебенъ и пишутъ документы въ сто на сто.

Повѣрьте опять таки, что я, въ изображеніи моемъ, ни одной чертой не претендую обличать покойнаго генерала Гартунга: я его совсѣмъ не зналъ и ничего не слыхалъ о немъ лично. Я только имѣлъ претензію чуть-чуть начертить характеръ одного изъ членовъ этого общества, но который однако еслибъ попался въ такую же передрягу, какъ генералъ Гартунгъ къ Занфтлебену, то съ нимъ могло бы произойти совершенно тоже самое какъ и съ Гартунгомъ, до самоубійства включительно. А потому мнѣ кажется, въ дѣлѣ Гартунга, нечего ни стыдить судъ, ни стыдиться суду. Тутъ вѣдь фатумъ, трагедія: генералъ Гартунгъ до самой послѣдней минуты своей считалъ себя невиновнымъ и оставилъ записку...

— Да, но вѣдь вотъ однакожъ эта записка, скажутъ другіе. Вѣдь не возможно же чтобы въ такую минуту, человѣкъ, да еще вѣрующій какъ оказывается, могъ солгать. Значитъ онъ ничего не похитилъ, коли такъ торжественно заявилъ что не похитилъ. Да и сдѣлки тутъ никакой не могло быть у него

даже съ совѣстью: какъ бы ни былъ шатокъ и затемненъ смыслъ человѣка всей этой путаницей, но ужъ коли онъ говоритъ „я не похитилъ“, то онъ не можетъ не знать: „похитилъ онъ или не похитилъ?“ Это вѣдь просто дѣло рукъ человѣческихъ. Тутъ просто вопросъ: клалъ въ карманъ или не клалъ? Какъ же онъ могъ не знать еслибъ положилъ?

Это совершенно справедливо, но вотъ вѣдь что можетъ тутъ быть, и даже навѣрно: Вѣдь онъ написалъ только про одного себя: „я, дескать, ничего не похитилъ, и не думалъ о похищеніи“ — но вѣдь могли похитить другіе.

— Совершенно невозможно, возразятъ мнѣ: Если онъ далъ похитить другимъ, и зная о томъ какъ опекунъ — смолчалъ, то стало быть *и онъ похитилъ* съ другими! Генералъ Гартунгъ не могъ не понимать, что тутъ нѣтъ разницы.

Отвѣчу: во первыхъ, можно еще оспорить аргументъ, что „если зналъ, и далъ похитить, то стало быть и онъ похитилъ“, а во вторыхъ, тутъ несомнѣнно есть разница. А въ третьихъ, генералъ Гартунгъ могъ именно написать въ этомъ лишь буквальномъ смыслѣ о которомъ мы говоримъ: „т. е. я дескать лично не бралъ и *не хотѣлъ* брать ровно ничего, сдѣлали другіе и противъ моей воли. Я виновенъ лишь въ слабости, но не въ мошенничествѣ, потому что самъ ничего не хотѣлъ брать ни у кого и даже сопротивлялся. Сдѣлали другіе“... Онъ именно могъ написать въ этомъ смыслѣ свои роковыя слова, но въ тоже время, будучи столь честенъ и благороденъ, ни за что не могъ бы согласиться что „коли попустилъ украсть, значитъ самъ укралъ“. Онъ къ Богу шелъ и онъ зналъ что не хотѣлъ ни украсть, ни попустить, а такъ само укралось. Да ктому же замѣтьте, онъ никакъ бы и не могъ разъяснить въ этой запискѣ свои слова пошире: т. е. что виновенъ въ послабленіи, а не въ похищеніи и проч. Не могъ же онъ, джентльменъ, доносить на другихъ, — особенно въ такую торжественную минуту, въ которую онъ „простилъ врагамъ своимъ“.

А наконецъ, и это всего вѣроятнѣе, онъ можетъ быть не могъ въ своемъ сердцѣ сознаться даже и въ послабленіи, въ слабости, въ добродушномъ попущеніи. Тутъ можетъ быть была такая сѣть обстоятельствъ, которую онъ до самой послѣдней минуты, включительно, осмыслить не могъ, съ тѣмъ и ушелъ на тотъ свѣтъ. „Похищена-де вексельная книга“—и вотъ толковые люди, которымъ онъ вполнѣ довѣряется, убѣждаютъ его въ самомъ началѣ что вѣдь это просто пустяки, пропала сама какъ нибудь, потому что вѣдь никому она и не нужна. Они выводятъ ему цифрами, математически, что вексельная книга была бы во вредъ, а не къ пользѣ самимъ даже наслѣдникамъ. (Вѣдь этотъ самый аргументъ представляла же на судѣ потомъ защита, и кажется, онъ былъ справедливъ). Въ этомъ смыслѣ могло быть и все остальное выставлено и растолковано Гартунгу. Вѣдь, онъ дѣлъ не зналъ и его можно было убѣдить во всемъ. „Повѣрьте, дескать, мы тоже благородные люди, мы какъ и вы не хотимъ похитить *ничего* у наслѣдниковъ, но дѣла-то у Занфтлебена остались въ такомъ щекотливомъ видѣ, что если тамъ они (наслѣдники) узнаютъ теперь про вексельную книгу и все это, то могутъ прямо насъ обвинить въ мошенничествѣ, а потому надо скрыть отъ нихъ“. Эти „безпорядки Занфтлебена“ разумѣется открывались не вдругъ

сами, но знайте, что никогда не будетъ Старой Польши. Есть Новая Польша, Польша освобожденная Царемъ, Польша возрождающаяся, и которая несомнѣнно можетъ ожидать впереди, въ будущемъ, равной судьбы со всякимъ славянскимъ племенемъ, когда славянство освободится и воскреснетъ въ Европѣ. Но Старой Польши никогда не будетъ, потому что ужиться съ Россіей она не можетъ. Ея идеалъ стать на мѣстѣ Россіи въ славянскомъ мірѣ. Ея девизъ обращенный къ Россіи: „Otes-toi de là que je m'y mette". Любопытно, что польскій передовой застрѣльщикъ говоритъ лишь объ ученыхъ и художникахъ. Ну, а предводители эмиграціи, аристократы? Вообразить только картину, что Россія поддалась льстивымъ словамъ и объявила, что хочетъ мириться; и вотъ они сидятъ и надменно спрашиваютъ: „какія ваши условія?"

Потому что если вы предлагаете намъ впустить эмигрантовъ въ Россію, а сами они не идутъ, *значитъ они дожидаются условій.* И вотъ представьте себѣ, что Россія ихъ вдругъ признаетъ за нѣчто, за воюющую сторону, и начнетъ эти переговоры! И вотъ они перебираются въ Россію, магнаты съ перваго-же разу фрондируютъ, требуютъ знатныхъ мѣстъ и отличій; затѣмъ тотчасъ-же кричатъ на всю Европу что ихъ обманули, затѣмъ начинаютъ польскій бунтъ... И Россія поддастся на такую бѣду, сдѣлаетъ такую глупость! Разумѣется поляки не могли вѣрить сами чтобы такая грубая выходка ихъ могла обмануть Россію. Но на чистыхъ сердцемъ русскихъ сторонниковъ они разсчитывали. Что это дѣло клерикаловъ, клерикальный шагъ въ Россію — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Спросятъ для чего-же этотъ шагъ? А развѣ клерикаламъ не надо сондировать положеніе, путать мысли, скрывать настоящіе свои шаги, пріобрѣтать русскія перья, волновать русскую Польшу и проч., и проч.? Да мало-ли какіе у нихъ могли быть разсчеты!

III.

Выходка „Биржевыхъ Вѣдомостей". Не бойкія, а злыя перья.

Мы говорили сейчасъ про „бойкія перья". Но есть у насъ перья вовсе не бойкія, но отвратительныя. И они тоже (да еще какъ) свищутъ съ польскими соловьями въ унисонъ, но поляки ихъ даже и не направляютъ; все дѣлается безкорыстно, не вѣдая что творятъ. Тутъ просто злоба, обманутыя надежды и потерпѣвшее самолюбіе. Такова статья „Биржевыхъ Вѣдомостей" (№ 257). о господинѣ Иловайскомъ; хоть бы написать-то съумѣли, а то вѣдь такъ противъ себя и валяютъ!

Всѣмъ извѣстно, что нашъ ученый г. Иловайскій, былъ арестованъ и оскорбленъ въ Галиціи. Проѣзжая съ ученою цѣлью Галицію онъ обратился, по ошибкѣ, къ одному польскому ксендзу съ просьбою указать ему мѣстныя древности. Потомъ онъ уже нашелъ русскаго священника, но злобный ксендзъ тотчасъ же донесъ на него, подъ предлогомъ, что это русскій панславистъ, пропагаторъ и агитаторъ. Г. Иловайскаго арестовали безо всякой церемоніи, обыскивали, возили изъ тюрьмы въ тюрьму и, наконецъ-то, заступничествомъ одного мѣстнаго ученаго, его препроводили до русской границы. У насъ это тотчасъ-же разгласилось: „Московскія Вѣдомости" помѣстили статью. Заговорили наши газеты, но многія

безъ особаго жару, а просто какъ о курьезѣ. Фактъ оскорбленія русскаго ученаго, ни за что ни прочто, показался, кажется, всѣмъ обыкновеннымъ фактомъ. Самъ г. Иловайскій напечаталъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ тоже нѣсколько строкъ на статьи враждебныхъ газетъ, кроткихъ строкъ, вялыхъ и сонныхъ. Но за то наши биржевики, которымъ вся Россія представляется лишь съ точки зрѣнья своего кармана и которымъ до Россіи ровно никакого нѣтъ дѣла, услужили ей удивительную услугу. Вотъ эта статья „Биржевыхъ Вѣдомостей“:

... „Что такое начудилъ г. Иловайскій въ Галиціи? Какую это онъ затѣялъ тамъ пропаганду?

Неужели несчастія, переживаемыя теперь Россіей, недостаточны еще для того чтобы выгнать дурь изъ головы нашихъ закоруз-лыхъ панславистовъ, и неужели послѣ того, что происходитъ теперь у всѣхъ на глазахъ, у нихъ хватаетъ духа продолжать юродство и скоморошество съ этой всеславянской чепухой, приготовляющей для насъ неисчислимыя государственныя бѣдствія и всѣмъ намъ давно уже опротивѣвшей?

Пока наши отупѣвшіе отъ ничего недѣланья панслависты ограничивались пересылкой всеславянскихъ колоколовъ, это ни до кого не касалось, и они могли забавляться этимъ сколько угодно, но когда они вмѣстѣ съ колоколами начинаютъ посылать туда своихъ пономарей для благовѣста,—дѣло получаетъ уже совсѣмъ иное значеніе.

Кто же призвалъ и кто уполномочилъ г. Иловайскаго на его панславистскую пропаганду.

Понимаетъ онъ или не понимаетъ, къ какимъ она можетъ привести послѣдствіямъ въ особенности теперь, въ настоящую минуту? Вы извергаете, господа, ругательства на Клапку за то, что тотъ подстрекаетъ Мадьяръ на пособничество туркамъ,—а что же дѣлаете вы сами, что дѣлаетъ г. Иловайскій подъ видомъ изученія славянскихъ древностей? Что, вамъ мало еще того зла, которое породило ваше прошлогоднее юродство? Чего вы еще хотите? Какую еще новую кашу вы заварить желаете? Чтобы бросить камень въ воду, васъ достанетъ на это, мы это хорошо знаемъ; но вы должны помнить также, что камни, вами бросаемые, приходится иногда вытаскивать всѣми народными силами, добывать ихъ цѣною кровавыхъ жертвъ и народнаго истощенія.

Перестаньте же дурачиться; на все есть свое время. Если до сихъ поръ во всѣхъ благоразумныхъ людяхъ вы возбуждали къ себѣ только насмѣшку, то теперь къ вамъ не иначе будутъ относиться какъ съ негодованіемъ“.

Эти люди говорятъ о негодованіи! Послушайте, *какъ смѣли* вы написать, не зная дѣла, такъ утвердительно, на всю Россію и на всю Европу (ибо ваша статья имѣла въ Европѣ *свое* значеніе) — какъ смѣли вы написать про г. Иловайскаго: „кто же призвалъ и кто уполномочилъ г. Иловайскаго на его панславистскую пропаганду“? и потомъ, послѣ смѣшнаго сравненія г. Иловайскаго съ Клапкой: „а что же дѣлаете вы сами, что дѣлаетъ г. Иловайскій *подъ видомъ изученія славянскихъ древностей*“? Какъ смѣли вы написать объ этомъ такъ *утвердительно* послѣ того какъ *совершенно знаете*, что все это неправда? Неужто вы думаете что вамъ позволятъ предавать Россію. Вы спрашиваете о г. Иловайскомъ: „Понимаетъ онъ или не понимаетъ“, а я васъ самого спрошу г. публицистъ: понимаете-ли вы, или не понимаете что вы надѣлали! Вѣдь въ Австріи не спросятъ: какой человѣкъ это писалъ, умный или неумный, образованный или необразованный, знаетъ онъ хоть что нибудь въ панславизмѣ или ничего не знаетъ и никогда ничего не читалъ объ немъ? Вѣдь въ Австріи прямо скажутъ: „стало быть правда что Россія посылаетъ агитаторовъ? Еслибъ не правда была, какъ могла бы *такъ утвердительно*, съ такимъ жаромъ и такъ укоризненно обращаться къ панслави-

стамъ большая, петербургская, ежедневная, независимая газета въ высшей степени подтверждающая фактъ разсылки эмиссаровъ для агитаторства? Вѣдь писавшій это самъ русскій, скажутъ они, его бы остановилъ патріотизмъ, наконецъ, и побудилъ бы скрыть преступленье. Но онъ не могъ скрыть истину потому что негодованіе патріота вылилось наружу на панславистовъ, готовящихъ стало быть дѣйствительно страшныя бѣдствія Россіи своей отчаянной пропагандой и агитаціей въ Австріи и въ славянскихъ земляхъ. Стало быть, намъ нечего извиняться за арестъ какого-то тамъ Иловайскаго, напротивъ надо усилить аресты и всѣхъ русскихъ въ Австріи держать впредь подъ полицейскимъ надзоромъ. Не намъ просить извиненія, а русское правительство должно просить у насъ извиненія за то, что такъ открыто позволяетъ у себя дѣятельность зловредныхъ политическихъ, направленныхъ противъ Австріи, обществъ, а къ намъ пропускаетъ поминутно массами пропагаторовъ и агитаторовъ, бунтующихъ австрійскихъ славянъ противъ законнаго правительства".

Это несомнѣнно скажутъ въ Австріи и статью вашу несомнѣнно примутъ къ свѣденію въ этомъ самомъ смыслѣ, г. публицистъ. Что-же это, не предательство, какъ вы думаете? Не предаете вы интересы Россіи полякамъ и австрійцамъ? Не поддерживаете вы политическую смуту и не служите ей? Вѣдь вы знаете *навѣрно*, *вполнѣ*, *въ точности*, что никакихъ эмиссаровъ не посылалось ни кѣмъ никогда, какъ же вы смѣли написать про г. Иловайскаго что онъ ѣздилъ сѣять смуту *подъ видомъ изученія славянскихъ древностей?* Есть-ли кто въ Россіи кто вамъ въ этомъ повѣритъ? Между тѣмъ вы выражаетесь объ этомъ дѣлѣ такъ утвердительно, какъ будто знаете его какъ свои пять пальцевъ. Кто-же сѣетъ смуту?

Теперь о другомъ: утоливъ вашу злобу, написавъ завѣдомую неправду вы позволяете еще себѣ надѣяться, послѣ вашего-то поступка столь явнаго предательства русскихъ интересовъ старополякамъ и австрійцамъ, и всякой безконечной и вѣчно агитирующей противъ насъ европейской швали, — на сочувствіе къ вамъ русскихъ читателей? Неужели вы такъ низко объ нихъ думаете?

И что за тонъ? Что за трепетаніе, что за приниженіе передъ Австріей! „Изволитъ, дескать, она осердиться!" У Гоголя атаманъ говоритъ козакамъ: „милость чужаго короля, да и не короля, а милость польскаго магната, который желтымъ чоботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, дороже для нихъ всякаго братства". Это атаманъ говоритъ про предателей. Неужели вамъ хочется чтобы и русскіе, въ трепетѣ животнаго страха за свои интересы и деньги, склонялись точно также передъ какимъ нибудь желтымъ чоботомъ? Напротивъ, не лучшая-ли наша политика съ Австріей, именно теперь, именно въ эту минуту, — политика высшаго собственнаго національнаго достоинства, а не та, которую вы желаете. Вѣдь чѣмъ болѣе мы выкажемъ приниженія, котораго вы такъ желаете, тѣмъ болѣе и въ той-же степени укрѣпимъ и усилимъ ея домогательства. Да и чего намъ бояться Австріи, она никогда не въ силахъ будетъ извлечь противъ насъ свой мечъ, еслибъ и захотѣла того. Напротивъ, именно теперь настала пора для политики прямой и откровенной, для того, чтобы не вышло потомъ, при окончаніи вой-

ны печальныхъ недоразумѣній. Намъ нечего давать на себя векселя. Точно также мы должны смотрѣть и на Англію. Они должны понять покрайней мѣрѣ, что мы ихъ не можемъ бояться, и что мы, напротивъ, въ силахъ имъ сдѣлать больше зла, чѣмъ они намъ. Это они должны знать, между тѣмъ они объ насъ имѣютъ ложныя свѣденія, укрѣпляемыя вотъ именно такими выходками, какъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“. Не въ Австріи-ли поддерживалось лѣтомъ убѣжденіе, что сила Россіи была миражъ, всѣхъ обманувшій, и что впредь нельзя считать уже Россію сильной военной державой. Вотъ тогда-то и возросъ ея тонъ. Не въ Англіи-ли были убѣждены, тоже въ высшихъ сферахъ, что 10.000 человѣкъ англійскаго войска, высаженные въ Трапезундѣ, порѣшили-бы навсегда всю нашу *zadavu* на Востокѣ и на Кавказѣ. Мы то ихъ знаемъ, а они то насъ стало быть не знаютъ. Но плохая услуга Россіи предавать ея интересы недругамъ нашимъ и представлять ее въ трусливомъ и приниженномъ видѣ, тогда какъ этого нѣтъ нисколько и все ложь.

Ѳ. Достоевскій.

У автора „Дневника Писателя“ можно получать слѣдующія его сочиненія:

Романъ „БѢСЫ“, въ трехъ томахъ, цѣна 3 р. 50 коп.
——— „ИДІОТЪ“, въ двухъ томахъ, цѣна 3 р. 50 коп.
——— „ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА“, 4-е изданіе въ одномъ томѣ, цѣна 2 рубля.
——— „ПОДРОСТОКЪ“, три тома, цѣна 3 р. 50 коп.

Вышелъ въ свѣтъ **четвертымъ изданіемъ** и поступилъ въ продажу романъ Ѳ. М. Достоевскаго **„ПРЕСТУПЛЕНІЕ И НАКАЗАНІЕ“**, два тома, цѣна 3 р. 50 коп.

Подписчики „Дневника Писателя“, обращающіеся за означенными сочиненіями къ автору, получаютъ 20% уступки; иногородные же пользуются, кромѣ того, безплатною пересылкою.

Гг. подписчики, при каждомъ заявленіи о перемѣнѣ своихъ адресовъ, благоволятъ прилагать по 30 коп. (почтов. марками).

11-й (ноябрьскій) выпускъ выйдетъ 30 ноября.

Дозволено цензурою Спб. 30 октября 1877. Типогр. кн. В. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ГОДЪ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ. II-й,

1877.

НОЯБРЬ.

ПОДПИСКА НА „ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ“ ВЪ СЛѢДУЮЩЕМЪ 1878 ГОДУ

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

Подписка на „Дневникъ Писателя“ въ текущемъ 1877 году продолжается.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Что значитъ слово: „стрюцкіе“?

Въ два года изданія моего „Дневника“ я, раза два-три, употребилъ малоизвѣстное слово „стрюцкіе“ и получилъ нѣсколько запросовъ, изъ Москвы и изъ губерній: „что значитъ слово „стрюцкіе“? Извиняюсь, что не отвѣтилъ никому до сихъ поръ: все хотѣлъ какъ нибудь, между строчками, отвѣтить въ „Дневникѣ“. Теперь, заканчивая „Дневникъ“ отведу нѣсколько строкъ и непонятному петербургскому словцу, и если начинаю съ этой мелочи первую страницу ноябрьскаго выпуска, то именно потому, что откладывая на послѣднюю страницу, какъ прежде дѣлывалъ, почти всегда не находилъ свободнаго мѣста для „стрюцкихъ“ изъ за другихъ темъ и каждый разъ приходилось откладывать объясненіе опять до слѣдующаго выпуска.

Слово „стрюцкій, стрюцкіе“ есть

слово простонародное, употребляющееся единственно въ простомъ народѣ и кажется только въ Петербургѣ. Такъ что это слово, кажется, и изобрѣтено въ Петербургѣ. Пишу: *кажется*, потому что сколько ни разспрашивалъ людей „компетентныхъ“, не могъ ни отъ кого добиться: откуда оно взялось, почему такъ сложились звуки его, употребляется-ли оно хоть гдѣнибудь въ Россіи кромѣ Петербурга и наконецъ — дѣйствительно-ли въ Петербургѣ оно изобрѣтено? Что до меня, то мнѣ опять таки „кажется“ (утвердительнѣе не могу выразиться) что слово это есть слово чисто петербургское и изобрѣтено собственно петербургскимъ простонародьемъ, но кѣмъ, когда, давно-ли?—не знаю. Означаетъ же оно, по неоднократнымъ разспросамъ моимъ у народа, и сколько я понялъ, слѣдующее:

„Стрюцкій“—есть человѣкъ пустой, дрянной и ничтожный. Въ большинствѣ случаевъ, а можетъ быть и всегда — пьяница, пропоица, потерянный человѣкъ. Кажется впрочемъ стрюцкимъ могъ-бы быть названъ, въ иныхъ случаяхъ, и не пьяница. Но главныя свойства этого пустого и дрянного пьянчужки, заслужившія ему особое наименованье, выдумку цѣлаго новаго слова,—это, во первыхъ, пустоголовость, особаго рода вздорность, безмозглость, неосновательность. Это крикливая ничтожность. Кричатъ вечеромъ въ праздникъ на улицѣ пьяные; слышенъ споръ, изступленный зовъ городоваго; въ сбившейся въ кучу толпѣ ясно отличается чей-то протестующій, взывающій, жалующійся и угрожающій голосъ. Много напускного гнѣва. Вы подходите, освѣдомляетесь что такое? Въ отвѣтъ смѣются, махаютъ рукой и отходятъ: „пустяки, стрюцкіе!“ Слово стрюцкіе произносится при этомъ съ пренебреженіемъ, съ презрѣніемъ. Всегда съ презрѣніемъ, и если-бъ дѣйствительно этотъ кричащій человѣкъ былъ прибитъ или обиженъ, то и тутъ кажется не нашелъ-бы сочувствія, а только презрѣніе, потому что онъ лишь „стрюцкій“ т. е. все въ немъ вздоръ и что кричитъ онъ—и то все вздоръ, и что прибили его и то вздоръ, самый „нестоящій человѣкъ“ какой есть. Прибавлю что стрюцкіе большею частью въ худомъ платьѣ, одѣты не по сезону, въ прорванныхъ сапогахъ. Прибавлю тоже, что „кажется“ стрюцкимъ обзывается только тотъ, кто въ нѣмецкомъ платьѣ. Впрочемъ не ручаюсь, но кажется это такъ.

Второй существенный признакъ пьяницы-пропоицы, называемаго „стрюцкимъ“, кромѣ вздорности и неосновательности его, — есть недостаточноопредѣленное положеніе его въ обществѣ. Мнѣ думается, что человѣкъ, имѣющій деньги, домъ, или какое-нибудь имѣніе, мало-того имѣющій чуть-чуть твердое и опредѣленное мѣсто, хотя-бы и рабочимъ на фабрикѣ, не могъ-бы быть названъ „стрюцкимъ“. Но если у него есть и заведеніе, лавка, лавочка или что нибудь, но ведетъ онъ все это неосновательно, какъ-нибудь, безъ разсчета, то онъ можетъ попасть въ стрюцкіе. И такъ „стрюцкій“ это ничего не стоящій, не могущій нигдѣ ужиться и установиться, неосновательный и себя непонимающій человѣкъ, въ пьяномъ видѣ часто рисующійся фанфаронъ, крикунъ, часто обиженный и всего чаще потому что самъ любитъ быть обиженнымъ, призыватель городоваго, караула, властей — и все вмѣстѣ пустякъ, вздоръ, мыльный пузырь, возбуждающій презрительный смѣхъ: „Э, пустое, стрюцкій“.

Повторяю, мнѣ кажется это слово

есть исключительно петербургское. Но употребляется-ли въ другихъ мѣстахъ Россіи—не знаю. Въ простонародьи въ Петербургѣ оно очень распространено. Въ Петербургѣ очень много наплывного народа изъ губерній, а потому довольно вѣроятно что словцо можетъ перейти и въ другія губерніи, если еще не перешло. Войдетъ можетъ быть и въ литературу: кажется и другіе писатели кромѣ меня его употребляли. Въ этомъ словѣ для литератора привлекательна сила того оттѣнка презрѣнія, съ которымъ народъ обзываетъ этимъ словомъ именно только вздорныхъ, пустоголовыхъ, кричащихъ, неосновательныхъ, рисующихся въ дрянномъ гнѣвѣ своемъ дрянныхъ людишекъ. Такихъ людишекъ много вѣдь и въ интелигентныхъ кругахъ, и въ высшихъ кругахъ—неправда-ли? только не всегда пьяницъ и не въ прорванныхъ сапогахъ, но въ этомъ часто все и различіе. Какъ удержаться и не обозвать иногда и этихъ высшихъ „стрюцкими“, благо слово готово и соблазнительно тѣмъ оттѣнкомъ презрѣнія, съ которымъ выговариваетъ его народъ?

II.

Исторія глагола „стушеваться“.

Кстати, по поводу происхожденія и употребленія новыхъ словъ. Въ литературѣ нашей есть одно слово: „стушеваться“, всѣми употребляемое, хоть и не вчера родившееся но и довольно недавнее, не болѣе трехъ десятковъ лѣтъ существующее; при Пушкинѣ оно совсѣмъ не было извѣстно и не употреблялось никѣмъ. Теперь же его можно найти не только у литераторовъ, у бельлетристовъ, во всѣхъ смыслахъ, съ самого шутливаго и до серьезнѣйшаго, но можно найти и въ научныхъ трактатахъ, въ диссертаціяхъ, въ философскихъ книгахъ; мало того, можно найти въ дѣловыхъ департаментскихъ бумагахъ, въ рапортахъ, въ отчетахъ, въ приказахъ даже: всѣмъ оно извѣстно, всѣ его понимаютъ, всѣ употребляютъ. И однако во всей Россіи есть одинъ только человѣкъ, который знаетъ точное происхожденіе этого слова, время его изобрѣтенія и появленія въ литературѣ. Этотъ человѣкъ—я, потому что ввелъ и употребилъ это слово въ литературѣ въ первый разъ—я. Появилось это слово въ печати, въ первый разъ, 1-го января 1846 года, въ „Отечественныхъ Запискахъ“, въ повѣсти моей: „Двойникъ, приключенія господина Голядкина“.

Первая повѣсть моя „Бѣдные люди“ была начата мною въ 1844 году, была окончена, стала извѣстна Бѣлинскому и была принята Некрасовымъ для его альманаха „Петербургскій Сборникъ“ въ 1845 году. Вышелъ этотъ альманахъ въ концѣ 45 го года. Но въ этомъ-же 1845 году я и началъ, лѣтомъ, уже послѣ знакомства съ Бѣлинскимъ, эту вторую мою повѣсть: „Двойникъ, приключенія господина Голядкина“. Бѣлинскій, съ самаго начала осени 45-го года, очень интересовался этой новой моей работой. Онъ повѣстилъ объ ней, еще не зная ее, Андрея Александровича Краевскаго, у котораго работалъ въ журналѣ, съ которымъ и познакомилъ меня и съ которымъ я и уговорился что эту новую повѣсть „Двойникъ“ я, по окончаніи, дамъ ему въ „Отечественныя Записки“ для первыхъ мѣсяцевъ наступающаго 46-го года. Повѣсть эта мнѣ положительно не удалась, но идея ея

была довольно свѣтлая, и серьезнѣе этой идеи я никогда ничего въ литературѣ не проводилъ. Но форма этой повѣсти мнѣ не удалась совершенно. Я сильно исправилъ ее потомъ, лѣтъ пятнадцать спустя, для тогдашняго „Общаго собранія“ моихъ сочиненій, но и тогда опять убѣдился что эта вещь совсѣмъ неудавшаяся, и если-бъ я теперь принялся за эту идею и изложилъ ее вновь, то взялъ-бы совсѣмъ другую форму; но въ 46-мъ году этой формы я не нашелъ и повѣсти не осилилъ.

Тѣмъ не менѣе, кажется въ началѣ декабря 45-го года, Бѣлинскій настоялъ, чтобъ я прочелъ у него хоть двѣ-три главы этой повѣсти. Для этого онъ устроилъ даже вечеръ (чего почти никогда не дѣлывалъ) и созвалъ своихъ близкихъ. На вечерѣ помню былъ Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, прослушалъ лишь половину того что я прочелъ, похвалилъ и уѣхалъ, очень куда-то спѣшилъ. Три или четыре главы, которыя я прочелъ, понравились Бѣлинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того). Но Бѣлинскій не зналъ конца повѣсти и находился подъ обаяніемъ Бѣдныхъ людей. Ну вотъ тутъ-то, на этомъ чтеніи, и употреблено было мною, въ первый разъ, слово „стушеваться“ столь потомъ распространившееся. Повѣсть всѣ забыли, она и стоитъ того, а новое слово подхватили, усвоили и утвердили въ литературѣ.

Слово „стушеваться“ значитъ исчезнуть, уничтожиться, сойти такъ сказать *на нѣтъ*. Но уничтожиться не вдругъ, не провалившись сквозь землю, съ громомъ и трескомъ, а такъ сказать деликатно, плавно, непримѣтно погрузившись въ ничтожество. Похоже на то, какъ сбываетъ тѣнь на затушеванной тушью полосѣ въ рисункѣ, съ чернаго постепенно на болѣе свѣтлое и наконецъ совсѣмъ на бѣлое, *на нѣтъ*. Должно быть въ „Двойникѣ“ это словцо было мною употреблено удачно въ тѣхъ первыхъ же трехъ главахъ, которыя я прочелъ у Бѣлинскаго, при изображеніи того, какъ умѣлъ кстати исчезнуть со сцены одинъ досадный и хитренькій человѣчекъ (или въ родѣ того, я забылъ). Потому такъ говорю, что новое словцо не возбудило никакого недоумѣнія въ слушателяхъ, напротивъ всѣми было вдругъ понято и отмѣчено. Бѣлинскій прервалъ меня именно съ тѣмъ, чтобъ похвалить выраженіе. Всѣ слушавшіе тогда (всѣ и теперь живы) тоже похвалили. Очень помню, что похвалилъ и Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ (онъ вѣрно теперь позабылъ). Хвалилъ потомъ очень и Андрей Александровичъ Краевскій. Кромѣ этихъ существуютъ и еще лица, которыя, я думаю, могутъ припомнить, что и они капельку поинтересовались тогда новымъ словцомъ. Но принялось оно и вошло въ литературу не сейчасъ, а весьма постепенно и непримѣтно. Помню, что выйдя, въ 1854 году, въ Сибири изъ острога, я началъ перечитывать всю написанную безъ меня за пять лѣтъ литературу (Записки Охотника едва при мнѣ начавшіяся и первыя повѣсти Тургенева я прочелъ тогда разомъ, залпомъ и вынесъ упоительное впечатлѣніе. Правда, тогда надо мной сіяло степное солнце, начиналась весна, а съ ней совсѣмъ новая жизнь, конецъ каторги, свобода!) — и такъ начавъ перечитывать я былъ даже удивленъ какъ часто стало мнѣ встрѣчаться слово „стушеваться“. Потомъ въ шестидесятыхъ годахъ оно уже совершенно освоилось въ литературѣ, а

теперь, повторяю, я даже въ дѣловыхъ бумагахъ, публикуемыхъ въ газетахъ, его встрѣчаю, и даже въ ученыхъ диссертаціяхъ. И употребляется оно именно въ томъ смыслѣ, въ которомъ я въ первый разъ его употребилъ.

Впрочемъ, если я и употребилъ его въ первый разъ въ литературѣ, то изобрѣлъ его все же не я. Словцо это изобрѣлось въ томъ классѣ Главнаго инженернаго Училища, въ которомъ былъ и я, именно моими однокурсниками. Можетъ быть и я участвовалъ въ изобрѣтеніи, не помню. Оно само какъ-то выдумалось и само ввелось. Во всѣхъ шести классахъ Училища мы должны были чертить разные планы, фортификаціонные, строительные, военно-архитектурные. Умѣніе хорошо начертить планъ самому, своими руками, требовалось строго отъ каждаго изъ насъ, такъ что и не имѣвшіе охоты къ рисованію поневолѣ должны были стараться во что бы то ни стало достигнуть извѣстнаго въ этомъ искусства. Баллы, выставляемые за рисунки плановъ шли въ общій счетъ и вліяли на величину средняго балла. Вы могли выходить изъ верхняго офицерскаго класса на службу превосходнымъ математикомъ, фортификаторомъ, инженеромъ, но если представленные вами рисунки были плоховаты, то выставляемый за нихъ баллъ, идя въ общій разсчетъ, до того могъ уменьшить вамъ средній баллъ, что вы могли лишиться весьма значительныхъ льготъ при выпускѣ, напримѣръ слѣдующаго чина, а потому всѣ старались научиться рисовать хорошо. Всѣ планы чертились и оттушевывались тушью, и всѣ старались добиться, между прочимъ, умѣнья хорошо стушевывать данную плоскость, съ темнаго на свѣтлое, на бѣлое, и на нѣтъ; хорошая стушевка придавала рисунку щеголеватость. И вдругъ у насъ въ классѣ заговорили: „гдѣ такой-то?—Э, куда-то стушевался!“—Или напримѣръ разговариваютъ двое товарищей, одному надо заниматься: „ну, говоритъ одинъ садящійся за книги другому, ты теперь стушуйся. Или говоритъ, напримѣръ, верхнеклассникъ, новопоступившему изъ низшаго класса: „я васъ давеча звалъ, куда вы изволили стушеваться?“ Стушеваться именно означало тутъ удалиться, исчезнуть, и выраженіе взято было именно съ стушевыванія, т. е. съ уничтоженія, съ перехода съ темнаго *на нѣтъ*. Очень помню, что словцо это употреблялось лишь въ нашемъ классѣ, врядъ ли было усвоено другими классами, и когда нашъ классъ оставилъ Училище, то кажется съ нимъ оно и исчезло. Года черезъ три я припомнилъ его и вставилъ въ повѣсть.

Написалъ я столь серьезно такое пространное изложеніе исторіи такого неважнаго словца — хотя бы для будущаго ученаго собирателя русскаго словаря, для какого нибудь будущаго Даля, и если я читателямъ теперь надоѣлъ, то за то будущій Даль меня поблагодаритъ. Ну такъ пусть для него одного и написано. Если-же хотите то, *для ясности*, покаюсь вполнѣ: мнѣ, въ продолженіе всей моей литературной дѣятельности, *всего болѣе* нравилось въ ней то, что и мнѣ удалось ввести совсѣмъ новое словечко въ русскую рѣчь, и когда я встрѣчалъ это словцо въ печати, то всегда ощущалъ самое пріятное впечатлѣніе; ну теперь стало быть вы поймете почему я нашелъ возможнымъ описать такіе пустяки даже въ особой статейкѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Лакейство или деликатность?

Извѣстно, что всѣ русскіе интелигентные люди чрезвычайно деликатны, т. е. въ тѣхъ случаяхъ, когда они имѣютъ дѣло съ Европой или думаютъ, что на нихъ смотритъ Европа,—хотя бы та впрочемъ и не смотрѣла на нихъ вовсе. О, дома, про себя и между собою, мы свое возьмемъ, дома весь европеизмъ по боку—взять лишь, походя, наши отношенія семейныя, гражданскія, чести, долга, въ самомъ огромномъ большинствѣ случаевъ. Да и кто изъ проповѣдующихъ „европейскія“ идеи серьезно у насъ въ нихъ вѣритъ? Конечно лишь люди честные и при этомъ непремѣнно добрые (такъ что и вѣрятъ-то лишь по добротѣ души), но вѣдь много-ль у насъ такихъ-то? Если ужь все говорить, такъ вѣдь у насъ можетъ быть нѣтъ ни одного европейца, потому что мы и не способны быть европейцами. Умы же передовые, биржевые и всячески руководящіе берутъ у насъ съ европейскихъ идей лишь оброкъ, и я думаю, что это у насъ такъ и есть, повсемѣстно. Не говорю, конечно, про людей съ большимъ здравымъ смысломъ: тѣ не вѣрятъ въ европейскія идеи, потому что и вѣрить-то не во что, ибо никогда и ничто на свѣтѣ не отличалось такою неясностью, туманностью, неопредѣленностью и неопредѣлимостью какъ тотъ „*циклъ идей*“, который мы нажили себѣ въ двухсотлѣтній періодъ нашего европейничанія,—а въ сущности не циклъ, а хаосъ обрывковъ чувствъ, чужихъ недопонятыхъ мыслей, чужихъ выводовъ и чужихъ привычекъ, но особенно словъ, словъ и словъ—самыхъ европейскихъ и либеральныхъ конечно, но для насъ все-же словъ, и только словъ.

Объяснить все это прямо попугайствомъ нельзя. Тоже и лакействомъ мысли нельзя, русскимъ лакействомъ мысли передъ Европой. Лакейства мысли у насъ много и очень даже, но высшая причина нашей европейской кабалы все же не лакейство, а скорѣе наша русская, врожденная намъ деликатность передъ Европой. Скажутъ, что вѣдь это пожалуй одно и тоже, что и лакейство. Во многихъ случаяхъ—да, но нельзя сказать, чтобъ всегда. (Я разумѣется объ руководящихъ плутахъ, о которыхъ замѣтилъ выше, и не говорю: этимъ европейцамъ до Европы ровно никакого дѣла нѣтъ, и никогда не бывало. Они какъ умные люди въ мутной водѣ рыбу ловятъ, всѣ два вѣка ловили).

Вотъ какъ говоритъ, напримѣръ, англичанинъ Гладстонъ о теперешней русской войнѣ съ Турціей:

„Что бы ни говорили о нѣкоторыхъ другихъ главахъ русской исторіи, освобожденіемъ многихъ милліоновъ порабощенныхъ народовъ отъ жестокаго и унизительнаго ига Россія окажетъ человѣчеству одну изъ самыхъ блестящихъ услугъ, какія только помнитъ исторія, услугу, которая никогда не изгладится изъ благодарной памяти народовъ“.

Какъ вы думаете, откровенно спрашивая, могъ ли бы произнесть такія слова русскій европеецъ? Да никогда въ жизни! Онъ проглотилъ бы языкъ

свой прежде, чѣмъ это произнести; онъ отъ деликатности, не то что передъ Европой, а передъ самимъ собой покраснѣетъ, если только услышитъ это, или прочтетъ по-русски и у русскаго. Помилуйте, да какъ мы смѣемъ... въ калашный рядъ!.. И „*для всего человѣчества*“ — это мы то русскіе! Да мы еще рыломъ не вышли для этого, у насъ еще рожа крива, чтобъ „освобождать человѣчество“. И при этомъ все не либеральныя такія мысли: „Россія освобождаетъ народы“—какая нелиберальная мысль!

Вотъ искреннее мнѣніе русскаго европейца чистаго типа, и онъ отрубитъ себѣ сначала пальцы чѣмъ напишетъ тоже что и Гладстонъ. „Гладстону де можно пожалуй такъ сочинять; онъ или не понимаетъ ничего въ Россіи, или себѣ на умѣ сочиняетъ, для дальнѣйшихъ цѣлей“ — вотъ что думаетъ европеецъ. А иные изъ нихъ, подобрѣе и погорячѣе, тутъ же пожалуй прибавятъ про себя не безъ гордости: „а вѣдь мы, русскіе европейцы, пожалуй что и либеральнѣе европейскихъ-то европейцевъ, дальше пошли: кто у насъ изъ трезвыхъ умовъ заикнется теперь объ какомѣ-то „освобожденіи народовъ“? Вотъ ретроградство-то! И Гладстонъ такія вещи говоритъ не стыдясь!“

Какъ это все назвать господа? Лакействомъ или деликатностью передъ Европой?

Я все стою на томъ, что въ европейскомъ періодѣ нашей исторіи огромную роль играла деликатность. Вѣдь изъ этихъ европейцевъ нашихъ такъ много людей честнѣйшихъ, смѣлыхъ, людей чести, хоть и чужой, усвоенной, хоть и не понимаемой можетъ быть самимъ-то рыцаремъ, потому что все же это европейская для него тарабарщина, но все же чести,— людей, которые лично себѣ на ногу наступить не позволятъ. Ну какъ же прямо такъ-таки и назвать ихъ лакеями? Нѣтъ, деликатность заѣла насъ, а не лакейство. Опять-таки разумѣется передъ Европой деликатность: у себя дома мы свое наверстаемъ.

Дамы, восторженно подносившія туркамъ конфекты и сигары, разумѣется дѣлали это тоже изъ деликатности: „какъ дескать мы мило, нѣжно, мягко, гуманно, европейски просвѣщены“! Теперь этихъ дамъ вразумили отчасти нѣкоторые грубые люди, но прежде, до вразумленія,—ну положимъ на другой день послѣ того поѣзда турокъ, въ который бросали букетами и конфектами.—что еслибъ прибылъ другой поѣздъ съ турками же, а въ немъ тотъ самый баши-бузукъ, о которомъ писали, что особенно отличается умѣніемъ разрывать съ одного маху, схвативъ за обѣ ножки, груднаго ребенка на двѣ части, а у матери тутъ же выкроить изъ спины ремень? Да я думаю, эти дамы встрѣтили бы его визгомъ восторга, готовы были бы отдать ему не только конфекты, но что нибудь и получше конфектъ, а потомъ пожалуй завели бы рѣчь въ дамскомъ своемъ комитетѣ о стипендіи имени его въ мѣстной гимназіи. О, повѣрьте, что деликатность до всего можетъ у насъ дойти и предположеніе это вовсе не фантастическое. Смотря на себя въ зеркало эти дамы, я думаю, сами бы влюбились въ себя: „какія мы гуманныя, какія мы либеральныя милочки!“ И неужели вы думаете что эта фантастическая картинка не могла бы осуществиться? Тотъ высокомѣрный взглядъ, который бросаетъ иной европеецъ теперь на народъ нашъ и на движеніе его, отрицая во всемъ наро-

дѣ нашемъ всякую мысль и движеніе, „кромѣ глупокликушечьихъ выходокъ изъ тысячей простонародья какого-нибудь одного дурака“, неужели такой взглядъ, возможность такого взгляда, обратившаяся въ дѣйствительность, не стоитъ изображенной выше фантастической картинки?

Деликатность передъ Европой съ нами повсемѣстно. Турецкіе плѣнные потребовали бѣлаго хлѣба и имъ явился бѣлый хлѣбъ. Турецкіе плѣнные отказались работать. Князь Мещерскій—очевидецъ, повѣствуетъ въ своемъ „Дневникѣ“ съ Кавказа, что —

Плѣнные паши выѣхали изъ Тифлиса. Ихъ хотѣли везти на перекладныхъ, но они взбунтовались и изволили объявить, что не поѣдутъ, ибо не привыкли къ русскимъ телѣгамъ. Вслѣдствіе этого, имъ поданы были почтовыя кареты и рессорные экипажи, съ шестернями лошадей къ каждому экипажу. На это они изволили заявить свое удовольствіе и, вслѣдствіе огромнаго числа забранныхъ подъ нихъ лошадей, бѣдные проѣзжающіе по военно-грузинской дорогѣ будутъ сидѣть трое сутокъ безъ лошадей. А офицеру русской службы, сопровождающему ихъ, назначено 50 коп. суточныхъ, и посадили его не въ карету, а какъ сажаютъ прислугу въ омнибусъ! Все это гуманность! (Моск. Вѣдом. № 273).

То есть не гуманность, а именно вотъ та самая деликатность передъ европейскимъ мнѣніемъ о насъ, чуткость, чувствительность: „Европа дескать на насъ глядитъ, надо стало-быть въ полномъ мундирѣ быть и пашамъ кареты подать“.

„Московскія Вѣдомости“ далѣе, въ другомъ своемъ, 282 номерѣ, передаютъ о цѣломъ воплѣ голосовъ въ Москвѣ, когда увидѣли москвичи всѣ тѣ неслыханныя удобства съ которыми перевозятъ у насъ плѣнныхъ турокъ:

„Всѣ плѣнные рядовые были удобно размѣщены въ вагонахъ третьяго, офицеры втораго класса, а паша занялъ купе первокласснаго вагона. Зачѣмъ для нихъ такія удобства? слышалось въ публикѣ. Нашихъ-то гренадеръ, небось вывезли изъ Москвы въ лошадиныхъ вагонахъ, а для нихъ отпускаютъ особый пассажирскій поѣздъ.

— Что̀ гренадеры, замѣчаетъ въ толпѣ какой-то купчикъ,—вотъ даже раненыхъ солдатиковъ возили въ товарныхъ вагонахъ и соломки подъ нихъ не успѣли подкладывать. А паша-то какой откормленный, что твой боровъ, въ товарный-бы его, пусть-бы съ него жиру немного посбавилось.

— Такъ-то раненыхъ нашихъ прирѣзывали, жилы изъ нихъ тянули, медленнымъ огнемъ жгли, а теперь ихъ холятъ за то...

Такіе голоса (замѣчаютъ далѣе „М. Вѣд.“) были не единичными, а ими выражалось общее въ народѣ мнѣніе о томъ, что больно видѣть, какъ баши-бузуки и вся эта турецкая рвань, обобранная своими же собственными пашами, пользуется такими большими удобствами сравнительно съ нашими воинами...

То-есть мы собственно ничего тутъ особаго не видимъ: деликатность или такъ-сказать мундиръ деликатности передъ европейскимъ мнѣніемъ, — вотъ и все тутъ; но вѣдь это такъ сказать два вѣка у насъ продолжается, такъ ужъ пора попривыкнуть.

Дошло до анекдотовъ, то вотъ и еще анекдотъ. Отмѣтилъ я его въ „Петербургской Газетѣ“, а та взяла изъ письма господина В. Крестовскаго, писаннаго съ театра военныхъ дѣйствій, но куда не знаю. Откудова заимствовано „Петербургской Газетой“ тоже не вѣдаю. Говорится такъ:

„Въ письмѣ г. Крестовскаго приводится одинъ комическій фактъ:

„Около свиты появился какой-то англичанинъ въ пробковомъ шлемѣ и статскомъ пальто гороховаго цвѣта. Говорятъ, что онъ членъ парламента, пользующійся вакаціоннымъ временемъ для составленія корреспонденцій „съ мѣста военныхъ дѣйствій“ въ одну изъ большихъ лондонскихъ газетъ („Times“); другіе же увѣряютъ, что онъ просто любитель, а третьи, что онъ другъ Россіи. Пускай

все это такъ, но нельзя не замѣтить, что этотъ „другъ Россіи“ ведетъ себя нѣсколько эксцентрично: сидитъ напримѣръ въ присутствіи Великаго Князя въ то время, когда стоятъ всѣ, не исключая даже и Его Высочества; за обѣдомъ встаетъ, когда ему вздумается изъ за стола, гдѣ сидитъ Великій Князь, и въ этотъ день обратился даже къ одному знакомому офицеру съ предложеніемъ затянуть на него въ рукава гороховое пальто. Офицеръ окинулъ его съ ногъ до головы нѣсколько удивленнымъ взглядомъ, улыбнулся слегка, пожалъ плечами и безпрекословно помогъ одѣть пальто. Конечно, болѣе ничего и не оставалось сдѣлать. Англичанинъ въ отвѣтъ слегка приложился рукою къ своему пробковому шлему“.

„Петербургская Газета“ назвала этотъ фактъ комическимъ. Къ сожалѣнію я ровно ничего въ немъ не вижу комическаго, а напротивъ очень много досаднаго и портящаго кровь. Къ тому-же въ насъ какъ бы укрѣпилась съ дѣтства вѣра, (изъ романовъ и изъ французскихъ водевилей я думаю), что всякій англичанинъ чудакъ и эксцентрикъ. Но что такое: чудакъ? Не всегда же дуракъ, или такой ужъ наивный человѣкъ, который и догадаться не можетъ что на свѣтѣ не все же вѣдь одни и тѣже порядки, какъ гдѣ-то тамъ у него въ углу. Англичане народъ очень напротивъ умный и весьма широкаго взгляда. Какъ мореплаватели, да еще просвѣщенные, они перевидали чрезвычайно много людей и порядковъ во всѣхъ странахъ міра. Наблюдатели они необыкновенные и даровитые. У себя они открыли юморъ, обозначили его особымъ словомъ и растолковали его человѣчеству. Такому ли человѣку, да еще члену парламента не знать гдѣ вставать, гдѣ сидѣть? Да нѣтъ страны, въ которой этикетъ имѣлъ бы большее приложеніе какъ въ Англіи. Придворный, напримѣръ, англійскій этикетъ, есть самый сложный и утонченный этикетъ въ мірѣ. Если этотъ англичанинъ членъ парламента, то конечно слишкомъ могъ научиться этикету изъ одного того уже какъ одинъ парламентъ—нижній, сносится съ другимъ—высшимъ. И именно въ томъ смыслѣ: кто передъ кѣмъ можетъ сидѣть, а кто передъ кѣмъ обязанъ вставать. Если онъ при этомъ и членъ высшаго общества, то опять таки нигдѣ нѣтъ такого этикета какъ на пріемахъ, обѣдахъ, балахъ англійской аристократіи во время ихняго лондонскаго сезона. Нѣтъ, тутъ совсѣмъ другое если судить потому какъ изложенъ анекдотъ. Тутъ англійская гордость, но не просто гордость, а съ *заносчивымъ вызовомъ*. Этотъ „другъ Россіи“ не можетъ быть большимъ ея другомъ. Онъ сидитъ, смотритъ на русскихъ офицеровъ и думаетъ: „Господа, я знаю, что вы львы сердцемъ, вы предпринимаете невозможное и исполняете его. Страха передъ врагомъ въ васъ нѣтъ, вы герои, вы Баярды всѣ до единаго и чувство чести вамъ знакомо вполнѣ. Не могу же я не согласиться съ тѣмъ что своими глазами вижу. Тѣмъ не менѣе я англичанинъ, а вы только русскіе, я европеецъ, а передъ Европой вы обязаны „деликатностью“. Какіе бы вы львиныя сердца не носили въ себѣ, а я все-таки высшаго типа человѣкъ, чѣмъ вы. И мнѣ это очень пріятно, особенно пріятно изучать „деликатность“ вашу передо мной, *врожденную* и *неотразимую*, безъ которой русскій не можетъ смотрѣть на иностранца, тѣмъ болѣе на такого иностранца какъ я. Вы думаете что это все мелочи; да мелочи-то и утѣшаютъ меня, весьма забавляютъ, я поѣхалъ прогуляться, я слышалъ что вы герои и пріѣхалъ посмотрѣть на васъ, но ворочусь все-таки съ убѣжденіемъ, что

какъ сынъ Старой Англіи (тутъ у него дрожитъ отъ гордости сердце) я все-таки на свѣтѣ первый человѣкъ, а вы всего лишь второстепенные...

Всего любопытнѣе въ вышеприведенномъ фактѣ послѣднія строки:

„Офицеръ окинулъ его съ ногъ до головы, нѣстолько удивленнымъ взглядомъ, улыбнулся слегка, пожалъ плечами и безпрекословно помогъ одѣть пальто. *Конечно, болѣе ничего и не оставалось сдѣлать*“.

Какъ такъ: „конечно?“ Почему болѣе *ничего* не оставалось сдѣлать? Напротивъ именно можно было сдѣлать совершенно другое, обратно противуположное: можно было „окинуть его съ ногъ до головы нѣсколько удивленнымъ взглядомъ, улыбнуться слегка, пожать плечами“ и—отойти мимо такъ-таки и не дотронувшись до пальто,—вотъ что можно было сдѣлать. Неужели нельзя было замѣтить, что просвѣщенный мореплаватель фокусничаетъ, что тончайшій знатокъ этикета ловитъ минуту удовлетворенія мелочной своей гордости? То-то и есть, что нельзя было, можетъ быть, спохватиться въ тотъ мигъ, а помѣшала именно наша просвѣщенная „деликатность“—не передъ англичаниномъ этимъ деликатность, не передъ членомъ этимъ парламента въ какомъ-то пробковомъ шлемѣ (какой такой пробковый шлемъ?) — а передъ Европой деликатность, передъ долгомъ европейскаго просвѣщенія „деликатность“, въ которой мы взрасли, погрязли до потери самостоятельной личности и изъ которой долго намъ не выкарабкаться.

Подвозъ патроновъ въ турецкую армію изъ Англіи и Америки колоссальный; достовѣрно теперь вполнѣ, что турецкій солдатъ въ Плевно тратитъ въ день иной разъ по 500 патроновъ; ни средствъ, ни денегъ не могло быть у турокъ, чтобы такъ вооружить армію. Присутствіе англичанъ и ихъ денегъ въ теперешней войнѣ несомнѣнно. Ихніе пароходы доставляютъ оружіе и все необходимое. А у насъ иныя газеты наши кричатъ изъ „деликатности“: „Ахъ, не говорите этого, ахъ не подымайте вы только этого, пусть мы не видимъ, пусть мы не слышимъ, а то просвѣщенные мореплаватели разсердятся и тогда“...

Да что же тогда? Чего вы трусите? Много бы можно еще прибавить на тему о „деликатности“.

Даже если есть какіе нибудь тамъ векселькн и векселечки выданные нами Европѣ, въ видѣ разныхъ обѣщаній, еще передъ тѣмъ какъ перешли мы Барбошскій мостъ, то несомнѣнно и это должно было произойти изъ „деликатности“ нашей, изъ деликатности передъ Европой и передъ обаяніемъ ея. Но о „деликатности“ пока оставимъ. Я лишь припомню, что въ началѣ главы, начавъ о деликатности я прибавилъ: „что вѣдь это всего только передъ Европой, а у себя-то мы всегда свое наверстаемъ“. Мнѣ хочется именно, пользуясь случаемъ, указать какъ иногда мы у себя наверстать умѣемъ, реваншъ возьмемъ...

II.

Самый лакейскій случай какой только можетъ быть.

Помните-ли, господа, какъ еще лѣтомъ, еще задолго до „Плевны“ мы вдругъ вошли въ Болгарію, явились за Балканами и онѣмѣли отъ негодованія. То-есть не всѣ, это первымъ дѣломъ надо заявить, даже далеко не половина, а гораздо меньше,—но все

же вознегодовавшихъ было значительное число и раздались голоса. Голоса корреспондентовъ изъ арміи и потомъ тотчасъ-же голоса въ нашей прессѣ, особенно въ Петербургской. Это были горячіе голоса, убѣжденные, полные самаго добродѣтельнаго негодованія...

Все дѣло вышло изъ-за того, что обладатели голосовъ этихъ шли, какъ извѣстно всему міру и особенно намъ, спасать угнетенныхъ, униженныхъ, раздавленныхъ и измученныхъ. Еще до объявленія войны я помню читалъ въ самыхъ серьезнѣйшихъ изъ нашихъ газетъ, при разсчетѣ о шансахъ войны и необходимо предстоящихъ издержекъ, что конечко „вступивъ въ Болгарію намъ придется кормить не только нашу армію, но и болгарское населеніе, умирающее съ голоду“. Я это самъ читалъ и могу указать гдѣ читалъ, и вотъ, послѣ такого-то понятія о болгарахъ, объ этихъ угнетенныхъ, измученныхъ, за которыхъ мы пришли съ береговъ Финскаго залива и всѣхъ русскихъ рѣкъ отдавать свою кровь— вдругъ мы увидѣли прелестные болгарскіе домики, кругомъ нихъ садики, цвѣты, плоды, скотъ, обработанную землю родящую чуть не сторицею и, въ довершеніе всего, по три православныхъ церкви на одну мечеть,— это у за вѣру-то угнетенныхъ! „Да какъ они смѣютъ!“ загорѣлось мгновенно въ обиженныхъ сердцахъ иныхъ освободителей и кровь обиды залила ихъ щеки. „И къ тому-же мы ихъ спасать пришли, стало-быть они-бы должны почти на колѣнкахъ встрѣчать. Но они не стоятъ на колѣнкахъ, они косятся, даже какъ-будто и не рады намъ! Это намъ-то! Хлѣбъ-соль выносятъ, это правда, но косятся, косятся!..“

И поднялись голоса. Послушайте господа, какъ вы думаете: вдругъ вы получаете или фальшивую или ложно понятую вами телеграму о томъ, что близкій вамъ человѣкъ, другъ или братъ вашъ, лежитъ больной, гдѣ-то тамъ ограбленъ, или подъ вагонъ попалъ, или что нибудь въ этомъ родѣ. Вы бросаете всѣ дѣла ваши и мчитесь къ несчастному брату,—и вдругъ ничего не бывало: вы встрѣчаете человѣка, который здоровѣе васъ, сидитъ за столомъ и обѣдаетъ, съ крикомъ зоветъ васъ за столъ и хохочетъ о фальшивой вашей тревогѣ, о вышедшемъ qui pro quo. Любите вы, иль даже не очень любите этого человѣка, но неужели вы разсердитесь на него за то, что его не ограбили и что онъ не попалъ подъ вагонъ? Главное за то что у него такія красныя щеки и что онъ такъ исправно ѣстъ обѣдъ и пьетъ вино? Вѣдь неправда-ли что нѣтъ? Напротивъ, вѣдь вы порадоваться еще должны, что онъ живъ и здоровѣе вашего. Ну, конечно, по человѣчеству немножко и разсердитесь, — но вѣдь не за тоже что ему не перерѣзало колесами ноги? Вѣдь не пойдете же вы сейчасъ изъ-за стола писать объ немъ корреспонденціи и анекдоты, чернить его характеръ, подмѣчать невыгодныя черты... Ну а вѣдь про болгаръ это дѣлали. „У насъ дескать и зажиточный мужикъ такъ не питается, какъ этотъ угнетенный болгаринъ“. А другіе такъ вывели потомъ что русскіе-то и причиной всѣхъ несчастій болгарскихъ: что не грозили-бы мы прежде, не зная дѣла, за угнетеннаго болгарина туркѣ и не пришли-бы потомъ освобождать этихъ „ограбленныхъ“ богачей, такъ жилъ-бы болгаринъ до сихъ поръ какъ у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждаютъ.

Я только съ той стороны говорю что нашу „деликатность“ передъ Европой

и нашъ просвѣщенный европеизмъ, мы таки умѣемъ иногда наверстать по своему у себя дома, гдѣ Европа не видитъ уже насъ и не смотритъ, да и по русски не понимаетъ. А Болгарія—это вѣдь *дома*. Мы ихъ освобождать пришли, значитъ все равно что *къ себѣ* пришли, они *наши*. У него тамъ садъ и имѣніе, такъ вѣдь это имѣніе все равно что мое; я конечно не возьму у него ничего, потому что я благородный человѣкъ, да правда и власти не имѣю, но все-же онъ долженъ *чувствовать*, и на вѣки быть благодарнымъ, потому что разъ я къ нему вошелъ,—все что у него есть это все-равно что *я ему подарилъ*. Отнялъ у его угнетателя турка, а ему возвратилъ. Долженъ-же онъ понимать это... А тутъ вдругъ его никто и не угнетаетъ—какая обидная непріятность, неправда-ли?

А какое лакейство вмѣсто просвѣщенной-то деликатности, не правда-ли? И какой смѣшной случай! Это самое комическое изъ наверстаній *своего* „у себя дома“ за тяготу неловкаго мундира европейской деликатности, въ которомъ мы щеголяемъ передъ Европой. Самый лакейскій случай случился съ этими пылкими господами и засталъ *довольно многихъ* изъ насъ совсѣмъ врасплохъ. Это уже посерьезнѣе чѣмъ врасплохъ подать пальто англичанину.

Потомъ все обнаружилось и истина открылась многимъ изъ вознегодовавшихъ, хотя не всѣмъ, до сихъ поръ не всѣмъ. Обнаружилось, во-первыхъ, что болгаринъ ни чѣмъ не виноватъ въ томъ что онъ трудолюбивъ и что земля его родитъ во сто кратъ. Во-вторыхъ въ томъ что и „косился“ онъ не виноватъ. Взять ужъ одно то, что онъ четыре столѣтія—рабъ, и встрѣчая новыхъ господъ не вѣритъ что они ему братья, а вѣритъ только что они ему новые господа, да сверхъ того еще боится прежнихъ господъ, и тяжело про себя думаетъ: „А, ну какъ тѣ опять вернутся да узнаютъ, что я хлѣбъ-соль подносилъ?“ Ну вотъ отъ этихъ-то внутреннихъ вопросовъ онъ и косился—и вѣдь правъ былъ, вполнѣ угадалъ бѣдняжка: послѣ того какъ мы, совершивъ нашъ первый, молодецкій натискъ за Балканы, вдругъ отретировались, — пришли вѣдь къ нимъ опять турки и что только имъ отъ нихъ было—теперь уже достояніе всемірной исторіи! Эти красивые домики, эти посѣвы, сады, скотъ — все это было разграблено, обращено въ пепелъ и стерто съ лица земли. Не десятками и не сотнями, а тысячами и десятками тысячъ истреблялись болгары огнемъ и мечемъ, дѣти ихъ разрывались на части и умирали въ мукахъ, обезчещенныя жены и дочери были или избиты послѣ позора или уведены въ плѣнъ на продажу, а мужья,—вотъ тѣ самые, которые встрѣчали русскихъ, да сверхъ того и тѣ самые, которые никогда не встрѣчали русскихъ, но къ которымъ *могли* когда нибудь придти русскіе, всѣ они поплатились за русскихъ на висѣлицахъ и на кострахъ. Ихъ прибивали мучившіе ихъ скоты на ночь за уши гвоздями къ забору, а на утро вѣшали всѣхъ до единаго, заставляя одного изъ нихъ вѣшать прочихъ, и онъ, повѣсивъ десятка два виновныхъ, кончалъ тѣмъ что самъ обязанъ былъ повѣситься въ заключеніе при общемъ смѣхѣ мучившихъ ихъ, сладострастныхъ къ мученіямъ скотовъ, называемыхъ турецкою націей, и которыми столь восхищались потомъ иныя изъ деликатнѣйшихъ барынь нашихъ...

—

NB. (Кстати, еще недавно, уже въ половинѣ ноября писали изъ Пиргоса о новыхъ звѣрствахъ этихъ изверговъ. Когда, во время горячей бывшей тамъ стычки, турки временно оттѣснили нашихъ такъ, что мы не успѣли захватить нашихъ раненыхъ солдатъ и офицеровъ, и когда потомъ, въ тотъ же день къ вечеру опять наши воротились на прежнее мѣсто, то нашли своихъ раненыхъ солдатъ и офицеровъ, обкраденными, голыми, съ отрѣзанными носами, ушами, губами, съ вырѣзанными животами, и наконецъ, обгорѣлыми въ сожженныхъ турками скирдахъ соломы и хлѣба, куда они предварительно перенесли живыхъ нашихъ раненыхъ. Репресаліи конечно жестокая вещь, тѣмъ болѣе, что въ сущности ни къ чему не ведутъ, какъ и сказалъ уже я разъ въ одномъ изъ предъидущихъ выпусковъ „Дневника“, но строгость съ начальствомъ этихъ скотовъ была бы не лишнею. Можно-бы прямо объявить, вслухъ и даже на всю Европу — (прусаки навѣрно бы сдѣлали такъ, потому что они даже съ французами такъ точно дѣлали по причинамъ въ десять разъ меньше уважительнымъ, чѣмъ тѣ, которыя имѣемъ мы противъ воюющихъ съ нами скотовъ),—что если усмотрятся совершонныя звѣрства, то ближайшіе начальники тѣхъ турокъ, которые совершили звѣрства, въ случаѣ взятія ихъ въ плѣнъ, будутъ судимы на мѣстѣ военнымъ судомъ и подвержены смертной казни растрѣляніемъ. Это можетъ быть и имѣло бы нѣкоторое вліяніе на офицеровъ и пашей турецкихъ (NB мнѣ кажется всегда можно бы было узнать, сейчасъ или потомъ, кто изъ турецкихъ начальниковъ командовалъ напримѣръ атакой у Пиргоса). Такой сюрпризъ, вмѣсто рессорныхъ экипажей, можетъ быть вразумилъ бы многихъ изъ нихъ. Теперь же этотъ самый „начальникъ“, попавшись въ плѣнъ и видя какъ его встрѣчаютъ послѣ звѣрствъ его, прямо воображаетъ, что онъ безмѣрно выше „поганаго русскаго“. Европейской деликатности нашей и страху нашему передъ Европой, повѣрьте, этотъ турокъ никогда не повѣритъ, да и не пойметъ этого вовсе, да и не вообразитъ этой причины вовсе. Деликатный страхъ передъ Европой есть чисто русское дѣло и изобрѣтеніе и не можетъ быть понятъ никогда и ни кѣмъ. А потому „если ты такъ кланяешься мнѣ,“ разсуждаетъ турецкій начальникъ, „послѣ того, какъ я можетъ быть брату твоему родному вчера еще носъ отрѣзать позволилъ, то значитъ ты самъ чувствуешь себя передо мною низшимъ, а меня высшимъ передъ собой человѣкомъ. Но точно такъ и должно быть, по волѣ Аллаха, и нѣтъ тутъ ничего удивительнаго“! Вотъ что долженъ думать про себя плѣнный турецкій паша и непремѣнно такъ думаетъ).

—

Такимъ образомъ, когда вознегодовавшіе на болгаръ за то, что они хорошо живутъ, дожили до печальной съ ними развязки, то поневолѣ поняли, что болгарская жизнь въ сущности всего только одна декорація, что всѣ эти домики и садики, и жены, и дѣти, и несовершеннолѣтніе мальчики и дѣвочки въ этихъ домахъ, все это въ сущности принадлежитъ турку и берется имъ когда онъ захочетъ. Онъ и беретъ, и въ мирное время беретъ, и во время процвѣтанія беретъ, беретъ и деньгами и скотами, и женами и дѣвочками, и если сверхъ того все продолжало оставаться въ цвѣтущемъ

видѣ, то это потому только что турокъ не хотѣлъ разрушать въ конецъ такую плодородную ниву, имѣя въ виду и впредь почерпать съ нея. Напротивъ дозволялъ временемъ и мѣстами полное процвѣтаніе, именно для того, чтобъ въ свое время почерпать и почерпать...

Теперь конечно турки разсвирѣпѣли и истребляютъ Болгарію въ конецъ. Они жалѣютъ, что не истребили вовсе. Если мы возьмемъ Плевно и замедлимъ двинуться далѣе, то турки, видя что можетъ быть придется проститься на вѣки съ Болгаріей, истребятъ все, что только можно въ ней истребить, пока есть еще время. Замѣчательны два мнѣнія: у насъ утверждаютъ мудрые до сихъ поръ, что безъ вмѣшательства русскихъ болгаринъ жилъ бы какъ у Христа за пазухой, и что русскіе — причина всѣхъ его несчастій. А вотъ извѣстный своими прекрасными и обстоятельными статьями съ поля битвы, изъ нашего лагеря, англичанинъ Форбесъ, корреспондентъ газеты „Daily News“, кончилъ тѣмъ что высказалъ наконецъ всю свою англійскую правду откровенно. Онъ *искренно* признаетъ, что турки имѣли „полное право“ истребить все болгарское населеніе къ сѣверу отъ Балканъ, въ то время, когда русская армія перешла черезъ Дунай. Форбесъ почти жалѣетъ (политически конечно), что этого не случилось, и выводитъ, что болгаре должны быть обязаны вѣчною благодарностью туркамъ за то, что тѣ ихъ тогда не прирѣзали всѣхъ поголовно, какъ барановъ. Вспомнивъ наше русское мнѣніе о „болгаринѣ какъ у Христа за пазухой“ и сопоставивъ его съ мнѣніемъ Форбеса можно прямо обратиться къ болгарину съ такимъ увѣщаніемъ: „какъ же ты послѣ того не у Христа за пазухой, если тебя поголовно всего не прирѣзали?“. Но странно тутъ и еще одно, и въ глаза бросается, и въ исторіи останется: „неужели въ самомъ дѣлѣ, такое право турковъ, можетъ такъ спокойно и безмятежно признавать столь образованный, какъ Форбесъ, членъ столь просвѣщенной и великой націи, какъ Англія? Неужели это послѣдніе цвѣты и плоды англійской цивилизаціи? Но замѣтьте себѣ, онъ конечно бы такъ не выразился, еслибъ вмѣсто болгаръ дѣло шло о французахъ или объ итальянцахъ. Онъ потому только выразился такъ, что это были всего только славяне-болгары. Какое же послѣ этого у нихъ у всѣхъ въ Европѣ родовое, кровяное презрѣніе къ славянамъ и славянскому племени! Считаются все равно, что за собакъ! Допускается возможность и разумность прирѣзать всѣхъ до единаго, все племя, съ женами и дѣтьми. И замѣтьте еще (это очень важно) это не графъ Биконсфильдъ говоритъ: тотъ можетъ выразить такія же разбойничьи и звѣрскія убѣжденія принужденный къ тому политикой, „англійскими интересами“, а вѣдь Форбесъ—частный человѣкъ, не государственный, на котораго соблюденіе интересовъ Англіи *во что бы ни стало и чего бы ни стоило* не возложено, да еще человѣкъ-то какой: честный, талантливый, правдивый, гуманный по прежнимъ письмамъ своимъ. Тутъ именно, именно причиною какая-то западно европейская гадливость ко всему, что носитъ имя славянства. Этихъ болгаръ можно заваривать кипяткомъ, какъ гнѣзда клоповъ въ старушечьихъ деревянныхъ кроватяхъ! Нѣтъ ли тутъ именно какого нибудь инстинкта, предчувствія, что всѣ эти славянскія восточныя пле-

мена, освободясь, займутъ когда нибудь огромную роль въ новомъ грядущемъ человѣчествѣ, вмѣсто сбившейся съ праваго пути старой цивилизаціи, и станутъ на ея мѣсто? Сознательно, западные люди конечно это не могутъ теперь представить, и допустить даже, точно также какъ нельзя имъ представить гнѣзда клоповъ—за что-то высшее и грядущее смѣнить ихъ. Но тутъ Россія, тутъ очевидно поднята идея совершенно новая всѣмъ на соблазнъ, на гнѣвъ и удивленіе, тутъ показалось уже знамя будущаго, а такъ какъ Россія не „гнѣздо клоповъ", какъ для нихъ болгары, а гигантъ и сила, не признать которую невозможно, и такъ какъ Россія тоже славянская нація, то какъ, должно быть, эти западные люди ненавидятъ теперь и Россію въ сердцахъ своихъ даже инстинктивно, безотчетно, радуясь всякому ея неуспѣху и всякой бѣдѣ ея! Именно тутъ инстинктъ, тутъ предчувствіе будущаго...

III.

Одно совсѣмъ особое словцо о славянахъ, которое мнѣ давно хотѣлось сказать.

Кстати, скажу одно *особое* словцо о славянахъ и о славянскомъ вопросѣ. И давно мнѣ хотѣлось сказать его. Теперь же именно заговорили вдругъ у насъ всѣ о скорой возможности мира, т. е. стало быть о скорой возможности хоть сколько нибудь разрѣшить и славянскій вопросъ. Дадимъ же волю нашей фантазіи и представимъ вдругъ, что все дѣло кончено, что настояніями и кровью Россіи славяне уже освобожденны, мало того, что турецкой имперіи уже не существуетъ и что Балканскій полуостровъ свободенъ и живетъ новою жизнью. Разумѣется трудно предрѣчь, въ какой именно формѣ, до послѣднихъ подробностей, явится эта свобода славянъ хоть на первый разъ,—то есть будетъ-ли это какая нибудь федерація между освобожденными мелкими племенами (NB федераціи кажется еще очень, очень долго не будетъ) или явятся небольшія отдѣльныя владѣнія въ видѣ маленькихъ государствъ, съ призванными изъ разныхъ владѣтельныхъ домовъ государями? Нельзя также представить: расширится-ли наконецъ въ границахъ своихъ Сербія, или Австрія тому воспрепятствуетъ, въ какомъ объемѣ явится Болгарія, что станется съ Герцеговиной, Босніей, въ какія отношенія станутъ съ новоосвобожденными славянскими народцами напримѣръ румыны, или греки даже,—константинопольскіе греки и тѣ, другіе, афинскіе греки? Будутъ ли наконецъ всѣ эти земли и землицы вполнѣ независимы, или будутъ находиться подъ покровительствомъ и надзоромъ „европейскаго концерта державъ въ томъ числѣ и Россіи (я думаю сами эти народики всѣ непремѣнно выпросятъ себѣ европейскій концертъ, хоть вмѣстѣ съ Россіей, но единственно въ видѣ покровительства ихъ отъ властолюбія Россіи)—все это невозможно рѣшить заранѣе въ точности и я не берусь разрѣшать. Но однако возможно и теперь—навѣрно знать двѣ вещи: 1) что скоро или опять не скоро, а всѣ славянскія племена Балканскаго полуострова непремѣнно въ концѣ концовъ освободятся отъ ига турокъ и заживутъ новою, свободною и можетъ быть независимою жизнью и 2)... Вотъ это-то второе, что навѣрно, вѣрнѣйшимъ образомъ случится и сбудется, мнѣ и хотѣлось давно высказать.

Именно, это второе состоитъ въ

томъ, что, по внутреннему убѣжденію моему, самому полному и непреодолимому,—не будетъ у Россіи, и никогда еще не было, такихъ ненавистниковъ, завистниковъ, клеветниковъ и даже явныхъ враговъ какъ всѣ эти славянскія племена, чуть только ихъ Россія освободитъ а Европа согласится признать ихъ освобожденными! И пусть не возражаютъ мнѣ, не оспариваютъ, не кричатъ на меня что я преувеличиваю и что я ненавистникъ славянъ! Я напротивъ очень люблю славянъ, но я и защищаться не буду, потому что знаю что все точно такъ именно сбудется какъ я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славянъ, совсѣмъ нѣтъ,—у нихъ характеръ въ этомъ смыслѣ какъ у всѣхъ, — а именно потому что *такія вещи* на свѣтѣ иначе и происходить не могутъ. Распространяться не буду, но знаю что намъ отнюдь не надо требовать съ славянъ благодарности, къ этому намъ надо приготовиться впередъ. Начнутъ же они, по освобожденіи, свою новую жизнь, повторяю, именно съ того, что выпросятъ себѣ у Европы, у Англіи и Германіи напримѣръ, ручательство и покровительство ихъ свободѣ, и хоть въ концертѣ европейскихъ державъ будетъ и Россія, но они именно въ защиту отъ *Россіи* это и сдѣлаютъ. Начнутъ они непремѣнно съ того, что внутри себя, если не прямо вслухъ, объявятъ себѣ и убѣдятъ себя въ томъ, что Россіи они не обязаны ни малѣйшею благодарностью, напротивъ что отъ властолюбія Россіи они едва спаслись при заключеніи мира вмѣшательствомъ европейскаго концерта, а не вмѣшайся Европа такъ Россія, отнявъ ихъ у Турокъ, проглотила бы ихъ тотчасъ же, „имѣя въ виду расширеніе границъ и основаніе великой Всеславянской Имперіи на порабощеніи славянъ жадному, хитрому и варварскому великорусскому пламени“. Долго, о, долго еще они не въ состояніи будутъ признать безкорыстія Россіи и великаго, святаго, неслыханнаго въ мірѣ поднятія ею знамени величайшей идеи, изъ тѣхъ идей, которыми живъ человѣкъ и безъ которыхъ человѣчество, если эти идеи перестанутъ жить въ немъ—коченѣетъ, калѣчится и умираетъ въ язвахъ и въ безсиліи. Нынѣшнюю, напримѣръ, всенародную русскую войну, всего русскаго народа, съ Царемъ во главѣ, подъятую противъ изверговъ за освобожденіе несчастныхъ народностей,—эту войну поняли-ли, наконецъ, славяне теперь, какъ вы думаете? Но о теперешнемъ моментѣ я говорить не стану, ктому же мы еще нужны славянамъ, мы ихъ освобождаемъ, но потомъ, когда освободимъ и они коекакъ устроятся — признаютъ они эту войну за великій подвигъ, предпринятый для освобожденія ихъ, рѣшите-ка это? Да ни за что на свѣтѣ не признаютъ! Напротивъ, выставятъ какъ политическую, а потомъ и научную истину, что не будь во всѣ эти сто лѣтъ освободительницы-Россіи, такъ они бы давнымъ давно сами съумѣли освободиться отъ Турокъ, своею доблестью или помощію Европы, которая, опять таки не будь на свѣтѣ Россіи, не только бы не имѣла ничего противъ ихъ освобожденія, но и сама освободила-бы ихъ. Это хитрое ученіе навѣрно существуетъ у нихъ уже и теперь, а впослѣдствіи оно неминуемо разовьется у нихъ въ научную и политическую аксіому. Мало того, даже о туркахъ станутъ говорить съ бо́льшимъ уваженіемъ, чѣмъ объ Россіи. Можетъ быть цѣлое столѣтіе, или еще болѣе они будутъ безпрерыв-

но трепетать за свою свободу и боять-ся властолюбія Россіи; они будутъ заискивать передъ европейскими го-сударствами, будутъ клеветать на Рос-сію, сплетничать на нее и интриго-вать противъ нея. О, я не говорю про отдѣльныя лица: будутъ такіе, которые поймутъ что значила, зна-читъ и будетъ значить Россія для нихъ всегда. Они поймутъ все величіе и всю святость дѣла Россіи и вели-кой идеи, знамя которой поставитъ она въ человѣчествѣ. Но люди эти, особенно вначалѣ, явятся въ такомъ жалкомъ меньшинствѣ, что будутъ под-вергаться насмѣшкамъ, ненависти и даже политическому гоненію. Особен-но пріятно будетъ для освобожден-ныхъ славянъ высказывать и трубить на весь свѣтъ, что они племена обра-зованныя, способныя къ самой высшей европейской культурѣ, тогда какъ Россія страна варварская, мрачный сѣверный колоссъ, даже не чистой сла-вянской крови, гонитель и ненавист-никъ европейской цивилизаціи. У нихъ конечно явится, съ самаго начала, конституціонное управленіе, парламен-ты, отвѣтственные министры, ора-торы, рѣчи. Ихъ будетъ это чрез-вычайно утѣшать и восхищать. Они будутъ въ упоеніи читая о себѣ въ парижскихъ и въ лондонскихъ га-зетахъ телеграммы, извѣщающія весь міръ что послѣ долгой парламентской бури, пало наконецъ министерство въ Болгаріи и составилось новое изъ ли-беральнаго большинства, и что какой нибудь ихній Иванъ Чифтликъ согласил-ся наконецъ принять портфель прези-дента совѣта министровъ. Россіи надо серьезно приготовиться къ тому, что всѣ эти освобожденные славяне съ упоеніемъ ринутся въ Европу, до по-тери личности своей заразятся евро-пейскими формами, политическими и соціальными, и такимъ образомъ долж-ны будутъ пережить цѣлый и длинный періодъ европеизма прежде чѣмъ по-стигнутъ хоть что нибудь въ своемъ славянскомъ значеніи и въ своемъ осо-бомъ славянскомъ призваніи въ средѣ человѣчества. Между собой эти землицы будутъ вѣчно ссориться, вѣчно другъ другу завидовать и другъ противъ друга интриговать. Разумѣется, въ минуту какой нибудь серьезной бѣды, они всѣ непремѣнно обратятся къ Россіи за помощью. Какъ ни будутъ они не-навистничать, сплетничать и клеве-тать на насъ Европѣ, заигрывая съ нею и увѣряя ее въ любви, но чувство-вать-то они всегда будутъ инстинктив-но (конечно въ минуту бѣды а не раньше), что Европа естественный врагъ ихъ единству, была имъ и всег-да останется, а что если они суще-ствуютъ на свѣтѣ, то конечно потому что стоитъ огромный магнитъ—Россія, которая неодолимо притягивая ихъ всѣхъ къ себѣ, тѣмъ сдерживаетъ ихъ цѣлость и единство. Будутъ даже и такія минуты, когда они будутъ въ состояніи почти уже сознательно согла-ситься, что не будь Россіи, великаго восточнаго центра и великой влекущей силы, то единство ихъ мигомъ бы раз-валилось, разсѣялось въ клочки и даже такъ что самая національность ихъ исчезла бы въ европейскомъ океанѣ какъ исчезаютъ нѣсколько отдѣльныхъ капель воды въ морѣ. Россіи надолго достанется тоска и забота мирить ихъ, вразумлять ихъ и даже можетъ быть обнажать за нихъ мечь при случаѣ. Разумѣется сейчасъ же представляет-ся вопросъ: въ чемъ же тутъ выгода Россіи, изъ за чего Россія билась изъ за нихъ сто лѣтъ, жертвовала кровью своею, силами, деньгами? Неужто изъ за того чтобъ пожать столько малень-кой смѣшной ненависти и неблагодар-

ности? О, конечно Россія все же всегда будетъ сознавать, что центръ славянскаго единства—это она, что если живутъ славяне свободною національною жизнію, то потому что этого захотѣла и хочетъ она, что совершила и создала все она. Но какую же выгоду доставитъ Россіи это сознаніе кромѣ трудовъ, досадъ и вѣчной заботы?

Отвѣтъ теперь труденъ и не можетъ быть ясенъ.

Во-первыхъ у Россіи, какъ намъ всѣмъ извѣстно, и мысли не будетъ, и быть не должно никогда, чтобы расширить на счетъ славянъ свою территорію, присоединить ихъ къ себѣ политически, надѣлать изъ ихъ земель губерній и проч. Всѣ славяне подозрѣваютъ Россію въ этомъ стремленіи даже теперь, равно какъ и вся Европа, и будутъ подозрѣвать еще сто лѣтъ впередъ. Но да сохранитъ Богъ Россію отъ этихъ стремленій и чѣмъ болѣе она выкажетъ самаго полнаго политическаго безкорыстія относительно Славянъ, тѣмъ вѣрнѣе достигнетъ объединенія ихъ около себя впослѣдствіи, въ вѣкахъ, сто лѣтъ спустя. Доставивъ, напротивъ, славянамъ съ самаго начала, какъ можно болѣе политической свободы и устранивъ себя даже отъ всякаго опекунства и надзора надъ ними, и объявивъ имъ только, что она всегда обнажитъ мечь на тѣхъ, которые посягнутъ на ихъ свободу и національность, Россія тѣмъ самымъ избавитъ себя отъ страшныхъ заботъ и хлопотъ поддерживать *силою* это опекунство и политическое вліяніе свое на Славянъ, имъ конечно ненавистное, а Европѣ всегда подозрительное. Но выказавъ полнѣйшее безкорыстіе тѣмъ самымъ Россія и побѣдитъ, и привлечетъ наконецъ къ себѣ Славянъ; сначала въ бѣдѣ будутъ прибѣгать къ ней, а потомъ, когда-нибудь воротятся къ ней и *прильнутъ* къ ней всѣ, уже съ полной, съ дѣтской довѣренностью. Всѣ воротятся въ родное гнѣздо. О, конечно есть разныя ученыя и поэтическія даже воззрѣнія и теперь въ средѣ многихъ русскихъ. Эти русскіе ждутъ что новыя, освобожденныя и воскресшія въ новую жизнь славянскія народности съ того и начнутъ, что прильнутъ къ Россіи какъ къ родной матери и освободительницѣ и что несомнѣнно и въ самомъ скоромъ времени привнесутъ много новыхъ и еще неслыханныхъ элементовъ въ русскую жизнь, расширятъ славянство Россіи, душу Россіи, повліяютъ даже на русскій языкъ, литературу, творчество, обогатятъ Россію духовно и укажутъ ей новые горизонты. Признаюсь мнѣ всегда казалось это у насъ лишь учеными увлеченіями; правда же въ томъ что конечно, что-нибудь произойдетъ въ этомъ родѣ несомнѣнно, но не ранѣе ста напримѣръ лѣтъ, а пока, и можетъ быть еще цѣлый вѣкъ, Россіи вовсе нечего будетъ брать у славянъ ни изъ идей ихъ, ни изъ литературы, и чтобъ учить насъ всѣ они страшно недоросли. Напротивъ, весь этотъ вѣкъ можетъ быть придется Россіи бороться съ ограниченностью и упорствомъ Славянъ, съ ихъ дурными привычками, съ ихъ несомнѣнной и близкой измѣной славянству ради европейскихъ формъ политическаго и соціальнаго устройства, на которыя они жадно накинутся. Послѣ разрѣшенія Славянскаго вопроса, Россіи очевидно предстоитъ окончательное разрѣшеніе Восточнаго вопроса. Долго еще не поймутъ теперешніе Славяне, что такое Восточный вопросъ! Да и славянскаго единенія въ братствѣ и согласіи они не поймутъ тоже очень долго.

Объяснять имъ это безпрерывно, дѣломъ и великимъ примѣромъ, будетъ всегдашней задачей Россіи впредь. Опять-таки скажутъ: для чего это все наконецъ, и зачѣмъ брать Россіи на себя такую работу? Для чего: для того, чтобъ жить высшею жизнью, великою жизнью, свѣтить міру великой безкорыстной и чистой идеей, воплотить и создать въ концѣ концовъ великій и мощный организмъ братскаго союза племенъ, создать этотъ организмъ не политическимъ насиліемъ, не мечемъ, а убѣжденіемъ, примѣромъ, любовью, безкорыстіемъ, свѣтомъ; вознести наконецъ всѣхъ малыхъ сихъ до себя и до понятія ими материнскаго ея призванія — вотъ цѣль Россіи, вотъ и выгоды ея если хотите. Если націи не будутъ жить высшими, безкорыстными идеями и высшими цѣлями служенія человѣчеству, а только будутъ служить однимъ своимъ „интересамъ“, то погибнутъ эти націи несомнѣнно, окоченѣютъ, обезсилѣютъ и умрутъ. А выше цѣлей нѣтъ, какъ тѣ, которыя поставитъ передъ собой Россія служа славянамъ безкорыстно и не требуя отъ нихъ благодарности, служа ихъ нравственному (а не политическому лишь) возсоединенію въ великое цѣлое. Тогда только скажетъ всеславянство свое новое цѣлительное слово человѣчеству... Выше такихъ цѣлей не бываетъ никакихъ на свѣтѣ. Стало-быть и „выгоднѣе“ ничего не можетъ-быть для Россіи, какъ имѣть всегда передъ собой эти цѣли, все болѣе и болѣе уяснять ихъ себѣ самой, и все болѣе и болѣе возвышаться духомъ въ этой вѣчной, неустанной и доблестной работѣ своей для человѣчества.

Будь окончаніе нынѣшней войны благополучно — и Россія несомнѣнно войдетъ въ новый и высшій фазисъ своего бытія...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Толки о мирѣ. „Константинополь долженъ быть нашъ“ — возможно-ли это? Разныя мнѣнія.

А про окончаніе войны всѣ вдругъ начали толковать, не только въ Европѣ, но и у насъ. Всѣ пустились дебатировать вѣроятныя условія мира. Пріятно то, что даже большинство нашихъ политическихъ газетъ, болѣе или менѣе, но вѣрно цѣнитъ теперь труды, кровь и усилія Россіи, и условія мира предполагаетъ по возможности въ размѣрахъ этихъ усилій. Утѣшительно особенно то, что большинство судящихъ начинаетъ признавать и самостоятельность Россіи въ виду грядущихъ несомнѣнныхъ европейскихъ вмѣшательствъ при заключеніи мира, и право ея заключить миръ сепаратный, личный, не призывая Европы и даже не очень внимая ей если будетъ возможно. Участь славянъ берется тоже въ разсчетъ. Толкуютъ о вознагражденіяхъ, съ большимъ жаромъ требуютъ желѣзныхъ турецкихъ мониторовъ. На присоединеніе Карса, Эрзерума и на право наше присоединить

ихъ къ себѣ многіе изъявили полное согласіе.

Есть люди, которые впрочемъ до сихъ поръ обижаются даже предположеніемъ что мы что нибудь смѣемъ присоединить въ родѣ Карса. За то есть, наконецъ, и такіе, которые толкуютъ даже о Константинополѣ, не то что о Карсѣ и о томъ что Константинополь долженъ быть нашъ. Эти толки и разсужденія о мирѣ и объ условіяхъ мира будутъ теперь повторяться неустанно, послѣ каждаго крупнаго нашего военнаго дѣйствія. Мнѣ хочется только замѣтить, что во всѣхъ этихъ теперешнихъ сужденіяхъ нашихъ органовъ (или почти) кроется какъ будто какой-то, не то что промахъ, а недосмотръ. Именно, всѣ считаютъ Европу... Европой, то есть такой же Европой какой была она съ разными варьяціями во все столѣтіе,—т. е. тѣже почти великія державы принимаютъ, тоже политическое равновѣсіе имѣется въ виду и проч. Между тѣмъ какъ Европа съ часу на часъ не та становится теперь что была даже назадъ тому полгода, и даже до того, что за три мѣсяца впередъ ручаться теперь невозможно—до того можетъ измѣниться даже къ будущей веснѣ прежній ликъ ея. Колоссальные роковые текущіе факты, которые должны формулироваться и потребовать разрѣшенія очень можетъ быть скоро, берутся въ разсчетъ какъ-бы все еще не въ тѣхъ размѣрахъ въ которыхъ они существенно должны предстать передъ міромъ. Даже составъ той Европы, которая можетъ вмѣшаться въ наши дѣла при заключеніи мира, трудно опредѣлить теперь безошибочно. А потому и толковать объ условіяхъ мира лишь на прежнихъ данныхъ, недостаточно оцѣняя того, что всѣ эти прежнія данныя — двинулись сами съ мѣста, текутъ, улетучиваются, ждутъ сами новыхъ опредѣленій—мнѣ кажется будетъ тоже ошибочно... А впрочемъ объ этомъ потомъ. Теперь-же, такъ какъ уже зашла рѣчь о Константинополѣ, мнѣ хочется мимоходомъ отмѣтить одно очень странное, и почти неожиданное для меня мнѣніе о ближайшихъ „судьбахъ Константинополя, выраженное человѣкомъ, отъ котораго можно было ожидать совсѣмъ другого рѣшенія въ виду теперешнихъ совершившихся и несомнѣнно имѣющихъ совершиться событій. Николай Яковлевичъ Данилевскій, написавшій восемь лѣтъ тому назадъ превосходную книгу: „Россія и Европа“ въ которой есть лишь одна неясная и не твердая глава, именно о будущей судьбѣ Константинополя, напечаталъ недавно въ газетѣ „Русскій Міръ“ рядъ статей о томъ же самомъ предметѣ. Окончательный выводъ его о Константинополѣ очень оригиналенъ.

Я впрочемъ не буду разбирать во всей подробности.

Послѣ превосходныхъ и вѣрныхъ разсужденій, напримѣръ о томъ, что Константинополь, по изгнаніи турокъ, отнюдь не можетъ стать вольнымъ городомъ, въ родѣ какъ напримѣръ прежде Краковъ, не рискуя сдѣлаться гнѣздомъ всякой гадости, интриги, убѣжищемъ всѣхъ заговорщиковъ всего міра, добычей жидовъ, спекулянтовъ и проч. и проч. — Н. Я. Данилевскій рѣшаетъ, что Константинополь долженъ, когда нибудь, стать общимъ городомъ всѣхъ восточныхъ народностей. Всѣ народы будутъ-де владѣть имъ на равныхъ основаніяхъ, вмѣстѣ съ русскими, которые тоже будутъ допущены ко владѣнію имъ на основаніяхъ равныхъ съ славянами. Такое рѣшеніе по моему удивительно. Какое тутъ можетъ быть сравненіе между русскими и славянами? И кто это будетъ

устанавливать между ними равенство? Какъ можетъ Россія участвовать во владѣніи Константинополемъ на *равныхъ* основаніяхъ съ славянами, если Россія имъ неравна во всѣхъ отношеніяхъ — и каждому народцу порознь и всѣмъ имъ вмѣстѣ взятымъ? Великанъ Гуливеръ могъ-бы, если-бъ захотѣлъ, увѣрять лилипутовъ, что онъ имъ во всѣхъ отношеніяхъ равенъ, но вѣдь это было бы очевидно нелѣпо. Зачѣмъ-же напускать на себя нелѣпость, до того чтобъ вѣрить ей самому и насильно? Константинополь долженъ быть *нашъ*, завоеванъ *нами*, русскими, у турокъ и остаться нашимъ на вѣки. Однимъ намъ онъ долженъ принадлежать, а мы конечно, владѣя имъ, можемъ допустить въ него и всѣхъ славянъ и кого захотимъ, еще сверхъ того, на самыхъ широкихъ основаніяхъ, но это уже будетъ не федеративное владѣніе вмѣстѣ со славянами городомъ. Да взять уже то, что вы федеративнаго соединенія славянъ между собою еще цѣлый вѣкъ не добьетесь. Россія будетъ владѣть лишь Константинополемъ и его необходимымъ округомъ, равно Босфоромъ и проливами, будетъ содержать въ немъ войско, укрѣпленія и флотъ, и такъ должно быть еще долго, долго. О, подхватятъ и закричатъ многіе: „стало быть служеніе-то Россіи славянскому дѣлу видно было не столь безкорыстное!“ На это легко отвѣчать, именно тѣмъ что служеніе Россіи славянамъ теперь еще не окончится, а будетъ еще продолжаться въ вѣкахъ, что ею только, и великой центральной силой ея, славяне и будутъ на свѣтѣ жить; что за такое служеніе никогда и ничѣмъ нельзя будетъ заплатить, а что если и займетъ теперь Россія Константинополь, то единственно потому, что у ней, въ задачахъ ея и въ назначеніи ея, есть кромѣ славянскаго и другой вопросъ, самый великій для нея и окончательный, а именно Восточный вопросъ, и что разрѣшиться этотъ вопросъ можетъ только въ Константинополѣ. Федеративное же владѣніе Константинополемъ разными народцами можетъ даже умертвить Восточный вопросъ, разрѣшенія котораго, напротивъ того, настоятельно надо желать, когда придутъ къ тому сроки, такъ какъ онъ тѣсно связанъ съ судьбою и съ назначеніемъ самой Россіи и разрѣшенъ можетъ быть только ею. Не говорю уже о томъ, что всѣ эти народцы лишь перессорятся между собою въ Константинополѣ, за вліяніе въ немъ и за обладаніе имъ. Ссорить ихъ будутъ греки. Завидовать тому, что они владѣютъ такой великолѣпной точкой Европы и земнаго шара будутъ и западные славяне... однимъ словомъ Константинополь послужитъ тогда камнемъ раздора во всемъ славянскомъ и восточномъ мірѣ, что помѣшаетъ единенію славянъ и остановитъ ходъ правильной жизни ихъ. Спасеніе въ такомъ случаѣ именно въ томъ если Россія займетъ Константинополь одна, для себя, за свой счетъ. Россія можетъ сказать тогда восточнымъ народамъ, что она потому беретъ себѣ Константинополь — „что ни единый изъ васъ, ни всѣ вы вмѣстѣ не доросли до него, а что она, Россія, доросла. И доросла. Именно теперь наступаетъ этотъ новый фазисъ жизни Россіи. Константинополь есть центръ восточнаго міра, а духовный центръ восточнаго міра и глава его есть Россія. Россіи именно нужно и даже *полезно* теперь, на нѣкоторое время, забыть хоть немножко Петербургъ и побывать на Востокѣ, въ виду измѣненія судебъ ея и всей Европы, измѣненія близкаго, стоящаго „при дверяхъ“. Впрочемъ, оставимъ до времени разборъ всѣхъ неудобствъ общаго владѣнія Константи-

нополемъ, и даже вреда оттого, особенно для славянъ, — замѣтимъ только, хоть нѣсколько словъ, о судьбѣ въ такомъ случаѣ константинопольскихъ грековъ и православія.

Греки ревниво будутъ смотрѣть на новое славянское начало въ Константинополѣ и будутъ ненавидѣть и бояться славянъ даже болѣе чѣмъ бывшихъ магометанъ. Еще недавній споръ болгаръ съ патріаршимъ престоломъ можетъ послужить въ такомъ случаѣ примѣромъ будущаго. Предстоятели православія въ Константинополѣ могутъ унизиться до интриги, мелкихъ проклятій, отлученій, неправильныхъ соборовъ и проч., а можетъ быть упадутъ и до ереси — и все это изъ за національныхъ причинъ, изъ за національныхъ оскорбленій и раздраженій. „Почему славяне выше насъ, могутъ сказать всѣ греки вмѣстѣ, почему признается ихъ безусловное право на Константинополь, хотя бы и вмѣстѣ съ нами?“ Теперь въ тоже время замѣтьте, что Россія, владѣя Константинополемъ, имѣя силу и огромный очевидный авторитетъ, почти устранитъ возможность такихъ вопросовъ. Даже греки не могли бы ей столь завидовать и досадовать на нее за владѣніе Константинополемъ, именно потому, что она столь очевидная сила, и столь явная владычица судебъ Востока. Россія, владѣя Константинополемъ будетъ стоять именно какъ бы на стражѣ свободы всѣхъ славянъ и *всѣхъ восточныхъ* народностей, не различая ихъ съ славянами. Мусульманское владѣніе было во всѣ эти столѣтія, для всѣхъ этихъ народностей не единительной, по подавляющей силой, и онѣ при немъ шевельнуться не смѣли, т. е. вовсе не жили какъ люди. Съ уничтоженіемъ же мусульманскаго владычества, можетъ наступить въ этихъ народностяхъ, выпрыгнувшихъ вдругъ изъ гнета на свободу, страшный хаосъ. Такъ что не только правильная федерація между ними, но даже просто согласіе—есть безъ сомнѣнія лишь мечта будущаго. А пока новой единительной для нихъ силой и будетъ Россія, именно тѣмъ отчасти, что твердо станетъ въ Константинополѣ. Она спасетъ ихъ другъ отъ друга и именно будетъ стоять на стражѣ ихъ свободы. Она будетъ стоять на стражѣ всего Востока и грядущаго порядка его. И наконецъ она же и лишь она одна способна поднять на Востокѣ знамя новой идеи и объяснить всему Восточному міру его новое назначеніе. Ибо что такое Восточный вопросъ? Восточный вопросъ есть въ сущности своей разрѣшеніе судебъ православія. Судьбы православія слиты съ назначеніемъ Россіи. Что же это за судьбы православія? Римское католичество, продавшее давно уже Христа за земное владѣніе, заставившее отвернуться отъ себя человѣчество, и бывшее такимъ образомъ главнѣйшей причиной матерьялизма и атеизма Европы, это католичество естественно породило въ Европѣ и соціализмъ. Ибо соціализмъ имѣетъ задачей разрѣшеніе судебъ человѣчества уже не по Христу, а внѣ Бога и внѣ Христа, и долженъ былъ зародиться въ Европѣ естественно, взамѣнъ упадшаго христіанскаго въ ней начала, по мѣрѣ извращенія и утраты его въ самой церкви католической. Утраченный образъ Христа сохранился во всемъ свѣтѣ чистоты своей въ православіи. Съ Востока и пронесется новое слово міру на встрѣчу грядущему соціализму, которое можетъ вновь спасетъ европейское человѣчество. Вотъ назначеніе Востока, вотъ въ чемъ для Россіи заключается Восточный вопросъ.

Я знаю; очень многіе назовутъ такое сужденіе „кликушествомъ“, но Н. Я. Данилевскій слишкомъ можетъ понять то, что я говорю. Но для такого назначенія Россіи нуженъ Константинополь, такъ какъ онъ центръ Восточнаго міра. Россія уже сознаетъ про себя, съ народомъ и царемъ своимъ во главѣ, что она лишь носительница идеи Христовой, что слово православія переходитъ въ ней въ великое дѣло, что уже началось это дѣло съ теперешней войной, а впереди передъ ней еще вѣка трудовъ самопожертвованія, насажденія братства народовъ и горячаго материнскаго служенія ея имъ, какъ дорогимъ дѣтямъ.

Да, это великое христіанское дѣло, эта новая дѣятельность христіанства и православія уже начались, именно въ теперешнюю войну и фактомъ теперешней войны, а Н. Я. Данилевскій все еще не вѣритъ тому... не вѣритъ очевидно потому что не считаетъ пока никого еще *достойнымъ* овладѣть Константинополемъ и даже Россію. Не доросли, что-ли, до Константинополя Русскіе—трудно понять. Конечно, трудно устроить согласное и *равное на правахъ* владѣніе Константинополемъ всѣхъ восточныхъ народовъ и народцевъ, но вѣдь допускаетъ же авторъ статьи, что Россія могла бы владѣть Константинополемъ одна, пока, временно, такъ сказать болѣе охраняя его, чѣмъ смѣя владѣть имъ, съ тѣмъ однако, чтобъ послѣ передать его на общее владѣніе народцамъ (для чего? для чего передать?). Кажется Н. Я. Данилевскій считаетъ, что для самой Россіи будетъ искусительно и, такъ сказать, развратительно единоличное владѣніе Константинополемъ, возбудитъ въ ней дурные завоевательные инстинкты и проч., но кажется пора-бы, наконецъ, увѣровать въ Россію, особенно послѣ подвига теперешней войны. Она доросла-съ; даже до Константинополя доросла...

И вдругъ авторъ даже и *пока* не рѣшается довѣрить Россіи Константинополь. И представьте чѣмъ кончаетъ: онъ выводитъ, что *пока* надо продлить существованіе Турціи (отнявъ у ней всѣхъ славянъ, Балканы и проч.) и оставить пока Константинополь подъ властью турокъ, и что это даже будто-бы самое выгодное для Россіи *теперь* рѣшеніе и въ этомъ почти перстъ Божій. Но почему-же, перстъ-то Божій почему? Разумѣется, авторъ предполагаетъ при этомъ новомъ существованіи Турціи полнѣйшее вліяніе на нее Россіи и, такъ сказать, зависимость Турціи отъ Россіи. Но для чего такой маскарадъ? Разсудите: владыка Россія, а все-таки на время надо турку поставить. Замѣтимъ, что на такую комбинацію Европа еще скорѣе не согласится, чѣмъ на окончательное завоеваніе Турціи, ибо лучше уже совершившійся фактъ, чѣмъ все еще оспариваемый, продолжаемый, угрожающій новыми войнами въ самомъ близкомъ будущемъ. Такимъ образомъ авторъ почти сошелся, въ концѣ концевъ, съ политическимъ мнѣніемъ лорда Биконсфильда, т. е., что существованіе Турціи необходимо и уничтожена она быть не можетъ.

„Отъ Турціи останется одна тѣнь, говоритъ Н. Я. Данилевскій“,—но тѣнь эта *должна* (?) еще до поры до времени отѣнять берега Босфора и Дарданеллъ, ибо замѣнить ее *живымъ*, и не только живымъ, но еще здоровымъ организмомъ, пока невозможно (!?)...

Это Россія-то нездоровый и даже не живой еще организмъ, которымъ нельзя даже смѣть замѣнить въ столицѣ православія гнилье турокъ? Это для ме-

ня удивительно (опять таки послѣ *подвига* теперешней войны!) Чего нибудь я тутъ вѣрно не понимаю. Не разумѣетъ-ли авторъ, просто на просто, что потому невозможно еще пустить Россію въ Константинополь (для единоличнаго владѣнія или для передачи его потомъ народамъ), что Европа не согласится ее впустить. Можетъ быть авторъ не вѣритъ, что Россія въ нынѣшнюю войну въ силахъ достигнуть такого окончательнаго результата. Онъ именно говоритъ въ одномъ мѣстѣ своей статьи „что *занятіе* Константинополя Русскими, встрѣтитъ самое рѣшительное сопротивленіе со стороны большинства европейскихъ державъ“. Если такъ, то заключеніе его о необходимости оставить на время туроковъ въ Константинополѣ, становится понятнѣе; тѣмъ не менѣе, на счетъ „сопротивленія большинства европейскихъ державъ“ можно замѣтить двѣ вещи: 1) что, какъ сказалъ я выше, Европа можетъ быть скорѣе найдетъ примирительный исходъ въ занятіи нашемъ Константинополя, чѣмъ въ той формулѣ, которую предлагаетъ г. Данилевскій, т. е. Турцію-обезличенную, подъ полной опекой Россіи, безъ Балканъ, безъ славянъ, съ срытыми крѣпостями, безъ флота, однимъ словомъ „тѣнь“ прежней Турціи, какъ выражается авторъ. Ужь конечно не этой Турціи желало-бы „большинство европейскихъ державъ“ и оставивъ на свѣтѣ лишь „тѣнь Турціи“ ее тѣмъ не надуешь: „все равно не сегодня такъ завтра войдете въ Константинополь“ скажетъ она Русскимъ. А потому окончательное рѣшеніе для нея будетъ рѣшительно предпочтительнѣе, чѣмъ Турція въ видѣ тѣни. Второе, что можно замѣтить, это то, что *можетъ быть* дѣйствительно никогда еще не было (и не будетъ) такого выгоднаго для насъ момента для занятія Константинополя, какъ теперь, именно въ эту войну, именно въ данный, или весьма близкій къ тому моментъ, въ виду политическаго положенія самой Европы въ этотъ моментъ.

II.

Опять въ послѣдній разъ „прорицанія“.

Вы все говорите: „большинство европейскихъ державъ“ не позволитъ. Но что такое теперь „большинство европейскихъ державъ?“ Опредѣлимо-ли оно даже въ настоящую минуту? Повторяю сказанное выше: Европа съ часу на часъ становится не такой какъ была прежде, еще недавно, какъ была можетъ быть всего назадъ еще полгода, такъ что теперь даже за три мѣсяца впередъ ручаться и за дальнѣйшую неизмѣняемость ея нельзя. Дѣло въ томъ, что мы именно наканунѣ самыхъ величайшихъ и потрясающихъ событій и переворотовъ въ самой Европѣ и это *безъ всякаго преувеличенія*. Въ данный же моментъ, теперь, въ ноябрѣ, это „большинство европейскихъ державъ“, которыя могли-бы намъ сказать въ чемъ нибудь свое грозное veto при заключеніи мира—сводится лишь на Англію, и—врядъ-ли еще на Австрію, хотя Англія во что бы ни стало вовлекаетъ ее въ союзъ и даже надѣется на союзъ и съ Франціей. Но мы будемъ (теперь уже это очевидно) не одни. Въ Европѣ есть Германія, и та на нашей сторонѣ.

Да, Европу ждутъ огромные перевороты, такіе, что умъ людей отказывается вѣрить въ нихъ, считая осуществленіе ихъ какъ-бы чѣмъ-то фантастическимъ. Между тѣмъ многое, что

еще нынѣшнимъ лѣтомъ считалось фантастическимъ, невозможнымъ и преувеличеннымъ — сбылось въ Европѣ къ концу года буквально и мнѣніе, напримѣръ, о силѣ католическаго всемірнаго заговора,—мнѣніе надъ которымъ *всѣ* еще лѣтомъ склонны были смѣяться и по крайней мѣрѣ пренебрегать имъ, раздѣляется теперь *всѣми* и подтвердилось фактами. Напоминаю объ этомъ единственно для того, чтобъ читатели повѣрили и теперешнимъ „предсказаньямъ“ нашимъ и не сочлибы ихъ фантастическою и преувеличенною картиною, какъ вѣроятно сочли многіе наши лѣтнія предсказанія въ маѣ, іюнѣ, іюлѣ и августѣ, и которыя однако сбылись до буквальной точности.

Единственный политикъ въ Европѣ проникающій геніальнымъ взглядомъ своимъ въ самую глубь фактовъ—есть безспорно князь Бисмаркъ. Самаго страшнаго врага Германіи, ея единства и ея обновленнаго будущаго, онъ прозрѣлъ, еще задолго назадъ—въ римскомъ католицизмѣ и въ порожденномъ католицизмомъ чудовищѣ—соціализмѣ. (Соціализмомъ проѣдена Германія). Раздавить католицизмъ въ моментъ избранія новаго папы Бисмарку необходимо. О, онъ понимаетъ, что онъ не раздавитъ его окончательно, и что онъ только поставитъ его въ извѣстный новый фазисъ борьбы. Но старый фазисъ борьбы, для католицизма, еще продолжается пока жива Франція. Пока жива Франція у католицизма есть сильный мечъ, и есть надежды на европейскую коалицію. Что до Франціи, то эта страна въ глазахъ кн. Бисмарка—обречена уже судьбѣ своей. Для него одинъ вопросъ: или ей жить или Германіи. Ибо падетъ Франція—и католицизмъ, вмѣстѣ съ соціализмомъ, войдутъ въ новый фазисъ. И пока европейскіе политики, слѣдуя за нескончаемой борьбой МакъМагона съ республиканцами, желаютъ отъ всего сердца побѣды республиканцамъ, *принимая и вѣря еще*, что республика есть во Франціи правительство народное и способное соединить Францію—князь Бисмаркъ тѣмъ временемъ понимаетъ вполнѣ, что Франція отжила свой вѣкъ, что эта нація раздѣлилась внутренно и окончательно сама на себя на вѣки, и что въ ней никогда уже болѣе не будетъ твердаго и единящаго всѣхъ авторитетнаго правленія, здороваго національнаго и единящаго центра. И хотъ слабость Франціи могла бы такимъ образомъ лишь обнадеживать Германію, но князь Бисмаркъ все-же видитъ, что, повторю это, пока живетъ Франція, дотолѣ живъ и римскій католицизмъ политически и имѣетъ въ рукахъ своихъ обнаженный мечь, мало того, — что католицизмъ - то можетъ быть и могъ-бы еще разъ, *на время*, послужить для этой разложившейся страны—единящей идеей, хотя-бы внѣшне-политически. Ибо даже и быть не можетъ чтобъ Франція, хотя-бы и съ республиканцами во главѣ, могла *не* обнажить, *рано-ли*, *поздно-ли*, меча за папу и за судьбы католичества. Республиканцы даже сами увидѣли-бы, что оставь они папу и католичество, то и собственное ихъ существованіе во Франціи стало-бы невозможнымъ. Правда, сами-то они можетъ будутъ и неспособны понять это даже до самаго конца своего, и такимъ образомъ пребудутъ до конца не только фаворитами (протеже) князя Бисмарка—которыхъ онъ, однакоже все равно приговорилъ уже про себя къ смерти, вмѣстѣ съ прочими французскими партіями, имѣющими претензію на способность вновь соединить Францію въ одно неразрывное цѣлое,—но и рабами Германіи,

отдающими ей и всю Францію не только въ политическое, но и во внутреннее, существенное и духовное рабство, именно тѣмъ, что лишаютъ Францію самой самостоятельнѣйшей изъ *политическихъ и историческихъ* идей ея, вырываютъ у ней то знамя, которое она высоко держала столько вѣковъ какъ представительница романскаго элемента въ европейскомъ человѣчествѣ. Но за то тѣ,которые сгонятъ за это бездарныхъ и безполезныхъ республиканцевъ съ мѣста, непремѣнно позаботятся воздвигнуть (Бисмаркъ знаетъ это), въ послѣдній разъ, католическое знамя противъ Германіи, — знамя, въ которое уже, повторяю это, не вѣритъ Франція, уже сама *почти вся* отрицаетъ его, но которое можетъ еще послужить ей *политически* послѣдней точкой упоры и единенія противъ роковаго (и послѣдняго тоже) натиска протестантской Германіи, вѣчно протестовавшей противъ западно-европейскихъ, унаслѣдованныхъ еще отъ древняго Рима началъ цѣлой половины европейскаго человѣчества.

А потому князь Бисмаркъ вѣроятнѣе всего уже предрѣшилъ судьбу Франціи. Францію ждетъ судьба Польши и политически жить она не будетъ—или не будетъ и Германіи. Достигнувъ этого, онъ принудитъ тогда воюющее римское католичество (которое будетъ воевать до окончанія міра) войти въ новый фазисъ существованія и борьбы за существованіе—въ фазисъ подземной, рептильной, заговорной войны. И онъ ждетъ его въ этомъ новомъ фазисѣ. Чѣмъ скорѣе это совершится, тѣмъ для него лучше, такъ какъ тутъ онъ ждетъ уже соединенія обоихъ враговъ Германіи и человѣчества вмѣстѣ и тѣмъ самымъ раздавить ихъ надѣется легче, заразъ...

III.

Надо ловить минуту.

Соединеніе же обоихъ враговъ произойдетъ несомнѣнно, только лишь падетъ политически Франція. Оба врага эти имѣли съ Франціей всегда органическую связь. Католичество, почти до послѣдняго времени было единящей и существенной идеей ея. Соціализмъ-же и зародился въ ней. Лишивъ Францію политической жизни князь Бисмаркъ думаетъ нанести ударъ и соціализму. Соціализмъ, какъ наслѣдіе католицизма и Франціи—ненавистенъ болѣе всѣхъ истинному германцу и простительно что представители Германіи думаютъ съ нимъ такъ легко справиться, уничтоживъ лишь политически Францію какъ источникъ и начало его. Но вотъ что произойдетъ по всей вѣроятности если падетъ политически Франція: католичество потеряетъ свой мечъ и въ первый разъ обратится къ народу, котораго оно презирало столько вѣковъ, заискивая у королей и императоровъ земныхъ. Но теперь оно обратится къ народу ибо некуда идти ему больше, обратится именно къ предводителямъ наиболѣе подвижнаго и подымчиваго элемента въ народѣ, соціалистамъ. Народу оно скажетъ, что все что проповѣдуютъ имъ соціалисты, проповѣдывалъ и Христосъ. Оно исказитъ и продастъ имъ Христа еще разъ, какъ продавало прежде столько разъ за земное владѣніе, отстаивая права инквизиціи, мучившей людей за свободу совѣсти во имя любящаго Христа,—Христа, дорожащаго лишь свободно пришедшимъ ученикомъ, а не купленнымъ или напуганнымъ. Оно продавало Христа, благословляя іезуитовъ и одобряя праведность „всякого средства для Христова дѣла“. Все

Христово-же дѣло оно искони обратило лишь въ заботу о земномъ владѣніи своемъ и о будущемъ государственномъ обладаніи всѣмъ міромъ. Когда католическое человѣчество отвернулось отъ того чудовищнаго образа, въ которомъ имъ представили наконецъ Христа, то послѣ цѣлаго ряда вѣковъ протестовъ, реформацій и проч. явились наконецъ, съ начала нынѣшняго столѣтія, попытки устроиться внѣ Бога и внѣ Христа. Не имѣя инстинкта пчелы или муравья, безошибочно и точно созидающихъ улей и муравейникъ, люди захотѣли создать нѣчто въ родѣ человѣческаго безошибочнаго муравейника. Они отвергли происшедшую отъ Бога и откровеніемъ возвѣщенную человѣку единственную формулу спасенія его: „Возлюби ближняго какъ самого себя“ и замѣнили ее практическими выводами въ родѣ: „Chacun pour soi et Dieu pour tous“ или научными аксіомами въ родѣ „борьбы за существованіе“. Не имѣя инстинкта животныхъ, по которому тѣ живутъ и устраиваютъ жизнь свою безошибочно, люди гордо вознадѣялись на науку, забывъ что для такого дѣла какъ создать общество, наука еще все равно что въ пеленкахъ. Явились мечтанія. Будущая Вавилонская башня стала идеаломъ и, съ другой стороны, страхомъ всего человѣчества. Но за мечтателями явились вскорѣ уже другія ученія, простыя и понятныя всѣмъ, въ родѣ: „ограбить богатыхъ, залить міръ кровью, а тамъ *какъ нибудь само собою все вновь устроится*. Наконецъ пошли дальше и этихъ учителей, явилось ученіе анархіи, за которою, еслибъ она могла осуществиться, навѣрно бы начался вновь періодъ антропофагіи и люди принуждены были-бы начинать опять все съ начала, какъ тысячь за десять лѣтъ назадъ. Католичество понимаетъ все это отлично и съумѣетъ соблазнить предводителей подземной войны. Оно скажетъ имъ: „У васъ нѣтъ центра, порядка въ веденіи дѣла, вы раздробленная по всему міру сила, а теперь, съ паденіемъ Франціи и придавленная. Я буду единеніемъ вашимъ и привлеку къ вамъ и всѣхъ тѣхъ, кто въ меня еще вѣруетъ“. Такъ или этакъ, а соединеніе произойдетъ. Католичество умирать не хочетъ, соціальная же революція и новый, соціальный періодъ въ Европѣ тоже несомнѣненъ: двѣ силы несомнѣнно должны согласиться, два теченія слиться. Разумѣется, католичеству даже выгодна будетъ рѣзня, кровь, грабежъ и хотя бы даже антропофагія. Тутъ-то оно и можетъ надѣяться поймать на крючокъ, въ мутной водѣ, еще разъ свою рыбу, предчувствуя моментъ, когда наконецъ измученное хаосомъ и безправицей человѣчество бросится къ нему въ объятія, и оно очутится вновь, но уже всецѣло и на яву, нераздѣльно ни съ кѣмъ и единолично, „земнымъ владыкою и авторитетомъ міра сего“ и тѣмъ окончательно уже достигнетъ цѣли своей. Картина эта, увы—не фантазія. Я положительно удостовѣряю, что ее уже прозираютъ очень и очень многіе на Западѣ. И вѣроятно прозираютъ и владыки Германіи. Но предводители германскаго народа въ одномъ ошибаются: въ легкости побѣдить и подавить этихъ двухъ страшныхъ и уже соединенныхъ враговъ. Они надѣются на силу обновленной Германіи, протестантскаго и протестующаго ея духа противъ древняго и новаго Рима, вачалъ и *послѣдствій* его. Но не они остановятъ чудовище: остановитъ и побѣдитъ его возсоединенный Востокъ и новое слово, которое скажетъ онъ человѣчеству...

Во *всякомъ случаѣ* одно кажется яснымъ, именно: мы *нужны* Германіи даже болѣе, чѣмъ думаемъ. И нужны мы ей не для минутнаго политическаго союза, *а навѣчно*. Идея воссоединенной Германіи широка, величава и смотритъ въ глубь вѣковъ. Что Германіи дѣлить съ нами? объектъ ея—все западное человѣчество. Она себѣ предназначила западный міръ Европы, провести въ него свои начала вмѣсто римскихъ и романскихъ началъ и впредь стать предводительницею его, а Россіи она оставляетъ Востокъ. Два великіе народа такимъ образомъ предназначены измѣнить ликъ міра сего. Это не затѣи ума или честолюбія: такъ самъ міръ слагается. Есть новые и странные факты и появляются каждый день. Когда у насъ, еще надняхъ почти, говорить и мечтать о Константинополѣ считалось даже чѣмъ-то фантастическимъ, въ германскихъ газетахъ заговорили многіе о занятіи нами Константинополя какъ о дѣлѣ самомъ обыкновенномъ. Это почти странно сравнительно съ прежними, отношеніями къ намъ Германіи. Надо считать, что дружба Россіи съ Германіей нелицемѣрна и тверда и будетъ укрѣпляться чѣмъ дальше, тѣмъ больше, распространяясь и укрѣпляясь постепенно въ народномъ сознаніи обѣихъ націй, а потому можетъ быть даже не было и момента для Россіи выгоднѣе для разрѣшенія восточнаго вопроса окончательно, какъ теперь. Въ Германіи можетъ быть даже нетерпѣливѣе нашего ждутъ окончанія нашей войны. Между тѣмъ дѣйствительно за три мѣсяца нельзя теперь поручиться. Кончимъ ли мы войну раньше, чѣмъ начнутся послѣднія и роковыя волненія Европы? Все это неизвѣстно. Но поспѣемъ ли мы на помощь Германіи, нѣтъ ли, Германія во всякомъ случаѣ разсчитываетъ на насъ не какъ на *временныхъ* союзниковъ, а какъ на *вѣчныхъ*. Что же до текущей минуты — опять таки весь ключь дѣла во Франціи и въ избраніи папы. Тутъ можетъ явиться столкновеніе Франціи съ Германіей, теперь уже несомнѣнное, тѣмъ болѣе, что есть разжигатели. Англія объ немъ особенно постарается и тогда можетъ быть двинется и Австрія. Но объ этомъ обо всемъ мы говорили еще недавно. Ничего съ тѣхъ поръ не измѣнилось, чтобы могло опровергнуть прежнія мнѣнія наши, напротивъ подтвердилось...

Во всякомъ случаѣ Россіи надобно ловить минуту. А долго ли эта благопріятная европейская наша минута можетъ продолжаться? Пока дѣйствуютъ теперешніе великіе предводители Германіи, эта минута *всего вѣрнѣе* для насъ обезпечена...

Ѳ. Достоевскій.

ОБЩЕСТВЕННАЯ И ДОМАШНЯЯ

ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ.

САТИРИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ: П. Сталя, Бальзака, Бедольера, Жоржъ-Занда, Бенжаменъ-Франклина, Густава Дроза, Жюля-Жанена, Э. Лемуана, Поля-де-Мюссе, Шарль Нодье и Луи Віардо. Съ 158-ю рисунками Гранвиля, гравированными въ Парижѣ. Переводъ съ французскаго Н. А. Шульгиной, подъ редакціей А. Н. Плещеева. Спб. 1876 г. Цѣна 2 р. 50 к., въ коленкоровомъ переплетѣ 3 р. Выписывающіе отъ издателя Н. П. Карбасникова, Спб. Бассейная ул. д. 14, кв. 21, за пересылку *не платятъ*.

12-й (декабрьскій) выпускъ выйдетъ 31 декабря.

Дозволено цензурою Спб. 30 ноября 1877. Типогр. кн. В. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ГОДЪ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ. II-Й.

1877.

ДЕКАБРЬ.

ПОДПИСКА НА „ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ“ ВЪ СЛѢДУЮЩЕМЪ 1878 ГОДУ

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Заключительное разъясненіе одного прежняго факта.

Заключая двухлѣтнее изданіе «Дневника» теперешнимъ послѣднимъ, декабрьскимъ выпускомъ, я нахожу необходимымъ сказать еще разъ одно слово объ одномъ дѣлѣ, о которомъ я уже слишкомъ довольно говорилъ. Положилъ же я объ этомъ сказать еще въ маѣ мѣсяцѣ, но оставилъ тогда по особымъ соображеніямъ, именно до этого послѣдняго выпуска. Это все опять о той мачихѣ, Корниловой, которая въ злобѣ на мужа выбросила свою шестилѣтнюю падчерицу въ окошко, а та, упавъ съ пятисаженной высоты, осталась жива. Какъ извѣстно, преступница была судима, осуждена, потомъ приговоръ былъ кассированъ, и наконецъ, окончательно была оправдана на вторичномъ судѣ 22 апрѣля сего года. (См. «Дневникъ Писателя» октябрь 1876 и апрѣль 1877 года).

Въ этомъ дѣлѣ мнѣ случилось принять нѣкоторое участіе. Предсѣдатель суда, а потомъ и прокуроръ, въ самой залѣ суда, объявили публично, что первый обвиняющій Корнилову приговоръ былъ отмѣненъ, именно вслѣдствіе пущен-

ной мною въ «Дневникѣ» мысли, что «не вліяло-ли на поступокъ преступницы ея беременное состояніе?» Я эту мысль провелъ и развилъ вслѣдствіе чрезвычайныхъ и странныхъ психическихъ особенностей, которыя сами собою неотразимо бросались въ глаза и останавливали вниманіе при чтеніи подробностей совершоннаго преступленія. Впрочемъ это все уже извѣстно читателямъ. Извѣстно можетъ быть тоже, что послѣ самаго строгаго слѣдствія и самыхъ упорныхъ и настоятельныхъ доводовъ прокурора, присяжные все-таки оправдали Корнилову, пробывъ въ залѣ совѣщанія не болѣе десяти минутъ, и публика разошлась горячо сочувствуя оправданію. И вотъ, тѣмъ не менѣе, мнѣ тогда-же, въ тотъ-же день, пришла на умъ мысль, что въ подобномъ важномъ дѣлѣ, гдѣ затронуты самые высшіе мотивы гражданской и духовной жизни, всего бы желательнѣе чтобъ все могло быть разъяснено до самой послѣдней возможности, чтобъ ужь не оставалось ни въ обществѣ, ни въ душѣ присяжныхъ, вынесшихъ оправданіе, никакихъ сомнѣній, колебаній и сожалѣній о томъ, что несомнѣнная преступница была отпущена безъ наказанія. Тутъ затронуты дѣти, дѣтская судьба (часто ужасная у насъ на Руси и особенно въ бѣдномъ классѣ), дѣтскій вопросъ—и вотъ оправдывается, при сочувствіи публики, убійца ребенка! И вотъ я этому самъ отчасти способствовалъ (по свидѣтельству самого суда)! Я-то дѣйствовалъ по убѣжденію, но меня, послѣ произнесеннаго приговора вдругъ начало мучить сомнѣніе: не осталось-ли въ обществѣ недовольства, недоумѣнія, невѣрія въ судъ, негодованія даже? Въ прессѣ нашей сказано было объ этомъ оправданіи Корниловой мало,—тогда заняты были не тѣмъ, предчувствовалась война. Но въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», въ новородившейся тогда газетѣ, какъ-разъ я прочелъ статью, полную негодованія на оправданіе и даже злобы на мое участіе въ этомъ дѣлѣ. Статья эта написана недостойнымъ тономъ, да и не я одинъ, подвергся тогда негодованію «Сѣв. Вѣстника»; подвергся и Левъ Толстой за «Анну Каренину», подвергся злымъ и недостойнымъ насмѣшкамъ. Я лично и не отвѣтилъ бы автору, но въ статьѣ этой я именно увидѣлъ то, чего опасался отъ нѣкоторой части нашего общества, то есть сбивчиваго впечатлѣнія, недоумѣнія, негодованія на приговоръ. И вотъ я рѣшилъ ждать всѣ восемь мѣсяцевъ чтобъ въ этотъ срокъ убѣдиться самому, по возможности еще болѣе, окончательно, въ томъ что приговоръ не повліялъ дурно на подсудимую, что напротивъ милосердіе суда, какъ доброе сѣмя пало на хорошую почву, что подсудимая *дѣйствительно была достойна* сожалѣнія и милосердія, что порывы неизъяснимаго, фантастическаго почти буйства, въ припадкѣ котораго она совершила свое злодѣяніе,—не возвращались и *не могутъ* возвратиться къ ней вовсе и никогда болѣе, что это именно добрая и кроткая душа, а не разрушительница и убійца, (въ чемъ я убѣжденъ былъ во все время процесса) и что дѣйствительно преступленіе этой несчастной необходимо было объяснить какимъ нибудь особымъ случайнымъ обстоятельствомъ, болѣзненностью, «аффектомъ»—вотъ именно тѣми болѣзненными припадками, которые бываютъ довольно часто (при совокупности и другихъ, конечно, неблагопріятныхъ условій и обстоятельствъ) у беременныхъ женщинъ въ извѣстномъ періодѣ беременности,—и что наконецъ, стало быть, ни при-

сяжнымъ, ни обществу, ни публикѣ, бывшей въ залѣ суда и съ горячимъ сочувствіемъ выслушавшей приговоръ,— уже нечего болѣе сомнѣваться въ такомъ приговорѣ, въ его цѣлесообразности, и раскаяваться въ своемъ милосердіи.

И вотъ теперь, послѣ этихъ восьми мѣсяцевъ я именно въ силахъ и могу кое-что сообщить и прибавить по этому, впрочемъ, можетъ быть слишкомъ уже наскучившему всѣмъ дѣлу. Буду отвѣчать именно какъ-бы обществу, т. е. той части его, которая по предположенію моему могла не согласиться съ совершившимся приговоромъ, усумниться въ немъ и вознегодовать на него— если впрочемъ таковая часть недовольныхъ была въ нашемъ обществѣ. А такъ какъ изъ всѣхъ этихъ недовольныхъ мнѣ извѣстенъ (не лично однакоже) всего лишь тотъ одинъ «Наблюдатель», написавшій грозную статью въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», то и буду отвѣчать этому наблюдателю. Вѣрнѣе всего то, что я на него нисколько не подѣйствую никакими доводами, но можетъ быть буду понятенъ читателямъ.

«Наблюдатель», коснувшись въ статьѣ своей дѣла Корнилозой, придалъ этому *дѣлу* съ первой строки самое высшее значеніе: Онъ въ негодованіи указывалъ на судьбу дѣтей, беззащитныхъ дѣтей, и сожалѣлъ что не казнили подсудимую строжайшимъ приговоромъ. Дѣло, стало быть, шло о Сибири, о ссылкѣ двадцатилѣтней женщины съ рожденнымъ ею уже въ тюрьмѣ ребенкомъ на рукахъ (и-который тоже, стало быть, ссылался въ Сибирь вмѣстѣ съ нею), о разрушеніи молодаго семейства. Въ такомъ случаѣ, кажется, слѣдовало-бы первымъ дѣломъ тщательно, серьезно и безпристрастно отнестись къ обсуждаемымъ совершившимся фактамъ. И вотъ повѣрятъ-ли: этотъ Наблюдатель *не знаетъ* дѣла о которомъ судитъ, говоритъ на-обумъ, сочиняетъ самъ изъ головы небывалыя обстоятельства и бросаетъ ихъ прямо на голову бывшей подсудимой; въ залѣ суда *очевидно* не находился, преній не слушалъ, при приговорѣ не присутствовалъ, — и при всемъ томъ—ожесточенно и озлобленно требуетъ казни человѣка! Да вѣдь дѣло-то объ участи человѣческой идетъ, нѣсколькихъ даже существъ заразъ, о томъ идетъ чтобъ разорвать жизнь человѣческую пополамъ, безжалостно, съ кровью. Положимъ, несчастная уже была оправдана, когда «Наблюдатель» вышелъ съ своей статьей—но вѣдь такія нападенія вліяютъ на общество, на судъ, на общественное мнѣніе, онѣ отзовутся на будущемъ подобномъ-же подсудимомъ, онѣ, наконецъ, обижаютъ оправданную, благо она изъ темнаго люда, а потому беззащитна. Вотъ, однако, эта статья, т. е. все мѣсто, относящееся до дѣла Корниловой; дѣлаю самыя существенныя выписки и исключаю весьма немногое.

II.

Выписка.

. . . . . .

.... Гораздо труднѣе присяжнымъ представить самихъ себя въ положеніи беременной женщины; а еще труднѣе—въ положеніи шестилѣтней дѣвочки, которую эта женщина вышвырнула изъ окна четвертаго этажа. Надо имѣть всю ту силу воображенія, которою, какъ извѣстно, отличается среди всѣхъ насъ г. Достоевскій, чтобы вполнѣ войдти въ положеніе женщины и уяснить себѣ всю неотразимость аффектовъ беременности.

Онъ дѣйствительно вошелъ въ это положеніе, ѣздилъ къ одной дамѣ въ тюрьму, былъ пораженъ ея смиреніемъ, и въ нѣсколькихъ нумерахъ своего «Дневника» вы-

ступилъ горячимъ ее защитникомъ. Но г. Достоевскій слишкомъ впечатлителенъ, и притомъ «болѣзненныя проявленія воли» это—прямо по части автора «Бѣсовъ» «Идіота» и т. д., ему извинительно имѣть къ нимъ слабость. Я смотрю на дѣло проще и утверждаю, что послѣ такихъ примѣровъ, какъ оправданія жестокаго обращенія съ дѣтьми, этому обращенію, которое въ Россіи, какъ и въ Англіи, очень нерѣдко, не предстоитъ уже и тѣни устращенія. Изъ сколькихъ случаевъ жестокости съ дѣтьми одинъ попадаетъ судебному разсмотрѣнію? Есть дѣти, которыхъ вся жизнь, утро, полдень и вечеръ каждаго дня,—не что иное какъ рядъ страданій. Это—невинныя существа, терпящія такую участь, въ сравненіи съ которой работа отцеубійцъ въ рудникахъ—блаженство, съ отдыхомъ, съ отсутствіемъ вѣчнаго, неумолимаго страха, съ полнымъ душевнымъ спокойствіемъ, насколько оно не нарушается совѣстью. Изъ десяти тысячъ, а вѣроятно, изъ сотни тысячъ случаевъ жестокости съ дѣтьми, одинъ всплываетъ на судебную поверхность; одинъ, какой нибудь, почему либо наиболѣе замѣченный. Напримѣръ мачиха вѣчно бьетъ (?) несчастное шестилѣтнее существо, и, наконецъ, выбрасываетъ его изъ четвертаго этажа; когда узнаетъ, что ненавистное ей дитя не убилось, она восклицаетъ «ну живуча». Ни внезапности проявленія ненависти къ ребенку, ни раскаянія послѣ совершенія убійства нѣтъ; все цѣльно, все логично въ проявленіи одной и той же злой воли. И эту женщину оправдываютъ. Если въ такихъ ясныхъ до очевидности случаяхъ жестокости съ дѣтьми у насъ оправдываютъ, то чего же ожидать въ другихъ случаяхъ, менѣе рѣзкихъ, болѣе сложныхъ? Оправданія, конечно, оправданія и оправданія. Въ Англіи, въ грубыхъ классахъ городскихъ rougus нерѣдки, какъ я уже замѣтилъ, случаи жестокости съ дѣтьми. Но желалъ-бы я, чтобы мнѣ показали одинъ примѣръ подобнаго оправданія англійскими присяжными. О, когда передъ нашими присяжными является раскольникъ, худо отозвавшійся о куполѣ церкви—тогда другое дѣло. Въ Англіи онъ даже и къ суду не былъ бы призванъ, у насъ, онъ не жди оправданія. Но жестокость надъ дѣвочкой—стоитъ ли губить за это молодую женщину! Вѣдь она все таки мачиха, то есть почти мать жертвы; какъ бы тамъ ни было поитъ, кормитъ ее и еще больше бьетъ. Но этимъ послѣднимъ русскаго человѣка не удивишь. Пріятель разсказывалъ мнѣ, что ѣхалъ онъ на-дняхъ на извощикѣ, и тотъ все время стегалъ лошадь. На вопросъ о томъ, извощикъ отвѣчалъ: «Ея должность такая! Ей должно быть вѣчно и нещадно битой».

Твоя судьба, въ продолженіе вѣковъ, русскій человѣкъ! Вѣдь, можетъ быть и мачиху били въ дѣтствѣ; и вотъ ты входишь въ это и говоришь—Богъ съ ней! Но ты такъ не дѣлай. Ты пожалѣй маленькихъ; тебя теперь бить не будутъ, и не оправдывай жестокость надъ тѣмъ, кто уже родился не рабомъ.

Мнѣ скажутъ: вы нападаете на институтъ присяжныхъ, когда и безъ того, и такъ далѣе. Не нападаю я на институтъ, и въ умѣ не имѣю нападать на него, онъ хорошъ, онъ безконечно лучше того суда, въ которомъ не участвовала общественная совѣсть. Но я бесѣдую съ этой совѣстью о такомъ-то и такомъ-то ея проявленіи...

...Но бить ребенка какой нибудь годъ и потомъ выкинуть на вѣрную смерть,—это другое дѣло. «Мужъ оправданной», пишетъ г. Достоевскій, въ вышедшемъ на-дняхъ «Дневникѣ» «увезъ ее въ тотъ же вечеръ, уже въ одиннадцатомъ часу, къ себѣ домой и она, счастливая, вошла опять въ свой домъ». Какъ трогательно. Но горе бѣдному ребенку, если онъ остался въ томъ домѣ, куда вошла «счастливая»; горе ему, если онъ когда нибудь попадетъ въ отцовскій домъ.

«Аффектъ беременности»—ну, выдумано новое жалкое слово. Какъ-бы силенъ этотъ аффектъ ни былъ, однако женщина подъ вліяніемъ его не бросалась ни на мужа, ни на сосѣднихъ жильцовъ. Весь аффектъ, ея исключительно предназначался для той беззащитной дѣвочки, которую она тиранила цѣлый годъ безъ всякаго аффекта. На чемъ же остановились присяжные въ оправданіи? На томъ, что одинъ психіатръ призналъ «болѣзненное состояніе души» подсудимой во время совершенія преступленія; трое другихъ психіатровъ заявили только, что болѣзненное состояніе беременной женщины могло повліять на совершеніе преступленія; а одинъ акушеръ, профессоръ Флоринскій, которому, едва-ли не

лучше извѣстны всѣ проявленія состоянія беременности, выразилъ прямо несогласіе съ такими мнѣніями. Стало быть, четверо изъ пятерыхъ экспертовъ не признали, что въ данномъ случаѣ преступленіе положительно было совершено въ состояніи «аффекта беременности» и затѣмъ невмѣняемости. Но присяжные оправдали. Экъ, велико дѣло: вѣдь не убился же ребенокъ, а что его били, такъ вѣдь «его должность такая».

III.

Искаженія и подтасовки и—намъ это ничего не стоитъ.

Вотъ выписка, вотъ обвиненіе, много негодованія и на меня. Но теперь и я спрошу «Наблюдателя»: какъ могли вы до такой степени исказить факты въ такомъ важномъ обвиненіи, и выставить все въ такомъ ложномъ и небываломъ видѣ? Да когда-же было битье, систематическое *мачихино* битье? Вы пишите прямо и точно:

«Мачиха *вѣчно бьетъ* несчастное шестилѣтнее существо и наконецъ выбрасываетъ его изъ четвертаго этажа»...

Потомъ:

«Но бить ребенка *какой нибудь годъ* и потомъ выкинуть на вѣрную смерть»...

Восклицаете про ребенка:

«Горе ему, если онъ когда нибудь попадетъ въ отцовскій домъ».

И наконецъ влагаете въ уста присяжныхъ звѣрскую фразу:

«Экъ, велико дѣло: вѣдь не убился-же ребенокъ, а что его били, такъ вѣдь «его должность такая».

Однимъ словомъ, вы всѣ факты подмѣнили, и все дѣло представили такъ, что преступленіе, по вашему, произошло, будто бы, единственно отъ ненависти мачихи къ ребенку, котораго она мучила и била годъ и кончила тѣмъ, что выбросила его изъ окошка. Вы представили подсудимую нарочно звѣремъ, ненасытно злобною мачихой, единственно, чтобъ оправдать свою статью и возбудить негодованіе общества на милосердный приговоръ присяжныхъ. И мы вправѣ заключить, что сдѣлали вы этотъ подмѣнъ единственно съ этою, указанною мною сейчасъ цѣлью — потому вправѣ, что не могли же вы и не имѣли права не узнать подробнѣйшимъ образомъ обстоятельствъ такого дѣла, въ которомъ сами берете на себя произнести приговоръ и требуете казни.

Между тѣмъ звѣря, звѣрской мачихи, ненавидящей ребенка и ненасытной къ истязанію его—*никогда* и *совсѣмъ* не было. И это положительно подтвердилось слѣдствіемъ. Первоначально дѣйствительно выдвинута была мысль, что мачиха мучила ребенка и изъ ненависти къ нему рѣшилась убить его. Но впослѣдствіи обвиненіе совсѣмъ оставило эту мысль: слишкомъ ясно стало, что преступленіе совершилось совсѣмъ изъ другихъ мотивовъ, чѣмъ ненависть къ ребенку, изъ причинъ совершенно объяснившихся на судѣ и при которыхъ ребенокъ былъ не причемъ. Кромѣ того, на судѣ не оказалось и свидѣтелей, которые бы могли подтвердить жестокость мачихи, — *мачихино* битье. Было только одно свидѣтельство одной только женщины, жившей тутъ же въ корридорѣ рядомъ, (гдѣ живетъ много людей), что сѣкла дескать очень больно ребенка, но и это свидѣтельство выяснилось потомъ защитой, какъ «корридорная сплетня»—не болѣе. Было же то, что обыкновенно бываетъ въ этакого рода семействахъ, при ихъ степени образованія и развитія, то есть, что ребенка за шалости дѣйствительно наказывали оба, и отецъ и мачиха, но иногда лишь, т. е. очень рѣдко, и не безчеловѣчно, а «отечески», какъ они выражаются сами, то есть до сихъ поръ, къ несчастью, во всѣхъ

такихъ русскихъ семействахъ, по всей Руси, и при этомъ, однако, любя крѣпко дѣтей, и заботясь объ нихъ (и весьма даже часто) гораздо сильнѣе и больше, чѣмъ бываетъ это въ иныхъ интеллигентныхъ и богатыхъ, европейски-развитыхъ русскихъ семействахъ. Тутъ только не умѣнье, а не жестокость. Корнилова-же была даже весьма хорошей мачихой, ходила и наблюдала за ребенкомъ. Наказаніе же ребенка было лишь одинъ разъ *жестокое:* мачиха высѣкла его разъ утромъ при пробужденіи *за то, что не умѣетъ проситься ночью.* Никакой тутъ ненависти къ нему не было. Когда я ей замѣтилъ, что за это нельзя наказывать, что сложеніе дѣтей и природа ихъ различны, что шестилѣтній ребенокъ еще слишкомъ малъ чтобъ всегда умѣть проситься, то она отвѣтила: «а мнѣ сказали, что такъ надо сдѣлать, чтобъ отучить и что его иначе не отучишь». Въ этотъ разъ она ударила ребенка бичевкой «шесть» разъ, но такъ, что вышли рубцы—и вотъ эти то рубцы и видѣла та женщина въ корридорѣ, единственная свидѣтельница единственнаго случая жестокости и объ нихъ-то и показывала въ судѣ. За эти же рубцы мужъ, воротясь съ работы, немедленно наказалъ жену, т. е. побилъ ее. Это человѣкъ строгій, прямой, честный и неуклонный прежде всего, хотя, какъ видите, отчасти и съ обычаями прежнихъ временъ. Бивалъ онъ жену рѣдко и не безчеловѣчно, (такъ сама она говоритъ), а единственно изъ принципа мужней власти—такъ выходитъ по его характеру. Ребенка своего онъ любитъ, (хотя чаще еще мачихи наказывалъ и самъ дѣвочку за шалости), но не такой онъ человѣкъ, чтобъ дать ребенка напрасно въ обиду, хотя бы и женѣ своей. И такъ единственный случай строгаго наказанія (до рубцевъ), обнаружившійся на судѣ, обращенъ обвинителемъ «Сѣвернаго Вѣстника» въ систематическое, звѣрское, мачихино битье цѣлый годъ, въ мачихину ненависть, которая возростая все болѣе и болѣе кончилась швыркомъ ребенка за окошко. А она объ ребенкѣ и не думала даже за пять минутъ до совершенія своего ужаснаго преступленія.

Вы, Наблюдатель, засмѣетесь и скажете: да развѣ наказаніе розгами до рубцевъ не жестокость, не *мачихино* битье? Да, наказаніе до рубцевъ есть звѣрство, это такъ, но вѣдь этотъ случай (единичность его была подтверждена на судѣ, для меня же подтверждена теперь положительно), повторяю это, вѣдь не есть же систематическое, постоянное, звѣрское мачихино битье цѣлый годъ, это только *случай* и вышедшій изъ неумѣнія воспитывать, изъ ложнаго пониманія какъ нужно научить ребенка, а вовсе не изъ ненависти къ нему, или потому что «его должность такая». Такимъ образомъ ваше изображеніе этой женщины, какъ злой мачихи, и то лицо, которое опредѣлилось на судѣ изъ дѣйствительныхъ фактовъ, — совершенная разница. Да, она вышвырнула ребенка, преступленіе страшное и звѣрское, но вѣдь не какъ злобная же мачиха она это совершила,—вотъ объ чемъ прежде всего вопросъ въ отвѣтъ на ваше голословное обвиненіе. Для чего же вы поддерживаете такое лютое обвиненіе, если сами знаете, что его доказать нельзя, что на судѣ оно было оставлено и что совсѣмъ не было свидѣтелей его подтверждающихъ. Неужели для одного лишь литературнаго эфекта? Вѣдь выставляя на видъ и доказывая, что это сдѣлала *мачиха*, заключившая

этимъ убійствомъ, цѣлый годъ истязаній ребенка (не бывалыхъ вовсе)—вы тѣмъ самымъ извращаете впечатлѣніе малосвѣдующаго въ этомъ дѣлѣ читателя, исторгаете изъ его души сожалѣніе и милосердіе, которыхъ онъ поневолѣ не можетъ ощущать, прочтя статью вашу, къ извергу мачихѣ; тогда какъ, не будь въ глазахъ его эта мачиха выставлена вами какъ мучительница ребенка, она бы можетъ быть и заслужила въ его сердцѣ хотя малое снисхожденіе, какъ больная, какъ болѣзненно-потрясенная, раздраженная беременная женщина, что ясно изъ фантастическихъ, дикихъ и загадочныхъ подробностей событія. Справедливо-ли такъ поступать общественному дѣятелю, человѣчно-ли?

Но вы еще и не то говорите. Вы написали, и опять-таки твердо и точно, какъ изучившій все дѣло до мельчайшей подробности наблюдатель:

«Аффектъ беременности»—ну выдумано новое жалкое слово. Какъ бы силенъ этотъ аффектъ ни былъ, однако женщина подъ вліяніемъ его *не бросалась на мужа*, ни на сосѣднихъ жильцовъ. Весь аффектъ ея исключительно предназначался для беззащитной дѣвочки, которую она тиранила цѣлый годъ безъ всякаго аффекта. Начемъ же основались присяжные въ оправданіи»?

Но на чемъ же вы-то основались, Наблюдатель, чтобъ соорудить такое совершенное искаженіе дѣла? «Не бросалась на мужа»! Но объ томъ только и говорилось на судѣ, что ссоры съ мужемъ дошли у ней наконецъ (и только въ нѣсколько послѣднихъ дней, впрочемъ) до бѣшенства, до изступленія, которое и привело къ преступленію. Ссоры-же были вовсе не изъ-за ребенка, потому что ребенокъ былъ тутъ буквально не причемъ, *не думала она въ эти дни даже о немъ вовсе*. «Вовсе мнѣ его и не надо было тогда», какъ выразилась она сама.

Не для васъ, а для читателей моихъ, постараюсь обозначить оба эти характера, ссорившихся мужа и жены такъ, какъ я ихъ и прежде еще, до приговора понималъ и какъ они еще болѣе уже послѣ приговора, при самомъ пристальномъ наблюденіи моемъ, разъяснились мнѣ. Нескромности относительно этихъ двухъ лицъ не можетъ быть тутъ очень большой съмоей стороны: ужь много и безъ того было оглашено на судѣ. Да и дѣлаю я это собственно къ ихъ оправданію. И такъ вотъ въ чемъ дѣло. Мужъ прежде всего человѣкъ твердый, прямой, честнѣйшій и добрѣйшій, (т. е. даже великодушный, какъ доказалъ онъ впослѣдствіи), но нѣсколько слишкомъ пуританинъ, слишкомъ наивно и даже сурово слѣдующій разъ навсегда принятому взгляду и убѣжденію. Тутъ и нѣкоторая разница въ лѣтахъ съ женой, онъ много старше, тутъ и то еще, что онъ вдовецъ. Человѣкъ онъ работающій цѣлый день, и хотя ходитъ въ нѣмецкомъ платьѣ и смотритъ какъ-бы «образованнымъ» человѣкомъ, но человѣкъ никакого особеннаго образованія не получившій. Замѣчу еще, что въ наружности его несомнѣнный видъ собственнаго достоинства. Прибавлю, что онъ не очень разговорчивъ, не очень веселъ или смѣшливъ, можетъ быть даже обращеніе его нѣсколько и тяжело. Она взята имъ за себя еще очень молодая. Это была честная дѣвушка, по ремеслу швея, добывавшая мастерствомъ порядочныя деньги.

Какъ они сошлись, не знаю. Вышла она за него по охотѣ, «по любви». Но очень скоро началась разладица и хотя долго не доходило до крайностей, но недоумѣніе, разъединеніе и даже на-

конецъ озлобленіе наростали съ обѣихъ сторонъ, хотя и медленно, но твёрдо и неуклонно. Дѣло въ томъ, а можетъ быть въ томъ вся и причина, что оба, не смотря на возростающее озлобленіе, любили другъ друга даже слишкомъ горячо и такъ до самаго конца. Любовь-то и ожесточала требованія съ обѣихъ сторонъ, усиливала ихъ, прибавляла къ нимъ раздраженіе. А тутъ какъ разъ и ея характеръ. Это характеръ довольно замкнутый и какъ бы нѣсколько гордый. Бываютъ такіе и межъ женщинъ и межъ мужчинъ, которые хоть и питаютъ въ сердцѣ даже самыя горячія чувства, но при этомъ всегда какъ-то стыдливы на ихъ обнаруженіе; въ нихъ мало ласки, мало у нихъ ласкающихъ словъ, обниманій, прыганія на шею. Если за это ихъ назовутъ безсердечными, безчувственными, то они тогда еще болѣе замыкаются въ себя. При обвиненіяхъ они рѣдко стараются разъяснить дѣло сами, напротивъ оставляютъ эту заботу на обвинителя: «самъ дескать угадай; коли любишь долженъ узнать, что я права». И если онъ неузнаетъ и озлобляется болѣе и болѣе, то и она озлобляется болѣе и болѣе. И вотъ этотъ мужъ съ самаго начала сталъ круто (хоть и вовсе не жестоко) упрекать ее, читать ей наставленія, учить ее, попрекать прежней женой своей, что было ей особенно тяжело. Все однако шло не особенно дурно, но такъ однако всегда стало выходить, что при упрекахъ и обвиненіяхъ съ его стороны, начинались съ ея стороны ссоры и злобныя рѣчи, а не желаніе объясниться, покончить недоумѣніе какъ нибудь окончательнымъ разъясненіемъ, указаніемъ причинъ. Объ этомъ даже и забыли наконецъ. Кончилось тѣмъ, что въ ея сердцѣ (у ней первой, а не у мужа) начались угрюмыя чувства, разочарованіе вмѣсто любви. И все это возростало притомъ довольно безсознательно,—тутъ жизнь рабочая, тяжелая, объ чувствахъ то и нѣкогда слишкомъ думать. Онъ уходитъ на работу, она занимается хозяйствомъ, стряпаетъ, полы даже моетъ. У нихъ по длинному корридору въ казенномъ зданіи маленькія комнаты, по одной на каждое семейство служащихъ въ этомъ казенномъ заведеніи женатыхъ работниковъ. Случилось такъ, что она, съ позволенія мужа, ушла на именины, въ семейный домъ, къ тому мастеру, у котораго все свое дѣтство и отрочество училась своему мастерству и съ которымъ и она и мужъ продолжали быть знакомыми. Мужъ, занятый работою, остался на этотъ разъ дома. На именинахъ оказалось очень весело, было много приглашенныхъ, угощеніе, начались танцы. Пропировали до утра. Молодая женщина, привыкшая у мужа къ довольно скучному житью въ одной тѣсной комнатѣ и къ вѣчной работѣ—видно вспомнила свое дѣвичье житье и провеселилась *на балу* такъ долго, что и забыла о срокѣ, на который была отпущена. Кончилось тѣмъ, что уговорили ее заночевать въ гостяхъ, къ тому же возвращаться домой было очень далеко. Вотъ тутъ-то и разсердился мужъ, первый разъ ночевавшій безъ жены. И разсердился очень: на другой день, бросивъ работу, пустился за ней къ гостямъ, разыскалъ ее и—тутъ-же при гостяхъ *наказалъ*. Возвратились они домой уже молча и два дня и двѣ ночи потомъ не говорили другъ съ другомъ вовсе и не ѣли вмѣстѣ. Узналъ я все это отрывками, она же сама мало разъяснила мнѣ, не смотря на мои вопросы, тогдашнее свое состояніе духа. «Не помню я, объ чемъ тогда и думала, всѣ эти два дня, а все думалось. На нее

(на дѣвочку) я тогда *и не смотрѣла вовсе*. Я все помню, какъ это сдѣлалось, но какъ я это сдѣлала, ужь и не знаю, какъ сказать». И вотъ, на третій день утромъ, мужъ рано ушелъ на работу, дѣвочка еще спитъ. Мачиха возится съ печкой. Дѣвочка наконецъ просыпается; мачиха машинально по обыкновенію ее умываетъ, обуваетъ, одѣваетъ и сажаетъ за кофей . . . . —«и не думаю я о ней вовсе». Ребенокъ сидитъ, пьетъ свою чашку, кушаетъ,—«и вотъ вдругъ я на нее тогда поглядѣла»...

IV.

Злые психологи. Акушеры психіатры.

Послушайте, Наблюдатель, вы утверждаете тверло и точно, что все дѣло произошло безъ колебаній, обдуманно, спокойно, била, дескать, цѣлый годъ, наконецъ обдумала, спокойно взяла рѣшеніе и выбросила за окно младенца: «*ни внезапности* проявленія ненависти къ ребенку» — пишете вы въ негодованіи,—«ни раскаянія послѣ совершенія убійства нѣтъ, все цѣльно, все логично въ проявленіи *одной и той-же* злой воли. И эту женщину оправдываютъ». Вотъ собственныя слова ваши. Но, вѣдь, отъ обвиненія въ предумышленности преступленія отказался самъ прокуроръ, извѣстно-ли вамъ это Наблюдатель, — отказался публично, гласно, торжественно, въ самый роковой моментъ суда. А прокуроръ, однако, обвинялъ преступницу съ жестокою настойчивостью. Какже вы то, Наблюдатель, утверждаете уже послѣ прокурорскаго отступленія, что не было внезапности, а напротивъ все было цѣльно и логично въ проявленіи одной и той-же злой воли? Цѣльно и логично! Стало быть обдуманно, стало быть преднамѣренно. Припомню все еще разъ быстрыми штрихами: Она велитъ дѣвочкѣ встать на подоконникъ и выглянуть за окошко, и когда дѣвочка посмотрѣла за окно, она приподняла ее за ножки и выбросила съ высоты $5^1/_2$ сажень. Затѣмъ заперла окно, одѣлась и пошла въ участокъ доносить на себя. Скажите, неужели это цѣльно и логично, а не фантастично? И во-первыхъ, для чего поить-кормить ребенка, если ужь дѣло было замышлено давно въ умѣ ея, для чего ждать пока та выпьетъ кофе и съѣстъ свой хлѣбъ? Какъ можно (и естественно-ли) даже не заглянуть за окно, уже выбросивъ дѣвочку. И позвольте, къ чему доносить на себя? Вѣдь если все вышло изъ злобы, изъ ненависти къ дѣвочкѣ, «которую она била цѣлый годъ», то для чего, убивъ эту дѣвочку, придумавъ и исполнивъ наконецъ это давно и спокойно замышленное убійство, идти тотчасъ же доносить на себя? Ненавистной дѣвочкѣ пусть смерть, а ей-то для чего себя губить? Кромѣ того, если сверхъ ненависти къ ребенку былъ и еще мотивъ чтобъ убить его, то есть ненависть къ мужу, желаніе отмстить мужу смертію его ребенка, то вѣдь она прямо могла сказать мужу, что шалунья дѣвочка сама влѣзла на окошко, и сама вывалилась, вѣдь все равно цѣль была-бы достигнута, отецъ былъ бы пораженъ и потрясенъ, а обвинить ее въ умышленномъ убійствѣ никто бы въ мірѣ тогда не могъ, хотя бы и могло быть подозрѣніе? Гдѣ доказательства? Еслибъ даже дѣвочка и осталась жива, то кто бы могъ повѣрить ея лепету? Напротивъ убійца тѣмъ вѣрнѣе и полнѣе достигла-бъ всего къ чему стремилась, т. е. отмстила-бы гораздо злѣе и больнѣе мужу, который, еслибъ

даже и подозрѣвалъ ее въ убійствѣ, то именно тѣмъ пуще бы мучился ея безнаказанностью, видя что наказать ее, т. е. предать правосудію, невозможно. Наказавъ-же себя сама тутъ-же, погубивъ всю свою участь въ острогѣ, въ Сибири, въ каторгѣ, она тѣмъ самымъ давала мужу удовлетвореніе. Для чего же все это? И кто одѣвается, наряжается въ этомъ случаѣ, чтобъ идти губить себя? О, скажутъ мнѣ, она не просто хотѣла лишь отмстить ребенку и мужу, она хотѣла и бракъ разорвать съ мужемъ: сошлютъ на каторгу, бракъ разорванъ! Но ужь не говоря о томъ, что объ разрывѣ брака можно бы было распорядиться и придумать иначе, чѣмъ губя, девяднадцати лѣтъ, всю жизнь и свободу свою,—не говоря уже объ этомъ, согласитесь, что человѣкъ рѣшающійся погубить себя сознательно, броситься въ разверзшуюся подъ ногами бездну безо всякой оглядки, безъ малѣйшаго колебанія,— согласитесь, что въ этой человѣческой душѣ должно было быть страшное чувство въ ту минуту, мрачное отчаяніе, позывъ къ гибели неудержимый, позывъ броситься и истребить себя—а если такъ, то можно-ли, можно-ли сказать, сохраняя здравый смыслъ, что «ни *внезапности*, ни раскаянія въ душѣ не было!» Не было если раскаянія, то были мракъ, проклятіе, сумашествіе. Ужь, по крайней мѣрѣ, нельзя сказать, что было все цѣльно, все логично, все предумышленно, безъ внезапности. Нужно быть самому въ «аффектѣ», чтобъ утверждать это. Не нди она доносить на себя, останься дома, солги людямъ и мужу что ребенокъ убился самъ—было бы дѣйствительно все логично и цѣльно, и безъ внезапности и въ проявленіи злой воли; но погубленіе и себя тутъ-же, не вынужденное, а добровольное, ужь конечно свидѣтельствуетъ, по крайней мѣрѣ, объ ужасномъ и возмущенномъ душевномъ состояніи убійцы. Это мрачное душевное состояніе продолжалось долго, нѣсколько дней. Выраженіе: «ну, живуча» было выставлено защитникомъ экспертомъ же, (а не обвиненіемъ) при обрисовкѣ имъ передъ судомъ того мрачнаго, холоднаго, какъ бы омертвѣвшаго духовнаго состоянія подсудимой послѣ совершенія ею преступленія, а не какъ злобную, холодную нравственную безчувственность съ ея стороны. Моя вся бѣда была въ томъ, что я, прочитавъ тогда первый приговоръ суда и пораженный именно странностью и фантастичностью всѣхъ подробностей дѣла, и взявъ въ соображеніе сообщенный въ тѣхъ же газетахъ фактъ о ея беременности, на пятомъ мѣсяцѣ, во время совершенія убійства, не могъ, совершенно невольно, не подумать: не повліяла ли тутъ и беременность, т. е. какъ я писалъ тогда, не случилось-ли такъ дѣло: «посмотрѣла она на ребенка и подумала въ злобѣ своей: вотъ бы выбросить за окошко? Но будучи не беременна—подумала бы можетъ быть, по злобѣ своей, да и не сдѣлала-бы, не выбросила, а беременная—взяла, да и сдѣлала?» Ну, вотъ вся бѣда моя въ томъ, что я тогда такъ подумалъ и такъ написалъ. Но неужели съ однихъ этихъ словъ только кассировали приговоръ и потомъ оправдали убійцу? Вы смѣетесь, Наблюдатель, надъ экспертами! Вы утверждаете, что лишь одинъ изъ нихъ пяти сказалъ, что преступница дѣйствительно была въ аффектѣ беременности, а что трое другихъ лишь выразились, что могло быть вліяніе беременности, но не сказали положительно, что оно дѣйствительно было. Изъ этого вы выводите, что лишь одинъ экспертъ оправдалъ подсудимую *положи-*

тельно, а четверо нѣтъ. Но вѣдь такое разсужденіе ваше невѣрно: вы слишкомъ много требуете отъ совѣсти человѣческой. Довольно и того, что тремъ экспертамъ, очевидно, не хотѣлось оправдать подсудимую *положительно*, т. е. взять это себѣ на душу, но факты до того были сильны и очевидны, что эти ученые все таки поколебались и кончилось тѣмъ, что они не могли сказать: *нѣтъ*, прямо и просто, а *принуждены* были сказать, что «дѣйствительно могло быть вліяніе болѣзненное въ моментъ преступленія». Ну, а для присяжныхъ вѣдь это и приговоръ: коли не могли не сказать, что «могло быть», значитъ, пожалуй, и впрямь, оно было. Такое сильное сомнѣніе присяжныхъ естественно не могло не повліять и на ихъ рѣшеніе, и это совершенно такъ и слѣдовало по высшей правдѣ: неужели-же убить приговоромъ ту, въ полной виновности которой трое экспертовъ явно сомнѣваются, а четвертый, Дюковъ, экспертъ именно по душевнымъ болѣзнямъ, прямо и твердо приписываетъ все злодѣяніе тогдашнему разстроенному душевному состоянію преступницы? Но Наблюдатель особенно ухватился за г. Флоринскаго, пятаго эксперта, не согласившагося съ мнѣніемъ четырехъ первыхъ экспертовъ: онъ, дескать, акушеръ, онъ больше всѣхъ долженъ знать въ болѣзняхъ женщинъ. Это почему-же онъ долженъ знать въ душевныхъ болѣзняхъ, больше самихъ экспертовъ-психіатровъ? Потому что онъ акушеръ, и занимается не психіатріей, а совсѣмъ другимъ дѣломъ? Не совсѣмъ и это логично.

—

V.

Одинъ случай, по моему довольно много разъясняющій.

Теперь разскажу одинъ случай, который, по моему, можетъ кое-что разъяснить въ этомъ дѣлѣ окончательно и послужить прямо той цѣли, съ которою предпринялъ я эту статью. На третій день послѣ оправдательнаго приговора надъ подсудимой Корниловой (22 апрѣля 1877 г.), они, мужъ и жена, пріѣхали ко мнѣ утромъ. Еще наканунѣ они оба были въ дѣтскомъ пріютѣ, въ которомъ помѣщена теперь пострадавшая дѣвочка, (выброшенная изъ окошка), и теперь на другой день снова туда отправлялись. Кстати, участь ребенка теперь обезпечена и нечего восклицать: «Горе теперь ребенку!...» и т. д. Отецъ, когда жену взяли въ острогъ, самъ помѣстилъ ребенка въ этотъ дѣтскій пріютъ, не имѣя никакой возможности присматривать за нимъ уходя съ утра до ночи на работу. А по возвращеніи жены, они рѣшились ее оставить тамъ въ пріютѣ, потому, что тамъ ей очень хорошо. Но на праздники они часто берутъ ее къ себѣ домой. Она гостила у нихъ и недавно на Рождествѣ. Не смотря на свою работу, съ утра до ночи, и на груднова еще ребенка (родившагося въ острогѣ) на рукахъ, мачиха находитъ иногда и теперь время урваться и сбѣгать въ пріютъ къ дѣвочкѣ, снести ей гостинцу и проч. Когда же была еще въ острогѣ, то вспоминая свой грѣхъ передъ ребенкомъ, она часто мечтала, какъ бы повидаться съ нимъ, сдѣлать хоть что нибудь такъ, чтобъ ребенокъ забылъ о случившемся. Эти фантазіи были какъ то странны отъ такой сдержанной, даже мало довѣрчивой женщины, какою была Корнилова во все время

подъ судомъ. Но фантазіямъ этимъ суждено было осуществиться. Передъ Рождествомъ, съ мѣсяцъ назадъ, не видавъ Корниловыхъ мѣсяцевъ шесть, я зашелъ къ нимъ на квартиру, и Корнилова первымъ словомъ мнѣ сообщила, что дѣвочка «прыгаетъ къ ней въ радости на шею и обнимаетъ ее каждый разъ, когда она приходитъ къ ней въ пріютъ». И когда я уходилъ отъ нихъ, она мнѣ вдругъ сказала: «Она забудетъ...»

И такъ они ко мнѣ заѣхали утромъ на третій день по оправданіи ея... Но я все отступаю, отступлю и еще разъ на минутку. Наблюдатель юмористично и зло острилъ надо мною въ своей статьѣ за эти посѣщенія мои Корниловой въ острогѣ. «Онъ дѣйствительно вошелъ въ это положеніе»—(т. е. въ положеніе беременной женщины), — говоритъ онъ про меня: «ѣздилъ къ одной дамѣ въ тюрьму, былъ пораженъ ея смиреніемъ и въ нѣсколькихъ нумерахъ «Дневника» выступилъ горячимъ ея защитникомъ». Во первыхъ, къ чему тутъ слово «дама», кчему этотъ дурной тонъ? Вѣдь Наблюдателю отлично извѣстно, что это не дама, а простая крестьянка, работница съ утра до ночи; она стряпаетъ, моетъ полы и шьетъ на продажу если урветъ время. Бывалъ же я у нея въ острогѣ ровно по разу въ мѣсяцъ, сиживалъ минутъ по 10, много четверть часа, не болѣе, большею частью въ общей камерѣ для подсудимыхъ женщинъ, имѣющихъ грудныхъ младенцевъ. Если я съ любопытствомъ присматривался къ этой женщинѣ и старался уяснить себѣ этотъ характеръ,—то что же въ томъ дурнаго, подлежащаго насмѣшкамъ и юмору? Но вернемся къ моему анекдоту.

И такъ, пріѣхали они съ визитомъ, сидятъ у меня, оба въ какомъ то проникнутомъ серьезномъ состояніи духа. Мужа я до тѣхъ поръ мало зналъ. И вдругъ онъ говоритъ мнѣ: «третьяго дня, какъ мы воротились домой—(это послѣ оправданія, стало быть часу въ двѣнадцатомъ ночи, а встаетъ онъ въ пять часовъ утра),—то тотчасъ сѣли за столъ, я вынулъ евангеліе и сталъ ей читать». Признаюсь, когда онъ сообщилъ это, мнѣ вдругъ подумалось, глядя на него: «да онъ и не могъ иначе сдѣлать, это типъ, цѣльный типъ, это можно бы было угадать». Однимъ словомъ, это пуританинъ, человѣкъ честнѣйшій, серьезнѣйшій, несомнѣнно добрый и великодушный, но который ничего не уступитъ изъ своего характера и ничего не отдастъ изъ своихъ убѣжденій. Этотъ мужъ смотритъ на бракъ со всею вѣрою, именно какъ на таинство. Это одинъ изъ тѣхъ супруговъ, и теперь еще сохранившихся на Руси, которые, по старому русскому преданію и обычаю, прійдя отъ вѣнца и уже затворившись съ нововѣнчанною женою въ спальнѣ своей, первымъ дѣломъ бросаются передъ образомъ на колѣни и долго молятся, прося у Бога благословенія на свое будущее. Подобно тому онъ поступилъ и тутъ: вводя вновь свою жену въ домъ и возобновляя съ ней разторгнутый страшнымъ преступленіемъ ея бракъ свой, онъ первымъ дѣломъ развернулъ евангеліе и сталъ ей читать его, нисколько не удерживаясь въ мужественной и серьезной своей рѣшительности хотя бы тѣмъ соображеніемъ, что женщина эта почти падаетъ отъ усталости, что она страшно была потрясена еще готовясь къ суду, а въ этотъ послѣдній роковой для нея день суда вынесла столько подавляющихъ впечатлѣній, нравственныхъ и физическихъ, что уже конечно не грѣшно бы было даже и такому строгому пуританину какъ онъ, дать ей прежде хоть каплю от-

дохнуть и собраться съ духомъ, что было бы даже и сообразнѣе съ цѣлью, которую онъ имѣлъ развертывая передъ ней евангеліе. Такъ что мнѣ даже показался этотъ поступокъ его чуть-ли не неловкимъ,—слишкомъ уже прямолинейнымъ, въ томъ смыслѣ, что онъ именно могъ не достигнуть цѣли своей, Слишкомъ виновную душу, и особенно если она сама уже слишкомъ чувствуетъ свою виновность и много уже вынесла изъ за того муки, не надо слишкомъ явно и *постыдно* укорять въ ея виновности, ибо можно достигнуть обратнаго впечатлѣнія, и особенно въ томъ случаѣ если раскаяніе и безъ того уже въ душѣ ея. Тутъ человѣкъ, отъ котораго она зависитъ, поднявшійся надъ ней въ высшемъ ореолѣ судьи, имѣетъ какъ бы нѣчто въ ея глазахъ безпощадное, слишкомъ уже самовластно вторгающееся въ ея душу, и сурово отталкивающее ея раскаяніе и возродившіяся въ ней добрыя чувства: «Не отдыхъ, не ѣда, не питье, нужны такой какъ ты, а вотъ садись и слушай какъ надо жить». Когда они уже уходили, мнѣ удалось замѣтить ему мелькомъ, чтобъ онъ принимался вновь *за это дѣло* не столь строго или лучше сказать не такъ бы спѣшилъ, не такъ бы прямо ломилъ и что такъ можетъ быть было бы вѣрнѣе. Я выразился кратко и ясно, но все же думалъ что онъ можетъ быть меня не поймете. А онъ вдругъ мнѣ и замѣчаетъ на это: «А она мнѣ тогда же, какъ только вошли въ домъ, и какъ только мы стали читать и разсказала все, какъ вы ее, въ послѣднее посѣщеніе ваше учили добру, въ случаѣ еслибъ ее въ Сибирь сослали, и усовѣщевали какъ ей надо въ Сибири жить...»

А это вотъ какъ было: дѣйствительно я, ровно наканунѣ дня суда, заѣхалъ къ ней въ острогъ. Твердыхъ надеждъ на оправданіе не было у насъ ни у кого, ни у меня, ни у адвоката. У ней тоже. Я засталъ ее съ виду довольно твердою, она сидѣла и что то шила, ребенку ея немного нездоровилось. Но была она не то что грустна, а какъ бы подавлена. У меня же въ головѣ на счетъ ея ходило нѣсколько мрачныхъ мыслей и я именно заѣхалъ съ цѣлью сказать ей одно словцо. Сослать ее, какъ мы твердо надѣялись, могли лишь на поселеніе и вотъ, едва совершеннолѣтняя женщина, съ ребенкомъ на рукахъ, пустится въ Сибирь. Бракъ расторгнутъ; на чужой сторонѣ, одной, беззащитной и еще недурной собою, такой молодой,—гдѣ ей устоять отъ соблазна, думалось мнѣ? Подлинно на развратъ толкаетъ ее судьба, я же знаю Сибирь: соблазнять тамъ страшно много охотниковъ, туда очень много ѣдетъ изъ Россіи неженатыхъ людей, служащихъ и аферистовъ. Упасть легко, но за то сибиряки, простой народъ и мѣщане — это самые безжалостные къ падшей женщинѣ люди. Мѣшать ей не помѣшаютъ, но разъ замаравшая свою репутацію женщина никогда уже не возстановитъ ее: вѣчное ей презрѣніе, слово укора, попреки, насмѣшки, и это до самой старости, до могилы. Прозвище особое дадутъ. А ребеночекъ ея (дѣвочка) какъ разъ *принуждена* будетъ наслѣдовать карьеру матери: изъ дурнаго дома не найдетъ хорошаго и честнаго жениха. Но другое дѣло, если сосланная мать соблюдетъ себя въ Сибири честно и строго: молодая женщина, соблюдающая себя честно, пользуется огромнымъ уваженіемъ. Всякій то ее защищаетъ, всякій то ей пожелаетъ угодить, всякій то передъ ней шапку сниметъ. Дочку она навѣрно пристроитъ. Даже сама можетъ

современемъ, когда разглядятъ ее и увѣрятся въ ней, вновь въ честный бракъ вступить, въ честную семью. (Въ Сибири о прошломъ, т. е. за что сосланъ, ни въ острогахъ, ни куда бы ни сослали жить, не спрашиваютъ, рѣдко любопытствуютъ. Можетъ быть это отъ того даже, что чуть ли не вся то Сибирь, въ три эти столѣтія, произошла отъ ссыльныхъ, населилась ими). Вотъ все это мнѣ и вздумалось высказать этой молодой, едва совершеннолѣтней женщинѣ. И даже я нарочно выбралъ, чтобъ сказать ей это, именно этотъ послѣдній день передъ судомъ: характернѣе останется въ памяти, строже напечатлѣется въ душѣ, подумалось мнѣ. Выслушавъ меня какъ ей слѣдуетъ жить въ Сибири, если сошлютъ ее, она мрачно и серьезно, не подымая на меня почти глазъ, поблагодарила меня. И вотъ усталая, измученная, потрясенная всѣмъ этимъ страшнымъ многочасовымъ впечатлѣніемъ суда, а дома сурово посаженая мужемъ слушать евангеліе, она не подумала тогда про себя: «Хоть бы пожалѣлъ то меня, хоть бы до завтрава отложилъ, а теперь накормилъ-бы, далъ отдохнуть». Не обидѣлась и тѣмъ, что *такъ надъ ней возвышаются* (NB. Обида за то, что слишкомъ уже *надъ нами возвышаются* можетъ быть у самаго страшнаго, самаго сознающаго свое преступленіе преступника и даже у самаго раскаявающагося) — а напротивъ не нашла что лучше мужу сказать какъ сообщить ему *поскорѣй*, что вотъ и въ острогѣ ее учили тоже добру люди, что вотъ какъ учили ее жить на чужой сторонѣ, честно и строго соблюдая себя. И ужъ явно она сдѣлала это потому, что знала, что разказъ объ этомъ доставитъ удовольствіе ея мужу, впадетъ въ его тонъ, ободритъ его: «значитъ она впрямь раскаевается, впрямь хочетъ жить хорошо», подумаетъ онъ. Такъ онъ какъ разъ и подумалъ, а на мой совѣтъ: не пугать ее слишкомъ поспѣшной строгостью съ нею, прямо сообщилъ мнѣ, конечно съ радостью въ душѣ: «нечего бояться за нее и осторожничать, она сама рада быть честной»...

Не знаю, но мнѣ кажется, что все это понятно. Поймутъ читатели для чего я и сообщаю это. По крайней мѣрѣ теперь хоть надѣяться можно, что великое милосердіе суда не испортило преступницу еще болѣе, а напротивъ, даже очень можетъ быть, что пало на хорошую почву. Вѣдь она и прежде, и въ острогѣ, и теперь считаетъ себя несомнѣнной преступницей, а оправданіе свое приписываетъ единственно лишь великому милосердію суда. «Аффекта беременности» она сама не понимаетъ. И точно, она несомнѣнная преступница, она была въ полной памяти совершая преступленіе, она помнитъ каждое мгновеніе, каждую черточку совершеннаго преступленія, она только не знаетъ и даже себѣ самой не можетъ никакъ уяснить до сихъ поръ: «*Какъ это она могла тогда это сдѣлать, и на это рѣшиться!*» Да г. Наблюдатель, судъ помиловалъ дѣйствительную преступницу, дѣйствительную не смотря на несомнѣнный теперь и роковой «аффектъ беременности», столь осмѣянный вами г. Наблюдатель, и въ которомъ я глубоко и уже непоколебимо теперь убѣжденъ. Ну, а теперь рѣшите сами: еслибъ разорвали бракъ, отторгли ее отъ человѣка, котораго она несомнѣнно любила и любитъ и который для нея составляетъ все ея семейство, и одинокую, двадцатилѣтнюю, съ младенцемъ на рукахъ, безпомощную сослали въ Сибирь—на развратъ, на позоръ (вѣдь это паденіе то

въ Сибири навѣрно же бы случилось)—скажите, что толку въ томъ, что погибла, истлѣла бы жизнь, которая теперь кажется возобновилась вновь, возвратилась къ истинѣ въ суровомъ очищеніи, въ суровомъ покаяніи, и съ обновившимся сердцемъ. Не лучше-ли исправить, найти и возстановить человѣка, чѣмъ прямо снять съ него голову. Рѣзать головы легко по буквѣ закона, но разобрать по правдѣ, по человѣчески, по отчески, всегда труднѣе. Наконецъ, вѣдь вы знали же что вмѣстѣ съ молодою, двадцатилѣтнею матерью, т. е. неопытною и навѣрно впереди жертвою нужды и разврата—ссылается и младенецъ ея... Но позвольте мнѣ вамъ сказать о младенцахъ словечко особо.

VI.

Врагъ-ли я дѣтей? О томъ что значитъ иногда слово „счастливая“.

Вся ваша статья, г. Наблюдатель, есть протестъ «противъ оправданія жестокаго обращенія съ дѣтьми». То, что вы заступаетесь за дѣтей конечно дѣлаетъ вамъ честь, но со мной-то вы обращаетесь слишкомъ высокомѣрно.

„Надо имѣть всю ту силу воображенія—(говорите вы обо мнѣ)—которою какъ извѣстно, отличается среди всѣхъ насъ г. Достоевскій, чтобы вполнѣ войдти въ положеніе женщины и уяснить себѣ всю неотразимость аффектовъ беременности... Но г. Достоевскій слишкомъ впечатлителенъ, и притомъ „болѣзни проявленія воли“ это—прямо по части автора „Бѣсовъ“, „Идіота“ и т. д. ему извинительно имѣть къ нимъ слабость. Я смотрю на дѣло проще и утверждаю, что послѣ такихъ примѣровъ, какъ оправданія жестокаго обращенія съ дѣтьми, этому обращенію, которое въ Россіи, какъ и въ Англіи, очень нерѣдко, не предстоитъ уже и тѣни устраненія“. И т. д. и т. д.

Во первыхъ о «слабости моей къ болѣзненнымъ проявленіямъ воли», я скажу вамъ лишь то, что мнѣ дѣйствительно кажется иногда удавалось, въ моихъ романахъ и повѣстяхъ, *обличать* иныхъ людей, считающихъ себя здоровыми и доказать имъ что они больны. Знаете-ли, что весьма многіе люди больны именно своимъ здоровьемъ, т. е. непомѣрной увѣренностью въ своей нормальности и тѣмъ самымъ зараженныхъ страшнымъ самомнѣніемъ, безсовѣстнымъ самолюбованіемъ, доходящимъ иной разъ чуть-ли не до убѣжденія въ своей непогрѣшимости. Ну вотъ на такихъ то мнѣ и случалось много разъ указывать моимъ читателямъ и даже можетъ быть доказать, что эти здоровяки далеко не такъ здоровы, какъ думаютъ, а напротивъ очень больны и что имъ надо идти лѣчиться. Чтожь, я не вижу въ этомъ ничего дурнаго, но г. Наблюдатель слишкомъ жестокъ ко мнѣ, потому что фраза его объ «оправданіи жестокаго обращенія съ дѣтьми» прямо и ко мнѣ относится; онъ только капельку» смягчаетъ ее: «ему де извинительно». Вся статья его написана прямо для доказательства что во мнѣ, отъ пристрастія моего къ «болѣзненнымъ проявленіямъ воли», до того извратился здравый смыслъ, что я скорѣе готовъ пожалѣть истязателя ребенка, звѣря-мачиху и убійцу, а не истязуемую жертву, не слабую, жалкую дѣвочку, битую, поруганную и наконецъ убитую. Это мнѣ обидно. Въ противуположность моей болѣзненности Наблюдатель прямо, поспѣшно и откровенно указываетъ на себя, выставляетъ свое здоровье: «Я дескать смотрю на дѣло проще (чѣмъ г. Достоевскій) и утверждаю, что послѣ такихъ примѣровъ, какъ оправданія жестокаго обращенія съ дѣтьми» и т. д. и т. д. И такъ я оправ-

дываю жестокое обращеніе съ дѣтьми — страшное обвиненіе! Позвольтеже и мнѣ, въ такомъ случаѣ, защитить себя. Не стану указывать на прежнюю тридцатилѣтнюю мою литературную дѣятельность чтобъ рѣшить вопросъ: большой-ли я врагъ дѣтей и любитель жестокаго обращенія съ ними, но напомню лишь о двухъ послѣднихъ годахъ моего авторства, т. е. объ изданіи «Дневника Писателя». Когда былъ процессъ Кронеберга, мнѣ случилось-таки, не смотря на все мое пристрастіе къ «болѣзненнымъ проявленіямъ воли» заступиться за ребенка, за жертву, а не за истязателя. Слѣдственно и я *иногда* беру сторону здраваго смысла, г. Наблюдатель. Теперь я даже сожалѣю зачѣмъ вы не выступили тогда тоже въ защиту ребёнка г. Наблюдатель; навѣрно бы вы написали самую горячую статью. Но я что-то не помню ни одной горячей тогда статьи за ребенка. Слѣдственно вы тогда не подумали заступиться. Потомъ, еще недавно, прошлымъ лѣтомъ, мнѣ случилось заступиться за малолѣтнихъ дѣтей Джунковскихъ, тоже подвергавшихся истязаніямъ въ родительскомъ домѣ. О Джунковскихъ тоже вы ничего не написали; впрочемъ и никто не написалъ, дѣло понятное, всѣ были заняты такими важными политическими вопросами. Наконецъ, я бы могъ указать даже не на одинъ, а на нѣсколько случаевъ когда я, въ эти два года, въ «Дневникѣ» заговаривалъ о дѣтяхъ, объ ихъ воспитаніи, объ ихъ жалкой судьбѣ въ нашихъ семействахъ, о дѣтяхъ-преступникахъ въ нашихъ заведеніяхъ для исправленія ихъ, даже упомянулъ объ одномъ мальчикѣ у Христа на елкѣ,—происшествіе конечно лживое, но однако и не свидѣтельствующее прямо объ моей безчувственности и равнодушіи къ дѣтямъ. Я вамъ скажу г. Наблюдатель вотъ что: когда я прочелъ въ газетѣ въ первый разъ о преступленіи Корниловой, о неумолимомъ приговорѣ надъ нею и когда я невольно былъ пораженъ соображеніемъ: что можетъ быть преступница вовсе не такъ преступна какъ оно кажется (замѣтьте Наблюдатель что о «*мачихиномъ* битьѣ» и тогда почти ничего не говорилось въ газетныхъ отчетахъ о процессѣ и обвиненіе это даже и тогда уже не поддерживалось),—то я, рѣшившись написать что-нибудь въ пользу Корниловой, слишкомъ понималъ тогда и то, на что я рѣшался. Я въ этомъ прямо теперь вамъ признаюсь. Я вѣдь отлично зналъ что я пишу статью не симпатичную, что я заступаюсь за истязателя, и противъ кого же, противъ малаго ребенка. Я предугадывалъ что меня обвинятъ *иные* въ безчувственности, въ самомнѣніи въ «болѣзненности» даже: заступается де за мачиху, убившую ребенка!» Я слишкомъ предчувствовалъ эту «прямолинейность» обвиненія отъ нѣкоторыхъ судей,—вотъ какъ отъ васъ напримѣръ г. Наблюдатель, такъ что я даже нѣкоторое время и колебался; но кончилось тѣмъ, что наконецъ все же рѣшился: «Если я вѣрю, что тутъ правда, то стоитъ ли служить лжи изъ за исканія популярности?»—вотъ на чемъ я остановился въ концѣ концовъ. Кромѣ того, меня ободрила и вѣра въ моихъ читателей: «Они разберутъ наконецъ, подумалъ я, что вѣдь нельзя же меня обвинить въ желаніи оправдать истязаніе дѣтей, и если я заступаюсь за убійцу, выставляя свое подозрѣніе въ ней болѣзненнаго и сумасшедшаго состоянія во время совершенія ею злодѣйства, то вѣдь не заступаюсь же я тѣмъ самымъ за самое злодѣйство и не радъ же вѣдь я тому, что били и убили

ребенка, а напротивъ можетъ быть очень и очень пожалѣлъ ребенка, не менѣе кого другаго»...

Вы зло посмѣялись надо мною, г. Наблюдатель, за одну фразу въ статьѣ моей объ оправданіи подсудимой Корниловой:

«Мужъ оправданной — пишетъ г. Достоевскій въ вышедшемъ на дняхъ «Дневникѣ» (говорите вы) увезъ ее въ тотъ же вечеръ уже въ одиннадцатомъ часу, къ себѣ домой и она, счастливая, вошла опять въ свой домъ», Какъ трогательно (прибавляете вы) но горе бѣдному ребенку и т. д. и т. д.

Мнѣ кажется, что я не могу написать такой глупости. Правда, вы цитуете мою фразу точно, но вы что сдѣлали: вы перерѣзали ее пополамъ и тамъ гдѣ ничего не стояло поставили точку. Смыслъ то и вышелъ тотъ, который вамъ хотѣлось выставить. У меня точки на этомъ мѣстѣ нѣтъ, фраза продолжается, есть и другая половина ея, и думаю что вмѣстѣ съ этой другой, вами отброшенной половиной, фраза вовсе не такъ безтолкова и «трогательна» какъ она представляется. Вотъ эта фраза моя, но вся цѣликомъ, безъ выкидокъ.

«Мужъ оправданной увелъ ее въ тотъ же вечеръ, уже въ одиннадцатомъ часу, къ себѣ домой и она, счастливая, вошла опять въ свой домъ почти послѣ годоваго отсутствія, *съ впечатлѣніемъ огромнаго вынесеннаго ею урока на всю жизнь и явнаго Божьяго перста во всемъ этомъ дѣлѣ,—хотя бы только начиная съ чуднаго спасенія ребенка*»...

Видите-ли, г. Наблюдатель, я даже готовъ оговориться и извиниться передъ вами въ сей часъ высказанномъ вамъ упрекѣ за перерѣзанную на двое мою фразу. Дѣйствительно я самъ замѣчаю теперь, что фраза можетъ быть вовсе не такъ ясна, какъ я надѣялся, и что можно ошибиться въ смыслѣ ея. Ее нужно нѣсколько пояснить и я сдѣлаю это теперь. Тутъ все дѣло въ томъ, какъ я понимаю слово: «счастливая». Счастье оправданной я ставилъ не въ томъ только, что ее отпустили на волю, а въ томъ, что она «вошла въ домъ свой съ впечатлѣніемъ огромнаго, вынесеннаго ею урока *на всю жизнь* и съ предчувствіемъ надъ собой явнаго перста Божія». Вѣдь нѣтъ выше счастья, какъ увѣриться въ милосердіи людей и въ любви ихъ другъ къ другу. Вѣдь это вѣра, цѣлая вѣра, на всю уже жизнь! А какое же счастье выше вѣры? Развѣ эта бывшая преступница можетъ теперь усумниться въ людяхъ хоть когда нибудь, въ людяхъ какъ въ человѣчествѣ и въ его цѣломъ, великомъ, цѣлесообразномъ и святомъ назначеніи? Войти къ себѣ въ домъ погибавшему, пропадавшему, съ такимъ могущественнымъ впечатлѣніемъ новой великой вѣры, есть величайшее счастье, какое только можетъ быть. Мы знаемъ, что иные самые благородные и высокіе умы весьма даже часто страдали всю жизнь свою невѣріемъ въ цѣлесообразность великаго назначенія людей, въ ихъ доброту, въ ихъ идеалы, въ божеское происхожденіе ихъ и умирали въ грустномъ разочарованіи. Вы, конечно, улыбнетесь надо мной и скажете можетъ быть, что я и тутъ фантазирую, и что у темной, грубой Корниловой, вышедшей изъ черни и лишенной образованія, не можетъ быть въ душѣ ни такихъ разочарованій, ни такихъ умиленій. Охъ, неправда! Назвать только они, эти темные люди, не умѣютъ это все по нашему и объяснить это нашимъ языкомъ, но чувствуютъ они, сплошь и рядомъ, также глубоко, какъ и мы, «образованные люди», и воспринимаютъ чувства свои съ такимъ же счастьемъ, или съ такою же грустью и болью, какъ и мы же.

Разочарованіе въ людяхъ, невѣріе

въ нихъ бываетъ и у нихъ также какъ и у насъ. Еслибъ Корнилову сослали въ Сибирь и она бы тамъ упала и погибла,—неужели вы думаете, что она бы не почувствовала въ какую нибудь горькую минуту жизни весь ужасъ своего паденія и не унесла бы на сердцѣ своемъ можетъ быть до гроба озлобленія, тѣмъ болѣе горькаго, что оно было бы для нея безпредметно, ибо кромѣ себя, она не могла бы никого обвинить, потому что, повторяю вамъ это, она вполнѣ увѣрена, и до сихъ поръ, что она *несомнѣнная преступница* и только не знаетъ, какъ это такъ тогда случилось надъ нею. Теперь же, чувствуя, что она преступница, и считая себя таковою, и вдругъ прощенная людьми, облагодѣтельствованная и помилованная, какъ могла-бы она не почувствовать обновленія и возрожденія въ новую и уже высшую прежней жизнь? Ее не одинъ кто нибудь простилъ, но умилосердились надъ нею *всѣ*, судъ, присяжные, все общество стало быть. Какъ могла-бы она послѣ того не вынести въ душѣ своей чувства огромнаго долга впредь на всю жизнь свою, передъ всѣми ее пожалѣвшими, т. е. передъ всѣми людьми на свѣтѣ. Всякое *великое* счастье носитъ въ себѣ и нѣкоторое страданіе, ибо возбуждаетъ въ насъ высшее сознаніе. Горе рѣже возбуждаетъ въ насъ въ такой степени ясность сознанія, какъ великое счастье. Великое, т. е. высшее счастье *обязываетъ* душу. (Повторю: выше нѣтъ счастья, какъ увѣровать въ доброту людей и въ любовь ихъ другъ къ другу). Когда сказано было великой грѣшницѣ, осужденной на побитіе камнями: «Иди въ свой домъ и не грѣши»,—неужели она воротилась домой, чтобы грѣшить? А потому весь вопросъ и въ дѣлѣ Корниловой заключается лишь въ томъ: на какую почву упало сѣмя. Вотъ почему мнѣ и показалось необходимымъ написать теперь эту статью. Прочитавъ семь мѣсяцевъ назадъ ваше нападеніе на меня, г. Наблюдатель, я именно рѣшился подождать отвѣчать вамъ, чтобы дополнить мои свѣдѣнія. И вотъ, мнѣ кажется, что по нѣкоторымъ, собраннымъ мною чертамъ, я уже безошибочно могъ-бы сказать теперь, что сѣмя упало на добрую почву, что человѣкъ воскрешенъ, что никому это не сдѣлало зла, что душа преступницы именно подавлена и раскаяніемъ и вѣчнымъ благотворнымъ впечатлѣніемъ безграничнаго милосердія людей, и что трудно теперь сердцу ея стать злымъ, испытавъ на себѣ столько доброты и любви. Несомнѣннымъ же «аффектомъ беременности», который такъ возмущаетъ васъ, г. Наблюдатель, повторяю вамъ это, она вовсе не думаетъ оправдываться. Однимъ словомъ, мнѣ показалось вовсе не лишнимъ увѣдомить объ этомъ, кромѣ васъ, г. Наблюдатель, и всѣхъ читателей моихъ и всѣхъ тѣхъ милосердыхъ людей, которые тогда оправдали ее. А объ дѣвочкѣ, г. Наблюдатель, тоже не заботьтесь и не восклицайте о ней: «Горе ребенку»! Ея судьба тоже теперь довольно хорошо устроилась и—«она забудетъ», есть серьезная надежда и на это.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Смерть Некрасова. О томъ что сказано было на его могилѣ.

Умеръ Некрасовъ. Я видѣлъ его въ послѣдній разъ за мѣсяцъ до его смерти. Онъ казался тогда почти уже трупомъ, такъ что странно было даже видѣть, что такой трупъ говоритъ, шевелитъ губами. Но онъ не только говорилъ, но и сохранялъ всю ясность ума. Кажется онъ все еще не вѣрилъ въ возможность близкой смерти. За недѣлю до смерти съ нимъ былъ параличъ правой стороны тѣла, и вотъ 28 утромъ я узналъ, что Некрасовъ умеръ наканунѣ, 27, въ 8 часовъ вечера. Въ тотъ же день я пошелъ къ нему. Страшно изможденное страданіемъ и искаженное лицо его какъ то особенно поражало. Уходя я слышалъ какъ псалтирщикъ, чотко и протяжно прочелъ надъ покойнымъ: «Нѣсть человѣкъ иже не согрѣшитъ». Воротясь домой я не могъ уже сѣсть за работу; взялъ всѣ три тома Некрасова и сталъ читать съ первой страницы. Я просидѣлъ всю ночь до шести часовъ утра, и всѣ эти тридцать лѣтъ какъ будто я прожилъ снова. Эти первыя четыре стихотворенія, которыми начинается первый томъ его стиховъ, появились въ Петербургскомъ Сборникѣ, въ которомъ явилась и моя первая повѣсть. Затѣмъ, по мѣрѣ чтенія, (а я читалъ сподрядъ) передо мной пронеслась какъ бы вся моя жизнь. Я узналъ и припомнилъ и тѣ изъ стиховъ его, которые первыми прочелъ въ Сибири, когда выйдя изъ моего четырехлѣтняго заключенія въ острогѣ, добился наконецъ до права взять въ руки книгу. Припомнилъ и впечатлѣніе тогдашнее. Короче, въ эту ночь я перечелъ чуть не двѣ трети всего, что написалъ Некрасовъ и буквально въ первый разъ далъ себѣ отчетъ: какъ много Некрасовъ, какъ поэтъ, во всѣ эти тридцать лѣтъ, занималъ мѣста въ моей жизни! Какъ поэтъ, конечно. Лично мы сходились мало и рѣдко и лишь однажды вполнѣ съ беззавѣтнымъ, горячимъ чувствомъ, именно въ самомъ началѣ нашего знакомства, въ сорокъ пятомъ году, въ эпоху «Бѣдныхъ людей». Но я уже разсказывалъ объ этомъ. Тогда было между нами нѣсколько мгновеній, въ которыя, разъ навсегда, обрисовался передо мною этотъ загадочный человѣкъ самой существенной и самой затаенной стороной своего духа. Это именно, какъ мнѣ разомъ почувствовалось тогда, было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, и эта то *никогда не заживавшая* рана его и была началомъ и источникомъ всей страстной, страдальческой поэзіи его на всю потомъ жизнь. Онъ говорилъ мнѣ тогда со слезами о своемъ дѣтствѣ, о безобразной жизни, которая измучила его въ родительскомъ домѣ, о своей матери—и то какъ говорилъ онъ о своей матери, та сила умиленія, съ которою онъ вспоминалъ о ней, рождали уже и тогда предчувствіе, что если будетъ что нибудь святое въ его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить ему маякомъ, путевой звѣздой даже въ самыя темныя и роковыя мгновенія судьбы его, то ужь конечно лишь одно это первоначальное дѣтское впечатлѣніе дѣтскихъ слезъ, дѣтскихъ рыданій вмѣстѣ, обнявшись, гдѣ нибудь украдкой, чтобъ не видали (какъ разсказывалъ онъ мнѣ) съ мученицей матерью, съ существомъ

столь любившимъ его. Я думаю что ни одна потомъ привязанность въ жизни его не могла бы, также какъ эта, повліять и властительно подѣйствовать на его волю и на иныя темныя неудержимыя влеченія его духа, преслѣдовавшія его всю жизнь. А темные порывы духа сказывались уже и тогда. Потомъ, помню, мы какъ то разошлись, и довольно скоро; близость наша другъ съ другомъ продолжалась не долѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Помогли и недоразумѣнія, и внѣшнія обстоятельства, и добрые люди. За тѣмъ, много лѣтъ спустя, когда я уже воротился изъ Сибири, мы хоть и не сходились часто, но не смотря даже на разницу въ убѣжденіяхъ, уже тогда начинавшуюся, встрѣчаясь говорили иногда другъ другу даже странныя вещи—точно какъ будто въ самомъ дѣлѣ что то продолжалось въ нашей жизни, начатое еще въ юности, еще въ сорокъ пятомъ году, и какъ бы не хотѣло и не могло прерваться, хотя бы мы и по годамъ не встрѣчались другъ съ другомъ. Такъ однажды въ шестьдесятъ третьемъ, кажется, году, отдавая мнѣ томикъ своихъ стиховъ, онъ указалъ мнѣ на одно стихотвореніе, «Несчастные» и внушительно сказалъ: «Я тутъ объ васъ думалъ, когда писалъ это», (т. е. объ моей жизни въ Сибири), «это объ васъ написано». И наконецъ тоже въ послѣднее время мы стали опять иногда видать другъ друга, когда я печаталъ въ его журналѣ мой романъ «Подростокъ»...

На похороны Некрасова собралось нѣсколько тысячъ его почитателей. Много было учащейся молодежи. Процессія выноса началась въ 9 часовъ утра, а разошлись съ кладбища уже въ сумерки. Много говорилось на его гробѣ рѣчей, изъ литераторовъ говорили мало. Между прочимъ, прочтены были чьи-то прекрасные стихи. Находясь подъ глубокимъ впечатлѣніемъ, я протѣснился къ его раскрытой еще могилѣ, забросанной цвѣтами и вѣнками, и слабымъ моимъ голосомъ произнесъ вслѣдъ за прочими нѣсколько словъ. Я именно началъ съ того, что это было раненое сердце, разъ на всю жизнь, и не закрывавшаяся рана эта и была источникомъ всей его поэзіи, всей страстной до мученія любви этого человѣка ко всему, что страдаетъ, отъ насилія, отъ жестокости необузданной воли, что гнететъ нашу русскую женщину, нашего ребенка въ русской семьѣ, нашего простолюдина въ горькой, такъ часто, долѣ его. Высказалъ тоже мое убѣжденіе, что въ поэзіи нашей Некрасовъ заключилъ собою рядъ тѣхъ поэтовъ, которые приходили со своимъ «новымъ словомъ». Въ самомъ дѣлѣ, (устраняя всякій вопросъ о художнической силѣ его поэзіи, и о размѣрахъ ея),—Некрасовъ дѣйствительно былъ въ высшей степени своеобразенъ и дѣйствительно приходилъ съ «новымъ словомъ». Былъ напримѣръ, въ свое время поэтъ Тютчевъ, поэтъ обширнѣе его и художественнѣе и, однако, Тютчевъ никогда не займетъ такого виднаго и памятнаго мѣста въ литературѣ нашей, какое безспорно останется за Некрасовымъ. Въ этомъ смыслѣ онъ, въ ряду поэтовъ (т. е. приходившихъ съ «новымъ словомъ»), долженъ прямо стоять вслѣдъ за Пушкинымъ и Лермонтовымъ. Когда я вслухъ выразилъ эту мысль, то произошелъ одинъ маленькій эпизодъ: одинъ голосъ изъ толпы крикнулъ, что Некрасовъ былъ *выше* Пушкина и Лермонтова и что тѣ были всего только «байронисты». Нѣсколько голосовъ подхватили и крикнули: «да, выше!» Я впрочемъ, о высотѣ и о сравнительныхъ размѣрахъ трехъ поэтовъ и не думалъ

высказываться. Но вотъ что вышло потомъ: въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ», г. Скабичевскій, въ посланіи своемъ къ молодежи по поводу значенія Некрасова, разсказывая что будто бы когда *кто-то*, (т. е. я) на могилѣ Некрасова, «вздумалъ сравнивать имя его съ именами Пушкина и Лермонтова, вы всѣ, (т. е. вся учащаяся молодежь) *въ одинъ голосъ, хоромъ* прокричали: «онъ былъ выше, выше ихъ». Смѣю увѣрить г. Скабичевскаго, что ему не такъ передали и что мнѣ твердо помнится (надѣюсь, я не ошибаюсь), что сначала крикнулъ всего одинъ голосъ: «выше, выше ихъ» и тутъ же прибавилъ, что Пушкинъ и Лермонтовъ были «байронисты» — прибавка, которая гораздо свойственнѣе и естественнѣе одному голосу и мнѣнію, чѣмъ *всѣмъ*, въ одинъ и тотъ-же моментъ, т. е. тысячному хору — такъ что фактъ этотъ свидѣтельствуетъ, конечно, скорѣе въ пользу моего показанія о томъ, какъ было это дѣло. И за тѣмъ уже, сейчасъ послѣ перваго голоса, крикнуло еще нѣсколько голосовъ, но всего только нѣсколько, тысячнаго-же хора я не слыхалъ, повторяю это и надѣюсь, что въ этомъ не ошибаюсь.

Я потому такъ на этомъ настаиваю, что мнѣ все же было бы чувствительно видѣть, что *вся* наша молодежь впадаетъ въ такую ошибку. Благодарность къ великимъ отшедшимъ именамъ должна быть присуща молодому сердцу. Безъ сомнѣнія, ироническій крикъ о байронистахъ и возгласы: «выше, выше»,—произошли вовсе не отъ желанія затѣять надъ раскрытой могилой дорогаго покойника литературный споръ, что было бы неумѣстно, а что тутъ просто былъ горячій порывъ заявить какъ можно сильнѣе все накопившееся въ сердцѣ чувство умиленія, благодарности и восторга къ великому и столь сильно волновавшему насъ поэту, и который, хотя и въ гробѣ, но все еще къ намъ такъ близокъ (ну, а тѣ-то великіе прежніе старики уже такъ далеко!) Но весь этотъ эпизодъ, тогда-же, на мѣстѣ, зажегъ во мнѣ намѣреніе объяснить мою мысль яснѣе въ будущемъ № «Дневника» и выразить подробнѣе, какъ смотрю я на такое замѣчательное и чрезвычайное явленіе въ нашей жизни и въ нашей поэзіи, какимъ былъ Некрасовъ и въ чемъ именно заключается, по моему, суть и смыслъ этого явленія.

II.

Пушкинъ, Лермонтовъ и Некрасовъ.

И во первыхъ, словомъ: «байронистъ» браниться нельзя. Байронизмъ хоть былъ и моментальнымъ, но великимъ, святымъ и необходимымъ явленіемъ въ жизни европейскаго человѣчества, да чуть-ли не въ жизни и всего человѣчества. Байронизмъ появился въ минуту страшной тоски людей, разочарованія ихъ и почти отчаянія. Послѣ изступленныхъ восторговъ новой вѣры въ новые идеалы провозглашенной въ концѣ прошлаго столѣтія во Франціи,—въ передовой тогда націи европейскаго человѣчества, наступилъ исходъ, столь не похожій на то, чего ожидали, столь обманувшій вѣру людей, что никогда, можетъ быть, не было въ исторіи западной Европы столь грустной минуты. И не отъ однихъ только внѣшнихъ (политическихъ) причинъ пали вновь воздвигнутые на мигъ кумиры, но и отъ внутренней несостоятельности ихъ, что ясно увидѣли всѣ прозорливыя сердца и передовые умы. Новый *исходъ* еще не обозначался, новый клапанъ не отворялся и все задыхалось подъ страшно понизившимъ-

ся и съузившимся надъ человѣчествомъ прежнимъ его горизонтомъ. Старые кумиры лежали разбитые. И вотъ въ эту то минуту и явился великій и могучій геній, страстный поэтъ. Въ его звукахъ зазвучала тогдашняя тоска человѣчества и мрачное разочарованіе его въ своемъ назначеніи и въ обманувшихъ его идеалахъ. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятія и отчаянія. Духъ байронизма вдругъ пронесся какъ бы по всему человѣчеству, все оно откликнулось ему, Это именно было какъ бы отворенный клапанъ; по-крайней мѣрѣ среди всеобщихъ и глухихъ стоновъ, даже большею частью безсознательныхъ, это именно былъ тотъ могучій крикъ, въ которомъ соединились и согласились всѣ крики и стоны человѣчества. Какъ было не откликнуться на него и у насъ, да еще такому великому, геніальному и руководящему уму какъ Пушкинъ? Всякій сильный умъ и всякое великодушное сердце не могли и у насъ тогда миновать байронизма. Да и не по одному лишь сочувствію къ Европѣ и къ европейскому человѣчеству издали, а потому что и у насъ, и въ Россіи, какъ разъ къ тому времени, обозначилось слишкомъ много новыхъ, неразрѣшенныхъ и мучительныхъ тоже вопросовъ, и слишкомъ много старыхъ разочарованій... Но величіе Пушкина, какъ руководящаго генія, состояло именно въ томъ, что онъ такъ скоро, и окруженный почти совсѣмъ не понимавшими его людьми, нашелъ твердую дорогу, *нашелъ великій и вождѣленный исходъ для насъ русскихъ и указалъ на него.* Этотъ исходъ былъ — народность, *преклоненіе передъ правдой народа русскаго.* «Пушкинъ былъ явленіе великое, чрезвычайное». Пушкинъ былъ «не только русскій человѣкъ, но и первымъ русскимъ человѣкомъ». Не понимать русскому Пушкина, значитъ не имѣть права называться русскимъ. Онъ понялъ русскій народъ и постигъ его назначеніе въ такой глубинѣ и въ такой обширности, какъ никогда и никто. Не говорю уже о томъ, что онъ, всечеловѣчностью геніи своего и способностью откликаться на всѣ многоразличныя духовныя стороны европейскаго человѣчества, и почти перевоплощаться въ геніи чужихъ народовъ и національностей, засвидѣтельствовалъ о всечеловѣчности и всеобъемлемости русскаго духа и тѣмъ какъ бы провозвѣстилъ и о будущемъ предназначеніи генія Россіи во всемъ человѣчествѣ, какъ всеединяющаго, всепримиряющаго и все возрождающаго въ немъ начала. Не скажу и о томъ даже, что Пушкинъ первый у насъ, въ тоскѣ своей и въ пророческомъ предвидѣніи своемъ, воскликнулъ:

Увижу-ли народъ освобожденный
И рабство павшее по манію Царя!

Я скажу лишь теперь о любви Пушкина къ народу русскому. Это была любовь всеобъемлющая, такая любовь, какую еще никто не выказывалъ до него. «Не люби ты меня, а полюби ты *мое*»—вотъ что вамъ скажетъ всегда народъ, если захочетъ увѣриться въ искренности вашей любви къ нему.

Полюбить, т. е. пожалѣть народъ за его нужды, бѣдность, страданія, можетъ и всякій баринъ, особенно, изъ гуманныхъ и европейски просвѣщенныхъ. Но народу *надо* чтобъ его не за одни страданія его любили, а чтобъ полюбили и *его самого.* Что же значитъ *полюбить его самого?* «А полюби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту»—вотъ что это значитъ и вотъ какъ вамъ отвѣтитъ народъ, а иначе онъ никогда

васъ за своего не признаетъ, сколько бы вы тамъ объ немъ ни печалились. Фальшь тоже всегда разглядитъ, какими-бы жалкими словами вы ни соблазняли его. Пушкинъ именно такъ полюбилъ народъ какъ народъ того требуетъ, и онъ не угадывалъ какъ надо любить народъ, не приготовлялся, неучился: онъ самъ вдругъ оказался, народомъ. Онъ преклонился передъ правдой народною, онъ призналъ народную правду какъ свою правду. Не смотря на всѣ пороки народа и многія смердящія привычки его, онъ съумѣлъ различить великую суть его духа тогда, когда никто почти такъ не смотрѣлъ на народъ и принялъ эту суть народную въ свою душу какъ свой идеалъ. И это тогда, когда самые наиболѣе гуманные и европейски развитые любители народа русскаго сожалѣли откровенно, что народъ нашъ столь низокъ, что никакъ не можетъ подняться до парижской уличной толпы. Въ сущности, эти любители всегда презирали народъ. Они вѣрили, главное, что онъ рабъ. Рабствомъ же извиняли паденіе его, но раба не могли вѣдь любить, рабъ все-таки былъ отвратителенъ. Пушкинъ первый объявилъ, что русскій человѣкъ *не рабъ*, и никогда не былъ имъ, не смотря на многовѣковое рабство. Было рабство, но не было рабовъ (въ цѣломъ конечно, въ общемъ, не въ частныхъ исключеніяхъ) — вотъ тезисъ Пушкина. Онъ даже по виду, по походкѣ русскаго мужика заключалъ, что это не рабъ и не можетъ быть рабомъ (хотя и состоитъ въ рабствѣ) — черта свидѣтельствующая въ Пушкинѣ о глубокой непосредственной любви къ народу. Онъ призналъ и высокое чувство собственнаго достоинства въ народѣ нашемъ (опять-таки въ цѣломъ, мимо всегдашнихъ и неотразимыхъ исключеній), онъ предвидѣлъ то спокойное достоинство, съ которымъ народъ нашъ приметъ и освобожденіе свое отъ крѣпостнаго состоянія — чего не понимали, напримѣръ, замѣчательнѣйшіе образованные русскіе европейцы уже гораздо позднѣе Пушкина и ожидали совсѣмъ другаго отъ народа нашего. О, они любили народъ искренно и горячо, но по своему, т. е. по европейски. Они кричали о звѣриномъ состояніи народа, о звѣриномъ положеніи его въ крѣпостномъ рабствѣ, но и вѣрили всѣмъ сердцемъ своимъ, что народъ нашъ дѣйствительно звѣрь. И вдругъ этотъ народъ очутился свободнымъ съ такимъ мужественнымъ достоинствомъ, безъ малѣйшаго позыва на оскорбленіе бывшихъ владѣтелей своихъ: «Ты самъ по себѣ, а я самъ по себѣ, если хочешь иди ко мнѣ, за твое хорошее всегда тебѣ отъ меня честь». Да, для многихъ нашъ крестьянинъ по освобожденіи своемъ явился страннымъ недоумѣніемъ. Многіе даже рѣшили, что это въ немъ отъ неразвитости и тупости, остатковъ прежняго рабства. И это теперь, чтоже было во времена Пушкина? Не я-ли слышалъ самъ, въ юности моей, отъ людей передовыхъ и «компетентныхъ», что образъ Пушкинскаго Савельича въ «Капитанской дочкѣ», раба помѣщиковъ Гриневыхъ, упавшаго въ ноги Пугачеву и просившаго его пощадить барченка, а «для примѣра и страха ради повѣсить ужь лучше его, старика», — что этотъ образъ, не только есть образъ раба, но и апофеозъ русскаго рабства!

Пушкинъ любилъ народъ не за одни только страданія его. За страданія сожалѣютъ, а сожалѣніе такъ часто идетъ рядомъ съ презрѣніемъ. Пушкинъ любилъ все что любилъ этотъ народъ, чтилъ все, что тотъ чтилъ. Онъ любилъ природу русскую до страсти,

до умиленія, любилъ деревню русскую. Это былъ не баринъ, милостивый и гуманный, жалѣющій мужика за его горькую участь, это былъ человѣкъ самъ перевоплощавшійся сердцемъ своимъ въ простолюдина, въ суть его, почти въ образъ его. Умаленіе Пушкина какъ поэта болѣе исторически, болѣе архаически преданнаго народу, чѣмъ на дѣлѣ—ошибочно и не имѣетъ даже смысла. Въ этихъ историческихъ и архаическихъ мотивахъ звучитъ такая любовь и такая *оцѣнка народа*, которая принадлежитъ народу *вѣковѣчно*, всегда и теперь и въ будущемъ, а не въ одномъ только какомъ-нибудь давно прошедшемъ историческомъ народѣ. Народъ нашъ любитъ свою исторію главное за то, что въ ней встрѣчаетъ незыблемою ту же самую святыню, въ которую сохранилъ онъ свою вѣру и теперь не смотря на всѣ страданія и мытарства свои. Начиная съ величавой, огромной фигуры лѣтописца въ Борисѣ Годуновѣ до изображенія спутниковъ Пугачева,—все это у Пушкина—народъ въ его глубочайшихъ проявленіяхъ, и все это понятно народу, какъ собственная суть его. Да это ли одно? Русскій духъ разлитъ въ твореніяхъ Пушкина, русская жилка бьется вездѣ. Въ великихъ, неподражаемыхъ, несравненныхъ пѣсняхъ будто бы западныхъ славянъ, но которыя суть явно порожденіе русскаго великаго духа, вылилось все воззрѣніе русскаго на братьевъ славянъ, вылилось все сердце русское, объявилось все міровоззрѣніе народа, сохраняющееся и доселѣ въ его пѣсняхъ, былинахъ, преданіяхъ, сказаніяхъ, высказалось все что любитъ и чтитъ народъ, выразились его идеалы героевъ, царей, народныхъ защитниковъ и печальниковъ, образы мужества, смиренія, любви и жертвы. А такія прелестныя шутки Пушкина, какъ напримѣръ, болтовня двухъ пьяныхъ мужиковъ или Сказаніе о Медвѣдѣ, у котораго убили медвѣдицу—это уже что то любовное, что то милое и умиленное въ его созерцаніи народа. Еслибъ Пушкинъ прожилъ дольше, то оставилъ бы намъ такія художественныя сокровища для пониманія народнаго, которыя, вліяніемъ своимъ, навѣрно бы сократили времена и сроки перехода всей интеллигенціи нашей, столь возвышающейся и до сихъ поръ надъ народомъ въ гордости своего европеизма,—къ народной правдѣ, къ народной силѣ и къ сознанію народнаго назначенія. Вотъ это-то поклоненіе передъ правдой народа, вижу я отчасти (увы, можетъ быть одинъ я изъ всѣхъ его почитателей)—и въ Некрасовѣ, въ сильнѣйшихъ произведеніяхъ его. Мнѣ дорого, очень дорого, что онъ «печальникъ народнаго горя» и что онъ такъ много и страстно говорилъ о горѣ народномъ, но еще дороже для меня въ немъ то, что въ великіе, мучительные и восторженные моменты своей жизни, онъ, не смотря на всѣ противоположныя вліянія и даже на собственныя убѣжденія свои, преклонялся передъ народной правдой всѣмъ существомъ своимъ, о чемъ и засвидѣтельствовалъ въ своихъ лучшихъ созданіяхъ. Вотъ въ этомъ то смыслѣ я и поставилъ его какъ пришедшаго послѣ Пушкина и Лермонтова съ тѣмъ же самымъ отчасти новымъ словомъ какъ и тѣ, (потому что «слово» Пушкина до сихъ поръ еще для насъ новое слово. Да и не только новое, а еще и не узнанное, не разобранное, за самый старый хламъ считающееся).

Прежде чѣмъ перейду къ Некрасову, скажу два слова и о Лермонтовѣ, чтобъ оправдать то, почему я тоже поставилъ и его какъ увѣровавшаго въ правду народную. Лермонтовъ, конечно, былъ

байронистъ, но по великой своеобразной поэтической силѣ своей и байронистъ-то особенный,—какой то насмѣшливый капризный и брюзгливый, вѣчно невѣрующій даже въ собственное свое вдохновеніе, въ свой собственный байронизмъ. Но еслибъ онъ пересталъ возить, ся съ больною личностью русскаго интеллигентнаго человѣка, мучимаго своимъ европеизмомъ, то навѣрно бы кончилъ тѣмъ, что отыскалъ исходъ, какъ и Пушкинъ, въ преклоненіи передъ народной правдой, и на то есть большія и точныя указанія. Но смерть опять и тутъ помѣшала. Въ самомъ дѣлѣ, во всѣхъ стихахъ своихъ онъ мраченъ, капризенъ, хочетъ говорить правду, но чаще лжетъ и самъ знаетъ объ этомъ и мучается тѣмъ, что лжетъ, но чуть лишь онъ коснется народа, тутъ онъ свѣтелъ и ясенъ. Онъ любитъ русскаго солдата, казака, онъ чтитъ народъ. И вотъ онъ разъ пишетъ безсмертную пѣсню о томъ какъ молодой купецъ Калашниковъ, убивъ за безчестье свое государева опричника Кирибѣевича, и призванный царемъ Иваномъ предъ грозныя его очи отвѣчаетъ ему: что убилъ онъ, государева слугу Кирибѣевича «вольной волею, а не нехотя». Помните ли вы, господа, «раба Шибанова»? Рабъ Шибановъ былъ рабъ князя Курбскаго, русскаго эмигранта 16-го столѣтія, писавшаго все къ тому же царю Ивану свои опозиціонныя и почти ругательныя письма изъ-за границы, гдѣ онъ безопасно пріютился. Написавъ одно письмо, онъ призвалъ раба своего Шибанова и велѣлъ ему письмо снести въ Москву и отдать царю лично. Такъ и сдѣлалъ рабъ Шибановъ. На Кремлевской площади онъ остановилъ выходившаго изъ собора царя, окруженнаго своими приспѣшниками и подалъ ему посланіе своего господина, князя Курбскаго. Царь поднялъ жезлъ свой съ острымъ наконечникомъ, съ размаху вонзилъ его въ ногу Шибанова, оперся на жезлъ и сталъ читать посланіе. Шибановъ съ проколотой ногою не шевельнулся. А царь, когда сталъ потомъ отвѣчать письмомъ князю Курбскому, написалъ, между прочимъ: «Устыдися раба твоего Шибанова». Это значило, что онъ самъ устыдился раба Шибанова. Этотъ образъ русскаго «раба» должно быть поразилъ душу Лермонтова. Его Калашниковъ говоритъ царю безъ укора, безъ попрека за Кирибѣевича, говоритъ онъ зная про вѣрную казнь, его ожидающую, царю «всю правду истинную», что убилъ его любимца «вольной волею, а не нехотя». Повторяю, остался бы Лермонтовъ жить и мы бы имѣли великаго поэта, тоже признавшаго правду народную, а можетъ быть и истиннаго *«печальника горя народнаго»*. Но это имя досталось Некрасову...

Опять таки, я не равняю Некрасова съ Пушкинымъ, я не мѣряю аршиномъ, кто выше, кто ниже, потому что тутъ не можетъ быть ни сравненія, ни даже вопроса о немъ. Пушкинъ, по обширности и глубинѣ своего русскаго генія, до сихъ поръ есть какъ солнце надъ всѣмъ нашимъ русскимъ интеллигентнымъ міровоззрѣніемъ. Онъ великій и непонятый еще предвозвѣститель. Некрасовъ есть лишь малая точка въ сравненіи съ нимъ, малая планета, но вышедшая изъ этого же великаго солнца. И мимо всѣхъ мѣрокъ: кто выше кто ниже, за Некрасовымъ остается безсмертіе, вполнѣ имъ заслуженное, и я уже сказалъ почему—за преклоненіе его передъ народной правдой, что происходило въ немъ не изъ подражанія какого нибудь, не вполнѣ по сознанію даже, а потребностью, неудержимой си-

лой. И это тѣмъ замѣчательнѣе въ Некрасовѣ, что онъ всю жизнь свою былъ подъ вліяніемъ людей, хотя и любившихъ народъ, хотя и печалившихся о немъ, можетъ быть весьма искренно, но никогда не признававшихъ въ народѣ правды, и всегда ставившихъ европейское просвѣщеніе свое несравненно выше истины духа народнаго. Не вникнувъ въ русскую душу и не зная чего ждетъ и проситъ она, имъ часто случалось желать нашему народу, со всею любовью къ нему, того, что прямо могло бы послужить къ его бѣдствію. Не они-ли въ русскомъ народномъ движеніи, за послѣдніе два года, не признали почти вовсе той высоты подъема духа народнаго, которую онъ можетъ быть въ первый разъ еще выказываетъ въ такой полнотѣ и силѣ и тѣмъ свидѣтельствуетъ о своемъ здравомъ, могучемъ и неколебимомъ доселѣ живомъ единеніи въ одной и той же великой мысли и почти предузнаетъ самъ будущее предназначеніе свое. И мало того, что не признаютъ правды движенія народнаго, но и считаютъ его почти ретроградствомъ, чѣмъ-то свидѣтельствующимъ о непроходимой безсознательности, о заматерѣвшей вѣками неразвитости народа русскаго. Некрасовъ же, не смотря на замѣчательный, чрезвычайно сильный умъ свой, былъ лишенъ, однако, серьезнаго образованія, по крайней мѣрѣ образованіе его было небольшое. Изъ извѣстныхъ вліяній онъ не выходилъ во всю жизнь, да и не имѣлъ силъ выйти. Но у него была своя, своеобразная сила въ душѣ, не оставлявшая его никогда,—это истинная, страстная, а главное непосредственная любовь къ народу. Онъ болѣлъ о страданіяхъ его всей душою, но видѣлъ въ немъ не одинъ лишь униженный рабствомъ образъ, звѣрское подобіе, но смогъ силой любви своей постичь почти безсознательно и красоту народную, и силу его, и умъ его, и страдальческую кротость его и даже частію увѣровать и въ будущее предназначеніе его. О, сознательно Некрасовъ могъ во многомъ ошибаться. Онъ могъ воскликнуть въ недавно напечатанномъ въ первый разъ экспромтѣ его, съ тревожнымъ укоромъ созерцая освобожденный уже отъ крѣпостнаго состоянія народъ,

...«Но счастливъ-ли народъ»?

Великое чутье его сердца подсказало ему скорбь народную, но еслибъ его спросили: «чего-же пожелать народу и какъ это сдѣлать?», то онъ можетъ, быть далъ бы и весьма ошибочный, даже пагубный отвѣтъ. И ужь конечно его нельзя винить: политическаго смысла у насъ еще до рѣдкости мало, а Некрасовъ, повторяю, былъ всю жизнь подъ чужими вліяніями. Но сердцемъ своимъ, но великимъ поэтическимъ вдохновеніемъ своимъ, онъ неудержимо примыкалъ, въ иныхъ великихъ стихотвореніяхъ своихъ, къ самой сути народной. Въ этомъ смыслѣ это былъ народный поэтъ. Всякій, выходящій изъ народа, при самомъ маломъ даже образованіи, пойметъ уже много у Некрасова. Но лишь при образованіи. Вопросъ о томъ, пойметъ-ли Некрасова теперь прямо весь народъ русскій — безъ сомнѣнія вопросъ явно немыслимый. Что пойметъ «простой народъ» въ шедеврахъ его: «Рыцарь на часъ», «Тишина», «Русскія женщины»? Даже въ великомъ «Власѣ» его, который можетъ быть понятенъ народу (но не вдохновитъ нисколько народъ, ибо все это поэзія давно уже вышедшая изъ непосредственной жизни), народъ отличитъ два-три фальшивые штриха навѣрно. Что разберетъ народъ въ одной

изъ самыхъ могучихъ и самыхъ зовущихъ поэмъ его: «На Волгѣ»? Это настоящій духъ и тонъ Байрона. Нѣтъ, Некрасовъ пока еще—лишь поэтъ русской интеллигенціи, съ любовью и со страстью говорившій о народѣ и страданіяхъ его той же русской интеллигенціи. Не говорю въ будущемъ,—въ будущемъ народъ отмѣтитъ Некрасова. Онъ пойметъ тогда, что былъ когда-то такой добрый русскій баринъ, который плакалъ скорбными слезами о его народномъ горѣ и ничего лучше и придумать не могъ, какъ убѣгая отъ своего богатства и отъ грѣшныхъ соблазновъ барской жизни своей, приходить въ очень тяжкія минуты свои къ нему, къ народу, и въ неудержимой любви къ нему очищать свое измученное сердце,—ибо любовь къ народу у Некрасова была лишь *исходомъ его собственной скорби по себѣ самомъ*...

Но прежде, чѣмъ разъясню: какъ понимаю я эту «собственную скорбь» дорогаго намъ усопшаго поэта по себѣ самомъ—не могу не обратить вниманіе на одно характерное и любопытное обстоятельство, обозначившееся почти во всей нашей газетной прессѣ, сейчасъ послѣ смерти Некрасова, почти во всѣхъ статьяхъ, говорившихъ о немъ.

III.

Поэтъ и гражданинъ. Общіе толки о Некрасовѣ какъ о человѣкѣ.

Всѣ газеты, чуть только заговаривали о Некрасовѣ, по поводу смерти и похоронъ его, чуть только начинали опредѣлять его значеніе, какъ тотчасъ-же и прибавляли, всѣ безъ изъятія, нѣкоторыя соображенія о какой-то «практичности» Некрасова, о какихъ-то недостаткахъ его, порокахъ даже, о какой-то двойственности въ томъ образѣ, который онъ намъ оставилъ о себѣ. Иныя газеты лишь намекали на эту тему чуть-чуть, въ какихъ нибудь двухъ строкахъ, но важно то, что все таки намекали, видимо по какой-то даже необходимости, которой избѣжать не могли. Въ другихъ же изданіяхъ, говорившихъ о Некрасовѣ обширнѣе, выходило и еще страннѣе. Въ самомъ дѣлѣ: не формулируя обвиненій въ подробности и какъ бы избѣгая того, отъ глубокой и искренней почтительности къ покойному, они все таки пускались... оправдывать его, такъ что выходило еще непонятнѣе. «Да въ чемъ же вы оправдываете?» срывался невольно вопросъ; если знаете что, то прятаться нечего, а мы хотимъ знать нуждается-ли еще онъ въ оправданіяхъ нашихъ?» Вотъ какой зажигался вопросъ. Но формулировать не хотѣли, а съ оправданіями и съ оговорками спѣшили, какъ будто желая поскорѣе предупредить кого то, и, главное, опять таки,—какъ будто и не могли никакъ избѣжать этого, хотябы, можетъ быть, и хотѣли того. Вообще чрезвычайно любопытный случай, но если вникнуть въ него, то и вы, и всякій, кто бы вы ни были, несомнѣнно придете къ заключенію, чуть лишь размыслите, что случай этотъ совершенно нормальный, что заговоривъ о Некрасовѣ, какъ о поэтѣ, дѣйствительно никакъ нельзя миновать говорить о немъ какъ и о лицѣ, потому что въ Некрасовѣ поэтъ и гражданинъ — до того связаны, до того оба не объяснимы одинъ безъ другаго, и до того взятые вмѣстѣ объясняютъ другъ друга, что заговоривъ о немъ какъ о поэтѣ, вы даже невольно переходите къ гражданину и чувствуете, что какъ бы принуждены и должны это сдѣлать и избѣжать не можете.

Но что же мы можемъ сказать, и что именно мы видимъ? Произносится

слово «практичность», т. е., умѣніе обдѣлывать свои дѣла, но и только, а затѣмъ спѣшатъ съ оправданіями «онъ де страдалъ, онъ съ дѣтства былъ заѣденъ средой», онъ вытерпѣлъ еще юношей въ Петербургѣ, безпріютнымъ, брошеннымъ, много горя, а слѣдственно и сдѣлался «практичнымъ», (т. е. какъ будто и не могъ ужь не сдѣлаться). Другіе идутъ даже дальше и намекаютъ, что безъ этой то вѣдь «практичности» Некрасовъ пожалуй и не совершилъ бы столь явно полезныхъ дѣлъ на общую пользу, напр., совладалъ съ изданіемъ журнала и проч. и проч. Что же, для хорошихъ цѣлей оправдывать стало быть дурныя средства? И это говоря о Некрасовѣ то, человѣкѣ, который потрясалъ сердца, вызывалъ восторгъ и умиленіе къ доброму и прекрасному стихами своими. Конечно все это говорится чтобъ извинить, но мнѣ кажется, Некрасовъ не нуждается въ такомъ извиненіи. Въ извиненіяхъ на подобную тему всегда заключается какъ бы нѣчто принизительное, и какъ бы затемняется и умаляется образъ извиняемаго чуть не до пошлыхъ размѣровъ. Въ самомъ дѣлѣ, чуть я начну извинять «двойственность и практичность» лица, то тѣмъ какъ бы и настаиваю, что эта двойственность даже естественна при извѣстныхъ обстоятельствахъ, чуть не необходима. А если такъ, то совершенно приходится примириться съ образомъ человѣка, который сегодня бьется о плиты роднаго храма, кается, кричитъ: «я упалъ, я упалъ», И это, въ безсмертной красоты стихахъ, которые онъ въ ту же ночь запишетъ, а на завтра, чуть пройдетъ ночь и обсохнутъ слезы, и опять примется за «практичность», потому де что она, мимо всего другаго—*и необходима*. Да чтоже тогда будутъ означать эти стоны и крики, облекшіеся въ стихи? Искусс итво дляскуства не болѣе и даже въ самомъ пошломъ его значеніи, потому что онъ эти стихи самъ похваливаетъ, самъ на нихъ любуется, ими совершенно доволенъ, ихъ печатаетъ, на нихъ разсчитываетъ: придадутъ дескать блескъ изданію, взволнуютъ молодыя сердца. Нѣтъ, если все это оправдывать, да не разъяснивъ, то мы рискуемъ впасть въ большую ошибку и порождаемъ недоумѣніе, и на вопросъ: «кого вы хороните»? мы, провожавшіе гробъ его, принуждены-бы были отвѣтить, что хоронимъ «самаго яркаго представителя искусства для искусства, какой только можетъ быть». Ну, а было-ли это такъ? Нѣтъ, *во истину это не было такъ*, а хоронили мы во истину «печальника народнаго горя» и вѣчнаго страдальца о себѣ самомъ, вѣчнаго, неустаннаго, который никогда не могъ успокоить себя, и самъ съ отвращеніемъ и самобичеваніемъ отвергалъ дешовое примиреніе.

Нужно выяснить дѣло, выяснить искренно и безпристрастно, и что выяснится, то принять какъ оно есть, не смотря ни на какое лицо и ни на какія дальнѣйшія соображенія. Тутъ надо именно выяснить всю суть по возможности, чтобы какъ можно точнѣе добыть изъ выясненій фигуру покойнаго, лицо его; такъ наши сердца требуютъ, для того чтобъ не оставалось у насъ о немъ ни малѣйшаго такого недоумѣнія, которое невольно чернитъ память, оставляетъ нерѣдко и на высокомъ образѣ недостойную тѣнь.

Самъ я зналъ «практическую жизнь» покойника мало, а потому приступить къ анекдотической части этого дѣла не могу, но еслибъ и могъ, то не хочу, потому что прямо окунусь въ то что самъ признаю сплетнею. Ибо я твердо увѣренъ (и прежде былъ увѣренъ) что изъ всего, что разсказывали про покойнаго

покрайней мѣрѣ половина, а можетъ быть и всѣ три четверти—чистая ложь. Ложь, вздоръ и сплетни. У такого характернаго и замѣчательнаго человѣка какъ Некрасовъ, — не могло не быть, враговъ. А то, что дѣйствительно было, что въ самъ дѣлѣ случалось—то не могло тоже не быть подъ часъ преувеличено. Но принявъ это, все-таки увидимъ, что нѣчто все таки остается. Что же такое? Нѣчто мрачное, темное и мучительное безспорно, потому что — чтоже означаютъ тогда эти стоны, эти крики, эти слезы его, эти признанія, что «онъ упалъ», эта страстная исповѣдь передъ тѣнью матери? Тутъ самобичеваніе, тутъ казнь? Опять таки въ анекдотическую сторону дѣла вдаваться не буду, но думаю, что суть той мрачной и мучительной половины жизни нашего поэта какъ-бы предсказана имъ же самимъ, еще на зарѣ дней его, въ одномъ изъ самыхъ первоначальныхъ его стихотвореній, набросанныхъ, кажется, еще до знакомства съ Бѣлинскимъ (и потомъ ужъ позднѣе обдѣланныхъ и получившихъ ту форму, въ которой явились они въ печати). Вотъ эти стихи:

Огни зажигались вечерніе,
Вылъ вѣтеръ и дождикъ мочилъ,
Когда изъ Полтавской губерніи
Я въ городъ столичный входилъ.

Въ рукахъ была палка предлинная
Котомка пустая на ней,
На плечахъ шубенка овчинная,
Въ карманѣ пятнадцать грошей.
Ни денегъ, ни званья, ни племени,
Малъ ростомъ и съ виду смѣшонъ,
Да сорокъ лѣтъ минуло времени, —
Въ карманѣ моемъ милліонъ.

Милліонъ — вотъ демонъ Некрасова! Чтожъ, онъ любилъ такъ золото, роскошь, наслажденія и чтобы имѣть ихъ пускался въ «практичности»? Нѣтъ, скорѣе это былъ другаго характера демонъ; это былъ самый мрачный и унизительный бѣсъ. Это былъ демонъ гордости, жажды самообезпеченія, потребности оградиться отъ людей твердой стѣной и независимо, спокойно смотрѣть на ихъ злость, на ихъ угрозы. Я думаю, этотъ демонъ присосался еще къ сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лѣтъ, очутившагося на петербургской мостовой, почти бѣжавшаго отъ отца. Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотѣла, войти въ соглашеніе съ этой чуждой толпою людей не желала. Не то, чтобы невѣріе въ людей закралось въ сердце его такъ рано, но скорѣе скептическое и слишкомъ раннее (а стало быть и ошибочное) чувство къ нимъ. Пусть они не злы, пусть они не такъ страшны, какъ объ нихъ говорятъ (навѣрно думалось ему), но они, всѣ, все-таки слабая и робкая дрянь, а потому и безъ злости погубятъ чуть-лишь дойдетъ до ихъ интереса. Вотъ тогда-то и начались можетъ быть мечтанія Некрасова, можетъ быть и сложились тогда же на улицѣ стихи: «въ карманѣ моемъ милліонъ».

Это была жажда мрачнаго, угрюмаго отъединеннаго самообезпеченія, чтобы уже не зависѣть ни отъ кого. Я думаю, что я не ошибаюсь, я припоминаю коечто изъ самаго перваго моего знакомства съ нимъ. По крайней мѣрѣ мнѣ такъ казалось всю потомъ жизнь. Но, этотъ демонъ все же былъ низкій демонъ. Такого-ли *самообезпеченія* могла жаждать душа Некрасова, эта душа, способная такъ отзываться на все святое и непокидавшая вѣры въ него. Развѣ такимъ самообезпеченіемъ ограждаютъ себя столь одаренныя души? такіе люди пускаются въ путь босы и съ пустыми руками и на сердцѣ ихъ ясно и свѣтло. Самообезпеченіе ихъ не въ золотѣ. Золото — грубость, насиліе, деспотизмъ!

Золото можетъ казаться обезпеченіемъ именно той слабой и робкой толпѣ, которую Некрасовъ самъ презиралъ. Неужели картины насилія и потомъ жажда сластолюбія и разврата могли ужиться въ такомъ сердцѣ, въ сердцѣ человѣка, который самъ бы могъ воззвать къ иному: «брось все, возьми посохъ свой и иди за мной»,

Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви.

Но демонъ осилилъ и человѣкъ остался на мѣстѣ, и никуда не пошелъ.

За то и заплатилъ страданіемъ, страданіемъ всей жизни своей. Въ самомъ дѣлѣ, мы знаемъ лишь стихи, но что мы знаемъ о внутренней борьбѣ его съ своимъ демономъ, борьбѣ несомнѣнно мучительной и всю жизнь продолжавшейся? Я и не говорю уже о добрыхъ дѣлахъ Некрасова: онъ объ нихъ не публиковалъ, но они несомнѣнно были, люди уже начинаютъ свидѣтельствовать объ гуманности, нѣжности этой «практичной» души. Г. Суворинъ уже публиковалъ нѣчто, я увѣренъ, что обнаружится много и еще добрыхъ свидѣтельствъ, не можетъ быть иначе. «О, скажутъ мнѣ, вы тоже вѣдь оправдываете, да еще дешевле нашего». Нѣтъ, я не оправдываю, я только разъясняю и добился того, что могу поставить вопросъ, — вопросъ окончательный и всеразрѣшающій.

IV.

Свидѣтель въ пользу Некрасова.

Еще Гамлетъ дивился на слезы актера, декламировавшаго свою роль и плакавшаго о какой-то Гекубѣ: «что ему Гекуба»? спрашивалъ Гамлетъ. Вопросъ предстоитъ прямой: былъ ли нашъ Некрасовъ такой же самый актеръ, т. е. способный *искренно* заплакать о себѣ и о той святынѣ духовной, которой самъ лишалъ себя, излить затѣмъ скорбь свою (настоящую скорбь!) въ безсмертной красоты стихахъ и на завтра же способный дѣйствительно утѣшиться... этой красотою стиховъ. Красотою стиховъ и только. Мало того: взглянуть на эту красоту стиховъ, какъ на «практическую» же вещь, способную доставить прибыль, деньги, славу и употребить эту вещь, въ этомъ смыслѣ? Или, напротивъ того, скорбь пота не проходила и послѣ стиховъ, неудовлетворялась ими; красота ихъ, сила въ нихъ выраженная угнетала и мучила его самого, и если, будучи не въ силахъ совладать съ своимъ вѣчнымъ демономъ, съ страстями, побѣдившими его на всю жизнь, онъ и опять падалъ, то спокойно-ли примирялся съ своимъ паденіемъ, не возобновлялись-ли его стоны и крики еще сильнѣе въ тайныя святыя минуты покаянія,—повторялись-ли, усиливались-ли въ сердцѣ его съ каждымъ разомъ такъ, что самъ онъ наконецъ могъ видѣть ясно, чего стоитъ ему его демонъ и какъ дорого заплатилъ онъ за тѣ блага, которыя получилъ отъ него. Однимъ словомъ, если онъ и могъ *примиряться* моментально съ демономъ своимъ, и даже самъ могъ пускаться оправдывать «практичность» свою въ разговорахъ съ людьми, то оставалось-ли такое примиреніе и успокоеніе навѣчно, или, напротивъ улетало мгновенно изъ сердца, оставляя по себѣ еще жгуче боль, стыдъ и угрызенія? Тогда,—еслибъ только можно было рѣшить этотъ вопросъ—тогда намъ чтожь-бы оставалось? Оставалось бы только осудить его за то, что будучи не въ силахъ совладать съ соблазнами своими, онъ не покончилъ съ собой, напримѣръ, какъ тотъ древній печерскій многострадалецъ, который, тоже будучи не въ силахъ совладать съ зміемъ страсти его мучившей, закопалъ

себя по поясъ въ землю и умеръ, если не изгнавъ своего демона, то ужь конечно побѣдивъ его. Въ такомъ случаѣ мы сами, т. е. каждый изъ насъ, очутились-бы въ унизительномъ и комическомъ положеніи еслибъ осмѣлились брать на себя роль судей, произносящихъ такіе приговоры. Тѣмъ не менѣе поэтъ, который самъ написалъ о себѣ:

Поэтомъ можешь ты не быть
Но гражданиномъ быть обязанъ,

тѣмъ самымъ какъ бы и призналъ надъ собой судъ людей какъ «гражданъ». Какъ лицамъ намъ бы конечно было стыдно судить его. Сами то мы каковы, каждый то изъ насъ? Мы только не говоримъ лишь о себѣ вслухъ, и прячемъ нашу мерзость, съ которою вполнѣ миримся, внутри себя. Поэтъ плакалъ, можетъ быть, о такихъ дѣлахъ своихъ, отъ которыхъ мы бы и не поморщились, еслибъ совершили ихъ. Вѣдь мы знаемъ о паденіяхъ его, о демонѣ его изъ его же стиховъ. Не было бы этихъ стиховъ, которые онъ въ покаянной искренности своей не убоялся огласить, то и все что говорилось о немъ какъ о человѣкѣ, о «практичности» его и о прочемъ—все это умерло бы само собою, и стерлось бы изъ памяти людей, понизилось бы прямо до сплетни, такъ что всякое оправданіе его оказалось бы вовсе и не нужнымъ ему. Замѣчу кстати, что для практическаго и столь умѣющаго обдѣлывать дѣла свои человѣка, дѣйствительно не практично было оглашать свои покаянные стоны и вопли, а стало быть онъ, можетъ быть, вовсе былъ не столь практиченъ какъ иные утверждаютъ о немъ. Тѣмъ не менѣе, повторяю, на судъ гражданъ онъ долженъ идти, ибо самъ призналъ этотъ судъ. Такимъ образомъ, еслибъ тотъ вопросъ, который поставился у насъ выше: удовлетворялся ли поэтъ стихами своими, въ которые облекалъ свои слезы и примирялся ли съ собою до того спокойствія, которое опять позволяло ему пускаться съ легкимъ сердцемъ въ «практичность», или же напротивъ того — примиренія бывали лишь моментальныя, такъ что онъ самъ презиралъ себя, можетъ быть, за позоръ ихъ, потомъ мучился еще горче и больше и такъ во всю жизнь,—еслибъ этотъ вопросъ, повторяю, могъ бы быть разрѣшенъ въ пользу втораго предположенія, то ужь конечно тогда мы бы тотчасъ могли примириться и съ «гражданиномъ»-Некрасовымъ, ибо собственныя страданія его очистили бы передъ нами вполнѣ нашу память о немъ. Разумѣется, тутъ сейчасъ является возраженіе: если вы не въ силахъ разрѣшить такой вопросъ, (а кто можетъ его разрѣшить?) то и ставить его не надо было. Но въ томъ то и дѣло, что его можно разрѣшить. Есть свидѣтель, который можетъ его разрѣшить. Этотъ свидѣтель — народъ.

То есть любовь его къ народу! И вопервыхъ для чего бы «практическому» человѣку такъ увлекаться любовью къ народу. Всякій занятъ своимъ дѣломъ: одинъ практичностью, другой печалью по народѣ. Ну, положимъ прихоть, такъ вѣдь поигралъ и отсталъ. А Некрасовъ не отставалъ во всю жизнь. Скажутъ: народъ для него— это таже «Гекуба», предметъ слезъ, облеченныхъ въ стихи и дающихъ доходъ. Но я уже не говорю о томъ, что трудно до того поддѣлать такую искренность любви, какая слышится въ стихахъ Некрасова (объ этомъ споръ можетъ быть безконечный), но я о томъ только скажу, что мнѣ ясно почему Некрасовъ такъ любилъ народъ, почему его такъ тянуло къ нему въ тяжелыя минуты жизни, почему онъ шелъ къ нему и что находилъ у него. Потому, какъ сказалъ я

выше, что любовь къ народу была у Некрасова, какъ бы *исходомъ его собственной скорби по себѣ самомъ*. Поставьте это, примите это — и вамъ асенъ весь Некрасовъ, и какъ поэтъ и какъ гражданинъ. Въ служеніи сердцемъ своимъ и талантомъ своимъ народу онъ находилъ все свое очищеніе передъ самимъ собой. Народъ былъ настоящею внутреннею потребностью его не для однихъ стиховъ. Въ любви къ нему онъ находилъ свое оправданіе. Чувствами своими къ народу онъ возвышалъ духъ свой. Но что главное, это то что онъ не нашелъ предмета любви своей, между людей, окружавшихъ его, или въ томъ что чтутъ эти люди и предъ чѣмъ они преклоняются. Онъ отрывался напротивъ отъ этихъ людей и уходилъ къ оскорбленнымъ, къ терпящимъ, къ простодушнымъ, къ униженнымъ, когда нападало на него отвращеніе къ той жизни, которой онъ минутами слабодушно и порочно отдавался; онъ шелъ и бился о плиты бѣднаго сельскаго роднаго храма и получалъ исцѣленіе. Не избралъ-бы онъ себѣ такой исходъ, *еслибъ не вѣрилъ въ него*. Въ любви къ народу онъ находилъ нѣчто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исходъ всему, что его мучило. А если такъ, то стало быть и не находилъ ничего святѣе, незыблемѣе, истиннѣе передъ чѣмъ преклониться. Не могъ же онъ полагать все самооправданіе лишь въ стишкахъ о народѣ. А коли такъ, то стало быть и онъ преклонялся передъ *правдой народною*. Если не нашелъ ничего въ своей жизни болѣе достойнаго любви какъ народъ, то стало быть призналъ и *истину народную*, и *истину въ народѣ*, и что истина есть и сохраняется лишь въ народѣ. Если не вполнѣ сознательно, не въ убѣжденіяхъ признавалъ онъ это, то сердцемъ признавалъ, неудержимо, неотразимо. Въ этомъ порочномъ мужикѣ, униженный и унизительный образъ котораго такъ его мучилъ, онъ находилъ стало быть и что-то истинное и святое, что не могъ не почитать, на что не могъ не отзываться всѣмъ сердцемъ своимъ. Въ этомъ смыслѣ я и поставилъ его говоря выше объ его литературномъ значеніи, тоже въ разрядѣ тѣхъ, которые признавали правду народную. Вѣчное же исканіе этой правды, вѣчная жажда, вѣчное стремленіе къ ней свидѣтельствуютъ явно, повторяю это, о томъ, что его влекла къ народу внутренняя потребность, потребность высшая всего, и что стало быть потребность эта не можетъ не свидѣтельствовать и о внутренней, всегдашней, вѣчной тоскѣ его, тоскѣ не прекращавшейся, не уголявшейся никакими хитрыми доводами соблазна, никакими порадоксами, никакими практическими оправданіями. А если такъ, то онъ стало быть страдалъ всю свою жизнь... И какіе же мы судьи его послѣ того? Если и судьи, то не обвинители.

Некрасовъ есть русскій историческій типъ, одинъ изъ крупныхъ примѣровъ того, до какихъ противорѣчій и до какихъ раздвоеній, въ области нравственной и въ области убѣжденій, можетъ доходить русскій человѣкъ въ наше печальное, переходное время. Но этотъ человѣкъ остался въ нашемъ сердцѣ. Порывы любви этого поэта такъ часто были искренни, чисты и простосердечны! Стремленіе же его къ народу столь высоко, что ставитъ его какъ поэта на высшее мѣсто. Что же до человѣка, до гражданина, то опять таки, любовью къ народу и страданіемъ по немъ, онъ оправдалъ себя самъ, и многое искупилъ, если и дѣйствительно было что искупить...

—

V.

Къ читателямъ,

Декабрьскій и послѣдній выпускъ «Дневника» такъ сильно запоздалъ по двумъ причинамъ: по болѣзненному моему состоянію въ продолженіе всего декабря и въ слѣдствіе непредвидѣннаго перехода въ другую типографію изъ прежней, прекратившей свою дѣятельность. На новомъ непривычномъ мѣстѣ неизбѣжно затянулось дѣло. Во всякомъ случаѣ беру вину на себя и испрашиваю всего снисхожденія читателей.

На многочисленные вопросы моихъ подписчиковъ и читателей о томъ: не могу-ли я хотя время отъ времени выпускать №№ «Дневника» въ будущемъ 1878 году не стѣсняя себя ежемѣсячнымъ срокомъ, спѣшу отвѣчать, что, по многимъ причинамъ, это мнѣ невозможно. Можетъ быть рѣшусь выдать одинъ выпускъ и еще разъ поговорить съ моими читателями. Я вѣдь издавалъ мой листокъ сколько для другихъ, столько и для себя самого, изъ неудержимой потребности высказаться въ наше любопытное и столь характерное время. Если выдамъ хоть одинъ выпускъ, оповѣщу о томъ въ газетахъ. Не думаю, что буду писать въ другихъ изданіяхъ. Въ другихъ изданіяхъ я могу помѣстить лишь повѣсть или романъ. Въ этотъ годъ отдыха отъ *срочнаго* изданія я и впрямь займусь одной художнической работой, сложившейся у меня въ эти два года изданія «Дневника» непримѣтно и невольно. Но «Дневникъ» я твердо надѣюсь возобновить черезъ годъ. Отъ всего сердца благодарю всѣхъ, столь горячо заявившихъ мнѣ о своемъ сочувствіи. Тѣмъ, которые писали мнѣ, что я оставляю мое изданіе въ самое горячее время, замѣчу, что черезъ годъ наступитъ время можетъ быть еще горячѣе, еще характернѣе, и тогда еще разъ послужимъ вмѣстѣ доброму дѣлу.

Я пишу: *вмѣстѣ*, потому что прямо считаю многочисленныхъ корреспондентовъ моихъ моими сотрудниками. Мнѣ много помогли ихъ сообщенія, замѣчанія, совѣты и та искренность, съ которою всѣ обращались ко мнѣ. Какъ жалѣю, что столь многимъ не могъ отвѣтить, за неимѣніемъ времени и здоровья. Прошу вновь у всѣхъ, которымъ не отвѣтилъ до сихъ поръ, ихъ добраго, благодушнаго снисхожденія. Особенно виноватъ передъ многими изъ писавшихъ ко мнѣ въ послѣдніе три мѣсяца. Той особѣ, которая писала «о тоскѣ бѣдныхъ мальчиковъ и что она не знаетъ что имъ сказать» (писавшая вѣроятно узнаетъ себя по этимъ выраженіямъ) — пользуюсь теперь послѣднимъ случаемъ сообщить, что я глубоко и всѣмъ сердцемъ былъ заинтересованъ письмомъ ея. Еслибъ только возможно было, то я бы напечаталъ мой отвѣтъ на ея письмо въ «Дневникѣ», и лишь потому оставилъ мою мысль, что перепечатать все письмо ея нашелъ невозможнымъ. А между тѣмъ оно такъ ярко свидѣтельствуетъ о горячемъ, благородномъ настроеніи въ большей части нашей молодежи, о такомъ искреннемъ желаніи ея послужить всякому доброму дѣлу на общее благо. Скажу этой корреспонденткѣ лишь одно: можетъ быть русская-то женщина и спасетъ насъ всѣхъ, все общество наше, новой возродившейся въ ней энергіей, самой благороднѣйшей жаждой *дѣлать дѣло* и это до жертвы, до подвига. Она пристыдитъ бездѣятельность другихъ силъ, и увлечетъ ихъ за собою, а сбившихся съ дороги воротитъ на истинный путь. Но довольно; отвѣчаю многоуважаемой корреспонденткѣ здѣсь въ «Дневникѣ» на всякій случай, такъ какъ подозрѣваю, что прежній, сообщенный ею адресъ ея теперь уже не могъ бы служить.

Очень многимъ корреспондентамъ я

потому не могъ отвѣтить на ихъ вопросы, что на такія важныя, на такія живыя темы, которыми они столь интересуются и нельзя отвѣчать въ письмахъ. Тутъ нужно писать статьи, цѣлыя книги даже а не письма. Письмо не можетъ не заключать недомолвокъ, недоумѣній. Объ иныхъ темахъ рѣшительно нельзя переписываться.

Той особѣ, которая просила меня заявить въ «Дневникѣ» что я получилъ ея письмо о братѣ ея, убитомъ въ теперешнюю войну, спѣшу сообщить, что меня искренно тронули и потрясли и ея скорбь о потерянномъ другѣ и братѣ, и въ то же время и ея восторгъ о томъ, что ея братъ послужилъ прекрасному дѣлу. Съ удовольствіемъ спѣшу сообщить этой особѣ, что я встрѣтилъ здѣсь одного молодаго человѣка, знавшаго покойника лично и подтвердившаго все, что она мнѣ писала о немъ.

Корреспонденту написавшему мнѣ длинное письмо (на 5 листахъ) о Красномъ крестѣ, сочувственно жму руку, искренно благодарю его и прошу не оставлять переписки и впредь. Я непремѣнно вышлю ему то, о чемъ онъ просилъ.

Нѣсколькимъ корреспондентамъ, спрашивавшимъ меня недавно *по пунктамъ* непремѣнно буду отвѣчать каждому особо, равно какъ и спрашивавшему о томъ: «кто есть стрюцкій?» (Надѣюсь корреспонденты узнаютъ себя по этимъ выраженіямъ). Корреспондентовъ изъ Минска и изъ Витебска особенно прошу извинить меня, что такъ замедлилъ имъ отвѣчать. Отдохнувъ примусь за отвѣты и отвѣчу всѣмъ по возможности. И такъ пусть не сѣтуютъ и пусть подождутъ на мнѣ.

Мой адресъ остается прежнимъ, прошу лишь означать домъ и улицу, а не адрессовать въ редакцію «Дневника Писателя».

Еще разъ всѣхъ благодарю. Авось до близкаго и счастливаго свиданія. Время теперь славное, но тяжелое и роковое. Какъ много виситъ на волоскѣ именно въ настоящую минуту, и какъ-то заговоримъ обо всемъ этомъ черезъ годъ!

Ѳ. Достоевскій.

P. S. Издатель одной новой книги, только что появившейся: «**Восточной вопросъ прошедшаго и настоящаго. Защита Россіи. СЭРА Т. СИНКЛЕРА**, баронета, члена англійскаго парламента. Переводъ съ англійскаго» — просилъ меня помѣстить въ этомъ выпускѣ «Дневника» объ этой книгѣ объявленіе. Но просмотрѣвъ ее и познакомившись съ нею, я, вмѣсто обыкновеннаго газетнаго объявленія, пожелалъ самъ лично отрекомендовать ее читателямъ. Трудно написать болѣе популярную, болѣе любопытную и болѣе дѣльную книгу, чѣмъ эта. У насъ же такъ теперь нуждаются въ подобной книгѣ, и такъ мало свѣдущихъ по исторіи „Восточнаго вопроса“. А между тѣмъ о вопросѣ этомъ теперь *всѣмъ* надо знать. Надо и необходимо. Синклеръ,—защитникъ русскихъ интересовъ. Въ Европѣ онъ уже давно извѣстенъ какъ политическій писатель. Плотный томикъ въ 350 печатныхъ страницъ стоитъ всего только одинъ рубль (съ пересылкою 1 руб. 20 коп.); продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

P. P. S. S. Несмотря на временное прекращеніе „Дневника“, всѣмъ прежнимъ подписчикамъ моимъ будетъ производиться таже уступка на мои изданія: **БѢСЫ, ИДІОТЪ, ПРЕСТУПЛЕНІЕ И НАКАЗАНІЕ, ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА** и проч. какъ и прежде, буде кто пожелаетъ пріобрѣсти. О цѣнѣ объявлялось въ прежнихъ выпускахъ „Дневника писателя“.

Оставшіеся полные экземпляры „Дневника Писателя“ за 1877 г. сброшюрованы въ одну книгу и поступили въ продажу во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, по 2 р. 50 коп. за экземпляръ. Выписывающіе прямо отъ автора пользуются безплатною пересылкою.

Дозволено цензурою. Спб. 15 января 1878. Типогр. В. Ѳ. Пуцыковича. Надежд., № 24.

образцы с рисунками Михайлы. 165.
Чит.-зал.

русский вестник I

15,53.